

Б И О Г Р А Ф И И В Е Л И К И Х С Т Р А Н

ГЕНРИ В. МОРТОН

# ОТ МИЛАНА ДО РИМА

ПРОГУЛКИ ПО СЕВЕРНОЙ ИТАЛИИ



## Annotation

Английский писатель и журналист Генри В. Мортон, прославившийся своими путешествиями «в поисках Англии», написал книгу об итальянском севере. Несмотря на все разнообразие посвященных Италии сочинений, публикующихся ежегодно, книга Мортон остается, пожалуй, лучшим образцом доброжелательного «постороннего» взгляда на историю, культуру и повседневную жизнь Италии. Не случайно именно эту книгу сами итальянцы рекомендуют иностранным туристам в качестве путеводителя по стране. Характерный, легко узнаваемый «мортонский» стиль, обстоятельность и поэтичность изложения, наконец, богатый опыт путешественника — лишнее доказательство того, что к этой рекомендации стоит прислушаться.

Итак, приятных прогулок по Италии!

- 
- [Генри В. Мортон](#)
    - [ИТАЛЬЯНСКАЯ МОЗАИКА](#)
    - [Глава первая. Милан — город Блаженного Августина и Верди](#)
    - [Глава вторая. Из Милана герцогов Сфорца в Павию](#)
    - [Глава третья. По Ломбардии](#)
    - [Глава четвертая. Из Бергамо в Мантую и к озеру Гарда](#)
    - [Глава пятая. Эмилия-Романья: от Пармы до Болоньи](#)
    - [Глава шестая. Римини и Равенна](#)
    - [Глава седьмая. Верона и Падуя](#)
    - [Глава восьмая. Венеция](#)
    - [Глава девятая. Жизнь Венеции](#)

- [Глава десятая. Флоренция и флорентийцы](#)
- [Глава одиннадцатая. Холмы и долины Тосканы](#)
- [Глава двенадцатая. Умбрия — земля воинов и святых](#)
- [ПРИЛОЖЕНИЕ I](#)
- [ПРИЛОЖЕНИЕ II. Знаменитые семьи Италии](#)
  - [Висконти из Милана](#)
  - [Сфорца из Милана](#)
  - [Гонзага из Мантуи](#)
  - [Эсте из Феррары](#)
  - [Скалигеры \(Скалиджери\) из Вероны](#)
  - [Медичи из Флоренции](#)
  - [Борджиа](#)
- [Библиография](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)

- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)

- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)

- [94](#)
  - [95](#)
  - [96](#)
  - [97](#)
  - [98](#)
  - [99](#)
  - [100](#)
  - [101](#)
  - [102](#)
  - [103](#)
  - [104](#)
  - [105](#)
  - [106](#)
  - [107](#)
  - [108](#)
  - [109](#)
  - [110](#)
  - [111](#)
-

**Генри В. Мортон**  
**ОТ МИЛАНА ДО РИМА**  
**Прогулки по Северной Италии**

# ИТАЛЬЯНСКАЯ МОЗАИКА

Каждый город — музей под открытым небом, в каждом соборе — фрески, картины и статуи работы великих мастеров, каждое блюдо местной кухни — настоящее произведение искусства, у каждого дня в году — собственный святой-покровитель, каждое название и едва ли не каждое слово звучит как музыка... Все это — Италия, *la bella Italia*, земля, подарившая миру Рим и Венецию, Флоренцию и Милан, Цезаря и Катона, Вергилия и Горация, Леонардо и Микеланджело, Челлини и Казанову, водопровод и бани, спагетти и пиццу — и многое, многое другое.

Впервые оказавшись в Италии, не можешь отделаться от ощущения, что очутился во внезапно ставшем явью сне: все, о чем когда-либо читал или слышал, предстает воочию, и оттого возникает чувство нереальности происходящего. Концентрация достопримечательностей здесь столь велика, что буквально подавляет; всю эту красоту невозможно впитать «единым глотком», очень многое поневоле пропускаешь — и обещаешь себе, что непременно вернешься, и возвращаешься — снова и снова, потому что Италию никогда не исчерпать до дна.

Она очень разная: истомленный зноем Неаполь, купающийся в цветах Капри, величавый Рим, импозантная Флоренция, будто сошедшая с открытки Пиза, застывшая в Средневековье Сиена, строгая Болонья, отражающаяся в морской воде и словно по-прежнему мнящая себя владычицей морей Венеция, романтическая Верона, лощеный Милан, тихая Падуя, торжественная Равенна... Путешествие по Италии с юга на север (а ехать нужно именно так, от Калабрии до Венето или до Ломбардии, чтобы сполна пропитаться



итальянским духом) сулит незабываемые впечатления: эпохи и культуры сменяют друг друга, как если бы в вашем распоряжении имелась машина времени.

Итальянский «сапог» пересекает незримая граница, протянувшаяся приблизительно от Пьомбино на Лигурийском побережье до Пескары на Адриатическом. Это — «водораздел» между двумя давними и непримиримыми врагами, итальянскими Севером и Югом. Каждая из сторон считает настоящей Италией исключительно себя, а к сопернику относится с нескрываемым высокомерием и плохо скрываемым презрением. Это противостояние зародилось в Средние века и продолжается по сей день, причем проявляется оно практически во всем: на бытовом уровне — в отношении к работе, в манерах, в речи, на уровне же внутригосударственном — в резком отрицании ценностей, которые исповедуют та и другая стороны.

Английский писатель и журналист Генри В. Мортон, прославившийся своими путешествиями «в поисках Англии», написал книгу об итальянском Севере. Несмотря на все разнообразие посвященных Италии сочинений, публикующихся ежегодно, книга Мортоня остается, пожалуй, лучшим образцом доброжелательного «постороннего» взгляда на историю, культуру и повседневную жизнь Италии. Не случайно именно эту книгу сами итальянцы рекомендуют иностранным туристам в качестве путеводителя по стране. Характерный, легко узнаваемый «мортоновский» стиль, обстоятельность и поэтичность изложения, наконец богатый опыт путешественника — лишнее доказательство того, что к этой рекомендации стоит прислушаться.

Итак — приятных прогулок по Италии!

# Глава первая. Милан — город Блаженного Августина и Верди

*В Ломбардию на «Сеттебелло». — Милан и его собор. — Мощи святого Амвросия. — Обращение Блаженного Августина. — Английские путешественники в Милане. — Висконти. — Чосер и Милан. — Посещение Ла Скала. — Могила Верди.*

## 1

За окном пролетала залитая солнцем возделанная земля. Переглядывались замки, вскарабкавшиеся на вершины уступчатых холмов; сменяя друг друга, мелькали деревни. Иногда поезд проносился мимо переезда, и я еле успевал заметить остановившуюся перед шлагбаумом телегу, запряженную огромными белыми буйволами — их вполне мог бы запрячь сам Вергилий. Кто знает, когда пустились в путь прекрасные животные и долго ли им еще брести по тосканским дорогам. Рога — полумесяцы, в глазах — бесконечное спокойствие. По словам римских поэтов, эти волы, посвященные Юпитеру, выбелены водами Клитумна.<sup>[1]</sup>

Поезд, в котором я ехал, самый элегантный в Европе, а возможно, и в мире. В его составе семь красивых вагонов с кондиционерами, есть также имя и голос. Зовут его «Сеттебелло» — «Прекрасная семерка». Это итальянская карточная игра, где выигрышная карта — семерка бубен. Что до голоса, то поезд превосходно изъясняется на английском, французском, немецком и, разумеется, на своем родном — итальянском языке. В голосе этом я уловил интонации итальянского

аристократа, небрежно демонстрирующего гостю сокровища своего дворца. Слушая негромкую речь, доносившуюся из скрытых микрофонов, я оглядывал прохладную гостиную, в которой и путешествовал с большим комфортом. Весь мой багаж и даже коричневые пакеты, которыми непременно обзаводишься в Италии, спрятаны были за панельной обшивкой. «Это, должно быть, самый аристократический вид передвижения, — решил я, — ведь поезда, предназначенные для высшего сословия, ходили по Италии еще во времена „больших путешествий“».<sup>[2]</sup> И если бы электропоезда изобрели в эпоху Возрождения, то Лодовико Сфорца и Беатриче д'Эсте наверняка приобрели бы себе такой поезд вместе с вагоном-рестораном, расписанием Леонардо да Винчи».

Моими попутчиками до Флоренции была веселая канадская пара. Они признались, что это их первое посещение Европы. Когда я поинтересовался, что более всего поразило их в Риме, они ответили: «Призраки». Я согласился, решив, что этой метафорой они окрестили исторические персонажи и события, но нет: выяснилось, что они говорят о настоящих призраках, фантомах и привидениях. Гостиницу в центре Рима, в которой они поселились, по их словам, осаждали привидения. В Колизее призраков было не меньше, чем в ночь, которую там провел вместе с волшебником Бенвенуто Челлини. На призраков канадцы были не в обиде и упомянули о них со снисходительным смешком. Добродушные путешественники таким образом могли бы отметить отсутствие горячей воды в номере или высказаться о каком-либо другом дорожном недоразумении. В то же время они дали понять, что никаких вольностей от привидений они бы не потерпели: бесплотные духи Цезаря и членов семейства Борджиа вели себя при них смирно. Я еще могу представить и понять бледных нервных спиритуалистов, что видят воочию ужасные

события, в тайны которых они хотят проникнуть, но жизнерадостные приверженцы оккультизма, вносящие ротарианскую<sup>[3]</sup> нотку во взаимоотношения с потусторонним миром, кажутся мне не менее страшными, чем сами привидения. Я простился с ними во Флоренции и увидел, как они затерялись среди багажа, носильщиков и бог знает чего еще невидимого мне. Интересно, кого из Медичи они готовы сейчас остановить и засыпать вопросами?

После Флоренции я разговорился с преуспевающего вида бизнесменом. От него приятно пахло лосьоном после бритья, и в целом попутчик представлял собой латинскую версию американского магната. Из мягкого кейса он вынул сначала серые перчатки, а потом какие-то письма и документы, лениво перелистал их и утомленно уставился на тосканский пейзаж. Убегавшие вдаль дороги ассоциировались с шествием волхвов и походом Восьмой армии.<sup>[4]</sup>

Собеседник поведал мне, что, являясь одним из директоров миланской фирмы, вынужден часто ездить в Рим и получать необходимые консультации в правительственных учреждениях. Такие поездки он терпеть не мог, отчасти потому, что не переносил официальную точку зрения, а также из-за своего убеждения в том, что столицей страны должен быть Милан и что именно в Милане и должны находиться парламент и правительство. Рим, по его мнению, нужно оставить папе. По чисто эгоистическим соображениям я склонен был с ним согласиться: разве не замечательно выгнать бюрократов из ренессансных дворцов? Рим стал бы не таким перенаселенным, и шума было бы куда меньше.

Тем временем с тосканских холмов мы спустились в долину Северной Италии — «спокойную долину Ломбардии», как назвал ее когда-то Шелли. Скрылся из виду землепашец с телегой и волом на крошечной

горной террасе. Вместо него я увидел большие пахотные земли, разделенные защитными полосами из высоких тополей. Дерево это для Ломбардии все равно что кипарис для Тосканы. Когда мы прогрохотали через железнодорожный переезд, вместо телег с волами я увидел трактора. Они стояли, ожидая, когда поднимется шлагбаум. Затем поезд приблизился к По, и я впервые увидел великую реку, уносящую альпийские дожди в Адриатику. Широкая, темная, местами стремительная, местами лениво облизывающая длинные песчаные пляжи, эта река со времен Римской империи была и остается главной артерией в водном хозяйстве страны.

Поезд стремительно мчался по обжитой древней земле. Смеркалось, и умеренный климат в «Сеттебелло» сменился теплом миланского вечера.

## 2

Рим, Милан и Неаполь — только в этих трех городах Италии численность населения перевалила за миллион. Когда я прибыл в Милан, мне показалось, что чуть ли не все его жители втиснулись в поезда, трамваи и автобусы, запрудили улицы вокруг собора. Это был вечерний час пик, одни люди спешили домой, другие искали развлечений. Когда мои друзья, посетившие выставку, рассказывали мне о Милане, то непременно сравнивали его с Манчестером. Мне хватило одного взгляда, чтобы убедиться: это не так.

Первое мое впечатление от Милана: миланцы ходят вдвое быстрее римлян, а во время ходьбы успевают рассказать вам целые истории, могут, не останавливаясь, устроить скандал или заблокировать проезжую часть. Даже голоса их звучат по-другому. Жители Милана говорят более размеренно, не так импульсивно, как прочие итальянцы. Я заметил, что

светловолосые женщины здесь не редкость. Возможно, тому причиной тевтонская кровь. «Впрочем, — припомнил я, — и в Средние века женщины Милана и Венеции осветляли и красили волосы». Изабелла д'Эсте в письме к деверю Лодовико Сфорца спрашивала, как тому удалось так быстро изменить цвет своих волос. Раз уж речь зашла о волосах, уместно заметить: исчезновение шляп я считаю одной из самых любопытных перемен последнего времени. Давно ли на простоволосого человека с недоумением смотрели на улице, а грубые мальчишки смеялись ему в лицо? Что стало причиной исчезновения шляп во всех странах? Может быть, перед Первой мировой войной поработала некая группировка под лозунгом «Нет шляпам», а может быть, это было вызвано целым рядом других труднообъяснимых причин — этого я не знаю, только люди сейчас ходят с обнаженными головами. Боюсь, профессия шляпника скоро не будет востребована.

Пусть миланец и выбросил шляпу, но разнообразия в выборе галстуков и рубашек у него куда больше, чем у жителей других городов. Вскоре я прекратил считать магазинчики на улицах, ведущих к собору. Все эти заведения удовлетворяли потребность мужчин отлично выглядеть — *far figura*. Слова эти можно перевести как «создание приятной внешности». Итальянка никогда не заинтересуется мужчиной, если тот безразличен к собственной наружности. Она всегда поможет ему выбрать галстук и рубашку. Взгляните на мужские портреты старых мастеров, вы заметите самоуверенность, которой дышат лица портретируемых, — она проступает и в чертах низкородных маленьких лютнистов, и в глазах воинов. Италия — это страна, где женщины позволяют мужчинам считать себя хозяевами жизни. Потому, наверное, и магазины для женщин прячутся в глубине кварталов, подальше от витрин больших универмагов. В

Милане словно бы бояться намекнуть, что и женщинам нужна одежда.

Стояла жаркая и влажная ночь. Друзья предупредили меня, что в Милане обычно либо слишком жарко, либо очень холодно, и все же — добавили они — если бы им представился выбор, жить они согласились бы только здесь. Толпы людей ходили по площади мимо магазинов, залитых ослепительным светом. В центре же ее стоит самый большой собор — после собора Святого Петра в Риме. Мастодонт этот необычайно любопытен. Строительство его началось во времена позднего Средневековья, когда в моде была готическая архитектура. Собор строили потом еще несколько столетий, даже когда мода на готику прошла, но проект был задуман с таким размахом, что строители были обязаны продолжить возведение здания. Поколения сменялись, но мастера придерживались архаики сознательно и целеустремленно. Немудрено, что строители перестарались. Когда у них возникали сомнения, здание обретало новых святых. Количество их озадачило даже немецкого издателя Карла Бедекера. Он сказал, что мраморных статуй там около двух тысяч. Стройные шпили поднимаются со всех сторон, и каждый поддерживает фигуру святого. Кульминация этого религиозного сооружения — золотая мадонна, любимая мадонна Милана. Никогда не забуду, как увидел ее впервые: она стояла на фоне темного неба и с огромной высоты смотрела вниз, на пьяцу, на Виктора Эммануила II, оседлавшего бронзового скакуна.

Мой приятель, итальянский журналист, привел меня в знаменитую Галерею, что находится между собором и оперным театром Ла Скала. Возможно, это самая красивая аркада в мире. В ней есть несколько лучших миланских магазинов, кафе, ресторанов, туристских агентств и даже альберго диурно.<sup>[5]</sup> Мужчина, у которого внешний вид на данный момент не в полном

порядке, может посидеть там в гостиной, посмотреть телевизор, пока ему гладят костюм. Он может подстричься, сделать маникюр, приобрести билет в театр, купить билет до Нью-Йорка, если хватит денег. Может даже взять напрокат зонтик. Мне сказали, что эти дневные гостиницы имеются во всех больших итальянских городах. Находятся они обычно в стороне от центра, и знают о них местные жители, а не иностранцы. Идея их создания принадлежит человеку по имени Клеопатро Кобианчи.

Мы пришли в кафе, сели за столик и погрузились в самое занимательное итальянское развлечение — разглядывание окружающих. Галерея показалась мне современной версией римского форума. Транспорт здесь не ходит, люди спокойно бродят по магазинам или просто гуляют, сплетничают и читают биржевые новости. Тут можно увидеть всех персонажей Древнего форума: влюбленных, встретившихся на условленном месте; политика со свежим изданием «Коррьере делла Сера»; модную женщину; богача и его клиентов и даже — кто бы сомневался? — навязчивого зануду! Я никогда не устаю от Галереи, где представители рода человеческого, освобожденные от уличного шума, действуют словно на сцене. Каждый человек здесь актер и одновременно — зритель.

Обедали мы в ресторане с тыльной стороны Галереи. Милан — это сердце области, славящейся сливочным маслом. Район этот по равнине Ломбардии простирается до Адриатического моря, в то время как Тоскана и южный регион отдают предпочтение маслу оливковому. Сливочное масло, конечно же, варварская роскошь, и даже сейчас, вздумай вы спросить его в маленьком римском ресторане, особенно в менее просвещенных частях Трастевере, на вас посмотрят, словно вы заказали себе масло для волос. «Сливочное масло, — сказал Плиний Старший, — считается среди варваров самым



большим деликатесом, и позволить его себе может только настоящий богач».

Начали мы нашу трапезу с ризотто по-милански, рис для которого сначала был отварен в курином бульоне, а потом заправлен сливочным маслом с добавлением шафрана, после чего обсыпан пармезаном. На стол его подали опять же со сливочным маслом. Затем последовало вкуснейшее оссо букко по-милански. Хозяин сообщил нам, что говядину приготовили с мозговой косточкой, белым вином и помидорами, а затем посыпали петрушкой. Под самый конец добавили чуточку чеснока и немного тертой лимонной цедры. Затем пришел черед спаржи — в ресторан она поступила сегодняшним утром из Турина. Спаржу подали с растопленным сливочным маслом и лимонным соком. За обедом мы пили отличное красное вино из Сондрино. Поселение это расположено в девяноста милях к северу от Милана, в альпийском нагорье. Район орошается Аддой и известен как Вальтеллина.

За кофе приятель спросил меня:

— Ты знаешь, что в Альпах есть шотландская деревня? Она находится к северу от озера Лаго-Маджоре, в долине реки Каннобины. Недавно я написал о ней рассказ и отправил его в Соединенные Штаты. Неделю назад ездил туда с другом на машине. Отправились мы из Каннобио и проехали по горной дороге к подножию Дзеда, там на узкой полоске земли обнаружили живописную деревеньку с высокими, близко стоящими друг к другу домами. Называется эта деревня Гурро. Стоило мне вынуть фотокамеру, как все жители тут же исчезли. Невозможно было никого из них сфотографировать. Даже местный священник не смог их уговорить. А дело было давнее. Когда Франциска I разбили в Павии, то остатки его личной королевской охраны, состоявшей из шотландских лучников, бежали на север, намереваясь найти обратную дорогу во

Францию, а возможно, даже и в Шотландию! Но далее Гурро они не прошли. Весной совершили поход в горные деревни в поисках невест и сформировали общину, которая существует и по сей день. Деревня и ее жители отличаются от других горцев: и дома тут необычные, и крестьяне по большей части светловолосые, а женщины носят полосатые юбки, похожие на шотландские пледы. Все как один ходят в странных башмаках с помпонами на носках. Один лингвист насчитал в их диалекте восемьсот шотландских слов. Забавно слышать, как они говорят «ауе» вместо «si» и «паһ» вместо «по». Местный священник показал мне церковные книги. Имя Макдональд превратилось со временем в Дональда, Патрик стал Патритти, а Десмонд — Дрести. Мне рассказывали, что еще пятьдесят лет назад тамошние мужчины носили килт.

Взглянув на часы, мы с удивлением обнаружили, что проговорили за полночь.

### 3

На следующий день мы поднялись на миланский небоскреб — самое высокое в городе здание, предмет гордости горожан. Тонкое бетонное сооружение напоминало работу термитов-архитекторов. Забравшись на крышу, мы смотрели с головокружительной высоты на городские улицы и зеленую долину Ломбардии. Пригороды Милана протянулись на мили вокруг и густо населены, здешние жители заняты ныне в автомобильной и радиотехнической отрасли, а некогда производили, что не менее интересно, оружие и амуницию. Миланская промышленность начиналась с изготовления стрел и кольчуг для легионеров, с вооружения средневековых рыцарей. За исключением чрезвычайных ситуаций, я полагаю — звон металла

слышен был в Милане с момента основания города. Как странно сознавать, глядя вниз на воплощение человеческой энергии, что люди делают самолеты или телевизионные приемники на той самой земле, на которой их средневековые предки изобретали серебряные сплавы и изготавливали колокольчики для соколиной охоты.

Я считаю, что ваши миланские колокольчики  
слишком гудят  
И, пугая соколов, портят охоту.

Слова эти написал Томас Хейвуд,<sup>[6]</sup> хотя Джулиана Бернерс<sup>[7]</sup> — монахиня из монастыря Святого Альбано, занимавшаяся охотой, — придерживалась другого мнения: ей нравился двузвучный голос серебряных миланских колокольчиков. Она считала, что они самые лучшие и самые дорогие.

Поражаюсь, но в некоторых местах не утихает человеческая активность, даже перед лицом неминуемой опасности: Милан перенес сорок четыре осады, завоевывали его тридцать восемь раз, дважды стирали с лица земли. Но раз за разом жители города упрямо возводили крепостные стены, заново отстраивали дома и мастерские.

За улицами и фабриками раскинулась зеленая равнина с богатой пойменной почвой, расчерченной ирригационными каналами и полосами заграждений из акаций и тополей. Потомки тутовых деревьев, высаженных несколько столетий назад, по-прежнему служат для разведения шелкопрядов. Производство шелка — древнее занятие жителей Ломбардии. Тянулись и уходили в неведомую даль поля с кукурузой, пшеницей, ячменем и рисом, а на севере горизонт перекрывали Альпы. Оттуда, из горных проходов,

выплеснулась когда-то лавина варваров, разрушивших римский мир.

Моего приятеля интересовали лишь новые пригороды и городская планировка, и спустя некоторое время мы начали надоедать друг другу, так как занимали нас два разных Милана, причем оба города были недоступны! Его Милан еще не родился, а мой Милан исчез несколько столетий назад.

История Медиоланума, или римского Милана, насколько мне известно, до сих пор не получила достойного отражения. Примерно в 300 году н. э., в связи с тяжелой военной обстановкой, императоры вынуждены были оставить Рим. Своей столицей они сделали Милан. Таковою он и оставался почти целый век. В то время как в Риме на холме Палатина пустовали императорские дворцы, Милан считался главным городом империи. Провинциальный облик его исчез: архитекторы построили новые красивые здания, в город с запада и с востока хлынули торговцы. Вслед за двором в Милан пришли ремесленники, производившие предметы роскоши. Поэт Авсоний, учитель одного из принцев, живший в «Золотом доме» — так назывался дворец, — описал город таким, каким он его видел: сияющим за крепостными стенами, с дворцами и длинными мраморными колоннадами, поддерживающими статуи. По этим колоннадам горожане, как и в Риме, могли гулять — летом, укрываясь от жаркого солнца, а зимой, прячась от холода. Он писал, что целый квартал в городе был отведен купанию, и назывался он «Бани Геркулеса» в честь императора Максимиана. Монеты, отчеканенные на императорском Монетном дворе, выходили с изображением букв MD или MED — Медиоланум.<sup>[8]</sup> Такие монеты — единственные реликвии того времени, не считая мраморных колонн исчезнувшей столицы

Западной империи, — частенько всплывают на лондонских монетных аукционах.

Глядя с небоскреба на шумный город, я старался, но не мог обнаружить следов древнеримской планировки улиц, плана старого города тоже не сохранилось. Я представил себе этот густонаселенный город и в тот период, когда последние императоры Запада повели свои армии через Альпы, чтобы положить конец нашествиям варваров. В 313 году Милан стал местом, где произошло одно из важнейших событий в истории западного человека. Победоносный император Константин Великий издал в своем «Золотом доме» знаменитый миланский эдикт, гарантировавший христианам свободу в свершении религиозных обрядов. Он открыл двери тюрем и выпустил из шахт христианских мучеников. На первое христианское собрание, которое вскоре состоялось, многие священники явились на костылях: некоторых из них покалечили в камере пыток, других изуродовали каленым железом. Вот такими были люди, с которых начался Никейский собор. Рассказывают, что Константин поприветствовал одного из них, поцеловав его в пустую глазницу — небывалый поступок со стороны римского императора. Если это правда, то, возможно, Константин принял христианство не только из прагматических и циничных соображений, как утверждают некоторые ученые.



Вспомнилось также, что Милан стал ареной последнего противостояния христиан и язычников. Это где-то здесь, в городе, возможно, на месте того здания из бетона и стекла, где трещат пишущие машинки, святой Амвросий, епископ Милана, написал свои знаменитые письма Риму, что привело к удалению языческого алтаря Победы из курии Сената. Возможно, что в церкви, на месте которой стоит сейчас собор, Амвросий крестил Блаженного Августина. Еще где-то среди куполов и церковных звонниц святой Амвросий служил панихиду над телами четырех императоров. В Милане неизменно возвращаешься к святому Амвросию. Даже члены местной коммунистической партии любят называть себя «амброзианцами», и ни одна епархиальная газета не забудет отметить, что Милан — город Амвросия. Чего только не произошло за семнадцать столетий с тех пор, как Амвросий являлся епископом Милана: столько осад, пожаров и два полных

уничтожения города, и все же память о римском церковном и государственном деятеле победила время. Он — миланский Ромул, Рем и волчица в одном лице, и горячая привязанность к нему — одна из самых старых в Европе.

Мой знакомый подошел ко мне и слегка подтолкнул локтем, стараясь привлечь мое внимание. Он махнул рукой в сторону горизонта и указал на новые сортировочные станции, недавно возведенные фабрики, новые жилые районы. Мне показалось, что он олицетворяет собой дух Милана: неугомонный, жадный дух, который и провел этот большой город через столько испытаний к сегодняшнему деловому времени. Мы вернулись к лифтам и молча спустились на землю.

#### 4

Как-то раз во время ранней утренней прогулки я неожиданно набрел на базилику Святого Амвросия. Заглянув через решетку на строгий мощеный атриум, я увидел старую церковь, опустившуюся за многие века ниже уровня современного уличного покрытия. Базилика напомнила мне о древних церквях Рима, таких как церкви Святого Климента Римского или Святой Цецилии: у храмов этих сохранились подобные мощеные дворы. Базилика Святого Амвросия, преисполненная римской серьезности, молчаливости, покоя и — самое главное — дающая возможность заглянуть в глубину веков, представляла собой разительный контраст с грохочущими рядом автобусами и трамваями, развозившими на работу первую волну клерков и машинисток.

Миновав атриум, я вошел в темную ломбардскую церковь. Температура, как в холодильнике, — немудрено, что я тут же задрожал. Постояв, заметил луч

света под высоким алтарем, направился туда, спустился по лестничному маршу и вошел в крипту. Несколько старых женщин в черной одежде дожидались начала ранней мессы — они напоминали членов тайного общества или собрание древних христиан. Церковный служитель со связкой ключей поспешно сбежал по ступеням. Запрестольную перегородку он открыл с четырех сторон четырьмя разными ключами и опустил в желоба стальные панели. Старые женщины тут же упали на колени и стали креститься: перед ними предстало то, что сохранилось с древнейших времен и внушало благоговейный страх.

Сначала я разглядел только толстый кусок стекла, но, когда служитель включил огни, передо мной явилось мрачное и удивительное зрелище. В стеклянной гробнице на кровати или на похоронных дорогах лежали бок о бок три облаченных скелета. Тот, что посередине, лежал выше своих товарищей — так я впервые увидел мощи святого Амвросия, останки которого сохранились в базилике со времени его смерти в Медиолануме в 397 году. Голову скелета венчала античная митра, на руках — красные перчатки епископа, на ногах — золотые тапочки, а в локтевом суставе — крест. Скелеты по обеим сторонам от Амвросия принадлежали мученикам — святым Гервасию и Протасию, умершим за веру задолго до святого Амвросия. Амвросий самолично распорядился эксгумировать мучеников и уложить их останки в свою базилику, а было это в то время, когда римская церковь запрещала эксгумацию костей святых мучеников. Это был первый случай перемещения реликвий в западную церковь, и такой обычай стал общепринятым лишь многие столетия спустя, после осквернения катакомб.

Как только месса завершилась, служитель поднял стальные ставни, и никто бы уже не догадался, что за ними находится. Останки великого римского епископа



слишком священны, чтобы выставлять их в Милане на всеобщее обозрение. Мне было интересно впоследствии выяснить у туристов, многие ли из тех, кто побывали в базилике, знали о том, что там хранятся останки святого Амвросия.

Не удивлюсь, если вы заинтересуетесь историей реликвии. Вы спросите: «А настоящие ли эти останки? Как можем мы быть уверены в том, что скелет действительно принадлежит святому Амвросию?»

Святой умер ночью в Великую пятницу 397 года. На следующий день его тело было выставлено для прощания в стоявшей прежде на месте Миланского собора церкви Марии Лаго-Маджоре. В воскресенье, в Пасху, тело уложили в порфировый саркофаг и погребли под алтарем его собственной базилики, при этом выполнив завещание покойного — поместили между останками святых Гервасия и Протасия. Там они почти четыреста пятьдесят лет и находились, не потревоженные варварскими вторжениями. В 835 году в церкви устанавливали Золотой алтарь, существующий и по сей день. Когда готовили основание для алтаря, обнаружили внизу три захоронения. Останки святого Амвросия вместе с останками двух других святых мучеников перезахоронили под новым алтарем. К саркофагу в течение тысячи двадцати девяти лет (до 1864 года) никто не прикасался.

В церкви в то время проходили реставрационные работы. Саркофаг осмотрели, сняли крышку и подтвердили, что в нем находятся три скелета, тщательно зарисовали все то, что там увидели. Рисунок хранится в архиве базилики — с репродукцией можно ознакомиться в любом книжном магазине Милана. В те годы церковь в Италии переживала не лучшие времена, и научное изучение останков состоялось лишь после того, как в 1870 году в стране официально провозгласили создание королевства. В 1873 году папа

римский Пий IX признал аутентичность останков. Во время обследования мощей присутствовал некий англичанин, которые описал свои впечатления в письме к кардиналу Джону Генри Ньюмену. Насколько я знаю, письмо это было напечатано лишь Эдвардом Хаттоном в книге «Города Ломбардии».

Оригинал, по словам Хаттона, находится в бирмингемской часовне, а автор письма — друг Ньюмена, Сент-Джон.

«Мне случайно позволили посетить, — пишет мистер Сент-Джон, — частную экспозицию останков святого Амвросия и святых Гervasия и Протасия. Своими глазами я видел скелет Амвросия. Присутствовало при этом также великое множество духовенства, три врача и отец Секки. Его пригласили с учетом того, что он прекрасно знает катакомбы и может с большой долей вероятности определить возраст останков и прочее... На большом столе лежали три скелета, а вокруг столпились священнослужители и медики. Два скелета отличались огромным ростом и были очень похожи. В глаза бросались следы насилия. Определили возраст мучеников — приблизительно двадцать шесть лет. Когда я вошел в комнату, отец Секки рассматривал следы пыток. Горла были вспороты с большой жестокостью, и шейные позвонки были искалечены с внутренней стороны. У одного скелета адамово яблоко Разломано, у другого оно и вовсе отсутствовало. Не помню, у кого именно. В скелете святого Амвросия кости были в неприкосновенности. Тело его в полном порядке. Нижняя челюсть (у одного из двух мучеников она была сломана) ничуть не повреждена. Я обратил внимание на совершенную ее форму, прекрасные зубы (за исключением одного коренного в нижней челюсти), белые и ровные. Лицо у него было продолговатое, тонкое, овальное с высоким выпуклым лбом. Кости белые, в отличие от тех двоих: у них они были очень

темные. Фаланги пальцев длинные, изящные. В общем, кости Амвросия являли собой выраженный контраст по отношению к костям двоих мучеников».

Автор не упоминает об особенностях черепа святого Амвросия, которая поразила докторов. Верхний клык с правой стороны был глубоко посажен, так что можно было предположить небольшую деформацию лица. В 1897 году Амбродже Акилле Рати — впоследствии папа Пий XI, а в те времена префект миланской библиотеки Амвросия — подчеркнул, что правый глаз святого Амвросия был чуть ниже левого. В подтверждение своей теории он обратил внимание на ранний портрет святого — мозаику пятого столетия, находящуюся в базилике Амвросия. Эта деформация весьма заметна, но до той поры к ней относились как к ошибке художника. Мозаика, скорее всего, правдиво отражает черты и согласуется с воспоминаниями тех, кто знал Амвросия. Одет он в тунику и далматик — типичная римская одежда IV столетия. Темные глаза и темные волосы, овальное лицо и коротко подстриженная борода, закрывающая щеки и подбородок.

Я приходил в базилику каждое утро — единственный мужчина среди старых женщин. Возможно, священник, если он вообще обратил на меня внимание, подумал, что я самый набожный человек в Милане. Скелет святого Амвросия вызывал во мне глубокий интерес. Словно зачарованный, я смотрел, как падали со скрежетом стальные панели и открывали то, что я считаю одной из самых достойных созерцания реликвий в Европе.

## 5

В одном из писем святой Иероним вспоминал, как во время школьных каникул ходил с другими мальчишками играть в катакомбы. Это был 350 год, а стало быть, со

времени издания Миланского эдикта прошло лишь тридцать семь лет, но юное поколение воспринимало уже свободу вероисповедания как нечто само собой разумеющееся и играло в прятки возле могил святых и мучеников, к которым деда их когда-то приближались на коленях.

Нынешнему сорокалетнему христианину те времена, должно быть, покажутся невероятными. Христианство входило в моду. Епископ Рима жил в императорском дворце Латеран, отданном Константином церкви. Император Константин построил также одну базилику над гробницей святого Петра, другую — над могилой святого Павла. Языческие храмы и церкви Рима мирно соседствовали друг с другом. Человек имел полное право принести жертву Юпитеру или — если ему этого бы захотелось — пойти в новую базилику Святого Петра в Ватикане и опустить платок на ограду могилы апостола. Пожилые христиане — те, что помнили камеры пыток, смотрели, должно быть, на изменившийся мир со смешанными чувствами. Возможно, им казалось, что вместе с терпением ушло и благородство. Христианство стало популярно, и богатые женщины, уютно устроившись на шелковых подушках, читали различные варианты Евангелия. Кто бы мог тогда подумать, что в следующем столетии Рим покорится варварам и многие богатые новообращенные станут монахами и монахинями и превратят свои дворцы в монастыри.

А пока Рим еще выглядел богатой и блестящей имперской столицей: улицы его были уставлены статуями и мраморными дворцами, хотя императоры и покинули город и управляли страной: один — из Милана, другой — из Константинополя. В один год со святым Иеронимом родился еще один римский мальчик — Амвросий. Вышел он из хорошей семьи. Мать мальчика, вдова, привезла его в Рим из провинции, вместе с братом и сестрой. Она хотела дать детям образование.

Они, очевидно, вращались в высших христианских кругах. Рассказывают, что сестра его — Марцеллина — в раннем возрасте приняла покрывало монахини из рук самого папы Либерия, правившего с 353 по 356 год. Амвросий, однако, не сделался христианином, а стал изучать право. У нас нет сведений о том, что он был знаком со святым Иеронимом, хотя можно не сомневаться в том, что они бывали иногда под одной крышей. Оба учились юриспруденции и посещали суды. Интересно, что оба ходили с учебниками права по Риму в самом начале эпохи легализованного христианства, оба стали отцами церкви (двумя из четырех). Амвросию суждено было стать автором императорских декретов, запретивших язычество и закрывших языческие храмы. Иерониму предстояло жить в Вифлееме и переводить Библию на латинский язык, а потом, состарившись, услышать с содроганием в 410 году, что готы разграбили Рим.

И пока все эти события были еще в далеком будущем, два мальчика ходили по римскому форуму, замечая, как и остальные жители, дым, поднимающийся над маленьким белым храмом. Там весталки возжигали священный огонь. Не надо было далеко ходить, чтобы увидеть жертвенный огонь над одним из бесчисленных алтарей. Мальчики наверняка видели странный обряд: авгуры, кормящие священных кур. Много раз, возвращаясь с лекций, они слышали рев тысячеголосой толпы, наблюдавшей за играми в Колизее. Вполне допускаю, что сидели они и на мраморных скамьях цирка, наблюдая за мчавшимися по кругу колесницами. В 350 году Рим оставался Римом.

Официально Амвросий был язычником, во всяком случае, достигнув к тридцати годам вершины профессионального мастерства, желания креститься он не изъявлял. Многие амбициозно настроенные молодые люди делали карьеру быстрее, если они, хотя бы

формально, оставались язычниками, тем самым доказывая, что являются приверженцами государственной религии. Жизнь была гораздо проще, особенно в консервативных кругах: человек, если хотел, бросал у статуи Юпитера щепотку благовония и не устраивал скандала, когда ему приносили зажаренный на алтаре кусок мяса. А ведь за такие мелочи предыдущему поколению могли подрезать коленные сухожилия и отправить в шахту.

Нет никаких сведений о том, что Амвросий — до назначения его консульским магистратом, губернатором Эмилии и Лигурии со штаб-квартирой в Милане — проявлял какой-либо интерес к церкви и христианству. Он стал необычайно важной персоной — когда в окружении ликторов Амвросий появлялся на публике, все обнажали головы, уличные толпы расступались, давая ему пройти. Если он приходил в цирк, театр или собрание, публика поднималась и продолжала стоять, пока он не занимал свое место.

В регионе, который он курировал, вызывала беспокойство миланская церковь — происходили частые стычки между арианами и ортодоксами. Ариане, как известно, вносили смуту еще со времен Константина Великого, на Никейском соборе основным предметом обсуждения стали их еретические взгляды. Доктрина александрийского епископа Ария состояла в утверждении, что Христос создан Богом, а потому является существом низшего порядка, так как ранее его не было. Такой подход нравился варварам: принять, что Создатель выше Сына, им было легче, нежели постичь догмат о Троице.

Государственные власти опасались, что во время выборов нового епископа Милана в 375 году между ортодоксами и арианами могут возникнуть столкновения, а потому Амвросий считал, что его

официальное присутствие, вместе с ликторами и телохранителями, поможет разрядить обстановку.

Выборы проходили в церкви Святой Марии Маджоре. Страсти накалились, и в кульминационный момент магистрат — к полному своему недоумению — услышал слова: «Пусть Амвросий станет нашим епископом!» Это предложение было подхвачено и превратилось в ультиматум.

Выборы на основании единодушного одобрения не были в те времена чем-то исключительным. Имелись прецеденты: люди, как и Амвросий, некрещеные, избирались таким же образом на высокие церковные посты. Амвросий протестовал, говорил, что не хочет быть епископом, что не крещен. Он уехал из Милана и скрывался, но почитатели разыскали его и с триумфом привезли обратно. В конце концов Амвросий согласился и через десять дней после крещения стал епископом. Так государство потеряло замечательного губернатора, а церковь обрела первого государственного мужа.

Амвросий занимал епископскую кафедру в течение двадцати двух лет, и за этот период наступил официальный конец язычеству. Рука скелета в красной перчатке, которую вы можете увидеть в склепе базилики, не только писала знаменитые письма Симмаху об идолопоклонстве, но эта же рука готовила различные императорские декреты, закрывавшие двери языческих храмов, упразднявшие весталок и сделавшие поклонение старым богам незаконным. И, увы, торжествующие христиане начали преследовать язычников так же, как в старые времена преследовали их самих.

Амвросий был на дружеской ноге с Валентинианом I, величайшим из последних императоров, с его сыновьями — Грацианом и Валентинианом II, а также Феодосией I, или Феодосией Великим. Хотя Амвросий умер сравнительно рано — в пятьдесят семь лет, смертность

среди императоров времен упадка империи была такой, что епископу пришлось служить панихиду по всем четырем правителям. Валентиниан умер на следующий год после избрания Амвросия. В то время он сражался с варварскими племенами на Дунае. Человек он был бешеного темперамента. Появление на аудиенции группы мрачных варваров-мятежников так возмутило его, что с ним приключился удар, и он умер в приемной. Соблазнительно поверить, что, проживи этот храбрый солдат подольше (Валентиниан прожил лишь пятьдесят четыре года), и судьба империи могла бы сложиться по-другому, ибо история нас учит: сильная личность не знает поражений. Новым императором стал шестнадцатилетний сын Валентианина — Грациан. Он должен был править со своим сводным братом — четырехлетним Валентианином II. Имперские набеги на варварские страны проходили, должно быть, не без приятности, так как в момент трагедии императрица Юстина, прекрасная сицилийка, присутствовала там с младенцем Валентианином. Немедленно, вместе с ребенком, она уехала в Милан и в качестве регента доставила Амвросию за время его карьеры больше неприятностей, чем кто-либо другой.

Грациан, взявший командование армией в свои руки, был одним из принцев, которому уготована была великая судьба: обучал его сам Авсоний, а духовным отцом был Амвросий. Принц был начитан, набожен и умен, но восьмилетнее правление обернулось для него катастрофой. Бывали прецеденты, когда потерпевшему неудачу правителю удастся передать власть человеку успешному. Так произошло и с Грацианом, когда императором Востока он назначил Феодосия Великого вместо своего неудачливого дяди Валента, погибшего в сражении против готов. Прошло несколько лет, и красивый, умный молодой принц умер. Существует несколько версий относительно его смерти, и все



разные. На восьмом году его правления, когда ему было двадцать четыре года, грозный британский военачальник Максим<sup>[9]</sup> (идеализированный Кипплингом в книге «Пак с волшебных холмов») устроил мятеж и, переведя свою армию через Ла-Манш, разгромил Грациана под Парижем. Молодой император бежал с намерением укрыться в Милане, но был схвачен возле Лиона и казнен. По другой версии, его заманили на пир, где и убили. Рассказывают также, будто он, увидев приближавшийся закрытый паланкин, в котором, как ему сказали, находится его жена, раздвинул занавески, а скрывавшийся внутри убийца заколол Грациана ножом.

Гибель духовного сына стала ударом для Амвросия, и он от лица юного Валентиниана II и его матери Юстины дважды переходил Альпы для переговоров с Максимом. Условились на том, что узурпатор станет императором Галлии, но не будет переходить Альпы. Теперь уже стало три императора: Максим в Треве, Валентиниан II в Милане, а Феодосии в Константинополе. Через четыре года, однако, Максим нарушил соглашение, перешел через Альпы и занял Италию без боя. Юстина с двенадцатилетним Валентианином II и тремя дочерьми, включая ослепительную красавицу Галлу, бежала к Феодосию на Восток, умоляя о помощи. Говорят, что появление их при дворе Восточной империи было исполнено патетики и драматизма: и она, и ее дочери предстали перед императором в слезах. Картина имела успех — Феодосии не только вызвался отвоевать Запад, но влюбился в Галлу и женился на ней. У них родилась дочь, которую называли Галла Плачидия. Ее мавзолей — одна из достопримечательностей Равенны. Галла стала королевой готов, а впоследствии — императрицей Запада.

Феодосии победил Максима и вернул Валентиниану II трон в Милане. Юстина к тому времени скончалась, а

молодой император подружился со святым Амвросием. Он всецело полагался на советы епископа, как в свое время его брат Грациан. Прошло четыре года после восстановления Валентиниана на троне, и он написал Амвросию из Вены. В письме император просил епископа приехать к нему и окрестить, но Амвросий не успел приехать — молодого императора нашли во дворце задушенным. Смерть его так и осталась загадкой, хотя рассказывали, будто он поссорился с генералом из варваров, и тот ему отомстил. Тело императора передали в Милан для захоронения. В третий раз за семнадцать лет святой Амвросий отслужил панихиду над телом римского императора. Три года спустя ему пришлось в четвертый раз произнести прощальные слова: во время визита в Милан скончался Феодосий Великий. В сорок девять лет он исчерпал жизненные силы. Спустя два года последовал за ним и святой Амвросий.

Надеюсь, тем, кто посетит миланскую усыпальницу, краткий пересказ событий поможет вписать в исторический контекст имя великого епископа. Когда думаешь о четырех императорах, словно бы слышишь звон оружия на восточных и западных границах государства. Но жизнь в мраморных городах империи текла своим чередом. Теологи яростно спорили, старики, вроде Авсония, удалились от дел и писали в своих поместьях стихи о сельской жизни. Недовольные молодые люди, такие как Блаженный Августин, искали в университетах работу в качестве преподавателей. Народ ходил на зрелища и бунтовал, как, например, в Фессалонике, когда победителя в гонках на боевых колесницах посадили в тюрьму за аморальное поведение. Мало кто из людей ощущал тогда, что пульс цивилизации бьется слабее. И на самом деле, в огромном количестве проповедей и писем Амвросия имеются всего две ссылки, которые показывают, что

епископ сознавал опасность вторжения варваров. Люди продолжали верить в то, что Рим вечен и что император и армия способны защитить границы. Тринадцать лет минуло со дня кончины святого Амвросия, и готы разграбили Рим. Мы с вами видели, как примерно за то же время развалилась другая великая империя. Вероятно, мы находимся в лучшей позиции, нежели наши предшественники, а потому способны понять ту эпоху.

## 6

Два наиболее известных случая из жизни святого Амвросия произошли в тревожное время в истории Милана. Они последовали вслед за убийством Грациана, когда в Галлии правил узурпатор Максим. Это были конфликт между Амвросием и императрицей Юстиной и обращение и крещение Блаженного Августина. Произошло все в год убийства Грациана в 383 году. В Милан прибыл молодой мужчина двадцати девяти лет. С ним был его незаконнорожденный сын Адеодат и приятель Алипий. Молодой человек хотел стать учителем риторики. Звали его Августин. Он сравнивал разные верования — язычество и христианство, ортодоксальность и ересь — в надежде отыскать то, во что мог бы уверовать. Они арендовали маленький дом с садом. Когда Августин не работал — а случалось это вечерами, он углублялся в свои духовные размышления. Так впервые он услышал о святом Амвросии. «Но отношение у меня к нему, — признался он впоследствии, — было не такое, как следовало». Но со временем его все более притягивала личность епископа. Тот всегда был окружен людьми и общителен, однако Августин поначалу не решался к нему приблизиться, видя, что Амвросий или занят разговором, или так

погружен в чтение, что помешать ему было бы невежливо.

В это время конфликт между императрицей и Амвросием вышел за пределы дворца. Пока она была замужем за Валентинианом I, императрица скрывала свои арианские убеждения, но, овдовев, возглавила арианскую партию при дворе. Организация эта была многочисленная и влиятельная, но при Амвросии все молитвенные дома ариан были либо закрыты, либо преобразованы в ортодоксальные. В результате у еретиков не осталось церкви. Императрица попросила предоставить ей две церкви — одну на территории императорского дворца, а другую — за его стенами. Амвросий отказал ей в этой просьбе. Однажды во время богослужения в церкви Амвросию сказали, что возле храма находятся дворцовые ликторы. Они подняли имперские флаги, а это означало, что здание перешло казначейству. Базилику окружил военный отряд, а представители двора попросили Амвросия дать дорогу императрице. Верующие, услышав, что епископ собирается отправить их на улицу, заявили, что они пришли молиться, а не воевать. Тем не менее несколько дней церковь находилась в окружении солдат, раздираемых противоречивыми чувствами. Амвросий, опасаясь, что здание ночью захватят с боем, организовал постоянное дежурство. С целью снятия напряжения он разучивал вместе с паствой псалмы собственного сочинения.

Среди тех, кто пел, был и Блаженный Августин, который слышал впервые и записал слова гимна *Deus, Creator omnium*.<sup>[10]</sup> Говорят, что прозвучали тогда также *Aeternum rerum conditor*,<sup>[11]</sup> *Veni redemptor gentium*,<sup>[12]</sup> *O, Lux beata Trinitas*.<sup>[13]</sup> Есть мнение, что Амвросий сочинил и другие гимны, в том числе *Te Deum laudamus*,<sup>[14]</sup> но авторство тех первых, которые я упомянул, доказано, и в

IV столетии, покинув Милан, они распространились по всему христианскому миру.

В своей «Исповеди» Блаженный Августин сообщает много подробностей о своем четырехлетнем пребывании в Милане. Например, к нему приехала его любящая мать святая Моника — одна из самых обаятельных женщин. Она очень беспокоилась о духовном поиске своего сына, и было у нее единственное желание, чтобы он принял церковное крещение. Бывали, должно быть, моменты, когда Блаженный Августин тяготился чрезмерной материнской опекой. Сохранилась запись о ее первом приезде в Милан. Прибыла она туда из простого деревенского прихода, где сохранился обычай: церковные служители после причастия должны были поделиться с бедными собратьями корзинами с едой. Она не знала, что в больших городах, таких как Милан, священники этот обычай не одобряли, зная из опыта, что все закончится вечеринкой с выпивкой: ведь среди новообращенных многие оставались в душе язычниками. Святая Моника, не зная об этом, собрала корзину со сладкими ватрушками и другой едой и отправилась в церковь. Блаженный Августин говорит, что у матери была привычка отломить себе немного от ватрушки, а остальное раздать. Взяла она с собой также «небольшой сосуд с вином, сильно разбавленным водой, чтобы отпить из него глоточек». Когда же Моника приблизилась к дверям, церковный сторож строго посмотрел на нее и сказал, что с алкогольными напитками в церковь входить нельзя. Блаженный Августин удивился, что она, решительная и властная женщина, как и многие святые, не выразила ни малейшего протеста: так сильно было ее уважение к Амвросию.

Гуляя по Милану, я часто задумывался, где мог находиться дом с садом, в котором жили Августин, Моника с ребенком Адеодатом и Алипий. Возможно, на

этом месте стоит теперь небоскреб, многоквартирный дом, либо через него проложили трамвайную линию. В каком подвале, находящемся ниже современного уровня города, находится место, где когда-то рос тот сад, в котором человек, искавший Бога, был наконец-то обращен в христианство. «Однажды — рассказывает Августин, — я вышел в сад, удалился от дома на порядочное расстояние и в смятенном состоянии духа бросился на землю под фиговое дерево. Вдруг услышал голос, доносившийся из соседнего дома». Был ли это голос мальчика или девочки, он не знал. Высокий голос пел одни и те же слова: «Возьми и читай. Возьми и читай!» Он подумал, что это, должно быть, дети играют и поют какую-то песенку, встал и пошел в дом. Придя, взял Евангелие и почувствовал, что в голове у него все прояснилось: он наконец-то уверовал. Когда он сказал об этом Монике, она подпрыгнула от радости.

Августин с сыном и Алипий приняли крещение на Пасху в 387 году. Службу совершал святой Амвросий. Августину было тридцать три года. Вскоре после этого императрица Юстина уговорила Амвросия перейти Альпы и отправиться со второй миссией к Максиму. В это же время Августин решил покинуть Милан и вместе с домашними вернуться в Нумидию. Пока в Остии они дожидались корабля, святая Моника простудилась и умерла. За несколько дней до горестного события — как написал ее сын в одном из самых лирических пассажей ранней христианской литературы — они стояли у окна постоянного двора, держась за руки, смотрели вниз, на сад, и говорили о Царстве Божьем и вечной жизни святых. Повествование Августина словно бы окутано тишиной, вы чувствуете, что дело происходило вечером, шумный порт затих, а мать с сыном унеслись, словно ласточки, в духовный полет. У нее было предчувствие скорой смерти. Господь исполнил самое заветное ее желание: она увидела Августина христианином. «Что же

теперь мне здесь делать?» — спросила она. Через несколько дней заболела и тихо скончалась. Перед смертью попросила сына не брать ее тело в Нумидию, а просто где-нибудь похоронить, «потому что где бы ни лежать, Бог всегда рядом».

Не проронив ни одной слезы, Блаженный Августин предал ее тело земле. В дальнейшем его неотступно преследовали воспоминания о преданной матери, которая никогда более не будет беспокоиться и хлопотать о нем. Как настоящий римлянин, он направился в Бани в надежде облегчить свое горе, но обнаружил, что «из сердца его никогда не уйдет горечь». Среди ночи он проснулся, и в голове его прозвучали слова, которые он вместе с Моникой пел в Милане при защите базилики от императрицы Юстины — Deus, Creator omnium.<sup>[15]</sup> Так великий Августин покинул историю Милана, города, где он нашел Бога, со словами Амвросия на устах.

После того как святой Амвросий окрестил Августина, он прожил еще десять лет. Это время он прожил рядом с четвертым императором, которому служил и давал советы, — Феодосией Великим. Оба человека — выдающиеся правители и воины, были примерно одного возраста. Сохранилась история о том, как Амвросий наложил на императора публичную епитимью за резню в Фессалонике: епископ отлучил Феодосия от церкви на восемь месяцев, пока тот не покаялся и не пообещал, что ни один преступник не должен быть казнен в течение тридцати дней после объявления приговора.

Едва Амвросий отслужил панихиду над телом Феодосия, как и его здоровье пошатнулось. Вскоре он последовал в могилу за императором. Умер он в Великую пятницу 4 апреля 397 года. Похоронили его утром в Пасху в базилике Амвросия. Было замечено, что в огромной толпе, пришедшей на похороны, много было евреев и язычников.

Трудно описать словами чувство благоговейного страха, которое испытываешь рядом с останками великого христианского консула. Представляя себе тот захватывающий исторический период, отодвинутый от нас пятнадцатью столетиями и общество, наполовину языческое и наполовину христианское, то время, когда Европа еще не родилась, не можешь не поражаться влиянию и авторитету великого священника Средневековья. В семь часов утра я часто вспоминаю церковного сторожа, опускающего стальные ставни и являющего скелет великого римлянина глазам нескольких старушек в черных одеяниях.

## 7

Я люблю бродить на рассвете по улицам незнакомого города, наблюдая за его пробуждением. На окнах еще не подняты ставни, и первыми на улицу выходят дворники. Затем выплывает первая волна рабочих: одни садятся на велосипеды, другие едут в автобусах.

В Милане, как и в Лондоне, имеется огромная популяция кошек, исчезающих перед завтраком. Огромные коты исследуют переполненные мусорные контейнеры; закаленные рыжие бойцы выходят из-под аркад и боковых улочек и удовлетворенно жмурятся, приветствуя рождение нового дня. Я видел, как один из них в благодушии облизывал лапки возле закрытого кинотеатра с афишей фильма, после просмотра которого миланцы получали, должно быть, странное представление о жизни современной Англии, — это была «Сага о Форсайтах».

В Галерее, как и в соборе Святого Петра в Риме, используют для очистки мрамора древний римский способ — мокрые опилки. Древний римлянин, возвращавшийся домой на рассвете, наверняка видел,



как рабы рассыпают на мраморном полу опилки, а затем подметают их. То же самое делают сейчас по всей Италии — старый обычай не изменился.

Мусор в Милане собирают весьма цивилизованно: приходят специальные белые фургоны, два оператора — слово «мусорщик» здесь явно не годится — подкатывают к белым машинам мусорные контейнеры, соединяют их шлангом, и фургоны, вибрируя, словно голодные драконы, со сладострастным урчанием втягивают в себя отходы. Интересно, что на каждом таком фургоне есть надпись «Коммуна Милана». К России это не имеет никакого отношения, а на память приходит средневековая Италия, гвельфы и гибеллины.<sup>[16]</sup>

Затем я оказался на Центральном вокзале, где наблюдал за толпой рабочих, спешащих из пригородов и деревень. Я спросил у одного прохожего, как пройти к гаражу, на фермах которого в 1945 году толпа повесила Муссолини и Кларетту Петаччи. Когда я нашел пьядале Лорето, мне сказали, что гараж перестроили и никаких следов того события не осталось. Сейчас, когда кончина диктатора сделалась историческим событием, в ней виден взрыв эмоций толпы, заставляющий вспомнить Средневековье. Тогда такие страшные расправы были в порядке вещей, как например, надругательство над трупом в Риме при убийстве Кола ди Риенцо.

Идя по улице, я заметил круглый фонтан. Монах в капюшоне, склонившись над ним, чрезвычайно внимательно что-то разглядывал. Я любопытствовал, что же он там увидел в воде, а когда подошел поближе, обнаружил вместо человека сделанную в полный рост бронзовую статую Франциска Ассизского. Скульптура произвела на меня большое впечатление. Тронуло меня и то, что женщины, торгующие неподалеку цветами, меняли в воде гвоздики под внимательным и благосклонным взглядом нищего.

В памяти навсегда останутся ранние прогулки по городу, напомнившие мне чем-то Лондон. Милан, как и Лондон, построен на месте исчезнувшего римского города, и в нем, когда смотришь на город с крыши собора или другого высокого здания, даже более, чем в Лондоне, заметна средневековая планировка улиц. Как и в Лондоне, большая часть сокровищ Милана спрятана в глубине кварталов, так что, бродя по городу, делаешь невзначай удивительные открытия. В стороне от оживленных улиц прячутся восхитительные дворцы времен Ренессанса, замечательные церкви и восстановленные либо перестроенные здания XI–XVI столетий. Вот хотя бы уголок Милана, который кажется мне очаровательным, — он был частью Корсо ди Порто Тичинезе: колоннада из шестнадцати коринфских колонн находится рядом с трамвайной линией. Эта единственная архитектурная реликвия, оставшаяся от Медиоланума, возможно, представляющая собой фрагмент Бань Геркулеса, а может быть, одна из колоннад, упомянутых Авсонием. Это любимое место студентов, будущих художников. Я часто вижу, как они приходят сюда с этюдниками и принимаются за работу.

В нескольких шагах отсюда я увидел последнее наглядное доказательство того, что до XVII в. Милан являлся внутренним портом, и об этом было известно Шекспиру. То ли он побывал здесь, то ли прочитал в книгах о Ломбардии. Это подземный канал, который, блестя под солнцем, выходит наружу, тянется несколько сотен ярдов и снова пропадает. Есть у него даже маленькая набережная — Дарсена. Я смотрел на уцелевший водный поток — в Средние века он назывался Тичинелло, потому что впадал в реку Тичино, и увидел баржу, груженную строительными материалами. Она вынырнула из темноты и исчезла. Ну разве не интересно увидеть канал, который когда-то соединял Милан с Адриатическим морем? Странно, что

Шекспира критиковали за то, что Просперо в его «Буре» причаливает у ворот Милана!

## 8

Несмотря на всю свою привлекательность, Милан всегда был одним из тех городов, который посещают по пути в какое-либо другое место. В Средние века церковные служащие заезжали сюда по пути в Рим; ученые эпохи Возрождения заглядывали в Милан по дороге в Падую, Болонью и Феррару. Молодые аристократы XVII столетия, заканчивавшие свое образование за границей, архитекторы-любители и дилетанты XVIII века останавливались здесь по пути в Венецию, Флоренцию и Рим. Да и сегодня те, кто приехал в Италию полюбоваться ее достопримечательностями, смотрят на него почти также: путешественники, перемахнув через Альпы, рады здесь переночевать, а на следующий день, осмотрев собор и театр Ла Скала, пускаются к красотам Венеции или Флоренции.

Чосер приезжал в Милан по делам, как и многие до или после него. В городе тогда правили великолепные Висконти. Эта семья и их преемники Сфорца монополизировали историю Милана, начиная со Средних веков и кончая Ренессансом. Затем произошло событие, которое раскололо историю Италии, — нашествие европейцев, закончившееся оккупацией Милана испанцами, а затем и австрийцами. В этот исторический период путешественники видели Ломбардию попеременно под властью французской, испанской и австрийской армий. Милан интересовал путешественников как один из сильных опорных пунктов Европы. Каждый, кто приезжал в город, хотел увидеть огромный замок Сфорца, который испанцы

усилили, ввели туда лучшие в Европе военные отряды и снабдили самыми современными артиллерийскими орудиями. Монтень — счастливейший путешественник, никогда не унывающий, несмотря на камни в желчном пузыре, — увидел Милан в 1581 году под властью испанцев, и город показался ему похожим на Париж: толпы ремесленников и оживленная разнообразная торговля. Он обошел вокруг замка и обратил внимание на пушки.

Первым англичанином, описавшим город, был якобинец, пеший путешественник Томас Кориэт. Милан он посетил в 1608 году, жаль, что его «Кориэтовы нелепости» не включили в классику дешевых изданий. Кориэт был как бы неофициальным шутом при дворе короля Якова I, и общество — как это всегда бывает — оценивало его по его внешнему виду. Можно не сомневаться: такое положение — быть клоуном при дворе — устраивало сына священника из Сомерсета, отучившегося в Оксфорде и не получившего диплома. Никто и не удивился, когда он объявил, что собирается идти пешком в Венецию. Как и современные хайкеры, он охотно садился в экипаж, когда его приглашали подвезти. Так он прошел через Париж, Турин и Милан. На обратном пути он торжественно повесил свои башмаки в церкви в Одкомбе, что возле Йовила, и уселся записывать впечатления от путешествия. Так в Англии родилась первая современная книга о путешествиях. Более ранние авторы, такие как Ричард Гайлефорд, Томас Хоби, Роберт Даллингтон и даже Файнес Морисон, путешествовали по религиозным или политическим причинам, а Кориэт — первый англичанин, отправившийся за границу из чистого любопытства: посмотреть мир и увидеть других людей. Он не менее типичный продукт Ренессанса, чем Лоренцо Медичи. Жаль, что закрепившаяся за ним слава клоуна перекинулась и на его труд, и это еще раз доказывает,

как опасна в Англии репутация юмориста. Даже сейчас многие из тех, кто не читал «Кориэтовы нелепости», считают, что это юмористическое произведение. Они заблуждаются, поскольку Кориэт написал глубокую книгу, говорящую о наблюдательном и остром уме ее автора.

В 1639 году, пройдя через Милан, возвратился домой Мильтон, почти через год после того, как увидел листья в Валломброзе. «Было бы бесчестно с моей стороны, — писал он, — предаваться удовольствиям в чужой земле в то время, как соотечественники сражаются за свободу». Двадцатитрехлетний Джон Ивлин был не так патриотично настроен и не хотел принимать участия в гражданской войне («Паршивые дела творятся дома», — заметил он), а потому отправился путешествовать в Италию. В Милан Ивлин прибыл в 1646 году на обратном пути. В Венеции он встретил поэта Эдмунда Уоллера, которого изгнали из Англии за то, что тот принял участие в роялистском заговоре. Ивлин и Уоллер стали путешествовать вместе. Затем к ним присоединились мистер Эбди и капитан Рэй, «приятный пьющий джентльмен». К Милану они приближались с опаской: боялись испанской инквизиции и подумывали, не избавиться ли им от протестантской литературы, но при входе в город не произошло никакой заминки. Англичане спокойно устроились в трактире «Три короля».

Путешественником Ивлин был любознательным и дотошным. Рим «проштудировал» досконально, как американец, при этом воспользовался услугами человека, хорошо знавшего город, сейчас мы назвали бы его гидом. В Милане он тоже минуты даром не потратил. Достопримечательности в 1646 году были теми же, что и в наши дни: собор с телом святого Карло Борromeo; библиотека Амвросия; «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи и базилика Амвросия. Ивлину сказали, что останки

епископа находятся в базилике, но они под алтарем и увидеть их нельзя. Во время посещения резиденции испанского губернатора и констебля Кастилии Ивлин, привлеченный красотой гобеленов и картин, заглянул в комнату и, к своему ужасу, понял, что явился в частное помещение: «Великий человек находился в этот момент в распоряжении парикмахера». Губернатор заметил незваного гостя и послал негра, чтобы узнать, в чем дело. Ивлин извинился, но, услышав, что губернатор принял его за шпиона, поспешно покинул здание и бросился наутек. Возможно, самым интересным при посещении Милана было то, что Ивлин и его друзья присутствовали на дневном представлении оперы. Это произошло за полторы сотни лет до того как построили театр Ла Скала. «Сегодня, — писал он, — мы получили огромное удовольствие от прослушивания оперы, представленной неаполитанцами. Отличная музыка, прекрасные исполнители, среди которых была знаменитая красавица».

Деклассированных элементов, беженцев и шпионов было в те времена на континенте не меньше, чем сегодня: католики из протестантских государств и, наоборот, протестанты, бежавшие от католиков; политические ссыльные, шпионы и разведчики, много выходцев из Шотландии — последние обычно нанимались солдатами к королю или принцу. Один из таких шотландцев, полковник в испанской армии, услышал на улице, как Ивлин говорит с друзьями по-английски, и послал к ним слугу с приглашением отобедать. Те забеспокоились, пока не навели справки о гостеприимном хозяине, после чего приняли приглашение. Полковник жил в приличном доме, богато меблированном. Кроме них, к столу были приглашены и другие гости — все солдаты. После отличного обеда, где вино лилось рекой, полковник подарил Ивлину турецкое седло, в котором тот доехал до Парижа, в нем же

вернулся и в Англию. Затем хозяин повел гостей в конюшни и показал своих лошадей, а затем, несмотря на увещевания своего конюшего, видевшего, что хозяин «немного разгорячен вином», полковник вскочил на необъезженную лошадь, которая встала на дыбы и расшибла седока о стену. Полковника сняли с седла и в полубесчувственном состоянии отнесли во дворец.

На следующее утро, когда англичане пришли справиться о его здоровье, они увидели перед дверью зажженные свечи и балдахин, используемый в церквях во время святого причастия или приносимый к тем, кто находится при смерти. Они поднялись в дом и нашли там хозяина, кашляющего кровью и способного лишь подавать им знаки. Возле постели стоял ирландский монах и исповедовал умирающего. На следующее утро они услышали о наступившей смерти, а также, что исповедь, при которой они присутствовали, была инсценирована, так как шотландец был протестантом, а монах — его доверенным лицом. Этого хватило, чтобы напуганные англичане отправились восвояси! В ужасе оттого, что их может схватить инквизиция, заплатили за постой и поспешно двинулись к Альпам.

Последним из английских писателей, кто видел в Милане испанский гарнизон, был Джозеф Аддисон. Случилось это в 1701 году, и до конца столетия те, кто приезжали в Милан после него, видели в городе австрийцев. Эти два столетия так отличались друг от друга, что теперь там никто больше не беспокоился о своей принадлежности к протестантизму и на иностранный гарнизон смотрели без всякого страха и интереса. Молодой Босуэлл<sup>[17]</sup> поспешил в Милан в 1765 году, после смехотворной попытки сделаться в Турине любовником пожилой графини. В городе он увидел строителей собора — работа шла уже несколько столетий. Еще один член кружка Джонсона — доктор Бёрни, симпатичный отец Фанни, в 1770 году прожил в

Милане девять дней. Он имел рекомендательное письмо от Баретти к брату, который жил в Милане. Бёрни ходил на званые обеды и встречал много важных людей, включая австрийского губернатора. Он изучил песнопение Амвросия и счел, что даже церковные авторитеты имели о нем довольно смутное представление. В опере он сидел в ложе с камином и карточными столиками. Оркестр, на его вкус, играл слишком громко, и лишь баритоны могли пробиться сквозь музыку. «В городе не видно ни одной лампы, — писал он, — экипажи вынуждены иметь при себе шандал, а пешеходы — фонарь. Фонари очень большие и сделаны из белой бумаги. В экипажах для знати есть место для двух слуг, что стоят позади, один над другим».

Описание Милана доктором Бёрни самое интересное после записок Ивлина, но я думаю, что лучше всего воспоминания другого члена кружка Джонсона — миссис Трэйл,<sup>[18]</sup> которая, выйдя замуж за Пьюцци, посетила Милан зимой 1785 года. Приехала она в унылый ноябрьский день и заметила, как, впрочем, и другие путешественники, что итальянский темперамент сильно зависит от солнца: стоит пойти дождю, и люди впадают в отчаяние. Во время ее визита было не только сыро, но и холодно. Дождь сменился снегом. «Но пусть даже ночью выпадет четыре фута снега, — писала она, — утром вы не увидите ни одной снежинки, так тщательно бедняки и заключенные убирают его и сбрасывают в канал, огибающий город». Дамы ходили в церковь и театр в меховой обуви, украшенной золотыми кисточками, а бедные женщины «бегали по улицам, держа в руке маленький глиняный горшочек, в котором пылал огонь». Миссис Трэйл побывала на нескольких важных званых обедах. «Обед состоял из одиннадцати блюд и одиннадцати закусок. Лакею надо было платить по шиллингу в день, как нашим рабочим, а



расплачивались с ними вечером по субботам. Восемь слуг — обычное число для дома, из них — шестеро мужчин, в том числе четверо — в ливрее. Когда наступает вечер, — продолжает она, — презабавно смотреть, как все они важно идут домой; вы можете умереть ночью, и вам никто не поможет, хотя целый день вас окружают разряженные слуги». Все эти ливрейные лакеи были ужасными снобами. Выйдя как-то раз из церкви, миссис Пьоцци засмотрелась на модно одетую женщину, шедшую в сопровождении двух лакеев. Она спросила у своего слуги, как зовут женщину. «„Non e dama“,<sup>[19]</sup> — ответил слуга, презрительно усмехнувшись моей наивности. Я подумала, что она, должно быть, чья-то содержанка, и спросила, так ли это. „Прости меня, господи, — ответил Петр, смягчившись, — сердечные дела не могут унижить человека. Она жена богатого банкира. Вы сами поймете, — добавил он, — если посмотрите внимательно: слуги не несут за ней бархатную подушку, на которую преклоняют колени, а на ливрее и на кружевах нет гербов. Какая из нее леди!“ — повторил он с невероятным презрением». Миссис Пьоцци продолжает: «Никогда еще за всю свою жизнь я не слышала столько разговоров о происхождении и семье с тех пор, как приехала в этот город». Все это результат двухсотлетнего испанского влияния.

Когда миссис Пьоцци приехала в Милан, скандалы и фонари начали исчезать. При ней даже арестовали человека за то, что он разбил новую уличную лампу. «Поставили лампы недавно, — писала она, — с намерением осветить городские улицы, как это делают в Париже»; а он, похоже, имел желание оскорбить эрцгерцога, что было воспринято в качестве политической акции. Миссис Пьоцци, как и доктор Бёрни, пришла в восторг от экипажей на Корсо, но описала она их лучше и подробнее. «Огромные, в

большинстве своем черные лошади, с длинными хвостами, высоко вскидывают передние ноги. Крупы спрятаны под упряжью из богато украшенной красной марокканской кожи, вожжи белые. Ко всему этому великолепию прибавьте большую шкуру леопарда, пантеры или тигра — полосатую или пятнистую, такую, какой задумала их природа. Шкуры эти надежно закреплены на лошади и украшены блестящими золотыми кисточками, кружевом и прочим. Возница в ярко-алом платье, отороченном медвежьим мехом, — короче, зрелище великолепное». Наполеон избрал Милан в качестве столицы Цизальпинской республики. Таковой он и оставался на протяжении семнадцати лет, с 1797 по 1814 год. В этот период, разумеется, английских путешественников здесь не было. Взглянуть на любвеобильных французских офицеров в красных ложах театра Ла Скала мы сможем, ознакомившись с первыми страницами дневников Стендаля. Затем пришло Ватерлоо и возвращение австрийцев. В начале девятнадцатого столетия Милан увидели Сэмюэль Роджерс, леди Морган, Байрон и Шелли. Несносный молодой доктор Байрона — Полидори — поссорился в Ла Скала с австрийским офицером. Кончилось это тем, что доктора выставили из города. Байрон написал Томасу Мору из Милана, прося его о снисхождении к пожилому человеку. Байрону в то время не исполнилось еще и двадцати девяти лет.

Стендаль обожал постнаполеоновский Милан, ему нравился даже запах навоза на его улицах. За белыми мундирами австрийских офицеров аристократы-конспираторы в бархатных ложах Ла Скала, одетые в вечернее платье, за мороженым и шербетом шепотом поверяли друг другу опасные секреты. В удобной оперной атмосфере первые революционеры обменивались символическими знаками, отказавшись при этом от ритуала выжигания древесного угля. Байрон

сделался карбонарием, и маркиза Ориго, изучавшая во время работы над книгой «Последняя привязанность» отчеты полиции многих итальянских городов, была уверена, что поэт был вовлечен в революционную деятельность куда больше, чем полагало большинство его биографов. «Если бы он задержался в Италии еще на несколько лет, — писала она, — и получил пулю санфедиста во время восстания 1831 года, то сделался бы национальным героем не Греции, а Италии».

## 9

Многие столетия Миланский собор вызывает изумление. Даже у тех путешественников, которые видели самые большие храмы мира. Это — одно из самых могучих и пышных готических зданий. Огромное количество святых: «Их больше, чем в немецком герцогстве», — сказала княгиня Ливен — словно скалолазы, облепило бесчисленные шпили. Вы видите их повсюду на головокружительной высоте, и первая мысль, которая приходит вам в голову, что это клумба со слишком разросшимися люпинами и что их не мешало бы проредить. И на самом деле удивительно, что этого пока не произошло, особенно когда вспоминаешь о свирепых зимних ветрах, дующих с Альп в долину реки По.

Но стоит вам побывать в Милане короткое время, и вы ни за что не согласитесь убрать шпиль или лишиться хотя бы одного святого. Что за магия заключена в этой каменной громаде, отчего она становится вам так мила, сказать не берусь, однако таковы факты. Скоро вы и сами понимаете, отчего все жители Милана обожают свой собор. Все заходят туда, словно в деревенскую церковь. Входя в собор, человек переносится от шума и тревог современного города в тишину и спокойствие

вечных ценностей. Собор, словно большой прохладный лес, стоящий в центре Милана, в котором можно найти приют — укрыться от палящего солнца и от надоедливых людей.

С величиной и таинственным мраком его ничто не может сравниться. Я не припомню даже в Испании, стране с огромными темными храмами, более массивного и сумрачного собора. Колонны нефа потрясают фантастической высотой. В пасмурный день ты пробираешься, словно потерявшийся в лесу карлик, ориентируясь на отдаленный свет свечей, словно на слабый огонь в избушке лесника. Кажется, что сумрак северного леса воплотили в камне и перенесли его потом через Альпы. Шелли был зачарован зданием — как снаружи, так и внутри — и нашел в соборе единственное место, за высоким алтарем, где, как он думал, следует читать Данте. Должно быть, зрение у него было исключительным.

Кроме огромных размеров, ничто в соборе не удерживает вашего внимания. Дело в том, что Карло Борромео очистил здание и постарался так, что стер несколько столетий миланской истории. Должно быть, именно тогда исчезли многие интересные реликвии. Зато сохранилась мрачная статуя святого Варфоломея. Ее поставили в довольно светлое место, рядом с боковой дверью. Вы не можете не заметить, что со святого была содрана кожа, и он держит ее в руке, словно шотландский вождь — плед. Церковный сторож указал мне на крест, подвешенный чуть ниже крыши над высоким алтарем, и сказал, что в нем хранится частица коня императора Константина. Он добавил также, что раз в год, 31 мая, крест опускают на пол с помощью машины, изобретенной самим Леонардо да Винчи. К сожалению, в этот момент важный с виду церковный служитель зашипел на сторожа, и тот поспешно ретировался. С тех пор сторожа я больше никогда не

видел, и никто не показал мне лестницу Леонардо. Не осталось, конечно же, следа и от каррочо.<sup>[20]</sup> Некогда она хранилась в церкви Святой Марии Лаго-Маджоре, но разве не удивительно, что эта военная колесница, которую переняли все итальянские коммуны и которую Англия применила в сражении 1134 года, впервые была изготовлена в Милане? Это была идея епископа Ариберта, который во время норманнского завоевания поднял против императора население Милана и вдохновил его на победу. Шесть белых волов в алой упряжи везли каррочо, у алтаря служили мессу священники, к высокой мачте прибили распятие, на ноке реи развевался боевой штандарт, колокол подал войскам сигнал. Колесницу охраняли девятьсот всадников и три сотни молодых аристократов, драматически именуемых «батальоном смерти». Каждый из них готов был погибнуть, но не дать каррочо в руки врагу.

За Ла-Маншем итальянская идея свой эффект утратила. Насколько я знаю, в Англии боевая колесница не использовалась, за исключением странного сражения 1138 года в Норталлертоне, известного как битва Штандартов. Судя по всему, архиепископ Терстон, направивший английскую армию против шотландцев, видел миланскую каррочо во время визита в Рим. По его распоряжению была выполнена точная ее копия. На корабельной мачте, установленной на колеснице, реял флаг, и священники стояли со Святыми Дарами. Развевались на колеснице и другие флаги — святого Петра Йоркского, святого Иоанна Беверли, святого Уилфреда из Рипона. Если бы битва была англичанами проиграна, можно было бы понять, отчего каррочо больше не использовали, но они одержали победу. Вот и не пойму, отчего на английских полях сражений никто больше не слышал ее гроыхания.

Главной достопримечательностью собора является гробница святого Карло Борromeо, выходца из знатной семьи. В настоящее время во главе семейства стоит князь Борromeо, владелец красивого острова Изола Белла на озере Лаго-Маджоре. Говорят, что далеким предком рода был заядлый путешественник, потому, должно быть, на гербе у этой семьи — изображение сидящего на корзине верблюда, как в качестве напоминания о путешествиях по Востоку, так и свидетельство терпения добродетельного скитальца. Святой родился в 1538 году, через несколько лет после того, как император Карл V поставил Рим в зависимость от испанской короны. Вся жизнь святого, отданная людям, прошла в испанском Милане. «Чистота его мыслей, — писала Мария Беллонци, — была столь бескомпромиссна, что женщины в его присутствии стыдились того, что вообще живут на свете».

Поток посетителей идет с утра и до вечера. Люди ждут, когда священник проведет их вниз. Святой лежит в стеклянном саркофаге, пожалованном королем Испании Филиппом IV, чье похожее на сливу лицо со вздернутыми усами Веласкес, должно быть, писал, пока монарх спал. Вместе с толпой я вступил в темноту. Священник привел нас в нарядный склеп, где среди золотых и серебряных украшений горело несколько светильников. Когда он нажал на кнопку, стена склепа бесшумно отодвинулась, явив взорам святого Карло Борromeо в полном церковном облачении. Тело лежит в подсвеченном стеклянном гробу, на лице золотая маска, на руках кружевные перчатки. Католики встали на колени и перекрестились, протестанты смущенно закашляли. Миланцы любят мощи, им нравится — наверняка, испанское наследие — холодное дыхание кладбища. «Интересно, — подумал я, — а что еще завещала итальянцам испанская оккупация, не считая чинных манер, приправленного шафраном ризотто и

преклонения перед титулами и аристократами?» Генерал Сербеллони проиграл сражение, и все из-за того, что отказался открыть письмо: на конверте были пропущены некоторые его титулы! Испанское влияние сумело пригасить очарование женщин эпохи Ренессанса, чей веселый нрав и живой ум так счастливо отразил Шекспир в Розалинде, Порции и многих других своих героинях. Мы смотрим на Италию и видим перед собой настороженных особ в черных кринолинах. Радость и смех пропали. Пронизанное солнцем столетие сменилось другим, и небо затянули зловещие тучи.

У гигантского собора необычная история. Стоит он, как я уже говорил, на месте, где когда-то была древняя базилика Святой Марии Лаго-Маджоре. Возможно, это церковь, которую святой Амвросий защищал от императрицы Юстины и ее ариан. Если так оно и есть, то именно здесь прозвучали первые западные псалмы, и здесь слушали проповеди святого Амвросия Блаженный Августин и святая Моника, здесь присоединялись к нему во время ночных дежурств. Более чем вероятно и то, что окрестили Блаженного Августина в старой базилике.

Человек, который в 1386 году решил снести это здание и возвести собор, был одним из самых заметных людей своего времени — Галеаццо Висконти III, первый герцог Милана.

Его семья захватила власть в раннем Средневековье, и Галеаццо был самым богатым, самым могущественным и хитроумным из всего рода. Как многие амбициозные люди, он мечтал стать королем Италии, и так был уверен в успехе, что заранее приготовил ко дню коронации в церкви корону, скипетр и облачение. Но церковь показалась ему недостаточно внушительной, и потому он решил построить собор. В этот волнующий момент, к облегчению своих врагов, он подхватил чуму и через несколько дней скончался. Галеаццо решил построить столь гигантское здание, чтобы умиловать Небеса,

надеясь, что за такое приношение Господь наградит его сыном. Рассказывают, что женщины Милана страдали в те времена от непонятной болезни, не позволявшей им родить мальчиков. Все три сына Галеаццо от Изабеллы Французской умерли, оставив его без наследника. Над западной дверью собора высечены слова — *Mariae Nascenti* — Марии Нашенте (Рождающейся), они посвящают собор Богоматери, давшей миру Спасителя. Хотя первые камни были заложены в 1386 году, в наполеоновские времена собор все еще не был окончен. 1927 год можно считать окончанием строительства, тогда были установлены бронзовые двери.

У собора удивительная крыша. Я никогда бы не поверил, что, карабкаясь по крыше собора, можно испытывать большое удовольствие. В большинстве кафедральных городов у меня такой опыт приятных эмоций не вызывал. У этих зданий обычно узкие карнизы и опасные маленькие площадки. Вам постоянно напоминают, что нужно «соблюдать осторожность», вам постоянно хочется ухватиться за перила, а вот крыша Миланского собора, похоже, предназначена для прогулок и маленьких открытий, словно большой сад, но ведь это и в самом деле так. Ты идешь по большим каменным блокам и поднимаешься с террасы на террасу. Каменные розетки, орнаменты в виде трилистников, а шпили со святыми вздымаются, словно огромные наперстянки или львиный зев. Большинство путешественников прошлого с удовольствием взбиралось на крышу по бесчисленным каменным ступеням, а теперь вы можете быстро и без труда подняться на лифте. Сверху открывается великолепная панорама Милана и его окрестностей. Интересно понаблюдать за жизнью на сотне других крыш: вот девушка вешает белье; официанты накрывают столы под полосатыми зонтами дорогого ресторана, разместившегося на крыше; рабочие упрямо



разбираются с аварийными водопроводными трубами, на лицах яростное изнеможение, присущее всем рабочим этой профессии; и, разумеется, на нижнем уровне — вездесущие голуби. Их полеты мешают разглядеть трамваи и омнибусы, затем они тысячами спускаются на пьядцу и на фигуру Виктора Эммануила на вздыбленном коне.

Неподалеку на крыше у маленького навеса, где можно купить прохладительный напиток или фотопленку, стоит человек с телескопом, готовый нацелить его на Альпы. Когда бы я ни поднимался на крышу, гор не было видно.

— О, господи, — сказал человек с телескопом в мой последний подъем на крышу, — если бы вы пришли вчера, или позавчера, или в прошлую пятницу, вы увидели бы Монблан. Он похож на торт с глазурью, и Большой Сен-Бернар увидели бы так ясно, что разглядели бы, как спускаются вниз вагончики фуникулера и узнали бы лица друзей!

— Почти, — сказал я.

— Почти, — повторил он.

## 10

Возвращаясь вечером из пригорода в Милан, я в восторге остановился. Такое зрелище можно было бы увидеть в Китае или Японии. По обе стороны от дороги простирались акры мелководья, которые под поздними лучами летнего солнца казались совершенно серебряными. Каждый листок тростника или Другого растения, росшего вокруг лагуны, казался выгравированным из черного как ночь материала. Четкими были и силуэты двигавшихся вдоль воды босоногих женщин в огромных соломенных шляпах. Такие головные уборы носят кули. То и дело одна из них

наклонялась и вытаскивала из воды пучок травы или водорослей и укладывала его в плетенную из прутьев корзину. При этом движении золотыми самородками падали тяжелые капли. И словно бы для того, чтобы сделать эту сцену более похожей на гравюру Хиросиге, солнце нырнуло в ленту цвета ржавчины, а несколько птиц взлетели из кустов.

Мне сказали, что женщины пропалывали одно из рисовых полей Ломбардии, которые на милях тянутся вокруг Милана и во многих других частях долины По. В тот вечер я с большим аппетитом съел рис по-милански, приправленный шафраном, а потом задумался, как это иностранное растение попало в Италию. Естественно предположить, что Марко Поло привез его сюда из Китая, возможно, как и лапшу, ставшую впоследствии итальянской пастой. Другой на моем месте решил бы, что и спрашивать здесь не о чем, но я все же спросил и не без удивления узнал, что история о рисе в Средиземноморье пока не написана. Марко Поло, очевидно, никакого отношения ко всему этому не имел, а появился этот злак в Италии, что всего вероятнее, благодаря арабам. В средневековой Италии рис готовили не повара, а врачи и фармацевты, причем в очень маленьком количестве. Много лет утекло, прежде чем его начали выращивать для пропитания. Случилось это, когда Галеаццо Мария Сфорца, пятый герцог Милана, представил его своим соплеменникам. В 1475 году, за год до своей смерти, он послал двенадцать мешков риса Эрколе I, чтобы тот выращивал его в Ферраре.

Паста — более старый продукт, чем рис. Боккаччо в «Декамероне» живописно отмечает: «В области, что зовется Бенгоди, где виноградники подвязывают колбасами, а гуся с гусенком в придачу можно купить за фартинг, есть гора. Сложена она из тертого сыра пармезан. Люди на ней работают целый день: лепят

пасту и равиоли, готовят в соусе из каплуна, а потом скатывают вниз, и кто больше ухватит, тот больше и съест». Находилась Бенгоди, должно быть, где-то в Ломбардии или Эмилии, родине колбас и пармезана.

## 11

Большинство людей слышало о «Миланской гадине», и многие читали роман, который так и называется. Возможно, некоторые из вас видели доспехи, изображающие огромного змея, стоящего на хвосте, с маленьким человеком в огромной пасти. Монстр, пожирающий ребенка. Такой неприглядной была эмблема Висконти. Существует рассказ о том, что член этого семейства во время крестового похода убил сарацина и присвоил себе его эмблему. Надо сказать, что пришлась она как нельзя кстати: семья отличалась змеиным нравом и готова была пожрать всякого, кто оказывался на ее пути.

Среди благородных семейств средневекового Милана Висконти были наиболее дееспособными и хитрыми. Они захватили власть и не выпускали ее из рук более ста лет. В современном городе о них сейчас мало что напоминает, за исключением собора, строительство которого, как я уже говорил, задумали именно Висконти. Выродившись, они сумели возродиться в семействе Сфорца, которое и приняло от них эстафету. Последняя из рода, незаконнорожденная дочь наделила дом Сфорца всеми качествами Висконти — хорошими и плохими, и вторая семья стала отражением первой, увековечив даже имя Висконти — Галеаццо Мария. Такого необычайного имени в Италии вы больше не встретите. Дано оно было, по слухам, сыну Маттео иль Гранде, потому что Родился он в январскую ночь 1277 года под крик петухов — *ad cantu galli*, — а имя Мария

Висконти давали всем мальчикам с тех пор, как молитва Галеаццо III Деве Марии о наследнике была услышана.

Висконти были связаны и с Плантагенетами.<sup>[21]</sup> Когда я брожу по Милану, мне кажется нереальным, что по этим улицам мог ходить Чосер, или что Лионель, герцог Кларенский, самый высокий и красивый из сыновей Эдуарда III, женился на Виоланте, дочери Галеаццо III, и что Болингброк задолго до того, как сделаться королем Генрихом IV, посетил двор Милана и подружился с Галеаццо III. Генрих даже вскружил голову юной наследнице Висконти, но ей не удалось заполучить его, а то она была бы королевой Англии.

О чем думали Плантагенеты, когда в 1368 году ехали в Ломбардию на свадьбу Лионеля? Туда двигалась кавалькада из пятисот аристократов и более тысячи лошадей. Они направлялись в страну состоятельных людей, богатейшими среди которых были Висконти. Эти люди сделали себя сами. Аристократами по рождению — в феодальном смысле этого слова — они не являлись; короля у них не было, но они находились в некой зависимости от отсутствующего императора. Путешественники готовили англичан к тому, что им предстоит увидеть странную землю, где элита жила не в замках, а в городских стенах, как какие-нибудь купцы. Впрочем, многие из них купцами и являлись. Страна эта вряд ли могла чем-нибудь удивить английских аристократов. Вышло же все по-другому. Когда они своими глазами увидели эту землю, изумлению их не было конца: правители здесь нанимали армию, а сами на войну не ходили, сидели, словно купцы, и руководили битвой за столом, а не с седла, как полагалось бы королям.

Начиналась эра Ренессанса, и хитроумный принц пришел к власти задолго до того, как кто-то услышал о Макиавелли. Богатства Милана более ста лет продолжали удивлять средневековых

путешественников. Мощные улицы, каменные дворцы, набитые товарами магазины, фабрики — все это изумляло чужестранцев точно так же, как поражали в начале XX века приезжих Соединенные Штаты Америки. Все, что производилось в Милане, было сделано на высшем уровне. Здесь выхаживали лучших военных лошадей, изготавливали лучшее оружие. Боевые кони паслись на прекрасных заливных лугах. Рассказывают, что во время государственных праздников воины Милана вставали по обе стороны улицы с поднятым вверх оружием, заключенным в ножны из инкрустированной стали. Миланский шелк славился по всей Европе, как и спряденная и окрашенная в Милане шерсть английских и французских овец.

Во время свадебных торжеств Плантагенетов — Висконти в Милане было два злодея: Галеаццо II и его брат Бернабо — страной они правили на равных условиях. Трудно отыскать двух столь непохожих друг на друга людей. Бернабо, грубый старый солдат, женился на Беатриче делла Скала из Вероны, имя которой до сих пор на устах меломанов. Семья Бернабо была большая, и, несмотря на то, что он прижил тридцать шесть незаконных детей, жена — по слухам — нежно его любила. Бернабо был к тому же страстным собачником; несчастные крестьяне должны были обслуживать пять тысяч охотничьих собак. Чувством юмора Бернабо не отличался; в нем не было тонкости, только грубость и жестокость. Однажды ему чем-то не понравилось письмо папы, он запихал его в глотки посланцев, двух бенедиктинских аббатов, и заставил тех разжевать его вместе с печатью и шелковыми лентами. Чосер, должно быть, проявлял к нему интерес, потому что он встречался с ним, когда ездил по делам в Милан. Другой брат, Галеаццо II, отличался более мирным нравом, да и семья у него была не такая многочисленная: двое детей — дочь Виоланта и сын,

будущий Галеаццо III, ставший впоследствии самым властным и зловещим Висконти. Но в 1368 году, когда англичане подъезжали к городским воротам, до этого времени было еще десять лет.

Англичан приветствовал весь двор. Светлые волосы Галеаццо II украшал венок из роз. Свадебная церемония проводилась перед дверями церкви Святой Марии Лаго-Маджоре, а на пиру даже мясо было позолочено. Трубы приветствовали появление нового блюда — было их всего шестнадцать, и каждый раз при этом гости получали подарки. Кому-то дарили воинские доспехи или собак в золотых ошейниках; некоторые получали рулоны шелка и парчи или соколов, присоединенных золотой цепочкой к жердочке, покрытой бархатом и золотым кружевом. Рассказывают, что среди приглашенных на свадьбу гостей был Петрарка, а стало быть, нарождалась новая эпоха. Присутствовал и французский поэт Фруассар. Возможно, он сидел рядом с Петраркой — старый романтический и рыцарский век бок о бок с новым миром платоновской академии. Фруассар получил в дар тунику из дорогой материи, сидевшую на нем, как перчатка. К сожалению, союз между Плантагенетами и Висконти оказался недолгим: Лионель, герцог Кларенский, умер пять месяцев спустя. Возможно, гостеприимство, оказанное ему в жарком климате, не пошло ему на пользу. Его похоронили в Павии, позднее останки перевезли в Англию и погребли в Клэре, в Суффолке.

Зачем Чосер ездил в Милан спустя десять лет, неизвестно. Миссия была дипломатической, а возглавлял ее сэр Эдвард Беркли. Так как встречались они с Бернабо Висконти, возможно, дело касалось войны с Францией, а может быть, разговор шел о браке дочери Бернабо Катерины и одиннадцатилетнего Ричарда II. В мае поэт выехал из Лондона в Ломбардию. Все, что нам известно о его путешествии, — это отчет о расходах: в

день ему выдавали по 13 шиллингов. Чосер не в первый раз поехал в Италию: в 1372 году он уже побывал в Генуе и Флоренции, и все равно он поразился выстроенному из камня Милану. Какой контраст с немощным Лондоном, из которого он только что выехал! «Сточные канавы новые, улицы вымощены камнем, и воров, кажется, нет вовсе, — пишет Марчет Чут в книге „Джеффри Чосер из Англии“ („Geoffrey Chaucer of England“). — Каждый трактир отвечает за регистрацию гостей и записывает их имена в специальный журнал. У Висконти была собственная почта, которой он иногда разрешал пользоваться и другим. В почтовой конторе на письма ставили штамп и не вскрывали, если только у Бернабо не было причин подозревать какую-то крамолу».

Поселили Чосера, должно быть, в старом замке Висконти, который и сейчас стоит на том же месте и где Бернабо жил вместе со своим многочисленным законным и незаконным потомством. Английские послы обсуждали дела, как мне кажется, в большом зале, давно исчезнувшем, а жаль — ведь фрески для него писал сам Джотто. Могу представить, как Чосер, лежа в огромной итальянской кровати в комнате, облицованной камнем и увешанной гобеленами, прислушивается к доносящимся до него звукам миланского утра и думает о комнатке над Олдгейтом, восточное окно которой смотрит на поля бедного Уайтчепела, где хранятся его книги. Ничуть не сомневаюсь, что Чосер сживал и в библиотеке, которую Бернабо собрал в замке. Возможно, поэт, как и любой другой турист, посетил дом возле базилики Святого Амвросия, тот самый, в котором несколько лет прожил Петрарка. «Италия Для Чосера была и тем, чем для современного американца является Европа, и тем, чем Америка является для современного европейца, — писал доктор Коултон.<sup>[22]</sup> — В Ломбардии и Тоскане он увидел намного больше, чем в Брюгге, — новые способы

торговли и промышленности, более просторные деловые постройки, чем даже в родном его Лондоне. К тому же в Италии он нашел то, что так восхитило Рескина в первый его приезд в Кале: здесь „неразрывны связи между прошлым и настоящим...“». Если Чосер когда-либо и встречал Петрарку или Боккаччо, то произойти это должно было во время первого его посещения Флоренции — в 1372 году, потому что в следующий его визит обоих уже не было на свете.

Интересно представить себе Чосера, шагающего по улицам Флоренции за семьдесят лет до Лоренцо Медичи и Боттичелли. Должно быть, он беседовал с пожилыми флорентийцами, видевшими Джотто за работой над колокольной. «Большая часть того, что радует путешественника в современной Италии, существовала уже при Чосере, — писал доктор Коултон, — причем видел он и много того, чего нам никогда не увидеть... Бледные тени фресок, на которые смотрим мы с горьким чувством, были тогда во всей своей красе и свежести, а тысячи других давно исчезли». Когда он ходил по улицам Флоренции, воспетым Боккаччо, то видел те самые деревья на склонах Фьезоле, под которыми рассказывали свои истории любовники «Декамерона». Чосер был там в тридцатилетнем возрасте, и он не написал еще ни строчки из «Кентерберийских рассказов». А когда написал, то в «Рассказе монаха» упомянул о смерти Бернабо Висконти, случившейся в 1385 году, через семь лет после посещения поэтом Милана. «Это, — говорит мистер Когхилл в „Кентерберийских рассказах“, — самое последнее историческое событие, опубликованное в поэме». А вот и строчки Чосера о смерти Бернабо — по версии господина Когхилла:

Варнава Висконти, Милана славный государь,  
Варнава Висконти, бог разгула без препон



И бич страны! Кончиною кровавой  
Твой бег к вершине власти завершен.

Двойным сородичем (тебе ведь он  
Был и племянником и зятем вместе)  
В узилище ты тайно умерщвлен,  
— Как и зачем, не знаю я по чести. [\[23\]](#)

Так описано самое коварное и драматическое событие в истории средневекового Милана, и многие англичане встречали непосредственных участников этой истории. Среди них был Джан Галеаццо, единственный сын Галеаццо II. Ему было пятнадцать лет, когда его сестра вышла замуж за Лионеля Кларенского. Подросток появился на свадебном пиру в великолепном платье. Под началом Джана Галеаццо была группа юношей, одетых в военные доспехи, изготовленные лучшими оружейниками Милана. Галеаццо был прилежным и застенчивым молодым человеком. Он производил впечатление книжного червя, для которого библиотека — самое лучшее место на свете. Когда его отец умер в 1378 году, а он сделался Галеаццо III, ему исполнилось двадцать пять лет. Его старый дядя — Бернабо, с которым он разделял управление государством, считал, что характер племянника недостаточно тверд. В течение семи лет Галеаццо был образцовым принцем. Доброта и человечность привлекли к нему в Павии бесчисленных друзей. В этом городе была резиденция принца, Бернабо же жил в Милане. Постарев, дядя сделался еще более раздражительным и властным. Однажды Галеаццо решил навестить усыпальницу Девы Марии в Варесе. Рассказывают, что по пути он хотел заехать в Милан, чтобы обнять любимого дядюшку. Бернабо выехал навстречу племяннику и улыбнулся: «Бедняга, какой же он трус: отправившись в короткое путешествие, он

захватил с собой охрану из четырехсот солдат». Галеаццо что-то прошептал, охрана сомкнулась вокруг Бернабо Висконти и сопровождала его в Милан в качестве пленника. Дворец был разграблен, а члены большого семейства Бернабо убиты. Галеаццо провозгласили единственным правителем. Семь месяцев спустя старик Бернабо умер в тюрьме. Высказывалось предположение, что его отравили.

Змей Милана правил в течение семнадцати лет. Хотя сам он на поле боя никогда не появлялся, армия его повсюду одерживала победы. Он был успешен во всем, за исключением отцовства. Как я уже говорил, огромный собор в Милане — колоссальный памятник, отражавший его желание получить наследника. Это был тот самый Висконти, величайший правитель своего времени. Он подружился с Болингброком за много лет. До того, как тот стал Генрихом IV, королем Англии.

Хотя Генрих был довольно слабым монархом, в бытность свою принцем он много путешествовал и любил приключения. По характеру он был чем-то вроде странствующего рыцаря, путешествовал по Англии и Европе, посещал турниры и рыцарские поединки. В 1393 году, когда ему было двадцать шесть лет, он провел два охотничьих сезона с тевтонскими рыцарями, охотясь за несчастными литовцами, оказавшимися христианами. Когда «крестовый поход» был окончен, Генрих Болингброк, чей титул в то время был — граф Дерби, в сопровождении друзей и слуг направился домой через Вену и Венецию. Дождь принял его, а Сенат дал разрешение нанять галеру, чтобы отправиться в Святую Землю. Вернувшись в Венецию, он и его компаньоны нарядились в новые шелковые и бархатные одежды и отправились выбирать жилье. О прибытии Генриха заранее сообщали два герольда. Они ехали впереди, чтобы выбрать дома и конюшни и прибить к ним геральдические щиты.

Прибыв в Милан, Генрих узнал, что Галеаццо готов признать свое с ним родство, вспомнив злополучный союз Лионеля и Виоланты, заключенный тридцать лет назад. Хотя Болингброку было немногим больше двадцати, а Галеаццо почти пятьдесят, они сделались друзьями. Опять появилась возможность заключить брак английского принца и девицы рода Висконти. Девушкой была пятнадцатилетняя Лючия. Она сказала, что влюбилась в Болингброка и ни за кого другого замуж не пойдет! Следует сказать побольше об этой односторонней любви. Лючия так и не вышла замуж за своего героя, но судьбою ей было назначено жить и умереть в Англии. Через четырнадцать лет, когда Болингброк стал королем Генрихом IV, он вспомнил о своей «добродетельной родственнице» и подыскал для нее английского мужа, красивого и галантного молодого Эдмунда Холланда, графа Кентского. Брачному союзу англичанина с Висконти опять не повезло: не прошло и года, как Лючия овдовела. Ее мужа убили в Бретани во время осады крепости. Она, однако, в Милан не вернулась, осталась в Англии и пережила и короля, которого любила, и его сына, Генриха V. Лючия умерла в 1427 году на земле, которую никогда бы не увидела, если бы принц не посетил Милан.

Когда для Болингброка настала пора сразиться на турнире с Моубреем — читатели Шекспира вспомнят, что такие поединки были запрещены Ричардом II, — оружие он выбрал миланское. Галеаццо очень хотелось, чтобы его друг был хорошо защищен, и он послал в Англию несколько своих искусных оружейников проследить, чтобы все было сделано, как следует.

Большого интереса заслуживают интеллектуальные занятия Болингброка. Не следует ли первым англичанином, заинтересованным в новых науках, назвать короля, а не его сына, почтенного герцога Хамфри, которому всегда приписывали эту честь?

Болингброк был первым английским королем, который начал собирать книги и передал любовь к знаниям своим сыновьям. Он был также щедр к ученым и писателям: Чосеру король удвоил денежное довольствие, поощрял Джона Гоуэра и пригласил поэтессу Кристину де Пизано ко двору. Интересно, знал ли он греческий язык? Во всяком случае, вполне можно допустить, что, будучи в Милане, он встречался с двумя важными греками, один из них — учившийся в Оксфорде Петр Филарг, архиепископ Милана. Шесть лет спустя Болингброк станет Генрихом IV, а Филарг — антипапой Александром V. Другой грек, Имануил Хрисоларас, был первым учителем классического греческого языка и, вполне возможно, преподавал в Павии во время пребывания там Генриха. Во всяком случае, Хрисоларас приехал в Лондон, когда Генрих уже стал королем, и посетил библиотеку собора, разыскивая старинные манускрипты. Герцог Хамфри явно многим был обязан своему отцу.

Сколько бы я ни смотрел на Миланский собор, то каждый раз думал о тщеславии человеческих устремлений и о родительских разочарованиях, ибо Галеаццо III верил, что его подарок Деве Марии будет быстро вознагражден. Когда стены выросли всего лишь на несколько футов, вторая его жена Катерина, бывшая одновременно ему двоюродной сестрой, произвела на свет сына и наследника, а спустя четыре года — второго. На радостях и из чувства благодарности Галеаццо постановил, что потомки его отныне должны носить имя Мария. Судьба была к нему милостива: он не узнал, что династия его закончится вместе с Джованни Мария и его братом, Филиппом Мария.

Второй герцог, Джованни Мария, был молодым садистом, которому нравилось смотреть, как волкодавы разрывают на куски преступников. Эта любопытная страсть к большим и свирепым собакам, кажется, была

особенностью рода Висконти. Вспомните хотя бы Бернабо Висконти и пять тысяч его гончих. Рассказывали, что его внук, недовольный охотничьими собаками, рыскал ночами по улицам Милана со своим охотником Скварсиа Жирамо и свирепой сворой, бросавшейся на все, что двигалось по городу. Когда второму герцогу исполнилось двадцать четыре года, три миланских аристократа убили его и бросили тело в собор, в тот храм, который его отец основал в качестве пожертвования за долгожданного наследника.

Третий и последний герцог Висконти, Филиппо Мария, отличался другим характером. Он обладал блестящим живым умом и хитростью, хорошо разбирался в людях: нанял лучших генералов и сумел не только восстановить пошатнувшийся порядок в своих владениях, но и увеличил его казну. Снова имя Висконти грозно звучало во Флоренции и Венеции. Как и его предшественники, он умел хранить секреты. С его разведывательной службой никто не мог тягаться. Сам же он был жалким созданием: боялся грома, а потому устроил себе в замке комнату со звуконепроницаемыми стенами и запирался в ней, дрожа от страха, во время грозы. Его эдикты, впрочем, приводили в подобное состояние целые государства и правительства! Женился он на женщине вдвое старше себя, но, когда она исполнила свою политическую роль, обвинил ее в адюльтере и казнил. Достигнув среднего возраста, растолстел и был очень раним в отношении собственной наружности, а потому не позволял писать с себя портреты и не показывался на публике. Он окружил себя астрологами и колдунами. Подданные, которые видели иногда его, бесшумно ступающего по ночным коридорам или молчаливо, тайком скользящего по каналу в лодке, чувствовали, что в нем есть что-то дьявольское. Нехотя он женился во второй раз, но в первую брачную ночь выл, как собака. С молодой женой не захотел иметь

дела, а убрал ее с глаз долой: запер в другой половине дворца вместе с женщинами и шпионами. Странно, однако: известно, что у Филиппо Марии было несколько преданных друзей и тайная многолетняя любовь талантливой женщины — Агнессы дель Маино, хотя и трудно поверить в правдивость всех этих слухов. Монстр точно не смог бы покорить Сердце такой хорошей женщины, как Агнесса дель Маино. У них была единственная дочь, незаконнорожденная Бианка Мария, очень хорошая, очаровательная и талантливая девушка. В юности она влюбилась в седовласого генерала, служившего у ее отца, — Франческо Сфорца. Они поженились, и, как я уже сказал, род Висконти снова продолжился.

## 12

Оперный театр Ла Скала занимает территорию в центре Милана. На этом месте шестьсот лет назад Реджина делла Скала, представительница знатной семьи Скалигер из Вероны, возвела церковь в благодарность за то, что бог подарил ей наследника. Она была женой Бернабо Висконти. В XVIII веке церковь Святой Марии делла Скала пришла в упадок, и участок дешево продали абонентам лож старого герцогского театра, которые захотели построить там новый оперный театр. Миссис Пьоцци, которая ходила в оперу, когда Ла Скалу только что построили, заметила, что многие семейства отказывались его посещать: их шокировало, что театр построен на некогда освященной земле.

Как странно, что имя Скала взяла и киноиндустрия. В современную жизнь вошло имя великой семьи. Их средневековые усыпальницы, окруженные могилами рыцарей, являются одной из достопримечательностей Вероны. Впрочем, и другие названия, взятые на

вооружение кинопрокатом: Колизей, Плаза, Тиволи, что странно, Альгамбра, и еще более странное Керзон, вызывают не меньшее недоумение. А вот такие названия, как Прадо и Питти, которые вызывают ассоциации с картинами, киношники почему-то не используют.

Как-то раз я купил себе билет в партер на вечернее представление. В Ла Скала давали «Богему». Трудно поверить, что здание в конце войны было совершенно разрушено, настолько прекрасно его восстановили. Самое замечательное — даже для того, кто ни разу не бывал здесь прежде, — это атмосфера, сохранившаяся с тех пор, как двести лет назад здесь прошли первые спектакли. Чудесным образом она царит и в новом здании. Фойе с таинственно мерцающими огнями, бюсты знаменитых композиторов, щебечущая публика, такая взволнованная, словно «Богему» в этот вечер собираются представить впервые. Серьезные капельдинеры, похожие на священников или служителей какого-то культа. Все это подчеркивает редкостное, витающее в воздухе предвкушение чудесного.

Капельдинер провел меня к моему месту. На нем был черный костюм и золотая цепь на шее (еще одна реликвия, оставшаяся со времен испанского завоевания?). Он торжественно поклонился, и мне показалось, что передо мной Мальво-лио. Я оглянулся по сторонам, увидел элегантный полукруг красных с золотом лож и снова поразился гению итальянских реставраторов. Все бережно и с любовью восстановлено: хрустальные люстры с газовыми лампами, хитроумно приспособленными под современное освещение; над авансценой странные часы с арабскими цифрами на циферблате: каждые пять минут они отбивали время, словно бы в Ла Скала или вообще в Италии это имеет значение. Мне трудно было поверить в то, что Байрон

никогда не сидел в этих ложах, что Стендаль не пил здесь ледяной шербет, а Сэмюэль Роджерс не смотрел отсюда на лошадей на сцене, встававших на дыбы во время балета. И Роджерс, и леди Морган отметили, что Ла Скала освещалась только на сцене, а Роджерс прокомментировал это следующим образом: «Итальянцы любят сидеть в темноте, вероятно потому, что можно по этому случаю и не одеваться, а может быть, и по другим причинам».

Интересно было наблюдать за тем, как собирается публика. Здесь были итальянцы, знающие «Богему» наизусть, были туристы вроде меня, почтенные дамы, которые, вернувшись в Нью-Йорк или Чикаго, заставят присутствующих, занятых спором, примолкнуть, стоит только им произнести фразу: «Когда я в Ла Скала слушала то-то и то-то...» Затем оркестр, невидимый, как и все оркестры, начал потихоньку настраивать инструменты, и, наконец, дирижер — с видом полководца на параде — шагнул на возвышение. Наступила тишина. Огни в театре медленно начали тускнеть и погасли, а огромная сцена затеплилась розовым светом, отраженным от красных и золотых лож, — впечатляющий, магический и исполненный традиций момент.

«Богема» совершенно меня очаровала. Казалось, будто я слышу ее впервые. Подмостки в Ла Скала такие огромные, что без большого количества статистов там не обойтись, иначе певцы просто потеряются. Сцена возле кафе в Латинском квартале с толпой (включавшей детей!) в костюмах XIX века произвела на меня грандиозное впечатление.

В первом антракте я случайно повстречал старого приятеля. Он много писал о музыке и музыкантах; ему я и высказал свое удивление, что Ла Скала ставит зрелища, которые и в Париже никто бы не осилил. Приятель ответил, что так было всегда, и посоветовал



мне заглянуть в отчет о премьере 1778 года, когда давали «Признанную Европу» А. Сальери. Я последовал его совету. Должно быть, то был незабываемый вечер: поднялся занавес, зрители увидели бушующее море, вспышки молнии, деревья, раскачивающиеся на берегу, корабли, налетающие на скалы. Затем из судна вышли актеры, на сцене сражались вооруженные отряды, тут же было тридцать шесть лошадей. Борьба, огни, единоборство с хищными животными, а потом Фаэтон упал на землю, сраженный молнией.

Я спросил у приятеля, как появилась опера, и получил удивительный ответ, что начало ей положил отец Галилея. Он любил петь и играть на лютне перед заинтересованной аудиторией, состоявшей из интеллектуалов эпохи Ренессанса. Происходили эти песнопения в особняке Барди во Флоренции. Дилетанты того времени думали, что возрождают греческую трагедию, а оказалось, что они произвели на свет итальянскую оперу.

За последние сто пятьдесят лет манеры в оперном театре сильно изменились. Когда-то они были такими же непосредственными, как в старых лондонских мюзик-холлах. Лаланд в книге «Путешествие по Италии» вспоминает о своих посещениях старого герцогского оперного театра в Милане, Ла Скала тогда еще не был построен: «Любители оперы появлялись там со своими слугами и обедами, которые разогревали в ресторане, что находился поблизости». «При ложах имелись гостиные с каминами и карточными столами, — об этом написал доктор Бёрни, отец Фанни, — а при ложе великого герцога была и спальня». Берлиоз в своих мемуарах отмечает, что он не мог слушать оперу из-за постоянного бряканья посуды. Но все это меркло в сравнении с миланскими праздниками 1779 года. Во время спектакля там подносили тарелки с дымящимся минестроне и огромные куски телятины. Только во

время популярных арий стихал звон ножей и вилок, наступала благоговейная тишина. Миссис Пьюэци обратила внимание на любопытное обстоятельство: в Ла Скала среди публики она видела женщин, одетых в мужскую одежду. «Меня удивляет бесстыдство некоторых женщин, — пишет она, — я об этом и понятия не имела, пока приятельница не показала мне как-то во время вечернего представления находившихся в зале женщин низкого происхождения, скорее всего, жен мелких торговцев. Было их от пятидесяти до ста человек, и сидели они в разных местах партера. Одеты в мужское платье, они называют это *per disimpegno*.<sup>[24]</sup> В таком виде им, должно быть, сподручнее хлопать и свистеть, скандалить и толкаться. Я была в шоке».

Во время следующего антракта я обнаружил, что музей при театре открыт для посетителей. Помещается он в мраморном дворце, примыкающем к зданию театра. Мне он показался таким интересным, что я едва не опоздал на следующее действие. Я шел из одной прекрасной комнаты в другую, Разглядывая экспозицию, составленную с чрезвычайным вкусом. В одной комнате были древнегреческие и римские бронзовые и терракотовые статуэтки; кубки, монеты с изображением цирков и амфитеатров; другая комната целиком была посвящена комедии дель арте. В следующем зале я загляделся на сицилийские марионетки, там же лежали рукописи Доницетти, образчик изящного почерка Шопена и тут же другой, грубоватый, принадлежащий Верди. Таким людям, как я, музыканты кажутся волшебниками, а вот писатели и художники такого ореола в моих глазах не имеют. Выставка меня и очаровала, и тронула, так что я не удержался и пришел туда на следующее утро. Бродя по комнатам, я слышал звук фортепьяно, раздававшийся из оперного театра. Пройдя по узкому переходу, соединяющему музей с лоджией, я неожиданно попал на репетицию. В зале

было пусто и темно, а сцена лишилась волшебной иллюзии: там собралась группа людей в обыкновенном платье. Кто-то перешептывался в углу, кто-то разучивал маленькие куски роли. В центре стояли две суровые женщины в юбках и блузах и громко пели, а грациозные юные танцовщицы совершали возле них волнообразные движения и пируэты. Солидный мужчина в коричневом полосатом костюме играл на фортепьяно, но когда певицы добирались до определенной ноты, постановщик выпрыгивал из темноты, останавливал пение, и все начиналось заново. Ничто так не убивает магию, как репетиция с ее постоянными срывами, атмосферой неминуемого провала и стремлением к недостижимому идеалу. У писателя и художника есть, по крайней мере, одно преимущество: они страдают в одиночестве.

Один из менеджеров сказал мне, что Ла Скала ставит каждый год по шестнадцать опер, причем билеты раскупаются так быстро, что шесть постановок даже не успевают войти в репертуарный список, вывешенный в театральной кассе. Традиция требует, чтобы, по меньшей мере, по одной опере принадлежало перу Россини, Беллини, Доницетти, Верди и Пуччини. Сезон начинается в декабре, а заканчивается в июне, а затем следует короткий период в июле с билетами по низким ценам.

В оркестре 107 музыкантов, в хоре — сто человек, технический персонал насчитывает тоже сто человек. До Тосканини Да Скала считалась коллективом оперных певцов, а начиная с него дирижер стал абсолютным монархом. Театр вмещает три тысячи зрителей, в год продают в среднем полмиллиона билетов. Мне особенно нравится негласный порядок, согласно которому любой платежный дефицит в театре покрывается при помощи городских налогов на кино и другие развлечения.

Хотя Верди умер в миланском отеле всего лишь около шестидесяти лет назад, я не смог найти его могилу ни в одной из церквей; и сторожа, и священники в ответ на мой вопрос вздыхали, надували щеки, пожимали плечами и разводили руками с видом отчаяния, после чего высказывали предположение, что он, должно быть, погребен возле Пармы. Об этом я в разговоре упомянул издателю книг по музыке, с которым вместе завтракал в ресторане. Тот пришел в ужас: подумать только, его соотечественники не знают, где похоронен любимый музыкант Италии.

— Это фантастика! — вскричал он. — Если бы об этом сказали мне не вы, — добавил он вежливо, — я ни за что бы ему не поверил. Ну, разумеется, любой человек в Милане должен знать, что Верди погребен не в церкви, а на площади Буонарроти.

После ланча он сказал:

— Пойдемте туда.

Ехать оказалось довольно далеко. Площадь находится в западной части Милана, среди широких проспектов, имена Которых представляют любопытную историческую мешанину: виа Эльба; виа дель Гракхи; виа Веппри Сицилиане; виа Джорджа Вашингтона. Здесь, в центре площади Буонарроти, мы увидели статую Верди в окружении необычной группы аллегорических фигур, таких как Мир сельской жизни, Поэзия патриотизма и Трагедия ненависти. Мой знакомый указал на ворота здания, расположенного напротив.

— Там, — сказал он, — похоронен Верди.

Мы перешли на другую сторону и вошли в место упокоения музыканта.

В 1899 году, за два года до смерти, Верди распорядился, чтобы после кончины доход с его опер направляли в дом, в котором жили сто бедных музыкантов — мужчин и женщин. Флигель, где живут старики, обращен к дому, в котором живут старушки. Разделяет эти два здания симпатичный двор. Дорожка позади двора ведет к склепу с мозаичными арками. С мраморной балюстрады мы смотрели вниз на могилу Верди, рядом с которой находится могила второй его жены, Джузеппины Стреппони. На стене прибита мемориальная доска, установленная в память недолгой его женитьбы на Маргарите Бареззи. Над бронзовыми памятниками эпитафия; «Он всех оплакивал и всех любил».

Привратник сказал нам, что в пансионате, в добротных квартирах, живут шестьдесят стариков и сорок старых женщин. «К сожалению, — добавил он, — авторские права Верди заканчиваются, и скоро надо будет искать другой источник вспомоществования».

Во время сиесты никого из старых музыкантов не было видно и слышно. Мы подумали, что если среди них есть восьмидесятилетние, то, будучи молодыми, они могли лично знать маэстро. Приятно думать, что когда бы ни исполнялась опера Верди со времени кончины композитора, событие это помогало поддерживать музыкантов, не обладавших ни его гением, ни его богатством, ни — следует добавить — его замечательной деловой хваткой.

## **Глава вторая. Из Милана герцогов Сфорца в Павию**

***Замок Сфорца. — Лодовико иль Моро и Беатриче д'Эсте. — Убийство в замке. — «Тайная вечеря». — Изобретения Леонардо. — Байрон в Амброзиане. — Волосы Лукреции Борджиа. — Павия и ее университет. — Чертоза и рассказ о могиле.***

### **1**

Замок Сфорца из красного кирпича стоит на огромной площади, с которой автобусы уезжают в очаровательные места, такие как Бергамо. Когда сто лет назад город приобрел замок в собственность, здание почти развалилось, но, вместо того чтобы снести постройку под благовидным предлогом — ведь замок являлся символом угнетения, — ее бережно отреставрировали, так что сейчас трудно представить себе, что в этом здании могло происходить что-то более волнующее, чем муниципальное собрание. Когда я перешел мост напротив главных ворот, то заметил садовников, подстригавших газон, а внутри, где когда-то теснился военный городок, забитый испанскими пушками, обнаружил ухоженные лужайки и цветочные клумбы. И все же это был тот самый замок, описанный путешественниками XVII века как одна из самых могущественных цитаделей в Европе.

Мраморные залы с высокими потолками сменяют друг друга. Реставраторам удалось убрать следы, оставленные французами, испанцами и австрийцами, и восстановить первоначальный облик замка, каким его

знал Сфорца. Я шел по залам, в которых размещен теперь городской музей, и меня сопровождали любезные и знающие служители. Они вежливо раскланивались со мной на границе своей территории и передавали коллеге из другого зала. Обычно грамотный итальянец, проведя свою жизнь в музее, делается любителем-историком или искусствоведом. Я сравнивал их с некоторыми английскими музейными работниками, которые, проработав всю жизнь, не хотели знать даже Британский музей.

Я поблагодарил служителя и сказал ему, что Сфорца был моим любимым кондотьером. В качестве благодарности за такие слова он подвел меня к окну, и мы посмотрели вниз на площадь, где когда-то один из величайших мировых шедевров расстреляли скучающие французские лучники. Это была глиняная модель огромной конной статуи Франческо Сфорца, которую сын его, Лодовико Сфорца, заказал Леонардо да Винчи. Статуя должна была быть отлита в бронзе, но, в связи с вторжением французов и падением Лодовико Сфорца, так и не была закончена. Можно не сомневаться: если бы не эти прискорбные события, прекраснее статуи никто бы не создал.

История этой работы оказалась любимой темой гида. Мы высунулись из окна, и служитель рассказывал мне о том, как Леонардо хотелось превзойти статую кондотьера Коллеони в Венеции, выполненную Верроккьо, и творение Донателло в Падуе, посвященное Гаттамелате. Леонардо мечтал посадить Франческо на спину вставшего на дыбы боевого коня, чего не мог осуществить в то время ни один скульптор. В Виндзорском замке в королевской коллекции имеется набросок такой лошади, но проблема ее создания была слишком сложна, и глиняная модель Леонардо, бывшая одной из достопримечательностей Милана, представляла собой идущую лошадь. Над этой

скульптурой он трудился одновременно с работой над «Тайной вечерей», но в связи с французским вторжением тонны металла, собранного для статуи, Лодовико Сфорца отправил в Феррару шурина, чтобы тот отлил из него пушки. Миру пришлось ждать почти сто лет, прежде чем он увидел вставшую на дыбы лошадь со всадником в седле: это был Филипп III Испанский — памятник стоит среди цветочных клумб у королевского дворца в Мадриде.

— А когда французы заняли замок, — с возмущением сказал мой гид, — гасконские лучники воспользовались бессмертным произведением Леонардо как мишенью. Какие варвары!

— Сами вы не хотели бы стать кондотьером? — спросил я.

— Если бы был мальчишкой, — ответил он, — наверняка сказал бы «да», но не сейчас. Войны я посмотрелся.

Он рассказал мне, что был военнопленным в Претории.

До XVI века все в Италии знали: станешь капитаном наемников — проложишь себе дорогу к славе и богатству. Многие кондотьеры были старыми солдатами, как, например, англичанин сэр Джон Хоквуд, который под конец Столетней войны устроил в долине реки По повторение битв при Креси и Пуатье, только в более скромном масштабе. Среди других кондотьеров встречались и итальянцы, как аристократы, так и люди низкого происхождения. Все они хотели завоевать мир, присоединялись к военному отряду и подписывали контракт с обязательством служить до конца боевых действий. Так как система строилась на денежной выгоде и корыстных соображениях, некоторые из наемников в критический момент переходили на сторону врага, а потому честная репутация ценилась особенно высоко. Это редкое качество отличало, по слухам, таких



командиров, как Хоквуд, Коллеони и Сфорца. Для нас, кто знает, как страшна может быть война, очарование этой системы было в ее безопасности. Никогда раньше, и уж тем более потом, война не была такой безопасной. Достаточно лишь взглянуть на статуи Коллеони и Гаттамелата, чтобы увидеть: кондотьеры, заслужив военную славу, в то же время сделали все, чтобы избежать какого-либо риска. Они превратили войну в подобие стипл-чейза<sup>[25]</sup> или регби. Больше всего страдали от войны несчастные крестьяне, жившие за крепостными стенами: дома их разрушили, урожай забрали, а скот увели.

Задачей кондотьеров было продлевать войны настолько возможно и при этом сохранять жизни солдатам, так как неумный командир, терявший в сражении людей, лишался капитала и становился банкротом. Система позволяла заключать секретные соглашения, сделки. Если солдат можно было бы назвать отрядом братьев, то такое сравнение лучше всего подошло бы кондотьерам. Во взаимоотношениях друг с другом они напоминают современных адвокатов-барристеров: после утренней шумной драки вполне мог последовать мирный совместный обед. Иллюстрацией к этому могут быть взаимоотношения двух заклятых врагов, которые в частной жизни являлись преданными друзьями и даже составили завещание, согласно которому каждый из них в случае несчастья становился опекуном семейства друга!

Я шел по залам замка Сфорца и думал, что здание, возможно, является самым убедительным доказательством того, какую карьеру мог сделать кондотьер: ведь когда он начинал, кроме коня, меча и родительского наставления, у него ничего не было. Франческо Сфорца в Средневековье смог сделаться герцогом Милана и стать родоначальником одной из величайших итальянских династий. Отцовское

наставление заключалось в следующем: истинный воин не имеет права совращать чужую жену, бить слугу (а коль скоро это случилось, то следует немедленно уволить его), а также надевать на лошадь жесткую уздечку.

Столь простые советы кажутся неподходящими для мира, в котором вырос Франческо, с его коварством, интригами и высокой политикой. Это был век великих кондотьеров, когда командиры, смутно предчувствуя, что господству их приходит конец — на пороге стояли кровожадные французские войска, — окунули Италию в хаос: стараясь захватить единоличную власть, они натравливали одну часть страны на другую. Игра была опасной, и даже самые отчаянные игроки попадали в ловушку, как, например, могущественный Франческо Буссоне из Карманьолы. Ответив на любезное приглашение своих хозяев, он поехал в Венецию, и одним прекрасным утром его увидели подвешенным за ноги между колоннами пьядетты Святого Марка. Его обрядили в красную одежду и засунули в рот кляп.

Молодой Сфорца связал свою судьбу с принцем Филиппо Мария, третьим герцогом Милана, последним из рода Висконти. Я уже рассказывал о некоторых его чертах: о страхе быть увиденным, привычке плавать по ночным каналам, о боязни грозы, из-за которой он укрывался в звуконепроницаемой комнате, о маниакальной подозрительности. Во время аудиенции никто не смел приближаться к окну. Филиппо подозревал всякого, кто прислонялся к подоконнику, в стремлении подать предательский сигнал кому-то, кто стоит внизу. В результате, по знаку Висконти, стражник закалывал несчастного ножом. Подозрения Филиппо распространялись и на командиров. Хитроумный параноик знал, что настанет момент в карьере солдат удачи, когда они перестанут быть его подданными. Неудивительно, что он ощущал себя неподвижной

мишенью. Род Висконти на нем заканчивался, у него была единственная незаконнорожденная дочь, Бианка. Когда она была еще в пеленках, Филиппо Мария обещал ее в жены сразу нескольким придворным — так он надеялся обрести преданность подданного. Среди этих предполагаемых зятьев был и Франческо Сфорца. Ему был тридцать один год, а Бианке Висконти — восемь. Говорят — и, возможно, что так оно и было, — став подростком, девочка романтически влюбилась в привлекательного и властного генерала. Через девять лет, когда Бианке исполнилось семнадцать, а Франческо — сорок, они поженились. К тому времени у Франческо было двадцать два незаконнорожденных ребенка. В те времена молодая жена, имевшая представление о жизни, ничуть не удивилась, увидев, что ее окружает толпа пасынков старше ее самой. Брак оказался очень удачным.

Когда в 1447 году Филиппо Мария умер, жители Милана снесли замок Висконти и провозгласили республику, которая еще три года влачила жалкое существование. Наконец, окруженные со всех сторон врагами, горожане радостно поприветствовали своего четвертого герцога Франческо Сфорца и герцогиню Бианку Висконти, пользующихся финансовой поддержкой Козимо де Медичи. Итак, старый кондотьер, а ныне герцог, въехал в Милан в 1450 году в сопровождении войска, обвешанного буханками хлеба, предназначенного горожанам: во время осады миланцы сильно голодали.

После экстравагантного правления Висконти миланцам приятно было иметь дело с правителями, которые тратили деньги умеренно. Сначала у Бианки было только четыре придворные дамы, а однажды Франческо написал маркизу Мантуи письмо, в котором просил его не приезжать в Милан в субботу, так как «в этот день женщины будут мыть голову, а у солдат тоже

будут домашние дела». В отличие от Висконти, преклоняющегося перед астрологами, Франческо открыто издевался над предсказателями и отказывался консультироваться со звездами перед тем, как что-то предпринять. Одному астрологу, пожелавшему составить для него гороскоп, Сфорца заявил, что забыл день своего рождения, хотя, можно не сомневаться, у его секретаря эта дата была записана. Франческо всегда был доступен, добродушен и наделен исключительной памятью на имена и лица, а это — как тогда думали — немаловажное достоинство принцев. Помнил он не только имена своих старых солдат, но и клички их лошадей. Такой талант приписывали также конкистадору Эрнану Кортесу.

Миланский замок представлял собой руины. Горожане пытались вытравить все воспоминания о Висконти. Расположив к себе всех своей приветливостью, солдатским чувством юмора и приверженностью к справедливости, Франческо Сфорца в то же время нанял три тысячи человек на восстановление замка. Это был признак зарождения новой династии. Они с Бианкой никогда там не жили, а занимали маленький дворец Корт д'Арего, который, к сожалению, не сохранился, а был он, должно быть, великолепным, ведь расписывали его такие художники, как Фоппа и Моретто. В одном дворе были фрески античных героев, в другом портреты кондотьеров, друзей и недругов Франческо.

У молодой герцогини и пожилого ее супруга была большая семья. Герцог предоставил супруге воспитание детей. Она наняла знаменитого ученого, но неприятного человека Франческо Филельфо, который уже несколько лет жил в Милане, и он обучил детей Сфорца изысканной латыни — как мальчиков, так и девочек. Сохранились письменные свидетельства о высказывании императора Фредерика III, которого более всего в

Италии потрясла приветственная речь старшего сына Франческо Сфорца — Галеаццо Мария Сфорца. Тогда ребенку было восемь лет. Ученые до сих пор затрудняются определить начало эпохи Ренессанса, но мы можем быть Уверены: Ренессанс был уже в полном расцвете, когда ораторы-младенцы шепеляво произносили свои гекзаметры перед римским папой или императором. Возможно, вы подумаете, что на таких церемониях публика украдкой зевала? Это не так: чудесные младенцы вызывали восторг и изумление. Письма домой также были хвастливы и проникнуты самодовольством, как, например, письмо на безупречном латинском, отосланное матери одним из детей Сфорца. В нем он сообщает, как ходил на соколиную охоту и убил семьдесят перепелов, двух куропаток и фазана. Заканчивается письмо словами: «Не подумайте, Ваше Высочество, что я забросил работу, ведь она принесет мне куда больше пользы, чем охота». Так и чувствуешь, что Филельфо дышит ученику в затылок.

В Коллекции Уоллеса в Лондоне можно увидеть известную фреску «Джан Галеаццо Сфорца читает Цицерона», авторство которой приписывали сначала Браманте, а позднее Фоппа. Такое зрелище многих очарует и заставит улыбнуться. В классной комнате мы видим маленького мальчика — лет шести или семи. Он сидит на жесткой деревянной парте, какие еще сохранились в некоторых современных деревенских школах. Позади него открытое окно. Одну ногу мальчик закинул на подоконник и в задумчивости погрузился в чтение. Возле него лежит еще одна открытая книга, возможно, латинский словарь. Нет более очаровательной картины из этого сурового исторического времени.

Хотя Франческо и был доволен тем, что жена взвалила на себя обязанности по воспитанию потомства, но, памятуя о некогда данных ему родительских

наставлениях, он не смог удержаться от отцовской привилегии и изложил старшему сыну, Галеаццо Мария, некоторые правила достойного поведения. Его «Советы о достойной жизни» начинаются очаровательно и обезоруживающе: «Галеаццо, ты знаешь, что до сих пор мы никогда на тебя не сердились, ни разу не подняли на тебя руку»; затем следуют жизненные правила: он должен чтить Господа и церковь; быть почтительным и послушным сыном; со всеми быть вежливым; не повышать голоса на слуг; не возмущаться по пустякам; воспитывать в себе чувство справедливости и милосердия; не стремиться завладеть тем, что он видит; он не должен ради какой-то цели совершать бесчестные поступки; не должен обманывать или слушать сплетни, и, наконец, он должен выбирать хороших лошадей.

Принципы, которые родители пытаются внушить детям для их же добра, чаще всего не выдерживают испытания временем. К несбывшимся, трогательным родительским чаяниям спустя много лет относишься с грустной усмешкой. Наставления Сфорца прошли мимо равнодушных ушей, но показали их автора как человека хорошего, доброго и простого, ведь, несмотря на власть и величие, которых он сам достиг, корни его тянулись из мудрого крестьянского рода. Сыновья Франческо выросли в другом, богатом и хитром мире. Они своим детям никогда не оставили бы такого безыскусного напутствия. Документы эти, первые в эпоху Ренессанса, свидетельствуют и о наступлении новой эры, и о простом человеке, желающем выразить свои надежды, чаяния и страхи.

Последнее крупное государственное событие, к которому оказался причастен Франческо, произошло за несколько лет до его смерти: в 1459 году на соборе в Мантуе папа Пий II попытался организовать европейских правителей на крестовый поход против Турции. Миланская делегация в составе сорока семи кораблей

вышла из Милана и, проплыв по рекам По и Минчо, в полном блеске прибыла в Мантую. Пий II написал об этом в своих «Комментариях»: «Не было ни одного человека, чья одежда не сверкала бы золотыми и серебряными украшениями»; но главным золотом оказался совет, который дал папе Франческо Сфорца. Он сказал, что предполагаемый поход несвоевременен и невозможен. Другие монархи были того же мнения, но выразили они это иначе — просто не явились.

Смерти Франческо предшествовала болезнь — водянка. Он умер неожиданно, в 1466 году, в возрасте шестидесяти пяти лет. Безутешная Бианка направила гонцов за старшим сыном Галеаццо Мария, находившимся в то время во Франции. Домой он приехал, переодевшись купцом, а приблизившись к городу, надел траурные одежды и сел на черного коня. Депутация встретила его у ворот с герцогскими знаками отличия. Он переоделся в роскошную одежду, пересел на белого коня и въехал в печальный город принимать наследство. Галеаццо стал пятым герцогом Милана, и было ему в то время двадцать два года.

Тем, кто равнодушно бродят по большому красному замку Милана, стараясь зацепиться мыслью хоть за что-нибудь, возможно, интересно будет узнать, что Галеаццо Мария первым из семейства Сфорца поселился в заново отстроенном замке. Сфорца, как я уже сказал, и по своему характеру, и по темпераменту были плоть от плоти Висконти. Одна из загадок природы в том, что от сильного человека рождаются слабые сыновья, а умные люди производят на свет дураков. Хотя детей Франческо Сфорца нельзя назвать ни слабыми, ни глупыми, великий их отец не смог передать им свои хорошие качества. Кровь матери оказалась сильнее, и, вместо достоинств кондотьера, дети унаследовали хитрость и вероломство предшествовавшей династии, а также и некоторые странности Висконти. Сходство оказалось

еще сильнее при восстановлении имен рода Висконти — Галеаццо и Мария.

К моменту прихода к власти Галеаццо Мария его брату Лодовико — самому интересному члену семейства — исполнилось всего пятнадцать лет. У Галеаццо было еще трое братьев, двое из них — полные ничтожества, а третий — Асканио — стал впоследствии кардиналом. У него был дом на пьяцце Навона в Риме. До сих пор одна из узких улиц, которые ведут к площади с юга, называется Викола д'Асканио. Римляне оборачивались, заслышав гудение труб, и провожали глазами кардинала, возвращавшегося с охоты вместе с собаками, охотниками и телегами, набитыми дичью. Пройдут годы и Асканио повлияет на выборы папы Александра VI, поэтому, возможно, неудивительно, что однажды он заплатил сто дукатов за попугая, который мог произнести Pater Noster.

По совету Людовика XI Галеаццо Мария женился на свояченице французского короля — Боне Савойской, молодой женщине необычной красоты, если верить словам миланского посла, который прислал конфиденциальный отчет, добавив с дипломатической осторожностью, что он видел ее только в анфас. Более подробное описание дает брат Галеаццо Тристан, посланный во Францию, чтобы устроить брак по доверенности. «Прежде всего, — писал он, — у нее, на мой взгляд, прекрасная фигура, отлично подходящая для материнства. Лицо не длинное и не широкое, красивые глаза, хотя они могли бы быть и потемнее. Нос и рот хорошей формы, прелестная шея, отличные зубы и изящные руки, но самое главное, у нее приятные манеры». Он также доложил, что после церемонии, согласно обычаю, прикоснулся к бедру невесты, лежавшей в кровати, своей ногой. Бона Савойская была одной из принцесс, которая в то время могла бы стать



королевой Англии, не влюбись Эдуард IV в Элизабет Вудвилл: Бона одно время была с ним помолвлена.

Когда принцесса приехала в Милан, она и Галеаццо Мария провели медовый месяц в маленьком доме на острове, а строители и декораторы готовили тем временем огромный замок. Каким большим он был, можно судить из слов современного писателя, который, желая приблизить к нам это событие, сказал, что оно состоялось в зале, куда гости «могли подняться по лестнице сидя верхом на лошади». Замок под стать эпохе был величествен, и жизнь правителей в его стенах текла самым причудливым образом. Казна Милана снова была полна. Можно лишь удивляться жизнеспособности города: на протяжении своей истории он то впадал в нищету, то купался в деньгах.

Несправедливо, конечно же, сравнивать отца с сыном: дышали они воздухом разных эпох. Мир Франческо и его друга Козимо Медичи был суров, а Галеаццо жил уже в мире Лоренцо Великолепного. Сыновья тратили богатства, накопленные рачительными отцами. Настали времена, когда, казалось, самый воздух дышал вычурной роскошью и жаждой развлечений. Герцоги Милана упивались своим богатством.

Во Флоренции в галерее Уффици имеется портрет Галеаццо Мария, написанный Поллайоло. С холста на вас смотрит странный человек: элегантный, нервный, с большим крючковатым носом, который принято называть «римским», с глубоко посаженными темными глазами и тонкими руками с длинными нервными пальцами. В нем и следа нет от уравновешенности и грубоватой приветливости отца. Перед вами Висконти, восставший из мертвых. Когда мать его неожиданно скончалась, люди начали перешептываться, будто он ее отравил. Скорее всего, это неправда, но то, что такой слух появился, говорит само за себя. В сопровождении молодой жены он носился по герцогству, одетый в яркое

нелепое платье: в золотом камзоле, а брюки: одна нога — красная, а другая — половина белая, а половина — голубая; по плечам распущены длинные волосы. Впервые со времен Амвросия мы слышим о человеке, любящем музыку и пение. Говорили, что герцог привез из Фландрии певцов с лучшими в Европе голосами. Создал большой оркестр и хор. Музыкантам своим он разрешал пить вволю, но только не в день концерта. Герцог гордился тем, что его двор самый великолепный в Европе, и страстно увлекался соколиной охотой — черта, доставшаяся ему от предков из рода Висконти. Его соколы садились на бархат, отороченный золотом и серебром. Он значительно пополнил свою библиотеку и даже способствовал книгопечатанию в то время, когда библиофилы не одобряли книги, созданные машинным способом. Это при нем в Италии напечатали первую греческую книгу: «Грамматика» Ласкария вышла в 1476 году.

Его десятилетнее правление закончилось убийством, одним из самых бессмысленных преступлений, совершенных в истории Милана. Интересно, впрочем, то, что в основу его был положен классический пример. Среди учеников преподавателя античной литературы Кола Монтана, питавшего неприязнь к герцогу, были два человека с криминальными наклонностями и молодой фанатик, вообразивший себя новым Брутом. Монтана так повлиял на чувства молодых людей, что они решили повторить убийство Цезаря.

Настало Рождество 1476 года, и герцог, который был до того в отсутствии, возвращался в Милан на празднества. Душа его была исполнена мрачных предчувствий. Это событие словно бы перенесло во времена Сфорца главу из истории рода Висконти. По пути в Милан герцога встревожили разные предзнаменования: он увидел комету; в комнате вспыхнул пожар; дорогу перед ним перелетели вороны.

Суеверная кровь Висконти подсказывала ему: «Вернись». Он все же поехал вперед, страхи его все усиливались и приняли мрачную и драматическую форму. Он одел свой хор в траурные одежды и приказал им каждое утро петь заупокойные псалмы. Хотя такие распоряжения и произвели неприятное впечатление на присутствующих, в целом Рождество прошло весело, и Галеаццо Мария выпустил днем соколов. На следующее утро он должен был пойти в церковь Святого Стефана на торжественную мессу. Нагрудник кирасы он надеть отказался — боялся показаться слишком толстым. Вместо этого надел красный плащ, подбитый горностаем, штаны в обтяжку и коричневую шляпу. Толпа, собравшаяся в то холодное утро, видела, как он вошел в церковь. Хор грянул «Sic transit gloria mundi».<sup>[26]</sup> В церкви его поджидали убийцы.

Они пришли на утреннюю мессу испросить благословения на свой поступок и извиниться перед святым Стефаном за кровопролитие в церкви. Под плащами из алого шелка они прятали кинжалы. Как только герцог прошел вперед между послами Феррары и Мантуи, один из троих мужчин вышел вперед и встал на колени, словно бы собираясь подать петицию, разыгрывая при этом роль Тиллия Цимбра. Герцог приостановился, и в следующий момент все три кинжала вонзились в его тело, и он упал бездыханным. Убийцы были схвачены, повешены и четвертованы, а мальчишки тащили потом то, что от них осталось, по морозным улицам Милана.

Миланский историк Бернардино Корио был очевидцем этого события и слышал признание одного из убийц. Слова эти записаны и сохранены. Много справедливых упреков было высказано в адрес Галеаццо Марии, и все же он был умным и просвещенным правителем. Возможно, по материнской линии он унаследовал некоторое безумство, но были у него и три

очевидные заслуги. Его незаконнорожденная дочь Катерина Сфорца стала одной из величайших амазонок Ренессанса и была, кстати, одной из первых красавиц своего времени. Она составила знаменитый сборник косметических рецептов и хотела, чтобы эта книга получила широкое распространение среди женщин. Издав приказ о посадке пяти тутовых деревьев на каждом из ста полей ломбардийской земли, Галеаццо дал толчок развитию шелковой индустрии. Говорят, именно при нем в Ломбардии начали выращивать рис.

С убийства Галеаццо Марии начинается последняя глава в истории рода Сфорца. Пройдет всего шестнадцать лет, и в Италию ринутся иностранные завоеватели. Трудно понять, как трагедия нескольких столетий могла оказаться на кончиках трех кинжалов, тем не менее так все и произошло. «Мир в Италии сегодня скончался», — воскликнул папа Сикст IV, когда до него дошла весть об убийстве. Он оказался прав.

Наследником Галеаццо Марии стал его семилетний сын — Джан Галеаццо, очаровательный мальчик. Его портрет тоже можно увидеть в Коллекции Уоллеса. Мать мальчика, Бона Савойская, была назначена регентом: красивая, веселая, беззаботная, но, как заметил Филипп де Комин, который хорошо ее знал, — дама, не отличающаяся большим умом. Вскоре она по уши влюбилась в красивого скульптора, служившего при дворце, и осыпала его подарками и привилегиями. Враги со злорадным удовольствием наблюдали за ее интрижкой с Тассино — так звали молодого человека. Больше всех интересовался этим деверь Боны — Лодовико Сфорца иль Моро. В то время ему было двадцать пять лет. Лодовико являлся человеком редкого обаяния и больших способностей, однако исторические источники утверждают, что он был негодяем.

Звали его иль Моро, <sup>[27]</sup> но не потому, что у него была темная кожа, а потому что ему дали имя Лодовико

Маурус, и он — шутки ради — взял себе второе имя и герб с головой мавра и тутовым деревом, к тому же нанял слуг-мавров: тогда это в Милане было модно. Одним из лучших портретов Лодовико является портрет работы Бернардино Дзенале, который находится в пинакотеке Брера. На нем вы увидите более тонкий и аристократический облик, чем у его великого деда. Ибо юмор старого солдата сменился здесь вежливой грацией, расчетливым очарованием. Такой типаж здесь не редкость. Вы и сейчас найдете таких мужчин. Они выходят у дорогих миланских ресторанов из автомобиля с наемным шофером.

Не существует свидетельства о том, что на ранней стадии интрижки Боны с Тассино он хотел занять место юного племянника, но когда фаворит регентши сделался главнее любого герцога, а любовница его в этом всячески поддерживала, Тассино предложили уйти. Для итальянской истории это довольно необычно, потому что нож считался нормальным способом решения проблемы с такими молодыми людьми. Тассино тоже так думал, потому намек понял и исчез, прихватив с собой драгоценности на огромную сумму. Бона, как безумная, побежала за ним следом, но не догнала и влачила с тех пор унылое существование при французском дворе. В сложившейся ситуации Лодовико иль Моро взял на себя роль опекуна племянника. Когда ребенку исполнилось десять лет, он нарядил его в белый бархат и короновал в соборе как шестого герцога Милана. Любящий дядя, надежная опора, был рядом с ним. Мальчик полюбил Лодовико всей душой, как мог бы полюбить погибшего отца.

В Северной Италии после смерти великого правителя каждый раз в политическом калейдоскопе происходила встряска, и властные структуры, перегруппировавшись, складывались в новый орнамент. Старые друзья становились вдруг врагами, а неприятели заключали

друг с другом временное перемирие. Баланс сил, сложившийся в это время, представлял собой тонкий механизм и отвечал на страх, как сейсмограф на колебание почвы. Так Милан, Флоренция и Неаполь, объединившись, спасли Феррару от козней Венеции и папства. В то время в Милан прибыл странный человек, гений. В рекомендательном письме Лоренцо Медичи отозвался о нем как об изобретателе военных машин, артиллерийских орудий, строителе мостов, создателе каналов, архитекторе, скульпторе. Слово «художник» замыкало длинный перечень. Звали этого человека Леонардо да Винчи. Ему в ту пору было тридцать лет.

Лодовико не нужны были военные машины Леонардо, так как война закончилась, а за ней последовали самые блестящие годы в истории Милана. Одна причина, по которой я восхищаюсь Лодовико Сфорца, — это то, что Леонардо да Винчи, не самый легкий в общении человек, нашел в нем конгениального управляющего и провел у него на службе шестнадцать лет. В промежутке между написанием бессмертных картин и работой над Колоссом — конной статуей Франческо Сфорца — Леонардо создавал машины для театра масок, костюмы для маскарадов и даже для турецких бань. Существует мнение об этом, самом интеллектуальном среди художников человеке, будто он жизнь свою проводил в невиданной роскоши и довольстве, что вряд ли соответствует истине. Леонардо был рассеянным, непрактичным гением, к тому же перфекционистом, который ни разу не был доволен своей работой. Если предположения некоторых художественных критиков верны, то посещение его мастерской в Милане было бы весьма интересно. Среди неоконченных картин, над которыми он работал, когда на него находило вдохновение, — «Мона Лиза», «Мадонна в скалах», «Мадонна с младенцем и святой Анной». Все эти картины находятся сейчас в Лувре. Хотя

состояния в те времена растрачивались за один день, ему часто не платили, причем самыми необязательными плательщиками были монахи.

Молодой герцог Джан Галеаццо вырос человеком слабохарактерным, предпочитающим праздные удовольствия в ожидании, пока любящий дядя сделает за него работу. В двадцать лет он женился на дочери Альфонсо Калабрия Изабелле Арагон. Свадебное торжество отметили с размахом, и даже повара — как заметил кто-то — были разряжены в атлас и шелк. В 1491 году Лодовико Сфорца, реальный, по сути, правитель страны, решил, наконец, жениться. Выбор пал на старшую дочь герцога Феррары Изабеллу д'Эсте, однако оказалось, что она уже помолвлена с наследником маркиза Мантуи Франческо Гонзага. Тогда Лодовико сделал предложение ее младшей сестре — Беатриче д'Эсте — и получил согласие. Изучая исторические материалы, часто спрашиваешь себя, хотя бы как в этом случае: «Если бы Франческо женился не на веселой, смешливой Беатриче, а на ее старшей сестре, обладавшей железным характером, пошла бы история Италии по другому пути?»

В морозном январе 1491 года флотилия потрепанных кораблей, сопровождающих позолоченную королевскую барку Феррары, вошла в Тичино и в док Павии. Приехало много молодых женщин. Они совершенно забыли о лишениях, голоде и болезнях и стояли сейчас в самых лучших своих нарядах, устремив любопытные взгляды на кавалеров, столпившихся на берегу. Самой жизнерадостной была шестнадцатилетняя невеста Беатриче д'Эсте. Как бы хотелось увидеть это прибытие своими глазами, посмотреть на встречу Беатриче д'Эсте с ее сорокалетним мужем. Судьбой ей было назначено умереть через шесть лет, но в тот краткий период она стала одной из самых известных женщин Ренессанса.

Жизнь ее с Лодовико повторила союз Франческо Сфорца с Бианкой Висконти, да и разница в возрасте между супругами была почти такой же. Жили они в довольстве и роскоши, которым удивлялся даже Милан. Богатства герцогства были фантастическими, по-видимому и налоги тоже. Слава о миланских ювелирах и оружейниках гремела повсюду. Эти специалисты, как и во времена Висконти, могли поставить на улице сотни манекенов — мужчин и лошадей, облаченных в самые лучшие доспехи. Повсюду шло строительство. Белый собор странной для своего времени готической архитектуры поднимался медленно, но зато Чертоза из Павии компенсировала этот архитектурный анахронизм. Начались большие гидравлические работы, рыли каналы. В то время на строительстве церкви Санта Мария делле Грации можно было увидеть Браманте или Леонардо да Винчи, рисующего лица на рынке либо обдумывающего создание аэроплана, или ранним утром заметить, как он входит в трапезную церкви Санта Мария делле Грации, чтобы добавить несколько мазков к фреске «Тайная вечеря». В центре всей этой активности был Лодовико иль Моро: он поторапливал архитекторов и художников, инспектировал новые ирригационные системы, реставрацию церквей, пополнял библиотеки, привлекал в университеты ученых. Работал он со страстью, свойственной иногда людям, которым судьба отпустила недолгую жизнь. Считают, что доходы его маленького государства составляли более половины общего дохода Франции.

Любовь его к молодой жене распространялась и на членов ее семьи: он организовал почтовое сообщение между Миланом и Мантуей, чтобы она и ее сестра Изабелла, маркиза Мантуи, могли обмениваться новостями. Посланник вез не только письма Беатриче, но и подарки, например трюфели, зайцев и оленину, а возвращался с письмами от Изабеллы и форелью из



озера Гарда. Изабелла смотрела на младшую сестру как на богатую родственницу и не могла иногда удержаться от зависти к роскоши, в которой та жила. Казна Мантуи, в сравнении с Миланом, часто была пуста. Беатриче была рада выпавшему ей счастливому жребию.

«Нашим удовольствиям буквально нет конца, — написал Лодовико своей невестке. — Я не смог бы рассказать вам и об одной тысячной доле проказ, в которых принимают участие герцогиня Милана и моя жена. В деревне они участвуют в скачках и галопом носятся за придворными дамами, стараясь выбить их из седла. А сейчас, когда мы вернулись в Милан, они изобретают новый вид развлечений. Вчера в дождливую погоду, надев плащи и повязав голову полотном, вышли на улицу вместе с пятью или шестью другими дамами и отправились покупать провизию. Но так как женщинам здесь не принято повязывать голову, то простолюдинки начали над ними смеяться и делать грубые замечания, отчего жена моя вспыхнула и ответила им в таком же тоне. Дело зашло так далеко, что чуть не закончилось потасовкой. В конце концов, они явились домой, забрызганные грязью с ног до головы. То еще зрелище!»

В следующем письме Изабелле он сообщает, что, пока он был в Павии, Беатриче и Изабелла Арагон ездили на день в Чертозу, а он вечером выехал их встретить. К своему удивлению, он увидел их в турецких костюмах.

«Маскарад этот затеяла моя жена, — объясняет он, — всю одежду она сшила за одну ночь! Когда они уселись вчера за работу, герцогиня не могла скрыть удивления, увидев мою жену, энергично работающую иглой. Ну прямо как какая-нибудь старушка. И жена сказала ей: „Чтобы я ни делала, я делаю это с полной отдачей, и не важно, какая цель при этом стоит — развлечение или что-то серьезное. Работа должна быть выполнена хорошо“».

Эту удивительную молодую женщину послали, когда ей еще не исполнилось и двадцати лет, представлять мужа в одном из самых циничных аристократических сообществ — в венецианской синьории. Она поехала туда с матерью, герцогиней Феррары, и делегацией, превышающей тысячу человек. Шутница и сорвиголова предстала там холодной, умеющей себя подать молодой женщиной. Она уверенно обратилась к палате дожей, а ведь во время такой процедуры даже у многоопытных послов дрожали коленки. Спустя семь дней празднеств и развлечений Беатриче с матерью посетила Большой совет во Дворце дожей и затем послала мужу письмо с отчетом.

«В центре зала мы увидели принца. Он спустился из своих комнат, чтобы приветствовать нас, — писала она, — и препроводил к возвышению, где все мы сели в обычном порядке, и началось тайное голосование: нужно было выбрать два комитета. Когда с этим было покончено, матушка поблагодарила принца за оказанные нам почести и ушла. Когда она закончила говорить, я сделала то же самое. Затем, следуя инструкциям, которые ты мне дал в письме, сказала, что с дочерним смирением подчинюсь всем приказам дожа».

Ранние ее письма из Венеции звучат очень современно. Она описывает впечатления от осмотра городских достопримечательностей.

«Мы высадились на Риальто и отправились пешком по улицам, которые называются merceria, где увидели магазины, торгующие специями, шелками и другими товарами. Всего много, качество отличное, и содержится все в полном порядке. Товары разнообразные. Мы постоянно останавливались, чтобы посмотреть то на одно, то на другое, и даже расстроились, когда подошли к пьядце Сан-Марко. Здесь с лоджии, напротив церкви, зазвучали наши трубы...»

О другой экскурсии она пишет: «Когда мы шли из одного магазина в другой, все поворачивались, чтобы посмотреть на драгоценные камни, нашитые на мою бархатную шляпу, и на жилет с вышитыми на нем башнями Генуи, а особенно — на большой бриллиант на моей груди. И я слышала, как люди говорили один другому: „Вон идет жена сеньора Лодовико. Посмотрите, какие красивые у нее драгоценности! Что за чудные рубины и бриллианты!“» В другом письме она рассказала Лодовико, как дразнила епископа из Комо, который, устав от осмотра достопримечательностей, пожаловался, что свойственно любому туристу, путешествующему по Италии: «У меня ноги отваливаются!»

Увы, смех, блеск золота и бриллиантов через шесть лет исчезли. Беатриче родила двоих сыновей, и потихоньку все уверились, что Лодовико уберет никчемного молодого герцога вместе с его семейством и узурпирует страну. Это носилось в воздухе, Неаполь был в этом уверен, Изабелла Арагон так страдала, что южное королевство приготовилось начать войну с Миланом от лица герцога и его неаполитанской жены. Чувствуя, что со всех сторон его окружили враги, Лодовико пригласил французов прийти в Италию и заявить свои древние права на Неаполь.

Возможно, сам он не верил, что они придут, возможно, он хотел лишь припугнуть Неаполь, возможно, надеялся перегруппировать силы и выиграть на этом. Кто теперь скажет? Факт остается фактом: французы пришли. Вел их за собой Уродливый карлик Карл VIII, и в этот самый момент герцог Милана Джан Галеаццо умер. Все были уверены, и многие историки до сих пор в это верят, что он был отравлен, а сделал это его дядя Лодовико. Лодовико поспешил в Милан и заявил о своей лояльности маленькому сыну покойного, но Совет не захотел и слушать об этом: Лодовико — по

сути — всегда был герцогом, а в этот момент, когда государству нужна была твердая рука, а не регент, он должен был сделаться герцогом. Так в 1494 году он и Беатриче стали седьмыми герцогом и герцогиней.

Тем временем Италия, столетиями привыкшая к вялотекущим стычкам кондотьеров, пришла в ужас от жестокости французской армии. Сам вид войска приводил в трепет. Арьергард составляли восемь тысяч швейцарцев. Огромные лучники из Швейцарии казались наблюдателю того времени звероподобными людьми. Во главе войска шагал монстр со шпагой, блестящей, словно вертел, на котором жарят поросенка. Следом отбивали ритм четыре барабанщика, а за ними два трубача. Шум стоял, как на ярмарке. Внушали страх как кавалеристы, так и их лошади с подрезанными ушами. Артиллерийские орудия тащили не волы, а лошади, и блестящие пушки двигались так же быстро, как пехота. Итальянцев, которые всегда обращали внимание на внешность, больше всего поразили облик предводителя агрессоров. На великолепном боевом коне сидел крошечный человечек с тонкими, словно спички, ногами. У него был огромный нос и большущий рот.

Французы заняли Неаполь без боя, и Лодовико, изменив свои планы, организовал против захватчиков союз государств. Французам пришлось с боем покинуть Италию. Впрочем, настоящая битва была только одна, длилась она пятнадцать минут и замечательна неожиданным превращением уродливого французского короля в героя. Вдохновленный, должно быть, опытом своих предков, он призвал рыцарей Франции умереть вместе с ним и повел их в бой. Итальянский командир Франческо Гонзага, муж Изабеллы д'Эсте, захватил королевский шатер, в котором обнаружил любопытное собрание предметов, которые монарх взял с собой на поле сражения. Там были шлем и меч, которые, говорят, принадлежали Карлу Великому, рака с шипом от

тернового венца, кусок от Креста Господня, частица мощей святого Дени и книга с портретами итальянским дам, чья красота привлекла королевский взор.

Спустя год после того, как французы ушли из Италии, узнав многое и о богатстве страны, и о ее слабостях, судьба обрушила на Лодовико первый удар. Беатриче почувствовала недомогание и в ту же ночь умерла, произведя на свет мертвого ребенка. Было ей всего лишь двадцать два года. Несколько дней Лодовико никого не хотел видеть. Говорят, его нашли лежащим во власянице в увешанной черным бархатом комнате. Он распорядился похоронить Беатриче перед алтарем церкви Санта Мария делле Грации.

Когда к нему допустили посла Феррары, Лодовико признался ему, что он всегда просил Бога дать ему умереть первым, но Бог распорядился по-своему. Теперь же он молился, что если человеку дозволено общаться с мертвыми, он просит дать ему возможность увидеть Беатриче еще раз и поговорить с нею. Многие историки, писавшие об этом периоде, соглашались, что этот признанный правитель, сорока шести лет от роду, во многом был обязан умной и рассудительной молодой жене. Говорят даже, что будь она с ним в то время, когда над его головой стали собираться тучи, то он не потерпел бы катастрофу.

На следующий год французский король Карл VIII, отправившись посмотреть теннисный матч, стукнулся — как бы он ни был мал ростом — о низкую арку. Спустя несколько часов он скончался от церебрального кровоизлияния. Было ему тогда тридцать семь лет. Преемник его, смертельный враг Лодовико, герцог Орлеанский, стал королем Людовиком XII. Его бабушкой была Валентина Висконти, дочь Джана Галеаццо Висконти, и Людовик, который считал себя истинным наследником герцогства, решил пойти войной на Ломбардию.

Лодовико почувствовал себя покинутым и вынужден был бежать, но был выдан французам в тот момент, когда, переодетый швейцарским купцом, стоял среди войска. Король не проявил к нему милосердия, препроводил во Францию и заточил в тюрьму. Содержался он в разных местах. Те, кто когда-либо посещал замки Луары и проезжал чуть южнее Тура, наверняка видели вздымающиеся над рекой Эндр серые башни крепости Лош. Туристов приводят в подземную тюрьму, в которой некогда великолепный Лодовико иль Моро провел последние годы жизни. Отметка на камне показывает место, куда в его камеру попадал единственный луч света. Несколько фресок и грубые рисунки на стене — последние послания человека, оставившего так много следов в далеком от нас историческом отрезке времени. Заточение его длилось восемь лет. Умер он в пятьдесят семь лет.

Два его сына унаследовали герцогство, но лишь в качестве марионеток иностранных правителей. Когда в 1535 году умер второй его сын, Франческо, император Карл V, бывший также королем Испании, вытеснил Францию из Италии, и Испания владычествовала в Милане сто семьдесят восемь лет.

В ходе экскурсии по миланскому замку турист слышит огромное количество имен и дат, но думаю, что мужчины и женщины, о которых я упомянул, с их победами и поражениями, заинтересуют нас в большей степени, если мы посетим места, в которых они жили.

В замке есть одна трогательная реликвия, на которую я наткнулся случайно. Ее осветил безжалостный солнечный луч. Это была последняя работа Микеланджело — Пьета — страшное свидетельство жестокой старости. Скульптору было почти девяносто. Он пытался высвободить из камня две фигуры, но старые руки не хотели слушаться приказов все еще сопротивляющегося разума. «Он расколотил

мрамор, пока не осталось ничего, кроме остова» — пишет Джон Поуп-Хеннесси в своей книге «Итальянское Высокое Возрождение и скульптура барокко». Тяжело видеть, как уходят сила и слава, но еще тяжелее понимать, что старик и сам это осознавал. Вазари посетил Микеланджело в Риме незадолго до смерти великого человека. Скульптор заметил, что гость смотрит на мрамор, над которым он в данный момент работал. Была ночь, и Микеланджело держал фонарь. «Я так стар, — сказал он, — что смерть постоянно дергает меня за плащ. Однажды я вот так же упаду, как это!» Он бросил фонарь и погрузил мастерскую в темноту, чтобы Вазари ничего больше не увидел.

## 2

Проходя мимо церкви, я заметил толпу. На мой вопрос мне ответили: «Мы хотим увидеть „Тайную вечерю“ Леонардо». Стоять такую очередь, чтобы увидеть картину, от которой, как мне было известно, осталась лишь одна тень? Нет, я решил отложить посещение церкви. Тем не менее в одно прекрасное утро я остановил такси и сказал водителю: «Il Cenacolo». Шофер отбросил в сторону окурков, понимающе кивнул и, ни слова не говоря, устремился в поток машин. Думаю, мало найдется в мире городов, в которых вместо адреса можно произнести название картины.

Я подъехал к церкви Санта Мария делле Грацие. В трапезной, примыкающей к зданию, Леонардо написал знаменитую фреску, которую, к несчастью, постигла ужасная участь. Люди все еще толпились, хлопали турникеты. Шел я неохотно, предчувствуя разочарование. Затем я оказался в большом зале, в том самом, в котором трапезничали монахи, когда церковь Санта Мария делле Грацие была доминиканским

монастырем. Картина написана на дальней торцевой стене, с тем чтобы создать у зрителей впечатление, будто изображенные на ней в натуральную величину фигуры сидят за столом, находящемся на некотором возвышении, и трапезничают вместе с монахами. Таково, разумеется, было намерение Леонардо. Великолепное, вероятно, было зрелище в те времена, когда зал использовался по прямому своему назначению: монахи, сидящие по обе стороны длинного стола, и настоятель, обращенный лицом к Христу и его апостолам, находящимся за нарисованным на стене столом. Толпа экскурсантов, удивленная, по всей видимости, не менее, чем я, перешептывалась. Они никак не ожидали увидеть картину, оказавшуюся не в таком уж плачевном состоянии.

Я знал, что Леонардо написал эту картину не в технике фрески, а масляными красками на стене, которая была такой мокрой, что даже в ранние времена краска начала трескаться и осыпаться. В последнее время положение настолько ухудшилось, что стену пришлось греть — только бы спасти картину. Реставраторы столетие за столетием вносили свою лепту, и от оригинала мало что осталось. Затем, в августе 1943 года, произошло то, что могло бы полностью уничтожить шедевр. Во время воздушного налета в здание угодила бомба, снесла крышу трапезной и одну из стен, но при этом не уничтожила картину. В трапезной представлена фотография, на которой видно, в каком состоянии находилось здание сразу после налета. Когда реставратор, стоявший последним в длинной веренице людей, снял мешки с песком, все увидели шедевр Леонардо, покрытый толстым слоем земли. В 1947 году «Тайная вечеря» была реставрирована учеными экспертами под контролем государственной комиссии. Реставраторы поставили перед собой цель: убрать все наслоения прошлых веков



и сохранить мазки Леонардо, все до единого. Возможно, картина сейчас больше похожа на оригинал, чем в течение многих прошлых столетий.

Я был удивлен помимо своей воли. С картины нельзя сделать репродукцию. Открытки и даже большие иллюстрации в книгах не в силах передать и капли впечатления, которое испытываешь от огромной работы. Размеры картины составляют примерно тридцать футов в длину и пятнадцать в ширину. Хотя цвет ушел и выражение лиц можно себе представить лишь приблизительно, одно осталось как и прежде — это композиция картины, ее общий настрой. Перед тобою две группы взволнованных людей в ритмическом движении, разделенные спокойной фигурой Христа. Я забыл, что смотрю на разрушенную картину. Мне казалось, что я вижу ее в первые месяцы создания, когда Леонардо медленно, часть за частью, занимался ее выстраиванием. Какая сила воображения заключена в этой работе! Сколько застолий посетил в Милане Леонардо, чтобы схватить все эти жесты и позы. С каким вниманием наблюдал он за людьми в трактире: вот они режут хлеб, или нечаянно просыпают соль, или шепчут соседу что-то на ухо. Кому из них пришло бы в голову, что художник обессмертит их простые движения?

Леонардо было сорок три года, и в Милане он работал уже тринадцать лет, когда герцог Лодовико заказал ему «Тайную вечерю». Эта картина являлась частью его плана — возвеличивание церкви Санта Мария делле Грации и превращение ее в мавзолей Сфорца. В то же самое время он нанял Браманте, чтобы тот спроектировал собор. Большинство критиков полагает, что Леонардо начал свою работу в 1495 году, а закончил ее через два года. Молодой послушник Маттео Банделло из монастыря часто наблюдал Леонардо за работой. Он рассказывал, что художник приходил рано утром и взбирался по лесам. «С рассвета и до заката, — писал

Банделло, — он не откладывал кисть, не вспоминал о еде и питье, писал без перерыва, после чего по два, три, а то и по четыре дня не прикасался к картине. Но и тогда час или два в задумчивости смотрел на фигуры и приходил, должно быть, к какому-то решению. Я видел, как от Кортес Веккьо — там Леонардо работал над конной статуей — он шел под лучами полуденного солнца прямо в монастырь. Взбирался на леса, прибавлял несколько мазков и тут же удалялся».

Об этих двух годах сохранилось много историй. Самая известная — это та, когда монахи, видевшие, что лица Христа и Иуды на протяжении нескольких месяцев оставались незаконченными, жаловались герцогу, будто художник не старается. Леонардо отвечал, что каждый день, с утра до вечера, вот уже более года он ходит в городское гетто в поисках лиц злодеев и преступников, с которых он мог бы писать Иуду. «Если понадобится, — продолжил он, — напишу его с настоятеля!»

На создание картины ушли годы раздумий, и она живет, потому что это жизнь, увиденная глазами, которые ничего не упускали и не пропускали. «Когда идете гулять, — писал Леонардо в качестве наставления молодым своим ученикам, — присматривайтесь, обдумывайте позы и выражения лиц. Смотрите, как люди разговаривают, как они спорят, смеются или дерутся. При этом обращайтесь внимание как на действия дерущихся, так и на тех, кто их поддерживает, не забудьте и про зевак. Тут же несколькими штрихами сделайте в блокноте зарисовки. Блокнот всегда носите с собой». С тридцатилетнего возраста («Это возраст, с которого обычный деловой человек перестает присматриваться к окружающему», — комментирует Кеннет Кларк) Леонардо никогда не расставался со своим блокнотом. Он заносил туда все, что видел, и все, что представлял. Целыми днями он ходил за людьми, чья наружность чем-то была ему интересна. Мы знаем,

что он даже записывал их адреса. «Джованина, фантастическое лицо, больница Святой Екатерины» — вот одна из записей в его блокноте. Привычки и методы гения всегда интересны, но невозможно препарировать гениальность и понять, как она работает. Ни одна записная книжка или техническое достижение не смогут объяснить, например, почему Леонардо отказался сделать темой своей картины вручение Святых Даров, а выбрал вместо этого ужасный момент, когда Иисус сказал: «Истинно говорю вам, рука предающего Меня со Мною за столом».

Короткая виа Дзенале, что находится в двух шагах от церкви Санта Мария делле Грацие, привела меня к виа сан Витторе. Там я обнаружил Музей науки и техники. На мой взгляд, это самый интересный музей Милана. В длинной галерее были выставлены транспортные средства, машины, муляж ныряльщика в натуральную величину в костюме и гермошлеме, бомбы, снаряды, пушка и много странных предметов, назначение которых я не сразу понял. Все это были изобретения, включая субмарину и аэроплан, занимавшие большую часть раздумий и времени Леонардо да Винчи.

Переходя от одного экспоната к другому, я подумал, что Леонардо заинтересовался бы больше именно этими вещами, а не картинами, потому что даже для него изобретения оставались в его записных книжках лишь диаграммами и рисунками, а здесь он бы увидел их воплощенными в работающих моделях. Итальянские инженеры и рабочие изготовили их по его рисункам и чертежам.

Часто говорят о безмерной любознательности Леонардо, но это качество приобретает новое измерение, когда стоишь перед удивительными предметами, наглядно демонстрирующими провиденье гения. Он видел далекое будущее, мир, в котором люди

будут путешествовать по воздуху и под водой. Современникам Леонардо все это должно было показаться безумной фантастикой. Если бы они пролистали страницы его записных книжек с рисунками субмарины или летательной машины, то посчитали бы его сумасшедшим. Всестороннее развитие мозга Леонардо кажется нам сверхъестественным. Как бы засверкали его глаза, если бы он увидел зал, где мечты его стали реальностью! Здесь и мы начинаем понимать, почему один из величайших мировых художников считал живопись скучным занятием, пустяком, который отвлекает его от более серьезных вещей, таких, например, как полет птиц или движение рыб. «Математические эксперименты занимают его мозг Целиком, и он не хочет видеть свою кисть!» — писал Изабелле Д'Эсте один человек, побывавший в мастерской Леонардо, желая объяснить, отчего художник отказывается написать ее портрет.

В то утро в музее кроме меня был еще один посетитель. Признав во мне соотечественника, он подошел, желая поделиться со мной своим изумлением.

— Если бы этот человек знал что-нибудь о паре, бензине или электричестве, — сказал он, — то люди могли бы ездить в поездах и автомобилях сотни лет назад!

Я согласился с таким предположением: единственное, чего не хватало Леонардо, — это механической энергии.

— Вы только взгляните на это, — сказал мой собеседник, — замечательный танк, управляемый человеческой или лошадиной силой!

«Военная машина» Леонардо представляла собой танк в форме гриба, достаточно большой, чтобы вместить в себя несколько человек. Ездил он на четырех колесах, передвигали его рычагами люди или лошади. На танке были установлены три пушки. В корпусе

проделан ряд отверстий — для вентиляции и для мушкетов. Командир стоял в центре на крепкой деревянной платформе, он мог выглянуть с башни, как из современного танка, и управлять его движением и ведением огня. Как и большинство изобретений Леонардо, оно не было воплощено. Его идее пришлось дожидаться изобретения бензинового двигателя и гусеничного трактора.

В его колесном пароходе не хватало только парового двигателя: он был точно таким судном, которое на памяти нашего поколения пересекло Ла-Манш и шумно двигалось вблизи Кента. Леонардо, не имея понятия о паровой энергии, снабдил пароход массивным часовым механизмом, похожим на детскую игрушку. Костюм ныряльщика выглядит абсолютно современным, как и дыхательная трубка. Была здесь и модель движущейся лестницы, какие можно увидеть в современных домах, а также арочные мосты, речные шлюзы и многочисленные дорожные полосы.

Пока мы ходили вокруг этих отлично сделанных моделей, я все пытался угадать, кто же такой мой собеседник. Сначала я подумал, что он художественный критик, но нет — выглядел он человеком весьма обеспеченным, что этой профессии не слишком соответствует. Затем я решил, что он — богатый коллекционер картин. Оказалось, что я заблуждался, потому что он задал вопрос, поразивший меня: «А кто этот потрясающий человек?»

Я не стал скрывать своего удивления. Разве он не знает, что смотрит на изобретения Леонардо да Винчи?

— Я и понятия не имел, — ответил он. — На улице увидел вывеску: «Наука и техника», вот и решил зайти — может быть, увижу что-нибудь интересное.

Он помолчал и подозрительно взглянул на меня, словно бы я пытался его обмануть.

— Я думал, что Леонардо да Винчи был художником! По интонации я понял, что да Винчи как инженер-художник неизмеримо вырос в его глазах.

Затем, решив, что было бы интересно увидеть, какое впечатление произведет на него «Тайная вечеря», я позвал его в Санта Мария делле Грации. По дороге он рассказал, что изготавливает пишущие машинки и калькуляторы и что в Милан приехал по делам.

— Как бы интересно было Леонардо повстречаться с вами и послушать о ваших машинках, — сказал я. — Довольно странно: пишущую машинку вполне могли бы изобрести во времена Ренессанса, а он об этом почему-то не подумал.

Мы вошли в трапезную и посмотрели на шедевр Леонардо.

— Да от него ничего не осталось, — сказал он. — Как жаль...

Мы вышли на улицу и начали рассуждать: захотел бы Леонардо обменять свой блистательный век на наш технический? Он ведь наполнен вещами, которые привели бы его в восторг. Все эти аэропланы, железные дороги, автомобили, фотоаппараты, микроскопы, радио и — сверх всего — исследования атомной энергии и покорение космоса.

### 3

Байрон однажды выразил глубокое презрение к Петрарке — так обычно человек практический относится к теоретику. «Я настолько презираю Петрарку, — написал он, — что не стал бы даже помогать его Лауре, раз этот ноющий, выживший из ума метафизик так ею и не овладел». Дон Жуан, излагая взгляды Байрона на брак, замечает:

...будь Лаура  
Повенчана с Петраркой — видит бог,  
Сонетов написать бы он не мог![\[28\]](#)

Принимая во внимание позицию Байрона, интересно было бы взглянуть на его лицо, когда в 1816 году библиотекарь в библиотеке Святого Амвросия предложил ему величайшее сокровище — принадлежавшую некогда Петрарке рукопись Вергилия! Естественно предположить, что английский поэт должен был бы заинтересоваться! Байрон, который мог бы при случае и наглубить, увидел то, что заинтересовало его больше Вергилия, а потому он и не оскорбил библиотекаря. А увидел он белокурый локон Лукреции Борджиа.

Я вспомнил об этом, когда пришел туда и представил рекомендательное письмо. Библиотекарь в строгом черном костюме сказал мне тут же — скорее в утвердительной, нежели в вопросительной форме: «Вы, конечно же, хотите увидеть принадлежавшую Петрарке рукопись Вергилия».

Библиотека находится в одном из тех старых дворцов, которые кажутся маленькими с улицы, а внутри выясняется, что они просто огромные — настоящий лабиринт со смежными комнатами, мраморными лестницами и галереями, окружающими внутренний двор. Читальный зал занимает маленькое помещение со сводчатым потолком и украшен аллегорическими фигурами. На столах — лампы под абажуром. За ними в окружении фолиантов и манускриптов сидели шесть или семь пожилых ученых. На лицах выражение отчаяния, так хорошо знакомое женам писателей. Более приятное впечатление оставляла молодая женщина, возможно американка:

какую-то рукопись она листала так быстро, словно просматривала дамский журнал.

Вергилий меня поразил: огромная рукопись, которую сначала я принял за факсимильное издание. Когда понял, что это оригинал, то не решался притронуться к страницам книги, и библиотекарь, заметив мое затруднение, любезно спустился со своего возвышения, и мы стали переворачивать страницы вместе. Думаю, что рукопись эта бесценна, к тому же она представляет, как выражаются книготорговцы, «дополнительный интерес», ибо на форзаце Петрарка своим изящным почерком описал, как впервые увидел Лауру и как через двадцать один год услышал о ее смерти.

Приключения такой книги должны быть удивительными: за шесть с половиной столетий она сменила огромное количество владельцев, изредка попадая в сравнительно спокойную библиотечную гавань, испытала опасности многочисленных войн и чудом уцелела при пожарах. Библиотекарь рассказал мне, что сначала она принадлежала отцу Петрарки, однако в 1326 году ее украли после того, как семья поселилась в Авиньоне. Через двенадцать лет Петрарка нашел ее, а возможно, вор, раскаявшись, вернул рукопись. Во всяком случае, с того дня 1338 года она постоянно была у поэта. После кончины Петрарки творение Вергилия вместе с другими книгами поступило в библиотеку Висконти в Павии, где и оставалось до французского завоевания 1499 года. С того времени оно сменило много владельцев, пока в XVI веке кардинал Борromeо не выкупил его для библиотеки Святого Амвросия. И все же приключения рукописи на этом не закончились. Наполеон привез ее в Париж, но в 1813 году рукопись вернули в Милан.

Можно представить себе радость поэта, когда в 1338 году рукопись к нему вернулась. Петрарка захотел сделать ее еще красивее и уговорил своего друга



Симоне Мартини, работавшего в то время в папской столице в Авиньоне, проиллюстрировать рукопись. Великолепные иллюстрации выглядят такими же свежими, как и шестьсот лет назад. Рукопись имеет тем большую ценность, что Петрарка сделал в ней запись. Вот что он написал:

«Лаура, со всеми блестящими своими достоинствами, впервые предстала глазам моим в шестой день апреля в году 1327 от Рождества Господа нашего, и было это ранним утром в церкви Святой Клары в Авиньоне. В том же городе, в тот же час и того же дня апреля, только в году 1348 свет этот покинул нашу землю, а я тогда был в Вероне и — увы — не знал о постигшей меня участи. Горестная весть дошла до меня в Парму в письме от моего друга Людвига утром 19 мая того же года. Непорочное и прекрасное тело ее погребено было в церкви францисканцев вечером того же дня. Душа ее, однако, в чем я совершенно уверен — так же как Сенека, говоривший о Сципионе Африканском, — вернулась на небеса, в свой родной дом. Написав эти слова в память о своем горе, я испытал чувство сладкой горечи и выбрал эту страницу, так как чаще всего обращаю сюда свой взор, а потому могу размышлять о том, что в жизни не осталось у меня более удовольствий. Глядя постоянно на эти строки, буду думать, что пройдет немного лет, и я улечу из этого мира. И будет это, хвала Господу, для меня легко, принимая во внимание прошлые мои праздные заботы и пустоту надежд».

Загадка Лауры — была ли она реальной или воображаемой женщиной? — вызывала такой интерес в XVI столетии, что два энтузиаста, занимавшихся творчеством Петрарки, открыли гробницу в Авиньоне и доложили, будто нашли в ней ее скелет и свинцовую коробку с сонетом Петрарки, однако кардинал Бембо, крупный эксперт того времени, объявил тот сонет подделкой. Хотя Лаура до сих пор является загадкой,

большая часть ученых считает, что звали ее Лаура де Новее, которая в 1325 году вышла замуж за Гуго де Сада в Авиньоне. Когда Петрарка увидел ее спадавшие на плечи светлые волосы, он стал поэтом и, словно средневековый рыцарь или трубадур, назвал ее своей прекрасной дамой.

Хотя Байрон и не признавал идеальной любви и презирал сонеты, называя их «хныкающими, выхолощенными, глупыми платоническими композициями», сам он тем не менее ходил в библиотеку Святого Амвросия и вздыхал сентиментальнее, чем Петрарка, над письмами Лукреции Борджиа кардиналу Бембо, упивался видом ее белокурого локона. «Я намерен похитить частичку, если смогу», — признавался он в письме сводной сестре Августе Ли, и, когда никто не видел, неисправимый коллекционер реликвий и любовных символов выкрал из локона «единственный волосок».

Я спросил, не могу ли я увидеть эти письма и локон. Оказалось, что, как только стало известно о воровстве Байрона, администрация решила убрать волосы в раку, что и было сделано в 1828 году, так что вместе с письмами, как при Байроне, их не выдают. Письма в переплете из овечьей кожи мне были тем не менее немедленно предъявлены. Писем всего девять, написаны они на латинском и итальянском языках. Там же и песня — уже на испанском языке — с посвящением «моему дорогому Пьетро Бембо». Как и большинство женщин, Лукреция письма свои не датировала, и Бембо сделал это за нее собственноручно. Байрону хотелось верить, что они романтичны и страстны, но мне кажется, что никакой страсти в них нет и в помине. Это отточенные риторические сочинения, которые дамы эпохи Возрождения выучились писать своим эрудированным друзьям. Байрон и не подозревал, что

между Бембо и Лукрецией Борджиа отношения были такими же платоническими, как и у Петрарки с Лаурой!

Я поднялся наверх. Локон Лукреции Борджиа хранится в музее, к нему вела длинная наружная галерея. Шагая по ней, я посмотрел вниз, во двор, и увидел среди буйно разросшихся кустов две статуи. В одной из них я узнал Мандзони, а другая — веселый молодой щеголь в коротких штанах — оказалась Шекспиром. Пройдя по всей галерее, я вошел в музей, где и увидел волосы Лукреции в стеклянной раке, словно это были волосы святой. Небольшой локон светлых красивых волос, тот самый, которым любовался Байрон. Я был наслышан о том, что Лукреция чрезвычайно заботилась о своих волосах, так что путешествие ее в Феррару, где она должна была обвенчаться, часто прерывалось из-за того, что ей надо было вымыть голову. Рака поразила меня своей изысканностью: из обрамленного жемчугом овала свешивались две красивые маленькие подвески: одна из них — красный бык Борджиа, другая — орел, вероятно белый орел Эсте. Возле раки, с непоследовательностью, что делает некоторые музеи такими удивительными, — пара замшевых перчаток, которые были на Наполеоне во время битвы при Ватерлоо.

В соседней комнате я увидел хрустальную шкатулку, в которой находится знаменитый «Атлантический кодекс» вместе с провидческими научными рисунками Леонардо да Винчи, эскизами, заметками и рекомендательным письмом к Лодовико иль Моро, в котором художника представили как инженера.

Ничто, однако, не порадовало меня здесь больше, чем знаменитый профиль очаровательной молодой женщины. Ранее считалось, что это портрет Беатриче д'Эсте работы Леонардо, а теперь его называют «Портретом молодой дамы», и авторство приписывают Амброглио да Предису. Она пришла к нам более

четырехсот лет назад, очаровав юным невинным личиком, и хотя эксперты о самой работе не слишком высокого мнения, мне она кажется самой прелестной и трогательной из всех женских лиц, что дошли до нас из того блестящего века. Думаю, все ее знают: юный профиль, каштановые волосы схвачены на затылке прозрачной повязкой с вшитыми по краям жемчужинами. Сетка удерживается на голове с помощью ленты, украшенной драгоценными камнями. Посреди молодого лба застыла, словно капля, жемчужина. Нос молодой женщины слегка вздернут, выражение лица торжественное, но чувствуется: еще чуть-чуть — и она повернется к вам и улыбнется. Под подбородок выбилось — по моде того времени — несколько прядок каштановых волос. Я знал когда-то молодого человека, который во время Первой мировой войны возил с собою цветную репродукцию с этого портрета. Она воплощала для него совершенную женскую красоту, и, глядя сейчас на оригинал, я подумал, что молодой человек выбрал для себя хороший идеал.

Кем же она была? Вероятнее всего предположить, что это Бианка, незаконнорожденная дочь Лодовико иль Моро и Бернадины де Коррадис. Во время короткого правления Беатриче она светилась от счастья. И Лодовико, и Беатриче очень горевали, когда она скончалась через несколько месяцев после того, как вышла замуж за Галеаццо Сансеверино. Каким же добрым и тонким человеком был Лодовико: письмо бывшей его любовнице лежит в миланском архиве и является образцом того, каким должно быть послание, написанное в трудную минуту.

«Хотя без горького сожаления мы не можем говорить о безвременной кончине дорогой нашей дочери Бианки, — написал он, — ты ее мать, и мы знаем: долг обязывает нас сообщить тебе об этом трагическом

событии. Вчера в девять часов утра, будучи до тех пор совершенно здоровой, она вдруг потеряла сознание. Несмотря на все усилия докторов, состояние ее становилось все хуже, и в пять часов вечера она закончила свой земной путь. Событие это доставило нам невыразимое горе, и не только потому, что мы потеряли такую дочь, а и потому, что случилось это так внезапно и скоро. Мы знаем, что наносим твоему сердцу непоправимый удар, и все же мы должны с терпением выносить испытания, которые посылает нам Бог, и склониться перед законами природы, изменить которые не в состоянии. Поэтому просим тебя перенести эту потерю с терпением и мужеством. Заверяем, что любить тебя будем не меньше, нежели Бианка была бы сейчас жива».

Лодовико написал также архиепископу Милана и попросил, чтобы его дочь была похоронена под алтарем церкви Санта Мария делле Грации, «так как я не хочу, чтобы Бианку похоронили в том месте, где я видел бы ее могилу».

#### 4

Болотистая земля к югу от Милана, с ее ирригационными каналами и рисовыми полями, имеет для меня очарование, в котором нет ничего итальянского. Серебристые тополя, дрожащие от легкого ветерка, придают ландшафту сходство с Голландией или Францией, а потому с невольным удивлением встречаешь на дорогах эти безошибочно латинские физиономии — морщинистые, кирпично-красные, с большими носами и черными глазами. Они не изменились с тех пор, как их запечатлели на картинах, изображая волхвов. Спокойным летним утром я отъехал на двадцать миль к югу от Милана — в старинный город

Павию, столицу одной из девяти ломбардских провинций. Поднималась легкая дымка, и старый город, сгрудившийся на берегах Тичино с перекинутым через реку необычным крытым мостом, казался голландским городком XVII века. Но не успел я об этом подумать, как туман начал подниматься, и с каждой секундой Павия отходила от Голландии и принимала ощутимо итальянский облик или, точнее, ломбардский. Наконец, город предстал предо мной — горчично-желтый и красновато-коричневый, а с собора, как по команде, зазвучали католические колокола.

Меня встретил друг: его пригласили читать лекции в местном университете. Приятель потащил меня по церквям, затапливая в меня разнообразную информацию, словно мясо в оголодавшую собаку. Так продолжалось до тех пор, пока я не взмолился и не сказал, что больше не в силах ничего переварить. Этот момент насыщения хорошо знаком тем, кто когда-либо путешествовал по Италии. Богатства страны — архитектурные, исторические, художественные — становятся по временам непереносимы. Невольно завидуешь специалисту, который интересуется каким-то одним историческим периодом или работами одного художника. Так много всего нужно увидеть и понять, что гид сводит тебя с ума. Человек сам должен выбрать себе дорогу и время.

Мы пришли в замок Павии, построенный Висконти и унаследованный Сфорца, — огромное здание с поросшими мхом башнями. У него есть фамильное сходство с замком Милана. В этом здании состоялось знаменитое бракосочетание, на котором присутствовали Петрарка и Фруассар. То самое, на котором Лионель, герцог Кларенский, женился на Виоланте Висконти. Позднее это был дворец, в котором Лодовико Сфорца и Беатриче д'Эсте провели одни из самых счастливых часов своей жизни.

В таком замке, разумеется, было место и для трагедии. Здесь жил несчастный Джан Галеаццо Сфорца, шестой герцог Милана, доверявший своему любимому дяде. Он пил больше, чем следует, и считал себя неприспособленным к жизни, что огорчало и злило разочарованную в нем жену. В этом замке он умер после болезни. Дело дошло до того, что он не мог прямо стоять, и потому многие в то время говорили, будто его отравил дядя. Лодовико же претила жестокость в любом виде. Он никогда не смог бы убить человека, который ему верил. С другой стороны, он все же переступил через сына своего племянника и вступил на трон.

В Павии, как это часто бывало со мной и в Испании, я ощущал ужасную тяжесть времени. Я не назвал бы Павию самым прекрасным итальянским городом, но ни один другой город не давал мне большего ощущения древности поселений, бывших здесь до римлян и до галлов и похороненных один под другим. Дорога уходит вниз и как бы демонстрирует поступь столетий. Идет она к западным воротам церкви Святого Петра. Здесь друг привел меня в склеп и показал могилу Блаженного Августина. Такие переходы от XV к V столетию в Италии дело обычное. Как Блаженный Августин, умерший в 430 году в Северной Африке во время осады Гиппона, оказался вдруг погребенным в Павии, было для меня удивительно, пока священник, кое-что писавший о путешествии святых мощей, не рассказал нам, в чем здесь дело.

«В 430 году Гиппон сдался вандалам, — начал свое объяснение священник. — Христианских проповедников выслали в Сардинию. Останки возлюбленного епископа им взять с собой не позволили, однако они не переставали надеяться на то, что когда-нибудь им удастся их забрать. Лишь шестьдесят лет спустя мощи святого переправили в Калиостро, что в Сардинии. Когда через двести лет остров заняли сарацины, Лиутпранд,

король Ломбардии, предложил неверным за мощи Блаженного Августина шестьдесят тысяч золотых крон. Сарацины с радостью согласились и в 710 году переправили реликвию в Италию. Тогда король и поместил святые мощи в Павии. В то время она была столицей Ломбардии».

Такова вкратце история мощей. Раку время от времени открывают, люди благоговейно смотрят на останки великого отца церкви и стараются улучшить удобный момент, чтобы стащить оттуда маленькую косточку. В 1787 году герцогу Пармы отдали пяточную кость. Я смотрел на красивый мраморный ларец с костями, на череп с выкрашенными в черный цвет глазными впадинами и думал: «А много ли здесь осталось от самого святого?»

Друг потащил меня в университет. Я увидел там ухоженные внутренние дворы, выдержанные в красновато-коричневой гамме цветов. Перегнувшись через балконную решетку, мы смотрели вниз. Аккуратно одетые студенты торопились на лекции.

— Должно быть, в XV веке и Оксфорд так выглядел, — сказал приятель. — Маленький, спокойный, никакого транспорта и, конечно же, никаких велосипедов.

В одном из дворов мы увидели статую Алессандро Вольта, самого известного университетского профессора XVIII столетия, имя которого всплывает каждый раз, когда мы покупаем электрическую лампочку.

— Ты осознаешь, — спросил приятель, — что история университета восходит к римским временам? Позднее Шарлемань был одним из его бенефициариев, а Ланфранк, который сделался епископом Кентерберийским, был уроженцем Павии и читал здесь право.

Нас поприветствовал преподаватель физики и пригласил в музей, где я увидел стеклянные колбы и



металлические слоистые конструкции, которые помогли Вольту в его первых опытах. Не знаю, совершают ли электрики паломничество к усыпальницам своих богов. Если и совершают, то это то место, куда им необходимо прийти. Фантастическая коллекция стеклянных реторт, колб, цинковых и стальных емкостей, машин с медными кнопками и ручками из красного дерева, назначение которых непосвященному человеку придется долго объяснять. Преподаватель рассказал все же о первом химическом источнике тока — вольтовом столбе. Во время его объяснений я подумал, какими же цивилизованными были наши предки. Новый источник энергии не угрожал существованию человечества, не попал в руки мошенников и бандитов. Никто — насколько мне известно — не угрожал убить мир электрическим током. Игрушечная искра, вспыхнувшая в те дни в аудитории, та, с которой началось электричество, кажется сейчас, когда мы смотрим на нее из нашего атомного века, звездой на волшебной палочке феи, наблюдавшей за опытами Вольты. Среди всех великих изобретений электричество, как мне кажется, единственное, что не вызвало ни в ком озлобленности.

Мы прошли через анатомический музей. Вряд ли стоило это делать перед ланчем; на выставленные там экспонаты я старался не смотреть, но все же увидел человеческую голову, с лицом жуткого зеленого цвета и не менее ужасными каштановыми волосами, которая плавала в заполненной маслом емкости. Мне сказали, что эта голова принадлежала некогда профессору анатомии, который перед смертью, случившейся более ста лет назад, завещал свое тело студентам.

Меня пригласили в колледж Гизлиери, который был основан папой Пием V. Мирское имя папы было Микеле Гизлиери. В молодости он был беден и знал, как трудно получить хорошее образование. Когда его избрали

папой, желая помочь бедным молодым людям, он основал в Павии колледж. Напротив колледжа стоит сейчас статуя Пию, худому белобородому аскету, бывшему великому инквизитору. В Ватикан он взял с собой власяницу. На публичных церемониях ходил босиком и отказался заменить белую доминиканскую сутану на красную мантию. С тех пор папа всегда носит белую одежду. Пий V помог поднять флот против турков в Лепанто и разгромить их. Он же отлучил от церкви Елизавету Тюдор.

Колледж находится в мраморном дворце, построенном в стиле архитектуры конца XVI века. Ректор показал мне лучшие картины и гобелены. Затем мы поднялись по величественной лестнице и пошли по коридору, в который выходят комнаты студентов. На некоторых дверях я увидел записки, к примеру, такого содержания: «Разбудите меня в десять». Английский студент, возможно, подумает, что комнаты в колледже чересчур величественные, что им не хватает уюта. Это обычная жалоба англичан в отношении итальянских дворцов XVIII века. Зато помещения просторные, в каждой комнате есть кран с водопроводной водой, хороший письменный стол и книжные полки, а вот сломанных плетеных кресел вы тут не увидите. Ректор сказал мне, что самым знаменитым литератором среди выпускников был драматург Гольдони, которого, однако, исключили в 1725 году за сочинение возмутительной сатиры на дочерей местных аристократов.

Сто человек, проживающих в здании, обедают вместе в длинной белой трапезной постройки XVI века. За каждым столом сидит по десять человек. Официанты в белых хлопчатобумажных перчатках приносят меню. Я оказался рядом с единственным английским студентом, молодым человеком из Лидса. Он только что окончил Мертон-колледж в Оксфорде. Студент рассказал мне, что приехал в Павию для того, чтобы написать статью о

собственных взглядах на наиболее выдающиеся моменты римской истории. Что он имел в виду, студент не объяснил, да и я не стал его расспрашивать. Ланч оказался превосходным: ньочки, за ними последовал жаренный на гриле морской язык, фрукты и сыр. На столе стояло красное и белое вино. Обслуживание было официальным и даже торжественным. Впрочем, насколько я мог заметить, и молодые итальянцы уже сейчас казались мне не студентами, а настоящими врачами, юристами и инженерами.

## 5

Итальянское слово «чертоза», французское «шартрез» и «чартерхаус» в Англии означает картезианский монастырь. Примерно в пяти милях от Павии находится один из самых знаменитых таких монастырей. Испытываешь особое чувство, когда в современной Европе оказываешься наедине со знаменитым памятником. В солнечный полдень я был единственным посетителем, и тишина вокруг казалась особенно внушительной, оттого что в монастыре больше никто не живет.

В проеме ворот я увидел вычурное здание, к которому вела длинная широкая аллея. Думаю, это самый пышный и богатый монастырь, который когда-либо был построен. Висконти и Сфорца истратили на него огромные средства, надеясь, очевидно, получить дивиденды на небесах. И в самом деле, если существует какое-то мерило для тех, кто возводит церкви и монастыри, ведь Висконти и Сфорца могли бы потратить эти деньги на себя, эти семейства должны бы получить несколько слов благодарности от небесной канцелярии. Немного странно, когда на западном фасаде видишь рядом с апостолами медальоны с профилями

двенадцати цезарей, но приятно сознавать, с какой бережной педантичностью отнеслись архитекторы эпохи Возрождения к римскому периоду своей истории. Каждая из четырнадцати молелен, выстроившихся вдоль нефов, представляет собой мраморную коллекцию: красота и разнообразие мрамора, который сумели обнаружить и достать из-под земли каменотесы, являют собой весь цветовой спектр, но еще более удивительно мастерство архитекторов, которые соединили его в потрясающей гармонии.

Среди всего этого великолепия больше всего заинтересовала меня усыпальница Беатриче д'Эсте и Лодовико. Любопытна история создания этого памятника. Гробница, которая нынче пуста, сооружена была перед высоким алтарем церкви Санта Мария делле Грации в Милане, то есть там, где умерла Беатриче. Похоронили ее незадолго до катастрофы Лодовико и заключения его во французскую тюрьму. По причинам, которые мне не известны, доминиканцы из монастыря Святой Марии выставили гробницу на продажу, и ее купили практически за гроши картезианцы Павии — у них, по всей видимости, память была не такой короткой. В церкви они отвели ей почетное место, но в процессе переноса с места на место кости веселой очаровательной Беатриче были утрачены.

На гробницу помещены лежащие фигуры Беатриче и Лодовико, выполненные в натуральную величину. Лодовико иль Моро пригласил горбуна Кристофоро Соларио, миланского скульптора, чтобы тот создал обе фигуры. Лодовико хотел, чтобы будущие поколения могли увидеть его возлюбленную Беатриче такой, какую видел ее он, его друзья и слуги, и скульптор постарался добиться максимального портретного сходства. Эта скульптурная композиция — самый трогательный надгробный памятник, который мне когда-либо доводилось видеть. Две фигуры — юная женщина и

мужчина намного старше ее, невольно рожают даже у тех, кто ничего о них не знает, предчувствие беды. Люди с любопытством вглядываются в их лица.

Хотя я и знал, что Беатриче умерла в возрасте двадцати двух лет, но никак не предполагал, что выглядела она чуть ли не школьницей. Изображена она в самой роскошной своей одежде. Как и многие знаменитые женщины своего времени, она была миниатюрной, и я заметил, что толщина подошвы ее венецианских башмаков составляла не менее четырех дюймов. Это была молодая женщина, смех и жизнелюбие которой сделали двор Милана самым веселым в Европе, и в то же время она способна была давать советы мужу, бывшему на двадцать лет ее старше. Лодовико лежал подле нее в парадной одежде, длинные волосы падали на подушку, в руках — головной убор герцога.

Я упоминал о смерти Беатриче, и сейчас, когда стоял возле памятника, снова думал об этом. Случись это сейчас, думал я, и первокурсник из медицинского института спас бы ей жизнь. Письменное свидетельство о ее внезапном конце необычайно подробно. Она была на поздних сроках беременности, и здоровье у нее было в полном порядке, а настроение — неважное. Вечером 2 января 1497 года, вероятно в попытке развлечь ее, в комнатах миланского замка устроили танцы, которые вдруг остановились, потому что Беатриче сказала, что плохо себя чувствует. Она родила мертвого сына и вскоре умерла. Из погруженной в темноту комнаты убитый горем Лодовико диктовал письма итальянским дворам.

«Моя жена вчера в восемь часов вечера почувствовала внезапную боль, — писал он. — В одиннадцать вечера она родила мертвого сына, а в половине первого душа ее улетела к Богу. Этот ужасный безвременный конец наполнил меня горечью и

невыразимой тоской. Я предпочел бы умереть сам, нежели потерять самое любимое и драгоценное существо на свете», — так он сообщил эту новость отцу Беатриче — Эрколе I, герцогу Феррары, и своему шурина Франциску Гонзага, маркизу Мантуи.

Он был не в состоянии пойти на похороны, которые — согласно обычаю того времени — прошли ночью. При свете тысячи факелов двор, послы и самые важные жители Милана, надев длинные черные плащи, последовали за похоронными дрогами к церкви Санта Мария делле Грацие. Леонардо да Винчи в то время работал над «Тайной вечерей» и, должно быть, видел похоронную процессию, а возможно, и сам принимал в ней участие. Тело Беатриче облачили в одно из самых дорогих платьев из золотой парчи и перенесли к высокому алтарю, где среди восковых свечей и алых драпировок его и принял кардинал-легат. Две недели после похорон никто не видел Лодовико. Комнаты его были завешаны черной тканью, а пищу он принимал стоя. Раз в день он надевал длинный черный плащ и спешил к могиле жены.

Такие мрачные события находятся в резком противоречии с весельем и блеском эпохи Ренессанса. На стенах бесчисленных картинных галерей, словно в зеркале, мы видим одни лишь счастливые моменты этого века. Мы смотрим в глаза мужчин и женщин, влюбленных в жизнь. Возможно, по этой самой причине, когда к этим радостным, счастливым людям приходила смерть, оказывалось, что стойкости им не хватало. Конечно, когда горе поразило ренессансный дворец, никто не пытался сохранять внешнее спокойствие. Люди, убитые горем, старались обычно спрятаться от чужих глаз. Так было и с Лодовико. Если же кто-то входил в его темную комнату, то плакал вместе с ним.

Когда Гвидобалдо I, герцог Урбино, умер в возрасте тридцати пяти лет от подагры, секретарь Изабеллы

д'Эсте был приглашен в комнату его вдовы Элизабет Гонзага. Он написал: «Я нашел достопочтенную мадонну в окружении женщин в комнате с закрытыми окнами и стенами, увешанными черными драпировками. В комнате горела только одна свеча. Госпожа сидела на матрасе, разложенном на полу, рядом с зажженной свечой. Лицо ее закрывала черная вуаль, платье тоже было черным. В комнате было так темно, что я почти ничего не видел, и меня подвели к ней за рукав, словно слепого. Она взяла меня за руку, и мы оба зарыдали. Прошло какое-то время, прежде чем ее и мои рыдания дали мне заговорить... Сегодня мы провели вместе более трех часов, и я перевел разговор на другие темы и даже рассмешил ее, что до сих пор никому не удавалось сделать. Я попросил ее открыть ставни, а об этом никто еще не осмеливался при ней заикнуться. Думаю, что дня через два она согласится на это. Она до сих пор принимает пищу, сидя на полу...» Кто бы узнал в этой мрачной фигуре веселую и блестящую герцогиню, упомянутую у Кастильоне в книге «Придворный», — женщину, блиставшую в интеллектуальных беседах на вечерах в Урбино?

Один из гидов нашел во мне свою добычу, и мы отправились в кельи монахов, если только можно назвать такие великолепные помещения кельями — все они облицованы мрамором лучшими мастерами Ренессанса. Каждый монах занимал небольшую квартиру, состоявшую из спальни и кабинета, а внизу находился дровяной сарай, мастерская и очаровательный садик. У каждой «кельи» в стене была декоративная арка, оборудованная поворотным кругом. На круг этот в определенное время послушники ставили вегетарианскую пищу.

Три раза в сутки колокол призывал монахов в церковь — на мессу, вечернюю и полуночную молитву. В ночное время обитатель кельи спешил по территории

монастыря с фонарем. Приятель, который посещал заутрени и часы перед обедней в картезианском монастыре, рассказывал, что никогда не видел чего-либо более впечатляющего, чем эти закутанные в плащи фигуры, которые можно было разглядеть лишь при свете фонарей. Неукоснительно соблюдался обет молчания. Исключение делалось лишь раз в неделю во время прогулки, длившейся два-три часа.

Картезианский орден отличается от других монашеских орденов тем, что его ни разу не реформировали. «Никогда не реформировали, потому что никогда не деформировали», — скажет вам картезианец. Жизненный уклад, выстроенный по модели отшельников египетской пустыни, был изложен святым Бруно в горах над Греноблем примерно тогда, когда Вильгельм Норманнский завоевывал Англию. Большой Шартрез — так был назван первый монастырь картезианцев — расположен в великолепной горной местности, хотя монахи были изгнаны из Франции в конце XVIII столетия. Странно, что слово «шартрез», которое в давние века связывалось с суровыми жизненными ограничениями, в наше время для большинства людей ассоциируется с праздничными событиями. Дистилляция знаменитого зеленого и желтого ликера — недавнее событие в картезианской истории, и большое количество денег, которое зарабатывали монахи, отдавалось ими на благотворительные и религиозные цели. С тех пор как их изгнали из Большого Шартреза, производство ликера перешло в руки французской компании, но монахи занялись дистилляцией в Таррагоне, в Испании, и делают настоящий продукт. Один монах в Испании говорил мне, что зеленый шартрез — самый сильный и самый лучший ликер, желтый — самый популярный, а белый известен меньше других.



У ворот я повстречал старого джентльмена. Он приглядывал за монастырем, и у него был большой запас ликера, называвшегося «Гра-Кар». Он вручил мне визитную карточку, на которой я прочел: «Cavaliere Maddelina», и сказал, что ликер он готовит в соответствии со старинным монашеским рецептом. Сам и необходимые для него травы собирает. Я купил у него две бутылки «Гра-Кар», но по оплошности — таковы уж издержки путешествий — оставил их в гардеробе отеля. Надеюсь, они кому-то понравились.

## 6

Большой парк Мирабелло протянулся от монастыря до замка Павии. Когда-то в этих местах охотились герцоги Милана. Тут водились олени и другие животные. Но самой большой добычей оказался Франциск I, король Франции. Его схватили здесь рано утром 25 февраля 1525 года солдаты армии Карла V, испанского короля и императора Священной Римской империи.

Неотъемлемая характеристика королей — быть в одно и то же время глупыми и храбрыми, а качества эти проявились, когда Франциск I повел свое войско под огонь собственной же артиллерии. Он сражался как лев и чуть не погиб, а его аристократы падали подле него в большом количестве. Это была битва при Павии. Франциск провел год в тюрьме Мадрида, а ворота Италии широко распахнулись перед испанцами.

## Глава третья. По Ломбардии

***Каналы древней Ломбардии. — Озеро Лаго-Маджоре и Изола Белла. — Посещение виллы Плиния на озере Комо. — Какумер Муссолини. — Железная корона Ломбардии. — Курочки Теоделинды и ее же флаконы с маслом. — Город Горгонцола.***

### 1

Если бы тот, кто знал Ломбардию несколько столетий назад, мог увидеть ее сегодня, ничто не удивило бы его больше, чем отсутствие лодок и парусов. Сложная система водных путей соединяла друг с другом маленькие и большие города Паданской долины, превращая их во внутренние порты. Шекспир знал о том, что на корабле можно доплыть из Милана до Адриатики, а из Вероны на барке и речной лодке — до Милана. На протяжении Средних веков грузы из Венеции доставлялись на набережные Милана, Вероны, Мантуи и Феррары. Баржи выгружали камень для строительства Миланского собора в самом центре города. Было даже время, когда Милан считался городом, обладавшим сильным морским флотом: ведь у него были военные корабли, бросавшие вызов галерам Венеции.

Движение по рекам и каналам придавало особый оттенок жизни в Ломбардии. В трактирах полно было моряков, унаследовавших знания предков, столетиями плававших по опасной реке. Многие писатели прошлых веков описывают бесшумное скольжение барж и лодок через Ломбардию. Регулярность и безопасность, с которой доставлялись грузы, производили сильное

впечатление на население эпохи Ренессанса. И в самом деле: океаны переплывать не надо, пиратов нет, через горные перевалы переходить не требуется, а стало быть, и бандитов опасаться не следует. Города Паданской долины первыми получали с Востока специи, дорогое рукоделие, рукописи.

В настоящее время не осталось и следа от этих коммуникаций. Система начала разваливаться вместе с политическими неприятностями XVI века: герцогства распадались или переходили в другие руки, каналы зарастали, после чего их засыпали землей. Появление железных дорог нанесло системе окончательный удар. Иногда в городе встречаешь на уличной вывеске слово «canale»<sup>[29]</sup> вместо «via»<sup>[30]</sup> — единственное свидетельство того, что когда-то улица эта являлась частью внутренней водной транспортной системы.

Система водного сообщения восходила к временам древних римлян. Пакетботы назывались «курсориэ». Суда курсировали между различными городами и перевозили не только почту и официальных посланцев, но и обычных пассажиров. В восхитительном письме, написанном примерно в 450 году, Сидоний Аполлинарий рассказал, как он скользил в курсориэ от окрестностей Милана до Равенны и пел при этом песни. Одну из этих песен ему, очевидно, наваял ломбардский пейзаж, а темой послужила смерть Фаэтона, который, не справившись с конями Гелиоса, рухнул в Эридан (так в то время называлась река По). Сестры, оплакивая его смерть, превратились в тополя. Сидоний, судя по всему, связал лесозащитные полосы с античной легендой и объяснил в своей песне тем, кто не знает, что солнце превратило слезы сестер в липкую смолу, выделявшуюся из тополиных почек.

Лучшим временем для передвижения по каналам и рекам была, должно быть, эпоха Ренессанса. Прекрасное, навсегда исчезнувшее зрелище заставляло

тогда крестьянина позабыть о прививочном ноже, с которым он работал в винограднике, и прислушаться к музыке, засмотревшись на позолоченную резную барку. У каждого монарха имелось такое судно, названное — вслед за галерами дожей Венеции — буцентавром. Построены они были исключительно для развлечения и использовались для доставки почетных гостей в столицы герцогств и дочерей на свадебные церемонии. Суда придавали дополнительное очарование дворцовой пышности. Папа или сам римский император переходили от герцога к герцогу, из одной золоченой барки в другую, пока не прибывали к месту назначения, где прямо на речном берегу гостя приветствовали лучники и войско правителя, костюмированные русалки и тритоны под звуки музыки. Лучшее описание такого события есть у Пия II в его «Комментариях». По дороге на конгресс в Мантую в 1459 году папа выехал из Рима и наземным путем проехал через Флоренцию до Болоньи, а там, пересев на барку, поплыл сначала по реке Рено, а потом — По до Феррары. Герцог Феррары доставил его в своем буцентавре до Реверы на границе с Мантуей, где дожидался его другой буцентавр, принадлежавший маркизу Мантуи. Пий, описывая свои впечатления от третьего лица, рассказал о встрече флотилий Феррары и Мантуи. «Первая везла Пия, — пишет он, — вторая собиралась его везти. Трубачи той и другой флотилий наполнили долину страшным шумом. Лес знамен развевался на ветру. Жители, сидя на берегу, молили папу о благословении, и когда он удовлетворил их просьбу, закричали „Вива!“».

Переночевав во дворце Гонзага в Ревере (закончен он был только наполовину), папа, устроившись в буцентавре Мантуи, продолжил путь вверх по течению к месту слияния По с Минчо. В то время как барка бесшумно скользила по речным излучинам, Пию показали «холм, почитаемый жителями Мантуи, где, как

предполагалось, жила Пресвятая Дева». Ночь провели в поместье Гонзага с тем, чтобы прибыть в Мантую на следующее утро.

Для возвращения в Рим в холодную зимнюю погоду «пожилой папа», как он сам себя называл — было ему тогда пятьдесят пять лет, сел в мантуанский буцентавр и отчалил по холодной Минчо вниз по течению. «С высокой кормы сопровождавших буцентавр судов трубы и другие инструменты наигрывали приятные мелодии. Дамбы, защищающие реки от паводков, были украшены огромными фигурами богов и богинь, великанов и ангелов». Прибыв в Феррару, Пий так заторопился, что отклонил предложение задержаться там и настоял на том, чтобы ему дали маленькие лодки, в которых он пустился в путь по мелководным, болотистым, замерзающим рекам в Рено. Когда стало невозможным пробивать топором замерзшую воду, папу закутали в теплую одежду и понесли в кресле. Кардиналам пришлось идти пешком. Кое-как добрались до Болоньи, через горы перевалили в экипажах и верхом доехали до Флоренции и Сиены.

Просто удивительно, как много важных путешествий совершалось зимой. Должно быть, за рекой в те времена следили лучше, чем сегодня. Женщины тоже пускались в долгий путь в неблагоприятное время года. Когда Изабелла д'Эсте выехала в отцовском буцентавре в Мантую, с тем чтобы выйти замуж за Франческо Гонзага, стоял февраль 1490 года. На реке По их встретила свирепая буря. Придворный художник почувствовал себя так плохо, что помчался назад в Феррару наземным путем, даже не попрощавшись со своею госпожой! Сестра Изабеллы — Беатриче д'Эсте — выехала в буцентавре в декабре того же года из Феррары в Милан, где Должна была сочетаться браком с Лодовико Сфорца. На улицах Феррары лежал снег толщиной в три фута. Невеста и ее придворные дамы пять дней томились в

барке, предназначенной лишь для пышных церемоний и празднеств. Жилые помещения там были крошечными и, само собой, неотапливаемыми. В довершение всего пропал корабль с едой и поварями, и целый день им нечего было есть. Барка с Беатриче, голодной, закутанной в меха, медленно пробиралась вдоль берегов, увязнувших в снегу. Слышно было, как она тихо бормочет: «Я хочу умереть!» Но что значит молодость, особенно если речь идет о невесте! В момент, когда буцентавр приблизился к Павии, Беатриче и ее дамы появились на палубе: прически безукоризненные, лица сияют, а их наряды в течение нескольких недель были главной темой разговоров миланских аристократок.

Если такие трудности испытывала знать, можно себе представить, что значило зимнее путешествие для простых людей. Корабли были переполнены, и Файнес Морисон рекомендовал пассажирам брать с собой розовые листья, лимоны, апельсины, гвоздику и розмарин, чтобы заглушить их ароматом неприятные запахи. Все, однако, зависело от времени года, а потому весной или в начале лета приятно было покинуть пыльные дороги и бесшумно скользить мимо равнины. Странно, однако, что немногие путешественники посчитали интересным об этом написать.

Челлини вспоминает, как в 1535 году он совершил путешествие из Феррары в Венецию. Из его записок мы узнаем, что в трактирах лодочники предлагали свои суда в аренду. Сделку можно было устроить заранее. Совершив в Риме убийство, Челлини предусмотрительно исчез вместе со своим старым приятелем, робким скульптором Никколо де Рафаэлло, известным больше как Триболо, <sup>[31]</sup> потому что — говорит Вазари — в школе он всегда попадал в затруднительное положение. Когда в феррарской таверне эти столь непохожие друг на друга люди оказались вовлеченными в драку, Челлини выхватил шпагу и угрожал убить всех, кто там

находился. «Я пошел напролом, — вспоминает он, — яростно размахивая оружием и крича: „Я вас всех убью“, но при этом постарался никому не причинить вреда».

«После того как мы пообедали, — пишет он, — пришел лодочник и предложил довезти нас до Венеции. Я спросил, не одолжит ли он нам лодку. Он охотно согласился, и мы совершили сделку. Утром мы встали рано, вскочили на лошадей и доехали до порта: он находится в нескольких милях от Феррары». Здесь их поджидали трое мужчин, тех, кто накануне участвовал в потасовке. У всех были пики. У Челлини тоже была при себе пика: он купил ее в Ферраре. Ни секунды не раздумывая, он атаковал противников, в то время как его испуганный попутчик кинулся к лодке. Челлини последовал за ним, и они отплыли от берега. Троица последовала за ними в ялике. Поравнявшись с ними через десять миль, мужчины прокричали: «Ступай в этот раз своей дорогой, Бенвенуто, мы встретим тебя в Венеции!» Как только он прибыл в Венецию, тут же отправился к брату, кардиналу Корнаро, и спросил позволения носить оружие. К счастью, враги его больше не появились.

Об обратном пути — перемещался он опять по воде — Челлини рассказывал, ничуть не стыдясь проявлений своего жестокого нрава. Они переночевали в таверне, находившейся в конце канала. Путешественники должны были пересечь там на баржу, которую тянут лошади. Владелец трактира разозлил Челлини, потребовав у него плату за предыдущий вечер. Началась перебранка, ужаснувшая иль Триболо. Он старался успокоить приятеля. Челлини вынужден был заплатить, но от злости на хозяина не мог уснуть. «У нас были, должен признать, — писал он, — замечательные кровати, новое и безупречно чистое белье. Тем не менее я не мог сомкнуть глаз: все думал, как бы отомстить. То собирался поджечь дом, то хотел перерезать горло

четырем отличным лошадям, стоявшим у него в конюшне». Эти намерения он не осуществил. Утром Челлини, иль Триболо и другие пассажиры заняли свои места в барже, но, когда впрягли лошадей, Челлини притворился, будто забыл в спальне таверны тапочки, и побежал за ними. Похоже, в последнюю минуту он хотел подраться с хозяином, потому что позвал его, но из-за дверей спальни услышал оскорбительный ответ.

«В таверне я увидел заспанного оборванного конюшего, и он закричал мне: „Хозяин сейчас и к папе римскому не выйдет, потому что находится в постели со шлюхой. Он давно ее обхаживал“. Затем конюший попросил у меня на чай, и я дал ему несколько венецианских медяков и сказал, чтобы он пошел к барже и попросил подождать, пока я найду свои тапки. Я пошел наверх, вынул ножик, острый как бритва, и разрезал четыре матраса вместе с бельем на ленты. При этом испытал удовлетворение, зная, что причинил ущерб более чем на пятьдесят крон. Затем я сбежал к барже, прихватив с собой несколько кусков от покрывала, и махнул рукой, дав понять, что можно отправляться». И это человек, который создал изящную золотую солонку для Франциска I, тот самый скульптор, чья статуя Персея до сих пор стоит на главной площади Флоренции!

Регулярное сообщение между Венецией и Падуей, Феррарой и Болоньей до самого конца XVIII века находилось в исправности и пережило все политические перемены и исчезновение великих родов. Доктор Бёрни во время своего музыкального турне в 1770 году сказал, что ему не советовали брать барку, которая регулярно ходит из Падуи по реке Брента до Венеции, так как путешествие это утомительно и компания не слишком приличная. Была в ходу примета, согласно которой лодка утонет в Бренте, если в ней не будет монаха, студента и куртизанки. Тем не менее Бёрни посмотрел



на лодки и подумал, что выглядят они «добротно» и «гостеприимно». Возвращаться он решил по воде, начав путешествие в коррьера,<sup>[32]</sup> на которой перевозили венецианскую почту. «Это род барки с большой крытой пассажирской кабиной посередине». Попутчики подобрались разношерстные. «Постели, — писал он, — расстелены были на полу, и все мы спали вповалку — дипломатический курьер, женщина, несколько простолюдинов. Почти всю ночь лил дождь, гремел гром и сверкала молния. В таком вот грохоте мы и ехали, хотя и с меньшей опасностью, нежели окажись мы в шторм на борту корабля».

На следующее утро они подъехали к По и пересели в лодку большего размера. «Погода потихоньку налаживалась, и мы поужинали на борту не без приятности. Спали мы опять, как и накануне, вповалку». Рано утром прибыли в Франколино, в нескольких милях от Феррары. Там пассажиры оставили свой багаж в лодке, и их отвезли в экипаже, запряженном четверкой лошадей, в город. Можно было пообедать, но вместо еды доктор Бёрни обошел как можно больше церквей и скопировал надпись на гробнице Ариосто, а потом присоединился к пассажирам экипажа. Путешественники проехали десять миль к месту, где увидели свой багаж выгруженным на берегу канала. Им пришлось ждать три часа («Такого солнцепека я еще не испытывал», — писал Бёрни), пока не появится лодка. Канал так зарос водорослями, что лодка едва протиснулась. «Это напомнило мне плотину на По и несколько плотин в Норфолке», — заметил доктор Бёрни. Добравшись до Малальберго, они пересели в другую лодку — больше предыдущей — и поплыли по другому каналу. «На ней мы проехали двадцать миль до Болоньи. Берега этого канала были довольно приятными, и если бы не прожорливые комары,

путешествие прошло бы не без удовольствия, так как погода нам благоприятствовала».

Короткое путешествие Бёрни показывает, каким отчаянно медленным было передвижение по каналам и рекам и как часто пассажиру приходилось пересаживаться с лодки на лодку. Заросший водорослями канал также доказывает, что за великолепными речными дорогами прошедших веков перестали следить и они начали приходить в полный упадок.

Тем не менее шестнадцать лет спустя лодки на Бренте все еще ходили. Гёте по пути в Венецию осенью 1786 года был в восторге от путешествия и сказал, что нет ничего лучше, чем плыть по воде, восхищаясь великолепными дворцами и садами. Очень приятно, пока шлюз поднимает судно, выйти на минуту на землю и отведать фруктов, которыми торгуют на берегу. На лодке он встретил двух странных путешественников, одетых как средневековые пилигримы, в таких же шляпах с обвисшими полями, с длинными посохами. Они признались Гёте, что во время странствий протестанты относились к ним лучше, нежели братья-католики. Какой занимательной, вероятно, была эта сцена: Гёте — один современник описал его как «самого красивого мужчину, которого я когда-либо видел», — сидящий на маленьких сходнях и задающий вопросы пилигримам. Пассажиры сошли в Венеции, не имея представления, что их попутчиком был Гёте. По просьбе пилигримов он раздал «несколько открыток с изображением трех волхвов».

## 2

Дорога от Милана до озера Лаго-Маджоре — пример старой несчастной итальянской привычки: рекламировать каждые несколько ярдов оливковое

масло, швейные и пишущие машинки, вермут и другие вещи. Кому это все интересно, когда ты едешь со скоростью шестьдесят миль в час?

Дорога проходит через местность, сражающуюся с наступающей промышленностью. Фабрики наступают на поля, и можно увидеть рабочих, которые выходят на несколько минут, чтобы передохнуть от пластикового производства. Они обмениваются замечаниями и шутками с женщинами, которые рыхлят бахчи и поля с помидорами. Когда приближаешься к озеру, фабрики остаются позади, и земля здесь хорошо ухожена, видно, что обрабатывают ее многие столетия. Итальянский земледелец — прилежный труженик, он использует каждый дюйм почвы, выращивает животных, где это возможно. Возле дома фермера стоят очаровательные маленькие стога с торчащими из середины шестами. Выглядят они, словно имбирные пряники. В земле прорыты ирригационные каналы, высажены лесозащитные полосы из тополей и акации. Прежде чем сюда пришли римляне, галлы обрабатывали эту прекрасную черную землю, а что еще, кроме плодородной почвы, воды и солнца, может пожелать фермер? У каждого юриста и купца Милана было когда-то небольшое поместье неподалеку от стен средневекового города. Там он производил собственное оливковое масло, сыр, вино и молоко. Путешественники рассказывали о стадах коров, возвращавшихся вечером к безопасным стенам Милана, потому-то Стендаль еще в XIX веке упоминал о нравившемся ему запахе навоза на городских улицах. Внимание городского жителя к сельскому хозяйству было, как говорят, одной из причин преодоления классового барьера между знатью и купцами еще в Средние века, что так удивляло аристократов Франции в XV столетии.

Деревню Италии описал в «Обрученных» Алессандро Мандзони. Этот великий роман, как и «Дон Кихота», я

хорошо помню. Чувствуется, что автор, как мало кто из писателей, по-настоящему понимал деревню. Возможно, единственный читатель, которому роман пришелся не по душе и который имел мужество признать это, был Лонгфелло. Он заявил, что роман нагоняет на него сон. Что тут сказать? Местами он, действительно, затянут, как и любой другой роман, написанный в 1827 году, но как снотворное он не подействовал на меня ни разу. Верди, уроженец Паданской долины, знал описанную автором землю и ее людей. После встречи с Мандзони он сознался: «Я мог бы упасть перед ним на колени». Впрочем, он сделал даже больше: на смерть Мандзони сочинил знаменитый «Реквием».

Проезжая по гигантской долине Ла-Манчи, путешественник невольно отыскивает в лицах встречающихся ему испанцев черты Дон Кихота или Санчо Пансы. Так и на прилегающих к Милану территориях, глядя на молодых людей, едущих на велосипедах к шелкопрядильной фабрике, я заметил сходство с честным Ренцо. А старая женщина с мотыгой на бахче — ну просто вылитая Аньезе. Ее бесконечная мудрость вошла в поговорку. Возможно, проходя по маленькому городку, путешественник встретит священника, толстенького и беспокойного, тот бросит на него быстрый взгляд и заторопится по своим делам. Кто же он, как не робкий дон Абондио?

Создавать типажи, наделенные в глазах современного читателя узнаваемыми характерами, — это талант, дарованный не каждому писателю. Сегодняшний читатель, прочитавший «Обрученных» даже по-итальянски, не сможет все же получить правильного представления о воздействии этого романа на итальянскую публику, говорившую тогда на испанском, немецком или французском языках и сумевшую увидеть в повествовании завуалированные политические намеки. Для читателей того времени

книга явилась глотком свежего воздуха, она рассказала им о родной стране. Роман имеет непреходящее значение: люди до сих пор читают его с большим удовольствием. Мандзони увидел особенную политическую атмосферу Паданской долины, характерную для XVII века. Люди жили тогда вблизи границ отдельных самостоятельных маленьких государств, что было раздольем для преступников. Все, что нужно было сделать находившемуся в розыске человеку, — это перейти границу соседнего государства, и если он не нарушал закон вновь, то был в безопасности. Вопрос об экстрадиции решался поджентльменски: один правитель посылал письмо другому, но в век секретарей и слабого делопроизводства такое письмо могло годами не доходить до адресата, тем более если содержание его кому-то не нравилось.

С момента появления «Обрученных» вышли миллионные тиражи книги, переведенные на разные языки. Дочь Мандзони Джульетта в письме подруге писала, что шестьсот книг было распродано за двадцать дней. «Это настоящий фурор», — добавляла она. Мужа Джульетты — маркиза Адзельо я помню по одному остроумному высказыванию, к сожалению, последнему. После смерти Джульетты он женился на девушке по имени Луиза Блондель. Муж и жена не ладили, расстались, но она пришла к нему, когда тот был при смерти. «Ах, Луиза, — сказал он с улыбкой, — ты всегда приходишь, когда я уже ухожу».

Я ехал по земле, ровной как Норфолк, и хотя Альпы были не видны, прежде чем я покинул поля с помидорами, кукурузой и дынями, защитные лесополосы напомнили мне, что поля иногда продуваются свирепыми альпийскими ветрами, и снова мне на ум пришел Мандзони. Он сделал Ломбардии еще один

подарок, менее известный, чем роман. Был он великим садоводом и, по слухам, впервые посадил здесь акации.

### 3

Все озера летом красивы, не исключение и Лаго-Маджоре — огромное, голубое, спокойное в безветренную погоду. Вода, воздух — все неподвижно. Волны едва-едва лижут берег, в воде отражаются горы, прекраснее которых, наверное, нет на свете. Лодки скользят по поверхности озера, над которым поднимается летняя дымка. Я огорчился, обнаружив, что Альпы все еще не видны. Мне хотелось увидеть, как они вздымаются с северной стороны, там, где находится Швейцария. Когда я увидел острова Борромео с Изола Белла посередине, у меня буквально перехватило дыхание.

Магазины, выходящие на озеро, были битком набиты туристами, разглядывавшими маленькие деревянные шале, музыкальные шкатулки и другие сувениры, которые каким-то ветром занесло из Швейцарии.

Затем я пошел на ланч в огромный обеденный зал отеля, выдержанного в стиле эдвардианской эпохи. Столы были накрыты на сотни гостей, и официанты с исполненными глубокого разочарования лицами ожидали распоряжений. В качестве основного блюда подавали озерную форель, приготовленную на древесных углях. Рыбу выловили в озере утром, и она была не хуже шотландской. Официанты вдруг насторожились, заслышав приближавшийся нестройный гул голосов. Двойные двери распахнулись, и в зал вошло около сотни человек, чей облик вызвал бы изумление и усмешку, случись это пятьдесят лет назад. Люди приехали из Швейцарии в междугородних автобусах, переправились через перевал Симплон и — насколько я

мог догадаться — пребывали в восторге от собственного приключения. Среди туристов я увидел немцев, французов, скандинавов, несколько англичан, одетых, словно они собирались покорять тропический остров, только что топоры у них не было, зато на шеях висели фотокамеры. Похожи они были на пассажиров, чудом выживших после кораблекрушения, обгоревших на солнце и надевших на себя что попало, в том числе и детскую одежду. В отель их привел приветливый распорядитель, проворный молодой человек, одетый совершенно нормально. Он быстро пересчитал всех при входе, словно некоторые туристы, пострадав от шока, могли и потеряться.

Надеюсь, мистер Джеймс Лейвер<sup>[33]</sup> сделает заметки о костюме современного туриста, так как в наши дни он представляет собой любопытнейшее зрелище. Отчего, покидая дом и пересекая границу, осанистая матрона выставляет свои тела на всеобщее обозрение, натянув на себя пляжный костюм? Неужели романтические представления об Италии как о стране вечного солнца и страсти внушили ей мысль о нудизме? Интересно было бы узнать, какие страны и какие виды спорта внесли вклад в экстравагантную коллекцию головных уборов с козырьком, курток «лесоруб», сандалий на веревочной подошве, цветных носков и ярких рубашек, которые носят как мужчины, так и женщины? Интересно наблюдать, как из автобуса выгружаются сегодняшние туристы, красные как раки, и сравнить их с изображениями на прежних фотографиях, на которых запечатлены переходящие через ледник мужчины, в шляпах с твердыми полями и твидовых костюмах, а женщины — в турнюрах. На других фотографиях люди того же поколения увековечены в городских костюмах в пейзажах самых жарких стран Среднего Востока. Когда-то путешественники думали о солнечных лучах как о чем-то, чего следует избегать с помощью темной

одежды и зонтиков. Солнце приветствовалось только как украшение южного ландшафта. «Чтобы объяснить то, что у особы женского пола родом из Англии щеки покрылись загаром, нужно было провести глубокое социально-антропологическое исследование», — писал Дж. Хэйл во вступительной статье к «Итальянскому журналу» Сэмюэля Роджерса. Выскажу собственную догадку: все началось в Германии после Первой мировой войны, когда в сумасшедшей погоне за физической формой поколение, заморенное блокадой Антанты, взялось за пеший туризм и солнечные ванны.

За мой стол сел приятный невысокий человек, одетый словно для футбольного или хоккейного матча. Приехал он из Саут-Шилдса и не знал, что пересек границу Италии. Когда я сообщил ему об этом, он сказал: «Да что вы! Подумать только!» Я попытался тактично выяснить, зачем он приехал в Италию, и он ответил: «Все дело в том, что жене понравились картинки с изображением Венеции в брошюрах туристического агентства». Затем меня удивила туристка из этой же группы, пожилая женщина: она разговаривала на безупречном итальянском языке с официантом. Женщина объяснила, что жила во Флоренции более двадцати лет, но после войны ни разу сюда не приезжала. В этой смешанной группе пилигримов она выглядела, словно хозяйка.

После ланча я пошел в соседнюю деревню Бавено, где над озером стояли очаровательные виллы, окруженные лесом и садами, высаженными на террасах. Весной и летом здесь замечательно, но зимой совершенно ужасно: в это время с Альп дуют ураганные ветры, а озера не видно из-за ледяного дождя. Среди вилл есть Кастелло Бранко. Раньше у нее было другое название — вилла Клара. Королева Виктория провела здесь в 1874 году почти целый месяц. Королев ушедшей эпохи обычно представляют как вдов, сидящих за



маленьким, покрытым кружевом столиком, и это большое заблуждение. Виктория была женщиной, о которой бы сейчас сказали: заядлая путешественница. На королевской яхте она частенько уезжала проводить родственников на континенте, и в 1889 году совершенно неожиданно появилась в Испании — первая царствующая особа, которая когда-либо это сделала. Старые люди в Бавено вспоминают истории, которые рассказывали им родители о чаепитиях под деревьями в саду виллы Клара. Они до сих пор показывают кедр и кипарис, которые посадила королева Виктория.

Я купил билет до острова Изола Белла и в компании с другими первооткрывателями из нашего отеля отправился к плавающему миражу, который постепенно обретал реальные черты и принял облик окруженного садом дворца в стиле барокко. Лодочник сказал нам, что остров принадлежал князю Борромео, который жил в Милане, но часто приезжал на озеро. Мы высадились на каменную набережную и поднялись по узким улицам, напомнившим мне улочки Капри. Подошли к воротам дворца, где нас приняли с профессиональным радушием, как в Вубернском аббатстве. Мажордом, говорящий на нескольких языках, провел нас через анфиладу бело-голубых княжеских апартаментов с декором в стиле барокко.

Я выглянул на балкон, выходящий на озеро. Похоже, там плескалось штук пятьдесят увесистых форелей. В другом зале увидел бюст Карло Борромео. Взгляд князя с орлиным профилем был устремлен на два старинных сундука, обитых красным бархатом^ Мне сказали, что там хранилась его одежда.

Сад на острове привел меня в восторг. Каждый дюйм его почвы триста лет назад привезен был с материка графом Виталиано. Граф, должно быть, любил трудности. Результатом его работы стали десять террас, засаженные гибискусами, апельсинами и лимонами,

камелиями и магнолиями, самшитом и падубом, лавром и кипарисами. Растения располагались в соответствии с законами устройства старинных садов эпохи Ренессанса, задуманных как продолжение дома: сад являлся местом, где в приятной тени и прохладе все плохие и несчастливые мысли должны были улетучиться. Я решил, что самой привлекательной чертой этого места был вид на озеро и на окружающие его горы, открывавшийся из любой точки, в обрамлении старинных деревьев и стоявших под ними статуй.

Существует романтическая легенда, согласно которой голый каменный остров понравился Борromeо как отличное место, где он мог спрятать молодую женщину по имени Изабелла от глаз ревнивой жены. Исторические факты говорят другое: в 1630 году граф Карло Борromeо захотел возделать остров и назвать его «Изола Изабелла» в честь своей жены, однако умер, прежде чем планы его осуществились. Дело продолжил сын Виталиано. Примечательно, что первым описал остров епископ Бернет в книге «Истории своего времени». Он побывал здесь в 1684 году.

#### 4

Автомобильный паром ходит через озеро Лаго-Маджоре до Лавено, и вскоре я оказался в очаровательном городе Комо.

Ирония судьбы — Плиния Младшего усадили в нише с одной стороны дверей городского собора, а дядю его — Плиния Старшего — поместили напротив племянника. Что бы они сказали друг другу, если бы увидели себя сами в таком странном месте, обсиженных голубями и почитаемыми за святых? Даже принимая во внимание местный патриотизм, я никак не могу оправдать подобное возвеличение в святом месте двух весьма

замечательных язычников, особенно Плиния Младшего, который — судя по дошедшим до нас источникам — пытал двух дьякониц, стараясь выбить из них ответ Траяна на поставленные ему вопросы относительно христианства.

И у дяди, и у племянника были виллы на озере Комо, и итальянцы с присущим им умиленным уважением к писателям — чувством, которое разделяют с ними ирландцы и, конечно же, валлийцы, — их не забыли. Даже сегодня лодочники покажут вам места, где восемнадцать столетий назад стояли виллы Плиниев, и большинство бедных рыбаков знает, что Плиний Младший написал несколько знаменитых писем, а Плиний Старший задохнулся во время извержения Везувия, когда в Помпее помогал спасать людей.

С парома я видел отраженный в озере прекрасный белый храм, что стоял в городском саду. Его поставили в память Вольты, и в нем, как и в музее при университете Павии, имеются прижизненные экспонаты.

Приятно было сидеть, глядя на приходящие и уходящие лодки. Счастливую, спокойную сцену оживлял смех молодых людей и крики лодочников. Я подумал, что некоторые итальянские пейзажи сохранили классический свой облик, и, можно почти поверить в то, что ты перенесся в прошлое. Такое чувство у меня возникало на озере Альбано возле Рима, где по холмам на многие мили рассеялись виллы, и вдруг начинает казаться, что там до сих пор живут Гораций и его друзья. Это же ощущение появилось на Комо. Озеро здесь уже, чем Лаго-Маджоре, и обступают его более высокие горы. Если смотреть издали, то пейзаж с виллами на берегу, на склонах и горных вершинах, напоминает первое столетие новой эры.

Цивилизация — по прошествии многих веков — снова вернулась к прежнему стандарту культуры и комфорта. Вот и библиотеки окружили озеро, как в стародавние

времена. Центральное отопление и электрические нагреватели сменили гипокауст,<sup>[34]</sup> и, возможно, римлянин времен империи признал бы — доведись ему увидеть Комо сегодня, — что жизнь осталась такой же комфортной, как и была. Я уверен, что оба Плиния одобрили бы телевидение и «альфа-ромео».

## 5

Мне объяснили, как найти дорогу до виллы Плиния возле озера Комо, и я отправился по крутой горной тропе, на которой нельзя было остановиться или повернуть назад. В конце концов, пришел к дому возле дороги, высоко над уровнем озера. Там я увидел босоногого мальчишку лет двенадцати, итальянского Гекльберри Финна. Он сидел на стене в потертых шортах цвета хаки и строгал палочку перочинным ножом. Мой вопрос: «Где находится вилла Плиния?» был, очевидно, ему слишком хорошо знаком, потому что он встрепенулся, прыгнул со стены и повел меня вниз по крутой тропинке через густые заросли орешника и ежевики.

День был жаркий, а молодой фавн скакал вперед по гальке и камням. Время от времени он тормозил, пожевывая конец своей палки, и дожидался, когда я с ним поравняюсь. Я почти всегда ношу с собой мешочек с конфетами и угощаю ими таких вот фавнов, ибо ничто так быстро не убирает возрастной барьер, но в тот раз, к несчастью, я их забыл, поэтому спускались мы в молчании. Опечалившись за паренька, я поспешал за ним медленно, раздумывая, долго ли еще мне идти по этой узкой и петляющей тропе.

У Плиния Младшего на озере Комо было несколько вилл, и у той, что я пытался отыскать, был родник, который интересовал и самого владельца. У меня

закралось сомнение, а не дурачит ли меня мальчишка и вдруг в конце этого трудного спуска ничего, кроме камней в лесу и куска мозаичного покрытия, я не увижу. Тем не менее, когда мы добрались до озера, то услышали лай собаки и вышли к домику, возле которого копошились куры. Первое чувство разочарования исчезло: я посмотрел за домик и увидел виллу времен Ренессанса, стоящую над водой на каменной террасе. Из домика вышла женщина и сообщила, что она присматривает за виллой, которая в настоящее время пустует. Мне показалось, будто она вышла прямо из книги Мандзони: смелые глаза, полная грудь — женщина, внушающая уважение.

Она сказала, что маркиза, которая живет в Турине, наверняка не стала бы возражать против того, что я осмотрю виллу. Вместе мы пошли к старинному дому, и я тут же в него влюбился. По сравнению с другими виллами он был невелик, построен на высоте двадцати футов над уровнем озера. Два его крыла объединял открытый двор, в центре которого посреди клумбы стояла бронзовая статуя Нептуна с поднятым трезубцем. Колонны поддерживали узкую крытую аркаду, обрамлявшую живописные лазурные воды и зеленые горы.

С задней стороны двора я увидел скалу со знаменитым родником Плиния. Родник этот наполняет поросшую мхом каверну глубиной около трех футов, а избыток воды устремляется к озеру по проложенной под двором подземной трубе. Удивительное зрелище — по прошествии многих столетий родник все еще жив. Он такой, каким знал его Плиний во время правления Траяна. Женщина поведала, что поднимается родник в течение шести часов, а затем наступает шестичасовой перерыв. Все так, как об этом когда-то говорил Плиний. Я попросил у нее чашку или стакан, наполнил и выпил

ледяной горной воды. Вот что писал Плиний о роднике своему другу Лицинию:

«Шлю тебе подарок из деревни — загадку, которая заслуживает того, чтобы ты со своей эрудицией над ней призадумался. В соседних горах есть родник. Он бежит среди скал и падает в небольшую каверну и, задержавшись там на какое-то время, уходит в озеро. Родник этот меня озадачил: регулярно, три раза в день, он появляется и исчезает. Прилив и отлив можно увидеть своими глазами — интересное, должен тебе признаться, зрелище. Ты сидишь возле источника, отдыхаешь, пьешь ледяную воду и видишь, как постепенно вода поднимается, а потом также постепенно опускается и уходит. Если положить кольцо или какой-либо другой предмет на дно чаши, когда в ней сухо, поток медленно приближается к нему, пока полностью не заливают, а затем также неспешно отодвигается. В чем здесь дело? Может, какой-то непонятный воздушный поток затыкает, а потом открывает источник, как это бывает с бутылками и другими узкогорлыми сосудами, откуда нет свободного прохода жидкости. Когда такой сосуд опускаешь горлышком вниз, воздушная прослойка мешает жидкости вылиться сразу, и она выходит толчками. Или источник этот подчиняется тем же законам, что и море с его приливами и отливами? Или следует сравнить его с реками, впадающими в море? Когда они встречаются со встречным ветром, уровень воды в океане повышается, реки поневоле возвращаются назад в свое русло. Что я хочу узнать: не может ли какое-то внешнее воздействие управлять моим фонтаном? А может быть, в земле имеется какая-то впадина: когда воды в ней немного, родник течет медленнее и не так обильно, когда же резервуар переполняется, то источник набирает полную силу? Ну и, наконец, нет ли в природе некоего подземного равновесия, управляющего процессом, в

результате которого вода вырывается наружу, когда фонтан сухой, и уходит, когда чаша переполняется? Ты тот человек, который может решить для меня эту загадку. По-моему, я подробно тебе все описал. Всего хорошего».

Напившись родниковой воды, я заметил удочку для ловли форели, прислоненную к дому возле балюстрады. Подошел поближе и увидел в воде рыбий косяк, некоторые рыбины — весом фунта по два — осторожно трогали носом воду из родника, выливавшуюся в озеро. Я вспомнил слова Плиния, который говорил, что на своей вилле на Комо он мог рыбачить прямо с кровати. Очарованный справедливостью такого высказывания, я ничуть бы не удивился, если бы Плиний предстал сейчас перед моими глазами — уставший от Рима, от выступлений перед в центумвирами в суде, который он считал шумным, вульгарным, утратившим прежнюю античную строгость. В такие минуты ему, должно быть, хотелось сбросить церемониальную тогу, надеть деревенскую тунику и рассказать обо всех неприятностях юной Кальпурнии, второй жене, обожавшей Плиния. Когда Плиний бывал в Риме, Кальпурния время от времени посылала в суды гонцов, чтобы те рассказали ей, как движется дело. Когда Плиний выступал с чтением рукописи на одном из скучных вечеров, которые устраивались в Риме перед публикацией труда, — античный вариант современного коктейля или «литературного ланча», — она пряталась за портьерой, чтобы насладиться аплодисментами, которыми вознаграждали мужа. Она даже перекладывала его стихи на музыку и пела их под аккомпанемент лиры.

Просто удивительно, сколько во времена правления Августа богатые римляне строили себе домов. Много было богачей, которые, как Плиний, имели виллы по всей стране. В то время как некоторые постройки были

простыми охотничьими домиками, почти хижинами, другие поражали своими размерами, например вилла Плиния в Тиберии — теперь Читта ди Кастелло — к северу от Перуджи. В этом доме были зимние и летние столовые, роскошные ванны, мраморный альков под виноградной шпалерой, где Плиний и Кальпурния обедали иногда в жаркую погоду. Они устраивались возле никогда не переполняющегося фонтана, на поверхности которого плавали блюда, сделанные в форме корабликов и уток.

Смотрительница провела меня по внутренним летним помещениям. На мебель были надеты чехлы, из-под которых кое-где выглядывали позолоченные барочные листья. Бра и люстры скрыты бумажными колпаками, в центре гостиной на мраморном полу стояли две моторные лодки, накрытые брезентом.

Построил виллу в 1570 году Джованни д'Ангвиссола. Он был в числе людей, вынесших смертный приговор сыну папы Павла III — Пьерлуиджи Фарнезе, герцогу Пармы и Пьяченцы, человеку, на фоне преступлений которого жизнь Цезаря Борджиа может показаться сравнительно безгрешной. По словам смотрительницы, Россини сочинил здесь «Танкреда». Показав на маленький столик работы Буля, она сказала, что Наполеон подписал на нем Кампоформийский мир. В то время я не мог поверить в достоверность этих фактов, но несколько месяцев спустя я случайно напал на упоминание Шелли об этой вилле: в апреле 1818 года он пытался арендовать ее. Шелли заметил, что когда-то дом был великолепным дворцом, но пришел с тех пор в плачевное состояние. «Комнаты очень большие, однако обставлены плохой и старой мебелью. С террас открывается великолепный вид на озеро, а в саду можно укрыться в тени благородных лавров».

Перед уходом смотрительница показала мне на дверь, которая, по всей видимости, вела в подвалы, и



таинственным шепотом рассказала об ужасных оргиях, которые бывали здесь в римские времена. Она поведала, что там когда-то было огромное колесо, которое рубило на мелкие куски женщин и сбрасывало их в озеро. Я и в других местах слышал от деревенских людей такие рассказы: так они представляют себе жизнь высшего класса в старые времена.

Юный фавн повел меня назад через орешник, и мы простились на дороге. Очарование виллы Плиния оказало на меня глубокое воздействие, я до сих пор не могу ее забыть. Я знаю, куда бы я поставил там свой письменный стол и где разложил бы книги. Это одно из тех мест — а было их не так много, — где я мог бы быть счастлив до конца своих дней.

## 6

Если вы пойдете вдоль северо-восточного берега озера Комо и спуститесь с крутого холма к мосту, то увидите удивительно большую городскую площадь, которая называется Донго. Это очаровательное место: пароходы подходят к пристани тихой гавани, туристы собираются на набережной, любуясь озером, дома карабкаются по склонам, а нарядные виллы спускаются к воде. В летний день, когда молоденькие девушки звонко смеются под яркими солнечными лучами, а юноши поднимают парус яхты, трудно поверить, что здесь могло произойти что-то трагическое. Но в сырой апрельский день 1945 года на площади Донго в немецком грузовике партизаны обнаружили спрятавшегося Муссолини. Он пытался незаметно пересечь швейцарскую границу, но был арестован.

Последняя глава падения этого почти ренессансного политика трагична. Время поставило Муссолини и его гибель в историческую перспективу. Однажды я

обменялся с ним рукопожатием и дважды мог наблюдать его во время официальных мероприятий с близкого расстояния. Я подумал тогда, что он отличный актер, была у него также, как, впрочем, и у нескольких других известных мне людей, мания величия: он чувствовал в себе сходство с Наполеоном. Даже когда Гитлер презрительно пожертвовал им, он создал жалкую «республику Сало» со штаб-квартирой на озере Гарда и все еще сравнивал свою затею с наполеоновскими «ста днями». О его падении я прочитал с облегчением, а об убийстве — с отвращением.

Слова Джона Эддингтона Саймондса, умершего, когда Муссолини было десять лет, можно было бы отнести и к озеру Комо, и к размышлениям о смерти диктатора: «Социальные условия Италии времен Ренессанса были такими чрезвычайными, что почти на каждом повороте морского побережья, в городах, при взгляде с горных ее вершин, возле озер мы невольно соединяем восхищение красивейшими и чистейшими произведениями искусства, прекраснейшими ее ландшафтами с воспоминаниями об ужасных преступлениях и людях, закон для которых ничего не значит». Возможно ли, чтобы социальные условия имели к преступности эпохи Ренессанса меньшее отношение, нежели итальянский темперамент? Конечно же, в истории Италии нет события, которое столь сильно напоминало бы смерть Муссолини, чем гибель в 1354 году Кола ди Риенцо. Диктатора хладнокровно убили, и тело его таскали по Риму.

Путешествуя по западным берегам Комо, проходя через маленькие деревни, там где люди до сих пор помнят события 28 апреля 1945 года, невозможно не затронуть смерть Муссолини. Оглядываясь на события весны того года, кажется, что сценарий войны писали Эсхилл и Софокл. Через два дня после того, как

Муссолини и Кларетта Петаччи были застрелены, Гитлер и Ева Браун покончили с собой. Невольно обращаешься к истории, отыскивая параллели. Оба события вдохновили писателей на создание нескольких первоклассных книг, среди них «Последние дни Гитлера» Хью Редуолда Тревор-Ропера (H. R. Trevor-Roper. «The Last Days of Hitler»), «Муссолини: закат и падение» Романа Домбровского (Roman Dombrowsky. «Mussolini: Twilight and Fall») и написанная не так давно книга «Бенито Муссолини» Кристофера Хибберта (Christopher Hibbert. «Benito Mussolini»). Думаю, что основанные на документах книги оживят воспоминания об этом периоде, ибо как Гитлер, так и Муссолини продолжают интересовать людей, а достоверные сведения об их гибели чрезвычайно ценны, и ценность их со временем будет только возрастать. В гибели Гитлера было некоторое сумасшедшее величие, сходное со смертью викинга, отправившегося в вечность на горящем корабле. Конец же Муссолини сродни гибели ренессансного деспота. Как ни странно, он бесстрастно заметил, что история рассудит его и Гитлера и вручит пальму первенства тому, у кого будет более достойная кончина. Он знал, что смерть станет расплатой за поражение, и все же был слишком большим конъюнктурщиком, чтобы оказаться способным на самоубийство. Он верил, что в последний момент наступит избавление, к тому же боялся смерти и в последние дни цитировал слова, сказанные Ахиллом Одиссею: «Лучше быть живым рабом, чем царем мертвых».

Американцы были в пятидесяти милях от Милана, когда Муссолини, поддавшийся панике и лишившийся воли, отложил вопрос о сражении до 25 апреля. Утром на собрании Комитета национального освобождения, состоявшемся, с разрешения кардинала Шустера, в епископском соборе Милана, он обсуждал план сдачи.

Кардинал рассказал, что происходило. Муссолини уже не напоминал победоносного лидера. Это был поникший, сломленный человек. Когда он вошел в помещение, то выглядел совсем больным. Кардинал решил предложить ему выпить и прийти в себя.

Муссолини попросил час, чтобы обдумать выдвинутые ему условия, но не вернулся. Вместо этого под покровом темноты, дождливой ночью он бежал вместе с несколькими приспешниками. Отправились они в сторону Комо с намерением перейти границу со Швейцарией. Он посмотрел через мутное ветровое стекло на автостраду и сказал: «Никто не может отрицать, что это я построил эту дорогу. Она останется здесь, когда меня не будет». Автомобили добрались до Комо в девять часов вечера. В полночь стало известно, что американцы объедут Милан, а потому решили ехать до Менаджо, к западной стороне озера. Перед отъездом Муссолини позвонил жене Рашель, которая в дни его величия ни разу не изменила крестьянскому образу жизни. Он сказал ей, что, как она и предсказывала, все оставили его. Муссолини попросил у нее за все прощения и пожелал всего хорошего. До Менаджо доехали в восемь утра, 26 апреля, и Муссолини отправился на виллу Кастелли, в дом местного фашистского лидера.

Спустя несколько часов приехала нарядно одетая компания — молодой человек, две женщины и двое детей. Мужчина был Марселло Петаччи, брат Кларетты Петаччи, любовницы Муссолини, а женщины — жена Марселло и Кларетта. Все они путешествовали с фальшивыми испанскими паспортами. Когда Кларетта услышала, что Муссолини здесь, то попросила провести ее к нему, но Муссолини отказался с ней встретиться. «Зачем она сюда приехала? — спросил он. — Ей что, хочется умереть?» Кларетта устроила сцену, рыдала, и Муссолини, наконец, согласился. Вскоре решено было

двинуться к швейцарской границе по дороге, которая разветвляется у Менаджо по направлению к Лугано. Три автомобиля пустились в путь. В первой машине сидели фашисты, во второй — Кларетта с родственниками, в третьей — Муссолини. Они не проехали и пяти миль, когда в местечке Грандола первый автомобиль задержали партизаны. Завязалась перестрелка. Несколько фашистов были взяты в плен. Тогда два других автомобиля развернулись и рванули обратно, к Менаджо. Здесь Муссолини сказал Кларетте, что она рискует: нельзя, чтобы ее видели рядом с ним. Они разошлись по разным домам, Кларетта по-прежнему выдавала себя за сестру «испанского посла». Они оставались в укрытии, дожидаясь прибытия моторизованной немецкой колонны, бежавшей по направлению к Австрии. Колонна прибыла рано утром. В ее составе было тридцать восемь грузовиков и около трехсот морально сломленных немцев.

Конвой вышел в 5 часов утра и не встречал сопротивления, пока не дошел до деревушки вблизи Донго. Там его остановил партизанский дорожный патруль. Было около половины восьмого утра. Муссолини спросил, как называется деревня, и получил удивительный ответ: «Муссо». «Бывают времена, когда имена приобретают символическое значение, — писал Роман Домбровский. — Через всю жизнь Гитлера прошло имя Браун. Родился он в Браунау, нацистское движение было названо движением „коричневых рубашек“, любовницей его была Ева Браун. Муссолини был в двух шагах от того, чтобы скрыться от преследования в Муссо, деревушке, о которой он вряд ли когда-нибудь слышал. А похоронили его на кладбище Мусоко».

После того как их задержали, начались длительные переговоры между немецким командиром и партизанами. Муссолини сумел незаметно забраться в один из грузовиков и закутаться в плащ «люфтваффе».

После нескольких часов переговоров было решено, что партизаны проверят личности всех конвойных на пьядца Донго. Фашисты обвинили немецкого командира в предательстве и начали стрелять в партизан. Некоторые были убиты, а другие окружены. Муссолини затаился в грузовике. Конвой въехал в Донго. Оставшиеся в живых фашисты были арестованы. Некоторые документы свидетельствуют о том, что Марчелло Петаччи выдал себя во время допроса. Его допрашивал партизан, умевший говорить по-испански. Во всяком случае, он, его жена и их дети, вместе с Клареттой, были задержаны. Существует две версии поимки Муссолини. Одна из них заключается в следующем: когда партизан проверил удостоверения личности немцев, находившихся в грузовике, то заметил скорчившуюся в темном углу фигуру, закутанную в плащ с капюшоном, надвинутым на лицо. Особенное подозрение у партизана вызвали начищенные полевые сапоги. Когда немцев спросили, кто этот человек, они просто пожали плечами и, смеясь, сказали, что это их пьяный товарищ. Партизан ткнул Муссолини ногой и спросил: «Ты, наверное, итальянец?»? Муссолини хорошо знал немецкий и мог бы ответить на этом языке, но, вместо этого, ответил по-итальянски: «Да, я итальянец». Тут он и попался. Другая версия: когда проверка людей в грузовике была завершена, Муссолини не был обнаружен, но немец выпрыгнул на дорогу и заговорщицки подмигнул, дав понять, что в грузовике есть человек, которого надо бы проверить.

Муссолини немедленно узнали. Тот страх, который он нагнал на свою страну за двадцать лет правления, должно быть, еще не прошел, потому что узнавший его человек, изумленно ахнув, обратился к нему: «Ваше превосходительство». Муссолини заверили, что не причинят ему вреда, на что он ответил довольно странно, словно до сих пор был дуче, принимающим

приветственные обращения: «Я знаю, что люди Донго желают мне добра». Было 27 апреля, 3 часа. Его повели в администрацию мэра, а курьера поспешно отправили в Милан в Комитет освобождения, чтобы объявить о том, что Муссолини схвачен, и получить дальнейшие распоряжения. Тем временем в кабинете мэра разыгрывалась фантастическая сцена. Муссолини, в своей серо-зеленой фашистской форме, терпеливо докладывал о своих действиях мелким городским правителям — мэру, врачу и ветеринару.

Время шло, и партизаны начинали беспокоиться о сохранности своего пленника. Что, если еще одна немецкая колонна пройдет здесь и решит его освободить? Поэтому было решено поместить Муссолини в здание таможни в Джермазино, где он высказал удивительную просьбу. Должно быть, у него в тот момент появилась убежденность игрока в том, что ему выпала козырная карта и все теперь пойдет хорошо. Он сказал своим стражникам, что «испанская синьорина», которую они арестовали в Донго, на самом деле Кларетта Петаччи и что ему хотелось бы ее повидать. Сделав это, он приговорил ее к смерти. Когда командир партизан пошел за ней, Муссолини отобедал с охраной, большая часть которых была молодыми коммунистами, и снова объяснил свои действия, после чего, утомившись, вернулся в маленькую камеру, в которую до сих пор сажали мелких контрабандистов.

Когда Кларетте Петаччи передали сообщение Муссолини, она было притворилась, что не знает его. Когда же ей сказали, что Муссолини признался, кто он такой, настроение ее изменилось.

— Вы все меня ненавидите, — закричала она. — Вы думаете, я связалась с ним ради его денег и власти... Вы можете что-нибудь для меня сделать? Я хочу, чтобы вы поместили меня с ним в одну камеру. Я хочу разделить с ним его судьбу. Если вы убьете его, убейте и меня тоже.

Партизан был поражен. На Кларетту Петаччи, какой все ее представляли, это было не похоже. Он ушел, не сказав ни слова.

В два часа утра Муссолини разбудили и приказали одеться. Решено было поместить его вместе с Клареттой в доме возле Комо. Два автомобиля встретились в Понте ди Альбано, но когда они подъехали к Комо, то увидели, что светомаскировка снята, и слышали ружейные выстрелы. Они решили, что сюда прибыли американцы, и переменили планы. Свернули к деревне Адзано к западу от Комо и в пятнадцати милях к югу от Донго. Там у одного из партизан был друг-фермер по имени Джакомо де Мария.

Хотя Домбровский исследовал события, связанные со смертью диктатора, через три года после того, как все произошло, он столкнулся с таким количеством противоречий и нестыковок, даже со стороны очевидцев, что написал: «Приходится задуматься: есть ли такая вещь, как объективная историческая правда, и задаться вопросом, сколько лжи и искажений скрыто на страницах истории». Через десять лет Кристофер Хибберт, исследовавший то же событие, но привлекая к своей работе еще больше авторитетных источников, добавляет дополнительные подробности. Чрезвычайно любопытно сравнивать эти две замечательные книги. Господин Хибберт живо представил трагедию той сырой и ветреной ночи. Кажется, сам видишь, как по каменистой дороге ведут диктатора. На плечи накинута промокшее одеяло, Кларетта крепко держит Муссолини за руку, фермер часто скрывал у себя беглых антифашистов, а потому не удивился, когда в половине четвертого ночи его разбудили условным сигналом, «вкрадчивым, настойчивым и повторяющимся — так фермеры подзывают к себе животных». Он впустил двух промокших и измученных беженцев без каких-либо вопросов, и, пока готовил им эрзац-кофе, жена его



пошла наверх, выгнала из двуспальной кровати своих сыновей и приготовила комнату для незнакомцев. Довольно странно, что фермер поначалу не узнал Муссолини, который тут же удалился с Клареттой в приготовленную им комнату. Когда они разделись и легли в постель, двое стражников подслушивали у дверей, и им показалось, что Муссолини сказал: «Я уверен, что они меня не убьют», а затем вроде бы спросил: «Можешь ли ты простить меня?», на что Кларетта ответила: «Это уже не имеет значения». Дождь все еще не прекращался.

Пока они видели последние сны, их убийца или палач спешил из Милана. Звали его Вальтер Аудизио, а партизанское имя — Валерио. Часть партизан из Комо возражали против «экзекуции» Муссолини и требовали письменного подтверждения от Комитета национального освобождения, который приказал Валерио убить его. Нет никаких доказательств, что такой документ был написан. Тем не менее Валерио выполнил задачу, и 28 апреля днем, в половине четвертого, он прибыл к домику в сопровождении еще двух человек.

Валерио — без каких-либо угрызений совести — спустя несколько дней описывает экзекуцию в коммунистической газете «Унита». Он написал, что, когда вошел в маленькую спальню, Муссолини стоял возле кровати в коричневом пальто и фуражке республиканской национальной гвардии без эмблемы.

Сапоги его были стоптаны. В выпуклых глазах отчаяние, нижняя губа дрожала — это был страшно напуганный человек. Первые его слова были: «В чем дело?» Я решил провести экзекуцию недалеко от дома. Чтобы доставить его туда, я заранее выработал план, а потому сказал: «Я пришел освободить вас... поторопитесь... у нас мало времени...» Муссолини указал на Кларетту Петаччи... «Она должна пойти первая», —

произнес он. Казалось, она не понимала, что происходит, и бросилась собирать свои личные вещи. Муссолини торопил ее. Потеряв терпение, он вышел первый. За дверью лицо Муссолини изменилось, и, повернувшись ко мне, он сказал: «Я предлагаю вам империю». Мы все еще стояли на пороге. Я ничего ему не ответил, и велел Петаччи присоединиться к нам.

Она подошла к Муссолини, я двинулся следом. Они шли по тропинке, ведущей к дороге, где стояла машина. По пути Муссолини взглянул на меня один только раз с выражением благодарности. В этот момент я прошептал ему: «Я освободил и вашего сына Витторио». Я хотел ему дать понять, что мы везем его к Витторио. Муссолини ответил: «Благодарю вас от всего сердца». Когда мы подошли к автомобилю, Муссолини казался убежденным в том, что он свободный человек. Он сделал знак, чтобы Петаччи села в автомобиль первой, но я попросил: «Сначала вы. Вы лучше скрыты, но с этой фашистской фуражкой немного рискованно». Он снял ее и, похлопав по своей лысой голове, сказал: «А так?» Я ответил: «Нет, наденьте, только надвиньте козырек на глаза».

Я остановил машину и сделал Муссолини знак рукой, чтобы тот молчал. Шепотом сказал ему: «Я слышал шум, пойду посмотрю». Спрыгнул с подножки и пошел к каменной стене. «Пойдите туда, в тот угол», — сказал я. Хотя Муссолини тут же подчинился, он уже потерял былую уверенность, а послушно встал спиной к стене в том месте, которое я ему указал. Петаччи встала справа от него. Наступило молчание. Я произнес приговор военного трибунала. «Согласно приказу генерального командующего и Добровольческого корпуса освобождения, мне доверено осуществить справедливое возмездие во имя итальянского народа». Муссолини застыл от ужаса. Петаччи схватила его за плечи и закричала: «Он не должен умереть». Я приказал: «Встаньте на свое место, если не хотите умереть».

Женщина отскочила. С расстояния трех шагов я пять раз выстрелил в Муссолини. Он упал на колени, и голова его слегка пригнулась. Тогда наступила очередь Петацчи.

Когда она кинулась к телу Муссолини, Валерио выстрелил ей в спину. Зачем он убил ее? Ее имени не было в приказе комитета, если вообще такой приказ существовал. Итак, женщина, которую вся Италия ненавидела долгие годы, восстановила доброе имя благодаря преданности любимому человеку, которую она сохранила до последнего своего часа.

Как странно, что в Италии даже во времена могущества диктатора ходила молва, будто Муссолини умрет после победы над Францией от рук трех солдат. Предсказание казалось слишком абсурдным, чтобы вообще о нем упоминать, даже после того, как Италия вступила в войну: ведь во Франции она буквально ни одного выстрела не сделала. Тем не менее французская делегация подписала договор о капитуляции в итальянском Генеральном штабе. Получилось, что технически Италия победила Францию. И вот настал тот пасмурный апрельский день: три солдата из абсурдного предсказания стояли над мертвым телом дуче.

Варварская сцена, когда в Милане тела Муссолини и Кларетты, подвешенные к балкам гаража на пьядале Лорето, висели головами вниз, находит параллели с итальянским Средневековьем. Южноафриканский журналист Алан Форрест, который служил в Объединенной армии, вспоминает в своей книге «Итальянская интерлюдия» (Alan Forrest. «Italian Interlude») факт, который в других отчетах об этом варварском событии нигде больше не упоминается. «Платье Клары спустилось вниз, выставив напоказ ее нижнее белье, — пишет он, — и британский командир бронированного автомобиля, въехавшего на площадь, увидев это, выскочил из машины, поднялся на ступеньки лестницы, стоявшей рядом, поднял юбку женщины и

закрепил у нее на коленях своим ремнем. Толпа орала на него, но он не обращал на нее внимания. Бронированный автомобиль подъехал ближе и угрожающе наставил на толпу орудия, чтобы отбить у хулиганов охоту вмешаться».

Нужно, чтобы поступок цивилизованного человека в такой момент остался бы в памяти.

Озеро Комо, голубое, безветренное под обступившими его горами, городок Донго, заполненный туристами, деревня Адзано, нежащаяся под летним солнцем, маленькая девочка с корзинкой, спускающаяся по тропе, что ведет к дому Де Мария. Возможно ли, чтобы в этот рай вошли когда-либо трагедия и убийство? Это тот самый вопрос, с которым обращаешься, пытаешься соединить ландшафт с историей.

## 7

Однажды я отправился в Монцу, хотел увидеть железную корону Ломбардии и сокровище Теоделинды. Этот маленький город, примерно в девяти милях к северу от Милана, стоит на главной дороге к Лекко (промышленный центр, который обычно проезжают, не останавливаясь). Большинству людей Монца знакома как место, где проходят международные автомобильные гонки, а жители его работают на фабрике, изготавливающей фетровые шляпы и ковры.

Когда я приехал, собор только что закрылся на сиесту, и мне ничего не оставалось, как пойти на ланч и ждать открытия. Из ресторана на площади доносились восхитительные запахи. Я вошел: местные деловые люди за столиками с поразительной кротостью подчинялись правилам постного дня, ибо сегодня была пятница. Причина такого смирения вскоре мне стала ясна. За огромной горой равиоли, начиненных вместо

мяса шпинатом и пряными травами с растопленным сливочным маслом, последовала благородная холодная рыба, весом фунтов в четырнадцать, с боками, украшенными майонезом. Владелец ресторана ввез ее на тележке. Это был морской окунь из Адриатики, в Ломбардии его называют бронзино, на западном побережье у него другое название — спигола, а жители юга Франции знают его как морского волка. К окуню подали салат. Съев по куску торта с глазурью, постящиеся вернулись к установленным на тротуаре столам и, попивая кофе, приступили к медитации, не спуская задумчивого взора с полосатого фасада собора.

Мои же размышления связаны были с Теоделиндой, жившей во времена мрачного правления Григория Великого. Имя пусть и красивое, но немного зловещее, как у сказочной принцессы. Если я скажу, что в Англии оно не встречается, наверняка получу письма от дюжины Теоделинд, хотя лично я ни с одной обладательницей такого имени не знаком. Не припомню также, чтобы оно встречалось мне в каком-либо английском романе или биографии. Хотя это и странно, ведь имя Теофания когда-то было в ходу, так же как и Теофила, оно переходило в семьях по наследству, как рыжие волосы или особенная форма носа. В целом, однако, англичане никогда не увлекались этими греческими именами, и даже Теодора, самое красивое из перечисленных имен, не так уж часто встречается, хотя в перевернутом виде, в менее утонченной форме — Дороти — многие века не выходит из моды.

Теоделинда, о которой я так задумался, была принцессой из Баварии. Родилась она около 570 года. Красота белокурой девушки была столь замечательна, что слава о ней, перелетев Альпы, дошла до разрушенной бедной страны, каковой была в то время Италия. Легенда говорит, что жители Ломбардии воевали в тот год против экзарха, взявшего в осаду папу

и совершавшего чудовищные преступления. Григорий Великий был уверен, что конец света вот-вот наступит. В это самое время Автари, король Ломбардии, переоделся, чтобы его не узнали, и отправился в Баварию: ему хотелось проверить, верны ли слухи о красоте Теоделинды. Монах из Ломбардии, живший двумя столетиями позже описываемых событий и знавший все истории о королевском доме, говорил, что Теоделинда предложила страннику кубок с вином. Молодой человек переплел свои пальцы с пальцами девушки, затем, наклонив голову к кубку, провел пальцами красавицы по своему лицу. Приятно взволнованная принцесса рассказала об этом эпизоде няне, этой вечной наперснице, готовой к интригам в 580 году точно так же, как и в более позднем историческом периоде. Старая женщина сказала, что, принимая меры предосторожности, можно устроить все в лучшем виде. Так оно и вышло.

Теоделинда сделалась королевой Ломбардии, но через год Автари неожиданно скончался. Жители Ломбардии попросили ее избрать себе нового мужа, которому обещали подчиняться как королю. Было бы приятно сказать, что вдова не хотела нарушить верность покойному романтическому возлюбленному, однако это не соответствовало бы действительности. Она немедленно выбрала самого храброго и волевого молодого воина и сделала ему предложение. Звали его Агилульф, и был он герцогом Турина. Согласно легенде, «очаровательно покраснев и улыбнувшись», Теоделинда изложила ему суть дела и разрешила поцеловать себя в губы. Так, нежданно-негаданно, Агилульф сделался королем и, в придачу к красавице жене, взвалил на себя все заботы Ломбардии. К счастью, он сумел справиться и с тем и с другим. Царствовали они вместе двадцать лет.

Теоделинда была одной из немногих влиятельных королев, с которыми общался Григорий Великий. Другой

такой женщиной была Берта, королева Кента, помогавшая в это время Августину Блаженному обратить в христианство собственного мужа. Папа был благодарен Теоделинде за благотворное влияние на агрессивного супруга. Иногда он посылал ей подарки, одним из которых, по слухам, и была Железная корона Ломбардии.

Железная корона хранится под замком в приделе на алтаре, в то время как точная ее копия, которую многие посетители принимают за настоящую корону, подвешена на цепях над алтарем главного помещения собора. Когда я сказал церковному сторожу, что хотел бы увидеть настоящую корону, он отошел, а потом вернулся с одним из каноников, оказавшимся знатоком истории Ломбардии и автором многих статей о сокровищах. Сначала он провел меня в апсиду и показал массивный каменный саркофаг с выбитыми на нем словами: «Теоделинда, ломбардская королева», и поведал, что в городе всегда существовало предубеждение, не позволявшее открывать гробницу королевы. Тем не менее, воспользовавшись военным положением, в 1941 году гробницу потихоньку открыли. Те, кто надеялся увидеть там Теоделинду в том виде, в котором ее в 626 году туда положили, были разочарованы. Гробницу разграбили в отдаленном прошлом. Глазам присутствующих предстало лишь несколько монарших костей, припорошенных пылью веков.

Священник сказал, что покажет мне Железную корону. Он вошел в ризницу и вернулся уже в облачении. Сопровождал его церковный сторож с зажженной свечой. Зажгли две свечи и на алтаре, священник преклонил колени, а затем открыл стальной сейф, из которого выдвинул по направляющим ларец из толстого стекла. Он включил свет, и я увидел византийскую корону или диадему из золота и эмали, она

представляла собой венок со вставленными в цветы большими необработанными драгоценными камнями. Каноник нажал на какой-то винт, и Железная корона стала медленно вращаться, так чтобы удобнее было разглядеть каждую ее деталь. Сделана она была из шести золотых пластин, соединенных друг с другом золотыми петлями. Каждая пластина разделена на панельки, и в каждую панельку вставлено по три драгоценных камня. Стекловидная эмаль зеленого цвета. Священник обратил мое внимание на тонкое железное кольцо внутри короны. Кольцо было оправлено в золото и прикреплено к нему штырьками. Это железо и дало название короне. Говорят, что сделано оно из гвоздя Святого распятия. Святая Елена привезла его из Иерусалима и отдала своему сыну, Константину Великому.

Легенда гласит, что Григорий Великий был нунцием в Константинополе, поэтому к нему — в числе прочих священных реликвий — и попал этот гвоздь. Он отдал его Теоделинде, которая, придав гвоздю форму, вставила его в золотую корону. Многие верят в то, что корону возлагали на голову Карла Великого в соборе Святого Петра в Рождество 800 года, не сомневаются в том, что корону использовали при коронациях императоров, включая коронации Барбароссы, Карла V в Болонье и Наполеона в Милане в 1805 году. По этому случаю ее брали из Монцы и везли в экипаже в сопровождении кавалерийского эскорта, при этом церемониймейстер императорского двора сидел в карете с короной на бархатной подушке. О появлении ее в Милане возвестил артиллерийский салют. Чем дольше я разглядывал Железную корону, тем больше удивлялся. Прежде всего, она слишком маленькая, для того чтобы покрыть голову взрослого мужчины. В диаметре она никак не больше шести дюймов, скорее даже меньше. Когда мы читаем, что императоров венчали ею, то они,



должно быть, либо держали ее над своими головами, либо возлагали ее на какой-то короткий символический момент. Я не стал делиться своими размышлениями с каноником, который, скорее всего, нерушимо верил во все легенды, не стал говорить ему, что мне она показалась не более чем одной из благодарственных византийских корон, которые часто подвешивали над алтарем. Все эти мысли я оставил при себе. Удивило меня также и то, что Григорий Великий — ни с того ни с сего — отдал ломбардской королеве величайшую реликвию. Очевидно, такое сомнение закралось триста лет назад и в умы священников, ибо церковь несколько раз останавливала поклонение Железной короне. Процесс, начатый перед конгрегацией реликвий в Риме, длился несколько лет, но признать, что железное кольцо в короне сделано из того самого гвоздя, так и не отважились. Поэтому тот, кто хочет поверить в аутентичность гвоздя Константина, пусть верит, но церковь ответственность на себя за это не берет. Ничто из сказанного не может лишить уникальности Железную корону или приуменьшить значение ее как великолепного изделия древних ювелиров. Священник задвинул корону в сейф, взглянул на меня и сказал, что короной этой были увенчаны сорок четыре императора. Последним в 1836 году короновали Фердинанда Австрийского.

Мы вошли в сокровищницу. Я увидел восьмиугольное, без окон помещение с витринами, заполненными золотыми дароносицами, потирами, серебряными ковчегами для мощей, крестами, статуэтками и всеми видами церковных украшений. В отдельном шкафу находились подарки, присланные Григорием Теоделинде тысячу триста лет назад: кресты, короны и кольца, многие из которых добрый папа, должно быть, носил сам, так как они были отобраны им из папской сокровищницы. Удивительно, но веер

Теоделинды и ее гребень тоже дошли до наших дней, как и ее большой синий кубок, изготовленный из монолитного куска сапфира — самого большого в мире, как сказал каноник. В то время верили, что сапфир защищает от яда. Теоделинда всегда боялась, что ее отравят, и, возможно, не без причины, ибо ее ближайший предшественник умер от отравления. Жена приготовила отравленный напиток и дала ему выпить.

Самое замечательное из четырех сохранившихся писем Григория Теоделинде написано было под конец жизни, когда недомогания уложили его в постель. Он поздравил королеву и ее мужа по случаю рождения сына, крещенного в католическую веру. Младенцу послал крест, содержащий кусочек от распятия Христа, и Евангелие в персидском футляре. Дочери Теоделинды он подарил три кольца, два из них с гиацинтами, а одно — с жемчугом. Священник показал мне их. У меня было ощущение благоговейного ужаса, который некоторое время назад я испытал, увидев мощи святого Амвросия в Милане, и немудрено: я рассматривал подарки, присланные детям тысячу триста лет назад одним из лучших первосвященников.

Затем мы перешли к другой части коллекции. Я увидел курицу и цыплят Теоделинды. Это — круглый поднос из позолоченного серебра, на котором клевали зерно курочка и семь цыплят размером, соответствующим примерно бентамской породе. Очаровательное произведение искусства древнего ювелира. Он словно бы увековечил обыкновенную сельскую сцену, хотя ни курочка, ни цыплята не похожи ни на одну породу, которую мы сегодня знаем. Они больше похожи на игрушечных птиц. Ножки у цыплят длиннее, чем у их современных потомков. Неизвестно, имеет ли эта очаровательная сцена декоративное или символическое значение. Священник предположил, что это может быть символ Ломбардии и ее герцогств.

Затем я увидел то, что навсегда останется для меня главным воспоминанием о сокровищнице Монцы. На полке стояли очень скромные и неприглядные с виду — среди золота и серебра — римские флаконы высотой в два-три дюйма. Некоторые из них сделаны были из стекла, а другие — из олова. Все те, кто изучал топографию раннего христианского Рима, слышали об этой уникальной коллекции флаконов с маслом, принадлежавших пилигримам, — единственной, что дожила до наших дней среди миллионов таких же, канувших в вечность. Примерно в 590 году монах по имени Иоанн по поручению Теоделинды отправился в Рим за реликвией. В те дни единственной реликвией, которую церковь разрешала приобретать в личное пользование, было масло из лампад, горевших над могилами святых мучеников в Катакомбах, либо ткани, находившиеся в соприкосновении с гробницами. Перемещение человеческих останков из первоначального места захоронения было запрещено Римом, и лишь в более поздний период церковь была вынуждена на это согласиться. Это случилось в VIII веке, когда набеги варваров на кладбища сделались слишком ужасными. Чтобы спасти кости мучеников, церковь перенесла их в храмы, с этого и началась эпоха перемещения мощей. Когда монах приехал в Рим, Катакомбы еще не были разграблены и христианские пилигримы ограничивались тем, что брали из лампад над каждой гробницей немного масла. То ли пилигримы сами наполняли маленькие бутылочки, то ли, что более вероятно, покупали флаконы с этикетками у входа в Катакомбы.

Поначалу в коллекции Монцы было семьдесят флаконов, но сейчас осталось лишь сорок два, из них двадцать шесть сделано из стекла, а шестнадцать — из олова. На нескольких из них до сих пор есть этикетки, прикрепленные 1300 лет назад, у других осталась

только веревочка, которой привязывали этикетку. Сохранился и папирус с перечнем семидесяти флаконов и мест захоронения святых, откуда было взято масло. Это то самый знаменитый Index Oleorum, о котором шло так много ученых дискуссий. Заканчивается он словами:

«Святое масло, которое во времена господина нашего, папы Григория, недостойный грешник Иоанн принес из Рима госпоже, королеве Теоделинде». Ученые сошлись на том, что если монах сам ходил по Катакомбам и собирал масло, то список, если он составлен в правильном порядке, представляет собой топографический интерес: по нему можно проследить путь, которым в VI веке прошел пилигрим вокруг Рима.

Я смотрел на хрупкие предметы и удивлялся: как удалось им благополучно дойти до нашего времени, не менее опасного, чем эпоха Григория Великого? Притронулся к маленьким коричневым ярлычкам, прикрепленным к флаконам. На них все еще можно было разобрать несколько слов, написанных на латыни. Одна стеклянная бутылочка, как я заметил, треснула, и масло внутри нее кристаллизовалось и стало похоже на коричневый сахар. Я представил добросовестного Иоанна, обходившего могилы, которые, несмотря на набеги готов и вандалов, все еще имели величественный вид. Позолоченные плитки еще не были содраны с Пантеона; Колизей не тронут; императорские дворцы на холме Палатин более или менее обитаемы; на улицах пока стояли бронзовые и мраморные статуи; поэты читали свои произведения в Форуме Траяна; папа в Латеране вел переписку с епископами, как и Цезарь с губернаторами, — спокойно и вежливо, и в словах его не было и намека на отчаяние, посещавшее иногда его сердце. Рим тогда был и печальным, и изношенным, но классическим и еще не средневековым — Рим переходного периода, о котором Григорий написал: «Мы живем посреди разрушенного мира».

Я повернулся к священнику и поведал ему свои мысли. Он улыбнулся и заметил, что и ему по утрам, когда он отпирал сокровищницу, частенько чудится отдаленный шум Рима — Рима времен Григория Великого. А что касается того, как уцелели материальные объекты, то чаще всего способствовали этому случайные, незначительные обстоятельства.

«Как странно, — ответил я ему на это, — и собор, и дворец Теоделинды исчезли, а такие вроде бы незначительные, хрупкие предметы и драгоценности пережили бронзу и мрамор». Каноник объяснил мне причину. С самых ранних времен эти предметы прятали в деревянных или в мраморных тайниках под алтарем или возле алтаря в тех трех церквях, что стояли на этом месте. Те, кто разрушил их в поисках золота, как, например, саркофаг Теоделинды, эти реликвии не обнаружили, а потому они так и остались в укрытии до 1881 года. В это время и решили поместить их в сокровищницу.

На обратном пути в Милан я думал, как замечательно обнаружить все это в городе, который специализируется на изготовлении фетровых шляп и ковров и устраивает автомобильные гонки. Кто-то сказал мне, что местные коммунисты и атеисты, если понадобится, встанут насмерть на защиту Железной короны и сокровищницы.

## 8

Мне всегда казалось, что город Горгонцолла находится где-то в итальянских Альпах. Каково же было мое удивление, когда как-то утром, отъехав от Милана по дороге на Бергамо примерно на десять миль, я увидел маленький городок в долине Ломбардии. Не успев пройти и нескольких шагов по главной улице, я

обнаружил продукт, прославивший это место. Тогда я подошел к полицейскому и попросил указать мне дорогу к фабрике, что производит сыр.

Горгонцолу готовили здесь издавна, и город утратил свое первоначальное имя — раньше он назывался Ардженца. В старое время — как давно это было, не берусь сказать — стада коров, что паслись в Ломеллине, к югу от Милана, были отогнаны к северу, в сторону гор, и в Горгонцолу их стали доить. Жители деревни столкнулись с проблемой: куда девать излишки молока? Так началось производство сыра. Только коровы, пасшиеся на определенных лугах, давали молоко, которое требовалось для Ардженцы, а затем для Горгонцолы. Сыры ставили созревать в холодные пещеры в горах Баллабио в Вальтеллине, возле Бергамо. Там до сих пор используются некоторые пещеры, но с появлением холодильников технология изготовления сыра упростилась без потери качества, а производительность возросла. Хотя день был жарким, двое мужчин и девушка, одетые в несколько свитеров и в клеенчатых передниках, провели меня по длинным навесам, где просаливались тысячи сыров. Температура в этих помещениях была пять градусов ниже нуля. Сыры были настоящие, горгонцолу — я могу доверять собственному обонянию и вкусу.

Процесс приготовления — проще не придумаешь. В натуральный творог с помощью медного поршня нагнетается воздух, и в результате получается сыр. Затем идет контроль за созреванием, и это главное, что требуется, а для этого сыру нужна правильная температура. Сыры лежат штабелями на полках до самого потолка. Мои гиды придвигали к себе то одну, то другую головку и давали мне попробовать небольшой кусочек. Никогда еще я не ел так много горгонцолы, да еще в одиннадцать часов утра. Отказаться, однако, было

совершенно невозможно, иначе я обидел бы двух энтузиастов.

Когда я говорю, что мне не слишком нравится горгонцولا, то непременно добавляю: я имею в виду ту горгонцолу, что продают в Англии. В Италии это совершенно другой сыр: бледный, маслянистый, вкусный, расчерченный тонкими голубыми жилками. Оба эксперта со мной согласились. Они сказали, что ни один итальянец не станет есть передержанную горгонцолу, такую, какой ее любят английские гурманы. Итальянская горгонцولا созревает за два месяца, в то время как в Англии предпочитают выдержанные по три с половиной месяца головки. Меня провели в другой отдел: там находились сыры, предназначенные специально для Лондона. Они полностью оправдали знаменитую шутку «Панча», опубликованную еще в прошлом столетии и с тех пор повторяемую чьим-либо дедушкой: «Свободу горгонцоле!»

Никто не раздражает местных сыроделов больше, чем француз, сравнивающий горгонцолу с рокфором. Итальянцы скажут вам, едва не вздрогнув от возмущения, что рокфор изготавливают из овечьего молока и что созревает он с помощью заплесневелого хлеба. Они, впрочем, не возражают против того, что рокфор — хороший сыр для тех, кому он нравится, но ни в какое сравнение с горгонцолой он не идет. Горгонцولا — король сыров.

— А что вы назовете королевой сыров? — спросил я.

— А! — сказал сыродел, вытирая поварешку о кусок марли. — Трудно сказать. Может, бэл паэзе, хотя... нет. Нет на свете такого сыра, который мог бы разделить трон с горгонцолой!

## **Глава четвертая. Из Бергамо в Мантую и к озеру Гарда**

***Красота Бергамо. — Часовня Коллеони. — Ренессансная ферма. — Сан Пеллегрини. — Скрипичные мастера Кремоны. — Мантуя и Гонзага. — Поразительный шотландец. — Дворец Изабеллы д'Эсте. — Поклонник Генриха VIII. — Взгляд на древнюю Ирландию. — Призрачный город Саббионета. — Озеро Гарда и Сирмионе.***

### **1**

Когда летняя жара душит Милан и вы просыпаетесь еще более уставшим, чем засыпали, молодые люди, обладатели автомобилей и скутеров, устремляются обедать в Бергамо. Расположен он в тридцати милях к северу от Милана, в горах, на высоте 1200 м. Я съездил туда и так его полюбил, что езжу теперь при первой же возможности.

У подножия горы находится нижний Бергамо — Бергамо Басса, деловой, современный город Ломбардии, специализирующийся на производстве тканей. На горе — его древний родитель — Бергамо Альта (верхний город), окруженный массивными крепостными стенами. В нем много средневековых дворцов и церквей. К верхнему городу можно подняться на фуникулере. Если вы, как и я, предпочитаете спать, паря в небесах, то фуникулер обеспечит вам эту возможность во время прогулки к вершине горы Святого Вигилия. Здесь не сразу что-нибудь разглядишь, кроме белой часовни святого и кампанилы. Есть здесь также и кафе,



построенное для удобства тех, кто ожидает фуникулера, универмаг и прелестная маленькая гостиница. На вершине, однако, жизнь спокойная и уютная, что не сразу бросается в глаза. Серпантин, поднимающийся с верхнего Бергамо, несколько раз обвивает гору и ведет к виллам и садам отошедших от дел миланских бизнесменов. Маленькие рестораны скрыты в тени каштанов. Они к услугам всех, кого жара загнала на самую вершину.

Фуникулер, стена и сотрясаясь, прокладывает путь через ущелье, покрытое роскошной зеленью. На террасах растет виноград, осенью пассажир легко может сорвать себе фиги, мушмулу, груши и яблоки, пока вагончики совершают свое почти перпендикулярное восхождение. Выйдя из душного вагона и вдохнув свежий воздух альпийских вершин, я сказал себе: «Если уж у меня не получится завладеть виллой Плиния на Комо, это то место, где я хотел бы жить».

Гостиница оказалась именно такой, какие мне по душе. Я словно бы попал в теплые объятия веселой итальянской семьи. Два официанта исполнены деятельной доброты, а уж семья, владельцы гостиницы, были словно на пружинах, готовые кинуться и предугадать желания постояльцев. Комната моя смотрела на подножие Альп. Я видел автомобили и телеги, двигавшиеся по белым нитям дорог. В туманной дымке, в сорока милях отсюда, виднелся перевал Бернина. На увитой зеленью террасе под моим окном любила собираться на поздний ужин миланская молодежь. Каждый вечер я слышал гул двигателей их автомобилей, поднимающихся в гору, любезные восклицания хозяина отеля, затем непрекращающийся, похожий на птичье щебетание, поток шуток и комплиментов, иногда кто-то затягивал песню, пока не наступал момент, когда хором начинали чихать моторы,

раздавался дружный девичий смех, и автомобили начинали винтовое движение вниз, к долине. Затем наступала полная тишина до самого рассвета. Птицы громким щебетанием приветствовали наступление утра, и колокол с кампанилы Святого Вигилия призывал к утренней мессе.

Ощущение душевной благодати и физического здоровья сильно зависит от солнечного света и голубого неба. Я никогда не забуду те волшебные дни, когда утром, напившись кофе с хрустящими булочками, поднимался наверх с первым фуникулером, а потом гулял по маленькому саду среди розмарина, лавров и базилика. Листья всех этих растений, кстати, ароматизировали мясные блюда и соусы. Я смотрел вниз, на горы, долины и ручьи, тронутые ранним солнцем, и благодарил судьбу за доставленные мне краткие беззаботные моменты жизни. Приятно было пройти несколько шагов к скамейке подле часовни и полюбоваться с террасы в тени каштанов великолепным видом верхнего Бергамо, его крышами, башнями и стенами, а под ним — раскинувшейся во все стороны, погруженной в дымку плоской долиной и уютно устроившимися на ней Кремоной, Пармой, Моденой и другими городами.

Два Бергамо представляются мне прекрасным решением проблемы градостроения. Старый Бергамо нуждался в горах для защиты, современный Бергамо нуждается в долине и в железной дороге для своих фабрик, поэтому он и спустился с гор, оставив родителя наверху, где ему было бы уютно и спокойно без транспорта и толпы. В прежние времена он, вероятно, был таким же неприступным, как и другие города Италии, и таким же отдаленным, поэтому естественно, что знаменитый местный диалект сохранился в итальянских комедиях. На память приходит Кастильоне с его скотником из Бергамо, представленным

придворным дамам эпохи Ренессанса в качестве знатного испанского придворного, и пока неуч-плут сидел, разговаривая на непонятном жаргоне Бергамо, дамы, изощряясь одна перед другой, старались поразить гостя благородными манерами, в то время как придворные держались за бока от смеха. Арлекин — это крестьянин из Бергамо. Некоторые думают, что именно в Бергамо родилась комедия дель арте.

Самым знаменитым жителем Бергамо был кондотьер Бартоломео Коллеони. Его помнит каждый гость Венеции. Задолго до того, как он вступил под знамена святого Марка, его родной город стал самым западным завоеванием Венеции. Соответственно, когда Венецианская республика захотела вознаградить генерала, ему предоставили поместье на родине.

## 2

Дорога к старому городу проходит между садами, с оград которых каскадами спускается бугенвиллия. Площадь кажется даже слишком прекрасной. В центре фонтан пускает в небо единственную струю. Мраморную чашу фонтана охраняют маленькие львы. Они сидят, удерживая тяжелую металлическую цепь, что спускается петлями из одной пасти в другую. Какие же они добрые и послушные, возможно, это представители давно вымершего племени, которых Марко Поло, по слухам, привез из Китая. Сразу видно, что дикие мысли, а уж тем более кровожадные, ни разу не приходили им в головы. Цепь они держат, словно вечернюю газету.

Площадь очень гармонична в архитектурном отношении, хотя и включает несколько обыкновенных домов, универмаги, кафе и ресторан. И это не результат соревнования зодчих, а свидетельство достойных традиций и добропорядочности. Напиши Шекспир пьесу

«Два джентльмена из Бергамо», и место это было бы отличным фоном для первого акта — «Бергамо. Общественное место». С противоположных сторон площади смотрят друг на друга два здания: одно из них построено в двенадцатом веке, другое — в семнадцатом. Первое — красивый дворец в классическом стиле — встречает послеполуденное солнце. Над его аркадой, как говорят, хранится более двухсот тысяч книг и несколько знаменитых рукописей. Где еще, кроме Италии, найдется городок такого размера, в котором была бы столь роскошная библиотека и где, кроме Италии, построили бы дворец специально для библиотеки? Напротив библиотеки высится башня одной из самых старых в мире городских ратуш — палаццо делла Раджоне, массивная старая крепость с готическими окнами над аркадой. И будто рукой мастера вписана в это окружение другая старинная прекрасная башня — Торре дель Комуне, черепичную крышу над ее лестничными пролетами поддерживают романские колонны.

За ратушей находится одна из самых красивых достопримечательностей Ломбардии. Стоит пройти немного вперед, и вы увидите в обрамлении арок, поддерживающих старое здание, крошечную площадь, являющую собой великолепный ансамбль небольших изысканных зданий: церковь, капелла Коллеони, собор и баптистерий. Взгляд ваш тут же притягивает портик над входом в церковь, украшенный мавританскими колоннами из полосатого мрамора, которые опираются на спины каменных львов. В истинно ломбардском духе он напоминает театральную сцену, куда вышли рыцарь на коне в полном воинском облачении с пикой в руке и двое святых. Рыцарь — святой Александр, покровитель Бергамо, похож на механическую фигуру из тех, что выезжают из средневековых часов: такой же напряженный и бдительный. Выше — еще одна сцена,

поменьше: мадонна с младенцем и двумя святыми по бокам. Средневековый портик служит входом в церковь, которую в период увлечения барокко переделали. Контраст поразительный. В приделе я увидел надгробие великого жителя Бергамо, плодовитого композитора Доницетти, который настолько заработался, что довел себя до сумасшедшего дома.

Жемчужиной Бергамо является соседнее с церковью здание — капелла, построенная в память о Коллеони: в своем завещании он оставил деньги на ее строительство. Капеллу построили в начале эпохи Ренессанса. Архитекторы возвели обычную средневековую церковь с круглыми окнами-розетками и открытой аркадой, но, чтобы не отстать от классической моды, покрыли фасады медальонами античных героев, странно соседствующими со сценами из Священного Писания. Любой, кто видел Чертозу, узнает в этой удивительной маленькой часовне руку Амадео. Ее можно сравнить с христианским святым, накинувшим на себя римскую тогу. Внутри вы увидите конную деревянную скульптуру. Великий солдат в позолоченной тунике сжимает в руке жезл. Лошадь выступает радостным, пружинящим шагом, как на параде. Это работа немецкого скульптора из Нюрнберга — Сикстуса Сиры. Скульптура чрезвычайно выразительна. Глядя на нее, веришь, что именно так по торжественным дням появлялся Коллеони перед дождем и венецианскими сенаторами. Думаю, ни одному солдату в истории не было установлено два таких прекрасных памятника, как этот и знаменитая статуя работы Верроккьо в Венеции.

В другой стороне капеллы — изваянная из белого мрамора Медея, любимая дочь Коллеони. Умерла она за семь лет до смерти отца. Она не была красавицей, и мода того времени — выбривание волос надо лбом — ей не шла. Тем не менее Медея осталась жить в нашей памяти. На ней платье из узорчатой парчи. Голова

покоится на украшенной кисточками подушке. Нежное умное личико и тонкая шея останутся в памяти Бергамо.

На окраине нижнего города в буйно разросшемся саду стоит старый дворец. Верхние этажи здания модернизированы, и там находится знаменитая картинная галерея — Академия Каррара. Она хранит изысканные картины живописцев семейства Беллини, творения Тициана. Я видел там удивительный профиль Лионелло д'Эсте работы Пизанелло, одного из самых замечательных мастеров эпохи Возрождения, а также портрет молодого Джулиано Медичи кисти Боттичелли. Джулиано был убит во время торжественной мессы во Флоренции. Я увидел и оригинал портрета, который встречал ранее во многих книгах: лукавый на вид молодой человек с опущенными усами и бородкой клинышком. Щегольской берет надвинут на длинные прямые волосы. Если правда то, что это Чезаре Борджиа, то, возможно, две крошечные фигурки в облаках символизируют его жертв! Меня удивила любопытная маленькая группа, написанная неизвестным ломбардским художником XV века. Я принял их поначалу за турок. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это одетые по византийской моде мужчины и женщины.

В Бергамо лет семьдесят тому назад оракул и Шерлок Холмс от искусства Бернхард Беренсон посвятил себя изучению живописи. Он был нищим молодым студентом, сыном еврейских эмигрантов в Америке, а в Италии жил на маленькую стипендию. Прошло семьдесят лет, и он стал прославленным на весь мир авторитетом и миллионером. Свое поместье во Флоренции и великолепную библиотеку он оставил Гарвардскому университету. Интересно вообразить себе его в Бергамо мечтающим стать знатоком искусства, «не помышляя о вознаграждении», как написал он в своих «Зарисовках к автопортрету». Сидя как-то с товарищем за столиком в кафе, он сказал: «Мы отдадим себя без

остатка учебе, так чтобы отличать оригинальные работы итальянского художника XV или XVI века от тех, которые ему приписывают. Мы не должны успокаиваться, пока не уверимся, что здесь, в Бергамо, и во всех благоуханных и романтических долинах, протянувшихся на север, каждый Лотто действительно Лотто, каждый Кариани — это Кариани, каждый Превитали — Превитали, каждый Санта Кроче — в самом деле Санта Кроче, к тому же мы должны знать, какому из Санта Кроче принадлежит та или иная картина...»

Беренсон поставил перед собой смелую задачу — убрать фальшивые бирки, которые владельцы и дилеры столетиями цепляли к картинам, и заменить их подлинными. Бедный молодой человек, готовый сделать это, «не помышляя о вознаграждении», не мог и представить себе те времена, когда лорд Дювин или американские миллионеры заплатят ему огромные деньги за сертификат аутентичности той или иной картины.

### 3

После того как открыли Америку, Италия долго еще смотрела на картофель с подозрением, а вот кукурузу приняла сразу. Итальянцы называют ее грантурко. Люди в то время думали, что эта культура пришла с востока. Во всей Паданской равнине, а особенно в Ломбардии, пудинг, приготовленный из кукурузной муки, называется полента, и для итальянского крестьянина это то же, чем была овсяная каша для шотландского фермера. Поленту вы встретите в любой деревне и на фермах. В каждом доме есть специальный горшок для варки поленты и большая деревянная ложка или лопатка, которой перемешивают кашу. В готовом виде полента выглядит как очень густая коричневая каша. Едят ее как горячей,

так и холодной. Ее можно разогреть на гриле, на сковороде или запечь в духовке с чем угодно, хотя сыр и томатный соус — самая распространенная приправа. Я никогда ее не пробовал, пока не пришел в отличный маленький ресторан на главной площади верхнего Бергамо. Увидев поленту в меню, заказал ее. Принесли ее горячей, вместе с жареной перепелкой. Что сказать? Это, очевидно, одно из тех блюд, к которым надо привыкнуть в младенчестве. Полента показалась мне тяжелой и невкусной. Жаль, потому что не понравилось нечто столь же по-настоящему ломбардское, как тополь! И все же разочаровавшее меня блюдо осталось в памяти. Столик стоял на тротуаре, под ресторанным тентом. В нескольких шагах журчал фонтан, а львы, жующие цепь, похожи были на собак, которых наградили костью. С балконов смотрели на маленькую площадь женщины и дети. Ни тебе автомобилей, ни туристов. Солнце освещало местность, исполненную великой красоты и благородства, и я знал: стоит мне сделать несколько шагов из-под арки палаццо делла Раджоне, и я увижу Коллеони верхом на золотом жеребце и Медею, уснувшую на мраморной кушетке.

#### 4

Если вы пробудете в Италии столько времени, чтобы захотелось пить, то непременно познакомитесь с Сан Пеллегринно. Кто-то полюбопытствует: а кто такой был этот святой, откуда минеральная вода? Город находится милях в пятнадцати от Бергамо, в долине Брембо. Она, как и многие другие красивые долины, устремилась на север, к Альпам. На речных берегах раскинулся жизнерадостный курорт с минеральными водами. К горным склонам прилепилось множество вилл и отелей, есть даже курзал. Он был построен в начале века, когда



популярность лечения на водах вызвала строительный бум, и архитекторы, идя на поводу у заказчиков, упражнялись друг перед другом в безвкусице. Нагие бронзовые красотки с модными осиными талиями освещают фонарями лестницы, ведущие в игорные и танцевальные залы и даже в театры. Все было поставлено на широкую ногу, денег не жалели. Мир в то время наживался на людских недугах. Никто не мог предвидеть, что настанет день, и залы с минеральной водой и бальные помещения займут — как в Англии — центры здоровья, и тогда вновь после затишья в воздухе континента почувствуется сдержанное оживление. Душа курорта — подобно Спящей красавице — насторожится: а не зашуршит ли под двуколкой гравий, не пробудит ли ее поцелуй сказочного принца.

Курорт Сан Пеллегрино сонным, однако, не назовешь. Я заметил бальный зал, предназначавшийся для герцогинь. Теперь там между бамбуковых столов танцевали местные юноши и девушки. В справочном бюро мне вручили брошюру, и в ней нет ни слова о пожилых инвалидах, ради которых такие курорты создавались, зато есть фотографии атлетически сложенных молодых людей, готовых покорять горные вершины, играть в гольф и теннис, рыбачить. Какая уж там старость и артрит! Нет сомнения, подход выбран правильный, и на берегах Брембо и на зеленых горных склонах вы проведете отпуск весело и энергично. Слово «Пеллегрино» означает, конечно же, «пилигрим», но мне не удалось выяснить, что за пилигрим дал свое имя этому ныне модному городку.

«Рассказывают, — сказал мне местный историк, — что, когда французы под командованием Карла VIII отправились завоевывать Италию, местные жители так хорошо их накормили, что в знак благодарности они оставили им при расставании палец от мощей святого, которого звали Пеллегрино. Но что это был за человек,

не знаю. Реликвию посчитали столь драгоценной, что город взял его имя».

Вода Сан Пеллегринो выходит из-под земли при температуре 80° по Фаренгейту. Мне дали стакан воды прямо из источника, но я удивился тому, что характерных пузырьков в ней не было. Мне пояснили, что газ туда нагнетается искусственно. Для этого берут природный газ из Сан-Джо-ванни-Вальдарно, в Тоскане. Там, кстати, родился Мазач-чо. Меня провели на фабрику, где воду разливают по бутылкам. Сотни местных рабочих в белых халатах и резиновых перчатках стояли возле умных машин, которые быстро и сердито мыли бутылки, а затем разворачивали их к другим машинам, а те судорожными, злобными движениями, словно возмущенный дворецкий, наполняли их водой и шлепали на них наклейки, а затем рассылали их по гостиницам и ресторанам по всему миру. Я видел стоящие наготове ящики, часть из которых держала путь в Финляндию, а Другие — в Каракас. Думаю, все же самым необычным для меня зрелищем оказался плавательный бассейн, заполненный водой Сан Пеллегрино.

Я поехал назад в Бергамо по живописной долине и думал, что уже не увидишь здесь картины, подобной фотографии, опубликованной в брошюре: лакея, укутывающего пожилого инвалида в «даймлере», и администраторов отеля, врачей и медсестер, радостно улыбающихся со ступеней курортного SPA-отеля. Само словечко «SPA» имеет в себе оттенок прошлого. В нем отголосок доброго времени, когда у богини Ипохондрии было много дорогих и приятных храмов. Там струнный оркестр приводил в норму проблемы, связанные с пищеварением.

Достигнув пожилого возраста Коллеони уже не водил за собой армии Венеции. Он наслаждался жизнью деревенского сквайра на собственной ферме в Мальпаге возле Бергамо. Она, кстати, есть и сейчас. О романтическом происхождении этого поместья в Бергамо не забыли: почти каждый человек расскажет вам, как старый солдат ушел в отставку вместе со своими товарищами, как он жил, работал на земле, однако по первому сигналу готов был взять оружие и сесть в седло. Вместе с человеком из Эссекса — сэром Джоном Хоквудом, Бартоломео Коллеони был самым уважаемым кондотьером. Видно, он и в самом деле был хитер, раз сумел выжить в тот жестокий век. Однако отличало его от товарищей то, что он честно служил начальству, а не сколачивал себе состояние путем предательства, и я рад, что такая позиция оказалась для него, в конце концов, выигрышной.

Родился он в 1400 году и дожил до семидесяти шести, так что жизнь его проходила в лучшие годы эпохи Ренессанса. Дж. Саймондс отметил, что он был одним из тех итальянцев, которые обязаны своей карьерой смерти отца, то есть он должен был заботиться о себе сам и поэтому вступил в отряд наемников. Когда смотришь на его статуи, то не представляешь, какую профессию, кроме военной, он мог бы себе избрать. Выучили его два самых знаменитых кондотьера того времени — Браччо да Монтоне (1368–1424) и граф Буссоне да Карманьола. Имена кондотьеров почти стерлись из памяти. Это всего лишь тени марширующих солдат, перебегающих к противнику во время распрей, то и дело вспыхивающих между герцогствами. А вот Коллеони был другим, потому и запечатлели его великие скульпторы. Будучи солдатом, он неизбежно одерживал победу и завоевал для Венеции большую территорию. Хотя он и ссорился с властями — сенат даже хотел его казнить, — Коллеони

неизменно служил республике. Когда ему исполнилось пятьдесят пять, Венеция оказала Коллеони честь, которую лукавое и подозрительное правительство до сих пор никому не оказывало: его сделали пожизненным командующим венецианской армии. Это звание вместе с огромным жалованьем было при нем около двадцати лет, что означало — подкупить командующего невозможно.

Когда он умирал, Венеция послала депутацию, чтобы выразить ему уважение и благодарность республики. Старый солдат вызвал, должно быть, дрожь у собравшихся перед ним сенаторов, когда сказал: «Никогда не давайте другому генералу власть, которую вы дали мне. Ведь я мог бы причинить вам большой вред». Над смертным ложем преданного слуги поднялось облачко коррупции и предательства. У него не было наследника, и Коллеони оставил свое огромное состояние Венеции. Так он пытался отплатить республике за необычное к себе доверие.

Мальпагу я обнаружил в восьми милях к югу от Бергамо в сети второстепенных дорог, неподалеку от реки Серио. Я ожидал увидеть развалины, но передо мною предстало полностью функционирующее хозяйство времен Ренессанса. К тому же владельцами его были потомки родственников Коллеони. Стада маленьких коров с серой шелковистой шкурой из породы бруно альрино щипали траву на тех же лугах, что и их предки много веков назад. Крестьянские строения занимают огромную площадь, подобно римскому лагерю. В центре стоит замок. Его окружает стена с бойницами и сухой ров. Старый солдат построил свой замок, словно бы ждал длительной осады. Когда я увидел его, то понял, что любой человек, родившийся в 1400 году, был связан со Средневековьем. Уважаемый человек, проживший лучшие годы в эпоху Ренессанса, выходит в отставку и строит себе средневековую

крепость. Пока управляющий ходил за ключами, я с удовольствием смотрел на окружающую жизнь, не прерывавшую свой размеренный ход в течение пяти столетий. Крестьянские здания были двухэтажными. В нижнем этаже — сараи и склады, амбары и конюшни, коровники, а наверху — жилые помещения для работников фермы.

Профессор Гилберт Хайет в своей книге «Поэты в пейзаже» (Gilbert Highet. «Poets in a Landscape») описывает похожую ферму неподалеку от Мантуи — Ла Вергилиана, где он нашел восемь или десять семей, живущих в тесноте да не в обиде. В Мальпаге жизнь течет подобно той, что была при Коллеони. Я с восхищением смотрел на телегу с впряженными в нее волами. Покачиваясь, она прошла под арку, доверху нагруженная овощами. Картина увела меня от Ренессанса дальше в классический мир.

Поместье Коллеони, возможно, было устроено по образцу лучших сельских хозяйств, которые он во время службы видел в разных герцогствах. Самой знаменитой являлась ферма Сфорца в Виджевано, возле Милана. Она удивила французов, сопровождавших Людовика XII в Италию. Здесь они впервые увидели сельскохозяйственные эксперименты со злаковыми культурами и научный подход к выращиванию скота.

Робера Гогена поражало внимание к любой мелочи. «Точный вес всего — сена, молока, масла, сыра. Все тщательно фиксировалось», — писал он. Людовик XII чрезвычайно заинтересовался миланскими сырами, возможно, пармезаном, выделяющимся своим размером и весом. Король забрал с собой во Францию большое количество сыров и построил в Блуа специальное помещение, где хранил их несколько лет в оливковом масле.

Управляющий вернулся с ключами, и мы перешли через ров. Замок был в хорошем состоянии. Он

интересовал меня не только как дом самого достойного кондотьера, но и как редкий пример сохранившегося до наших дней поместья крупного феодала эпохи Возрождения. Мы представляем, как они жили в лагерях, но здесь видим комнаты, из которых они управляли владениями, залы, в которых пировали, их кухню. Живописный двор окружали колоннады. Внутренние изгибы арок были украшены фресками с орнаментом из людей и животных. На верхние этажи вело несколько наружных лестниц. Стены также украшают фрески, некоторые из них посвящены религиозным темам, другие иллюстрируют события из жизни Коллеони — его отставку, визит короля Дании Кристиана I. Судя по этим фрескам, для гостя устроили охоту и рыцарские турниры. Граница между эпохой Ренессанса и Средними веками была временами очень тонкой: в таких случаях знать Ренессанса облачалась в доспехи, брала в руки длинные копья и въезжала в XII век. Я видел средневековую сцену такого рода, изображенную на стенах Мальпаги: два рыцаря с опущенными забралами сражались друг с другом на лошадях, которые тоже были защищены доспехами. Прекрасные дамы в амфитеатре — такие ряды сохранились у нас в женских школах — заняли места в укрытой от солнца стороне арены.

Мы то поднимались, то спускались по каменным лестницам, иногда выходили на внутренний балкон и смотрели вниз на выложенный елочкой дворовый кирпич, забирались под крышу в залитую солнцем лоджию. Оттуда старый солдат мог наблюдать, как идут дела на его полях. О хозяине сохранилось несколько рассказов. Мы знаем, что он жил в военной крепости, окруженный шестью сотнями ветеранов, и что было у него две дочери, к которым Коллеони был сильно привязан. Известно также, что Кассандра вышла замуж за образованного человека — Никколо да Корреджо, а

Медея замуж так и не вышла и лежит теперь — как я только что видел — в прекрасной капелле в Бергамо, словно мраморная Офелия. Говорят, что ее смерть разбила отцу сердце. Мне показали пустую комнату, в которой скончался Коллеони. Возможно, венецианские посланники стояли вокруг его постели, и можно представить себе, с каким изумлением восприняли они известие, что он оставил городу почти все свое огромное состояние.

Меня провели по фермерским постройкам, и я вдоволь налюбовался жеребятами и телятами, обратил внимание на штабеля дров, заготовленных на зиму, на сено, послушал разговоры о видах на урожай пшеницы и кукурузы. Затем поговорили о свинарниках, коровниках. Заглянул я и в сверкающие чистотой сыроварню и маслобойню. Ушел с приятным чувством, оттого что есть на свете места, где время будто замерло.

## 6

Ранним утром я выехал на машине из Бергамо в Кремону. Путь шел по равнинной местности, маленькие города только-только просыпались. Колокола призывали к ранней мессе, магазины были еще закрыты, зонты и навесы на рынках сложены. На окраине крошечного городка Крема я с удивлением увидел огромную круглую церковь. Она выглядела так, словно кто-то обронил в этой деревне Пантеон. Заглянув внутрь, я увидел, что месса только что закончилась. Священник уносил с алтаря потир, а мальчик в потрепанном облачении, привстав на цыпочки, задувал свечи. В первом ряду на стульях сидели мальчишки лет восьми — десяти. Высокими голосами они пели псалом, а старый священник в длинной черной сутане сердито отбивал ритм дорожной тростью. Когда он их отпустил, дети со

страшным грохотом бросились к дверям. Я заметил, что у них были башмаки с деревянными подошвами. Такие любопытные сценки почему-то остаются в памяти.

В Кремоне, городе из старого розового кирпича с терракотовыми украшениями и крышами из темно-красной черепицы, я подивился благородству площади и остановился, разглядывая знаменитый квартет: собор, кампанилу, баптистерий и городскую ратушу. Я подумал, что каждый из этих итальянских городов, сохранивших в глубине своего сердца дух древней вражды, подчиняется своим собственным законам и, что бы там ни говорили карты, окружен прозрачными стенами. Нужно родиться в Бергамо или Кремоне, чтобы знать, как глубоко это укоренилось, однако любой иностранец сможет почувствовать индивидуальность города, патриотизм жителей и местные предубеждения. Вглядевшись в далекое прошлое, можно заметить в раннем Средневековье момент, когда эти города соперничали друг с другом в красоте, размере соборов и городских ратуш. Пользовались они при этом одной формулой, но каждый город создавал нечто непохожее. Такая общность и в то же время ревниво оберегаемая обособленность городов, отделенных друг от друга не более чем на тридцать миль, напоминает мне музыкантов, играющих вариации на одну и ту же тему.

Собор — настоящая жемчужина. Мраморные колонны выносят на спинах львов крыльцо здания. Наверху, словно заглядывая в римское окно, стоит статуя Мадонны с младенцем, выполненная в натуральную величину, а рядом святой покровитель Кремоны, известный здесь под странным именем — святой Омобонус.<sup>[35]</sup> Над скульптурной композицией — красивое окно-розетка, сохранившееся с XIII столетия, а с каждой стороны, занимая почти всю длину фасада, —



изящная римская аркада из двух секций, поставленных одна над другой.

Скульптурные композиции над крыльцом, типичные для Ломбардии, всегда меня очень привлекали. Появились они еще до фресок, и цель их создания — рассказать о Священном Писании тем, кто не умел читать. Вход в храм, конечно же, упрощает сюжет, но тем не менее доносит до всеобщего сведения важнейшее известие — местный святой служит Богоматери.

Интерьер собора совершенно не соответствовал обещанию, заявленному римским фасадом здания. Поэтому я быстро вышел наружу, любовался площадью, освещенной ранним солнышком. Взглянул на примыкавшую к ней улицу с живописным маленьким рынком, там уже расцвели разноцветные шатры. На рынке можно купить фрукты, овощи, мясо, птицу и даже старую одежду, ею торгуют евреи. Мне показалось, что этот рынок — последний штрих, завершающий портрет чудесной средневековой площади Кремоны. Я пошел к церкви Блаженного Августина. Построил ее Франческо Сфорца на месте бывшего храма, чтобы отметить свою женитьбу на Бианке Марии. Как я уже говорил, брак был идеальным, к тому же он заложил основу состояния Сфорца. Увидел картину, где они, стоя на коленях, смотрят друг на друга. Выглядели они более полными и пожилыми, чем я ожидал. Маленькая монахиня бережно обтирала губкой листья стоявшей на алтаре аспидистры. Она включила свет, когда я вошел в храм.

Вернувшись в Кремону, я набрел там на самую выдающуюся ее достопримечательность — красивый сад и парк в центре города. Лужайки, фонтан, эстрада для оркестра, тенистые каштаны, подстриженные акации, клумбы с гортензиями и скамейки, как если бы я вдруг оказался в Англии или во Франции. Такой сад в сердце средневекового итальянского города — явление

необычное. Латинский ум всегда полагал, что у растительности должно быть свое место, то есть — вне городских стен. Если деревья или цветы появлялись в городе, их немедленно заключали в каменную тюрьму. Я заинтересовался историей возникновения этого парка, и один житель рассказал мне, что сразу после Рисорджименто<sup>[36]</sup> здесь был снесен непопулярный доминиканский монастырь, штаб инквизиции, и место превратили в муниципальный сад. Гуляя возле зеленых насаждений, я увидел еще более невероятную картину — надгробие Антонио Страдивари, одно было в доминиканской церкви, а теперь вот другое — на открытом воздухе.

Стоит в этом городе упомянуть имя Страдивари, как лица жителей светлеют, и вас направляют в Scuola Internazionale di Luteria.<sup>[37]</sup> Современное здание находится неподалеку от собора. Я вошел, и в нос мне ударил сильный запах лака и дерева. Первый человек, который попался мне навстречу, решил, что я — музыкант, желающий приобрести скрипку. Инструменты здесь изготавливают по старинной формуле. Будучи человеком от музыки весьма далеким, я сознался, что о Страдивари знаю очень мало. Известно мне лишь, что он был гением и что мастерство свое довел до совершенства. Я попросил его рассказать мне о мастере и обнаружил, что жизнь человека девяноста трех лет можно изложить очень коротко. Родился он в 1644 году, женился на вдове старше его. У них было трое детей. После того как жена умерла, он — спустя год — женился снова и родил еще пятерых. Умер в 1737 году. О его вкусах и слабостях известно очень мало, за исключением того, что Страдивари, по слухам, очень любил деньги: он спрашивал по четыре лиры за скрипку — большая сумма в то время. Работал мастер быстро и с удовольствием. Носил белый кожаный передник и белую шапку. Одним из нескольких высказываний Страдивари, обращенных к

ученику, было: «Ты никогда не сделаешь скрипку лучше моей». Мне сказали, что он изготовил тысячу сто шестнадцать скрипок и виолончелей, и если учесть, что сделал он это примерно за семьдесят лет, то в среднем за год он делал по 16 скрипок. В Кремоне до сих пор говорят «богатый, как Страдивари», поэтому, возможно, он был не только счастлив, но и осторожен. Я спросил, сколько скрипок его работы осталось в мире на настоящий момент. Ответ был — около шестисот и, конечно же, тысячи подделок. Многие его скрипки погибли, другие, возможно, где-то спрятаны, и охотников их разыскать немало. Мне сказали также, что каждый человек, скрипке которого более ста лет, верит, что у него настоящий Страдивари. Мошенники, подделывающие инструменты, воспроизводят ярлык, который маэстро прикреплял к своим работам, но каждый раз они что-то делают неправильно. Просто удивительно, как много ошибок можно сделать, копируя такой, казалось бы, простой ярлык, как «Antonius Stradivarius Cremonensis. Faciebat anno...». Дата указывается арабскими цифрами. Я спросил, сколько стоит сейчас настоящий Страдивари. Мне ответили: «Между 1500 и 15 000 лир, хотя исключительно хороший инструмент несколько лет назад был продан в Лондоне за 24 000 лир».

Наверху, в мастерской, меня представили маэстро. Облаченный в передник, мастер разглядывал работы четырнадцати учеников. Должно быть, и во времена Страдивари помещение выглядело точно так же: грубые деревянные столы, стены увешаны образцами и частями скрипок, грифами, похожими на лебединые шеи, боковыми, нижними и верхними деталями. На полках лежали готовые инструменты, дерево разной структуры и разной окраски, тонкое, как вафля, но твердое. В воздухе запах горячего лака, клея и опилок. Мне

объяснили: «Для того чтобы сделать скрипку, требуется склеить более семидесяти кусков разной древесины».

Вспомнив, что скрипку я не брал в руки с тех пор, как учился в школе (мать свято верила, что я стану еще одним Крейслером<sup>[38]</sup>), я рассеянно взял один инструмент и поднял к плечу.

— А! — закричал маэстро с итальянской порывистостью. — Вы музыкант! — и, взволнованно приблизившись, вложил в мою руку смычок и отступил на шаг, ожидая услышать вступление к божественному концерту.

Я не стал говорить ему, что задолго до того, как он появился на свет, мой учитель музыки буквально падал передо мной на колени, упрашивая избавить себя от моего присутствия. Итак, страшась издать хотя бы единственный звук и одновременно желая услышать хотя бы один кошачий вопль, который я обычно извлекал из инструмента, я, вздохнув, вернул скрипку. Маэстро взял ее, закрыл глаза, прижал инструмент к шее и, грациозно поводя смычком, заиграл, как ангел. Недовольный акустикой помещения, он вышел в коридор и заиграл там. Инструменты, которые изготавливают в школе, покупают музыканты из всех стран мира. Большая часть их специально приезжает в Кремону. Стоят они от двадцати до ста двадцати лир. До сих пор считается, что у Страдивари был секрет: то ли он знал, как следует выбирать дерево, то ли тайна кроется в составе лака. Я спросил об этом у маэстро, который сказал, что играл на многих скрипках Страдивари, в чем их уникальность.

— Anima!<sup>[39]</sup> — закричал он. — В душе, в отзывчивости, в свободе, которую они дают скрипачу.

— А вы верите в секрет лака?

— Да и в технологию, которую применял Страдивари, когда покрывал инструменты лаком.

Я был зачарован историями о созданиях этого непревзойденного гения. Все лучшие скрипки Страдивари имеют родословную и имена — Виотти, Тоскана, другие инструменты называют в честь знаменитых обладателей — Сарасате, Паганини. Полагают, что на одной скрипке Страдивари есть проклятие, но сохранился ли этот инструмент до наших дней, неизвестно. Принадлежала эта скрипка в XVIII веке Ромео Дании, профессиональному скрипачу, который купил ее, не подозревая о ее довольно неприятной особенности внезапно замолкать после того, как музыкант замечательно играл на ней в течение часа. Когда это произошло во время одного из концертов Дании, он обвинил своего соперника Сальвадосси в том, что это его рук дело, и вызвал его на дуэль. Дании был убит, и с тех пор началась вендетта, стоившая двадцати двух жизней. Самая поразительная история о Страдивари связана, однако, с загадочной личностью по имени Луиджи Теризио. Он жил в первой половине XIX века, любил путешествовать по всей Италии, а для этого наряжался коробейником, вешал за спину мешок с новыми скрипками и предлагал их людям взамен старых. Скупщики в Париже изумились, когда он явился к ним с невероятной коллекцией, состоявшей не только из инструментов Страдивари, но также из скрипок прежних великих мастеров — Амати, Гварнери, Гваданини и других. В 1854 году перекупщик Ж. Б. Вильом<sup>[40]</sup> узнал, что Теризио умер, оставив после себя более двухсот скрипок, виол и виолончелей работы великих мастеров. От изумления делец едва не лишился дара речи. Он приехал на маленькую ферму, где у Теризио были спрятаны скрипки. Осматривая коллекцию, он выдвинул ящик и с изумлением уставился на новую скрипку Страдивари: Мессия — на этом инструменте еще никто не играл. Скрипка была продана потомком Страдивари графу Козио де Салабу, который никогда на ней не

играл и в чьей собственности она находилась до тех пор, пока Теризио ее не обнаружил. Она до сих пор абсолютно новая, такая, какой вышла из мастерской Кремоны. Альфред и Артур Хилл, главные знатоки творчества Страдивари, презентовали ее музею Ашмола. [\[41\]](#)

Выслушав все эти рассказы, я припомнил, что и у меня есть одна история о Страдивари, которую и поведал. Несколько лет назад, когда я был в Мадриде, мне позвонил приятель и предложил: «Не хочешь ли послушать концерт четырех скрипок Страдивари?» Через несколько минут он заехал за мной в отель, и мы отправились в королевский дворец. Друг объяснил, что после того, как в 1931 году Альфонс XIII покинул Испанию, в королевской часовне открыли шкаф и обнаружили там несколько скрипок: на них иногда играли во время церковных служб. Они лежали там как попало, в пыли. После исследования сделали заключение, что четыре инструмента принадлежат Страдивари. Скрипки реставрировали, и сейчас время от времени их используют в концертах, организованных музыкальным обществом, членом которого и являлся мой приятель. Мы въехали в пустынный двор и направились к арке. Фонарь слабо освещал лестницу. Мы поднялись и тихо, словно заговорщики, пошли по темному коридору, пока не приблизились к двери, которую открыл придворный лакей. В гостиной, освещенной люстрами, сидело примерно сто человек. Лица их были обращены к небольшому возвышению, на котором уже сидел струнный ансамбль. Пианист сыграл вступление, и вот четыре скрипача провели смычками по драгоценным струнам. Это был великий момент. Ни в одной европейской стране нельзя было увидеть столь изысканную публику: темные глаза, серебряные волосы, аккуратные эспаньолки, большое количество пожилых герцогинь с величественным или, наоборот, весьма

скромным бюстом, на котором переливались бриллианты. В неожиданных музыкальных паузах, которые случаются в музыкальных произведениях, словно бы композитор специально задумал их, для того чтобы обнаружить человека, осмелившегося шептаться, тишина стояла такая, что слышно было лишь, как кто-то случайно задел моноклем накрахмаленную рубашку. В эти моменты вокруг нас был только молчаливый, мертвый дворец. Мы слушали музыку, извлекаемую из волшебных ящичков Страдивари, — осколок привилегированного общества, словно бы по волшебству заключенного во дворце и совершенно не ведающего об уродливом внешнем мире. После концерта мне позволили отнести скрипку в сейф, что находился в соседней комнате, и я помог запереть ее на ночь вместе с остальными тремя инструментами.

Я попрощался с друзьями из кремонской Школы Страдивари и подумал, как странно, что доктор Бёрни, совершивший музыкальное турне по Европе всего лишь через тридцать три года со дня смерти Страдивари, ни разу его не упомянул. Он даже и в Кремону не ездил. А вот кто посетил Кремону за тридцать шесть лет до рождения Страдивари, так это наш добрый старый гурман Томас Кориэт. Он написал: «Я ел жареных лягушек в этом городе. Это блюдо едят во многих итальянских городах. Подали их с интересным соусом, вкусно, ничего не скажешь. Голову и передние лапки у них отрезают».

## 7

Когда ехал в Мантую — находится она примерно в сорока милях к востоку от Кремоны, — размышлял о том, что так близко расположенных друг к другу знаменитых городов больше, пожалуй, нигде в мире не встретишь.

Каждые тридцать-сорок миль ты въезжаешь еще в одно место с богатым историческим прошлым и благородным культурным наследием. Когда-то приходилось добираться до них целый день, а теперь на это уходит час езды на автомобиле. Милан и Павию разделяют двадцать миль; Павию и Пьяченцу — тридцать; Кремону и Парму — всего лишь двадцать пять; от Пармы до Модены расстояние в тридцать миль, а от Модены до Болоньи — двадцать пять. Вот так, от города к городу, вы можете путешествовать по этой большой долине. Многие города до сих пор сохранили часть крепостных стен, но все они окружены стенами духовными: в отношениях близких соседей чувствуется некоторая отчужденность, заносчивость, которая делает историю Северной Италии похожей на греческие государства за четыре века до новой эры. До сих пор повсюду говорят на местных диалектах, но путешественник, разумеется, это лишь чувствует, а не знает доподлинно. Нужно хорошо знать крестьян Ломбардии, чтобы понимать, насколько это для них важно. Во время последней войны Стюарт Худ сбежал из плена и находился в Ломбардии и Эмилии. Он написал в своих мемуарах об итальянском нижнем сословии: «От деревни к деревне и от долины к долине диалекты разные, но общее у них — носовые согласные и умлауты. Они произносят „fueg“, а имеют в виду fuoso: огонь. Говорят vin с долгим г и носовым п — и это значит — вино. Брюки у них braghe. Я припомнил, что когда-то это была Цизальпинская Галлия».

Когда в Мантуе я вышел на улицу, полнолуние превратило город в оперную декорацию. Лунный свет подчеркнул тени. Каждая колоннада — сцена для драматического представления, каждый перекресток — место для романтического свидания. Из глубокого сумрака, купаясь в зеленых лучах, выступали башни и кампанилы. Самое больше впечатление произвел на меня дворец Гонзага: луна прикоснулась к зубцам



крепостных стен, выхватила часть здания. Стоящий на берегу озера дворец словно бы притаился, скорчился в темноте. Я смотрел на ряды окон и представлял за ними пустое здание с мраморными лестницами и безлюдными комнатами, в которых лунный свет причудливо расчертил полы. Я посмотрел наверх, чуть ли не надеясь увидеть за окном белое лицо, глядящее на лунную площадь.

Вместо оркестра, которого требовала эта картина, на зачарованные улицы — словно по повелению взмахнувшего вилами Сатаны — ворвались молодые люди на красных мотоциклах. Колоннады множились, подчеркивая чудовищность происходящего. Заслышав отдаленный вой, отмечавший продвижение колонны, я готовился к новому натиску, но мотоциклисты появлялись неожиданно. Оглушительный шум и треск заполнял все углы и закоулки древнего города.

Я сидел в кафе, восхищаясь луной и ненавидя мотоциклистов, и тут к моему столику подошел печальный маленький итальянец. На меланхолическом лице было написано, что от жизни он ничего не ждет, кроме очередного несчастья. Итальянец сказал, что, судя по всему, я американец. Когда мы этот вопрос прояснили, он сообщил, что работал переводчиком при американской армии. Я пригласил его за свой столик и заказал для него эспresso. Человеком он оказался приятным, к тому же был хорошо знаком с историей Милана.

Итальянец рассказал, что во дворце Мантуи живет до сих пор граф Кастильоне и что у него есть рукопись его предка «Придворный» («Il Cortigiano»). «Книга, — сказал мой новый знакомец, — хранится в банке, в обитой бархатом коробке». Он видел ее, она прекрасно написана венецианским рукописным шрифтом.

Перейдя к более насущным вопросам, он сказал, что другие страны живут богато и спокойно. Как бы ему

хотелось уехать в Америку, даже в его возрасте. Он признался, что заработанных денег ему хватает только на полмесяца, а потом приходится искать временную работу, чтобы как-то продержаться до получки. Без обиняков он заявил, что не станет гордиться, а с удовольствием примет от меня несколько лир за то, что покажет мне достопримечательности Мантуи. Я намекнул, что хотел бы взглянуть на рукопись «Придворного», но он ответил, что это вряд ли возможно, так как графа в данный момент в Мантуе нет. Поспешно сменив тему, спросил, знаю ли я об умершем в Мантуе достопочтенном англичанине по имени синьор Джакомо Критонио. Я ответил, что имя это не похоже на английское, но он возразил: «Не может быть, чтобы вы не слышали об этом человеке». Затем предложил отвести меня в церковь и показать могилу. Было уже поздно, но прогулка по ночной Мантуе показалась мне интересной, и вскоре мы шагали по безмолвным глухим улицам. В темное время суток казалось, что проснувшееся в ночи Средневековье вытесняет дух Возрождения. Пришли, наконец, к церкви Святого Симона, которая, как я и предполагал, оказалась закрыта и заперта на замок. Знакомец мой ничуть не расстроился, а, попросив минутку подождать его, растворился в темноте.

Я стоял в бедном переулке. Свет уличного фонаря слабо освещал обшарпанные дома и аркаду. Чувствовал я себя, будто актер, играющий второстепенную роль в шекспировской комедии. «Какой-нибудь абсурдный персонаж, вроде Гоббо, — думал я, — отворит сейчас окно и скажет: „Да благословит вас Господь, ваше сиятельство!“». Словно в ответ на мои фантазии, под фонарем, возле угла, появился маленький итальянец и драматическим жестом поманил меня за собой. Миновав небольшой пустырь, мы вышли в задний двор. Там нас ждала старая женщина со связкой ключей. Она отворила

тяжелые старинные ворота, и мы вошли в церковь с заднего хода. Итальянец шел впереди с зажженным фитилем. Он поднял его над головой, и я прочитал эпитафию, выгравированную на стене:

ПАМЯТИ ДЖЕЙМСА КРАЙТОНА<sup>[42]</sup>

из Элиока и Клуни, благодаря своим необычайным талантам, достижениям в самых разнообразных областях знания вошедшего в историю как Крайтон Поразительный.

Он покинул нас в ранней молодости, однако же успел прославиться достижениями на ниве науки и светскими успехами. Это был рыцарь, человек чести, широко эрудированный и искусно владевший оружием, красноречивый и здравомыслящий. Родился в Элиоке, графство Дамфрис, Шотландия, 19 августа 1560 г. Ушел из жизни в Мантуе 3 июля 1582 г. Останки его погребены в этой церкви.

— Вот видите, — сказал итальянец, подняв фитиль в дюйме от имени. — Джакомо Критонио.

— Да, — согласился я. — Я о нем слышал. Как он умер?

— На дуэли, — ответил он, — из-за женщины.

Не знаю, соответствует ли это действительности. Знаю, однако, что молодой шотландец по имени Джеймс Крайтон приехал в Италию в конце XVI века, ослепил всех своим красноречием, способностью в нужный момент цитировать латинские стихи и умением спорить. У него, кажется, было все, кроме денег. В Венеции, говорят, он произвел сенсацию тем, что побеждал местную профессию в публичных спорах. Из Венеции он прибыл ко двору Гульельмо Гонзага, третьему герцогу Мантуи. Крайтон мгновенно очаровал герцога, умного, желчного маленького человечка, унаследовавшего проклятие рода Гонзага — дефект позвоночника,

сделавший из него почти что горбуна. Своего сына и наследника правитель не жаловал. Молодой, с прямой спиной, красивый и веселый Винченцо был чуть младше Крайтона. Герцог осуждал сына за постоянные выходки и волокитство, а Крайтона сделал одним из своих советников и любил вести с ним долгие беседы на ученые темы.

К 18 годам добился выдающихся успехов, к двадцати годам говорил на десяти языках. Имя его стало нарицательным для людей исключительной одаренности; современники прозвали его «Поразительным»; был убит в 1582 году итальянским аристократом Гонзаго, гувернером которого он являлся.

Вечером 3 июля 1582 года Крайтон покинул дворец и в сопровождении слуги шел по пустынным улицам. Было полнолуние. Когда двое мужчин вошли в узкий переулок, они увидели две закутанные в плащи фигуры. Поравнявшись, один из них намеренно грубо толкнул Крайтона, и тот, не стерпев оскорбления, выхватил кинжал и ударил в спину ближайшего к нему человека. Друг раненого вытащил шпагу и пронзил ею Крайтона. Падая, шотландец узнал принца Винченцо. Шатаясь, он добрался до аптекаря и скончался в его доме. Слуга Крайтона, который мог бы рассказать, как было дело, исчез, и о нем больше никто ничего не слышал. Была ли смерть Крайтона случайностью или запланированным убийством, вызванным ревностью, кто может сказать? Вероятно, никто об этом не узнает. Герцог пригрозил судить сына за убийство, но потом все замяли. Лет двадцать спустя, когда Винченцо уже был герцогом Мантуи, он написал письмо другу, в котором упомянул о смерти Крайтона Поразительного. «Это было чистое недоразумение, — писал он, — и если бы я имел дело не с этим „варваром“, не поднялось бы столько шума».

Когда мы возвращались по тем же переулкам и аркадам, залитым тем же зеленоватым лунным светом,

итальянец указал мне на дворец Сорделло постройки XIII века, в котором до сих пор живет семья Кастильоне. Мы увидели, что кафе все еще открыто, и уселись за столик.

— Хорошо, должно быть, — сказал итальянец, — жить в богатой стране.

Но я думал, что в Мантуе сейчас жить лучше: мотоциклисты отправились спать.

## 8

Торговки на рынке уже раскинули свои навесы и бойко торговали капустой и баклажанами, когда я направился к дворцу Гонзага. Огромное здание было еще закрыто, и странного вида группа посетителей в эксцентричных дорожных костюмах топталась у входа. Там был бородатый мужчина во фланелевых брюках и сандалиях, пляжная рубашка украшена ромбиками ярких рыбок; немолодая женщина, ее габариты привели бы в замешательство даже Рубенса. Рядом суетился маленький мужчина в желтых шортах, с пухлыми коленями херувима кисти Мантеньи, в сопровождении обожающей его жены и двух дочерей школьного возраста. Мужчина заговорил было со мной по-немецки, но тут же перешел на беглый английский. Он сказал, что делает фотографический отчет о каждом итальянском городе, упомянутом в произведениях Шекспира.

— О да, — сказал я. — Вроде бы Ромео приезжал в Мантую, чтобы купить здесь яду, после того как убил Тибальта?

— Да, да, конечно! — восторженно воскликнул мужчина. — И не забудьте «Бесплодные усилия любви». Здесь жил поэт Мантуано, «О, добрый старый Мантуанец».<sup>[43]</sup>

Сейчас вот он приехал из Милана, а этот город — по его подсчетам — Шекспир упомянул двадцать пять раз.

Затем поедет в Падую — двадцать два упоминания, а после в Венецию. Этот город упоминается в произведениях Шекспира чаще других итальянских городов — пятьдесят две ссылки. Каждый раз, когда маленький немец делал заявление, жена восхищенно поддерживала его — кивала и улыбалась, а девочки смотрели на отца восхищенными глазами.

Пока мы беседовали, на площадь въехал автобус, и из высоких окон примерно лиц пятьдесят без тени энтузиазма глазели на грациозный изгиб средневековой колоннады и зубцы стены. Гид с микрофоном сказал по-французски: «Леди и джентльмены, перед нами знаменитый дворец герцогов Мантуи. Вы видите перед собой часть здания, построенного в XIV веке. Здесь жила Изабелла д'Эсте, самая знаменитая маркиза Мантуи». Лица так же вяло продолжали смотреть на дворец, несколько пассажиров, правда, опустили окна и нацелили камеры. Шофер включил передачу, и автобус двинулся по направлению к Венеции. В эту минуту огромный дворец Гонзага отворил ворота, и мы вступили в прохладную темноту. Экскурсовод грустно оглядел нас, отыскивая привлекательную женщину, и остановил свой взгляд на маленьких немецких девочках. Затем он подвел группу к надписи на стене. Там мы прочли: «На этом месте 7 февраля 1391 года была обезглавлена Агнесса Висконти, жена Франческо Гонзага, синьора Мантуи. Ей было двадцать три года». Кто-то спросил, отчего с ней так поступили. Экскурсовод ответил, что в то же самое время в подвале дворца был задушен красивый молодой человек по имени Винченцо да Скандиано. Все понимающе закивали, и я вспомнил, что адюльтер так и не был доказан. Очень может быть, что бедная молодая женщина была невинна, а ее ревнивый муж стал жертвой очередной интриги Джана Галеаццо Висконти, выступившего в роли Яго.

Мы вошли в здание, которое вполне можно было бы назвать историей в камне, повествующей о роде Гонзага, которые сначала были синьорами Мантуи, потом маркизами, а затем и герцогами. Сложность постройки озадачила бы любого, кроме, разве, эрудированного архитектора. Здесь просматривалось три периода — позднее Средневековье, Ренессанс и XVII век. Нам сказали, что во дворце пятьсот комнат и пятнадцать внутренних дворов. Поднявшись по величественной лестнице, мы миновали огромные пустые помещения и подошли к Герцогскому залу, где увидели портреты семьи Гонзага, начиная с Луиджи, написанного в 1328 году, и заканчивая 1708 годом. Тогда был написан портрет последнего герцога. Род существовал почти четыреста лет: четыре синьора, четыре маркиза и одиннадцать герцогов. Я подумал, что Гонзага из Мантуи и Монтефелтро из Урбино производят впечатление наиболее разумных из аристократических династий. Возможно, это потому, что они уважали науку и любили искусство, и, конечно же, потому что секретари держали архивы в таком порядке, что сегодня мы можем узнать об их тайных мыслях, радостях, печалях и страхах так же хорошо, или даже лучше, чем их современники. Род Гонзага был воинственным. Один из маркизов сколотил себе капитал благодаря тому, что командовал миланской армией, другой Гонзага был главнокомандующим в Венеции, а третий стоял во главе войска Флоренции. Дефект позвоночника, о котором я уже упоминал, начался, по слухам, с семьи Паолы Малатеста да Римини, которая в 1414 году вышла замуж за первого маркиза Джанфранческо. Болезнь никак себя не проявляла, пока Паоле не исполнилось тридцать с чем-то лет. Затем в длинной истории семьи недуг проявлялся с перерывами. Двое сыновей Паолы — Джанлусидо и Алессандро были отрезаны от нормальной жизни и искали утешения в классике. Говорят, что

Джанлусидо знал наизусть всего Вергилия. Одна из внучек Паолы — Сюзанна — превратилась в настоящую горбунью. Бедная девушка еще с младенчества, прежде чем заметили ее дефект, была помолвлена с Галеаццо Мария Сфорца. Затем имя ее изъяли из брачного контракта, а вместо него вписали имя ее сестры Доротеи. Потом начали шептаться, что и сестра страдает тем же дефектом. Сфорца потребовал медицинского освидетельствования, и отец девиц Лодовико Гонзаго с негодованием отверг такой ультиматум и ушел в отставку с поста командующего миланской армией. Старшие сыновья, кажется, избежали семейного недуга, но когда в 1538 году Гульельмо — тот, кто впоследствии подружился с Крайтоном Поразительным, — родился горбуном, пора расцвета династии уже миновала. Члены рода совершали экстравагантные поступки, но жениться не желали, и колыбели опустели. Когда проходишь мимо сокровищ, хранящихся в гулких залах, картин Мантеньи, Тициана и Беллини, чувствуешь, что все это не может компенсировать дефектный позвоночник, и, пока экскурсовод расписывал военные триумфы семейства и просил нас запомнить различные сражения, я представлял несчастных Гонзага не на боевом коне на поле брани, а дома, в тот момент, когда со страхом и надеждой они склонялись над колыбелью.

Нас провели по длинной анфиладе огромных залов, большая часть которых пострадала и от времени, и от нескольких оккупации. Метание по историческим периодам немного сбивало с толку, хотя и было неизбежным: как-никак богатая семья прожила в этом здании без малого четыре сотни лет. Мы видели огромные гостиные, где Гонзага устраивали официальные приемы. Из ниш на нас взирали классические бюсты, а на потолках среди знаков Зодиака резвились и шептались купидоны. Мы шли по



длинной галерее и смотрели на ристалище. Из окон придворные дамы наблюдали когда-то за возлюбленными и мужьями, участвовавшими в рыцарских поединках, как будто это 1324, а не 1524 год. Я с интересом заметил, что Джулио Романо, построивший галерею, поставил здесь витые колонны за целую сотню лет до того, как Бернини создал колоннаду на площади собора Святого Петра в Риме.

Затем мы увидели совершенно фантастическое зрелище, то, что я навсегда запомню, — апартаменты карликов.

В самом сердце дворца созданы комнаты для жильцов ростом в три фута. Это миниатюрный домик с малюсенькими лестницами и даже с крошечной часовней, в которой мне пришлось пополам согнуться. Осматривая помещения, я отметил любопытную черту: все здесь было сделано с любовью. В каком-нибудь старом и эксцентричном уголке Испании меня бы это не удивило, но здесь, в Мантуе, — странноватая причуда для семьи, которая и сама страдала от врожденного дефекта. Подобно всем благородным семействам прошлых веков, Гонзага любили своих карликов. Их имена и проказы упоминаются во всех герцогских архивах. Изабелла д'Эсте, в то время двадцатидвухлетняя маркиза Мантуи, заскучавшая в отсутствие воюющего в очередной раз мужа, написала в Феррару и обратилась к отцу с просьбой, чтобы тот прислал ей Фрителло. Это был карлик, которому всегда удавалось своими ужимками рассмешить семью до слез. Он танцевал, пел, крутил сальто и отвлекал хозяев от мрачных мыслей. На помощь одинокой маркизе, как мы узнаем из другого письма, пришел ее любимец Маттелло. Он смешил ее, изображая пьяного человека. Однажды слуга объявил о приезде преподобного отца Бернадино Маттелло, и карлик вошел в ее комнату, одетый как крошечный францисканец. Спустя два года

она отправила Маттелло в Феррару, чтобы карлик утешил ее брата Альфонсо, сокрушавшегося о смерти жены — Лукреции Борджиа. «Лекарство», судя по всему, сработало, ибо Альфонсо написал сестре, что, предложи ему кто-либо на выбор замок или Мателло, он выбрал бы карлика. Когда Маттелло умер, его положили в маленькую могилу и написали обычную латинскую эпитафию, а поэт Чино да Пистойя присовокупил: «Если Маттелло сейчас в раю, то он смешит там всех святых и ангелов».

Еще одним популярным мантуанским карликом был Нанино, который, как и Мателло, любил изображать священников. Когда меланхолический Максимилиан, герцог Милана, навел свою тетку Изабеллу, Нанино насмешил всех охотничьим бурлеском, в ходе которого он сражался с козой. Почти невероятно представить себе присутствовавших при этой сцене серьезных и высокомерных аристократов, изображенных Тицианом. Вот они печально и безутешно прохаживаются мимо гобеленов и позолоченных купидонов, а затем, отчаявшись, посылают за карликами и получают от них лекарство в виде исцеляющего смеха. На протяжении всего периода Возрождения между родственными правящими дворами, в том числе Мантуей и Феррарой, происходил оживленный обмен карликами и шутами. Можно представить себе, с каким подозрением смотрели друг на друга избалованные, ревнивые маленькие фавориты, как дулись из-за появления соперника из соседнего аристократического двора. Обращение с лилипутами требовало, должно быть, сочетания твердости и лести, что можно уподобить сегодняшней тактике взаимоотношений с кинозвездами. Думаю, можно понять, отчего поэзия не баловала вниманием маленьких человечков, зато художники часто обращались к подобным сюжетам, особенно Веласкес. Впрочем, припоминаю очаровательное маленькое

английское стихотворение Уоллера, написанное по случаю свадьбы Ричарда Гибсона и Анны Шепард, людей ростом по три фута и десять дюймов. Они были придворными карликами Карла I и Генриетты Марии. Карл был посаженным отцом невесты, и вот что написал Уоллер:[\[44\]](#)

Как люди женятся? Случайно. По расчету.  
А этот брак свершили Небеса.  
Как же тут откажешь?  
И Еве от Адама не к кому бежать.  
Природа создала малышку эту  
Точь-в-точь ему по мерке.

Мы двинулись дальше — хотя ноги начали уставать — и подошли к комнатам, которые показались мне самыми интересными. Они отведены были знаменитому «парадизу» Изабеллы д'Эсте. Три маленькие комнаты, словно шкатулки для драгоценностей, следующие одна за другой, со шрамами, нанесенными им временем и военной оккупацией, обкраденные ворами и дельцами от искусства, тем не менее до сих пор сохранили в себе что-то от бывшего счастья. Я представил, как окруженная своими сокровищами хозяйка играла здесь на лютне или пела, а возможно, разворачивала новое издание альдины,[\[45\]](#) напечатанное на тонком пергаменте и специально отобранное для нее самим Альдом Мануцием. Изабелле было шестнадцать лет, когда она покинула двор своего отца в Ферраре и вышла замуж за молодого Франческо Гонзага, третьего маркиза Мантуи. Эта женщина интересна тем, что она постоянно искала убежища, тихой гавани, наполненной картинами, книгами, музыкальными инструментами, а также — драгоценностями и бронзовыми статуэтками. Ей нужно было место, отвечающее ее душевному настрою, ей

хотелось забыть о горестях жизни, тем более что испытаний на ее долю выпало немало. Уже в двадцать лет Изабелла была настоящим знатоком искусства и интереса к нему не утратила, с годами она лишь совершенствовалась на этом поприще и постоянно пополняла свою коллекцию. Страсть к украшению места своего пребывания в ней не ослабла и была одинаково сильна как в семнадцатилетнем возрасте, так и через сорок восемь лет, перед кончиной.

Затейливая резьба потолков «парадиза» не пострадала. Золотые листья сияют по-прежнему. Я заметил на них любимые символы и девизы Изабеллы. На сочинение их она потратила много времени. Я увидел римские цифры XXVII (*vinte le sette*<sup>[46]</sup>) — этим она хотела сказать, как мне кажется, что она победила всех своих врагов. Заметил я и три буквы U.T.S., монограмму Ys,<sup>[47]</sup> распечатанную колоду игральных карт и перевязанный лентой пучок веток — это мне трудно было объяснить. Красивейшая мраморная дверь с медальонами скульптора Христофора Романо привела меня в совершенную маленькую комнату. Позолоченные кессоны украшали потолок. Там я тоже разглядел символы Изабеллы, а также любимый ее девиз — *Nes pre, pes metu* (Без надежды и без страха). Вот, значит, каков был этот парадиз, содержимое которого разбросано сейчас по всему свету. Это, разумеется, была не первая гавань Изабеллы, но последняя. Ее первый настоящий кабинет, созданный, когда Изабелла была еще новобрачной, находился не во дворце, а в старинном замке, примыкающем к дворцу. Позднее, когда в комнатах стало слишком тесно, она попросила своего сына Франческо, чтобы тот позволил ей переселиться на нижний этаж дворца, где она устроила очаровательный грот. Это помещение стало для нее убежищем, стены которого Мантенья, Перуджино и

Коста украсили аллегорическими картинами, ныне хранящимися в Лувре.

В одних только мантуанских архивах найдено две тысячи писем Изабеллы. Она предстает перед нами в разном расположении духа — любящей, сердитой, высокомерной, печальной, — и в юности, и в среднем возрасте, и в старости. Когда она позировала кому-нибудь из величайших живописцев, то и не подозревала, что в своей корреспонденции оставляет потомкам куда более разоблачительный автопортрет. Леонардо да Винчи нарисовал ее сангиной, работа сейчас находится в Лувре. На рисунке мы видим довольно полную молодую женщину двадцати пяти лет, не особенно красивую, но с приятным живым лицом. На ней полупрозрачное платье с низким вырезом. В Вене имеется два ее портрета работы Тициана. На одном из них — Изабелла в возрасте пятидесяти пяти лет, а на другом — выполненная Тицианом копия портрета кисти Франциа. Художник написал ее, когда она была молодой девушкой. «Сомневаюсь, что мы были когда-либо столь красивы», — писала она, когда увидела копию Тициана. На этом полотне изображена красивая девушка, одетая по последней моде: на ней драгоценности, платье из парчи, на плечо наброшена меховая накидка. Светлые волосы увенчаны затейливой конструкцией из драгоценных камней — назвать ее шляпой я бы не решился. Достаточно взглянуть на решительную линию ее рта, чтобы понять: эта высокомерная молодая дама всегда поступала по-своему и будет действовать так и впредь. Да, это та Изабелла, которая — сейчас бы выразились «как бульдозер» — проходила по ренессансным студиям, забирая все, что понравилось. Это та самая Изабелла, которая смеялась и танцевала с французами во дворце покойной сестры в Милане. Та, что угрожала несчастному художнику Луке Лиомбени: «Если студия не будет готова к нашему возвращению,

мы намереваемся посадить тебя в подвал замка. И это — можешь не сомневаться — не просто фраза». Это была Изабелла, что не протянула руку помощи обедневшему и умиравшему Мантенье, а вместо этого пыталась торговаться с ним за бюст Фаустины. Но это лишь одна из сторон многогранной натуры Изабеллы, и, может быть, именно Леонардо удалось передать ее настоящую суть в мягком профиле, что хранится в Лувре. Изабелла у него уступчивая, такая, которая могла написать своему господину: «Конечно, если ваше высочество думает по-другому, я отправлюсь завтра, даже если мне придется путешествовать в одиночестве и в одной рубашке».

Когда Изабелла собралась в Милан на свадьбу сестры, «об одной рубашке» речи не шло. Изабелла готовила новые наряды, меха и драгоценности. Она написала агенту Гонзага в Венецию и приказала обойти все магазины и приобрести восемьдесят самых лучших соболей. «Постарайся найти шкурку с головой животного, — писала она, — я хочу сделать из нее муфту... Ты должен также купить восемь ярдов самого лучшего алого шелка. Он пойдет на подкладку для соболей, и, бога ради, употреби присущее тебе прилежание». Вот так прозвучал из Мантуи властный голос семнадцатилетней женщины. Голос этот доверенные лица Гонзага — художники, скульпторы, архитекторы, печатники, скупщики, ювелиры и портные — будут слышать на протяжении полусотни лет.

Как и большинство богатых людей того времени, Изабелла отличалась экстравагантностью и тратила деньги на уникальные предметы, которые в трудное время можно было заложить. Ничего позорного в те времена в таких поступках не видели. В Венеции заложили ростовщику Терновый Венец, и, когда его не выкупили, венец приобрел Людовик XI, для которого он в качестве хранилища построил часовню Сент-Шапель.

Жизнь в Мантуе все время менялась: было время, когда Франческо посылал в Испанию за арабскими скакунами, а Изабелла покупала драгоценности, меха, парчу и картины. Путешествовали супруги со свитой, насчитывавшей до сотни придворных. По воде любили передвигаться в раззолоченном буцентавре, под сладкозвучное пение менестрелей. Но бывали и другие времена: Изабелла вынуждена была закладывать свои драгоценности венецианским ростовщикам. Казалось, под гнетом экономической депрессии даже дворец ежится в окутавшем его промозглом тумане. Сохранилась переписка между супругами; тогда, в 1493 году, Изабелла находилась в Мантуе, а Франческо — в Милане. Он изо всех сил старался казаться невозмутимым на торжественной церемонии, когда его шурин, Лодовико Сфорца, сделался герцогом. Франческо написал Изабелле и попросил дать напрокат лучшие ее драгоценности. Она послала мужу все, что у нее было, ибо «я не только отдам тебе свои сокровища, но и всю кровь ради твоей чести и ради нашего дома». Заканчивая письмо, она мягко напомнила ему, что часть драгоценностей уже заложена. Годом позже в ее письме сквозило уже явное раздражение. Так она ответила на просьбу Франческо выручить деньги за драгоценности, чтобы его брат смог стать кардиналом: «У меня осталось всего четыре камня — большая прозрачная шпинель, которую ты подарил мне за первого нашего ребенка, мой любимый бриллиант и два камня, которые ты купил мне недавно. Если заложу их, останусь без всего, тогда придется ходить во всем черном, потому что если появлюсь в цветном шелке и парче без драгоценностей, надо мной будут смеяться». К счастью, кардинальская шапка в этот момент никому не понадобилась, и Изабелла осталась при своих камнях.

Черные полосы совершенно неожиданно сменялись белыми. Так произошло, например, после сомнительной

победы в битве при Форново: тогда венецианское правительство увеличило оклад главнокомандующему на две тысячи дукатов и даже Изабелле назначили пенсию в тысячу дукатов, что она восприняла как нежданную радость и тут же приказала венецианскому агенту заплатить по долгам, а остальные деньги потратить на tabi. Странное слово, правда? У нас оно вызывает ассоциацию с кошками. Означает оно на самом деле мокрый шелк. Первоначально материал изготовляли в Багдаде, в квартале Аттабийя, названным так в честь Аттаба, современника пророка Магомета. Слово tabi прижилось и довольно замурлыкало возле уютно устроившейся у камина Елизаветы Тюдор, облаченной в серебристо-белое платье из этого самого tabby.<sup>[48]</sup>

У Изабеллы было шестеро детей: трое мальчиков и три девочки. Так как вначале появились девочки, она отказалась предоставить им герцогскую колыбель, которую приготовила для сына и наследника. Можно себе представить, что девочкам пришлось не слишком сладко, когда двадцатилетняя Изабелла выполнила, наконец, свою миссию и родила обожаемого ею Федерико. В первый год материнства, в 1493 году, в Мантую из Кадиса пришло интересное письмо. Прислал его преданный слуга (Франческо отправил его в Испанию за породистыми лошадьми): «Моряк из Савоны по имени Колумб привез 30 000 дукатов золотом, перец и другие специи, а кроме того, попугаев, большущих, словно соколы, и красных, как фазаны. За морем есть деревья, на которых растет тонкая шерсть, на других — воск и хлопок. Мужчины там похожи на обитателей Тартара, они высокие и сильные, длинные волосы падают им на плечи. Они едят человеческое мясо, а людей для этого откармливают, как мы — каплунов. Называют их каннибалами... Я уверен, что эти моряки привезли с собой много золота, сандалового дерева и



специй, а сам я видел собственными глазами шестьдесят попугаев разных цветов, восемь из них размером с сокола. В этой земле они видели большие леса, в которых деревья растут так густо, что и неба не видно. Так что если кто-то из мужчин не заберется на вершину, то им и дороги назад не сыскать. Да много чего я еще услышал, нет времени все описать».

Репутация знатока искусств и коллекционера затмила роль Изабеллы в истории своего времени. А ведь она видела положение своего мужа, отца и родственников, в которое они попали после вторжения французов. Дважды она давала приют беженцам — и брату с золовкой, и дочери с зятем, после того как Борджиа, а позже — Климент VII обманом изгнали их из Урбино. В 1527 году, во время посещения Рима, Изабелла слышала пальбу пушек с замка Святого Ангела: шло наступление на город. Забаррикадовавшись в палаццо Колонна, Изабелла дала приют сотням напуганных людей. В те страшные дни ушей ее достигали крики умиравших на улицах раненых — мужчин и женщин, и все же в одной из комнат дворца покоилась кардинальская шапка. Именно за ней она приехала в Рим, чтобы передать ее младшему сыну Эрколе. В самые ужасные моменты, когда карлик Моржентино в страхе цеплялся за ее юбки, а по улицам, шатаясь, бродила пьяная толпа испанцев, швейцарцев и немцев, одетых в парчовое облачение священников, казалось, что мир вот-вот рухнет, но у нее было одно утешение — красная кардинальская шапка, ведь о ней она мечтала долгие годы! Ей тогда было пятьдесят три, а ее муж, Франческо, уже восемь лет как мертв.

Начало их совместной жизни было идеальным. Позже годы иностранной оккупации, политическая нестабильность, плохое здоровье, одна-две любовницы сделали его раздражительным и мрачным. Думаю, он был обаятельным человеком, и со мной, возможно,

согласятся те, кто рассматривал его лицо на большой картине Монтеньи, что висит в Лувре, — «Мадонна Победы». Был он низкорослым, смуглым и некрасивым: насколько он был некрасивым, можно увидеть, взглянув на бронзовую статую того же Монтеньи в Мантуе. В нем даже есть что-то от Калибана, и он только чудом не обзавелся семейным горбом. В битве при Форново под ним были убиты три лошади, а он продолжал драться, пока у него не сломался меч. Тем не менее даровитая жена подавляла Франческо. Быть женатым на такой знаменитой женщине — коллекционере и критике было не так-то просто, но он никогда не мешал ее увлечениям, не упрекал за экстравагантные поступки. Она обеспечила ему стабильность, которой так ему не доставало, только вот здоровья дать не смогла. За несколько лет до смерти Франческо сделался грустным и раздражительным, и даже его знаменитая конюшня потеряла, казалось, для него прежнюю привлекательность. В молодости его страстью было разведение породистых лошадей и скачки. Если он не вел вперед свое войско, то был на скачках — слава о мантуанской конюшне гремела по всей Европе. Генрих VIII сказал однажды другу Изабеллы, что по торжественным случаям он всегда ездит на мантуанской лошади. Так что те, кто приезжал к Генриху в Лондон, могли увидеть лошадей Гонзага в королевских конюшнях «Ройял мьюз».

В апрельский вечер 1519 года Изабелла и ее семья собрались вокруг постели Франческо. Он сказал, что всегда уважал ее и был с ней совершенно искренен. К ночи Франческо умер. Было ему пятьдесят три года. Через несколько дней его девятнадцатилетний сын Федерико, одетый с головы до ног во все белое, принял скипетр на ступенях собора, и его поприветствовали как пятого маркиза Мантуи. Изабелле оставалось жить еще двадцать лет. В жизни у нее было немало горя: она

горевала по младшей сестре Беатриче, тяжело переживала измены мужа, но унижена была впервые, когда ее любимый сын взял себе в любовницы красивую молодую женщину по имени Изабелла Боскетти: та пользовалась любой возможностью, лишь бы внести разлад в отношения матери и сына.

Никогда еще не был ей так мил ее «парадиз», как в те горькие дни, когда она увидела злобную молодую женщину в доме, который опекала тридцать лет. Но, может, ее и не следует жалеть: ведь она наверняка знала, что неприятности сами собой уйдут, если продолжать собирать и читать книги. Разграбление Рима ознаменовало конец эпохи. Когда император Карл V принес Италии мир, солнце просияло снова, и Гонзага приняли протянутую им руку дружбы. Они не могли предвидеть, что Италия просто меняла тиранию Франции на тиранию Испании. Однако в тот момент Изабелла почувствовала прилив гордости. На церемонии в Мантуе, на ступенях собора, где сын ее недавно был провозглашен маркизом, император Карл сделал его первым герцогом Мантуи.

Полнея и приближаясь к шестидесятилетнему рубежу, Изабелла оставалась молода душой. Письма ее такие же живые, окружающий мир интересует ее не меньше, чем когда ей было двадцать лет. Тициан стал ее любимым художником, и она так же нетерпеливо ожидала окончания работы над картиной, как и двадцать, и тридцать лет назад, когда придворными художниками были Мантенья и медлительный Перуджино. «И так как мы желаем получить картину немедленно, то посылаем курьера в Венецию и ждем, что он привезет ее с собой». Она не изменилась! Изабелла умерла в возрасте шестидесяти пяти лет, до самого конца питая интерес к миру, находясь в водовороте забот о близких и любимых людях.

Не следует попусту тратить время, разыскивая могилу, место упокоения самой привлекательной и почитаемой женщины эпохи Ренессанса. Ее похоронили подле мужа в капелле деи Синьори в церкви Святого Франческо в Мантуе. Она лежала там два с половиной столетия, пока французская революционная армия не захватила Мантую после долгой осады, и величайшие в современной истории мародеры, чей путь по Европе отмечен разбитыми гробами, явились сюда в поисках золота и драгоценностей и развеяли по ветру прах Гонзага.

## 9

Экскурсовод показал на разбитый на крыше сад с живыми изгородями и цветочными клумбами и сказал, что здесь Изабелла устроила кладбище для любимых своих собачек и птиц. Я припомнил, что в письмах она упоминала о печальных похоронах в присутствии придворных, об одах и элегиях, которые сочинялись по такому поводу лучшими поэтами. Те, кто знал Изабеллу, рассказывали, что первыми о ее появлении возвещали своим лаем маленькие собачки.

Мы пересекли двор и вошли в старинный замок Святого Георгия. Он стоит над живописным прудом, поросшим густым тростником. Через пруд переброшен длинный мост, с него начинается главная дорога в Ногару. Кстати, мост можно увидеть на заднем плане картины Мантеньи «Смерть Богоматери», она находится в музее Прадо, в Мадриде. Замок представляет в плане огромный квадрат с массивными сторожевыми башнями. Построен он был тем же архитектором, что и замок Эсте в Ферраре, так что, выйдя замуж за Франческо, Изабелла д'Эсте поменяла свой замок на точно такой же.

В мантуанском замке есть совершенно необыкновенное помещение — супружеская комната. Каждый дюйм стен и сводчатого потолка покрыт фресками Мантеньи. Над дверью — красиво исполненная надпись. Держат ее порхающие купидоны с крылышками, как у бабочек. Надпись сообщает, что художник расписал комнату в 1474 году. Кстати, именно в этом году в Ферраре родилась Изабелла д'Эсте. Над каминной доской — словно бы даже прямо на ней — непринужденно и ничуть не утратив собственного достоинства расположилась выполненная в натуральную величину группа мужчин и женщин. Мы видим Лодовико, второго маркиза Мантуи, тогда ему было шестьдесят, рядом с ним спокойная и умная жена, немка по происхождению, Барбара Бранденбургская. Супругов окружают дети и придворные. Все они в раззолоченных одеждах из парчи и атласа. Мужчины гладко выбриты, на головах красные головные уборы — береты и константинопольские фески. Они готовы поприветствовать человека, личность которого по сей день так и не установлена. Незнакомый быстро взбирается по ступеням лестницы, где поджидают его молодые мужчины в коротких плиссированных туниках. Они и подведут его к маркизу.

Лодовико сидит в кресле, обитом в итальянском стиле. На нем длинная мантия, отороченная горностаем, и широкий полотняный воротник, похожий на тот, что в более поздний исторический период носили английские пуритане. Под креслом маркиза в тростниковой корзине отдыхает большой старый пес, очевидно, любимец Лодовико. Маркиз, сидя вполоборота, держит письмо и шепчет что-то придворному, который со шляпой в руке склонился к хозяину. Лицо его совершенно бесстрастно, как и положено личному секретарю.

Относительно этой сцены имеются разные толкования. Одна теория состоит в том, что незнакомец

— посол, прибывший из герцогства Вюртемберг, чтобы просить руки Барбары Гонзага, в то время девушке было семнадцать лет. Другое предположение: картина изображает примирение Лодовико со старшим сыном Федерико, после того как молодой человек уехал в Неаполь. Хотя теория эта и сомнительна, но интересна как пример интриг, постоянно сопровождавших жизнь в Италии. Рассказывают, когда речь зашла о заключении брака Маргариты из Баварии с Федерико, молодой принц пришел в ужас от внешности и манер баварцев. К тому же он услышал, что Маргарита была низенького роста, толстая и не знала ни слова по-итальянски. Он тут же бросился наутек, а вместе с ним и шестеро человек свиты. По дороге в Неаполь группу ограбили, и они остались без гроша. Так как Федерико скрывался под чужим именем, он не мог ни к кому обратиться за помощью. Он поселился в бедной части города, а когда заболел, шесть его компаньонов стали носильщиками и разнорабочими, лишь бы поддержать своего принца. Вскоре его обнаружили и заставили вернуться домой. Сделано это было благодаря матери принца — Барбаре Бранденбургской. Она разослала по всей Италии запросы о «семи мужчинах из Ломбардии». Остается лишь сказать, что Федерико, в конце концов, женился на Маргарите Баварской. Оказалось, она — приятная молодая блондинка. Мне кажется, вряд ли какая-нибудь семья захотела запечатлеть на стенах супружеской комнаты историю о несговорчивом женихе.

Другая сцена не вызывает таких споров. На ней представлено событие 1472 года: прибытие из Рима Франческо, первого Гонзага, получившего красную шапку. Гордый маркиз Лодовико, облаченный в охотничье платье, выехал поприветствовать сына. Рядом с ним старая собака, та самая, что изображена на другой картине. Другие члены семьи стоят возле двух главных фигур под раскидистым деревом. На заднем плане —

дорога, она то исчезает, то снова появляется, устремляясь к сияющему городу. Возможно, это Рим. На картине представлены три поколения маркизов Мантуи: Лодовико, сын его Федерико и внук Франческо. Хотя ребенку здесь всего шесть лет, его можно узнать по густой шевелюре и выпуклому лбу. Его коленопреклоненная фигура в рыцарском облачении есть и на картине «Мадонна Победы». Эксперты разглядели и других персонажей в этой группе, включая автопортрет художника. Есть и другие фрески, включая ту, где изображены знаменитые боевые кони Мантуи и шотландские борзые.

Я пошел посмотреть на массивный летний дворец Гонзага. Называется он странно: Палаццо дель Те. Может, это оттого, что аллеи, которые ведут к нему, имеют форму буквы Т? А может, оттого, что здесь много tigli? Так по-итальянски называются липы. Фрески покрывают стены и потолки сплошным ковром, но больше всего мне понравились лошади, изображенные в натуральную величину: две гнедые, три серые и одна вороная. Два фаворита конюшни с голубыми плюмажами стоят по обеим сторонам камина. Приятно, что память о знаменитой конюшне Гонзага осталась в веках. Животные изображены в профиль, чтобы зритель мог оценить их стать. Жить в такой комнате трудно, а вот в Нью-маркете<sup>[49]</sup> этим фрескам самое место.

## 10

Среди самых активных корреспондентов Изабеллы был Франческо Кьерикати. В качестве нунция он жил в Англии с 1515 по 1517 год. В мантуанских архивах хранятся письма, в которых автор описывает Уайтхолльский дворец. Королю Генриху VIII было в то время двадцать четыре года. Тот, кто составил себе

мнение об эпохе Тюдоров исключительно по кинофильмам, думает, что тамошние монархи в одежде из бархата и атласа садились за стол и, словно голодные дикари, рвали мясо на части. Тем более приятно прочесть о впечатлениях очевидца, культурного человека, вращавшегося в высших кругах ренессансного общества. Предубеждения его мигом развеялись: Англия не только не была страной варваров, но оказалась богатым и культурным государством. Королевский двор отличала элегантность, любовь к наукам и искусствам. Нунций не мог не восхищаться Генрихом VIII: он ценил его как мудрого правителя, нравились ему и красивая наружность короля, и умение поддерживать светскую беседу, любознательность, эрудиция и увлечение искусствами. Как-то раз, когда он провел воскресенье в компании короля, Генрих сказал, что гордится тем, что в его конюшне есть мантуанские лошади. В другой раз нунция пригласили на торжества в посольство по случаю приезда делегации от императора Карла V. Возглавлял делегацию граф Жак Люксембург. Генрих появился в золотом королевском одеянии, сшитом по венгерской моде, а таких красивых золотых цепочек и воротников, какие были у английских аристократов, нунций еще не видел. В последующие дни банкеты послам устраивали король, кардинал Уолси и лорд-мэр Лондона. Однажды Генрих пригласил послов и нунция на частный обед в апартаменты королевы.

«Это, как мне сказали, был исключительный случай, — писал Кьерикати Изабелле. — Король сам пел, играл на различных инструментах, проявив при этом исключительные способности. Затем танцевал, заставил танцевать графа и подарил ему отличную лошадь с богатой сбруей и камзол из золотой парчи, стоивший семьсот дукатов». Кульминацией недельных празднеств стал турнир. Происходил он, по словам Кьерикати, на площади, которая «в три раза больше площади Святого



Петра в Мантуе. Окружена она была амфитеатром, в котором сидели тысячи зрителей. По обе стороны ристалища стояли огромные павильоны с золотыми занавесками». Из одного павильона выехал на коне Генрих. На нем была мантия из белого Дамаска, расшитая тюдоровскими розами, выполненными из рубинов и бриллиантов. За ним на белых скакунах следовали сорок рыцарей. Упряжь на лошадях была из серебра. В тот же момент из противоположного павильона выехал герцог Суффолк в сопровождении такого же отряда рыцарей, и «когда он сошелся с королем в единоборстве, нам казалось, что мы видим перед собой Гектора и Ахилла». После поединка король, сняв облачение, предстал перед присутствующими в синем бархатном костюме, расшитом золотыми колокольчиками. В сопровождении двадцати четырех пажей он «подъехал к королеве на очень высокой белой лошади, которая под ним так и гарцевала. Попробовав одну лошадь, король вернулся к павильону и пересел на другую».

Банкет, устроенный в королевском дворце, поразил Кьерикати своим великолепием. Рыба всех сортов, мясо, птица и дичь. Все блюда приносили слуги, которых нарядили в костюмы, представлявшие различных животных — слонов, пантер, тигров. Нунция привели в восторг желе, которым придали форму замков, церквей и животных. «В заключение, — добавил он, — достопочтенная госпожа, могу сказать: в Англии есть все богатство и восторги мира. Те, кто называет англичан варварами, сами варвары! Мы видим здесь великолепные костюмы, редкие достоинства и замечательное обхождение. Но лучше всех этот непобедимый король, наделенный столькими выдающимися достоинствами, что он, как мне кажется, превосходит всех, кто носит в наше время корону. Благословенна и счастлива страна, которой управляет

столь достойный и отличный монарх! Я предпочел бы жить под его милостивым владычеством, нежели наслаждаться самой большой свободой в республиканском государстве!»

Нунций Кьерикати был не единственным итальянцем, который столь высоко оценивал Генриха VIII. Приблизительно в то же время два венецианских посла, Пьеро Паскуалиго и Себастьян Джустиниани, собирали вместе с Генрихом и Екатериной Арагонской в Гринвиче майскую росу.<sup>[50]</sup> Король на гнедом коне одет был в зеленый бархатный костюм. Паскуалиго, взглянув на него, сказал, что он видит перед собой Марса. Генрих разговорился с итальянцами и спросил их о короле Франции, Франциске I, которого он еще не видел, такого ли он роста, что и он. Итальянцы ответили, что они одинакового роста. Генрих спросил: «А он крепкий?» Итальянцы ответили, что нет. Генрих снова спросил: «А какие у него ноги?» Итальянцы ответили: «Худощавые». Король расстегнул свой камзол и, положив руку себе на бедро, сказал: «Взгляните, у меня тоже неплохие ноги». Паскуалиго заключил: «Его высочество — самый красивый монарх, которого я когда-либо встречал».

Послы и нунции, конечно же, возвращаются исключительно в высших кругах, и мы редко слышим от них об обыкновенных людях. Был, однако, в Лондоне итальянец в одно время с Кьерикати, который мог бы многое о них рассказать. Это был Торриджано. В Вестминстерском аббатстве он заканчивал работу над бронзовыми статуями Генриха VII и Елизаветы Йоркской. Скульптор жил в Лондоне несколько лет и, должно быть, знал английскую жизнь сверху донизу — от короля до самого последнего лондонца. Англичан он называл «медведями». Был он, однако, большим скандалистом и хвастуном, а потому и соседи не слишком тепло к нему относились. В молодости он во время ссоры в

мастерской Флоренции сломал нос Микеланджело, а когда вернулся в этот город, чтобы взять с собой художников для работы в Англии, о драках его и скандалах там были все столь наслышаны, что даже сам Бенвенуто Челлини, не отличавшийся примерным поведением, отклонил его предложение.

Как ни хорошо было Кьерикати среди аристократов английского двора, пришлось ему окунуться в реальную жизнь Ирландии, и эти письма, как мне кажется, самые интересные.

Нунций и сопровождавшие его лица пожелали отдать почести Чистилищу святого Патрика.<sup>[51]</sup> Путешествовали они на север, к Честеру. В течение суток добрались по морю до Дублина. Когда поехали к озеру Лох-Дерг в Донеголе, начались приключения. Блестящий ренессансный двор, который они оставили в Лондоне, казался им другим миром, как оно было и на самом деле. «Ирландцы, — писал Кьерикати, — умны и хитры, к тому же очень воинственны, мы постоянно с ними ссоримся... Мужчины носят рубашки, окрашенные шафраном, башмаки без чулок, серый плащ и фетровую шляпу. Лицо чисто бреют, за исключением подбородка. Женщины белокожие и красивые, но грязные... На севере Шотландии люди, как я слышал, еще более дикие: они ходят нагишом, живут в пещерах и едят сырое мясо».

Современные ирландские мужчины и женщины, исполняя завет или в искупление грехов, также приходят к озеру Лох-Дерг. Я и сам это видел, когда в 1958 году был в Донеголе. На берегу озера выстроилась длинная очередь. Люди съехались сюда со всей страны: они ждали, когда лодка привезет их к скалистому острову в центре озера. По пути туда они снимают обувь и чулки и в течение трех дней ходят по острову босиком. Некоторые из них все три дня постятся, либо съедают одну овсяную лепешку и пьют слабый чай. Все это время

они проводят в молитвах и босиком обходят обители. Каждый пилигрим заканчивает посещение острова долгой молитвой в пещере святого Патрика. Это — более мягкий вариант ритуала, который в 1517 году исполнил вместе со своими друзьями Кьерикати. Тогда паломники провели на острове десять дней, а закончили свое путешествие двадцатичетырехчасовым пребыванием в пещере, где, как говорят, происходят сверхъестественные и ужасные явления.

Восстанавливая ход минувших событий, вернемся к итальянским путешественникам берегу озера Лох-Дерг: вот они протрубили в горн, помахали белой тряпкой, привязанной к концу шеста, чтобы привлечь внимание трех священников, живших на острове. К ним послали лодку. По прибытии на остров итальянцы увидели маленькую часовню, колодец и пещеру, в которой, возможно, и спал святой Патрик. Нунций с ними не пошел, «опасаясь увидеть ужасные вещи». Двое его спутников, однако, вошли в пещеру с пятью другими паломниками. «Я полагаю, что страдания мои были еще тяжелее, — прокомментировал он, — ведь мне пришлось ждать их возвращения почти десять дней! И за это время я съел большую часть захваченного нами продовольствия. В день приезда сюда необходимо сделать завещание, если у тебя есть что завещать! Затем необходимо исповедаться и девять дней жить на хлебе и воде, посещать пещеры каждый час и твердить молитвы. Надо еще стоять в озере. Одни паломники заходят в воду по колено, другие — по пояс, а некоторые — и по шею! К концу девятого дня надо выстоять мессу, затем тебя благословляют и поливают святой водой. Держа перед собой крест, вы идете к пещере святого Патрика, вход за вами закрывают и не открывают до следующего дня, так что необходимо находиться внутри двадцать четыре часа... Из тех, кто при мне входил в пещеру, двое видели такие страшные вещи, что один из

них сошел с ума. Когда его потом спрашивали, он сказал, что его страшно избивали, но кто это делал, он не знает. Другой видел прекрасных женщин. Они приглашали его поесть вместе с ними, предлагали фрукты и вкусную еду, они чуть не соблазнились. Другие ничего не видели, лишь ощущали страшный холод, голод и слабость, а на следующий день вышли едва живые».

Итальянцы с облегчением уехали с этого озера, а в Дублин вернулись через Даунпатрик, где, как пишет Кьерикати, «я не мог спокойно ходить по улицам: люди, узнав, что я папский нунций, ходили за мной, выбегали из домов, чтобы поцеловать мою одежду, а потому я вынужден был сидеть дома. Излишняя религиозность, бывает, идет во вред».

Богатство библиотек в старых итальянских герцогствах просто удивительно. В каком еще городе с населением в сорок тысяч есть муниципальная библиотека, насчитывающая двести пятьдесят тысяч томов, в том числе более тысячи двухсот инкунабул,<sup>[52]</sup> а также редкие издания XVI столетия, ранние произведения Вергилия, книги, напечатанные Бодони,<sup>[53]</sup> включая знаменитого наполеоновского Гомера, и свыше тысячи старинных рукописей, большая часть которых написана на пергаменте и богато иллюстрирована. Австрийское правительство было, по всей вероятности, весьма честным, раз позволило этим собраниям в полной неприкосновенности перейти в пользование администрации Мантуи. Немецкий историк Фердинанд Грегоровиус, автор великого труда «История города Рима в Средние века», обнаружил сокровища Мантуи, хотя друг его, Ранке, тоже историк, говорил, что ничего нового после разграбления Рима здесь не найти. В холодный декабрьский день 1871 года Грегоровиус выехал из Мюнхена. На улице стоял восемнадцатиградусный мороз. Он замерз в холодном

вагоне поезда, хотя и положил к ногам грелки. Во время долгого путешествия через Альпы левая рука его онемела. Когда приехал в Мантую, небо было голубое, но температура — ниже нуля, озера и болота покрыты льдом. Страдания его были вознаграждены, когда он начал работать в архивах и находил письмо за письмом, включая множество писем от Цезаря Борджиа, письма от Кастильоне, в бытность его нунцием при Клименте VII в Мадриде. Обнаружил он письма других людей, бывших очевидцами разграбления Рима в 1527 году. «Никогда еще я так не страдал от холода, как в Мантуе, — писал Грегоровиус в своем дневнике. — Я уж не чаял остаться живым, и только радость от сделанных мною в архиве открытий поддерживала мои силы».

## 11

Падение рода Гонзага представляет для англичан исключительный интерес, так как династия под конец существования продала свою знаменитую коллекцию картин Карлу I, королю Англии. Я обсуждал эту тему со своим итальянским другом, который спросил, слышал ли я о «величайшем скандале XVI века», который, по его мнению, был началом конца дома Гонзага. В историю эту почти невозможно поверить.

Жизнерадостный молодой Винченцо, наследник Гульельмо, третий герцог Мантуи, тот самый молодой человек, который убил Крайтона Поразительного, в 1581 году женился на четырнадцатилетней Маргарите Фарнезе из Пармы. После необычайно пышной свадьбы прошло несколько дней, и пошли слухи, будто врачебный консилиум вынес решение: новобрачная не может стать женой без хирургической операции, которую сами они провести не в состоянии. Рыдающая девушка, сильно влюбленная в красивого молодого

герцога, отправлена была назад, в Парму. Затем последовало два года медико-церковных совещаний, что было уникально даже для Ватикана. Наконец, папа — читаем мы с некоторым удивлением — назначил арбитром в этом деле кардинала Карло Борromeо, а он, после консультации с врачами, решил, что Маргариту следует отдать в монастырь. Итак, в октябре 1583 года в возрасте шестнадцати лет Маргарита Фарнезе под именем сестры Мауры Люцении исчезла из истории, но не из жизни, ибо прожила она почти восемьдесят лет, пережив всех, кто был связан с ее трагедией. Ее исчезновение из мирской жизни позволило преодолеть возражения церкви и соблюсти формальности при заключении нового брака.

Винченцо предложили жениться на Леоноре де Медичи, дочери Франческо, великого герцога Тосканы, но возникла ситуация, которую мог бы придумать Конгрив или Уичерли.<sup>[54]</sup> Когда женитьбу Винченцо на Маргарите Фарнезе объявили недействительной, конечно же, вся Италия обсуждала эту историю. Мнения разделились: многие поверили, что разрыв брака связан был не с дефектом, обнаруженным у невесты, а с импотенцией принца. Медичи притворились, что верят этому. Великая герцогиня, та самая, которую до замужества все знали как пресловутую Бианку Каппелло, давно точила зуб на герцога Мантуи, а потому настояла: перед заключением брачного контракта Винченцо должен доказать свою мужскую состоятельность. Если в намерения ее входило унижить и оскорбить Гонзага, то план ее провалился, потому что и старый герцог Гульельмо, и Винченцо немедленно согласились на это нелепое предложение. План заключался в следующем: Винченцо должен провести ночь с какой-нибудь молодой женщиной, которую ему выберут Медичи. Папа возмутился и возражал против

такого греховного предложения, но на него никто не обратил внимания.

Альфонсо д'Эсте, близкий друг, предложил найти такую девушку. В то время в Ферраре жила вдова и дочери непризнанного гения Пирро Лигорио, одного из искуснейших архитекторов и археологов эпохи папы Пия IV. Он создал водяные сады виллы д'Эсте в Тиволи и изысканную виллу Пия в Ватикане, но деньги у Лигорио не задерживались, и в шестидесятилетнем возрасте он был рад посту антиквара при дворе герцога Альфонсо II в Ферраре. После его смерти вдова и дети жили в бедности, и, зная, как им были нужны деньги, Альфонсо обратился к вдове и рассказал о приданом, предложенном герцогом Тосканы подходящей девушке. Как бы там ни было, вдова и ее дочери предпочли бедность бесстыдному предложению. Вскоре Альфонсо нашел в одном религиозном заведении Феррары скромную и благочестивую девицу, которая пожелала, чтобы ее одели и привезли в деревенский дом вместе с четырьмя матронами и охранниками. Там она и ожидала вместе со своими четками. Винченцо приехал в Феррару, но в то время был карнавал, и он, окунувшись с головой в вихрь танцев и маскарадов, не выказывал желания пройти испытание. Поссорившись с представителями дома Медичи, он уехал, не взглянув на девушку, и та вернулась в свое религиозное заведение. Медичи, возмущенные тем, что план их не срабатывает, предприняли поиски сами и начали обходить приюты Флоренции. Наконец, нашли претендентку, красивую двадцатилетнюю девушку по имени Джулия, незаконнорожденную дочь знатного человека. Еще одной нелепицей стало решение, чтобы Джулия, в сопровождении канцлера герцогства, ехала в Венецию под чужим именем. Хотя канцлера знали на всех постоянных дворах, он рассказывал историю, будто везет с собой дочь старого друга, немецкого капитана, для



встречи с отцом. Как, должно быть, смеялись трактирщики, когда канцлер, одетый как обычный горожанин, отправился в это странное путешествие! Когда Джулия приехала в Венецию, ее поместили в палаццо возле Большого канала, принадлежавшее великому герцогу Тосканы. Матроны нарядили Джулию в красивую одежду, по последней моде причесали волосы, и невинность в девичьем взоре сменилась ожиданием.

Незадолго до появления «жениха» живший в палаццо агент Медичи неожиданно умер, возможно, от нервного перенапряжения. Тело его вынесли в ближайшую церковь и восстановили в доме порядок. Когда молодой принц явился, настроен он был после хорошего обеда весело и беззаботно. Смеясь, удалился в спальню, а канцлер стоял на страже в соседней комнате. Прошло три часа, и принц выскочил из комнаты, согнувшись от приключившейся с ним колики. Его отвели в собственные покои. Флорентийцы, посмеиваясь, а мантуанцы, недоумевая, узнали, что пока проблема не была разрешена. Винченцо вернулся на другой день и настолько успешно справился со своей задачей, что свадебный контракт подписали. В конце 1584 года он женился на Леоноре Медичи. Станные все-таки в то время были нравы: несмотря на то, что невеста была в курсе описанных событий, о муже своем она хуже думать не стала, напротив, сильно его любила. Ей нравились и его красивое лицо, и фигура, и манеры. У них родились сыновья и дочери, а Винченцо до конца жизни повсеместно доказывал свою мужскую состоятельность. Так закончился на наш взгляд постыдный, но, по мнению других, абсолютно необходимый эксперимент.

Судьба, с присущей ей иронией, распорядилась так, что имя, которое впоследствии стала носить Джулия, осталось на века, оно известно куда больше, чем имена некогда могущественных властителей,

распорядившихся ее жизнью. Вскоре после «встречи в Венеции», так называли тот эпизод, Джулии дали простое приданое и выдали замуж за музыканта при дворе Тосканы. Звали его Джулио Каччини. Страстью его было сочинение песен. Вместе с приятелем, Якопо Пери, он экспериментировал в создании новой формы музыки и декламации, из чего родилась опера. Не сомневаюсь, что нынешние студенты консерватории более знакомы с его именем, чем с именами Медичи и Гонзага.

Угасание рода Гонзага пришлось на время правления трех сыновей Винченцо и Леоноры: один за другим они становились герцогами, и мантуанская династия закончилась. Сначала, в 1613 году, герцогом стал Франческо. Ему тогда было двадцать семь лет, и у него самого был маленький сын, но прошло всего десять месяцев, и оба они умерли от оспы. Следующим наследником по мужской линии был кардинал Фердинанд, который, прослышав о смерти брата, написал в Мантую и принял правление. С кардинальского поста он ушел, и сейчас об этом помнят лишь нумизматы: красивая большая золотая монета, появляясь на аукционах, оценивается примерно в 600 лир. Он отчеканил эту монету в честь своего назначения. Фердинанд изображен на ней в головном уборе католических священников и с герцогской цепочкой. Выглядит он там куда старше своих двадцати шести лет. Затем титул унаследовал его брат, Винченцо II, и в той же мере, как первые Гонзага внесли свой вклад в славу и величие семьи, так и последние два способствовали ее падению.

Оба были женаты на женщинах, от которых потом отказались. Фердинанд женился на пятнадцатилетней девушке по имени Камилла, а Винченцо — на вдове, бывшей гораздо старше его и имевшей к тому времени семерых сыновей. Фердинанд заточил молодую жену и уничтожил брачный контракт, чтобы вступить в

выгодный — по его разумению — союз с Екатериной Медичи, сестрой Козимо II. Сделав это, он лишил наследства хорошего мальчика, своего сына от Камиллы, который, возможно, мог бы спасти род Гонзага. Брак с Екатериной оказался жалким, и к тому же бездетным. Фердинанд запутался в собственных сетях обмана и бесчестия, а герцогиня жила в постоянном страхе перед отстраненной соперницей и ее сыном. Мрачная ситуация закончилась, когда Фердинанд умер, став стариком в тридцать девять лет. Винченцо II принял бразды правления, но у власти находился всего лишь год — двенадцать мрачных месяцев, которые казались продолжением жизни его брата. Разница была в том, что, вместо жалкой молодой женщины, причины горестей брата, его герцогиня, разозленная тем, что ее однажды публично ославили, обвинив в колдовстве, не желала дать ему утешения. Он старался позабыть о том, что в делах царит хаос, не хотел думать о растущих долгах и пытался развеяться, устраивая экстравагантные маскарады, нанимая комедиантов и приобретая карликов. Непонятным — принимая во внимание физическую ущербность, преследовавшую семью Гонзага, — было и увлечение последнего мантуанского герцога карлицей по имени Кристина.

Именно Винченцо продал большую часть знаменитой мантуанской коллекции английскому королю Карлу I. Посредником в этом деле выступил талантливый человек благородного происхождения — Даниель Нис. Он купил картины Мантеньи, Тициана, Корреджо, Рафаэля, Микеланджело, Андреа дель Сарто, Тинторетто и другие работы всего за 10 500 лир. Даже эту сумму в 1627 году Карлу I найти было трудно: он был стеснен в средствах, как и герцог Мантуи. И все же деньги каким-то образом раздобыли, и шедеврыполнили великолепную коллекцию Уайтхолльского дворца, включавшую картины, унаследованные от

Плантагенетов и Тюдоров. Каким бы национальным сокровищем стало это собрание, если бы пуритане в свое время не сожгли все изображения Богоматери и святых и не распродали бы коллекцию на аукционах, рассеяв ее таким образом по всему миру.

Тридцать лет Франция с Испанией с жадным любопытством заглядывали в пустые колыбели герцогов Мантуи. Семейные распри и международное соперничество вызваны были тем, что герцогство с его сокровищами в любой момент могло стать вакантным. Отпрыски рода Гонзага породнились в свое время со многими королевскими и аристократическими семьями Европы. Все они хотели унаследовать Мантуанское герцогство. Послы и шпионы плели интриги в мантуанском дворце. Испания и Австрия, соперничавшие с Францией, выдвигали своего кандидата. Франция защищала представителя младшей линии рода, Карла Неверского. Пока конспираторы устраивали заговор, больной герцог доживал последние месяцы жизни. Он то и дело посылал торговых посредников за восточным жемчугом, играл с карликами, устраивал представление новых комедий и консультировался с астрологами. Бедный человек, похоже, не подозревал, что ни одной благоприятствующей ему звезды не осталось. Когда он лежал на смертном одре, из монастыря посреди ночи вывели молодую девушку и выдали ее замуж за Карла Неверского. Это была Мария Гонзага, племянница Винченцо и дочь его брата, умершего пятнадцать лет назад от оспы. Итак, французская ветвь семьи завладела герцогством, как только ушел из жизни последний представитель мантуанской линии. Ему в то время было тридцать лет, и умер он от водянки. После победы, одержанной французским кандидатом, испанская и австрийская армии выступили в поход, и падение мантуанских герцогов было ознаменовано

разграблением Мантуи. Следы этого дикого события до сих пор заметны на стенах большого дворца.

## 12

В четырех милях от Мантуи, на западной оконечности пруда я набрел на церковь, в которой сохранилась странная коллекция жертвоприношений, собранных за много столетий. Это — святилище Мадонны делль Грации. Она прославилась сочувствием к человеческому горю и желанием протянуть руку помощи. Церковь и сама является жертвоприношением. Построил ее в 1399 году Франческо Гонзага в знак благодарности Богоматери за спасение Мантуи от чумы. Позднее церковь немного расширили. Сейчас она стала одним из самых популярных в Северной Италии мест паломничества. Войдя внутрь, я удивился: увиденное показалось мне похожим на музей мадам Тюссо. Огромное ренессансное здание было совершенно загублено экзотическими украшениями и двухъярусными конструкциями, возвышавшимися с обеих его сторон и напоминавшими оперные ложи. В каждой ложе сидели восковые фигуры, выполненные в натуральную величину. Пыльная одежда указывала на то, что изготовили их несколько столетий назад. Фигуры женские и мужские. Отчаянное и растроганное выражение их лиц подсказало, что я все-таки не в театре. Священник отнесся к моим замечаниям с пониманием и сказал, что, когда в XVI веке францисканцы заняли церковь, одному монаху — Франческо д'Акванегра, умевшему изготавливать восковые фигуры, дали полную свободу, и он представил здесь выдающихся людей, взволнованных божественным откровением.

К счастью, рвение монаха было остановлено возле ритуального помещения. Там, среди Гонзага, я обнаружил гробницу знаменитого писателя, дипломата и джентльмена эпохи Ренессанса, Бальдассарре Кастильоне. Он принадлежал к тому избранному обществу, чье бессмертие обеспечила одна книга, и хотя я знал, что умер он в Испании, но и понятия не имел, что похоронили его в Италии.

Священник обещал показать мне некоторые уникальные благодарственные подношения. Он повел меня в коридор, стены которого была увешаны акварелями и картинами, написанными маслом. Все они изображали различные катастрофы. Священник быстро прошел мимо. Все это были пустяки по сравнению с тем, что он собирался мне показать! Итак, глянув одним глазом на страшные сцены, аккуратно вставленные в рамки с буквами P.G.R. — Pro Gratia Receipta — «За оказанную услугу», мы вошли в старый и заброшенный францисканский монастырь. В его огромных помещениях у священника была маленькая спартанская квартира. Открыв дверь длинной галереи, он махнул рукой в сторону доспехов XVII века.

Священник сказал, что еще двадцать лет назад главной достопримечательностью церкви было семнадцать восковых фигур, одетых в воинское облачение. Доспехи принадлежали членам дома Гонзага, которые подарили их — Pro Gratia Receipta — по случаю благополучного возвращения с поля сражения. Существовала, правда, и другая версия, что воинское облачение, вместе с фигурами, было делом рук трудолюбивого брата д'Акванегра. Все оставалось как есть, пока в 1929 году англичане не посетили Мантую и не доказали, что облачение настоящее и представляет большой интерес. Священник отошел в сторону и вернулся с двумя ксерокопиями из «Археологии». Оказалось, что посетивший церковь англичанин был сэр

Джеймс Манн, являвшийся в то время хранителем воинского облачения и в лондонском Тауэре, и в Коллекции Уоллеса.

Незадолго до его смерти я спросил сэра Джеймса, как случилось, что он прослышал о доспехах. На что тот ответил, что, когда был в 1926 году во Флоренции, барон де Коссон показал ему фотографию церкви и ее восковые фигуры, пересказал и легенду, согласно которой часть доспехов пришла с поля боя при Мариньяно в 1515 году. Три года спустя сэр Джеймс отправился в Мантую, и, хотя местные жители сказали ему, что доспехи сделаны из папье-маше, взял в деревне напрокат лестницу, чтобы лично все проверить. В 1930 году он сделал доклад об увиденном на заседании Общества антикваров. Это не укрылось от внимания епископа Мантуи. Он заинтересовался, взял одно из облачений и поскреб. Под слоями краски обнаружилось клеймо оружейника. В 1937 году, по приглашению епископа, сэр Джеймс поехал в Мантую и присутствовал при демонтаже семнадцати вооруженных рыцарей. Явление потрепанного воинства, выставленного вдоль стены, было фантастическим. Сжимавшие мечи фигуры покрывала вековая грязь. Во дворе монастыря разожгли костер, и доспехи кипятили в огромном котле. «Это, — сказал сэр Джеймс, — лучший способ удалить старую краску. Скрести нельзя: можно поцарапать поверхность, а кислота приведет к коррозии металла, так были погублены многие коллекции. Коллекция доспехов здесь самая большая. Все это — дары благополучно вернувшихся с поля боя Гонзага. На одном из нагрудников, в котором имеется большое отверстие, есть сопроводительная надпись. Она указывает, что в его владельца попало пушечное ядро, однако жизнь ему сохранила Мадонна делле Грации».

До того как я прочитал отчет сэра Джеймса Манна, я и не подозревал, что нагрудники воинского облачения

сохранились до наших дней лучше, чем поножи. Нагрудники можно в качестве декоративного элемента повесить на стену, а для сохранения поножей требуется целая фигура. Их отделяли от остальных доспехов, в результате они терялись. Сохранившиеся шесть комплектов поножей XV столетия — то, от чего загораются глаза эксперта. Мне жаль, что доспехи, в течение пяти столетий выставленные для всеобщего обозрения, убраны теперь в отдаленные помещения монастыря. Думаю, что лучшее для них место — залы дворца, там где позвякивали ими Гонзага, гордясь собственными, закованными в сталь икрами, после чего наспех целовали жен и отправлялись на войну.

### **13**

Путеводители называют Саббионету «городом призраков» или «Помпеями Ренессанса». Побывав там, я удивился, почему этот город не привлек к себе внимания английских романтиков: ведь там есть все, что они любят, — мрачная атмосфера и приправленная грехом аристократическая печаль. Шелли, Байрон и Браунинг нашли бы там вдохновение, а еще раньше Уолпол<sup>[55]</sup> разглядел бы в его опустевших улицах и судьбе несчастного герцога отличное продолжение своего романа «Замок Отранто».

Из Мантуи я выехал ранним утром и, проехав около двадцати миль, посреди полей с сахарной свеклой, кукурузой, виноградниками и тузовыми деревьями увидел окруженный крепостными стенами город. Через сухой ров был переброшен мост. На красивых классических воротах надпись: «Vespasiano Dux» и дата — 1579. За исключением одной маленькой секции, составлявшей несколько ярдов, стены полностью сохранились. И стены эти были необычные. Город



Саббионета находится внутри огромной крепости, имеющей форму звезды. Пять мощных каменных лучей-бастионов упираются в виноградники. За десять минут, что я простоял здесь, из великолепных ворот не выехала ни одна телега, ни один автобус или автомобиль. В город тоже никто не заехал. Не слышно мне было и городского шума. Перейдя через мост и миновав ворота, я увидел перед собой самое впечатляющее архитектурное творение. Образец Ренессанса — город, такой же прямоугольный в плане, как Нью-Йорк. Красивые улицы, колоннады, дворцы, площади и церкви, и при этом ни души. Оглянувшись на дворцы, окружавшие главную площадь, я увидел-таки одну женщину: она вешала на аристократическом балконе постельное белье, да еще под аркадой заметил спящего кота. Тишина миниатюрного города показалась мне оглушительной, и я подумал, как странно в наши дни быть единственным посетителем итальянского города. Поднялся по ступеням герцогского дворца — теперь он был городской ратушей, — но обнаружил, что здание закрыто на замок. Поджидая, пока кто-нибудь появится, я сел на террасе и постарался припомнить все, что мне было известно об этом месте и его строителе.

Звали его Веспасиано Гонзага, принадлежал он к младшей ветви семьи. Родился в 1531 году, в пятнадцатилетнем возрасте уехал учиться в Мадрид, ко двору короля Испании. Спустя годы, будучи командующим испанской армией, влюбился в Диану ди Кордона, женился на ней и вернулся с женой в Италию. Как выглядела в те дни Саббионета? Старинный замок, окруженный рвом с затхлой водой, да прилепившиеся к нему глинобитные домишки. Рассмотрев эту унылую картину, Веспасиано решил построить здесь идеальный город, место, где в тесном союзе могли бы жить художники и писатели, вместе с мудрым правителем. Итальянские принцы и до него строили и перестраивали

города, но ни одному из них не пришло в голову спроектировать новый город. Веспасиано разработал первые планы, но был отозван в Испанию. В качестве главнокомандующего ему пришлось побывать в разных частях Европы. По возвращении он обнаружил, что жена была ему неверна. Поступил Веспасиано, как настоящий итальянец: убил супругу и ее любовника. Существует легенда, ничем, кроме бешеного темперамента Веспасиано, не подтвержденная, что он запер несчастную женщину в комнате вместе с трупом любовника, а сам каждый день приходил к ней с чашей отравленного вина и говорил одно только слово: *bevi* — пей. К концу третьего дня Диана схватила чашу и осушила ее. Фактом является лишь то, что, описывая смерть жены родственнику, Веспасиано заметил: «Бог неожиданно призвал к себе мою жену, прежде чем она успела вымолвить хотя бы одно слово».

Он уехал в Испанию, чтобы забыть о трагедии, и встретил там донну Анну Арагонскую, на которой и женился. Анна была родственницей Филиппа II. У них родилась дочь, а затем и сын. Праздновать рождение сына они вернулись в Саббионету. Город за строительными лесами поднимался во всем своем витрувианском великолепии.<sup>[56]</sup> Увлечение античностью стало в те времена повсеместным. Устроили празднество, во время которого шуты, наряженные языческими жрецами, привели к главной площади города волов, обвитых гирляндами из виноградных лоз и мирта. Здесь животных принесли в жертву, а жители устроили пиршество. Прошло три года, и в семье Веспасиано случилась трагедия: жена впала в глубокую меланхолию и стала жить одна, отказываясь видеть мужа и двух маленьких детей. Примерно через год она умерла. Веспасиано снова вернулся в Испанию, где Филипп II назначил его наместником Наварры, а позднее и Валенсии. Здесь его страсть к строительству приняла

военную направленность и вдохновила на постройку в Картахене фортификационных сооружений и массивных бастионов, похожих на те, что в Саббионете, и которые до сих пор можно увидеть в Памплоне.

В сорок семь лет он вернулся в Саббионету. Город к тому времени был почти закончен, и крестьян из окрестностей заставили туда переселиться, что страшно им не нравилось: не интересовали их пилястры и архитравы, старины им хватало в обычаях и сказках. Каждый вечер вергилиевские телеги с впряженными в них волами въезжали, громя, в городские ворота, и мечта архитектора, казалось, стала явью. Судьба, однако, преподнесла еще одну трагедию. Сыну и наследнику Веспасиано было пятнадцать лет. Как-то раз отец упрекнул сына за то, что тот поприветствовал его без должного почтения. Луиджи нагрубил, и отец пнул его ногой в пах. Оба были верхом. Удар оказался таким сильным, что вызвал осложнение, в результате которого мальчик умер. Веспасиано старался заглушить горе работой и продолжал строительство. В городе появились новые здания. Веспасиано женился в третий раз, и судьба подарила ему недолгую передышку. Филипп II был весьма высокого мнения о Веспасиано и даже наградил его орденом Золотого руна. Последние годы Веспасиано прошли на лесах в беседах с архитекторами, художниками, печатниками и дизайнерами монет. В шестидесятилетнем возрасте ему сделали трепанацию черепа. Однажды, сидя в постели, он сказал: «Я излечился», после чего упал и умер.

Пока я размышлял о судьбе Веспасиано, по боковой улице шел старик. В ответ на мою просьбу он поднялся по ступеням и стал барабанить кулаком по двери ратуши. Вскоре послышались шаги. Казалось, то идет старый слон. Дверь чуть-чуть приоткрылась. В образовавшуюся щель я увидел еще одного старика в войлочных тапках. Сначала он смотрел на нас в

недоумении, а потом с удовольствием, словно престарелый слуга, потерявший было надежду дожидаться возвращения своего господина. Мы вошли и поднялись по изношенной мраморной лестнице, и я увидел опечалившую меня картину. Великолепный дворец Веспасиано, с его позолоченными потолками, тонкими перегородками и дверями из мореного дуба расчленен был на муниципальные конторы. Изображенные на медальонах аристократы смотрели на объявления с расценками за электричество и прочие услуги. В одном из залов стояли четыре отличные деревянные статуи, изготовленные в натуральную величину, частично окрашенные и позолоченные. Изображали они герцогов Саббионеты, в воинском облачении, на боевых конях. Вид у них был гордый, похоже, стрекот пишущих машинок они воспринимали как заслуженные аплодисменты своего народа. Когда-то таких всадников было здесь двадцать, сейчас же осталось лишь четыре: Лодовико II — это тот Гонзага, который изображен на фреске в супружеской комнате замка Мантуи; его сын, Джанфранческо, родоначальник ветви Саббионеты; Луиджи — он в свое время помог папе Клименту VII бежать во время нападения на Рим; и Веспасиано, строитель Саббионеты. На мой взгляд, четыре всадника великолепны, и сидят они на лошадях, которые не уступят коням всадника Коллеони в Венеции и Гаттамелате в Падуе. Эти превосходные жеребцы с поднятыми передними ногами находятся в ряду менее известных сокровищ Ломбардии. Один чиновник сообщил мне, что изваял их венецианский скульптор в стиле Лоренцо Брегно. Выглянув в окно, я заметил в герцогском саду в зарослях чертополоха и кустов неработающий фонтан с чашей в форме дыни. Старик грелся на солнышке, женщина вешала белье, собака копошилась в пыли. Вот и все, что осталось от

огороженного сада, где, подобно Гамлету, Веспасиано предавался грустным своим размышлениям.

Меня спросили, не хочу ли я увидеть театр Скамоцци, одну из интереснейших достопримечательностей Саббионеты. В сопровождении старика я пошел по городу. Тщательно спланированные улицы не давали глазу устать, и я представил, как Веспасиано говорит своим архитекторам: «Думаю, в конце улицы следует поставить церковь». На перекрестке улицы Веспасиано Гонзага и виа дель Театро, откуда можно выйти на центральную площадь, и стоял этот театр, названный так же, как и его прародитель в Виченце, — театр Олимпико. Мы раздобыли ключи и вошли в здание. Внутри шли строительные работы: реконструировали сцену и просцениум. Возле лесов — кирпичи, мешки с песком и цементом, зато великолепный маленький зрительный зал в полной неприкосновенности. Да, это настоящая жемчужина! Партер, рассчитанный на сто зрителей, пять полукруглых ярусов с жесткими деревянными скамейками. Двенадцать коринфских колонн, объединенных балюстрадой, повторяют изгиб зрительного зала и поддерживают антаблемент с двенадцатью богами и богинями. Стена за колоннами покрыта очаровательными фресками. В классических нишах — фигуры римских императоров, а над ними — терраса с придворными, одежду которых я бы отнес к эпохе Елизаветы или Якова I. Изображенная на фреске публика, включающая, как я заметил, и очень внимательную и критически настроенную собаку, снисходительно улыбаясь, смотрит на сцену вот уже три с половиной столетия.

Этот маленький театр — полная противоположность знаменитому театру Палладио.<sup>[57]</sup> Там наибольший интерес вызывает сцена с изумительной перспективой, а здесь — интереснее зрительный зал. Я задумался,

можно ли где-нибудь еще увидеть частный герцогский театр этой эпохи в таком же отличном состоянии? Мне показалось, что я совсем рядом с таинственной воображаемой публикой. И представил себе ее в парче, жемчугах, накрахмаленных воротниках... Все пришли вместе с герцогом в маленький театр, вот они смеются и болтают под коринфскими колоннами, притворяясь, будто не знают друг друга. Так и сейчас ведут себя жители маленьких гарнизонных городков. Старик ничего не знал об истории этого здания, хотя и смотрел здесь много лет назад спектакль незадолго до того, как обрушилась сцена. Мне мало что удалось узнать о театре, за исключением того, что он был последним даром Веспасиано своему городу. Как только Скамоцци закончил театр Олимпико в Виченце, он по просьбе герцога отправился в Саббионету и, начав здесь строительство в 1588 году, через два года его завершил.

Мой гид привел меня в другой герцогский дворец — палаццо дель Джардино. Находится он в нескольких минутах ходьбы от главной площади. Здесь в длинной галерее из красивого красного кирпича Веспасиано поместил свою коллекцию древнегреческих и древнеримских антиков. Стены с металлическими скобами для факелов до сих пор крепкие, как и большинство стен в Саббионете. Внутри дворец сильно пострадал, хотя потолки замечательные, сохранились сотни квадратных ярдов фресок с аллегорическими изображениями. Вот здесь Дафна превращается в дерево, а там Икар падает на землю, неподалеку Фаэтон, не справившись с конями Гелиоса, доказывает закон земного притяжения. А вот очаровательная маленькая зала, посвященная «Энеиде»: мы видим Лаокоона, Троянского коня, бегство троянцев и другие эпизоды. И во всем дворце ни звука, разве только стукнет дверь или захлопает крыльями птица, влетевшая в окно со сломанной рамой. Здание было

воздвигнуто в 1584 году — время, когда Елизавета Английская пробыла на троне уже двадцать шесть лет и была еще жива Мария Стюарт, Непобедимой армаде осталось до поражения четыре года, а о двадцатилетнем Шекспире никто еще не слышал. Такого элегантного и стильного здания Англии пришлось ждать еще пятьдесят лет: тогда Иниго Джонс построил банкетный зал Уайтхолльского дворца. В сельской местности Англии не видели ничего подобного до XVIII века, эпохи Берлингтона и Кента.

Мы пришли в церковь Коронации и увидели самое главное в Саббионете — гробницу ее строителя. Останки Веспасиано покоятся в саркофаге из мрамора в классической нише. Правая рука вытянута вперед, и, возможно, жест этот должен был выражать приказ, но ни у одного генерала не было, пожалуй, такого горестного выражения лица. Горестное лицо превращает его жест в выражение сочувствия, словно бы он облегчает страдания грешника. Тот, кто взглянет на этого несчастливого великодушного человека, почувствует: Веспасиано — жертва судьбы. Перед вами город, причиной появления которого стало горе его основателя. «Единственное мое развлечение, — сказал он однажды другу, — это возводить новые стены и давать жизнь чему-то неодушевленному, раз уж собственную душу оживить не удастся». Я, кажется, вижу, отчего эта мрачная поза, эта устало склоненная голова с жесткими кудрями кажется мне знакомой. Ну конечно, Байрон! Поразительно, что и поэт, насколько я знаю, не нашел другого человека, чья меланхолия совпадала бы с его собственным мироощущением.

Я попрощался со стариком, а в Мантую вернулся уже в сумерки. Проснулся среди ночи и все думал о Саббионете и странном ее основателе. Вспомнил его в темноте старого дворца, горделиво сидящего на коне и в то же время такого трогательного. Потом представлял

его в темной церкви отпускающим грехи заблудшим душам.

## 14

Воскресным утром я смотрел на ландшафт Вергилия, уходящий на север, к озеру Гарда. Не видно никого, кто орошал и придавал этому ландшафту форму, кто подрезал верхушки ив, кто рыл сточные каналы и сажал защитные лесополосы. Как в Линкольншире и Суффолке, слышал я церковные колокола, звон которых разносился по плоской равнине задолго до того, как я приезжал в город или деревню.

Вергилий говорит о «бракосочетании» вина и ильма. Возможно, кто-то не поймет, что он имел в виду, пока не увидит этот вроде бы нелепый союз в сельской Мантуе. Я жил в винодельческой стране, и у меня был собственный виноградник. Такую систему я нашел любопытной, даже практичной, но, конечно же, архаичной. Для ее осуществления надо через одинаковые промежутки высадить карликовые ильмы — вязы, а также другие деревья, которые не будут слишком много забирать питательных веществ из почвы и в то же время позволят винограднику обвить себя так, чтобы побеги можно было, словно гирлянды, вешать с одного дерева на другое. Картина получается веселая и живописная. Кажется, что это — обвешанные гирляндами пажы на каком-то празднике или турнире. Летом виноградники придают земле характерный и необычный вид. Странно, что этот древнеримский способ выращивания винограда пережил все изменения и заимствования, что произошли за многовековую историю Ломбардии. Возможно, все дело в том, что римские земледельцы оставались на своей земле и продолжали работать на винограднике, как делали это



до него во времена Вергилия. И несмотря на то что многие фермеры сейчас коммунисты, очень может быть, что Вергилий признает, что и сами они, и методы их хозяйствования остались теми же, какими были во времена Августа.

Когда я подъехал к маленькому городку Ровабелла, окруженному персиковыми и грушевыми садами, меня остановил полицейский. Увидев, что он мне улыбается и кланяется, я успокоился. Он показал на объявления, составленные на английском, французском и немецком языках. Они призывали всех иностранных путешественников остановиться и принять в дар корзину с персиками и наилучшими пожеланиями в связи с персиковой неделей города. На главной улице празднество было в полном разгаре: девушки подбегали к автомобилям с корзинами персиков. Ко мне тоже подошла красивая молодая женщина, очаровательно улыбнулась и подала мне корзину фруктов. Когда она узнала, что я англичанин, то попросила меня подождать. Она подошла к одному из фруктовых прилавков, установленных на перекрестке, и вернулась с девочкой лет десяти. Девочка сказала, что ее зовут Хейзел и что родом она из Лейтонстоуна. Оказалось, что она дочь английского солдата и итальянки, а лето проводит у дедушки с бабушкой. То, что Хейзел встретила человека, который знал Лейтонстоун и даже бывал там, восхитило эту веселую семью. В результате меня пригласили к бабушке Хейзел, а она представила меня шефу полиции, а тот, в свою очередь, — мэру, пригласившему меня в городскую ратушу.

Вокруг стола, заставленного стаканами, сидели садоводы и фермеры. Они пили вермут и «кампарисоду». Все они были потомками римских пастухов, огородников и пасечников и не слишком охотно, правда, без особых сожалений, расставались с молодостью. На них были темные костюмы, которые они надевали на

свадьбы, похороны и торжественную мессу по случаю Дня святых. В Паданской равнине деревня и город находятся рядом друг с другом, и разницы между жителями нет никакой, разве только у сельского населения загар погуще. Я подумал, как же отличается это застолье от других, таких как в Испании по случаю сбора винограда и оливок. Там показалось бы, что вы очутились в Средневековье.

Я разговорился с фермерами. Они вспоминали о трудностях прошедшей зимы, словно ветераны о войне. Один из них, повернувшись ко мне, объяснил, что те, кто приезжает в Италию летом, видимо такие люди, как я, не имеют понятия, что итальянцам приходится испытывать зимой. Я сочувственно внимал их рассказам: тут тебе и наводнения, и снег, и град величиной с куриное яйцо, заморозки в пору цветения персиков. О винограде они говорили, словно врачи, которым удалось вытащить больного с того света. Затем разговор пошел о болезнях растений, сельскохозяйственных вредителях и ядохимикатах. Я подумал, что эта мантуанская картина сильно отличается от сцен, описанных в «Георгиках» Вергилия. Похоже, те виноградники не знали филлоксеры, превращающей виноград в маленькие черные орехи. Да если бы только это! Сегодня растения подстерегают сотни опасностей. Трудно представить древнего земледельца, опрыскивающего посадки серным раствором. Судя по «Георгикам», природа в те времена настроена была более благосклонно. Коровы и пчелы ревностно относились к своему делу: надои росли, а меду было хоть залейся. Сельскохозяйственная жизнь казалась долгим счастливым праздником. Потому и странно было слышать истории потомков того виноградаря, жаловавшихся на бесконечную войну против мучнистой росы, грибка и насекомых.

Мэр повел меня к навесу, где упаковывали фрукты. Черноглазые, заносчивые на вид девушки с матерями,

старыми и сморщенными в сорок лет, и с бабушками деловито отбирали и паковали фрукты, которые затем грузили в железнодорожные рефрижераторы, предназначенные к отправке в Германию. Я попрощался с хозяином и отправился в Сирмиону.

Река Минчо пряталась среди ухоженных виноградников, И; только добравшись до Валеджо, я наконец-то увидел ее, причем такой, какой видел реку Мильтон — «гладко катящейся» и зеленоватой, как лед. Я перешел через реку по красивому старому мосту и набрел на восхитительную сцену. На берегу, под тенистыми липами, выставлены в ряд обеденные столы, скатерти, чтобы их не трепал ветер, прижаты камешками, взятыми с речного дна. Границы маленького ресторана красиво обозначены кадками с розами, гибискусом, олеандрами и гортензиями. На заднем плане стояло старинное здание, в котором, как можно было догадаться, несколько столетий назад с наступлением ночи замышлялись разные заговоры. В это же солнечное воскресенье «Локанда Минчо» — такое название носил этот трактир — был наполнен женским щебетанием и спорами. Из раскрытых дверей то и дело выбегали молодые женщины в черных платьях и передниках. В руках у них были дымящиеся тарелки. Картина напомнила мне бурную сессию некоего женского парламента. За столами, под липами, сидели чисто и прилично одетые люди — дети в воскресной одежде, девушки в красивых платьях, юноши в матросской форме. Пекинес вызывал улыбки умиления: он набрасывался на больших собак, и те пускались в бегство. Гул приближавшегося мотороллера то и дело возвещал о прибытии молодого человека и обнявшей его девушки на заднем сиденье. Я подумал о свободе, которую это изобретение дало молодым итальянцам. Они несутся на этих машинах галопом, словно на лошадях.

Я заказал жаренную на гриле форель. Пока ее готовили, я, сидя в тени, смотрел на Минчо, словно бы изнывавшую под жарким солнцем, на виноградники, что спускались по горным террасам на противоположном берегу. Время от времени так же плавно, как река, проходила в сторону Мантуи аккуратная электричка. К моему изумлению — ибо солнце Жарило во всю силу, а вода была, словно зеркало, — на противоположном берегу появился рыбак. Он начал забрасывать удочку, и не успел сделать это, как у него клюнуло, и он вытащил на берег форель весом в полфунта. Повторил он это действие шесть-семь раз в считанные минуты, словно бы ловил на мелководье макрель. Официантка сказала мне, что рыба называется каваццини и ее легко поймать на хлеб.

Я продолжил путешествие. Минчо, бывшая от меня слева, снова пропала в лесу, пока я не вышел к южной части озера Гарда. Тут я снова увидел реку: она покидала озеро и пускалась извилистым путем к Мантуе и По. Именно здесь, возле города Пескьера произошла одна из самых драматических и важных исторических встреч. В 452 году Аттила со своими гуннами стер с лица земли город Аквилею (многие из его обитателей бежали к лагунам и основали Венецию) и разбил лагерь на Минчо, замышляя поход на Рим. Панические настроения сорокадвухлетней давности, когда Аларих и готы разграбили город, повторились, и Льва I уговорили возглавить делегацию для переговоров с варварами. Король гуннов был высокомерным грубым дикарем, внешне весьма непривлекательным: маленького роста, широкоплечий, с плоским монгольским носом и тонким пучком волос на подбородке. Говорят, что ходил он по земле горделиво, словно чувствовал себя ее хозяином. Что сказал ему Лев, скорее всего, так и не будет известно, но «бич божий» отвернул от Рима. Еще одна загадка истории. Можно лишь предположить, что Лев

напомнил ему о судьбе Алариха: через несколько недель после нападения на Рим в 410 году он неожиданно при загадочных обстоятельствах скончался.

Я всегда представлял себе место этой знаменитой встречи в мрачном лесу, окруженном горами, а оказалось, что место это невиданной красоты. Чистая, светлая река, несущая свои воды из южной оконечности озера, прокладывает себе дорогу через горы и виноградники. Величественные австрийские Альпы, вздымающиеся к небесам могучие вершины. Рядом — Гарда, спокойное и голубое озеро. Таким, во всяком случае, увидел я его в тот безветренный летний день. В таком лесном раю не так-то просто было представить себе жилистых маленьких гуннов, приведших на водопой мохнатых пони, и величественную фигуру императора, приближающегося к шатру варвара в сопровождении римских эмиссаров, облаченных в белые одежды.

Сирмионе — узкая полоска земли, вдающаяся в озеро Гарда. На нее смотрят мертвые глаза великолепного средневекового замка, построенного Веронезе Скалигером. Летом узкий полуостров притягивает к себе все ветры, и в жару тут, должно быть, приятно, а вот зимой это место вряд ли годится для проживания. Сейчас я смотрел на него в жаркий воскресный день. В гостиницах и на пляжах было полно людей, молодые женщины в бикини и больших соломенных шляпах лежали или прогуливались по берегу и в тенистых сосновых лесах подле озера, и все это напомнило мне одну из аллегорических картин, типичную для эпохи Ренессанса.

Это спокойное летнее озеро было по душе и Катулле, а Теннисон видел в своем воображении «серебристые под солнцем, поросшие оливами берега» и слышал «звонкий женский смех». Вилла Катулла — огромная разнородная масса римской каменной кладки, с

обрушившимися арками, залами без крыш. Она смотрит на озеро, но вряд ли представляет собой то, чем хочет казаться, — вилла недостаточно старая. Традиция, однако, связывает поэта с этой частью озера. Может, и в самом деле он находился где-то поблизости на яхте, которую купил в Малой Азии и на которой совершил путешествие мимо островов Греции. Старый смотритель виллы Катулла пришел в негодование, когда я предположил, что эти Руины, должно быть, остались от большой римской водолечебницы. Для него, как и для всех местных жителей, это разрушенное здание было виллой Катулла, и предположить что-то иное означало страшную ересь.

Лодочник махнул мне, и я спустился с руин к камням возле кромки воды. Вытянув вперед коричневую руку, лодочник помог мне перебраться через борт. Я сел в приятную тень полосатого зонтика, а он включил подвесной мотор, и лодка, мерно попыхивая, пошла по озеру, а он рассказывал мне истории, которые, полагаю, известны были не одно столетие: и о затонувшем городе, который видно под водой, и о том, что Гарда не отдает своих мертвецов. Я обратил его внимание на спокойствие озера. Он пожал плечами и сказал, что мне стоило бы увидеть Гарда во время зимнего шторма, когда злой ветер со свистом несется через ущелья.

— «*Fluctibus et Fremitu...*»<sup>[58]</sup> — произнес я.

Он с легким недоумением взглянул на меня и тут же, со свойственным итальянцам желанием согласиться, сказал: «*Si, si*», — и покатал сигарету в коричневых пальцах.

## **Глава пятая. Эмилия-Романья: от Пармы до Болоньи**

***Виа Эмилия. — Парма и Мария Луиза. — Пармезан и пармская ветчина. — Этрусская печень Пьяченцы. — Где родился Верди. — Посещение деревенского дома композитора. — Архивы Эсте в Модене. — Мария Моденская. — Болонья. — Юридические школы Средневековья. — Студенты Ренессанса. — Женщины-профессора. — Стюарты в Болонье.***

### **1**

В нескольких милях к югу от Саббионеты, возле города Касалмаджоре река По делает широкую петлю с отмелями в коричневой воде. Перейдя по мосту на южный берег, мысленно попрощался с прекрасной Ломбардией. «Что ждет меня в Эмилии-Романье?» — подумал я.

По форме регион этот — между Ломбардией и Венето на севере и Тосканой на юге — напоминает длинный узкий клин. Имя свое он получил от консульской дороги, построенной почти за двести лет назад до новой эры Эмилием Лепидом. Дорога протянулась на сто пятьдесят миль — от Римини на Адриатике до Пьяченцы. Эта римская дорога — центр региона. Идет она совершенно прямо, без поворотов. Ну чем не современная автострада? За исключением Равенны и Феррары, все города провинции находятся вдоль Виа Эмилия. Болонья, первый университетский город Европы и гастрономическая столица Италии, является одновременно и столицей этой области. Есть и

семь других провинций: Феррара, Форли, Модена, Парма, Пьяченца, Равенна и Реджо-Эмилия. Три из них — Равенна, Форли и Имола образуют субрегион, известный как Романья, одно из самых интересных итальянских названий. Оно увековечило римлян византийского экзархата.

Эмилия-Романья представляет собой частично равнинную, частично горную область. Равнина — это южная долина реки По, а горы — северные отроги и вершины Апеннин. Как и в большинстве районов Северной Италии, в Эмилии-Романье может быть очень холодно зимой и страшно жарко летом. Фермеры привыкли сражаться с жарой и наводнениями. Я скоро понял, что люди они крепкие. Они легко переходят на местный диалект, так что итальянцы из других областей их не понимают.

История Эмилии-Романьи довольно запутанная. Сложилась область из нескольких соперничающих средневековых коммун, которые впоследствии сделались герцогствами. Некоторые из них сохранились до нынешних времен. Мне не терпелось увидеть Феррару: там столетиями правил род Эсте, но больше всего хотелось в Равенну, где отрекся от престола последний западный император. А разве не интересно увидеть Модену, давшую Англии королеву, и Парму, прославившуюся ветчиной и фиалками? Пока шел, думал: какое красивое название — Эмилия. Как же давно не слышал я о девушке по имени Эмилия, сокращенно — Эмили. Имя Эмилия сделал популярным Боккаччо, а Чосер изменил его на Эмили. Впрочем, начиная с прошлого столетия, оно вроде бы вышло из моды, а может, мне просто не повезло его встретить.

В Парме я появился уже в сумерки. Первые впечатления — запруженные улицы, большое количество мотороллеров и велосипедов, благородные силуэты башен на фоне заходящего солнца, отель на



речной набережной. Пока я знакомился с гостиничным номером и крошечной зеленой ванной, задуманной для лилипута, зазвонил телефон, и консьерж, в голосе которого я уловил почтительную нотку, сообщил, что в вестибюле меня ожидает доктор Борри. Я и не знал, что доктор Борри — житель Пармы. По профессии банкир, по склонностям — знаток искусства и гурман, он относится к тем постоянно занятым людям, которые тем не менее находят время председательствовать в многочисленных обществах и знать обо всем, что происходит в городе. Помножьте его на десять или двадцать тысяч, и вы начнете понимать борьбу между соперничающими областями средневековой Италии.

Я увидел маленького человека, исполненного энтузиазма и жизненных сил. Возраст — средний, не совсем определенный, однако он был молод, как и все энтузиасты. Исчерпав банальные темы разговора, он взглянул на часы и предложил вместе пообедать. Мы уселись в автомобиль с водителем, выехали из Пармы и на большой скорости двинулись по автостраде. Странное ощущение, когда в первые же минуты в незнакомом городе тебя куда-то увозят: все кажется похожим на сон, не успеваешь ничего рассмотреть.

Доктор Борри, вежливо вмешавшись в мои воспоминания о Ломбардии, обратил внимание на красоты собственного региона, который, по его убеждению, был самым лучшим в Италии. И я подумал: как трудно человеку понять Италию, если только у него нет чутья к региональным и даже районным различиям, которых на севере больше, да и обозначены они резче, чем в других местах. Стендаль хорошо в этом разбирался. По его мнению, различия приняли форму неослабевающей неприязни одного города к другому и недоверия к его жителям. Писал он это за добрые пятьдесят лет до политического объединения страны. Стендаль думал, что сильнее всего на Италию повлияла

вражда, унаследованная от средневековых распрей. Интересно, что бы он сказал, если бы увидел, как утихают эмоции и превращаются в местный патриотизм, такой как у доктора Борри.

Взглянув в окно, я увидел, что мы приближаемся к холму, светящемуся огнями. Дорога подняла нас на самое северное предгорье Лигурийских Апеннин. Миновав оживленный SPA — курорт Сальсомаджоре и обратив внимание на термы в духе рококо, мы проехали через сад и остановились возле здания, похожего на деревенский клуб. Саксофон, гудя, как опечаленная корова, наигрывал ностальгические мелодии ретро, а несколько пар в тесном объятии едва заметно переступали по затемненному полу.

Начали мы обед с пармской ветчины, которой здесь множество сортов. Местный эпикуреец вряд ли испытает удовольствие от купленной в Сохо пармской ветчины, хотя мне она всегда казалась восхитительной. Да и на столь популярную римскую ветчину, которую летом подают там с фигами или дыней, посмотрит с подозрением. Единственная ветчина, которая ему подходит, как мне сказали, должна быть приготовлена из свиней, что выкормлены в районе, считающемся столицей сырокопченой ветчины на берегах реки Пармы. После того как ветчину закоптят, ее должен проверить эксперт и нарезать на кусочки, тонкие, как папиросная бумага. Резать начинают с центра и подают с кружочком сбитого масла, но без хлеба. Приготовленную таким способом ветчину доставили нам на тележке, доказав тем самым еще раз огромную разницу между хорошим и лучшим. Затем последовало пармское блюдо с каппеллетти.<sup>[59]</sup> Его тоже подали со сливочным маслом. Запивали мы сухим игристым ламбруско, одним из прославленных вин провинции. На десерт подали персики с мороженым в бренди и кирше.

Доктор Борри спросил, какие ассоциации вызывает у меня слово «Парма». Я ответил: фиалки, ветчина, сыр, Корреджо, Стендаль и вторая жена Наполеона. И вспомнил, что в молодые годы каждый день слышал на Пиккадилли у фонтана «Эрос» возгласы «девушек»-цветочниц (некоторые из них были бабушками): «Пармские фиалки, пенни за пучок!» Сами цветочницы в вязаных шالях и соломенных шляпах, в свою очередь, тоже были неотъемлемой достопримечательностью Лондона. Но администрация прогнала их оттуда еще перед прошлой войной и освободила таким образом место для самой скучной толпы в Европе. Мой спутник особенно был доволен тем, что я упомянул Марию Луизу.

[\[60\]](#) Сказал, что духи из пармских фиалок до нее, то есть до 1815 года, изготавливали в домашних условиях, а она перевела все на промышленную основу. Пармских фиалок, однако, здесь уже больше не найдете, и туристы, ожидающие увидеть здесь поля, засаженные фиалками, очень бывают недовольны, хотя множество более дорогих и изысканных духов, чем те, что продают в Риме, изготавливают именно в Парме. Туристы также спрашивают и о шартрезе. Их интересует Чартерхаус из романа Стендаля — такой обители, конечно же, никогда не было.

История Пармы после эпохи Возрождения сравнительно проста. Павел III — выдающийся пример того, как власть вселяет силы даже в смертельно больного человека, — присоединил ее вместе с Пьяченцей к папским владениям. Территорию он сделал герцогством, управлять которым стал его жестокий сын, Пьерлуиджи Фарнезе. Широко известен портрет работы Тициана. На нем белобородый согбенный и слабый папа прислушивается к льстивым речам одного из своих внуков. Картина была написана за несколько лет до убийства Луиджи в Пьяченце. Неискренний молодой человек — сын Пьерлуиджи. Эта знаменитая семья

начала свое восхождение к власти благодаря любовнице Александра VI, красавице Джулии Фарнезе, статую которой можно увидеть в соборе Святого Петра. Власти приказали Бернини надеть на обнаженную статую металлическую рубашку, и она надета до сих пор, хотя ее можно бы и снять. Семья удерживала власть над Пармой до 1731 года, затем герцогство перешло Испании и Австрии, а после Ватерлоо — Марии Луизе.

На обратном пути мы разговаривали на исторические темы, и я понял, что Марией Луизой в Парме можно только восхищаться, говорить что-либо другое — верх бестактности. Они по-прежнему боготворят ее и вспоминают сотни ее добрых поступков. Пожалуй, ни в одном другом городе Италии не стали бы среди таких благодеяний упоминать то, что любимая их герцогиня отказалась продать знаменитую картину Корреджо Людовику XVIII за миллион франков.

Утром, выглянув из окна, я с некоторым удивлением увидел, что у набережной, которую я заметил накануне, нет реки. В русле, где лежали камни и росла крапива, я увидел древнюю фигуру, которая могла бы олицетворять Время. Она косила траву.

Парма останется в моей памяти городом, где живут приятные, веселые люди, причем это не только преуспевающие граждане, но и те, кто занят простым трудом, например торговцы, рабочие, что засаливают ветчину, выращивают свиней, держат коров, изготавливают сыры, не говоря уже о полицейских, церковных сторожах, официантах и музейных смотрителях. Огромные толпы любопытных туристов не замутили прозрачный источник итальянской доброты и вежливости.

Город живет напряженной трудовой жизнью, что и на меня подействовало стимулирующе. Вечером на площади Гарибальди в кафе заняты все столики, причем английскую речь я слышал очень редко, а что еще

удивительнее — и немецкую тоже. Красивый собор и великолепный баптистерий находятся не в центре города. С наступлением темноты они погружаются в таинственную средневековую тишину, что мне чрезвычайно нравится. И в самом деле, удаленные от центра улицы Пармы, такие оживленные днем, вечером словно бы переносятся в старинные времена, становятся местом для плаща и шпаги. Трансформация удивительная. Однажды вечером я обнаружил, что стою возле маленького книжного магазина, который едва узнал в скудном свете фонаря, а ведь днем я покупал здесь газеты.

Статуи у входа в средневековый собор были утрачены, и это придает крыльцу вид опустевшей на время сцены. Внутри, в соборе, Корреджо написал свое знаменитое «Успение Пресвятой Богородицы» и «Вознесение Пресвятой Девы». Я смотрел вверх, и мне казалось, я вижу огромный космический корабль с пассажирами, освободившимися от закона всемирного тяготения, но при этом не утратившими чувства собственного достоинства. Не всем современникам нравилась его работа, один из них даже сравнил картину с рагу из лягушек: так поразила его смелая перспектива. Но Тициан, однако, заметил: «Переверните купол и заполните его золотом, даже тогда вы не сможете в полной мере оценить картину».

По мнению Вазари, Корреджо не был оценен по достоинству, к тому же ему недоплачивали. Главной же несправедливостью в его жизни стала ранняя смерть. Подобно Рафаэлю, умер он в расцвете сил: ему было сорок, а Рафаэлю на три года меньше. Вазари рассказывает любопытную историю о смерти Корреджо. Он говорит, будто художник нес в родную деревню Корреджо (настоящее имя художника — Антонио Аллегри) тяжелый мешок с деньгами. За картину заплатили медными монетами, специально, чтобы

унизить художника. Корреджо надорвался, заболел и умер от осложнения — плеврита. Если бы даже дорога до его дома из Пармы шла, никуда не сворачивая, то идти до деревни надо было двадцать пять миль. Невозможно представить, чтобы кто-нибудь нес мешок с медными монетами всю эту дорогу: уж наверное, поменял бы их на более крупные деньги. Тем не менее такую историю трудно выдумать.

В проходе я увидел гробницу одного из самых изысканных печатников XVIII столетия и прочитал над ней эпитафию, написанную по-английски:

В знак признательности  
ДЖАМБАТТИСТУ Б ОДОНИ  
Печатники Соединенных Штатов Америки  
MCVLVI

Печатный станок Бодони знавали две английские книги, которые в свое время были чрезвычайно популярны, сейчас их читают только любопытные. Это — «Времена года» Томсона и «Замок Отранто» Хораса Уолпола. То, что напечатали поэмы Томсона, можно понять, так как эта книга появлялась во многих хороших изданиях, но для меня оставалось загадкой, отчего такой славы удостоился роман Уолпола, который можно было бы отнести к прародителю современных триллеров. А дело было так: в 1790 году жил в Лондоне человек по имени Джеймс Эдварде. Задолго до появления американского рынка он сделал себе состояние на продаже редких книг. Эдварде постоянно ездил по Европе, осматривал библиотеки и совершал покупки. Как-то раз он повстречал в Парме Бодони, и тут ему пришло в голову, что роман Уолпола — в то время бестселлер — можно издать в формате in quarto. Уолпол одобрил эту идею, и Эдварде подписал договор на издание трехсот экземпляров романа плюс пятьсот книг,

напечатанных на пергаменте. Книга вышла в Англии уже шестью тиражами, причем книги, напечатанные Додели, известны как мелкотиражное бумажное издание, в отличие от шестого пармского тиража, напечатанного Бодони в 1791 году. Когда Уолпол увидел сигнальные экземпляры, он нашел там столько опечаток, что публикацию пришлось отложить, пока Бодони не внес корректуру, но даже и тогда Уолпол заметил, что такая книга «не достойна того, чтобы ее продавали в Англии».

Заметив интерес, проявленный мною к баптистерию, сидевший возле собора старик сказал, что его крестили там семьдесят пять лет назад. Он был уверен, что это событие сделало его достойным человеком. Все считают, что баптистерий Пармы самый красивый в Северной Италии, хотя сам я предпочитаю тот, что поменьше, — в Бергамо. Как и все эти восьмиугольные башни, стоит он особняком, в нескольких шагах от собора. Построен в то время, когда Ричард Львиное Сердце был королем Англии и когда был еще жив Робин Гуд. При строительстве использован красный веронский мрамор. Башня отличается от других баптистериев тем, что у нее четыре галереи, одна над другой с восьми сторон, и величественные входные двери в романском стиле.

Из знаменитого трио, которое вы увидите по всей Италии, — собор, кампанила и баптистерий — только одно здание не используется сейчас по прямому назначению. Это — баптистерий. Обычно он закрыт на замок, а старика-сторожа с ключом чаще всего не бывает на месте. Если вам все же удастся войти внутрь, вы увидите огромную средневековую купель, которую не используют, так как полное погружение вышло из моды. Тем не менее там остались все реликвии средневековой Италии, а это весьма интересно.

Хотя литературы по крещению выпущено много, и число священнослужителей, написавших о купелях, не

поддается счету, но о купелях раннего Средневековья и процессе крещения в них мне книг не попадалось. Когда я увидел одну такую, то заинтересовался, когда же увидел две или три, изумился. С тех пор я начал думать об этих баптистериях как о таких же странных и уникальных сооружениях, что и круглые башни Ирландии. Повсюду, может быть за исключением Италии, начиная с IX века перестали строить отдельные баптистерии. Они либо объединялись со зданием церкви под одной крышей, либо вовсе исчезали. Наконец, купели стали устанавливать в церкви. А вот в средневековой Италии, во время большого перестроечного бума, такого явления не произошло: баптистерий остался таким же отдельно стоящим зданием, как и в IV веке. Там осуществлялось массовое крещение населения, полное погружение в купель, и время, в которое это мероприятие проводилось: в Пасху, Троицу и Крещение. Руководил процессом сам епископ. В пармском соборе есть фреска времен Джотто. На ней изображено одно из таких массовых крещений. Любопытная, надо сказать, сцена. Восемь обнаженных людей скорчились в одной из восьмиугольных купелей, а епископ брызгает на них сверху водой. За изготовление этой фрески заплатили пекари Пармы. Она рассказывает о различных эпизодах жизни святого Фабиана и святого Себастьяна.

Почему эти здания такие высокие? С какой целью построены наружные и внутренние галереи? Возможно ли, что люди специально собирались там, чтобы наблюдать обряд массового крещения?

Интерьер пармского баптистерия самый красивый из тех, что мне привелось увидеть. В здании много интересных резных работ романского стиля. Они изображают землепашцев за работой: севом, жатвой, объездом поля на лошадях в весеннее время. Есть и серия, где различные фигуры символизируют месяцы



года. Мне особенно понравился январь. Изображен он в виде сидящего возле очага крестьянина с двумя головами. Я подумал, что это замечательная идея: голова, повернутая назад, думает о зиме, а та, что смотрит вперед, — о весне.

## 2

Говорят, в селениях по обе стороны от Виа Эмилия пармезан делают вот уже двести лет. Как и все, что можно съесть или выпить в Италии, вкус его на родине лучше, чем где-либо еще. Если в Италии вам случится проголодаться, погрызите кусочек этого замечательного сыра, и вам станет легче. Элизабет Дэвид, чья книга «Итальянская кухня» стала классикой, объясняет, что слава пармезана связана с почти уникальным процессом его приготовления, в результате которого сыр не становится похожим на резину. Делают его по всей Эмилии-Романье и, как говорят шепотом, также и в Ломбардии. Естественно, Парма уверена: у них есть то самое «чуть-чуть», что — по сравнению с соседними городами — делает их сыр выше классом.

Я посетил фабрику в пригороде Пармы, где готовят знаменитый сыр. Меня представили человеку, который в тот момент стоял с деревянной лопаткой и размешивал в медном баке теплое молоко. Он рассказал, что лучший пармезан готовят из молока коров, что пасутся на свежей траве. Сено здесь не годится. Лучший продукт получается в сезон с первого апреля и до одиннадцатого ноября — Дня святого Мартина. Очень может быть, что святой Мартин, покровитель раскаявшихся пьяниц, влияет на молоко. С молока снимают сливки и отправляют их на фабрику. Там их сепарируют, отделяют творог, а сыворотку отдают свиньям, что опять же хорошо: из свинины делают пармскую ветчину.

Творог затем укладывают в большие круглые деревянные формы. Лишняя жидкость из него стекает, и в течение шести месяцев творог подсыхает. После этого его выставляют на солнце и выворачивают из формы. Покрывают черным консервантом, предотвращающим поступление воздуха. Теперь ничего не остается делать, как только ждать — по меньшей мере, два года, — пока сыр не созреет. Эксперты ходят вокруг него, постукивая по головкам молотками. По отзвуку и упругости отскока определяют, как идет процесс.

Идеальный пармезан — это не знакомый нам сыр, что водится на английских кухнях, дорогуший и твердый, как камень, а бледно-золотой, с плотной структурой, испещренной мелкими, почти булавочными, отверстиями.

Я подъехал к подножию Апеннин, к югу от Пармы, в маленький городок Лангирано. Располагается он в очаровательном месте, в невысоких горах, рядом с рекой. По пути заметил несколько строений, ставни которых были приоткрыты под определенным углом, так чтобы помещения могли вентилироваться в зависимости от направления ветра и положения солнца. В этих ангарах готовили ветчину.

Управляющий фабрикой, которого заранее известили о моем приезде, встретил меня и провел в гостиную. Там сидела его жена вместе с мальчиком лет пяти. Ему бы парочку крыльев — и вот тебе рафаэлевский херувим. Мне рассказали, что несколько дней назад он угодил в открытый люк и упал с высоты тридцать футов. Они помчались, думая поднять мертвое тело, но на нем и царапины не оказалось. Мать во время рассказа порывисто прижала к себе ребенка, отец подал бокал вина и сказал: «Это было чудо. Видимо, Мадонна была с ним в тот день». Предложенное вино оказалось мальвазией. Это белое вино изготовил священник из винограда, что растет на соседнем холме.

Когда пришли на фабрику, управляющий потянул на себя мощную дверь гигантского рефрижератора. Внутри находилось четверо мужчин. Выглядели они, как полярники. На них была ватная одежда и куртки с меховыми воротниками. Они втирали в ветчину соль с озера Сальсомаджоре. Брови у них заиндевели. Мужчины взглянули на нас, улыбнулись и дружелюбно покивали, а мы снова закрыли дверь. Хотя приготовление пармской ветчины дело непростое, со стороны кажется, что ничего сложного здесь нет. В ветчину втирают соль и оставляют ее при определенной температуре дозревать на год, а то и на два. Смертность среди рабочих высока, что и объясняет дороговизну ветчины, даже в Италии.

Путь мой теперь лежал в Торрекьяра, крохотную деревушку под горой, на вершине которой стоит замок. На расстоянии он похож на храм ацтеков. В трактире «Траттория аль Кастелло» мне дали огромную тарелку с отличной ветчиной, домашним хлебом — сладким, как и хлеб в Испании, — и сливочным сыром. Домашнее красное вино оказалось превосходным, и когда я спросил, откуда оно, мне показали на соседние горы. В трактире было много народу в рабочей одежде. Они пили разбавленное водой вино и поглощали горы спагетти. Я всегда считал, что в таких тавернах нужно рассказывать, чем ты занимаешься и что предполагаешь делать дальше. Обстановка сразу становится непринужденной.

Подъехав к замку Торрекьяра, я, к своему разочарованию, обнаружил, что дверь заперта. Хотел было повернуть назад, но из соседнего домика выбежала молодая девушка с ключами. Мы вошли в замок, по сравнению с которым крепость Коллеони в Мальпаге сразу померкла.

Комнаты в замке под стать дворцовым и украшены фресками, окна смотрели на горы, громоздившиеся одна

за другой до самого горизонта. Горные террасы тщательно возделаны: золотые, зеленые и зеленовато-коричневые полосы отделялись одна от другой виноградными шпалерами, лозы перекидывались от тополя к вязу или тутовому дереву. Двери самых красивых комнат выходили в крытые галереи. Замечательное место для летнего завтрака: отсюда можно смотреть на горы и дороги, то появляющиеся, то пропадающие в Долине. Огромные ренессансные каминные напеки на то, что зимы здесь холодные, но сейчас, когда солнце заглядывало в высокие окна и освещало покрытые фресками стены, думать хотелось не об этом, а о радости жизни в столь прекрасном месте. Я ходил из комнаты в комнату и смотрел вниз на вергилийский ландшафт, а потом спросил девушку, почему мужчины в трактире говорили, что это замок Бианки Пеллегрини. Вместо ответа она провела меня в зал и показала на стены. На фреске была представлена история красивой молодой женщины, которая путешествовала из замка в замок и, наконец, нашла своего суженого. А вот и Купидон, шаловливо вскарабкавшийся на пьедестал. Девушка рассказала, что в давние времена, когда семья Росси правила Пармой, владелец замка, Пьер Мария Росси, поехал в Милан, в гости к Висконти, и там молодая женщина из семьи Пеллегрини — звали ее Бианка, и была она женой Мельхиоре д'Арлуно — без памяти влюбилась в Росси. Хотя влюбленные женщины более любопытны, чем обычно, она — после того как он уехал — знала лишь, что у него есть замок неподалеку от Пармы. Решив, что жизнь без него бессмысленна, она переоделась в костюм пилигрима и пошла в Парму, переходя от одного замка к другому, пока не пришла в Торрекьяра. Вот эти фрески и рассказывают о счастливой встрече и о совместной жизни под трогательным и оптимистичным девизом — «Nunc et Semper» («Теперь и всегда»).

— А что потом? — спросил я. — Создали они семью?  
— Через много лет, — ответила девушка, — он вернулся к жене.

— А что случилось с Бианкой?

Девушка улыбнулась и слегка пожала плечами. Этот жест я расшифровал как женскую уверенность в непостоянстве мужчин и крестьянское смирение перед счастливыми и грустными моментами жизни.

### 3

О Парме у меня сохранились разнообразные и счастливые воспоминания. Например, магазин, заполненный пармскими фиалками. Они очень искусно были сделаны из пластмассы.

Запомнил я и бенедиктинского монаха: он показал мне монастырскую библиотеку XVI века. На стене сохранилась фреска, изображающая битву при Лепанто, [\[61\]](#) появившаяся здесь через год после сражения, и карты с именами, написанными на пармском диалекте.

Не забуду и живописный аптекарский магазин. Он впервые открылся в 1201 году и был единственной пармской аптекой до XVIII века. Сейчас это музей, и на его полках из орехового дерева стоят восхитительные голубые и белые банки с надписями, например «Bicarbonato di Sodio». [\[62\]](#) Никогда еще мир не видел такого красивого магазина, спокойной, достойной «библиотеки лекарств».

А еще — театр «Палладиум», построенный в 1618 году, спустя два года после кончины Шекспира. Он может вместить пять тысяч зрителей. Во время последней войны театр сильно пострадал от бомбежек, и я видел плотников, работавших над его восстановлением. Классический просцениум развалился, и несколько богов и богинь валялись в углу, словно

жертвы воздушного налета. Я был немало удивлен, когда увидел, что одно божество, которое, как я предполагал, было сделано из мрамора, на самом деле изготовлено было из гипса, а внутри набито соломой. В этом театре, как мне сказали, впервые была установлена вращающаяся сцена.

А теперь — о памятных местах, связанных с Марией Луизой. Ходить по художественной галерее с одним из ее страстных поклонников было для меня испытанием. Мой гид считал, что она была для них не только рогом изобилия, изливающим поток сиротских приютов, мостов, дорог и родильных домов, но и являлась совершенным человеком. Я не мог высказать ему своего предположения о том, что она была равнодушной женщиной, к тому же не слишком умной, что чувствовала она себя уверенно, только когда рядом с ней был сильный мужчина. В галерее были два ее изображения, которые ясно это доказывали. Один из них — красивая статуя, выполненная Кановой, которая была сделана еще в бытность Марии Луизы императрицей. Она изображена здесь в классической одежде, как дочь Цезаря. Такою ее представлял Наполеон. Другая работа — портрет, показывающий, какой она была на самом деле. Тут она уже — герцогиня Пармы: сонные глаза, габсбургская нижняя губа, овечье выражение лица.

— Как она красива! — воскликнул мой спутник. — Какая царственная внешность!

Я подумал: «Выиграй Наполеон битву при Ватерлоо и утвердись на троне, он неизбежно разглядел бы суть этой женщины». Когда после поражения он в одиночестве жил на Эльбе, писал жалобные письма, умоляя к нему приехать, у нее — как же мало он знал ее — был в это время роман с одноглазым графом фон Нейппергом, которого она сделала своим советником. Граф-то и управлял герцогством, причем делал это хорошо. Те заслуги, которые жители Пармы

приписывают Марии Луизе, следовало бы отнести к Нейппергу. Я видел его гробницу в церкви Мадонны Стекката в Парме и памятник: красивый гусар с повязкой на глазу. Граф потерял глаз в результате сабельного удара, когда служил в молодые годы в австрийской армии. Он являет собой хороший пример исправившегося распутника. Свою связь с Марией Луизой он начал как циничный соблазнитель, а впоследствии сделался достойным премьер-министром. Умер граф в возрасте пятидесяти четырех лет, в нищете. После его смерти обнаружили лишь картонную коробку с засунутыми в нее в беспорядке орденами высшего достоинства.

Глядя на спокойное, пустое лицо Марии Луизы, я понимал, как отчаянно нуждалась она в муже-отце. В то время как Наполеон, умирая на острове Святой Елены, распорядился, чтобы сердце его привезли к ней, герцогиня готовилась подарить своему любовнику второго ребенка.

Я согласился посмотреть на дворец в Колорно, примерно в десяти милях от города. Мария Луиза выезжала туда летом вместе с придворными. Он представлял собой длинное, низкое трехэтажное здание размером приблизительно с Букингемский дворец. Стоит дворец на участке, поросшем травой. Стендаль — очевидно, не подумав, — назвал его как-то «Версалем королевы Пармы». Впрочем, он-то видел дворец, когда в нем кипела жизнь. Я же видел мертвое здание, и даже хуже — передо мной был сумасшедший дом. В сельской местности у старых дворцов нет никакой надежды выжить, в городе у них есть хотя бы шанс стать ратушей. Незанавешенные окна безнадежно уставились на заросшую травой подъездную дорогу. По ней никогда уже не пойдут старинные ландо. Я решил, что с архитектурной точки зрения дворец весьма привлекателен. Он напомнил мне лучшие дома в

георгианском стиле, которые есть у нас в Англии. Казалось невероятным, что менее ста лет назад на каждом окне висели занавески; в конюшнях стояли лошади и экипажи; по лестницам бегали служанки с наполненными горячей водой кувшинами и чашками с шоколадом; секретари планировали званые обеды; фонтаны пускали вверх серебряные струи, а в одной из комнат с высокими потолками — там, где без дела сидят сейчас сумасшедшие, — склонялась над своим рукоделием герцогиня Пармы.

Стоящее рядом здание отведено вещам, некогда принадлежавшим Марии Луизе, — ее дневникам, рукоделиям, маленьким рисункам и акварелям, которые Наполеон в пору своего ослепления считал блестящими.

#### 4

В Парме, во время ланча, ученые мужи обсуждали вопросы, связанные с предсказаниями судьбы и прорицаниями в широком смысле. Один из них — думаю, это был доктор Борри — заметил, что средневековому правителю астролог был так же необходим, как ученый современному государству. Из присутствующих кто-то пошутил насчет римского колледжа авгуров, но куратор музея сухо возразил шутнику: выкармливание священных птиц не казалось ему смешнее других верований, которые человек облачил в покровы таинственности.

— А вы побывали в Пьяченце, видели *fegato*? — обратились ко мне с вопросом. Тот, кто когда-либо держал в руках меню итальянского ресторана, знает, что *fegato* — это печень, и, погруженный в гастрономическую атмосферу, я не сразу сообразил, что печень, о которой зашла речь, — это знаменитая этрусская бронзовая печень.



Я подумал, что мне следует увидеть уникальный объект, и ранним солнечным утром поехал в Пьяченцу. Пьяченца находится в тридцати пяти милях к западу от Пармы. Виа Эмилия — прямая римская дорога — проходит по местности, плоской, как в Голландии. Пьяченца является западной ее оконечностью.

Когда я приехал, мысли о бронзовой печени тут же меня оставили, настолько поразила красота города. Утреннее солнце освещало дворец, построенный из светло-красного кирпича. Напротив здания четко выделялись на фоне арок две великолепные зеленые, словно монеты, несколько столетий пролежавшие в земле, конные статуи. Эти всадники — герцоги Фарнезе — скакали на гордых конях. Казалось, они преодолевают сильный ветер, что налетел на барочный мир. Впечатление потрясающее, и я подумал, что ни Ломбардия, ни Эмилия ничего более прекрасного продемонстрировать не могут. Всадник, что по левую руку, — Алессандро Фарнезе. Практически он был испанцем, и вряд ли вообще знал Пьяченцу. Вся его жизнь прошла в Голландии, там он сражался как один из офицеров Филиппа II. Именно он готовил в Нидерландах суда для нападения Армады на Англию. Алессандро сражался при Лепанто, а когда его дядя, бедный дон Хуан Австрийский<sup>[63]</sup> умер во Фламандии, стал главным распорядителем похоронной процессии. Всю свою жизнь он служил жестокому монарху; больной и израненный, Алессандро продолжал тянуть лямку, пока не умер в Аррасе. Наградой ему стала величественная панихида в Брюсселе, но тело его привезли домой в Пьяченцу, где и похоронили.

Местоположение города замечательное: По, устремляясь на север, делает здесь широкую и величавую дугу. Обходя церкви, я подумал, что люди в Пьяченце верят в старое высказывание: видеть — значит верить, ибо нигде я не встречал так много святых

мощей, выставленных в стеклянных гробах. В склепе собора обнаружил кости святой Юстины, перевязанные красной ленточкой. Мощи святого Антония в церкви, носящей его имя, можно увидеть в подсвеченном гробу, под высоким алтарем, аккуратно уложенные в римскую погребальную урну. Останки святой Риты находятся в церкви святой Марии ди Кампания. На узких улицах можно встретить старые дворцы с окнами, наглухо закрытыми ставнями. Выглядят они невероятно мрачно, словно какой-то астролог, выживший со времен Ренессанса, до сих пор занят там своей таинственной работой, а может быть, там закрылся алхимик с ретортами и чучелом крокодила. Мне показали дворец, из окон которого выкинули на улицу тело убитого ненавистного Пьерлуиджи Фарнезе.

В конце концов, я увидел печень Пьяченцы. Оказалась она значительно меньше, чем я предполагал. Это начищенная до блеска бронзовая модель бараньей печени. Она покрыта загадочными этрусскими надписями, и выглядят они так, словно слепой человек тупым ногтем пытался нацарапать какую-то абракадабру. Не знаю, была ли бронзовая печень моделью, с помощью которой начинающих авгуров учили предсказывать по настоящей печени, или это было просто приношение в храм в качестве образца чьей-то необычайно информативной печени. Для меня эта модель стала доказательством технической сложности науки прорицания.

Когда читаешь дома в мягком кресле о жизни святого Колумбы, может показаться, что посещение в Апеннинах далекой цитадели Боббио — подарок Теоделинды и Агилульфа, — мероприятие, сопряженное со значительными трудностями. Ничуть не бывало! Из Пьяченцы я проехал тридцать миль до старинной горной обители. Оказалось, что там даже есть гостиница. В усыпальнице маленькой современной церкви стоит

саркофаг, в котором, как уверяют, находятся останки ирландца. Как и все кельтские святые, он был добр, но вспыльчив и опять же, как кельтские святые, на многие столетия опередил святого Франциска в способности общаться с животным миром. Говорят, птицы слетались к нему и ждали, когда он их погладит, а белки уютно устраивались в складках его сутаны. Такую же любовь к животным выказывали многие ирландские святые, включая, конечно же, всеми любимого Колумбу, память о котором в Ирландии так же драгоценна, как и о святом Патрике. Когда Колумба почувствовал приближение смерти, он пошел попрощаться со старой лошадью, и, когда она потерлась об него головой, он ее благословил.

Когда Колумба явился в Боббио, был он уже немолод. Основав во время странствий по Европе большое количество монастырей, святой столкнулся с ужасной женщиной, Брунгильдой, которая, ради удержания власти в своих руках, сделалась сводницей собственного внука, короля Теодориха, и устроила для него обширный гарем. Святой разгневался и перебрался через Альпы. Добрая королева Теоделинда и ее муж подружились со святым в последние годы его жизни и отдали ему в распоряжение одну из своих уединенных гор.

Сокровища Боббио обогатили библиотеки Италии: ведь Колумба, как и другие образованные ирландцы той поры, был сведущ в классических науках и мог читать великие произведения на греческом и древнееврейском языках. Среди самых замечательных находок в Боббио — единственная из известных на сегодняшний день рукопись Цицерона «De Republica». Она несколько столетий пылилась в библиотеке Ватикана, пока кардинал Май не обратил однажды на нее внимание.

Примерно на полпути между Пьяченцей и Пармой сверните с Виа Эмилия на второстепенную дорогу и не пропустите деревушку Ле Ронколе, ведь здесь родился Верди. На обратной дороге в Парму и я решил туда заглянуть. В пути думал о художниках и деньгах. Похоже, что Верди заработал денег больше, чем любой другой музыкант, причем его увлекал и сам процесс накопления. Расхожее мнение о том, что гений выше земных забот, не всегда подтверждается фактами. Многие великие художники знали в деньгах толк. Леонардо да Винчи как-то раз попенял в письме герцогу Милана, напомнив, что заработок ему не выплачивался в течение двух лет. «Как бы ни рад я был создать шедевр и оставить его потомкам, — писал он, — но ведь я и на жизнь должен себе заработать». Проблема эта всегда встает перед гением: ни один мясник или бакалейщик не откажется выписать счет только потому, что клиент его — художник.

Леонардо, как и некоторые другие художники и архитекторы эпохи Возрождения, способен был скопить деньги и приобрести собственность. Когда ему было пятьдесят, он открыл в банке Флоренции счет на шестьсот золотых флоринов, а умер он придворным художником Франциска I в комфортабельной обстановке замка возле Амбуаза. К тому времени у него было четыреста дукатов во Флоренции, виноградники возле Милана и деньги во Франции, которые он оставил друзьям, слугам и на благотворительные нужды. Рафаэль тоже был сравнительно состоятельным человеком, когда умер в возрасте тридцати семи лет. Он купил себе дворец за три тысячи шестьсот дукатов. За исполнение обязанностей инспектора, отвечающего за реставрацию собора Святого Петра, он получал триста дукатов в год, а за каждую фреску на лоджии ему платили тысячу двести скудо. Его состояние, как говорят, оценили в шестнадцать тысяч золотых дукатов,

из которых шестьсот было вложено в собственность. Еще одним гением, сумевшим скопить деньги, был Микеланджело. Он умер в восемьдесят три года, и в его неопрятной холостяцкой квартире в шкафу орехового дерева обнаружили восемь тысяч сто девяносто золотых дукатов, а около двухсот скудо небрежно были завернуты в носовые платки или брошены в кувшины и горшки. Челлини, как и Шекспир, тоже был способен позаботиться о своем материальном благополучии.

Перед заработками Верди, однако, все это меркнет. Он оставил после себя 282 000 лир, что можно приравнять к современному состоянию в полмиллиона лир. Как-то раз он написал о Лондоне: «О, если бы я мог остаться здесь года на два и увезти отсюда мешок, полный благословенных денег!» В зените своей карьеры, когда хедив заключил с ним контракт на написание оперы, приуроченной к открытию Суэцкого канала, Верди, прежде чем написать первую ноту «Аиды», запросил аванс в 30 000 лир. Быть может, такой подход шокирует романтично настроенных людей, полагающих, что художник должен быть безразличен к собственному благосостоянию и к благосостоянию зависимых от него людей, зато других такое поведение порадует. Эти люди восхищаются гением, умеющим постоять за себя в жестком мире.

Я выехал на спокойные деревенские дороги. Небо отражалось в ирригационных каналах, а листья тополей блестели, словно серебряные монеты. Каждый дюйм земли был обработан, и нельзя было пройти и десяти ярдов, чтобы кого-нибудь не встретить. Маленькие деревушки были такими же густонаселенными, как и в Англии. Приехав в Ле Ронколе, я увидел в палисаднике перед домом бронзовый бюст бородатого мужчины в отложном воротнике с аккуратно завязанной бронзовой бабочкой. Это, конечно же, был Верди, а позади — его родной дом, маленький, с низко нахлобученной крышей.

Выражение лица композитора было суровым. Из сада он яростно глядел на почитателей своего таланта. Так, должно быть, он смотрел в свое время на равнодушных теноров Ла Скала. В лице его нет ни капли одухотворенности. Верди можно было бы принять за солдата Рисорджименто, политика или патриота вроде Кавура или Мадзини, а то и за известного инженера.

Когда он родился, каменный дом был местной лавкой, где продавали вино и продукты. Теперь это — национальный памятник. Смотрительница сняла передник и повела меня вверх по деревянной лестнице. В комнате под голыми балками и родился самый любимый композитор Италии. Затем женщина отвела меня в деревенскую церковь Святого Михаила и, указав на позолоченный барочный орган, сказала, что именно на этом инструменте Верди играл, когда ему было одиннадцать лет. Из Ле Ронколе Верди отправился в Милан Учиться музыке. Там ему пришлось встретиться с нуждой и горем. Он женился, и у него родилось двое детей. Четыре года спустя оба ребенка умерли, а за ними последовала в могилу и их мать. Ситуация, которую Фрэнсис Той, биограф Верди, назвал «совершенно оперной, так все здесь доведено до крайности». Верди, словно в подтверждение высказывания, работал в это время над комической оперой. Главной женщиной в жизни Верди была не его рано ушедшая жена, а певица Джузеппина Стреппони, знавшая музыкальный мир изнутри. Она была рядом с Верди в самые черные его дни. Ни одному композитору не повезло так с подругой жизни. Джузеппина была женщиной исключительного здравого смысла. К тому моменту она закончила свою карьеру примадонны, и никаких амбиций у нее не было. Когда оперы Верди стали знамениты, она ни разу не захотела вернуться на сцену, а спокойно занималась домом и мужем. «В конце концов, не каждый может написать „Аиду“, — сказала

она однажды подруге. — Кто-то должен упаковывать и распаковывать чемоданы и составлять список белья для прачечной». Верди жил с этой здравомыслящей женщиной двенадцать лет, а потом неожиданно официально на ней женился. Это было идеальное партнерство. Она нежно любила своего вспыльчивого, жесткого и трудолюбивого мужа. Однажды она ему написала: «То, из-за чего мир снимает перед тобой шляпу, меня совершенно не трогает. Думаю, ты согласишься со мной, я порой удивляюсь, что ты разбираешься в музыке... Главное, что меня в тебе восхищает, это — твой характер, твое сердце, твое неприятие ошибок других при таком же суровом отношении к самому себе».

В трех милях от Ле Ронколе находится поместье Санта Агата. Верди приобрел его в 1848 году, когда ему заплатили гонорары за ранние оперы. Здесь он сделался местным сквайром, жил со своей Джузеппиной, сочинил «Риголетто», «Трубадура», «Травиату», «Аиду» и «Отелло». Через сорок девять лет счастливой совместной жизни Джузеппина скончалась, оставив его печальным, молчаливым и потерянным стариком.

Дом окружен высокой стеной. Здесь живут потомки Верди. У Джузеппины не было детей, и поместье перешло племяннице, Марии Верди Каррара. По дому меня провела ее правнучка. Поместье по внешнему виду похоже на английское, а может быть, таким его делает сад, разбитый в английском стиле, популярном в сороковых годах XIX века, — извилистые тропинки, кусты, камни, озеро, кольцо деревьев. Все это напоминает дом священника из Норфолка времен королевы Виктории. Я почувствовал в нем что-то почти мрачное. Быть может, такое впечатление произвели на меня темные, переросшие кусты и огромные магнолии, которые сто двадцать лет назад Верди высадил для Джузеппины. Очевидно, что в саду, устроенном в раннем

викторианском стиле, ничего не изменилось с тех самых пор, как Верди его задумал: семья бережно сохраняет его первоначальный облик. Это я заметил с первого взгляда. Мне рассказали, что композитор вставал рано утром и обходил свои владения: инспектировал виноградники и поля со злаками. На своей визитной карточке он написал род занятий — землевладелец.

— Каждый вечер он ходил по саду, — сказал мой гид, — и если находил какой-то беспорядок, штрафовал нерадивого садовника. Деньги откладывал, а в конце года отдавал больному параличом. В результате все у него шло, как надо. Старый садовник умер в 1956 году. Ему было далеко за девяносто.

— А каким человеком был Верди?

— Он был серьезным и молчаливым, но очень славным, хотя и пугал людей своей манерой держаться: ворчал и вид имел недовольный, но душа у него была очень нежная. Только он не хотел, чтобы кто-нибудь об этом догадывался.

Мы пошли по дорожке, которая привела нас к могиле мальтийского терьера. Я прочел надпись: «Alla Metogia di un vero amico» («В память о верном друге»).

— Он души не чаял в своих собаках, — заметил его потомок. — Ну, а теперь вы должны осмотреть дом.

Сад, должно быть, подготовил меня к еще более поразительному зрелищу: в загородном доме периода 1850–1900 гг. сохранилось все, как было при Верди, умершем пятьдесят лет назад. Почтение к памяти композитора, сохранившее сад, в полной мере проявило себя и в доме. Семья запретила себе что-либо переставлять и тем более убирать и теперь жила в сохраняемом ими музее. Я зачарованно смотрел на тяжелые плюшевые занавески, мебель из красного дерева, писанные маслом картины в золоченых рамах, висевшие там же, где когда-то повесил их Верди.



Умер Верди, как я уже упоминал, в миланском отеле, и так глубоко было национальное горе, что каждый предмет в его комнате на момент смерти отправлен был в Санта Агату, и расставили все так, как это было в январский день 1901 года. Старый человек, одеваясь, нагнулся, чтобы поднять упавшую запонку. Обнаружили его лишь некоторое время спустя. Он не в состоянии был двигаться и говорить.

Спальня Верди показалась мне более интересной. В ней я увидел рояль, письменный стол, том Шекспира, ружье с патронами — говорят, он был отличный стрелок — и белые лайковые перчатки. В них он дирижировал оркестром, исполнявшим его реквием на смерть Мандзони. На шкафу — шляпная коробка из кожи с приклеенным на ней ярлыком «Гранд отель, Милан».

Мне сказали, что, сочиняя музыку, он никогда не садился за фортепьяно, а сразу записывал пришедшую ему в голову мелодию. Тем не менее в доме есть четыре пианино. Когда Верди хотел настроить какой-то инструмент, он отсылал его в Париж.

Комната, в которой умерла Джузеппина, тоже осталась такой, какой была в день ее смерти в 1897 году. В другой комнате мне показали чучело ее любимого зеленого амазонского попугая — Лориту. Птица смотрела на нас из-под стеклянного колпака. Пронзительные крики попугая так сильно раздражали Верди, что однажды он замыслил его отравить. Друг поехал по его просьбе в город и вернулся с ядом, но Верди к тому времени успел сменить гнев на милость. «Никогда больше не упоминай об этом, — прошептал он. — Скажи мне только, сколько я тебе должен за яд, и позабудь обо всем!»

Из всех опер Верди я предпочитаю «Аиду», возможно, это каким-то образом связано с моей молодостью. Я всегда верил истории, впервые рассказанной мне в Египте много лет назад, будто

композитор ездил по всему Нилу и слушал арабские мелодии, которые потом искусно ввел в увертюру к третьему акту, когда жрицы храма Исида танцуют при лунном свете у могилы любовников. А в Санта Агате я узнал, что все было не так. Верди не любил моря, а потому и никогда не бывал в Египте. «Аиду», до последней ноты, он написал на своей вилле. Странно себе представить, когда смотришь на эту довольно душную, заполненную коврами обстановку землевладельца XIX века, что мелодии Верди, вышедшие, казалось, из воздуха, родились в мозгу бородатого мужчины, в доме, из окон которого виднелись еще невысокие тогда магнолии и другие кустарники.

Слава к Верди пришла не только потому, что он писал мелодичные оперы. Имелась и политическая причина, о которой сейчас забыли: он был мастером музыкального подтекста. Стендаль, писавший об Италии эпохи Верди, сказал как-то, что музыка для итальянцев, которыми поочередно управляли французы и австрийцы, была сферой, где они одерживали победу. Музыка оставалась для них единственной возможностью выразить себя политически. Постепенно сопротивление усиливалось, что привело к Рисорджименто и политическому объединению Италии. В музыке Верди патриоты слышали призыв к наступлению. Становилось это настолько очевидным, что на оперные премьеры Верди непременно приходила австрийская полиция. Политический подтекст, по-видимому, был чрезвычайно мощным.

На премьере «Макбета» флорентийская публика вышла из-под контроля, услышав арию Макдуфа «*La patria tradita*» («Родину предали»). Пришлось вызвать в театр полицию.

То же самое произошло и в Венеции. Хор в «Эрнани» начал свое пение словами: «Пусть Кастилии лев снова

проснется!», что было интерпретировано публикой как намек на геральдического льва святого Марка. Во время представления «Эрнани» в Риме один итальянский жандарм повел себя весьма экстравагантно. Т. Р. Ибарра пишет в своей книге о Верди: «Он перекинул одну ногу через балюстраду балкона, на котором сидел, и проревел: „Да здравствует Пий IX!“ Затем он сбросил красивую каску в партер, а за каской последовали мундир и жилет, после чего швырнул незачехленную шпагу в сторону сцены, и она вонзилась в деревянную обшивку позади рампы. Поступок вызвал неудовольствие стоявших рядом певцов и музыкантов. Затем, балансируя на перилах, он принялся снимать остальные предметы своей одежды и почти преуспел в этом, когда его схватили другие жандармы и вывели из театра». Трудно сказать, чего в этом поступке было больше — политики или увлечения музыкой. Во всяком случае, Верди стал голосом политического андеграунда, и совершенно естественно во времена Рисорджименто звучал призыв «Вива Верди!», он стал своеобразным паролем.

Когда я шел к воротам, то услышал, как кто-то за стеной насвистывает мелодию. Я улыбнулся, узнав «Сердце красавицы» из «Риголетто».

— Вы знаете ее историю? — спросил мой гид.

— Нет, знаю лишь, что это — самая популярная оперная ария.

— Так оно и есть, и Верди знал заранее, что так оно и будет. Оперу ставили в Венеции, и Верди понимал, что стоит «Сердце красавицы» исполнить во время репетиций, и вся Венеция запоет ее еще перед премьерой. Тенор поклялся никогда ее не исполнять, и когда он впервые спел ее на генеральной репетиции, вся труппа зааплодировала. Так был сохранен секрет. Верди оказался прав. На следующий день каждый гондольер пел ее и поет до сих пор!

Модена находится примерно в тридцати милях к востоку от Пармы, по Виа Эмилия. Здесь родилась Мария Моденская, благородная и несчастная жена Якова II. Черные глаза и волосы передала она своему сыну, «черному дрозду» из якобинской песни, Джеймсу Фрэнсису Эдварду Стюарту.

В Модене делают гоночные автомобили — «Феррари» и «Мазерати», хотя, оказавшись здесь, вы никогда бы об этом не догадались: старый город кажется совершенно нетронутым промышленностью. Когда я сюда приехал, здесь шла распродажа скота, и продвинуться на машине казалось совершенно невозможным, пока полицейский не пришел мне на помощь и дал возможность проехать по узким улицам, запруженным телегами и фермерами с их коровами и свиньями, особенно свиньями. Интересно было наблюдать, как эти люди, одетые в лучшие воскресные костюмы (что свойственно всем фермерам), сидят за столами и, попивая местное красное вино, вступают друг с другом в отчаянные финансовые схватки. Вели они себя при этом совершенно безупречно. Пьянство считается бесчестьем, и это самая замечательная черта в латинском характере, свойственная как итальянцам, так и испанцам.

Я взял с собой в машину приятеля из Пармы. У него была назначена деловая встреча в Модене. Когда я, наконец, нашел место для парковки возле собора, он сказал:

— У меня есть время, чтобы показать тебе самую странную вещь в Модене.

— Что же это?

— Самое знаменитое ведро в Италии.

Возле красивого собора стоит кампанила из красного кирпича, она имеет отдаленное сходство с Башней Хиральда в Севилье. Здешние сефарды<sup>[64]</sup> ее так и зовут. Мы подошли к кампаниле, поднялись на

несколько ступеней, когда приятель с изумлением поднял глаза.

— Его здесь нет! — воскликнул он. — Что случилось? Мы отыскиали смотрителя, и он сказал нам, что *secchia rapita* — это можно перевести как «похищенное ведро» — недавно было украдено студентами университета Болоньи и только сейчас возвращено студентами Модены. Его пока еще не подвесили на обычное место в башне, но если мы пойдем с настоятелем, он нам его покажет. Он открыл комнату и протянул деревянное ведро, окованное металлическими обручами. Мне сказали, что это ведро — военный трофей: во время сражения 1325 года его захватили в Болонье воины Модены. Вот уже более шести столетий ведро то возвращается домой, в Болонью, то снова занимает свое место в башне Модены.

— Мы, итальянцы, все такие! — засмеялся приятель. — Поедешь в Перуджу, обрати внимание на цепи Сиены, висящие на стене Палаццо Комунале.

Мы договорились встретиться за ланчем, и он неторопливо зашагал прочь, опаздывая всего лишь на час к назначенному ему времени, а я пошел в собор, интерьер которого оказался чрезвычайно похож на норманнские соборы в Англии. Большое помещение, с массивными круглыми арками, мощными пилонами и трифорием. Построен он из кирпича и плит, добытых из руин римской Модены — тогда этот город носил название Мутина. Алтарь высокий, под ним сводчатый склеп, где лежат кости святого Джиминьяно, современника святого Амвросия. Он был знаменитым хилером, однажды ездил в Константинополь изгонять бесов из греческой принцессы.

Очаровательный город с узкими улицами и живописными аркадами был когда-то пересечен каналами, в настоящее время засыпанными, однако названия, такие как проспект Канал Гранде,

напоминают и сейчас об этом. Был канал и напротив здания XVII века в стиле барокко, герцогского дворца, который построили, когда династия Эсте, изгнанная из своей древней столицы Феррары, мигрировала в Модену. В этом здании родилась Мария, и в этом же здании ее, когда ей едва исполнилось пятнадцать лет, выдали по доверенности замуж за сорокалетнего вдовца.

Неподалеку отсюда находится одна из самых восхитительных картинных галерей Италии. Я с большим удовольствием провел там час, глядя на замечательную коллекцию картин школ Феррары, Пармы и Модены. Одним из главных ее сокровищ является не итальянская картина, а прекрасный портрет Франциска I, герцога Модены. Веласкес написал его в Мадриде в 1638 году. Портрет поясной, на Франциске воинские доспехи, через плечо перекинут плащ, на груди — орден Золотого Руна. Герцог был так доволен портретом, что подарил художнику золотую цепь, которую Веласкес всегда надевал по торжественным случаям. Спустя одиннадцать лет Веласкес путешествовал по Италии с преданным ему слугой, мулатом Хуаном Парейей, и собирал картины Тициана и Тинторетто для Филиппа IV. Заехал он и в Модену. Герцог радушно принял гостя и подвел художника к его творению. Портрет висел во дворце на самом почетном месте.

Фирменным блюдом Модены являются свиные ножки, начиненные свиным фаршем, — цапрони. В регионе Эмилия-Романья и речи не заходит о спагетти с томатным соусом. Если паста вам не по душе, но тем не менее хорошо поесть вы любите, поезжайте по римской дороге от Пьяченцы через Парму, Реджо и Модену к столице гастрономии — Болонье, и вы ни разу не попробуете спагетти. Тот, кто считает итальянскую кухню ограниченной, будет удивлен необычайным разнообразием сортов ветчины и блюд из свинины, о которых вне пределов Эмилии никто не слышал. Вкус

этих блюд, как и всей итальянской пищи, зависит от свежести и качества ее ингредиентов. Не менее важно и то, была ли еда приготовлена с любовью.

После ланча я встретился с доктором Чиаварелла. Он работает в библиотеке Эсте. С ним я провел целый день среди архивов этой семьи. Если бы можно было разложить все эти документы, они протянулись бы на расстояние в тридцать пять километров. Среди сокровищ библиотеки Библия Борсо с иллюстрациями Кривелли, возможно, это самая богато иллюстрированная в мире книга. Вместе с другими книгами она выставлена в нижнем зале в стеклянном шкафу. Но меня больше интересовали архивы Эсте, начиная от Средних веков и до XVIII века. Документы хранятся наверху, в смежных залах. Стопки достигают потолка. Тысячи бумаг были перепечатаны, а другие до сих пор еще не прочитаны и лежат там несколько столетий. Похоже, во времена Ренессанса двор не знал, что такое мусорная корзина: все бережно хранилось. Аккуратность и точность, с которой в те дни копировали письма, когда не было еще ни пишущих машинок, ни копировальных машин, и способы сохранения документов просто ошеломляют. Неудивительно, что итальянского секретаря при дворе Тюдора ценили как настоящее сокровище. Само слово «секретарь» — ведь это тот, кому доверяют секреты. У этой профессии благородная и романтическая история: все секретари при герцогах были отражением ученого государственного департамента, папской канцелярии.

Как же оживают далекие годы в таком месте, как это! С каким почтением и любопытством листаешь коричневые папирусы и выцветшие пергаменты. Невольно начинаешь воображать себе и автора документа, и посланника, галопом несущегося через Италию или даже через всю Европу. Слышишь, как пергамент разворачивается с сухим треском возле

зажженной свечи. Коричневые слова оживают, хотя те, кто написал их, ушли так давно... Мне показали документ, на котором так и не освоивший грамоту Шарлемань нарисовал неумелый крест; и еще один документ: 1 марта 1107 года Матильда Тосканская написала свое имя по сторонам другого креста — «Матильда, милостью Господа», а затем скромно добавила: «Если это действительно так». Я сидел за столом, и передо мной лежали письма: одно из них было написано Елизаветой Йоркской, женой Генриха VII, Эрколе I, герцогу Феррары; другое письмо — от Генриха VIII к Альфонсо I; а следующее — от Томаса Кромвеля к Эрколе II. А вот письмо от папы римского Александра VI к любимой дочери Лукреции Борджиа, которая только что стала герцогиней Феррары; есть здесь и письма Лукреции ее брату Чезаре.

— Вот это может вас заинтересовать, — сказали мне и положили в мои руки письмо Марии, королевы Шотландии, написанное 26 августа 1579 года кардиналу Луиджи д'Эсте.

Вслед за тем мне вручили очень важный на вид документ, к которому была приложена восковая печать размером с тарелку. Это был брачный контракт, подписанный и запечатанный Карлом II. Контракт был заключен между Марией из Модены и Яковом, герцогом Йоркским. Яков, который дал свое имя Нью-Йорку, и Беатриче Мария — как звали ее в Модене. Невеста плакала навзрыд два дня и две ночи перед тем, как уехать к наследнику престола Англии, и слегка успокоилась только тогда, когда мать согласилась поехать вместе с ней. Мария была высокой, стройной, темноволосой красивой девушкой. Было ей всего пятнадцать лет, а ее немолодой муж, по-видимому, перенес оспу, к тому же и заикался. Позднее она созналась в том, какие чувства испытала, когда впервые увидела его в Дувре: выразить их можно было только



слезами. И все же странными бывают человеческие взаимоотношения: вскоре она к нему привязалась. Единственной неприятностью в их совместной жизни была обида, которую она испытывала в течение некоторого времени из-за одной из его любовниц, которые — как сказал однажды Карл II — были столь некрасивы, что духовник подсовывал их, должно быть, брату короля в качестве епитимьи.

Когда брачный контракт был подписан, все предполагали, что новобрачную ждет блестящее будущее: как только брак по доверенности был заключен, она сразу обрела главенство над членами собственной семьи, даже мать обращалась к ней со словами: «Ваше королевское Высочество». Никто тогда не мог предвидеть трагическую декабрьскую ночь, с ветром и дождем, которая ожидала королеву Англии спустя пятнадцать лет, когда ей с сыном-младенцем на руках пришлось переправляться через Темзу и бежать во Францию. Так началось изгнание Якова II и Марии. Ссылку смягчали беззаветная вера и нежная любовь друг к другу. Все тридцать лет изгнания Мария ни разу не посетила Модену, но в архивах хранятся письма, написанные ею членам своей семьи. Когда Яков умер, женщина, которую когда-то везли к нему девочкой, захлебывающейся от слез, теперь писала: «Мое сердце и душа наполнены тоской... С каждым днем я все больше страдаю от разлуки с тем, кто был мне дороже всех на свете, кто один давал мне радость и утешение. Мне не хватает его все больше и больше, и отсутствие его я ощущаю в каждое прожитое мгновение». Яков был одним из самых непопулярных королей Англии, но женщина, знавшая его лучше всех, считала этого человека святым. А ведь ей было трудно угодить.

Я уже говорил и могу повторить: нигде в мире вы не встретите столько замечательных мест, расположенных рядом друг с другом, причем доехать до них не составляет труда — все они расположены вдоль Виа Эмилия, что удивительно даже для других областей Северной Италии. Прошло полчаса с того момента, как я выехал из Модены, и вот уже замелькали впереди окрестности Болоньи. В этих местах Тоскана мощным предгорьем вклинивается в Эмилию-Романью. До Флоренции отсюда — если двигаться к югу и перемахнуть через горы — каких-нибудь пятьдесят миль. Апеннинские предгорья всю дорогу составляли мне компанию. Подъехав к Болонье, я увидел высокую гору, стоявшую особняком, а на ее вершине — монастырь Мадонны ди Санта Лука. Столица Эмилии-Романьи, один из старейших городов Италии, раскинулась в тени этой горы.

По оживленным улицам я проехал к уединенной гостинице, где судьба, как обычно, сыграла со мной злую шутку. Мне дали на выбор несколько комнат, и я выбрал ту, чьи окна смотрели на узкую улочку. Выйдя на балкон, я зачарованно смотрел на микрокосм итальянской жизни, кипевший внизу. В переулке было много маленьких магазинов и домов. Девушка с блестящими волосами развешивала белье на плоской крыше, а на нее сквозь циновку смотрели с соседнего дома рабочие в шапочках, сделанных из бумаги. Парни отпускали девушке комплименты, а она капризно, но не без удовольствия, пожимала плечом. Из другого дома женщина кричала: «Джина!» (Странно, почему всех пропавших в Италии детей зовут Джина?) По улице шел человек с тележкой, повторяя какое-то слово, которое, когда он подошел поближе, я, наконец, расслышал: «лед». Такие бытовые человеческие шумы меня обычно не беспокоят, но едва я решил остановиться на этой комнате, как в переулок ворвались автомобили,

развозящие товары, мотоциклисты и мотороллеры, производя страшный шум, который, благодаря стенам узкого переулка, многократно усилился, отчего мне физически стало больно. Похоже, что выбор свой я сделал во время короткого перерыва в уличном движении.

Задумавшись о том, как же больно временами Италия может ранить своих поклонников, я услышал раскаты грома, и страшный уличный шум прекратился, как по волшебству. Солнце заволокло тучами, и через несколько мгновений на Болонью обрушился ливень. Когда летний дождь выливается на латинские страны, население чувствует, что его предали. Все устремляются в укрытия, улицы пустеют, официанты падают друг на друга, стараясь спасти скатерти, столы и стулья от разбушевавшейся стихии. Автомобили буксуют; люки переполняются водой; гаснет электричество; отключаются телефоны; несколько храбрецов, опустив вниз голову, идут наперекор ветру, переходят через затопленную дорогу, и их трагические фигуры — если бы со стороны это не выглядело так смешно — напоминают людей, спасавшихся от извержения Везувия.

Дождь, похоже, вознамерился идти весь день, и я вышел посмотреть Болонью. Передо мной был самый большой город к востоку от Милана. Народу здесь живет больше, чем в Венеции. Если Римская империя одарила на смертном одре Венецию талантом к коммерции и судостроению, то Болонье она дала знание законов. Здесь находится величайшая юридическая школа Европы. Университет Болоньи прославился с древних времен.

Я наслаждался грозой, с удовольствием вдыхая чистый, ароматный воздух. Мне нравилось слушать, как грохочет по трубам вода. Город на моих глазах стал средневековым. Переполненные трубы выплеснули свое

содержание прямо на мостовую. Дождь — к сожалению, временно — остановил движение транспорта, а несколько фигур, отважившихся бросить вызов стихии, вышли на улицу в плащах и вернули Болонью в тринадцатое столетие, во всяком случае, у меня было такое ощущение, когда я смотрел на средневековые здания сквозь серую пелену дождя. Я представлял себя ученым или пилигримом, ищущим ночлег в пустом городе.

Несмотря на эпоху Ренессанса, Болонья, как и многие другие итальянские города, умудряется выглядеть средневековой провинциальной столицей. Первые писатели-путешественники XVII века утверждали, что Болонья прославилась своими лютнями, колбасами и крошечными дамскими собачками. Как утверждал один путешественник, «создания эти были столь малы, что дамы носили их в муфтах, и места оставалось достаточно, чтобы держать там и руки», а другой путешественник, француз, отметил, что «дамы здесь очень красивы, правда, носы у них плоские, как у их собачек, зато очень хороши глаза». Болонские собачки, судя по всему, из породы мопсов: у них в щенячьем возрасте плоские носы. Иностранцам они представлялись настолько забавными, что их покупали и привозили домой. Болонская колбаса по-прежнему знаменита, у нас она называется «Poloneu», скорее всего, это искаженное слово «Болонья». Город гордится своей репутацией гастрономической столицы.

Мрачными казались под дождем две странные наклонные башни, красиво названные Азинелли и Гаризенда — очевидно, несчастные влюбленные из Прованса, память о которых Болонья увековечила в центре города. Это были первые средневековые башни, которые я увидел в Италии. Если бы мне сказали, что там водятся привидения астрологов, ничуть бы не удивился. В ближайшем киоске купил открытку, на

которой запечатлена реконструкция Болоньи времен Данте, когда такие башни, словно спаржа на грядке, росли по всему городу. В исторических книгах рассказывают, что башни эти строили средневековые аристократы в пику ремесленным гильдиям. Башни росли и становились все выше, так как каждый хотел переплюнуть соседа.

Что меня особенно восхитило в Болонье, так это колоннады. Я видел колоннады и в Модене, и в Мантуе, и в других местах, но здесь можно идти по ним несколько миль. Тут есть длинные улицы-колоннады, пересекающиеся с другими такими же колоннадами, и так по всему городу. Мне говорили, что произошло это из-за желания дать больше места студентам университета. Таким способом, мол, продлевали дома, выносили их вперед на колоннах. Так как для каждого явления в Италии существует много противоречащих объяснений, невозможно сказать, какое из них верное. Я предпочитаю собственную теорию: эти колоннады — то, что осталось от римской архитектуры, или же ее возрождение. Когда я увидел их в первый раз — некоторые из колонн окрашены в красный цвет, как в Помпее, — я почувствовал, что это — изумительная реконструкция древнего города. Вот и сейчас мне казалось, что все население, укрывшееся от дождя под колоннами, — римляне времен Августа.

Сейчас был не самый удачный момент для посещения фонтана «Нептун», гордости Болоньи. Фонтан создал Джамболонья, стремясь превзойти фонтан Флоренции. Мощная фигура морского бога, которому предоставили возможность поиграть мускулами на земле, стоит над полчищем русалок, оседлавших морских чудовищ, а вода вырывается из всех мест, даже из груди русалок. Это — выдающаяся, единственная в своем роде работа позднего Ренессанса. Через несколько шагов я наткнулся на людей в сухой

обуви: это были строители метро, они только что вышли наверх, ступив на современное дорожное покрытие, одевшее часть древней Виа Эмилия.

## 8

Тем, кто захочет увидеть Болонский университет, покажут несколько красивых зданий, расположенных в разных частях города. Это одиннадцать его факультетов. Здания, наверняка, понравятся: тут современные аудитории, лаборатории, библиотеки и все необходимое для обучения будущих юристов, врачей, дантистов, химиков, инженеров и даже классических ученых и философов. Вспомнив, однако, о том, когда появился этот университет, о том, что римское право изучать здесь стали с древних времен, о том, что это учебное заведение было матерью всех университетов, поневоле испытаешь разочарование: ведь ты рассчитывал увидеть здесь старинное и красивое здание, как колледж в Оксфорде. Это кажется тем более странным в городе, сохранившем так много из древней своей истории, но причина, однако, имеется, и прелюбопытная. Университет, который в июне 1988 года будет праздновать девятисотлетний юбилей, не имел постоянного помещения до 1565 года. Для того чтобы объяснить это, необходимо вернуться примерно в тысячный год, когда в Болонье стало возрождаться изучение римского права и многим лучшим умам того времени показалось, будто в бесприютном море засветил им, наконец-то, приветливый маяк. В Болонью из многих стран пожилые состоятельные люди поехали изучать право. Некоторые из них были приорами и епископами, попадались аристократы и амбициозные карьеристы, метившие на высокие государственные посты, среди них был и Томас Бекет. Он здесь учился в

XII веке. Эти исключительные студенты создали необычную организацию. Они нанимали профессоров, устанавливали оклады, выдвигали свои условия, которым лекторы обязаны были следовать, словом, поставили профессоров в отношения «хозяин — слуга», что сделать было легко: ведь и возраст, и социальный статус студентов делал такое положение возможным. Позднее, когда появились университеты в Париже, Оксфорде и Кембридже, взаимоотношения между преподавателями и студентами стали нормальными: это были уже учитель и ученик.

Особенные отношения между преподавателями и студентами древних юридических школ перенесены были и в университет, и на протяжении Средних веков студенты Болоньи продолжали оставаться хозяевами положения, а преподаватели были их слугами. Каждое объединение — а они были организованы в группы по национальному признаку — выбирало из своей среды студента, который становился ректором. Лишь в сравнительно недавнее время должность эта от студентов перешла к профессорам. До 1565 года у университета не было здания. Профессора, как и в прежние времена, продолжали читать лекции у себя дома или в арендованном помещении либо, если к тому были условия, выходили, словно греческие философы, в сады и на городские площади.

Когда Болонья перешла под папское правление, решено было собрать разные школы под одну крышу и построить для всех красивый дворец. Здание до сих пор стоит в центре города. Я много раз проходил мимо благородного строения с аркадами и великолепным двором, понятия не имея, что это — знаменитая гимназия. К сожалению, нынешняя его функция — муниципальная библиотека — уже не соответствует прошлому его назначению. Впрочем, если вас интересует геральдика, вы можете посетить

расположенный тут же музей, в котором хранится семьсот геральдических фигур. Они сгруппированы над архитравами дверей, на потолках и стенах. Есть там и гербы всех ректоров, начиная с 1563 и кончая 1797 годом, когда все знаки социального отличия в революционном пылу были уничтожены наполеоновской Цизальпинской республикой. В результате приятного обычая, позволявшего выпускникам университета оставлять после себя память, стены, коридоры и арки покрыты бесчисленными гербами, и мне показали имя первого американца, учившегося в Европе. Звали его Паскаль Перес Лима, и диплом он получил в 1608 году.

Меня представили молодому человеку, писавшему об английских студентах, учившихся в Болонье в те далекие времена. Молодой человек сознался, что у него всего лишь список имен и дат, но каким же интересным оказался тот список! Томас Бекет считался одним из самых выдающихся английских студентов той поры. Право он изучал примерно в 1143-1148 гг. Говорят, в Англию он взял с собой итальянского юриста Вакария и прочел первую в Оксфорде лекцию о римском праве. После Бекета в Болонье, должно быть, образовалось английское землячество, то есть объединение земляков, так как записи свидетельствуют о том, что английские студенты должны были обслуживать алтарь Святого Томаса в церкви Святого Сальваторе. Можно, читая между строк, обнаружить, что учителя страдали от установленных в университете законов, недостатка денег. Есть записи англичан, которым приходилось сдавать в залог учебники права; так, например, магистр Дэвид из Лондона в 1168 году влез в долги; другие пострадали от несчастной любви; а некоторых вообще убили в драке. В Болонье учился английский доктор Николас Фарнхэм, ставший впоследствии врачом при дворе Генриха III и Элеоноры из Прованса.



Профессор рассказал мне о странном обычае, существовавшем в университете в Средние века — презентации снега. Происходило действо после первого в году сильного снегопада. Ректоры, представители различных землячеств, в сопровождении педелей,<sup>[65]</sup> укладывали на красивый поднос слепленный ими снежок и подносили его городским чиновникам. Каждый должен был положить на поднос деньги. Собранную сумму в тот же вечер пропивали. Этот приятный обычай был отменен в XV веке.

Мне интересно было узнать о знаменитых женщинах, профессорах Болоньи времен раннего Средневековья. Историю о женщине-профессоре, столь красивой, что лекции ей приходилось читать, укрывшись за экраном, дабы не отвлекать аудиторию... Так вот, эту историю вам расскажут в каждом итальянском университете, однако было это на самом деле в Болонье. Женщину звали Новелла Кальдерини, жила она в начале XIV века. Она и ее сестра, Беттина, очевидно, унаследовали от своего отца, известного юриста Джованни Андреа Кальдерини, гениальные способности к юридическим наукам. Это стало заметно, когда они были еще детьми. Говорят, когда доктор уезжал из Болоньи с дипломатической миссией, одна из дочерей занимала его место в лекционном зале.

Новелла была так хороша собой, что, не желая отвлекать студентов от предмета, всходила на кафедру в густой вуали. Отсюда, должно быть, и рассказ об экране. Замуж Новелла вышла за преподавателя права Джованни Ольдренди да Леньяно. Когда он по какой-то причине отсутствовал, она читала лекцию вместо него. Урбан V предложил ее мужу должность кардинала при условии, что Новелла уйдет в монастырь, но пара предпочла не расставаться. Жили они долго и счастливо, умерла Новелла в 1366 году.

Но не она была первой женщиной-профессором в Болонье. Первой была Битисия Годзадини, родившаяся в 1209 году. Она участвовала в конкурсе и завоевала первое место в гражданском и каноническом церковном праве. Последней знаменитой женщиной-лектором была Лаура Басси, родившаяся в 1711 году. Она, как и все ее предшественницы, выказывала замечательные способности с раннего детства. Будучи ребенком, удивляла взрослых беглым латинским языком и умением разбираться в метафизике. Когда ей исполнилось двадцать два года, ее принудили публично продемонстрировать свои таланты. Такая проверка академических знаний была популярна в Болонье на протяжении нескольких столетий. Рассказывают, что вышла она из испытания блестяще, хотя экзаменовали ее пять знаменитых ученых. Через несколько недель ей вручили приз за проявленные знания в области философии и предложили кафедру в университете. Интересовалась она и модным тогда направлением — опытами с электричеством, и было это еще до Гальвани, чья красивая статуя стоит перед университетом. Лаура Басси изобрела устройство, создающее электрические разряды, и пропускала их через лягушачьи лапки до того, как Вольта открыл контактную разность потенциалов. Когда доктор Бёрни<sup>[66]</sup> посетил Болонью в 1770 году, он пришел к ней с рекомендательным письмом и долго беседовал. Было ей тогда «между пятьюдесятью и шестьюдесятью». Несмотря на большую ученость и талант, в ней нет ничего мужского или самонадеянного». Она показала ему свои устройства, продемонстрировала электрические разряды и дала интересные комментарии. Когда доктор Франклин обнаружил связь между электричеством и молнией и опубликовал статью о проводниках, она сказала, что у нее были установлены на крыше института металлические прутья, но столь велика была тревога

населения, что ей пришлось их снять, несмотря даже на одобрительное письмо, которое направил ей папа Бенедикт XIV.

Рассказали мне и о другой женщине, современнице Лауры Басси. В Болонье она заставила о себе заговорить. Это была Анна, жена меланхолического анатомического скульптора по имени Джованни Мадзолини. С тех пор как Болонья перешла под власть папы, он запретил препарирование человеческих трупов, и понадобилось изготавливать модели человеческих органов — из дерева и воска. Не знаю, вызвана ли была депрессия Джованни мыслью о том, что печень из самшита или почка из воска были не так полезны науке, как органы, вынутые из тел казненных преступников. Однако, стараясь подбодрить мужа, Анна занялась изучением анатомии и так преуспела в этом, что могла работать рядом с ним. Ее работами восхищались не меньше, чем моделями мужа. Она так проникла в предмет, что стала знаменитым лектором, преподавателем анатомии.

Университетские архивы до удивления полны, они содержат живые описания студенческой жизни времен Средневековья. Средний студент жил в одном из четырнадцати колледжей, организованных по национальному признаку (испанский колледж до сих пор существует), хотя многие студенты жили в частных домах, а богатые студенты приезжали с целым штатом слуг, привозили с собой мебель, снимали целые дома. До изобретения печати только богатый студент мог иметь собственные книги, да и они были огромного размера и весили немало. Студент за плату договаривался с носильщиком, и тот приносил его книги из дома в аудиторию. Студенты не упускали ни одной возможности, чтобы устроить пирушку: устраивали, например, пышную встречу сына высокопоставленного соотечественника. Были, конечно же, и разногласия

между городом и университетом, но они редко заканчивались трагически. Петрарка, обучавшийся праву в Болонье с 1323 по 1326 год, кажется, был примерным студентом, прилежно учился, а в свободное время гулял с друзьями по окрестностям. Он вспоминал, как иногда возвращался поздно домой, когда ворота были уже закрыты. В 1323 году каждый город Италии был окружен неприступными стенами, и вот Петрарка рассказывал, что если городские ворота были закрыты, он и его друзья знали места в стене, где «хрупкий штакетник наполовину прогнул, и каждый из нас мог спокойно пролезть через отверстие».

Защита докторской диссертации проходила в соборе весьма торжественно. Кандидат приходил туда в лучшей своей одежде в сопровождении друзей. Возглавляли процессию университетские педели, архидиакон и профессора. Кандидату должно было быть не менее двадцати лет, и он к этому времени заканчивал восьмилетний курс гражданского права, шесть лет канонического права или пять лет медицины. Два доктора, которые предварительно экзаменовали кандидата, выступали в роли его спонсоров и во время процессии шли рядом с ним. Придя в собор, кандидат делал доклад, а после этого профессора и студенты задавали ему вопросы. Если он отвечал успешно, ему вручали знаки отличия: книгу, кольцо и академический головной убор — берет, после чего подводили к «трону». Церемония была впечатляющей: звучали трубы, собиралась огромная толпа студентов всех национальностей. Ничто не радовало Болонью больше, чем приезд студента-принца. Когда сын одного из правящих домов приезжал сюда в свою резиденцию, город и университет устраивали настоящий праздник. Такого рода событие произошло зимой 1522 года: приехал семнадцатилетний Эрколе Гонзага, ставший впоследствии выдающимся и безупречным кардиналом.

Он был вторым и любимым сыном Изабеллы д'Эсте. Его письмо матери, в котором он сообщает о благополучном прибытии и описывает свои комнаты, дает хорошее представление о положении в университете юного аристократа. Он писал:

Достопочтенная леди, дорогая мама! Вчера, в день моего прибытия, большая кавалькада выехала встречать меня за восемь миль от Болоньи. Первым я увидел своего кузена, Пирро Гонзага, вместе, с шестьюдесятью другими студентами, по большей части из Мантуи. Они спешили, и мы с Пирро обнялись. Чуть далее встретили группу болонских господ, все они радостно меня приветствовали. Вслед за ними меня встретил дорогой маэстро Пьетро [Пьетро Помпонацци<sup>[67]</sup> — философ], а вместе с ним — ученые доктора, которые специально выехали из города, чтобы меня встретить. Итак, я въехал в Болонью примерно в четыре часа вместе со свитой из двухсот всадников. Улицы в городе запружены были народом. Мужчины и женщины стояли у всех окон и кричали: «Гонзага!» Когда я доехал до своего дома, то увидел, что его владелец, Алипрандо, украсил входную дверь венками из вечнозеленых растений и гербами нашего дома, папы и Болоньи. Попрощавшись с господами, я спешил и пошел осматривать комнаты. Они мне очень понравились. Сначала я вошел в красивый маленький салон, увешанный коврами, которые я прислал сюда заранее вместе с несколькими картинами в золоченых рамах. Здесь же кровать, застеленная красным дамастом, с вышитыми на нем эмблемами. Из этой комнаты можно пройти в комнату поменьше. В ней тоже ковры и два дивана: один

— с золотой обивкой, на другом — льняной чехол. Есть еще третья комната с диваном, обитым алым бархатом. Эту комнату я отведу себе под кабинет. Дом отличный, и слуги мои довольны. Мне будет здесь очень комфортно. Накануне кузен Пирро и некоторые студенты из Мантуи у меня ужинали.

Почтительно целую ваши руки.

Картину, живописующую юного принца эпохи Ренессанса, изучающего право на диване, обитом алым бархатом, слегка омрачают намеки, содержащиеся в мантуанских архивах, о студенческих эскападах и пирушках. Был, по крайней мере, один трагический случай, когда студент из Мантуи поссорился со студентом из Модены и убил его. На Рождество устраивали каникулы, длившиеся одну неделю, и университет предавался веселью и кутежу. Студенты Мантуи вешали лавровые венки на дверь своего принца и заставляли педеля сочинять шуточные героические стихи в его честь, что еще больше способствовало веселью. Когда Рождество заканчивалось, Эрколе ходил на лекции по анатомии и присутствовал при диссекции тела человека, повешенного за воровство. У Эрколе, само собой, кончались деньги: в архиве есть жалобное письмо к матери от учителя принца, в котором тот сообщает, что ее бедный сын издержался до последней монетки! Остается только надеяться, что письмо пришло не в тот, не такой уж редкий момент, когда Изабелла д'Эсте сама была на мели, а ее драгоценности — в венецианском ломбарде.

Ничто в Италии не может быть достойно большего восхищения, чем состояние муниципальных архивов. Каждый раз, когда видишь эти огромные собрания, невольно надеешься, что тебя поджидает здесь очередное открытие. Архивы Болоньи хранят в себе много малоизвестных сведений о Стюартах. Странно, что ни один путеводитель по городу не упоминает несчастных принцев, чей убогий двор с обедневшими верноподданными и шпионами годами находился в Болонье. Ни один другой город в Италии, за исключением Рима, не хранит столько воспоминаний о якобитах. Связи эти начались майским вечером 1719 года, когда в отеле «Пеллегрини» на виа Уго Басси появилась усталая шестнадцатилетняя девушка в сопровождении четырех ирландских офицеров. В багаже у нее была отороченная горностаем юбка, три сорочки, несколько носовых платков да матерчатая сумка с английскими королевскими регалиями. Звали девушку Клементина Собес-кая, и была она внучкой героического короля Польши. Королевские драгоценности посланы были ей Яковом Стюартом в качестве подарка на помолвку. Четверо ирландских офицеров спасли ее из тюрьмы в Инсбруке, куда заключил Клементину император, союзник Георга I, который думал, что если он помешает этому браку, то тем самым посодействует протестантам. Тем не менее четверо смелых ирландских якобитов снежной ночью ворвались в замок и освободили принцессу, оставив вместо нее служанку, переодетую в платье Клементины. После ужасного путешествия через Альпы они доставили ее в безопасный папский город — Болонью.

Инкогнито Клементины так плохо соблюдалось, что через несколько дней ее пришлось переселить в неудобный частный дом, где она ожидала приезда из Рима Джеймса Марри, который должен был обвенчать ее по доверенности. В болонском архиве есть

очаровательная картина, где на веленовой бумаге запечатлено это событие. Обыкновенная маленькая комната украшена геральдическими щитами; кроме нескольких стульев, сундука, двух зеркал и дивана, в ней ничего нет. На принцессе светлое платье со шлейфом, домашний чепец, нитка жемчуга. Рядом с ней стоит подружка невесты, жена одного из ее спасителей. Двое мужчин в длинных париках. Из фалд их бархатных камзолов высовываются шпаги. Судя по всему, это ирландцы. Перед девушкой стоит священник и два других человека, в длинных париках, бархатных костюмах, при шпагах. Один из них, должно быть, Джеймс Марри. Так началась тревожная жизнь бедной Клементины, претендентки на трон Англии. Местные жители были к ней добры. После смерти Клементины началось движение за причисление ее к лику блаженных. На самом деле она сделалась надоедливой, невротичной женщиной, и жить с ней, вероятно, было настоящим испытанием. У нее были прекрасные светлые волосы, доходившие почти до пят, и светлая кожа северянки. Внешность матери унаследовал сын, принц Чарльз Эдуард — Красавец принц Чарли. Дочь Чарльза, Шарлотта, герцогиня Олбани, чьей матерью была Клементина Уокингшоу (принц встретил ее в Шотландии в 1745 году), умерла в Болонье, правда, церковь, в которой она была похоронена, снесена много лет назад, и даже могила ее уничтожена. О ней мало кто плакал, хотя была она лучше многих своих родственников. Отец более тридцати лет не обращал на нее никакого внимания, но когда он состарился и заболел, она тут же пришла к нему и внесла спокойствие и достоинство в его беспорядочную жизнь. Пережила она его всего на два года. Она страдала от рака, который, скорее всего, был вызван падением с лошади. Когда Шарлотта приехала в Болонью, чтобы проконсультироваться у хирургов, было



уже поздно: она умерла, прежде чем ей успели сделать операцию.

Якобит — если такой еще существует — с пользой проведет час в архиве Болоньи, он может также прогуляться по городу и посмотреть на дворцы, в которых жили Стюарты. Дворцов здесь несколько, хотя названия их изменялись вместе с поселившимися жильцами. Один из них, однако, — Каса Беллони имеет на стене памятную доску. На ней написано, что когда-то здесь была резиденция Якова Фрэнсиса Стюарта.

В рукописях можно также прочесть удивительную историю о потомках фаворита королевы Елизаветы, Роберта Дадли, графа Лестерского, который жил во Флоренции и Болонье. Его сын, Роберт Дадли Младший, отчаявшись установить свою легитимность, решил оставить Англию. Вполне возможно, что для такого решения были другие причины. Он, как и его отец, отличался легкомысленным поведением, а потому оставил жену и семью и уехал с красивой молодой женщиной Элизабет Саутуэлл, сопровождавшей его под видом пажа. Они поселились во Флоренции, и через некоторое время в семье их появилось тринадцать детей. Как и многие его современники, Дадли разбирался в мореплавании, кораблях и технике. Кроме того, он на любительском уровне изучал химию и алхимию. При дворе Козимо II, герцога Тосканы, принимал участие в осушении болот Пизы, занимался проектированием кораблей и составлением лекарств. В конце концов, стал таким популярным и уважаемым человеком, что император сделал его графом Уорвикским и герцогом Нортумберийским Священной Римской империи. Ему также удалось получить разрешение на брак с Элизабет Саутуэлл.

Этот успех был омрачен поведением их старшего сына, Козимо, выросшего мошенником. Став вторым герцогом Нортумберийским, Козимо женился на

французской девушке из хорошей семьи. Среди их детей была поразительно красивая девочка по имени Кристина. Юность свою она провела бурно, после чего родители выдали Кристину замуж за маркиза Палеотти из Болоньи. Когда муж умер, она превратила семейный дворец в место, которое можно было бы назвать «брачным агентством». Среди богатых молодых людей оно пользовалось огромной популярностью. Затем Кристина поставила себе цель — найти хорошую партию для любимой дочери Дианы, семнадцатилетней девушки, бывшей во всех отношениях копией матери. И после множества уловок, веселивших всю Болонью, она в этом преуспела и поймала в свои сети ни больше ни меньше, как Марка Антонио Колонну.

Возвращение в Англию двух членов этой семьи было не самым интересным эпизодом в истории рода. Случилось это, когда вторая дочь, Аделаида, без материнской поддержки вышла замуж за сорокапятилетнего Чарльза Толбота, двенадцатого графа Шрусбери, и оставила Италию ради земли своих предков. Так в первой декаде XVIII столетия потомок Елизаветы явился ко двору королевы Анны, а позднее Аделаида добилась успеха при дворе Георга I. Братец Аделаиды, Фердинандо, не преминул этим воспользоваться: совершив в Италии убийство, изнасилование и растрату, он объявился в Англии и стал жить на иждивении лорда и леди Шрусбери. К несчастью для самого себя, в 1718 году, рассвирепев, он убил слугу. Его арестовали, судили и приговорили к повешению в Тайберне. К месту казни ему разрешили прибыть в собственном экипаже и повесили на шелковой веревке, перевитой золотыми нитками. «Тщеславный человек! — прокомментировал этот эпизод справочник Ньюгейтской тюрьмы.<sup>[68]</sup> — Какая польза от его титулов перед судом Всевышнего?»

Говорят, что нечестивое поведение Фердинандо убило графа Шрусбери, а в далекой Болонье Кристина Нортумберийская, услышав о казни сына, упала в обморок. Но к тому времени она покончила со своим прошлым куртизанки и обратилась к добрым делам и молитвам. Тот, кто пожелает узнать об этой истории в подробностях, найдет ее в книге Коррадо Риччи «Жизнь в эпоху Барокко» (Corrado Ricci. «Vita Вaгосса»). Он тщательно проштудировал архивы Болоньи.

## **10**

Как я уже говорил, итальянский ресторан в Англии, с его спагетти, плавающими в томатном соусе, и дряблой телятиной по-милански, бесспорно, отвратил людей от итальянской кухни. Я бы порекомендовал им для внесения корректив путешествие по Эмилии-Романье. Помнится, я писал, что область эта богатая, славящаяся своим сливочным маслом и сыром. Города Италии соперничают друг с другом, стараясь удивить своей кухней, но все согласны — Толстуха-Болонья достигла самых высоких гастрономических стандартов. Для Италии это необычно: здесь каждый город старается заявить о своем превосходстве, но когда заходит речь о городах Эмилии-Романьи, об их свинине, колбасах, сливочных соусах и белых трюфелях Болоньи, все умолкают. Россини, давший свое имя многим операм, едой был увлечен не меньше, чем музыкой. Он поселился в Болонье из-за кухни. Жители с гордостью покажут вам дом, в котором маэстро поглотил великое множество калорийных блюд.

Я так много слышал о кухне Болоньи, что почти ожидал увидеть здесь город фальстафов, и был удивлен, когда увидел, что люди здесь умеренных пропорций. Собственные впечатления остались у меня в

памяти. Первый раз, после ланча в «Папагалло», я был в коматозном состоянии до конца дня, однако в мозгу всплыло воспоминание о куриных грудках, приготовленных в сливочном масле и поданных с тонкими пластинками белых трюфелей. Потом невольно задумался об индейке и ветчине, скворчавших в сливочном масле, о сыре, трюфелях и других грибах, о ламбруско, сухом игристом красном вине Эмилии, которое, казалось, сама природа предназначила для болонской кухни. Как тут выдержишь, если даже и должен придерживаться диеты? Фирменным блюдом Болоньи является колбаса мортаделла, которую готовят здесь уже многие столетия. Возможно даже, что готовили ее древние римляне, продавая на старой Виа Эмилия. Делают ее из свинины. Сам я не большой любитель свинины и салами и потому не мог понять, отчего она так прославилась и почему к ней с такой нежностью относятся во всем регионе.

Как-то раз я обедал один и увидел зрелище, которое больше, чем тысяча рецептов, объясняет, почему Болонья так гордится своим прозвищем — *la Grassa* — Толстуха. Возле меня сидели две женщины-гурмэ. Они не замечали ничего вокруг себя, видели лишь еду на своих тарелках. Не знаю, какое сравнение из орнитологии можно было бы здесь привести — может быть, красноклювые удоны, — но эти женщины меня очаровали. Я наблюдал за ними краем глаза с интересом орнитолога. Как знает любой мужчина, предоставленные сами себе женщины будут питаться булочками, печеньем и фруктовыми салатами. Феноменально, но эти особы воспринимали услуги владельца ресторана, старшего официанта и сомелье как нечто принадлежавшее им по праву, словно они были королевами, ждавшими лести от придворных. «Кто же они такие?» — задумался я. Были ли они женщинами, с головой ушедшими в кулинарные книги? Или женами

или возлюбленными мужчин, восхищавшихся рубенсовскими формами? Они уже, кстати, начинали подходить к этому идеалу. В тот момент, однако, обе были молоды, и толстыми их назвать было нельзя, если, конечно, не спрашивать мнения на этот счет у современного модельера. В истории наверняка были женщины — поклонницы эпикурейского образа жизни, хотя на ум мне ни одного имени не пришло. Эти дамы меня очень заинтересовали, что доказывает — встречаются они крайне редко. Мне хотелось бы увидеть последнюю стадию их банкета, но они так растягивали удовольствие, что мне пришлось уйти, пока дамы с задумчивым видом держали в руках меню и разговаривали с владельцем ресторана. Я знаю, из памяти моей долго не уйдут их счастливые лица и блестящие носы.

## 11

Группа из семи-восьми церквей, носящих имя Санта Стефано, — средневековая попытка создать в Болонье точную копию Гроба Господня в Иерусалиме и это примечательно. Тот, кто знаком с церковью Гроба Господня, признает, что в церкви Санта Стефано все находится на том месте, где ему следует быть, и перед нами не убогая будничная церковь, а здание, каким его видели крестоносцы. Гробница Христа в Иерусалиме покрыта сегодня уродливой плитой работы греческого архитектора XIX века, а усыпальница, что находится в ротонде Болоньи, — копия Гроба Господня, причем такого, каким видели его средневековые пилигримы. Я подумал что Санта Стефано — одна из самых удивительных церквей, которые я видел в Италии. Она пропитана духом древности. Я бы не удивился, если бы увидел табличку, привлекающую внимание к колонне

или камню, который когда-то был частью храма Исиды, стоявшего раньше на этом месте. Красивый маленький монастырь возле ротонды стоит здесь со времен норманнского завоевания, в центре его — каменная чаша на более позднем основании, и называется она купелью, хотя на самом деле это — византийский резервуар для подаяний. Такие чаши до сих пор можно увидеть в Святой Земле.

Доминирующая черта Болоньи — крутой холм примерно в тысячу футов высотой. Он поднимается над городом и зовется Монте-делла-Гвардия. Мне сказали, что название это произошло от сторожевого отряда, который в прошлом нес здесь службу: смотрел в сторону Модены. На вершине находится большая церковь, построенная в Средние века, с тех самых пор Пресвятая Мадонна благосклонно присматривает за Болоньей. Церковь соединяется с городом архитектурным *tour-de-force*,<sup>[69]</sup> в котором любовь Болоньи к крытым проходам достигает кульминации. Это — колоннада в две мили длиной, под крышей из красивой красной черепицы. Она смело карабкается вверх, напоминая о великом древнеримском сооружении, таком как стена Адриана. Колоннада к тому же производит трогательное впечатление. Строили ее отдельные горожане, гильдии и деревни более шестидесяти лет, и тех, кто продлевал ее на несколько ярдов, вознаграждали маленькими мемориальными досками, которые крепили к стене. Строил ее для того, чтобы паломники могли добраться до святилища в любую погоду и чтобы сама Мадонна ди Санта Лука могла снизойти под ее покровом в праздник Вознесения и посетить собор Болоньи.

В наше время, хотя колоннада до сих пор используется паломниками, можно сесть в вагончик фуникулера у подножия горы и подняться на вершину. Отсюда открывается потрясающий вид, мне кажется, лучший из всех, что я видел. Я смотрел отсюда на север

— на Бергамо и на Альпы, смотрел и в другом направлении, и передо мной была долина реки По. Повернувшись на запад, я видел Виа Эмилия, прямую как стрела, хорошо просматривались предгорья Апеннин. Дымные пятна на севере обозначали города Ломбардии, на востоке земля тонула в жарком мареве — там раскинулось Адриатическое море, на берегу которого лежала Равенна.

Над высоким алтарем церкви находится знаменитое изображение Мадонны. Принес его в Средние века паломник из Константинополя. Предположительно, это византийская икона, хотя вся она покрыта серебром и виден только темный овал лица. В церкви, когда я туда вошел, перед алтарем стояли несколько коленопреклоненных паломников со свечами. К ним вышел молодой священник с копией иконы, которую паломники целовали. Я заметил, что священник был человеком современным и радеющим о гигиене: каждый поцелуй он вытирал полотенцем, а потом предлагал икону следующему паломнику.

## Глава шестая. Римини и Равенна

***Римини. — Храм Малатеста. — Человек, которого послали в ад. — Переход через Рубикон. — Равенна и ее возрождение. — Могила Галлы Плачидии. — Мозаики. — Падение Рима. — Феррара и род Эсте. — Первые английские студенты. — Ренессансное космическое путешествие. — Где похоронена Лукреция Борджиа.***

### 1

Хотя я не считаю себя человеком, который сочувствует и прощает больше, чем другие люди, иногда испытываю симпатию к историческим злодеям. Просто сомневаюсь, а были ли они действительно такими ужасными, какими их описывают биографы, хотя узнать это доподлинно теперь уже невозможно. «Люди прежних веков — это проблемы, которые мы пытаемся решить», — писал Грегоровиус. Слова эти являются вариантом вольтеровского высказывания: «История, в конце концов, это не что иное, как собрание трюков, которые мы разыгрываем с мертвецами». В добром расположении духа я приблизился к городу, связанному с человеком, которого, как я полагаю, большинство людей зачислят в десятку худших людей, которые когда-либо жили на земле. Это — Сигизмундо Малатеста Римини. Он вызвал яростную ненависть папы Пия II, человека во всех отношениях доброго и терпеливого. До сих пор помнят, как Пий II публично объявил, что отправляет его в ад, и сжег чучело правителя Римини.



Приехав туда (Римини находится в семидесяти милях к востоку от Болоньи), я прежде всего захотел взглянуть на Адриатику, а потому отправился на пляж. Вместо спокойного тихого моря с одним-двумя парусами я увидел двенадцать миль пляжа, покрытого телами жарящихся на солнце людей. Кто-то лежал на песке, кто-то развалился в шезлонге. Большинство загорающих были гостями из северных европейских стран, но, прислушавшись к голосам, я определил, что добрую половину составляли немцы. Некогда такой пустынный, Римини сейчас — главный город для желающих позагорать. В вестибюле гостиницы я стал свидетелем встречи двух английских друзей, один из которых еще утром завтракал в Лондоне.

Не требуется много времени, чтобы распознать: Римини, как и человек, чье имя с ним неразрывно связано, имеет двойную натуру. Есть Римини отдыхающих, раскинувший на побережье полосатые зонты и выстроивший огромные отели, но отойдите от берега на две мили, и вы увидите спокойный средневековый Римини. Этот город сохранил следы воздушных налетов последней войны. В этом Римини Виа Эмилия встречается с Виа Фламиния — Фламиниевой дорогой, где триумфальная арка Августа стоит возле древнеримского моста, им пользуются до сих пор; где в тени древнего замка раскинулся оживленный средневековый рынок. Посреди дороги есть очаровательный маленький храм, вернее, усыпальница, полная цветов. Она стоит на том самом месте, где мул святого Антония Падуанского преклонил колени, когда мимо него пронесли крест. Величайшее зрелище, хотя это совершенно необычная христианская церковь, воздвигнутая Сигизмундо в честь святого Франциска: на самом деле он хотел прославить и в последующем приготовить место для погребения женщины, которую любил и которой изменял, ничуть не пытаясь этого

скрыть. Звали ее Изотта дели Атти. На самом деле это — храм Изотты. Сплетенные инициалы — его и ее — можно увидеть повсюду, а христианских эмблем что-то не заметно.

Красивое крыльцо работы Альберти, романская арка подготовили меня к изысканному классическому интерьеру. Я вошел в здание, облицованное мрамором редких пород, с несколькими боковыми молельнями, богато декорированными резьбой и скульптурой. Повсюду переплетенные вензеля «S.I.» и дюжины мраморных слонов. Слоны поддерживают пилястры и саркофаги, а украшения, которые на первый взгляд кажутся лентами, при ближайшем рассмотрении оказываются слоновьими хоботами. Это животное было геральдическим символом Малатеста, что довольно странно: ведь никто из этой воинственной семьи не воевал в Африке, да и вообще не имел отношения к этим животным. Быть может, они взяли его в качестве эмблемы, потому что в давние времена на этой территории обнаружили кости слонов Ганнибала. Животные, красиво выточенные из черного мрамора, добавляют зданию тайны. Два из них поддерживают урну, в которой — как сказал мне священник — находятся останки Изотты, а над ее гробницей раскачивают хоботами еще два животных. У гробницы Сигизмундо, правда, слонов нет.

В церкви можно увидеть знаменитую картину Пьеро делла Франческа «Сигизмундо перед святым покровителем». Малатеста изображен на ней в профиль. Глядя на красивое лицо человека с сильным характером, я не слишком уверен в том, был ли он подлым и низким, как о нем обычно высказывались. С психологической точки зрения он остается загадкой Ренессанса. Что о нем можно сказать? Он был самым жадным и вероломным кондотьером, что уже выделяло его среди остальных. Говорят, будто он отравил свою первую

жену. Вторую жену как-то утром нашли с салфеткой, крепко перевязавшей ей шею. Рассказывают, будто он совратил собственных дочерей. В то же время при дворе его было множество художников, поэтов и ученых. Его уважение к науке было таким высоким, что он позволил руководить собою группе скучных педантов, чьи усыпальницы находятся в нишах с другой стороны церкви. Одна из таких гробниц, по слухам, хранит прах ученого-неоплатоника Гемиста Плетона. Сигизмундо привез его останки из Мистры, когда освободил Спарту от турок. Такая черта была ему свойственна: он предпочитал положить в раку греческого ученого, а не христианского святого. О любви к Изотте, вдохновившей его на написание стихов и строительство великолепного храма, писали часто, но сама эта женщина такая же загадка. Можно ли верить тому, что она оказывала на него хорошее влияние? Или она была амбициозной женщиной, предпочитавшей не замечать его грехов и измен, а замуж за него вышла для того, чтобы унаследовать его поместье? Каждый раз, когда хочешь поверить в то, что Сигизмундо не был так плох, как его описывают, наталкиваешься на один факт: Пий II знал его и публично предал его анафеме. «Яд Италии, — так называл его папа, — изо всех людей, которые когда-либо жили на свете или будут жить, он был самым большим негодяем, позор Италии, бесчестье нашего времени!» Папа сказал: «Он хорошо знал историю и неплохо разбирался в философии. За что бы он ни брался, все давалось ему легко, но дурные наклонности брали над ним верх. Он до такой степени был одержим страстью к стяжательству, что готов был не только ограбить казну, но и вульгарно украсть. Похоти своей он не препятствовал и распутничал с собственными дочерьми и зятьями. Жестокостью, превзошел всех варваров. Кровавой рукой карал всех подряд — преступников и невинных. Он притеснял бедняков, грабил богачей, не

щадил ни вдов, ни сирот. Во время его правления никто не чувствовал себя в безопасности. Богатство или красивая жена, очаровательные дети — этого было достаточно, чтобы обвинить человека в преступлении. Он презирал священников и ненавидел религию. В загробный мир он не верил и считал, что душа умирает вместе с телом. Тем не менее он построил в Римини отличную церковь, посвященную святому Франциску, хотя и наполнил ее языческими произведениями искусства, так что она кажется не христианским святилищем, а храмом поклонников дьявола. Внутри он для своей любовницы установил изысканную гробницу из великолепного мрамора с надписью в языческом стиле — „Посвящается божественной Изотте“».

В 1461 году отвращение понтифика к Сигизмундо привело к созданию нового оружия, которое, насколько я знаю, не выстрелило ни до этого момента, ни после: папа публично приговорил Сигизмундо к аду. Состоялся любопытный перевертыш ритуала канонизации. «Ни один смертный не поступал еще в ад после такого обряда, — сказал папа. — Сигизмундо первым будет удостоен такой чести. Согласно эдикту, он войдет в ад как товарищ дьявола и проклятых». На следующий год Сигизмундо отлучили от церкви, а сделанное в натуральную величину чучело сожгли при большом стечении народа против собора Святого Петра. Из рта чучела свешивалась бумага со следующими словами: «Сигизмундо Малатеста, сын Пандольфо, король предателей, ненавидимый Богом и человеком, приговорен к сожжению решением святого Сената».

Хотя Сигизмундо тогда это только позабавило, но вскоре произошло несколько событий, принудивших его заключить мир с церковью. Пий проявил замечательную христианскую терпимость и отменил отлучение от церкви раскаявшегося грешника. Вскоре Пий скончался, и Сигизмундо немедленно оскорбил нового папу,

Павла II, и направился в Рим с намерением всадить в понтифика кинжал во время аудиенции. Папу предупредили. Говорят, что даже у кардиналов под сутаной были спрятаны шпаги! Дела Сигизмундо вскоре стали ухудшаться, и начались проблемы со здоровьем. Через несколько лет он умер. Ему тогда исполнился 51 год. Изотта стала управлять его делами. Характер Сигизмундо обелить невозможно, но, когда смотришь на красивую церковь, рожденную его странным мозгом, невольно поражаешься двойственности натуры этого человека.

В нескольких милях к северу от Римини, на дороге, что ведет к Равенне, я увидел под мостом ручеек. Называется он Рубикон. Когда-то здесь проходила граница между Цизальпинской Галлией и Римом. Любой генерал, переходивший ее со своей армией без разрешения Сената, считался мятежником. Цезарь перешел Рубикон, потому что разведчики предупредили его: враги в столице готовят против него заговор, и он знал, что ему надо либо идти в Рим, либо погибнуть. Это был величайший риск в его жизни. Когда он скомандовал своим легионам выступить, то действовал, как игрок — «*Alea jacta est*» («Жребий брошен»). С тех пор каждый человек бросает свой жребий и переходит свой Рубикон. Когда римская армия переходила вброд реку, пробираясь в стан врага, она обычно совершала жертвоприношение речному божеству, но, вместо того чтобы резать животных, Цезарь выпустил возле Рубикона табун лошадей и позволил им бегать по доте без табунщика. Среди предзнаменований, предсказывавших его убийство, было поведение этих лошадей. Они — как рассказывают — стояли послушно на пастбищах, отказываясь есть, и по мордам их катились горькие слезы.

Любопытно, как часто знаменитые реки не оправдывают связанных с ними ожиданий: Тибр ничего

собой не представляет, а Иордан вряд ли шире Рубикона. Зимой, конечно, Рубикон, как и остальные реки, выглядит весьма внушительно. Цезарь переходил его вброд 10 января 48 года до н. э., а если перевести это на нынешний календарь, то это случилось во время ноябрьского паводка. Я стоял и смотрел на ручей.

У меня он рождает много мыслей и ассоциаций, а в это же время мимо проносились автомобили и мотоциклы. За те несколько минут, что я был там, несколько сотен людей перешли Рубикон, даже не подозревая об этом.

## 2

Я ехал в Равенну и думал: «Как странно, что Римская империя родилась и умерла в одном и том же маленьком провинциальном городке». Она заключала в себя весь мир и могла бы, кажется, выбрать себе любое место, но нет — вернулась в то же болото. Цезарь был в Равенне, когда пошел на Рим и привел в движение силы, создавшие империю. Прошло пять столетий, и Равенна приняла бежавших из Милана последних слабых императоров, с их греческими прическами и инкрустированными далматиками. Они хотели спрятаться здесь от варваров. Город оказался хорошим укрытием, и история империи продолжилась на западе еще семьдесят лет.

У здешней местности такой вид, словно море постоянно на нее наступает. Неукротимый итальянский фермер обработал и осушил ее, но земля, похоже, постоянно помнит о приливах, и я подумал, что здешним виноградникам впору бросить здесь якорь. Задолго до того, как появились упоминания о Венеции, Равенна стала городом в окружении болот. Улицы здесь были каналами. Жители передвигались на лодках и барках.

Римляне писали о Равенне так, как сейчас мы пишем о ее преемнице. Город издревле пил дождевую воду, как это до недавнего времени делала и Венеция. В бодрящем ее воздухе процветали гладиаторы. Последним публичным занятием Цезаря до того, как он перешел Рубикон, было инспектирование гладиаторской школы.

Подъезжая, я готовился увидеть «милый мертвый город» времен Байрона, а вместо этого влился в поток автомобильного движения, медленно ползущего по улицам, рассчитанным на прохождение двух всадников. Наконец, полицейский-регулирущик махнул мне, чтобы я следовал на маленькую запруженную площадь, где на тротуаре стояли столики кафе. Все прочитанное о Равенне заранее настроило меня на то, что я увижу сонное местечко с осыпающимися стенами, обветшалыми дворцами, с проросшей через мостовую травой, а увидел оживленный торговый город, веселый и богатый. На улицах толкались фермеры, приехавшие из окрестностей, чтобы сделать покупки на выходные. Я заметил несколько смуглых людей, сильно смахивавших на Муссолини, видимо, типичная для этих мест внешность, ведь диктатор родился недалеко отсюда.

В отеле мне дали номер, выходящий окнами на узкую улицу, где был магазин под названием «Старая Англия». «Здесь, наконец, — подумал я, — обрету спокойный уголок и старую сонную Равенну, ту, о которой читал». Не успел я об этом подумать, как узкие улочки задрожали от приближавшихся автобусов, перед «Старой Англией» они высадили пассажиров, повернули в соседние переулки и остановились в ожидании. Отель немедленно заполнился женским щебетанием, ибо большая часть прибывших относилось к прекрасной половине человечества. Женщины разошлись по всему зданию, а затем устремились в столовую. Две из них, обе англичанки, сели за мой стол и спросили, что следует

посмотреть в Равенне. Город им, на первый взгляд, приглянулся: приятное чистенькое местечко. В Венеции им не понравился запах, жаль, что по Большому каналу плавают столько капустных листьев. А как во Флоренции? Чисто? Они взглянули на наручные часы. Во Флоренцию они успеют к чаю. Кстати, там пьют чай? Обе дамы мне понравились, я позавидовал их способности беззаботно перемещаться по Италии. Видимо, они не слышали голосов из глубины веков, не ощущали прикосновения призрачных пальцев. Две приятные разумные Женщины, свободные от прошлого.

После ланча меня ожидала неприятная процедура: я должен был подстричься. Ненавистные услуги парикмахера, в большей или меньшей степени, неприятны в любой стране, но противнее всего чувствуешь себя в итальянской парикмахерской. Здешние заведения представляют собой нечто вроде клуба, зеркала отражают лица людей, пребывающих в восторге от собственной внешности. Я, однако, надеялся, что в Равенне найду тихое, спокойное место, где подстригусь без всякой суеты и быстро уйду. Отодвинув штору из бус, оказался я — увы! — в обычном салоне мужского тщеславия и самодовольства. И стариков, и молодых брили и стригли, как в воинственном Риме. Щелканье ножницами прекратилось, когда в парикмахерскую вошел молодой человек с иллюстрированным журналом и показал всем фотографию самой популярной итальянской киноактрисы в облике Венеры. Комментарии не были ни легкомысленными, ни грубыми. Казалось, знатоки восхищаются прекрасной вазой. И все же собственное отражение в зеркале большинству людей казалось предпочтительнее.

Когда подошла моя очередь, я сказал парикмахеру, что Равенна совсем не тот тихий, спокойный город, который я ожидал увидеть, а он объяснил, что



обнаружение после войны метана принесло городу новое и совершенно неожиданное благополучие. «Равенна, — сказал он с гордостью, — стала теперь промышленным городом, и телевизоров у нас больше, нежели в любом другом итальянском городе такой же величины».

Вместо того чтобы пойти осматривать гробницы Галлы Платидии и Данте, как я намеревался сделать в этот день, я отправился в место, которое каждый сокращенно называет E.N.I. — Ente nazionale Idrocarburi, что означает Государственное нефтепромышленное объединение. Находится оно в пяти милях от города, на семимильном канале, соединяющем Равенну с Адриатическим побережьем. Здесь я увидел огромный современный завод с гигантскими резервуарами, емкостями и охлаждающими башнями, занимающий триста акров земли. Завод окружает стена, а вокруг выстроились сотни автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Такого количества транспортных средств, собравшихся в одном месте, я до сих пор не видел. Все они припарковались под бетонным навесом вокруг главного входа. Так как рекомендательного письма у меня не было, я не мог войти внутрь, а лишь смотрел в изумлении на промышленного монстра, не понимая, как такое производство можно было поднять за десять лет. Передо мной был наглядный ответ на занимавший меня вопрос: почему Равенна стала такой преуспевающей и энергичной. Байрон, должно быть, проезжал по этим местам, когда здесь, кроме сосен, ничегошеньки не было. Я решил, что это — самое неожиданное впечатление от Италии: пробуждение Равенны после тринадцативековой спячки. Я пошел вдоль канала и оказался на Адриатическом побережье у порта Корсини, недавно расширенного. Теперь он может принимать танкеры, приходящие в E.N.I. со Среднего Востока и из России.

Ближе к закату я успел занять свободный столик в восхитительном кафе на главной площади. Там ко мне присоединился знакомый, живущий в Равенне. Он сказал мне, что объединение уже производит тысячи тонн удобрений, каучука и, конечно же, бензина.

— Кто им владеет? — спросил я.

— Государство, — ответил он.

Государство и Равенну — в моих глазах — представляли до сих пор несколько неспособных и недолго живших императоров, а также экзархов. Теперь о его участии в жизни города свидетельствуют мотороллеры, телевизоры, велосипеды и «фиаты», неожиданно пробудившиеся старые улицы. Индустриализация тем не менее не изменила благородного и романтического облика Равенны. И на самом деле, когда вечером мы сидели в кафе, я смотрел на крепостные стены, на их зубцы, напоминавшие рыбы хвосты, на бледное небо. Из открытых окон выплескивалась музыка, и самый воздух казался магическим. Мы неспешно разговаривали, пока не продрогли, а потом пошли в отель. В маленьком баре познакомились с немецким профессором. Он специально приехал из Мюнхена, чтобы посмотреть местные мозаики.

### 3

Я с удовольствием шел по улице. Колокола призывали прихожан к ранней мессе, женщины-торговки раскладывали на рыночных прилавках овощи и рыбу. Это была деревенская Равенна, такая, какой ее видели прежние путешественники. Такую сцену, должно быть, часто наблюдал Байрон, если рано вставал, хотя в те дни у него был роман с пухлой маленькой графиней Гвиччиоли.

Думаю, уличные базары Италии следует увековечить, прежде чем современный мир от них избавится. Все они разные, хотя и сделаны по одному образцу, так же как и окружающая их среда: собор, баптистерий, кампанила и городская ратуша. Мне хотелось бы, чтобы фотограф, такой же талантливый, как Джорджина Массой, посвятил бы им книгу. Яйца, птица и овощи никогда еще не продавались в такой благородной обстановке. Интересно было бы сравнить лица и рыночные прилавки Мантуи, Кремоны и Болоньи, Равенны, Римини и Падуи. Какие вечные типажи можно увидеть в эти утренние часы, когда солнце спускается с красных черепичных крыш и согревает улицы: лица, будто сошедшие с картин Джотто. Вот они поворачиваются к тебе, отвлекаясь от корзин с помидорами, ты переводишь взгляд с одного лица на другое и вспоминаешь полотна Пьеро делла Франчески, а вон там — Беллини, а здесь поворот головы или поза вызывает в памяти Карпаччо. Вспоминаю, как я старался в римской толпе отыскать персонажи, похожие на Цезаря, а вот в Равенне долго искать не требуется. Можно даже купить дюжину свежих яиц у матери Гракхов. Когда я впервые увидел крестьян Романьи, то почувствовал, что нахожусь в другой сельской местности, в провинции, где живут сильные и яркие люди. Здесь они больше похожи на своих предков, чем итальянцы из других регионов.

Исторический прилив отхлынул от Равенны, как Адриатическое море, оставив после себя полдюжины ветхих кирпичных церквей. Вот так и море, отступая, оставляет микрокосм океана. Странно видеть то, что доходит до нас по прошествии веков. Мы все знаем о стакане воды, из которого не пролилось ни капли во время воздушного налета, такое же чудо и церкви Равенны, пережившие самые страшные исторические события. Дворцы и другие светские здания, построенные

с ними в одно время, стерты с лица земли. Остается только задуматься, уж не оказались ли лучшими охранниками такие странные святые, как Урсицин, Назарий, Цельс, Виталий, во имя которых когда-то и поставлены были эти церкви?

Нигде в мире нет таких реликвий V и VI века. Понять Равенну легче, чем другие итальянские города. Туристу не приходится напрягаться, мысленно перескакивая из одного столетия в другое: все, что ему здесь покажут, укладывается в короткий промежуток времени — полтора столетия, от 400 до 550 года. Я отправился смотреть эти церкви, заранее волнуясь, ведь здания были поставлены и декорированы за сто и более лет до того, как святой Августин отправился обращать саксов в христианство. Буря, которая выгнала последних императоров в Равенну и возвысила город до имперской резиденции, была той же, что выставила римские легионы из Британии и прикончила четыреста лет римского правления. Любопытно: кризис в Равенне вызвал цепную реакцию, которую ощутили в Йорке и Честере.

Мавзолей Галлы Плацидии — маленькое кирпичное здание, стоящее на участке, поросшем грубой травой. Интерьер являет разительный контраст с невзрачной оболочкой. Внутри все покрыто мозаикой — пол, стены, потолок. Сделано это в 446 году. Когда думаешь об этом периоде, предполагаешь, что мозаика должна быть представлена фрагментами, но здесь нет никаких промежутков. Первое мое впечатление — синева, блестящая темная синева, покрывающая потолки, купол, изгибы арок. По синему фону разбросаны золотые звезды и розетки. Такое впечатление, что мозаика меняет цвет и мерцает. Кажется, что ты находишься в волшебном подводном дворце. Уличный свет, заглядывая в окна, лучится, а не светит. До этого момента я один лишь раз по-настоящему ощущал, что

попал в другой мир. Было это много лет назад, в Луксоре, я стоял у гробницы Тутанхамона, прежде чем сокровища были оттуда убраны. Похожее ощущение вызвала у меня и гробница Галлы Плачидии.

Мозаика на небесно-голубых стенах представляет несколько картин. Самое интересное изображение — Христос, безбородый юный римлянин в золотой тоге и в сандалиях. Он сидит среди камней, опираясь на высокий византийский золотой крест. Вокруг него щиплют траву символические белые овцы, похоже, они из стада пасущихся на эмалевых лужайках в нескольких ранних церквях Рима. Апостолы одеты как римские сенаторы. Святой Петр, как считают ученые, здесь впервые явлен с ключами от рая.

Странная мозаика изображает огонь, горящий под огромной решеткой. С одной стороны стоит предмет, напоминающий современный холодильник. Открытые двери демонстрируют полки с четырьмя евангелиями. Это — римский книжный шкаф. С другой стороны святой в тоге, с крестом, закинутым на плечо, торопится, почти бежит к огню. В руке у него толстая рукопись в кожаном переплете, открытая посередине. Всем объясняют, что это святой Лаврентий, идущий к решетке, хотя мне он кажется похожим на рассерженного ортодоксального святого, готового предать огню арианскую ересь.

Под голубыми арками три саркофага. Самый большой, как говорят, принадлежит Галле Плачидии, другой — ее мужу Константину III, правившему лишь с февраля по сентябрь 421 года, а третий — их сыну, Валентиниану III, убитому в 455 году. Рассказ о саркофаге Галлы Плачидии кажется мне нелепостью, тем не менее даже известные историки продолжают его повторять. Рассказывают, что императрица умерла в 450 году, и ее похоронили в парадной одежде, украшенной драгоценностями, причем похоронили сидящей на троне из кипарисового дерева. Утверждают, что тело ее можно

было увидеть сквозь отверстие в саркофаге вплоть до 1577 года, но детям, мол, захотелось рассмотреть мумию получше, и они засунули внутрь факел, при этом содержание гроба превратилось в пепел. История эта всегда казалась мне неправдоподобной. Теперь же я с одного взгляда на гробницу понял, что рассказ сфабрикован: слишком уж маленький саркофаг, чтобы в него можно было поместить тело, сидящее на троне. Я насчитал на мраморе не менее двадцати отверстий — это все работа охотников за сокровищами, которые не оставляли попыток несколько веков.

В мавзолей вошла группа туристов вместе с экскурсоводом. Он выпустил в них очередь из имен и дат, а закончил рассказ все той же самой императрицей на троне.

— А кто она такая — Галла Плачидия? — спросила американская матрона.

— Она была римской императрицей, мадам, — ответил гид, а затем бросил взгляд на часы. — Теперь идем смотреть святого Виталиана!

И поспешил к выходу, увлекая за собой группу.

Галла Плачидия и в самом деле была римской императрицей и дочерью Феодосия Великого. Кроме того, она была сестрой по отцу императору Гонорию, который в возрасте И лет унаследовал слабую западную половину Римской империи. Феодосии, похоже, не передал свою энергию сыну, зато она досталась его дочери. Плачидию захватил в плен Аларих во время похода на Рим в 410 году, и она скиталась вместе с армией варваров по югу, когда Аларих внезапно умер. Галла видела, как его тайно похоронили на дне Бусенто. Воды реки раздвинулись, когда копали могилу, а затем снова сомкнулись. Галла вышла замуж за преемника Алариха — Атаульфа и правила вместе с ним готами, к удивлению римлян. Несколько лет они были счастливы, но потом мужа убили, и Плачидию обменяли на

несколько тысяч телег зерна. Так она вернулась к имперским родственникам. В то время ей еще не было тридцати. Легенда говорит, что она с неохотой вышла замуж за римского генерала, хотя он был сильно в нее влюблен. Плачидия родила ему сына, который в возрасте шести лет стал императором Запада, как и Валентиниан III. В качестве регентши и фактической правительницы Галла Плачидия последующие двадцать лет оказывала мощное влияние на расшатанный западный мир. Из всех церквей и дворцов, которые она построила, сохранился лишь ее мавзолей. Если вы хотя бы раз увидите звездный купол, под которым она предпочла лежать, то поймете, почему Равенна ее не забыла. Она была самой интересной женщиной времен упадка империи и первой из множества тех женщин, кто сыграл значительную роль в истории Византийской эры. Ее дочь Гонория была на нее похожа, только в ее жизни отклики судьбы матери были доведены до крайности. Была ли Плачидия счастлива с готами, мы не можем знать, но ее дочь без колебаний предложила себя в жены дикому Аттиле, вождю гуннов. Для того чтобы заполучить ее и отхватить часть Западной империи в качестве приданого, Аттила пустил на Италию свои орды. Именно тогда Аквилея была разграблена, а жители устремились в лагуны. Как странно: Гонория послала Аттиле свое кольцо, и результатом этого импульсивного поступка стала Венеция!

Я проходил мимо церкви Святого Виталиана, и в этот момент из здания вышла группа туристов. Я услышал, как американская матрона сказала подруге: «Это были такие красивые отношения». — «О ком это она? — задумался я. — Уж наверное, не о Юстиниане и Теодоре. А может, о Плачидии и Атаульфе, или о Данте и Беатриче? Или даже о Байроне и Терезе!»

Кто-то может подумать, что книжные иллюстрации способны познакомить с мозаикой Равенны. Никакие иллюстрации не могут передать дух этих стилизованных декораций, а что уж говорить о сиянии! Кажется, что маленькие стеклянные и каменные кубики имеют собственную подсветку. Думаю, объяснить это можно мастерством обработки кубиков: они отражают свет под различными углами, потому, наверное, и цвет за день много раз меняется.

Накануне распада Империи Равенна по-прежнему сохраняла римскую наружность. Святые наряжены в белые тоги римских сенаторов; Христос — молодой, гладко выбритый Христос Катакомб; и так же, как и в Катакомбах, распятие не считается здесь достойным объектом искусства. Я увидел замечательную мозаику крещения на потолке арианского баптистерия. Святой Иоанн, одетый в шкуры, является уже отшельником средневекового искусства, а Христос — безбородый юноша — стоит в Иордане по пояс, и — удивительная языческая черточка — старый бог реки, сам Иордан, принимает участие в церемонии. Изображен он как типичное римское божество — с курчавой бородой и длинными белыми волосами, в которых запутались две красные клешни краба. Эта мозаика меня завороживала: святой Иоанн унес мои мысли в будущее, к Джотто. Спаситель напомнил мне о Катакомбах, а Иордан унес в прошлое, к Олимпу.

Такой же удивительной показалась мне мозаичная фигура Христа в зале архиепископской часовни. Мне сказали, что датируется она 500 годом. Спаситель представлен здесь как римский офицер, в воинских доспехах. Он молод, у него еще нет бороды. На нем обычный бронзовый нагрудник и военный плащ. В руке



держит открытую книгу. Можно прочесть слова, написанные по латыни: «Я есмь Путь, Истина и Жизнь». Ноги в римских армейских сандалиях, одна нога стоит на голове льва, а другая — на змее. Такого необычного Христа я нигде больше не видел. Возможно, это одно из самых ранних сохранившихся изображений милитаристской церкви. Невольно представил себе прихожанина V столетия. Как должна была озадачить его эта ранняя римская версия Спасителя бок о бок с совершенно другим, бородатым Христом Византийской церкви, который утвердился в искусстве и стал с тех пор каноническим.

Чрезвычайно впечатляет изображение длинной процессии святых, с одной стороны мужчины, с другой — женщины. Оно украшает неф церкви Святого Апполинария. Каждый святой держит венец мученика, и каждый идет по улице, засаженной персимоном — любопытный африканский штрих для сцены, происходящей на Небесах. Губы слегка улыбаются, но глаза по-прежнему темные и загадочно-непроницаемые.

Доктор О. М. Дальтон обратил внимание на то, что некоторые святые идут на пальцах. Существует мода на все, в том числе и на походку, и возможно, что в V столетии священнослужители ходили на носочках. Внимание мое привлекла еще более необычная вещь. Это можно увидеть не только в церкви Святого Апполинария, но и в других храмах Равенны. Я обратил внимание на изображение людей в тогах, на то, как они держат предметы в левой руке. Для нас было бы естественным — во всяком случае, мы постоянно видим это движение на сцене: актеры откидывают тогу, чтобы взять что-то в левую руку. Но римляне, во всяком случае римляне Равенны, не всегда это делали: предмет почему-то держали в руке, накрытой тогой. Так, например, на мозаике церкви Апполинария святые держат мученические венцы в закрытых тогой руках. В

Архиепископском дворце Христос держит книгу невидимой левой рукой: она у него задрапирована складками военного одеяния. В арианском баптистерии та же история: ключи у святого Петра находятся в задрапированной руке; а в церкви Виталиана у святого Луки Евангелие тоже выглядывает из-под складок материи. Возможно, когда-нибудь я повстречаю эксперта в области римской одежды, и он сумеет объяснить мне, было ли это продиктовано этикетом того времени или какими-то церковными правилами.

По почте мне пришел английский журнал со статьей о падении Римской империи. Я показал его немецкому профессору, остановившемуся в том же отеле. «У меня тоже есть эта статья!» — воскликнул он и показал немецкий журнал. Каждый год выявляются новые свидетели, но от вынесения вердикта мы по-прежнему далеки. Аргументы содержат все признаки вечности. Автором статьи в моем журнале оказался профессор Дж. Саундерс из Новой Зеландии. В статье он спрашивает: «Вопрос заключается в том, является ли объективным упадок империи или же имеет место радикальное изменение взгляда людей на поведение предыдущего поколения и объявление его недееспособным?» Всегда приятно, когда твое мнение разделяет ученый человек, и я продолжил чтение: «Я не верю в то, что Рим обречен был на падение, или в то, что Темные века были необходимы для перестройки цивилизации в Европе».

Тем не менее западная часть Империи прекратила свое существование в Равенне в 475 году, когда юноша по имени Ромул Августул был свергнут с престола вождем готов. Ни один очевидец не оставил свидетельства об этом роковом моменте. Мы ничего не знаем, за исключением того, что мальчику позволено было получить пенсией и удалиться на виллу, на юг.

Спасло его то, что он был еще очень молод и хорош собой.

У юноши не было прав на императорский престол. Его выдвинул амбициозный отец, который — как ни странно это прозвучит — был секретарем Аттилы, итальянцем по происхождению. Интересно, что случилось с последним цезарем? Дожил ли он до зрелых лет? Это, впрочем, маловероятно: слишком уж важный пост занимал, так что, скорее всего, его убили.

Пятидесятилетнее правление готов оставило после себя в Равенне один значительный памятник — усыпальницу Теодориха. Находится она в миле от города, к ней ведет заросшая гравийная тропа. Ротонда из тяжелого камня установлена в болотистой местности. Внутри вы ничего не увидите, но гид призовет вас восхититься крышей, высеченной из монолитного каменного блока, а пока вы будете на нее смотреть, расскажет историю о том, что Теодорих так боялся грома, что построил себе звуконепроницаемое убежище и укрывался в нем во время грозы. Говорят, что в сравнительно недавние времена рабочие обнаружили останки предположительно этого гота. Рядом с останками нашли золотые латы, меч и шлем, инкрустированный драгоценными камнями.

Теодорих, как Аларих и Атаульф, принадлежал к культурной части варваров. Говорят, что власть он захватил, пригласив своего друга, гота Одоакра, на обед и убив его собственной рукой, сделав неприятное замечание, что у того нет костей. Однако, за исключением этого дикого поступка, Теодорих правил мудро и заслужил репутацию цивилизованного гота, который привел Рим в порядок. Он даже восстановил старинный пост «хранителя статуй», наладил производство кирпича, на каждый кирпич поставил штамп со своим именем. Археолог Ланчани писал: «Не было еще случая, чтобы при раскопках больших зданий

Римской империи я не находил кирпичей Теодориха». И в то же время правитель, который любил оставлять свое имя, не был способен написать его сам: когда требовалось подписать документ, он использовал золотой трафарет.

После смерти Теодориха император Юстиниан начал кампанию по возвращению захваченных варварами территорий Италии и Африки. Несколько лет борьбы, и великий полководец Велизарий разбил готов, и Равенна, открыв новую страницу своей истории, стала столицей экзарха или вице-короля, правившего от имени византийских императоров. От этого времени в Равенне остался отличный памятник, возможно, самый лучший в городе — церковь Святого Виталиана. Как только Юстиниан завладел Равенной, вместе со своей супругой Теодорой, он поспешил освятить эту церковь, которая, вероятно, была построена и декорирована его собственными архитекторами. Освящение состоялось в 547 году, и все, кто когда-либо открывали книгу по истории искусств, вспомнят прекрасную мозаику этой церкви. Там вы увидите Юстиниана и Теодору в роскошных одеяниях в окружении солдат и придворных. Лучшего императорского портрета того времени вы не найдете.

С первого же взгляда меня поразило великолепие интерьера. В нем ощущалась радостная торжественность, чувствовалась попытка представить на земле золотые райские залы. Солнечный свет просвечивал сквозь тонкие мраморные и алебастровые плиты. Куда бы ни падал взор, всюду я видел цветной мрамор и сияющую мозаику. Казалось, я вошел в один из залов дворца византийского императора. Я читал о них в книгах: полы там были из позолоченного серебра, а двери — тоже из серебра, слоновой кости и эмали.

Я вернулся в мавзолей Галлы Плачидии и постоял там. От церкви Святого Виталиана мавзолей отделяло

всего сто ярдов и один век. Интересно все-таки: оглянешься вокруг, и мысли твои уходят в Рим и раннее христианство, а потом пройдешь сто ярдов, и Рим остается позади, а ты уже устремляешься на восток, в Византию.

Мозаичные портреты Юстиниана и Теодоры находятся на стенах апсиды. Император с левой стороны. Он стоит в короне и в пурпурном императорском одеянии, в руке у него золотая чаша, которую он, по всей видимости, собирается принести в дар новой церкви. По бокам от него придворные в белых далматиках, священники в сутанах и военные, его личная охрана. Процессия еще не вошла в церковь, иначе император снял бы корону. На стене напротив — Теодора и ее придворные дамы. У императрицы на голове корона, каскадом спускается крупный жемчуг. На подоле пурпурной мантии вышиты три фигуры волхвов в персидских одеждах. Изображение скопировано с мозаики церкви Святого Апполинария. У императрицы в руках кубок. Возможно, в нем золото, которое она приносит в дар новой церкви. Гофмейстер откинул занавес у входа в здание. По левую руку от Теодоры стоит группа придворных дам, одетых в роскошные одежды, однако не настолько прекрасные, чтобы затмить императрицу. Интересно, подумал я, вон та строгая дама, что стоит сразу за императрицей в белой накидке поверх алого платья, уж не та ли неприятная Антонина, жена Велизария, женщина, чье происхождение и прошлое были такими же сомнительными, как у самой Теодоры?

Если портреты эти правдивы — считается, что так оно и есть, — Юстиниана и Теодору изобразили людьми молодыми, а ведь в год освящения церкви Юстиниану было уже шестьдесят четыре года, да и Теодора была немолода. Это был последний год ее жизни.

Карл Великий был так потрясен красотой церкви, когда стоял здесь через два с половиной столетия, что даже попытался воспроизвести ее в Германии, в капелле Карла Великого (Э-ля Шапель) в Аахене, но эффект был не тот: церковь оказалась приземленной и тяжелой.

Выходя, я заметил любопытную вещь. В церкви собралась лужица, и я решил было, что появилась она от дождя, пока не понял, что она просочилась через фундамент. Это окончательное свидетельство того, что Равенна была когда-то городом каналов и лодок и что болото никуда не ушло. Вот почему летняя трава в Равенне такая зеленая. Все дело в болоте, защитившем пятнадцать столетий назад последних императоров.

Примерно в трех милях от Равенны вздымается над плоской землей мрачная старая церковь. Это церковь Святого Апполинария, последняя реликвия процветавшего морского порта Класа, основанного некогда Августом в качестве опорного пункта кораблей Адриатического флота. Все исчезло — и доки, и гавань, и дома. Осталась только базилика. Круглая кампанила похожа на башни Ирландии. Она стоит возле церкви, и, как говорят, построили ее на том месте, где был раньше маяк Класа. На крыльце — мемориальная доска с надписью, сделанной по-английски, другой такой в Равенне больше нет. На доске следующий текст:

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ПЕНЯКОФФ (ПОПСКИ).  
(1896-1951),

подполковника британской армии, кавалера ордена «Военный крест», благодаря которому базилика была спасена во время боев за освобождение Равенны (18-19 ноября 1944 г.). Муниципалитет присвоил ему звание почетного жителя города. Настоящая доска помещена здесь благодарными жителями Равенны с

согласия вдовы и друзей покойного 15 мая 1952 г.

На последних страницах книги «Тайная армия» («Private Army»), описывая подвиги отряда молодых британских солдат в тылу врага, Пенякофф упомянул и этот инцидент. Услышав, что по кампании должны открыть артиллерийский огонь, посчитав ее за подозрительный наблюдательный пункт немецкой артиллерии, и узнав, что здание знаменито своей мозаикой, он послал сюда разведывательный отряд. «Я доказал, что слухи ни на чем не основаны, — писал он, — и спас церковь». Он заметил, что это был «акт милосердия, первый за длинную карьеру разрушений».

За церковью раскинулся знаменитый сосновый лес, который так любил Данте. Лучший свой рассказ о привидениях Боккаччо тоже связал с этим лесом. Байрон любил по вечерам ездить здесь верхом. Теперь он не такой густой, каким был во времена Байрона, но все равно тянется на мили. По вечерам огромные темные сосны кажутся загадочными, между их стволами можно разглядеть волнуемое вдалеке Адриатическое море. Иногда Байрон ездил здесь с хорошенькой молодой графиней, Терезой Гвиччиоли. Она была плохой наездницей. «Не могла справиться со своим конем, он бежал за моей лошадью, — писал поэт, — и пытался укусить ее. Тогда Тереза начинала визжать. В высоком цилиндре и небесно-голубой амазонке она выглядела довольно нелепо, смущала меня и наших грумов. Беднягам приходилось нелегко: они постоянно удерживали ее от падения. К тому же и платье ее требовалось защищать, оно норовило зацепиться за сучья, того и гляди порвется». Байрон ездил сюда с Шелли поупражняться в стрельбе. Оба были хорошими стрелками. Иногда Байрон спешивался и целился в

тыкву, в другой раз подбрасывал вверх серебряные монеты: в этом случае за ним бежала толпа мальчишек.

Во времена Байрона Равенна занималась виноделием, производством шелка и сбором пиноли, маленьких маслянистых пиниевых орешков, которыми итальянская кухня с незапамятных времен приправляет кушанья. Путешественники прошлого столетия описывали, как местные подростки залезали на сосны и стряхивали на землю шишки. Затем вынимали из них орешки, но сами шишки не выбрасывали, а сжигали зимой в жаровнях.

Я полагаю, что самым почитаемым местом для жителей Равенны является гробница Данте. Поэт провел здесь последние три года и умер от болотной лихорадки. То, что город подружился с великим соотечественником, наполняет сердце Равенны гордостью, и чувство это ничуть не убывает от сознания того, что раскаивающаяся Флоренция, стараясь загладить свою вину за то, что выставила поэта в свое время из города, хотела бы забрать его к себе.

Тем не менее кости его до сих пор покоятся — как уверил меня человек, поклявшийся, что сам их видел, — в саркофаге в маленькой классической усыпальнице, построенной двести лет назад. Борьба за них продолжалась несколько столетий, но Равенне удавалось отбить все усилия Флоренции. В 1519 году настал опасный момент. В то время на папском престоле был представитель рода Медичи, и флорентийцы направили посланцев с папским предписанием вернуть останки. Саркофаг открыли — он оказался пуст! Кто-то заранее предупредил. Однако, спрятав кости от Флоренции, Равенна сама умудрилась их потерять. Так они и считались утерянными в течение трехсот пятидесяти лет. До 1865 года их никто не видел, и вдруг рабочие, проводившие в соседней часовне какой-то ремонт, обнаружили деревянный ящик с полным



скелетом и надписью, которая гласила: «Кости принадлежат Данте». Медики провели экспертизу и подтвердили подлинность останков. Кости на три дня выставили для всеобщего обозрения, и люди приходили посмотреть на них.

Во время последней войны кости снова убрали в безопасное место, а потом вернули в саркофаг.

## 5

Из Равенны я выехал в Феррару. Расстояние между этими городами — сорок шесть миль. Дорога плоская, ничем не примечательная, со сточными канавами, пересекаемая в нескольких местах железнодорожными ветками. Феррара находится на северо-западе, и главная дорога проходит по долине, которую заливают паводковые воды По и Адидже. На востоке раскинулся почти незнакомый район, заселенный мелкими фермерами и рыбаками. Береговая линия на юге — продолжение венецианских лагун.

В уединенном мире, с песчаными отмелями и островами, с бухтами и речными дельтами, где гнездятся дикие птицы и бесшумно проплывают в каноэ рыбаки, вполне мог бы сохраниться человек из неолита. Месил бы грязь, охотясь за ракообразными, или вытаскивал сети из лагун. Всего в нескольких милях отсюда к северу цивилизованное общество празднует кинофестиваль, а здесь, среди внутренних озер, вдоль поросшей камышом береговой линии, о современном мире давно забыли и жизнь продолжается в одиночестве. Поэт мог бы повстречать здесь призрак греческой галеры, движущейся в утреннем тумане. Долина — кладбище, на котором упокоились те, чья жизнь прошла задолго до появления Венеции, да и Равенны. Города встречаются здесь не часто, дорог

мало, обычного путешественника привлечь нечем, да и зачем ему сюда ехать, когда совсем рядом так много знаменитых и привлекательных мест.

Одно из примечательных мест в этой дельте — Комаччио, бедная, но интересная маленькая Венеция, чьи каналы по осени забиваются угрями, отправляющимися в долгое путешествие к Саргассову морю. В этот момент все население борется с нашествием столь успешно, что сушеные угри Комаччио известны всей Италии. На месте их варят, нарезают на куски и жарят вместе с лавровым листом или подают, как кебабы, на шампуре, хорошенько полив оливковым маслом, жиром и приправив розмарином. Дальше к северу есть маленький город Адриа, он и дал свое имя Адриатическому морю. Бенедиктинские монахи вынуждены были в IX столетии покинуть эти места из-за малярии. Некоторые энтузиасты все же приходят туда, чтобы взглянуть на мозаики и вспомнить Гвидо д'Ареццо, монаха, который реформировал нотное письмо.

По дороге в Феррару я проехал через город Арджента, который немцы затопили зимой 1944 года, пытаясь остановить продвижение Восьмой армии. Приехав в Феррару, снова невольно вспомнил о войне. Я ожидал увидеть здесь город, прославившийся в эпоху Ренессанса своими прекрасными дворцами и параллельными улицами, а вместо этого увидел новые многоэтажные дома и фабрики, построенные на пустырях, что остались после бомбежек. Стирающее все границы уродство этих бетонных коробок нигде так не бьет в глаза, как в городе с архитектурой Ренессанса. Новый отель мне все же понравился: приятный, оборудованный кондиционерами. А впрочем, хорошо, что бомбы не уничтожили собор и замок.

В центре города стоит старый мрачный замок Феррары, окруженный рвом, через который переброшен

подъемный мост. Когда я перешел через мост и нашел зрителя, то подумал, что в таком угрюмом месте наверняка услышу о подземной тюрьме.

В огромном зале зритель обратил мое внимание на старое зеркало, прикрепленное к стене под странным углом. Меня попросили посмотреть в него. В зеркале видно окно на противоположной стороне двора. «Заглянув в это зеркало, — бодро сообщил мне зритель, — Николо III, маркиз Феррары, увидел в окне свою молодую красавицу жену, Паризину Малатеста, в объятиях собственного сына Уго».

Итальянские гиды обожают рассказывать драматические истории, при этом пожимают плечами, а иногда, как в Ферраре, позванивают ключами и приглашают спуститься и посмотреть на темницу, куда заключены были Паризина и ее пасынок, после чего обоих казнили. Есть, однако, и еще одна драма, быть может, более страшная, чем эта. В подземную темницу пожизненно посадили Джулио и Ферранте д'Эсте за то, что те готовили заговор против своего брата Альфонсо I, который в 1505 году был у власти. За несколько лет до этого Альфонсо женился на Лукреции Борджиа, она привезла с собой из Рима необычайно привлекательную кузину по имени Анджела Борджиа. Эта молодая женщина вскружила головы князьям Эсте, включая и кардинала Ипполито I, в характере которого не было ничего от священника. Карьера Ипполито была стремительной даже по стандартам Ренессанса. Тонзуру он получил в шестилетнем возрасте; в одиннадцать сделался архиепископом в Венгрии; в четырнадцать ему вручили кардинальскую шапку! Однажды, когда он флиртовал с Анджелой Борджиа, она легкомысленно и, конечно же, шутя, сказала, что весь он не стоит глаз своего брата Джулио. На следующий день на Джулио напала группа бандитов, и кардинал при этом присутствовал. Он видел, как эти головорезы ослепили

брата. Истекающего кровью Джулио доставили в Феррару. Он кричал и требовал, чтобы Ипполито осудили. Докторам удалось спасти один глаз Джулио. Вместо того чтобы наказать Ипполито по всей строгости закона, герцог просто его выслал. Тогда Джулио вступил в сговор с другим братом, Феррантэ. Они решили убить Альфонсо и посадить Феррантэ на трон. Когда заговор был раскрыт, Феррантэ упал к ногам брата и просил о прощении. Альфонсо был человеком властным, с бешеным темпераментом. Он ударил брата по лицу посохом и вышиб ему глаз. Так двое братьев ослепли каждый на один глаз. Не удовлетворившись этим, Альфонсо распорядился предать смерти обоих. Во внутреннем дворе замка была разыграна сцена экзекуции, но в последний момент герцог заменил смертный приговор на пожизненное заключение.

Я ходил по огромным залам с высоченными потолками и все удивлялся, как семейство Эсте устраивало здесь балы и маскарады, банкеты и прочие увеселительные мероприятия? Ведь все они знали, что под их ногами в полной тишине сидят два полуслепых князя. Может, кто-нибудь осмеливался потихоньку спуститься к ним и дать кусок жареного павлина? А несчастные арестанты, знали ли они, что творится над их головами? Мне показали две ужасные крошечные камеры, находящиеся ниже уровня рва, окружающего замок. Я никак не мог поверить в то, что здесь они и сидели. Да разве можно выжить в таком месте, да еще и пережить осудившего их человека?! Они провели здесь двадцать восемь лет, когда их брат Альфонсо умер и на троне его сменил сын, Эрколе II, двадцати шести лет от роду. Возможно, вы подумаете, что он выпустил двух своих пожилых дядюшек — Феррантэ тогда исполнилось пятьдесят семь, а Джулио был моложе его на год. Ничего подобного он не сделал. Во время его правления Феррантэ умер. Было ему тогда шестьдесят три года, а

некогда ясноглазый Джулио продолжал сидеть в темнице. Он был все еще жив, когда умер и Эрколе II. К власти пришел его сын Альфонсо. Тому на тот момент тоже было двадцать шесть лет. Он, однако, оказался более милосердным: вспомнил старика, сидевшего в подземной тюрьме, незаконнорожденного сына своего прадеда. В день своей коронации он отдал приказ отворить двери темницы. Джулио тогда был восемьдесят один год. И здоровье, и настроение его были отличными. Феррара с благоговейным ужасом увидела возвращение к жизни старого одноглазого князя. На нем была одежда прошлого века, он с огромным интересом расспрашивал о мужчинах и женщинах, которых давно не было в живых. Вспоминал о Лукреции Борджиа и блестящих ее волосах, а она вот уже сорок лет была в могиле. За ним ходили ликующие толпы. Он был огромным мужчиной и ездил на самой большой лошади, которая была в конюшне. Он все ходил по Ферраре, стараясь узнать места своей юности. Рассказывают, что даже монахини, жившие в строгом уединении, приглашали его в свои кельи, разрешали обнять себя и дарили ему целомудренные поцелуи. Увы, такая свобода оказалась роковой. Истошив себя радужными планами, Джулио скоропостижно и неожиданно скончался. Было это накануне поездки в Рим. На свободе он провел восемнадцать месяцев.

Князья Эсте — семья чрезвычайно интересная, так что было бы, пожалуй, немного несправедливо судить о них по этим двум большим скандалам. В целом они не были столь уж жестоки. Они стали первыми городскими аристократами, в 1208 году их, по решению коммуны, пригласили управлять Феррарой. Имя свое семья получила от названия древнего римского города Атеста, впоследствии сокращенного до Эсте. В этом городе, находившемся в нескольких милях от Падуи, у них был замок.

Даже в эпоху нестрогой морали князя Эсте выделялись огромным количеством прижитых ими незаконнорожденных детей. Когда Пий II в 1459 году посетил Феррару, то обратил внимание, что ни один из семи князей, принявших его у себя дома, не был рожден в законном браке. Самым большим сладострастником был Никколо III. Как говорит Уго Калеффини в рифмованной истории этой семьи, у Никколо было восемьсот любовниц, но была бы и тысяча — добавляет он одобрительно, — не прерви смерть его активную деятельность. Пий II, не одобрявший Никколо — «веселого похотливого толстяка», сказал, что у него была тьма сожительниц и в этом отношении он разборчивостью не отличался. Тем не менее странно, что признал он лишь около тридцати незаконных детей. Судьба выкидывает обычные фокусы: этот известный всем распутник требовал тем не менее от других абсолютной верности. «Видели бы вы его, — пишут хроникеры, — как он шагал по залам своего замка, в ярости кусая скипетр». В ту ночь он приказал казнить своего сына Уго и жену Паризину. Правители Италии никогда не делали различий между законными и незаконными детьми: все они росли вместе, жили в одних детских, учились у тех же преподавателей. Иногда незаконные дети по завещанию отца наследовали трон. В таких случаях принимали во внимание старшинство, а не законность происхождения. В Ферраре это было так обычно, что редкий правитель рожден был в законном браке. Так все и продолжалось вплоть до смерти в 1471 году герцога Борсо д'Эсте. Во времена же правления Никколо старый замок напоминал, должно быть, детский сад. У герцога часто кончались деньги: огромный его выводок временами жил в сказочной роскоши, однако бывали времена, когда они спали на соломе, но при этом укрывались одеялами из золотой парчи. Юношам денег давали в обрез, и в

университете им запрещали приглашать друзей на обед. Сам герцог всегда появлялся на людях в великолепной одежде.

Никколо III можно отнести к тем ренессансным персонажам, которые одной ногой стояли в Средневековье. Будучи молодым человеком, он совершил паломничество в Святую Землю в компании с несколькими юношами из благородных семей. По Адриатике они переправились в венецианской галере, заглянули в Корфу, слушали там пение монахов. В Венеции ужинали с губернатором в апельсиновом саду. Об этом очень хорошо написал один из спутников Никколо. Когда они в 1413 году приехали в Иерусалим, после мессы у Гроба Господня Никколо присвоил своим спутникам рыцарское достоинство. Затем они отправились в полковую часовню, где он вручил им золотые шпоры. Весьма странно, что сам Никколо золотыми шпорами не обзавелся. Он позволил лишь надеть шпору на свой левый сапог и заявил, что другую шпору примет в усыпальнице святого Якова в Галиции. Прошло несколько лет, и этот средневековый персонаж сделался ренессансным князем и правителем, одним из первых правителей Северной Италии, который интересовался Древней Грецией. Не кто иной, как Никколо уговорил первого великого коллекционера греческих манускриптов Джованни Ауриспу приехать в Феррару. Он же возобновил работу древнего университета и привлек в свой город знаменитого врача Падуи — Микеля Савонаролу, деда Джироламо Савонаролы. Когда сыну Никколо, Леонелло, понадобился учитель, отец подыскал для него одного из первых итальянцев, учившихся греческому языку в Константинополе, Гварино да Верона, и так щедро обустроил его пребывание в Ферраре, что учитель остался там на всю жизнь. Странно, что сексуальные излишества герцога настолько ослепили последующие

поколения, что они не заметили других сторон характера Никколо и не оценили его достижения. Жаль, что колоритная фигура этого представителя раннего Ренессанса вспоминается лишь в связи с незаконнорожденными детьми.

Наследовали его правление двое незаконных детей — Леонелло и Борсо, а за ними — редкий случай — законный сын Эрколе I, отец Беатриче и Изабеллы д'Эсте. Его считают героем Феррары. В Модене есть хороший портрет работы Доссо Досси. Он здесь удивительно напоминает старого вождя шотландского племени, возможно, благодаря берету и спокойному выражению лица. В Национальной галерее в Лондоне есть портрет преемника Никколо — Леонелло д'Эсте. Это — работа Ориоло; Леонелло там изображен в профиль. В галерее Бергамо вы можете увидеть еще один его портрет работы Пизанелло. На этой картине его также изобразили в профиль, только с другой стороны. Это высокий худощавый молодой человек с копной каштановых волос, интеллигентного вида, с длинным носом, почти без переносицы. Как это часто бывает с сыновьями «несдержанных» отцов, он был образцом трезвости и морали. Судьба наделила его девятью счастливыми годами правления. Он был одним из первых ученых князей. Так и видишь его, прогуливающимся по роще в сопровождении философов-любителей. Умер он в возрасте сорока двух лет, и за ним последовал Борсо, веселый, неграмотный, популярный в народе правитель. Он — как истинный аристократ — отводил литературе скромное место, но не запрещал ее. Во время правления Леонелло первые английские студенты, знавшие греческий язык, приехали в Феррару, чтобы послушать лекции в то время уже старого Гварино да Верона. Борсо, веселый (по словам хроникеров) герцог, всегда улыбался, и некоторые его



улыбки прилипли к стенам палаццо ди Скифанойя, я сам их там видел.

Феррара — удивительное место для тех, кто не прочь предаться морализаторству и поразмышлять о судьбе памятников старины. Скифанойя — единственное уцелевшее здание из построенных князьями Эсте в Ферраре прекрасных дворцов. Исчез и знаменитый замок Бельфиоре с великолепными садами. Там Бенвенуто Челлини работал над серебряным кувшином для кардинала Ипполито, стрелял павлинов, одичавших и переселившихся на деревья. Слово «скифанойя» означает «нескучное», это итальянский эквивалент Сан-Суси. До последнего времени там была табачная фабрика. Потому и приятно, что улыбки герцога Борсо до сих пор можно различить на фресках среди трещин, пыли, реставрационных работ и других событий времени. Мы видим учтивого человека с гладким лицом, сидящего на красивом коне. Его сопровождают элегантные высокомерные придворные в византийских красных фесках. На этой же фреске крестьяне выполняют обычную свою работу: кто сеет, кто обрабатывает виноградники, а Борсо, улыбаясь, верхом на коне выезжает поохотиться, и его сопровождают пятьсот аристократов, трубачи, охотники с собаками и индийцы, отвечающие за охоту на леопардов. Одна из фресок, что сохранилась лучше других, изображает герцога вместе с его любимым шутом Скокола, уродливым маленьким человечком с бычьей шеей, который — сразу видно — просит его о чем-то. Скокола постоянно нуждался в деньгах, вот и здесь, похоже, пытается выманить из герцога еще какую-то сумму.

Увы, очаровательные фантазии придворных художников бледнеют по сравнению с болезненными реальностями истории, ибо эта некогда плодovitая семья закончила пустой колыбелью. Можно представить себе призраки прошлого, глядящего в недоумении на

Альфонсо II, несчастного последнего герцога Феррары. Женился он три раза, и трижды двор посещали надежды, пока не настал момент, когда никто больше и не думал о пустой колыбели. Альфонсо II похож был на заколдованного человека, потому что жил под постоянной угрозой. Если он не произведет наследника, герцогство снова перейдет в безраздельную собственность папы, и ни он, ни его дипломаты не смогут помешать Ватикану в давнем стремлении завладеть Феррарой. Наследниками выдыхающегося герцогства были Цезарь, внук Альфонсо I, и красавица Лаура Дианте, на которой он, как говорят, женился на смертном одре. Но Ватикан отказался признать законность этого брака, и это привело к тому, что герцогство, так часто переходившее к незаконнорожденному сыну, было конфисковано в отсутствие законного наследника.

Конец рода Эсте в Ферраре не сопровождался обычными сценами безумия или обнищания. Герцогство исчезло подобно лайнеру, наскочившему на айсберг и ушедшему на дно с непогашенными огнями и играющим оркестром. Не успел Альфонсо умереть, как был назначен папский посол. Так начались несколько столетий дурного администрирования. Земля снова превратилась в болото, а несчастные ее обитатели оглядывались на герцогскую историю как на золотой век. Семья вместе с архивами переместилась в Модену, где продолжили свое существование потомки Альфонсо и Лауры Дианте. Они сделали герцогами Модены, вот почему сегодняшний путешественник находит библиотеку Эсте не в Ферраре, как и следовало бы ожидать, а в Модене. В 1658 году, через пятьдесят один год после обрыва прямой наследственной линии, у правящего герцога Модены Альфонсо IV и его жены Лауры Мартиноцци-Мазарини родилась дочь. При крещении ей дали имя Мария Беатриче д'Эсте. Она

стала Марией Моденской, а в английской истории — супругой Якова П.

## 6

Юрист, к которому мне дали рекомендательное письмо, оказался приятным молодым человеком, на вид двадцати с чем-то лет. Он недавно защитил диплом в Болонье. Худощав, высок, темноволос. Как и многие итальянцы, он словно бы вышел из рамы старинной картины, что-то вроде младшего придворного или воина, вооруженного аркебузой, впрочем, он мог бы оказаться и лютнистом. Он мне сразу же понравился, я обнаружил в нем болезненные симптомы комплекса неполноценности, так ранящие нежную юную душу. С юными юристами часто случается, что после сдачи экзаменов они оказываются не в зале суда, где могли бы произносить пламенные слова в защиту своего клиента, а на шатком стуле в отдаленной комнате конторы. Там им доверяют наклеивать марки на конверты, а ведь это они прекрасно могли бы делать и без диплома. Моего юного друга посылали иногда собирать долги, и мы с ним это делали вместе. Ходили по глухим улицам и вели длинные разговоры с жильцами арендуемых квартир.

Как-то утром мы зашли в феррарский собор — готическое здание, с Мадонной, что сидит на троне над западным входом. С наружной стороны собор произвел на меня сильное впечатление: внушительное и нарядное здание, а вот интерьер разочаровал. Мы поднялись по лестнице к кафедральному музею и были вознаграждены. Я увидел два шедевра Козимо Тура: «Святой Георгий, освобождающий принцессу от дракона» и изысканное «Благовещение». Эту картину обрамляла ренессансная арка.

Затем пошли дальше, собирая плату или обещания, и приблизились к дому, который поэт Ариосто построил, получив гонорар за «Неистового Роланда». На здании знаменитая табличка, на которой по-латыни выбиты слова поэта о том, что здание небольшое, но ему подходит и куплено оно за собственные деньги. «Это мой дом», — заключает он. Меня эта табличка тронула. Я вспомнил, как поэт однажды сказал, что дворцовому банкету он предпочтет домашний ужин из вареной репы. Ко двору он относился с ненавистью, которая в XVI веке отличала благородного человека, вынужденного зарабатывать себе на пропитание. Не любил он также и опеку, и ему можно посочувствовать, ибо четырнадцать лет он находился в распоряжении неприятного кардинала Ипполито I. Мне нравятся владельцы старинных английских замков: их обитатели привыкли к тому, что по их поместьям бродят незнакомые люди. Аристократы занимаются своими делами, словно чужаки — невидимки. Мы посмотрели на маленький, окруженный стеной сад с другой стороны дома. Там Ариосто, изобретательный не только в поэзии, использовал собственные способы ухода за растениями. Он был одним из тех писателей, ненавистных издателям, которые без конца переписывают свои произведения. Вот и садовником он был таким же беспокойным, даже выкапывал семена, чтобы посмотреть, прижились они или нет. Мой юный друг привел меня в университет. В это время из прекрасного старого дворца, который он занимал несколько столетий, университет собирался переехать в новые помещения. Напротив фрески XVI века, изображавшей рай, сидел носильщик. Он поднял глаза, узнал молодого юриста и махнул нам рукой в сторону мраморной лестницы, обрамленной бюстами цезарей. Я заметил, что все они — где только мог пройти карандаш — украшены были усами. Я остановился, глядя на преображенного Юлия Цезаря. Императора нарядили

в гражданский костюм и цилиндр, сунули ему свернутый зонтик. В таком виде его без разговоров пропустили бы в любой офицерский клуб Лондона. Эспаньолка весьма украсила толстое капризное лицо Нерона, хотя он по-прежнему выглядел человеком ненадежным и вполне мог бы оказаться профессиональным политиком или обманщиком-финансистом. Длинные свисающие усы Веспасиана выявили солдатскую сущность и превратили его в римского «старину Билла». [\[70\]](#)

В конце длинного зала, в библиотеке, мы увидели мраморную гробницу Ариосто, которую один из наполеоновских генералов доставил сюда в 1801 году во время французской оккупации из развалившейся церкви. Гробница полностью закрывала собою торец зала и выглядела вполне уместной. Рядом, в застекленном шкафу, на куске выцветшего бархата лежали костяшки пальцев поэта. Мне объяснили, что во время эксгумации профессор анатомии положил их потихоньку в карман, а потом в завещании сознался в краже и оставил кости библиотеке. С огромным интересом я смотрел на первую рукопись «Неистового Роланда». Так много исправлений я никогда еще не видел. Ариосто знал заранее, что будет вносить в текст изменения, а может, и вовсе его переписшет, и поэтому использовал только правую сторону листов, а левую оставлял для правки. Он потратил несколько лет на редактуру поэмы, почерк у него был четкий, уверенный. Первое издание напечатали в Ферраре в 1532 году. Существует перевод поэмы на английский язык. Сделан он сэром Джоном Харрингтоном в 1591 году, и об этом есть интересный рассказ.

Родители Харрингтона по распоряжению Елизаветы посажены были в Тауэр. Став королевой, она вознаградила их за лояльность, сделавшись крестной матерью их сына Джона. Отучившись в Итоне, он продолжил образование в Кембридже. Там он изучал

право, но практически им не занимался. Затем выучил итальянский язык. Двор знал его как остроумного, но порочного молодого человека. Вздумав позабавить фрейлин Елизаветы, он перевел двадцать восьмую главу «Неистового Роланда» — историю о Джоконде. Перевод этот случайно попал в руки королеве. Она пожурела его за развращение девушек, за то, что для перевода он выбрал самые непристойные стихи поэмы. В качестве наказания отправила его в деревню и запретила возвращаться в город до тех пор, пока он не переведет всю поэму. Оказывается, мы обязаны Елизавете тем, что получили английскую версию Ариосто. (Харрингтон известен еще одним добрым делом: он изобрел ватерклозет.)

Библиотека обладает коллекцией, в которой насчитывается более пятидесяти ранних переводов «Неистового Роланда». Многие украшены гравированным портретом Ариосто. Гравюра сделана с портрета работы Тициана, но меланхолик с неопрятной бородой и непричесанными волосами совершенно не похож на мое представление об энергичном авторе произведения, такого сатирического, а местами и забавного своей идеализацией средневекового рыцарства. В каждые сто лет, исключая нынешний век, в Англии вспыхивал интерес к «Неистовому Роланду». Спенсер использовал его для сюжета своей «Королевы фей». Вордсворт в 1790 году взял поэму с собой, отправляясь в пеший поход в Альпы. Так же поступил Маколей.<sup>[71]</sup> В 1833 году он сел с этой книгой на корабль, отправлявшийся в Индию. Саути читал ее, когда был ребенком. Скотт просто обожал ее. Байрон читал в оригинале. Возможно, наш век, более чем когда-либо безумный, снова заинтересуется этой поэмой, хотя бы ради одной только тридцать четвертой главы. Астольф летит на Луну в сопровождении святого Иоанна. Их уносит колесница Ильи с квадригой красноогненных

коней. Через короткое время путешественники совершают успешную посадку. Исследуя безлюдный пейзаж, натываются на то, что попусту истратил и потерял на Земле человек: несчастливые браки, вздохи, слезы, напрасные надежды. Видят там покрытые птичьим клеем сучки — это то, что осталось от обольщений возлюбленных; находят странное месторождение: оказывается, это — распавшаяся со временем слава великих людей. В долине потерянных вещей несметное количество сосудов, наполненных до краев потерянными умами человечества.

Мне показали неудобный деревянный стул. Сидя на нем, великий поэт сочинял свою поэму. Есть здесь и его чернильница с купидоном на крышке: искусная работа мастера Возрождения, подарок Альфонсо I.

А затем в мои руки вложили рукопись несчастного Тассо. Это был «Освобожденный Иерусалим». Тассо, как я заметил, тоже был усердным корректором. Мне рассказали, что каждый венецианский гондольер знал эту поэму наизусть. Тихими ночами они распевали строфы по очереди, передавая их друг другу. Строфа, пауза, а с другого конца канала — следующая строфа. Романтики байроновского времени верили, что Тассо — человек, невинно осужденный: жестокий князь якобы посадил его в тюрьму за то, что поэт любил благородную даму. На самом деле он страдал манией преследования, и болел так тяжело, что заперли его для его же блага. Нет никакого доказательства, что Тассо находился в темной камере, в той, где в размышлениях провел час Байрон и из двери которой Шелли — он-то считал, что помещение вполне приличное — вырезал на память драгоценную щепку.

В университете не сохранилось, к сожалению, воспоминаний о маленькой группе англичан, первых студентов, изучавших греческий язык. В Феррару они приезжали во времена правления Генриха IV и

Эдуарда IV и посещали лекции Гварино да Верона. В те дни университет, как и в Болонье, был передвижным учебным заведением, и лекции читали то в одном, то в другом удобном помещении. Одним из англичан, живших в 1445 году в Ферраре, был Вильям Грей — он потом стал епископом в Или, графство Кембриджшир. Он оставил сто пятьдесят рукописей библиотеке Бейллиол-Колледж. В Ферраре учился и Роберт Флеминг, он был там в 1450 году. Флеминг — это племянник основателя Линкольн-Колледжа. Жил здесь и Джон Фри, бедный ученый и приятель Бейллиола, приходилось ему тяжело: чтобы получить разрешение приехать, он заложил свою небольшую собственность. Следует упомянуть и Джона Типтофта, графа Вустерского, который приехал в Феррару примерно в 1460 году, а через десять лет его арестовали за участие в мятеже против Эдуарда IV. Жизнь он закончил на эшафоте. Грей и Флеминг знали, должно быть, достойного Леонелло д'Эсте и, вполне возможно, принимали участие в философских диспутах в тени пальм и кипарисов. Другие студенты учились в Ферраре во время правления улыбчивого Борсо. Англичане, современники той эпохи, видели, как этот любящий роскошь герцог выезжал со своими соколами и гончими, а теперешние англичане могут увидеть лишь его слабую тень на осыпающихся стенах дворца Скифанойя.

Когда мы вышли из университета, я спросил своего молодого юриста, не проводит ли он меня в монастырь Тела Христова, туда, где похоронена Лукреция Борджиа. Он сказал, что это всего в нескольких сотнях ярдов отсюда, и мы углубились в бедные кварталы. Я спросил, верит ли он, что Лукреция Борджиа виновна в тех



преступлениях, которые ей приписывают. В ответ он лишь что-то нечленораздельно пробурчал. У него не было желания либо осудить, либо защитить ее. Я подумал, что адвоката из него не получится, впрочем, может быть, он станет хорошим судьей. Мое собственное отношение к Лукреции давно четко определено: я бы выступил ее защитником. Никто из тех, кто знал ее, не сказал против нее ни слова, а хулителями Лукреции были враги ее отца и брата. В злые минуты латинский мозг обращается к определенным темам, в числе которых инцест, проституция и половая гиперактивность являются самыми популярными. Оскорбления, которыми обмениваются два разъяренных итальянца, практически повторяют обвинения, которые Светоний обрушил на цезарей и которые в более поздние времена адресовали семье Борджиа.

Монастырь спрятался в глухих улочках, мы подошли к древним дверям и долго по ним барабанили, но напрасно. Проникнуть в монастырь Тела Христова трудно, и горожанам это, по-видимому, давно известно. Монахини живут в строгом уединении, и до последнего времени никто не мог войти туда без рекомендательного письма от архиепископа. Может быть, это обстоятельство и заставило Грегоровиуса в книге о Лукреции Борджиа сказать, что могила ее не сохранилась.

Мы не сдавались и упорно стучали в дверь. В конце улицы появилась сердитая старуха в переднике, надетом на черное платье, и стала кричать на нас. Мегера поняла, что мы не чиновники, и тут же превратилась в очаровательную старушку. Мы пошли за ней по уединенным переулкам и дворам и вышли к монастырю с другой стороны. В церкви даже в этот жаркий день было холодно, как в склепе. Старушка попросила нас подождать. Скоро к нам присоединились

две совершенно закрытые фигуры. Это были монахини, натянувшие на лицо капюшоны до самого рта. Все, что я мог разглядеть, это покрытые венами руки старых женщин. Они, впрочем, хорошо нас видели сквозь ткань, закрывавшую лицо. В сопровождении двух привидений мы вышли из церкви на клирос, и там, напротив алтаря, увидели несколько гробниц из обыкновенного серого камня. Мы разглядели на них имена Лукреции Борджиа и ее мужа Альфонсо I. Рядом могила матери Альфонсо, ослепительной Элеоноры Арагонской. На ее свадьбе, устроенной в Риме в 1473 году, сенешаль менял свое платье четыре раза, а официанты в шелковых нарядах подавали жареного кабана, фазанов и рыбу, а в это время толпа растаскивала сахарные замки, набитые мясом. Привидения кивали головами. Да, это могила Элеоноры, жены Эрколе I. Они молча указали пальцами, и, присев на корточки, мы разглядели имена Альфонсо II, последнего из рода Эсте, и его первой жены. Рядом — могила Лукреции.

Со стороны, должно быть, выглядело странным: пыльные столбы солнечного света, две укрытые фигуры, похожие на мрачных прорицательниц; мой юный юрист, сгорающий от нетерпения уйти отсюда в более жизнерадостную обстановку, и я, замороженный тем, что увидел, наконец, могилу Лукреции Борджиа. Она не была особенной красавицей, но, как писал один шпион Эрколе I герцогу Феррары, чей наследник должен был стать ее третьим мужем: «Приятное выражение лица, хорошие манеры делают ее красивее, чем она есть на самом деле. Короче, качества Лукреции таковы, что ее не только не следует опасаться, но и можно возложить на нее определенные надежды». Изабелла д'Эсте в это же время отправила в Рим своего шпиона: ей хотелось знать, что представляет собой будущая золовка. Шпион увидел ее воскресным вечером, рядом с ней сидело десять фрейлин. Вскоре они начали танцевать.

Лукреция, по его словам, одета была в черный бархат, отороченный золотом, на голове — «шапочка Джульетты» из зеленого шелка с рубиновой застежкой. Из-под шапочки спустился на плечи золотой каскад волос. Эти конфиденциальные сообщения доказывают, что гордый род Эсте не на шутку встревожился: еще бы, амбициозный Александр VI с сыном Цезарем навязывают им дочь папы, дважды в свои двадцать два года побывавшую замужем. Они, должно быть, испытали облегчение, когда им сказали, что Лукреция никакая не развратница, не стоит верить римским сплетням. Она очаровательная и грациозная молодая женщина, и личико у нее в обрамлении пышных кудрей невинное и трогательное. Она похожа на фрески Пинтуриккьо во дворце Борджиа в Ватикане.

Хулителям Лукреции было за что ненавидеть ее отца и брата. Любовь не имела ничего общего с ее замужествами: все они были инспирированы политикой Александра. Когда представлялись лучшие партии, одного мужа заставили подписать признание в импотенции, и их развели, другого мужа по приказанию брата задушили на глазах у Лукреции. Плакала она часто и, как это бывает у многих женщин, вместе со слезами избавлялась от забот, после чего с сухими глазами, улыбающаяся, появлялась и готовилась к новому удару. Была ли правда в тех слухах, которые о ней распространяли? Нужно для этого посмотреть записи Джона Берчарда, папского церемониймейстера: он заносил в свой дневник много эпизодов, когда был шокирован поведением Борджиа. Он писал о частых обмороках папы, о литургической некомпетентности и беспечности. Берчард однажды нашел на алтарных ступеньках освященную облатку: папа уронил ее и не удосужился поднять. Он же в подробностях описывал ужасную смерть Александра и его похороны. Бескомпромиссный наблюдатель, хорошо знавший

Лукрецию, не написал о ней ни одного плохого слова. С того момента, как в 1502 году она уехала из Рима в Феррару в возрасте двадцати двух лет и до самой ее смерти в тридцать девять лет, с нею не было связано и тени скандала. Обожающий Лукрецию отец вышел провожать ее, она села на низкорослую белую лошадку в отороченной горностаем амазонке из красного шелка и кокетливой шляпке с перьями. Сопровождали ее на лошадях двести мужчин и женщин; сто пятьдесят мулов везли приданое, и среди свадебных подарков был красивый паланкин французской работы, в котором могли поместиться два человека, сидящие друг подле Друга. Музыканты и испанские шуты помогали смягчить тяготы путешествия. Кавалькада Лукреции медленно продвигалась к северу Италии: Кастельнуово, Чивита, Кастеллан, Нарни, Фолиньо, Урбино, затем по Адриатическому побережью — от Пезаро и до Римини, потом по Виа Эмилия до Болоньи, и оттуда по каналу и реке на лодках до Феррары. Расстояние, которое надо было преодолеть, составляло чуть меньше трехсот миль, на путешествие ушел месяц. «Прелестная донна Лукреция — женщина хрупкого сложения, — писал один из ее спутников, — и она, как и ее фрейлины, не привыкла к седлу». Кавалькада иногда задерживалась в каком-то месте на день-другой, потому что Лукреции надо было вымыть голову. Процедура эта, очевидно, была непростой, занимала целый день, и Лукрецию никто не видел. Затем знаменитые золотые локоны снова начинали блеснуть, и она продолжала путешествие. В Имоле у нее случилась мигрень, и она сочла, что причиной тому стала невозможность вымыть в течение восьми дней голову.

Она приехала в Феррару, город устроил ей грандиозную встречу. Барабаны, трубы, лучники личной охраны герцога в белой и красной ливреях дома Эсте, оркестр флейтистов, аристократия Феррары и послы

Франции, Рима, Венеции, Флоренции, Сиены и Лукки; епископы Адрии, Комаччио; придворные, пажи и фрейлины. В паланкине, который несли профессора университета, сидела сама невеста в сверкающем парчовом наряде, золотые волосы распущены по плечам, на голове шапочка, украшенная драгоценными камнями, на шее — ожерелье из рубинов и изумрудов. Когда-то оно принадлежало Элеоноре Арагонской. Изабелла д'Эсте заметила драгоценности покойной матери и вспыхнула от гнева и огорчения. Альфонсо, жених, большой грубоватый солдат — его увлечением была артиллерия, — ехал на гнедом коне. На нем был костюм из серого бархата, усыпанный золотыми блестками. «По меньшей мере шесть тысяч дукатов», — написала его сестра своему мужу: в том, что касалось одежды и драгоценностей, у нее был глаз ростовщика, что во времена Ренессанса было неудивительно. Сначала Альфонсо не хотел даже и обсуждать женитьбу на Лукреции Борджиа, однако страх перед папой, фантастическое приданое и послабление в налогах заставили его призадуматься. Тем не менее он сильно беспокоился, наслушавшись нелестных отзывов о невесте, которую до той поры никогда не видел. Переодевшись так, чтобы его не узнали, он присоединился к свадебной процессии и провел два часа с Лукрецией, а потом уехал домой в полном восторге. Это был один из приятнейших моментов в истории, тем более что брак оказался счастливым.

Некоторые историки сомневаются, была ли дружба между Лукрецией и кардиналом Бембо невинной, и было ли ее восхищение мужем золотки, Фредерико Гонзага, таким уж платоническим. То, что недоверие к Лукреции не ослабевает, заставило одного исследователя задуматься: если Изабелла не сумела скрыть своих подозрений, уж не отомстила ли ей Лукреция и не вступила ли в интимные отношения с маркизом Мантуи.

Если это было так, то странно, что через семнадцать лет брака, когда Лукреция умерла на руках мужа, первый, кому написал безутешный Альфонсо, сообщив о смерти супруги, был маркиз. «Я не могу удержаться от слез, — писал он, — сознавая, что лишился такого дорогого и замечательного друга. Нежная любовь, существовавшая между нами, ее добродетель накрепко меня к ней привязали». Сердце Альфонсо было разбито. На ее похоронах он потерял сознание. Умерла она в тридцать восемь лет, родив мертвого ребенка. Она знала, что ей не жить. Умирая, она написала следующее письмо папе, Льву X:

Святой отец, благородный учитель! С великим уважением припадаю к ногам Вашего Святейшества и смиренно прошу святого прощения. Отстрадав более двух месяцев, рано утром 14-го числа сего месяца Господу угодно было разрешить меня от бремени. Я родила дочь и надеялась, что страдания мои на этом закончатся, но этого не случилось. Я должна оплатить долги. Столь велики были благодеяния, которые милосердный Создатель оказывал мне, что к концу своей жизни я подхожу с радостью, зная, что через несколько часов, после того как приму в последний раз Святые Дары церкви, буду освобождена. Придя к этому моменту, я хочу как христианка — хотя я и грешница — просить Ваше Святейшество о милосердии. Прошу дать мне утешение и благословение моей душе. Вручаю вам себя в полном смирении и прошу о милосердии, Ваше Святейшество, к мужу моему и детям.

Феррара, 22 июня 1519, четырнадцатый час.

*Смиренная слуга Вашего Святейшества  
Лукреция д'Эсте*

После ее смерти говорили, что она носила власяницу, хотя, возможно, это был шнурок от третьего ордена Святого Франциска. Лукреция родила четверых детей, и старший сын наследовал трон отца и стал Эрколе II. Другой сын, Ипполито, сделался кардиналом и известен истории как Ипполито II. Не стоит путать его с его неприятным тезкой и дядей.

Такие мысли пронеслись в моей голове, когда я стоял подле скромного надгробия в монастыре Тела Христова. Мне хотелось спросить, не осталось ли чего-нибудь в общине от Лукреции и не помнят ли здесь о ее благотворительности, о посещении монастыря во времена скорби, но закутанные фигуры не располагали к разговорам. Когда я уже выходил, попросил одну из сестер положить маленький подарок в ящик для пожертвований. Ощутил жадные костлявые пальцы, и мне показалось, что под темным капюшоном прячется голова, похожая на череп.

Когда мы вышли на улицу, я спросил у своего молодого друга, очень ли бедны монахини.

— Говорят, они голодают, — ответил он. — Понимаете, никому нет дела. В нашем городе полно коммунистов.

## Глава седьмая. Верона и Падуя

***Верона — город красного мрамора. — Римский амфитеатр. — Могила Джульетты. — Виченца. — Театр Палладио. — Падуя и ее университет. — Анатомический театр. — Английские студенты-медики. — Святой Антоний Падуанский. — Дорога в Венецию.***

### 1

С Эмилией-Романьей я распрощался. Переправившись на левый берег, оказался уже в области Венето. Дорога манила в Падую и Венецию, но я оказался одним из немногочисленных путешественников, которые сознательно выбрали другое направление — отправился на запад, в Верону. Как и в Ломбардии, где перевалы Симплон и Сен-Готард ведут к итальянским озерам и Милану, так и в Венето знаменитый перевал Бреннер ведет к озеру Гарда и Вероне. Невозможно определить, какие ворота в Италию производят более сильное впечатление.

Стоявший на стремянке человек приклеивал на стену афишу, рекламировавшую фильм «Мышь и старые кружева». Я посмотрел на объявление с некоторым интересом, но дело было не в фильме, а в том, что человек закрывал афишей розовый мрамор. Это очень характерно для Вероны: мрамор здесь повсюду, даже в сточных канавах. Самое впечатляющее зрелище, конечно же, знаменитый римский амфитеатр, вмещающий двадцать две тысячи человек. Там даже



самые дешевые места в последнем ряду сделаны целиком из мрамора.

Розовый мрамор — некоторые писатели сравнили его с «цветущими персиковыми деревьями» — начинаешь замечать в Кремоне. Там встречаешь иногда колонну или скульптуру льва, только у этого мрамора нет сходства с полированной поверхностью стен в ресторанах и банках. Это — розоватый матовый материал, на котором время оставило свой отпечаток. На цветение персика он совсем не похож. Тем не менее это мрамор, потому некоторые площади Вероны напоминают залы гигантских дворцов, только без крыши.

Приехал я в полдень. Город заливал теплый свет, под мостами быстро бежала Адидже. Барочные изгибы реки словно бы подчеркивали красоту площадей, башен и дворцов. Я видел красные кампанилы многих церквей, и — слава богу — на главной улице было запрещено движение колесного транспорта. Только подумайте: улица, на которой не слышно рева моторов, улица, избавленная от шума, слышен лишь веселый говор веронцев, звук шагов по мраморной мостовой да ария, доносящаяся из магазина, торгующего граммофонными пластинками. Первое мое восторженное впечатление полностью совпало с чувствами Джона Ивлина, когда триста лет назад он увидел Верону: «Изо всех мест, что видел в Италии, Верону я сделал бы своим домом».

Я пошел к амфитеатру — веронцы называют его ареной — и с огромного мраморного овала посмотрел вниз. Этот древнеримский цирк сохранился до наших дней лучше, нежели какой-нибудь другой. На дальнем его изгибе, на нижнем ярусе, несколько человек устанавливали сцену, ставили фанерные деревья и обтянутые полотном речные павильоны: готовились к представлению оперы Верди. Я подумал, что мужчины, работающие здесь, не менее интересны, чем здание, в

котором они трудятся. Они стояли в конце длинной очереди импресарио, менеджеров и рабочих сцены, начиная со времен Флавиев, что правили девятнадцать столетий назад. Подобные им люди работали в этом же здании, подготавливали его для гладиаторов и хищных животных. Вроде бы кто-то из Плиниев в одном из писем упомянул, что игры в Вероне отменили, так как леопарды не прибыли вовремя из Африки? В Средние века мужчины продолжали работать здесь: готовили амфитеатр для турниров и боя быков. Это место — прародитель всех цирков, театров и концертных залов, самое старое в мире помещение для проведения развлекательных мероприятий, которое к тому же до сих пор с успехом используется. Когда сто девяносто лет назад доктор Бёрни пришел сюда, то попал на представление комедии дель арте. Артисты так шумели, что ему показалось, будто сюда вернулись дикие звери! Затем он сел на мраморную скамью и впервые увидел «в полной итальянской чистоте» Арлекина, Коломбину и Панталоне. «Все они говорили на жаргоне или местных диалектах различных областей Италии». Вероятно, то было захватывающее зрелище.

По спокойной и безопасной виа Мадзини я вышел к одной из самых интересных площадей Италии — пьяцца делль Эрбе. Площадь продолговатая, похожа на римский форум, только сейчас ее окружают дома цвета охры. С балконов свешиваются папоротник и цветы, стены напоминают старинные фрески. Противоположный конец площади замыкает большой дворец барочной архитектуры и мраморная колонна, на которой стоит крылатый лев святого Марка. Середина площади расцвечена зонтиками торговцев, и, если охватить взглядом всю площадь, она напоминает огромный ковер. На рынке вы можете купить все, что угодно: от ситца до канарейки. Редко доводилось мне видеть более живой средневековый базар. Расхаживая от зонта к зонту, под

каждым из которых стоял маленький прилавок, я наблюдал удивительных людей, торгующих самым желтым лимонадом и самыми яркими конфетами, а также овощами, одеждой и прочим, на редкость дешевым товаром, причем все это на фоне древнего мраморного города.

В самом центре слышится приветливый звук журчащей воды. Здесь поднимается над зонтами и над античной чашей фонтана римская статуя. В Средние века ее нашли безголовой, решили это дело исправить: приделали женскую голову и увенчали короной. В области ее называют Мадонна Вероны.

Самым важным объектом на площади является лев святого Марка, в знак того, что город признавал святого Марка своим покровителем. Случилось это в Вероне в 1405 году, когда правящую семью Скалигеров отстранили от власти и город был аннексирован Венецией. Так начались триста лет спокойствия и изобилия. Какими бы ни были грехи Венеции, имелись у нее и добродетели: доброта, кротость, справедливость и благополучие. Благополучие явилось в область с приходом Марка Евангелиста. Связь с Венецией объясняет то, что поражает туриста в первые часы пребывания в городе. Он сознает, что сходство с Венецией глубже, чем поворот реки Адидже, напоминающий изгиб Большого канала. В Вероне со времен венецианской власти ощущается дух имперского великолепия. Временами мне казалось, что я смотрю на Венецию, причем не такую, какая она сейчас, когда корабли ее заполнены многочисленными фотографами-любителями, но такую, какой она была когда-то. Наблюдая за мирно беседующими на мраморных улицах веронцами, я иной раз ощущал исходившее от них лукавство, которое связываешь обычно с венецианскими вельможами. А они в данный момент, я уверен, обсуждали вечную итальянскую проблему: как

распорядиться будущим выигрышем в лотерее. Святой Марк дал мне ответ на вопрос: отчего Верона так сильно отличается от городов Ломбардии и Эмилии. Впервые я увидел город, который добился успеха не за счет местных настроений и традиций, а вследствие космополитизма, составляющего душу великой морской республики. Мне казалось, я чувствую запах Адриатического моря, и в воображении возникал флот, возвращающийся со специями из далеких стран под звон колоколов. Арка пьядцы делль Эрбе вывела меня на еще более великолепную площадь Синьории. Такого ансамбля нет в Риме, не говоря уже о Венеции: два прекрасных архитектурных творения, разделенных аркой. Здесь я остановился. На сегодня довольно впечатлений. Я узнал один из самых благородных городов Италии.

По этому моменту вы можете в Вероне сверять часы. Заходит солнце, и вечер вдруг расцветает — это выходят из домов сотни молодых женщин в лучших своих платьях из хлопка. В наши дни только в Испании и Италии можно увидеть восхитительное возрождение общества XVII века. Здесь его называют паседжата. Совершается это действо на виа Мадзини: транспорта мало. Любой, кто пожелает, может с приятностью провести здесь время, любясь аккуратно причесанными головками, красиво обутыми ножками и элегантными платьями без единой морщинки. Доктор Бёрни в свое время писал, что «дамы здесь носят черные шелковые шляпы, поля которых они заламывают, как английские мужчины. Остальные женщины не снимают черных шелковых капюшонов».

Мне рассказывали, что как только девушка заканчивает работу, тут же бежит домой, приводит в порядок прическу, возможно, меняет чулки и туфли и вынимает из шкафа висящее на специальной вешалке платье для прогулки — паседжата. Платье должно быть

безупречно отутюжено. В нем нельзя сидеть, а если уж придется это сделать, девушка быстро поднимет подол и сядет на нижнюю юбку; Одевшись, девушка выходит из дома и на перекрестке встречается с самой лучшей, на данный момент, подругой, а возможно, и с несколькими приятельницами, и они начинают медленно расхаживать взад и вперед по виа Мадзини. Процедура напоминает брачные игры некоторых видов хорошеньких птиц. Интересно пронаблюдать, какая перемена происходит в гордой девушке, которой удастся привлечь молодого человека — жениха-фиданцато. Покинув ряды своих подруг, она присоединяется к тем, кого уже ангажировали. Весь этот парад настроен ужасно серьезно. Среди представительниц своего пола девушка казалась смелой и способной вынести все тяготы жизни, теперь же, подле мужчины, она производит впечатление беспомощной и застенчивой особы. Абсолютно неважно, что поклонник ее мал и невзрачен, манеры ее указывают на очаровательную уверенность в мужестве своего спутника. Но все это ничто по сравнению с необычайной переменой, которая происходит с ним. Мгновение назад он был диким на вид холостяком, хихикавшим с другими такими же неприкаянными приятелями возле кафе, либо сумасшедшим мотоциклистом, бесцельно гонявшим по улице на «веспе». Теперь же перед вами мягкий, послушный, но в то же время гордый поклонник. Бывшие дружки все еще сидят, цинично улыбаясь, возле кафе либо перешептываются, наблюдая, как он прогуливается мимо них со своей девушкой. Во взгляде, который он бросает на них, можно прочесть смутные опасения человека, перешедшего свой Рубикон.

Людей, которых я встречал в Вероне, переполняло столь присущее итальянцам желание понравиться. Я чувствовал, что их доброта и любезность были в определенном смысле отражением прекрасного города, в котором им повезло жить. Из всех городов, что я видел в Италии, Верона дала мне величайшее наслаждение. Элегантный, красивый город. Он не слишком велик, но и не мал. Цветовая гамма радовала глаз: розовый кирпич средневековых зданий с зубцами в виде рыбьих хвостов, тускло-красный мрамор, красновато-коричневые стены старинных дворцов, алые герани на балконах, голубая лента реки — все вместе создавало союз веков, и это будило воображение.

Каждое утро, когда я входил под арку, невольно вспоминал Мост вздохов. С людной пьяццы делль Эрбе я входил на величественную площадь Синьории. На пьедестале о чем-то задумался Данте. Верона любит вспоминать, что двор Скалигеров был первым, где поэт нашел убежище. В нескольких шагах отсюда стоит одно из красивейших зданий Ренессанса, маленький дворец под названием «Лоджии». В конце XV века его построил неизвестный гений. Судя по всему, он любил классику, и это роднит его с Пирро Лигорио, чей летний дом в садах Ватикана всегда казался мне одним из самых жизнерадостных, счастливых зданий той поры.

Еще несколько шагов, и вы выходите на узкую улицу, самое потрясающее зрелище в Вероне. Сначала кажется, что вся она заполнена готическими могилами. Надгробья из белого камня, шпицы, фигуры святых и рыцарей в доспехах. Когда видишь все это впервые, кажется, что угодил в Средневековье на похороны несметного количества людей и процессия остановилась на боковой улице, чтобы поправить мемориальные таблички, опустить черный бархат и проверить, горят ли свечи. Здесь есть могилы Скалигеров и средневековой аристократии Вероны.

Гробницы были слишком высокими, и поместить их в здание не представлялось возможным. Сейчас они стояли на улице под ярким солнцем, окруженные железной решеткой с металлической сеткой. Ограда была столь крепкой, что выдержала бури, в течение пятисот лет набрасывавшиеся на город. Вместе с тем металлическая сетка была такой легкой, что ее можно было взять в руку и потрясти, словно кольчугу. Каждое звено металлической решетки сделано в форме маленькой лестницы из пяти ступенек. Это намек на то, что первый Скалигери либо делал, либо продавал лестницы.

Я обратил внимание на пять могил. Три из них — с помещенными сверху конными скульптурами рыцарей. Эти правители Вероны жили в то время, когда в Англии правили Плантагенеты, последние Капетинги и первые Валуа — во Франции и когда на смену императорской линии Гогенштауфенов в Германии пришли Габсбурги. В Италии они были современниками первых Висконти — Матео, Галеаццо и Аццо, но другие великие итальянские семьи пока еще о себе не заявили. Скалигеры создали в Вероне империю и установили свои законы: жестокость и роскошь, с чем население слишком хорошо познакомилось в будущие времена.

Самым великим и популярным из этой династии был Франческо, или Кангранде (Большая Собака). Он, кажется, первым из семьи носил шлем в форме собачьей головы. Его изображение можно увидеть на гробнице. Он представлен здесь на боевом коне, с головы до копыт покрытом чепраком. Кангранде в боевых доспехах, шлем в форме собачьей головы перекинут через плечо. В руке он сжимает меч. Улыбающееся лицо Франческо вызывает в памяти его знаменитое развлечение, которое расположило к нему большинство веронцев. Я сказал маленькому мужчине, который отпер для меня железную калитку: «Странно видеть человека,

смеющегося на собственной могиле». Он торжественно посмотрел на меня и ответил: «Мы в Вероне всегда говорим: Кангранде никогда ничего не боялся».

Контраст между веселым всадником, каким его знали в жизни, и нижними ступенями его памятника весьма странен. Здесь еще одно изображение Кангранде: он лежит на смертном одре с мечом в сложенных руках. Под ним красивый саркофаг, установленный на спинах двух мастиффов.

Возле ворот могила Мастино II, племянника Кангранде и отца Беатриче делла Скала, той, что вышла замуж за Бернабо Висконти и дала свое имя Ла Скала в Милане. Десять ее дочерей разъехались по всей Европе. Одна из них стала королевой Кипра, другая — герцогиней Леопольдой в Австрии, три других влились в династию Виттельсбахов.

Мастино был странным и подозрительным человеком, не умевшим справиться со своими нервами. Однажды, выехав верхом вместе с епископом, он вдруг выхватил меч и убил несчастного прелата. Потом постарался оправдать себя тем, что — по его понятиям — епископ готовил против него заговор. Угрызения совести мучили его до конца жизни. С тех пор, говорят, его лицо постоянно закрывала вуаль. Возможно, то была средневековая метафора, означавшая, что он отрастил себе бороду. Вот и на надгробии лицо закрыто забралом. Сын его, Кассинорио, чья могила находится рядом, был одним из редких людей того времени, что снизил налоги и в голодные годы продавал зерно ниже себестоимости. Удивительное событие произошло после его смерти. Было обнаружено, что он сделал себе состояние, сдавая в аренду церковные земельные наделы, да и в других отношениях проявлял нечистоплотность. Грехи эти не были отпущены ему на смертном одре, а потому было решено простить ему их посмертно. Мессу совершили среди могил. Затем принесли лестницу, чтобы епископы



Вероны и Виченцы могли подняться на высокий саркофаг и побрызгать на него святой водой, отпуская тем самым грехи покойному.

Скалигеров приятным семейством не назовешь. Они были сказочно богаты, щедры к тем, кого любили, но при этом страдали неврозами и были склонны к братоубийству. К музам относились с аристократическим безразличием, и все же, как ни странно, Данте посвятил Кангранде свой «Рай», чем и прославил этого правителя. Говорят, он посылал ему главы из своей поэмы по мере их написания. Представить себе лорда-воителя в виде литературного критика и покровителя почти невозможно, тем более что, как рассказывают, когда Данте приглашали в Верону, он часто становился объектом розыгрышей. Шуты и актеры, недовольные тем, что поэт смотрел на них свысока, послали однажды маленького мальчика под стол, и он складывал к ногам Данте кости, которые сами они во время обеда швыряли на пол. Когда стол отодвинули, Кангранде, картинно изумившись, сказал, что и не знал, что поэт так любит мясо, на это Данте будто бы ответил: «Милорд, вы не увидели бы здесь так много костей, если бы я был собакой».

Если эти истории верны, то вряд ли поэт мог быть счастлив в такой компании. Многие годы литературные критики спорили — а сейчас эти споры возобновились — относительно подлинности послания Данте Кангранде, в котором он превозносит «выдающуюся славу Вашего Величества» и упоминает великолепие двора Скалигеров, которому сам был свидетелем, и оказанное ему там гостеприимство.

Любопытен контраст между грубой сценой в столовой и тем фактом, что некоторые альпийские деревни освобождались от налогов до тех пор, пока заполняли ледники Скалигеров своей продукцией.

Покровитель Вероны, святой Зенон (Дзено), был рыбаком. В церкви, названной его именем, можно увидеть изображение Дзено. Он держит удочку, а с крючка свешивается серебристая рыба. Когда он стал священником, на его епископский посох художники непременно прикрепляли рыбу. Церковь Сан-Дзено построили в эпоху крестоносцев и во времена правления Ричарда Львиное Сердце. Если вы спуститесь в древний склеп, то увидите кости святого в стеклянном ларце. На дверях церкви бронзовые накладки с барельефами. Некоторые фигуры поднимаются на два-три дюйма над поверхностью. Когда я смотрел на эти примитивные библейские сцены, подъехал маленький автомобиль. Из него выскочили двое молодых людей. Один из них взбежал по ступеням церкви с полотняным мешком, а другой остановился у дороги и, поглядывая по сторонам, вроде бы прикрывал приятеля. Первый парень быстро вынул из мешка кусок глины и стал прижимать ее к бронзовым панелям. Сняв два-три отпечатка, бегом бросился к машине. Там его поджидал компаньон. Машина уехала. Вся операция заняла не более трех-четырех минут. Не знаю, кто они были: студенты академии художеств, охотники за сувенирами или антиквары. Я решил: если увижу в антикварном магазине бронзовую панель со сценой изгнания из рая, тут же перейду на другую сторону!

Впечатляющий старинный баптистерий собора разрешил для меня проблему, о которой я впервые задумался в Парме, когда увидел там купель величиною с маленький плавательный бассейн. «Как же проходило массовое крещение, — думал я, — неужели священник влезал в купель вместе с людьми, над которыми он совершал обряд? А может, он стоял снаружи?» Купель в

Вероне все мне разъяснила: для священника предусмотрено отверстие, вернее, выемка. В ней епископ мог стоять, не снимая обуви. «Так, должно быть, устроено повсюду», — решил я.

На взгляд англичанина, сады Джусты в Вероне привлекательнее большинства регулярных итальянских садов. На заднем плане здесь крутой холм, засаженный красивыми деревьями. Огромные древние кипарисы отбрасывают длинную тень; аккуратные ряды пальм обрамляют яркие клумбы с путницей и геранью. Со вкусом расставлены скульптуры, из кадок поднимаются подстриженные лимонные деревца; работают фонтаны. Мраморные скамейки приглашают присесть и поразмыслить, хотя бы о том, что неплохо бы здесь поставить «Двенадцатую ночь». Сад был создан несколько веков назад. Во времена правления Якова I в этом лабиринте потерялся Томас Кориэт. Пришлось его оттуда вызволять. Гёте, ни разу не упомянувший могилы Скалигеров, просто обожал сад Джусты. Однажды он произвел небольшую сенсацию: расхаживал по Вероне с веткой кипариса, украшенной шишками, и с цветущим каперсником. Все это он взял в любимом саду.

Элегантный маленький римский театр, разумеется, мраморный, в то время не был найден. Обнаружили его в прошлом столетии под зданиями, которые когда-то здесь стояли. Как бы понравился Гёте этот грациозный полукруг мраморных сидений! Все так хорошо сохранилось, что теперь здесь иногда дают представления.

Я снова вспомнил о Гёте, когда транзистор вблизи арены выдал позывные Би-Би-Си. «На каждой улице распевают балладу „Мальбрук“», — писал Гёте в 1784 году.

Еще раз я подивился способности итальянцев к реставрации, на которую обратил внимание в восстановленном оперном театре Милана. В Вероне

восстановили кирпичный мост, взорванный немцами прежде, чем уйти через перевал Бреннер. Кто бы мог поверить, видя сейчас этот мост с его романтическими зубцами, похожими на рыбы хвосты, что это не то сооружение, которое Кангранде II построил в XIV веке? Мост ведет к замку, тоже из красного кирпича, с такими же зубцами, как и на мосту. Оба сооружения составляют архитектурный ансамбль. Теперь замок — музей и картинная галерея, но самая лучшая картина — это вид из окон на голубую ленту Адидже и мост внизу. В зале, где сейчас можно увидеть много знаменитых картин, графа Чиано и его товарищей, готовивших заговор против Муссолини, приговорили к смерти в 1944 году. В соседней комнате есть мрачные фотографии Кангранде. Это его останки. Такими их увидели те, кто открыл саркофаг в 1921 году. Есть также и несколько кусков красивой парчи, в которую завернули шестьсот лет назад правителя Вероны.

#### 4

Веронцы уверяют, что Ромео и Джульетта были историческими фигурами. Вам скажут, что жили они примерно в 1303 году во время правления старшего брата Кангранде — Бартоломео делла Скала, что Джульетту похоронили на кладбище ныне не действующего францисканского монастыря, возле южной городской стены.

История о двух влюбленных старая и популярная. В некоторых версиях действие происходит не в Вероне. Первым писателем, рассказавшим об этом, был Луиджи да Порто в своей книге «Джульетта и Ромео» — и по сей день итальянцы галантно ставят на первое место Джульетту. Затем этот рассказ был повторен другими писателями, и переведенные версии, как считают, и

были источниками для Шекспира. Все эти факты, однако, мало что значат для тысяч людей, едущих в Верону из всех стран мира. Им нужен не амфитеатр и не могилы Скалигеров, им нужна могила Джульетты. Возможно, некоторые сочтут такое поведение печальным, а англичане, бесспорно, почувствуют прилив гордости: ведь это их соотечественник Шекспир пригнал в Верону автобусы из Гамбурга, Осло, Копенгагена, Вены и бог знает откуда еще. Люди эти и слыхом не слыхивали о да Порто или Банделло. Историю несчастных влюбленных Ромео и Джульетты они знают только из пьесы Шекспира.

Верона — город балконов, и да Порто, живший неподалеку, в Виченце, хорошо это знал. То, что он решил перенести действие своего рассказа в Верону, — местный штрих, которым Шекспир, в свою очередь, блестяще воспользовался. Один балкон в Вероне в живописном средневековом доме на виа Каппелло показывают туристам, заявляя, что это дом Джульетты. На стене дома прикреплена симпатичная, но явно не историческая доска, которая утверждает то же самое. «Дом Капулетти, — гласит доска, — где родилась Джульетта, по которой рыдали нежные сердца, а поэты слагали песни». Строки эти вселяют надежду, и человек в приятном, растроганном настроении отправляется к могиле Джульетты.

Короткая пешая прогулка приводит к уединенному монастырю, где смотритель, улыбаясь, берет деньги за вход и машет рукой в сторону восхитительного маленького монастыря с симпатичным садиком, облюбованным голубями. Несколько ступеней вниз, и вы оказываетесь в сводчатом помещении с необычайно большим саркофагом из розового мрамора. Цинично настроенные знатоки говорят, однако, что первоначально это была кормушка для лошади. Я спустился по лестнице и привел в замешательство

молодую пару: стоя по обе стороны от саркофага и держась за руки, они собирались поцеловаться. Впоследствии я узнал, что у влюбленных такой обычай: они идут к гробнице Джульетты и загадывают желание. Как сказала мне одна молодая женщина, «если сердца их чисты, желание наверняка сбудется». Такой ритуал показался мне симпатичным. Склеп был наполнен розовым светом, отраженным от верхнего помещения, и саркофаг выглядел весьма поэтично, словно раковина на дне моря. Невозможно было смотреть на него и не вспомнить строки Шекспира:

...здесь лежит Джульетта,  
И эти своды красота ее  
В блестящий тронный зал преобразует. [\[72\]](#)

О рвении, с которым английские туристы отщипывают фрагменты гробницы, упомянул в 1814 году Сэмюэль Роджерс. Байрон, разумеется тоже добавил кое-что к своему сентиментальному музею. Для того чтобы изготовить два браслета, замеченные Шатобрианом во время обеда в Парме на Марии Луизе, потребовался также большой кусок камня. Но все это ничто по сравнению с невероятным фактом, про который я узнал совершенно случайно: культ Джульетты в наше время настолько силен, что у нее есть секретарь, отвечающий на письма поклонников!

Гуляя по монастырю, я заметил встроенный в стену маленький стеклянный ящик, обрамленный мрамором, со щелью для писем. Рассеянно заглянув сквозь стекло, я увидел гору записок, торопливо нацарапанных на клочках бумаги, листках, вырванных из записных книжек, старых счетах и т. д. Все это напоминало записки, которые дети пишут Санта-Клаусу. Некоторые из них не были сложены, а две можно было разобрать.

Обе написаны были по-итальянски, и обе начинались: «Сага Giulietta» — «Дорогая Джульетта». На одной бумажке я прочитал: «Мы двое молодых влюбленных, путешествуем после свадьбы. Помоги нам Джульетта, чтобы любовь наша становилась сильнее с каждым днем». На другой записке: «Моя любовь сейчас далеко отсюда. Пусть он побыстрее приедет, я хочу, чтобы мы не расставались».

Я был поражен. Интересно, знает ли духовенство Вероны, что старый францисканский монастырь сделался храмом Афродиты? Один из служителей сказал мне, что ящик в стене содержит только письма, написанные прямо у саркофага. Большая часть корреспонденции поступает по почте, приходит из многих стран и на многих языках. Муниципалитету пришлось нанять секретаря, чтобы он занимался письмами. Секретарь, как мне сказали, пожилой джентльмен, вышедший на пенсию, должно быть, похож на старого монаха Лоренцо.

— А письма эти от мужчин или женщин? — поинтересовался я.

— Есть и от мужчин, но в основном пишут женщины. Выйдя из монастыря, я встал в сторонке, пропуская оживленную толпу путешественников разных национальностей, выгрузившуюся из двух только что прибывших автобусов. Меня окликнули, и вот я уже трясущую руку маленькому немцу из Мантуи. Он по-прежнему обвешан фотокамерами. Позади него жались жена и две дочки. Связь Шекспира с Вероной довела немца до экстаза: он задыхался от волнения.

— Пожалуйста, — сказал он и сунул мне камеру, — будьте добры, сделайте снимок.

Схватив за руку другого пассажира, он повел его к указателю под кипарисовыми деревьями. На указателе было написано: «Могила Джульетты». Немец с

товарищем взяли друг друга под руку и замерли. Я их сфотографировал.

— Вы так любезны, — сказал он. — Знаете, как я назову эту фотографию? Ну что ж, скажу по секрету. Два веронца!

Заливисто смеясь, он повесил камеру на шею и, тяжело ступая, зашагал по тропе к могиле Джульетты.

## 5

Дорога от Вероны до Виченцы проходит мимо полей, засаженных свеклой, кукурузой и виноградниками. От ветров, дующих с Альпийских гор, ее охраняют лесозащитные полосы из акаций. Предгорья устремились на север, к большим горам, окружившим перевал Бреннер. Мне говорили, что в ясные дни можно на горизонте разглядеть их фиолетовые силуэты.

Со мною в автомобиле ехал мой итальянский знакомый, продавец мрамора из Вероны. В городке Монтеккьо Маджоре, расположившемся в гористой местности чуть в стороне от главной дороги, у него была назначена деловая встреча. Мрамор для сеньора Х. не просто геологическое явление или коммерческий продукт, это жизненная философия. История складывается для него из двух составляющих: есть каменщики и есть плотники. Камень означает цивилизацию, дерево — варварство. Он станет спорить с вами и скажет, что тевтонские племена, захватившие Италию во времена Средневековья, были лесными людьми, чужестранца здесь до сих пор называют форестиро. Они испугались того, что вошли в мраморный мир, и предпочли жить на открытом пространстве, как дикие звери. Это обстоятельство позволило латинянам выжить в окруженных каменными стенами городах, построить в Средние века каменные



соборы и дворцы, а в эпоху Ренессанса довести до совершенства работу с мрамором. Он цитировал Поджо и Торквато Тассо, желая доказать, как шокировали итальянских путешественников эпохи Ренессанса безобразные деревянные дома Парижа и Лондона. Это жилища варваров, ничего не смыслящих в архитектуре! Самые жалкие каменные развалюхи в трущобах, на его взгляд, более достойны человека, чем любое деревянное здание.

Было приятное свежее утро, мы разговаривали о мраморе и об упадке цивилизации. Согласно его теории, упадок в промышленности начался с 1929 года. За время поездки я многое от него узнал: самый лучший серый мрамор приходит из провинций Кунео, Навара и Гориция; зеленый надо смотреть в Валле-Д'Аоста; в Бергамо отличный черный мрамор; в Вероне — розовый, но до сих пор самым знаменитым мрамором считают, как и в классические времена, каррарский мрамор. Его добывают в каменоломнях Апеннин. Он с удовольствием упомянул о выгодной сделке, которую совершил с представителями Саудовской Аравии. Возможно, гибнущая здесь цивилизация возродится в других местах.

Высадив его в Монтеккьо, я отправился осматривать руины двух замков, стоящих друг против друга на соседних холмах. Легенда утверждает, что замки принадлежали Монтеки и Капулетти, но я склонен думать, что это — крепости Скалигеров. Поднявшись на один из холмов, я вошел в разрушенный двор замка и увидел там двух канадских девушек, стирающих в ведре нейлоновые платья. На месте замка ныне раскинулся кемпинг, с водой и электричеством. Группа молодых хайкеров отправлялась в Венецию, нагруженная не хуже мулов. Собирались в дорогу и мотоциклисты. Возможно, что их притягивал к себе тот же магнит. Увидел я и длинный трейлер, в котором среди хромированных

приборов жила себе поживала большая немецкая семья. Не успел я охватить взглядом всю сцену, как послышался вой двигателя: так заявила о своем появлении итальянская пара, восседающая на главном герое итальянской автострады — нагруженном сверх всякой меры мотороллере «веспа». Канадским девушкам, несмотря на сложности быта, очень нравился их кемпинг, тем более что всегда можно посидеть в находящемся неподалеку ресторане, носящем название «Таверна Джульетты».

Никогда еще, возможно, со Средних веков путешествие не было таким будничным, никогда столько путешественников не устремлялось вдаль практически без денег. Тем не менее настроение у всех было отличное, и не важно, что приходилось считать каждый пенс, а спать порою на голых досках или просто под звездами. Я вовсе не горю желанием стать вновь двадцатилетним, но если бы меня вдруг забросило в юность еще раз, то путешествовал бы я впервые по Италии только так, а не иначе.

В кафе мне приветливо помахал рукой синьор Х. Он заключил свою сделку и сказал, что поедет со мной в Виченцу. И мы поехали вниз по склону к главной дороге, вдоль которой, словно пажи, выстроились виноградники, а подросшая кукуруза напомнила мне копыта приближавшейся кавалерии. Кто-то говорил мне, что несколько лет назад синьор Х. ездил в Лондон для встречи с архитекторами, которые хотели купить мрамор для банка или небоскреба. С тех пор его высказывания относительно Англии считались авторитетными. Я упомянул об этом и, к моему удивлению, узнал, что в Англии он обнаружил некоторые достойные национальные особенности, которых сами мы у себя сегодня не замечаем.

— Я всегда говорю тем, кто приходит ко мне за советом перед поездкой в Англию, — произнес он. —

Когда снова начнется всемирный потоп, англичане умрут все вместе, но здесь, в Италии, из воды высунутся некоторые головы. Однажды ночью, — продолжил синьор Х., — я специально ходил к Букингемскому дворцу, чтобы посмотреть, ходят ли там часовые. И они ходили! — заявил он. — А ведь, кроме Бога, их никто не видел. В Италии такого произойти не может.

Я напомнил ему о двух скорбно склонившихся молчаливых фигурах по обе стороны от Могилы неизвестного солдата в Риме.

— Да разве можно это сравнивать! — закричал он. — Это вам могло показаться, что они молчат. Но я-то знаю, они потихоньку разговаривают, стараясь не шевелить губами. И знаю, о чем они говорят. Они критикуют Виктора Эммануила за то, что тот поставил памятник, и неизвестного солдата за его могилу... Такие вот мы, итальянцы...

Я напомнил ему о часовом Помпеи.

— Должно быть, это британец, — последовал ответ.

Утреннее солнце Виченцы освещало величественную картину, которая ни в одном другом месте Италии не напоминала бы так Англию XVIII столетия. По обе стороны от дороги вставали коричневато-желтые дворцы. Построил их человек, давший английскому языку термин, который многим не нравится, однако не меньшее число людей его одобряют: слово это — палладианство. Звали его Андреа ди Пьетро, родился он в 1518 году и начинал как каменщик. В то счастливое время городская знать организовала общество, которому дали название — Академия. Свою жизнь эти люди посвятили самому захватывающему делу для любителя — строительству. Среди руководителей Академии был граф Триссино. Разглядев в юном каменщике выдающиеся способности, он отправил его в Рим учиться архитектуре. Андреа вернулся в Виченцу с честолюбивыми планами: он хотел оживить строгую

августовскую архитектуру, сделать ее такой, какой видел ее Витрувий. Так началась триумфальная карьера молодого архитектора, и патрон уговорил его сменить свое имя на Палладио.

Во время последней войны бомбы уничтожили четырнадцать палладианских дворцов, но в городе все же на каждой улице есть уцелевшие здания. Каким же счастливымчиком был Палладио: столько клиентов хотели и были в состоянии заказать у него дворец, и при этом предоставляли ему полную свободу действий.

— Ах, ну какая же это в самом деле трагедия! — воскликнул синьор Х., когда мы проезжали мимо дворцов. — Такая великолепная классика, и без мрамора! Все кирпич и штукатурка. Только представьте, как бы все это выглядело в мраморе! Душа болит из-за бедного Палладио!

Я напомнил ему, что здания, которые Палладио хотел бы построить из камня, должны были подняться не в Италии, а в далеком Лондоне и среди лесов и лугов английских графств. В библиотеке Вустер-Колледжа в Оксфорде имеется экземпляр книги Палладио об архитектуре. Иниго Джонс<sup>[73]</sup> возил ее с собою по время второй поездки по Италии. Надеюсь, лекарство от несварения желудка, рецепт которого владелец тома записал на страницах для заметок в конце книги, помогло ему сделать свое путешествие более приятным. Он вернулся, и последствия итальянского путешествия в течение двухсот лет оказывали огромное влияние на Англию: архитектура противопоставила себя бездушному строительству. Когда проходите мимо дворца Уайтхолл, вспоминайте, что это — итальянский палаццо, почерневший более чем за триста лет от лондонского смога. Когда-то в Банкетном зале этого дворца Иниго Джонс воплотил все, что он узнал в Виченце и других местах Италии. Это было первое по-настоящему ренессансное здание Англии, тем же, кто

увидел его в 1622 году — всего лишь через шесть лет после смерти Шекспира, — оно должно было показаться таким же странным, какими кажутся нам теперешние дома из стекла и бетона.

Ричарду Бойлю, третьему графу Берлингтону, было около двадцати лет, когда он — столетием позже — приехал в Виченцу с рулонами навощенной бечевки, на которой узелками была отмерена длина, равная футу. С такими мерными лентами серьезно настроенным путешественникам того времени советовали ехать в Италию. Берлингтон похвастался, что измерит каждое здание, построенное Палладио. Вернувшись домой, с помощью другого гения той эпохи, Уильяма Кента, граф-архитектор начал претворять свои уроки в камне. Старому зданию Берлингтон-Хаус на Пиккадилли был придан палладианский фасад, скопированный с палаццо Кьерикати, ныне музея Виченцы, но самое знаменитое его заимствование — это вилла Чизик-Хаус, прототипом которой послужила вилла Альмерико. Вилла после войны находилась в полуразрушенном состоянии, но с тех пор ее замечательно восстановили.

Почему из всех зданий, зарисованных и измеренных в Италии, архитектура Палладио так сильно привлекла англичан? Может быть, сдержанность отвечала национальному характеру? Может быть, помпезный стиль не устраивал страну, а может быть, оттого что сравнительно небольшой загородный дом Палладио отвечал канонам классического архитектурного стиля. Палладианская вилла под бледным английским небом стоит, словно памятник энтузиазму, которого — увы — мы уже больше не встречаем.

Мы прошлись по приятному, светлому городу и пришли отдохнуть в кафе, рядом с шедевром Палладио — огромной готической ратушей, которой он придал классический фасад. К нашему столу подошли два друга синьора Х. Они взволнованно рассказали о

фантастической краже. Ночью вор похитил пасть льва! В Венецианской республике были почтовые ящики, в которые можно было положить донесение, предназначенное для тайной полиции. Называли такие ящики «пастью льва», потому что верхняя их часть была сделана из бронзовой головы льва, а письмо опускали в открытый рот.

Мы поспешили к месту преступления, которое оказалось за углом, и увидели небольшую толпу. Возле отверстия в стене собрались люди из администрации и полицейские. Вор распилил металлические зажимы, которыми голова льва крепилась к стене, и похитил ящик. «Наверное, это американский турист», — предположил кто-то. Нет, нет, зачем туристу такая бронза?

Синьор Х. думал, что он где-нибудь найдет еще такую голову, но смотрели мы напрасно.

— Какая неприятная система, — сказал я, — приглашать горожан шпионить друг за другом.

— Да, — согласился он, — но венецианцы умели анализировать такие письма. У человека, желавшего насолить ближнему, шансов почти не было. Настоящее зло совершалось тогда, когда кто-то по наущению сверху опускал в ящик компрометирующие сведения на человека, которого правительство и само хотело уничтожить.

Важная достопримечательность Виченцы — театр Олимпико. Палладио строил его незадолго до смерти. Первое представление было показано в 1584 году. Сцена выглядит почти так же, как и в те времена. Действие совершается перед постоянной архитектурной сценой — массивные классические ворота, через три арки которых можно увидеть три длинные улицы. Перспектива так блестяще построена, что, когда я пошел на сцену, чтобы получше все рассмотреть, оказалось, что улицы составляют в длину всего лишь несколько ярдов. Мне

сказали, что, когда здесь идет спектакль и нужно на заднем плане создать видимость жизни, туда ставят маленьких детей, одетых как взрослые, потому что человек нормального роста разрушит эту иллюзию. Я обратил внимание на множество маленьких масляных ламп в глубине сцены. Когда их зажигают, возникает полное впечатление римской ночной улицы, залитой лунным светом.

Из многих палладианских вилл вокруг Виченцы вилла Альмерико, или Ротонда, — самая популярная, но я предпочитаю виллу Вальмарана, которую зовут еще вилла Карликов. Когда видишь стоящую посреди каменных сосен Ротонду, невольно улыбаешься, потому что она — прародительница многих английских домов. Раньше у нас было четыре ее копии, теперь остается вилла Берлингтона в Чизике, замок Мируорт и Фугскрэй, оба в Кенте.

Карлики виллы деи Нани — это садовые статуи, поставленные на ограду, их может видеть любой человек, идущий по дороге. Можно не сомневаться, что история, которую мне рассказали, пошла от крестьян. У одного богатого господина была единственная любимая дочь — карлица. Для того чтобы она не знала, что с ней что-то не так, к ней не допускали ни одного человека нормального роста. Однажды мимо проезжал красивый принц, в результате бедная девушка покончила жизнь самоубийством.

На этой вилле мне понравились очаровательные фрески работы Тьеполо и его сына. Конюшни, пусть и загруженные тачками, клетками для кур и тому подобными предметами, очаровали меня своим ренессансным обликом. Лошадиные кормушки сделаны из веронского мрамора, вешала для сена — из кованого железа. Каждые ясли отделены от соседних перегородкой, заканчивающейся колонной, увенчанной скульптурой. Конюшни огромной виллы Пизани в Стра

почти такого же дизайна. Их можно увидеть в красивой книге Джорджины Мэссон «Итальянские виллы и дворцы».

Виченцу и Падую разделяют менее двадцати миль. По дороге я, за исключением одной палладианской виллы, ничего не увидел. Подъезжая к Падуе, я думал, бывал ли когда-нибудь Шекспир в Италии. Некоторые полагают, что во времена Тюдоров он легко мог узнать все интимные подробности итальянской жизни за кружкой вина в любом лондонском кабаке. Другие считают, что Италию он знал не понаслышке. Профессор Эрнесто Грилло придерживался мнения, что Шекспир основательно знал страну; профессор Литтон Селлс предполагает, что, когда в 1592-1594 гг. лондонские театры из-за чумы закрылись, Шекспир вполне мог приехать на корабле в Венецию и посетить Падую, Виченцу и Верону. «В своем воображении он любил гулять по Венето, предпочитая ее любой другой части Италии, — пишет профессор, — и в семи его пьесах, если не больше, действие происходит в этой местности».

## 6

Отель в Падуе большой, внушительный и старомодный. Лифты из красного дерева медленно поднимаются к огромным спальням. Из своего номера я смотрел вниз. Прямо под окном — остановка, к которой то и дело подруливают автобусы, выгружая пассажиров. Далее высится элегантно как греческий храм здание. В итальянскую историю оно вошло как ночное кафе «Педроччи», место встреч патриотов Рисорджименто. Кафе, как мне скоро довелось узнать, специализируется на сабайоне.

Как сладостно слово «Падуя» отзывается в ушах англичанина! Шекспировская строптивая — это



Катерина Морони, известная в Падуе своим острым языком. Действие пьесы «Укрощение строптивой» происходит именно здесь. Из того же города Порция и Нерисса спешат в Венецию под видом падуанского юриста и писца, его помощника, чтобы проклясть и посрамить Шейлока. Вспомните, как тесно связан этот город с елизаветинской Англией: ведь целые поколения студентов-медиков уезжали в «прекрасную Падую, колыбель искусств», желая получить там самый престижный европейский диплом.

Это людный, сбивающий с толку и восхитительный город. Возможно, это самый старый город в Италии. Стены и бастионы протянулись на большое расстояние, но направление их можно проследить, в то время как ручей или канал, трудно сказать, что это такое на самом деле, причудливо извивается, так что когда идешь по мосту, кажется, что ты в Венеции. Людные улицы в центре города относят к периоду Средневековья, но их прямоугольная форма напоминает о том, что на этом месте был древнеримский город — тот, в котором, как говорят, родился Ливии. Более знаменитым, однако, в Падуе считается святой Антоний, чья могила находится в этом городе. Один старик сказал мне, что Антоний и на небесах самый работающий святой, надо лишь обратиться к нему в нужный момент.

Первое, на что я обратил внимание, это — методика обслуживания автобусных экскурсий. Автобусы, рыча, въезжают в Падую и останавливаются у капеллы дели Скровенья. Пока пассажиры входят в часовню, водители разворачивают автобусы и готовятся увезти других путешественников, что вышли на улицу. Ни минуты простоя. Как замечательно, когда тебя быстро доставляют с одного места в другое, а тебе ничего не надо делать: сиди себе, откинувшись на мягкую подушку! Только великие лорды и миллионеры могли

когда-то позволить себе путешествовать с таким комфортом.

Неподалеку пригорюнилась церковь Августина. Пригорюнилась, потому что нет в ней больше знаменитых фресок Мантеньи. В последнюю войну молодой человек в небе над Падуей сбросил бомбу, и, подчинившись закону гравитации, она упала на церковь и уничтожила работу Мантеньи. В этот трагический момент Италия понесла самую страшную потерю в области искусства. И все же каким-то чудесным образом стоящая рядом капелла не пострадала. Если бы бомба попала в это здание, потеря была бы еще ужаснее.

Часовня построена в 1305 году сыном ростовщика Ринальдо дели Скровенья, человеком, которого Данте поместил в ад, чтобы он с другими ростовщиками сидел там на раскаленном песке. В 1305 году в Англии царствовал король Эдуард I; римские папы пока еще не бежали в Авиньон; оставалось шестьдесят лет до рождения Чосера... так примерно старался я охватить взглядом это время. Об основателе этой часовни ничего не известно, кроме того, что он был богат и что нанял самого революционного художника того времени расписывать интерьер — уродливого маленького гения Джотто.

Каждый дюйм здания покрыт фресками. Сводчатый потолок — это синее небо, усыпанное золотыми звездами, а на стенах более тридцати самых известных картин: сцены из жизни Христа и Пресвятой Девы Марии. Хотя в любой книге по искусству вы сможете увидеть эти иллюстрации, даже самые лучшие репродукции не могут дать полного представления об оригиналах. В часовне вы видите их не как отдельные картины, а как серию картин, размещенных в правильном порядке. Цветовая гамма потрясающая, хотя, должно быть, время от времени к фрескам прикасалась кисть реставратора. Сикстинская капелла

дает такое же ощущение, выраженное в цвете, большей частью синем. Не так просто современному человеку, в распоряжении которого книги, изданные за несколько веков, представить себе эффект, производимый фресками Джотто на своих современников, людей, не умевших читать. Этот Новый Завет в картинах сделал больше, чем рассказал историю. К тому же он и рассказал ее по-новому. Возможно, многие тогда были шокированы: как можно снять Христа и Пресвятую Деву с византийского неба и поместить их в обыкновенный повседневный мир? Их реакцию можно сравнить, видимо, с реакцией зрителей, впервые увидевших кинофильм.

Джотто был крестьянином, жившим в долине неподалеку от Флоренции, давшей стране Медичи. Современники Джотто, как истинные итальянцы, поражались уродству художника. Рассказывают, что друг Джотто, Данте, сидел иногда с ним в часовне, наблюдая за тем, как художник быстро переносит свои картины на мокрую штукатурку. Поэт думал: как странно, что человек, умеющий создавать такую красоту, произвел на свет шестерых детей, и все до одного оказались такими же уродливыми, как отец.

С наступлением темноты кварталы Падуи возвращаются в XVI век. Многие англичане узнают улицы с колоннами, где в юности они снимали жилье. Англичане и шотландцы приезжали в местный университет учиться и организовывали свою англоязычную группу. Такие группы, в зависимости от языка, назывались нации. Отсюда недалеко до Венеции, и студенты ездили туда по праздникам и приветствовали прибытие нового английского посла, пили за его здоровье, а после на пьяцца Святого Марка случались драки, и праздник заканчивался в полицейском участке. В самой Падуе национальное

соперничество приводило к спорам, которые иногда заканчивались трагически.

Иногда отвагу студентов-медиков распаляло присутствие в городе солдат. Такая взрывоопасная ситуация была описана Джоном Ивлином, учившимся в Падуде зимой 1645 года. «Я вернулся в Падую, — писал он, — когда город наводнили солдаты. Они вламывались ночью в дома, иногда совершали убийства, даже монахинь, что живут неподалеку, побеспокоили. Мы вынуждены были принять меры предосторожности: вооружились пистолетами и другим огнестрельным оружием, чтобы защитить свои комнаты. Студенты и сами по вечерам выходили на улицу и останавливали всякого, кто шел мимо их дома. По вечерам, когда становится темно, на улицах очень опасно. Трудно что-нибудь сделать, когда в одном месте так много людей разных национальностей».

## 7

Старое здание университета я нашел в центре Падуи, всего лишь в нескольких шагах от моей гостиницы. Сейчас здесь находится администрация современного университета, сами факультеты разбросаны по всему городу. Я увидел внушительный двор эпохи позднего Ренессанса. Мраморные ступени привели в комнаты, стены которых покрыты были именами и гербами студентов всех национальностей. Я остановился в Большом зале — здесь до сих пор вручают иногда дипломы — и смотрел на надписи, обращая внимание на имена соотечественников — англичан и шотландцев.

По университету меня любезно водил один из профессоров. Он рассказал, что самое раннее упоминание, сохранившееся об английском студенте,

это упоминание о Хью Ивсхэме. Он стал потом врачом римского папы Мартина IV, а потом, в 1281 году, его назначили кардиналом. В списке здешних английских студентов встречаются громкие имена, такие как Роберт Флеминг (1447), основатель Линкольн-Колледжа, Джон Типтофт (1460), просвещенный, но пользовавшийся дурной славой Джон Фри, граф Вустер, и оксфордский реформатор Томас Линакр.

Мы вошли в зал, называющийся «Зал сорока». Стены его украшают портреты сорока выдающихся студентов. Большой интерес вызывает старинный стол, за которым в течение восемнадцати лет читал студентам лекции Галилей. Сделан он из грубых деревянных планок и больше похож на кафедру, чем на стол. Возможно, Галилею он достался по наследству от какого-то средневекового преподавателя. Стол этот весьма обшарпан.

«Карьера Галилея, — сказал профессор, — не была триумфальной до тех пор, пока он не вступил в конфликт с церковью, однако оплачивали его работу хорошо. Иногда две тысячи людей требовали, чтобы он читал им лекции. Среди них было много выдающихся ученых, которые приезжали из всех частей Европы, лишь бы только его послушать». В Падуе он изготовил первый свой телескоп, который давал лишь трехкратное увеличение, однако он продолжал экспериментировать с линзами и, наконец, смог изготовить приборы, увеличивавшие в тридцать два раза. С помощью таких скромных средств он впервые увидел спутники Юпитера и разглядел звезды Млечного Пути.

Я снова обратился к портретам на стене и увидел среди знаменитостей несколько английских ученых. Первым был Томас Линакер, которому выпала неприятная судьба — быть врачом Генриха VIII, впрочем, была в его жизни и отдушина: он учил латыни принцессу Марию. Затем я обратил внимание на портрет Фрэнсиса

Уолсингема, главы елизаветинского разведывательного управления. Был здесь и портрет Уильяма Гарвея, и, как ни странно в такой компании, портрет Джона Рутвена Гаури, шотландского заговорщика. Больше всего, однако, удивил меня портрет Оливера Голдсмита, в чью академическую карьеру я никак не мог поверить. Тем не менее Падую утверждает, что он был ее студентом. Впоследствии я заглянул в университетские архивы, а потому подозреваю, что имелся в виду другой человек. 13 декабря 1755 года докторская степень в области философии и медицины была присвоена «Господину Гулиелмо Оливеру, сыну господина Гулиелми». Вряд ли приведенное здесь имя соответствует фамилии Голдсмита!

Мы вошли в комнату, подготовленную для устного экзамена. Одинокий стул поставлен был против инквизиторского ряда кресел. В поле зрения кандидата был также стеклянный шкаф, содержащий восемь человеческих черепов.

— Это черепа профессоров, оставивших свои тела для анатомического театра, — объяснил мой гид.

Видеть одновременно и живых, и мертвых профессоров... Такая академическая шутка мне не слишком понравилась. Мы спустились на несколько ступенек и подошли к двери, возле которой профессор остановился.

— Сейчас вы увидите, — сказал он, — самый старый анатомический театр в мире. Построен он был в 1594 году для Фабриция из Аквапенденте. С ним учился ваш великий Уильям Гарвей, и в его доме он жил.

Мы вошли в мрачное помещение XVI века. Круглый лекционный зал или театр. Стены облицованы светлым деревом, что-то вроде сосны. Шесть ярусов способны вместить двести студентов. Сидений нет. Студенты должны были стоять, опираясь на балюстрады, и смотреть вниз на центральный круг с анатомическим

столом. В полу было прямоугольное отведение площадью примерно семь на восемь футов, и через него я увидел подвал. Я спросил у профессора, для чего это. «Средневековое предубеждение против вскрытия человеческого тела существовало еще и при Ренессансе, — пояснил профессор, — и иногда было желательно, даже в Падуе, наименее теологическом из всех университетов, быстро скрыть доказательства вскрытия трупа. Анатом подавал знак, и стол опускали в подвал. Трупы принадлежали обычно казненным преступникам. Ночью их срезали с веревки и поспешно отвозили в анатомический театр. Вот потому-то так много лекций проходило при свете свечей. Иногда по обе стороны стола стояли двое человек с зажженными факелами. Они направляли свет в то место, которое указывал им профессор».

Мой гид рассказал мне, что одной из причин популярности медицинской школы в Падуе была та, что лекции по анатомии, сопровождавшиеся практическими занятиями, проходили здесь чаще, чем где-либо еще в Европе. В Париже, к примеру, в XVI веке разрешалось вскрывать только два трупа в год. Такая «анатомия» вряд ли приносила студентам пользу. Лектор, сидя на высоком троне, указывал белой тростью, а бородой расчленял труп преступника. В Падуе анатомическая наука развивалась благодаря первому из великих анатомов — Везалию. Тот сумел убедить местные власти не предавать преступников четвертованию. Студенты могли не только посещать лекции и наблюдать за работой великих анатомов, но и покупать точные «таблицы» вен и артерий, как те, что имеются в Британском музее. Ивлин привез их домой из Падуи и презентовал Королевскому обществу.

Не было среди студентов более преданного хирургии человека, чем Уильям Гарвей. Первые соображения относительно циркуляции крови возникли у него, когда

он, перегнувшись через балюстраду, следил за действиями анатома в Падуе. Говорят, когда умер попугай его жены, он тут же положил птицу на операционный стол и через минуту доказал, что тот всю свою жизнь притворялся самцом! Другой необычный случай из его практики. Яков I попросил его высказать мнение относительно женщины, которая, по его подозрениям, была ведьмой. Старуха жила одиноко, в доме на отшибе. Она не признавалась в своих сверхъестественных способностях, пока Гарвей не сказал ей, что он и сам волшебник. Воодушевившись, старая дама пообещала показать ему ее домашнего духа. Пощелкав языком, она поставила на пол блюдо с молоком. Из-под дубового сундука выскочила жаба, Гарвей отослал старуху за кувшином эля и, пока ее не было в комнате, он — как способный ученик Фабриция — успел разрезать жабу и сделал вывод: «Она совершенно ничем не отличается от себе подобных». Естественно, старая женщина была недовольна тем, что так обошлись с ее питомицей, но она не знала, что та операция, возможно, спасла ее саму от сожжения.

«Уильям Гарвей жил в доме Фабриция Аквапенденте, — сказал профессор, — вполне вероятно, что начало его мыслям о циркуляции крови дало предположение хозяина о том, что аортериальные клапаны открываются к сердцу».

Забравшись на ярусы, я постарался представить себе лица студентов, выхваченные из темноты светом факелов. Сцена была, вероятно, еще более драматическая, чем на картинах Рембрандта. У студентов, приехавших сюда учиться из шекспировской Англии, не было ни обезболивающих, ни микроскопов. Знаний о микробах и инфекции у них было меньше, чем у нынешних десятилетних детей. Тем не менее, когда они вернулись, то с пилами и щупами они стали самыми профессиональными практиками своего времени.



Рано утром, в отсутствие мотоциклистов, в городе царит блаженная тишина. Солнце светит на спокойные площади и пустынные колоннады. Единственный признак жизни — это несколько фигур, спешащих к ранней мессе. Как и в большинстве городов Северной Италии, Падую лучше всего исследовать до завтрака. Вы увидите здесь все, что собирались посмотреть: статуи Петрарки и Мадзини, улицу Данте, улицу Мандзони; площадь Гарибальди, а также, что намного оригинальнее, улицу Фаллопия — в знак уважения к анатому. Улица виа дель Санто ведет к базилике Святого Антония, самой популярной церкви в Италии среди паломников. Вам скажут, что Падуя — это город:

Святого без имени,  
Поляны без травы,  
Кофейного дома без дверей.

Эти загадочные строчки обращены к святому Антонию, которого в Падуе никогда не называют по имени, а просто говорят: «Святой». Под словами «поляна без травы» понимают огромную площадь — Прато делла Балле. Площадь так похожа на гравюру XVII века, что вам кажется — вот-вот по ней промарширует отряд гренадеров с оркестром и негром-цимбалистом. Кофейный дом без дверей — это кафе Педрокки, которое когда-то было открыто всю ночь. Возможно, кому-то захочется добавить к этим строчкам «кота верхом на лошади», тогда слова эти будут означать конную статую работы Донателло Эразма да Нарни, великого венецианского полководца, известного всем под именем Гаттамелата.

Первым в любом итальянском городе просыпается район, связанный со Средними веками длинной плетью лука, — пьяцца делле Эрбе. В Падуе есть также и пьяцца деи Фрутти. Обе они находятся в тени огромной городской ратуши, нависающей над городом, словно старый галеон над набережной. Любопытно понаблюдать, как прибывают торговцы на мотороллерах, мотоциклах, микроавтобусах и даже на мотоциклах с самодельными прицепами, нагруженными салатом-латуком, капустой, баклажанами, дынями, помидорами и прочим, что выращивают они на теплой итальянской земле.

Не успеешь и глазом моргнуть, как прилавки уже поставлены, развернуты парусиновые разноцветные навесы, и рынок готов к встрече с первыми покупателями. В это же время открываются и двери булочных, мясных и рыбных лавок. Все они сгруппированы на палаццо делла Раджоне. Думаю, если бы заглянули сейчас сюда Данте и Джотто, то не увидели бы больших перемен.

В просторном зале здания, что находится рядом с рынком, я обнаружил отличную деревянную лошадь — похоже, она сохранилась со времен Ренессанса, и две скульптуры египетских богинь-кошек, подарок от сына Падуи, гиганта Джованни Бельцони. Я рано попал под его очарование и часто думал, почему его удивительные приключения среди гробниц и египетских пирамид в то время, когда никто еще не мог прочесть древних египетских иероглифов, ни разу не переиздали. Он был привлекательным добродушным гигантом, ростом шесть футов и шесть дюймов. В Лондоне на Варфоломеевской ярмарке он потешал публику. Было это во время правления Георга III. Бельцони представлял Геркулеса: надевал на себя шкуру пантеры и устраивал демонстрацию силы. Он и жену нашел себе под стать — крупную амазонку. Вместе с миссис Бельцони они

отправились в Египет — продавать гидравлические насосы местным пашам. Падуанский Геркулес учился инженерному делу в Италии. Когда понадобилось поднять колоссальный гранитный бюст Рамзеса II, чтобы переправить его в Британский музей, пригласили Бельцони. Возможно, это обстоятельство и вызвало у него желание исследовать гробницы и храмы на берегах Нила. Это он впервые совершил раскопки в Абу-Симбел, ныне там поработали вандалы. Он первым из европейцев проник в пирамиду, в помещение, где находились мумии. Хотя Бельцони и не был ученым, он стал одним из величайших путешественников по Ближнему Востоку. Его «Повесть», изданная в большом формате с цветными изображениями усыпальниц, нарисованными и раскрашенными им самим, — самая увлекательная ранняя работа такого жанра, что вышла в Англии. В Падуе до сих пор вспоминают: когда знаменитый путешественник вернулся в Падую, он привез в дар родному городу две скульптуры богинь-кошек. Тогда в его честь была отлита золотая медаль. Пять лет спустя очаровательный гигант умер по дороге в Тимбукту.

Я отправился в ботанический сад. Там можно посидеть в тени деревьев, высаженных еще в XVI веке. В центре сада можно заметить круглый старый Аптекарский сад. Он был открыт в 1545 году, и Томас Кориэт впервые попробовал там фисташки и решил, что они «намного вкуснее абрикосов». Сад этот считается первым научным ботаническим садом Европы.

Я не стал бы преувеличивать, утверждая, что Англия оказала большое влияние на Падую, хотя, проходя по улицам, вы часто вспоминаете то или иное английское имя. Несостоявшийся король Англии во время политического изгнания умер здесь от лихорадки. Это был Эдуард Кортни, граф Девоншир, которого многие хотели видеть на троне с Елизаветой Тюдор. Если бы он

не умер за два года до того, как она стала королевой, кто знает, как бы пошло историческое развитие? Могилу его в Падуе Кориэт видел, а я так ее и не нашел.

Умер в Падуе и коллекционер Томас Говард, граф Арундельский. Его, как и многих других, повлекло за границу, он осел в Падуе, здесь же в бедности и скончался. Ивлин видел его на смертном одре. «Я ушел от него, когда он лежал, — писал он, — оставил его в кровати, заливавшегося слезами. Этот человек вспоминал обо всех ударах, которые свалились на его семью. Особенно огорчало его непослушание внука Филиппа, ставшего доминиканским монахом, и несчастье его страны, втянувшейся в гражданскую войну».

Еще одним англичанином, умершим в Падуе, был эксцентричный сын леди Мэри Уортли Монтегю — Эдвард. Необычная ситуация — ненависть матери к собственному сыну. Возможно, она видела в нем пародию на саму себя. Я не сомневаюсь в том, что он был сумасшедшим. Он ехал в Англию одетым, как турок. В Падуе во время трапезы в горле у него застряла рыбная кость. Она и стала причиной его смерти.

Несмотря на то что он, как говорят, принял мусульманство, добрые монахи-августинцы похоронили его на территории монастыря.

Паломники молятся у могилы святого Антония из Падуи вот уже семь столетий. Как и его друг, святой Франциск Ассизский, святой Антоний был человеком с очень нежным сердцем. Великий проповедник и утешитель, покровитель путешественников. Как и святого Христофора, его изображают с Христом-младенцем на руках, потому что видели, как во время молитвы он держит перед собой сияющего младенца Иисуса.

У церкви его имени необычный, экзотический вид. У здания есть башни, похожие на минареты, а потому она

напоминает мечеть. Кстати, святой Антоний — испанец, родился он в Лиссабоне. Он направлялся на мусульманский Восток, когда корабль разбился у берегов Италии. Читатели «Цветочков» вспомнят, что святой Антоний молился рыбам. Начиная свое к ним обращение в настоящей францисканской манере со слов: «Братья мои, рыбы...» Когда он говорил, рыбы «поднимали головы над водой и внимательно его слушали, совершенно при этом не двигаясь», а когда он возносил хвалу их Создателю, который сохранил их одних во время Потопа, «начинали открывать рты и кивать головами, как бы давая понять, что они благодарны Богу».

Могила святого я нашел в молельне позади алтаря. Мимо нее бесконечной вереницей шли люди, произнося шепотом какие-то слова, прикасались к мрамору пальцами или проводили по нему носовыми платками, желая унести с собой частицу святости. Когда Кориэт был здесь, он видел «некоего одержимого бесом человека». Его привели к святому в надежде изгнать из больного дьявола. К сожалению, экзорцизма не получилось. «Я оставил человека, — пишет Кориэт, — в таком же плохом состоянии, в каком увидел его вначале».

Мне говорили, что в Италии проводили референдум относительно двух самых популярных святых. Назвали святого Франциска Ассизского и святого Антония Падуанского. Хорошую историю о культе святого Антония рассказал Бернارد Уолл в книге «Итальянская жизнь и ландшафт».

«Умирала упрямая крестьянка, и священник очень хотел, чтобы в этот великий момент душа ее предстала перед Богом. „Но я не верю в Бога“, — сказала старуха. Священник был озадачен. Затем подумал немного и сказал: „Но каждый человек во что-нибудь да верит. Невозможно ни во что не верить. Разве ты не веришь в

Мадонну и святого Джузеппе?” — „Нет, — сказала старая женщина. — Это все поповская болтовня“. Священник отчаянно искал соломинку, за которую можно было бы ухватиться. „Но подумай, — сказал он, — ты ведь умираешь, что случится с твоей душой, если ты ни во что не веришь?“ Женщина крепко задумалась. Затем лицо ее просветлело. „Ну, конечно. Верю в святого Антония“».

Бронзовый кондотьер, великий Гаттамелата, по воле своего создателя Донателло, оседлал возле церкви коня. Всадник — со шпорами длиной в двенадцать дюймов — похож на милосердного Цезаря. Он стал первым из бронзовых наездников со времен Древнего Рима, с него началась бесконечная кавалькада императоров, королей, принцев, герцогов и генералов, скачущих на лучших площадях мира.

Донателло и его работы привели Падую в восторг. Власти пытались уговорить скульптора остаться в их городе, но он ответил отказом. Он должен вернуться в свою родную Флоренцию, иначе забудет все, чему его учили. «В Падуе, — сказал он, — все, что он делает, вызывает похвалу, а во Флоренции его постоянно критикуют». Больше всего мне нравится рассказ о том, что, когда Донателло состарился, преданные ему Медичи подарили скульптору ферму, и Донателло в восторге отправился в поместье. На следующий год он умолял Медичи взять их подарок назад: лучше он умрет от голода, чем от беспокойства.

## 9

В нескольких милях от Падуи вы увидите миниатюрную Швейцарию — землю отшельников и драконов. Эти причудливой формы вулканические вершины, Эвганейские холмы, кажутся выше, чем они

есть на самом деле, потому что без какого-либо предупреждения вырастают из плоской равнины.

У подножия холмов раскинулся бальнеологический курорт Абано, там цезари лечили свою подагру. Курорт этот до сих пор популярен, современные его обитатели, завернувшись в банные полотенца, по-прежнему мучаются от артрита проконсулов, хромавших здесь много столетий назад. За инвалидами заботливо ухаживают в красивых отелях. Они лежат в радиоактивной грязи, ощущая, как она выкачивает из них ревматизм. В парке я увидел симпатичную статую Гигиен. Богиня стоит над клумбой из красных цветов и бассейном с голубой водой, над которой поднимается пар. Разогревают воду таинственные печи, которые в отдаленном прошлом подняли из земли Эвганейские холмы. Вода оказалась настолько горячей, что я не мог удержать в ней руку.

Мне припомнилась книга Айрис Ориго «Последняя привязанность». В ней описан роман Байрона и графини Терезы Гвиччиоли. Охладеть они друг к другу не успели: Байрон умер в Греции. По крайней мере, никто не может сказать, что проживи поэт дольше, и любовь его угасла бы. Вполне возможно, что они бы даже и поженились. В первую стадию их романа Байрон, чье презрение к платонической любви Петрарки было известно, позволил молодой женщине взять его с собой в романтическое паломничество к дому Петрарки на Эвганейских холмах. Здесь они оба расписались в книге для посетителей. Я заинтересовался, существует ли до сих пор эта книга, и подумал, что интересно было бы поехать в музей и увидеть ту самую страницу.

Не успел я съехать с главной дороги, как оказался в лабиринте переулков и многочисленных дорог, по которым ехали телеги. Я понял, что оставил современную Италию позади. Бывает, что тебе приходится проезжать по небольшим местечкам, таким

как Эвганейские холмы. То ли дорожные строители проглядели их, то ли по какой-то другой причине, но на таких участках остались примитивные тропы, и добраться до нужного тебе места труднее, чем до действительно удаленных уголков мира. Не один раз пришлось мне съезжать на обочину, чтобы дать проехать телегам с впряженными в них белыми волами. Я повернул за угол, и мне показалось, что я где-то в Гемпшире: я увидел двух крепких девушек, поднимавшихся в гору с деревянными коромыслами на плечах, несущих полные ведра воды. Они напомнили мне двух доярок, сбжавших в Италию из романа «Крики Лондона». Деревни прилепились к вулканическим склонам посреди виноградников, которые предпочитают такой тип почвы. Вся эта территория, казалось, живет в прошлом веке.

Арква — маленькая деревня с церковью, стоящей на нижней террасе, винным магазином, забравшимся чуть повыше; на самом же верху стоит дом, который построил Петрарка. Он поселился там в 1369 году, когда ему исполнилось шестьдесят четыре года. Со здоровьем у него было неважно, и ему хотелось уйти от беспокойной жизни Падуи в тихую деревню, где он мог бы читать книги и писать, если бы пришла такая охота, — это мечта писателей всех времен. Человеком он был добросердечным, зависевшим от друзей, но они все поумирали и оставили поэта печальным и одиноким. Последним большим его другом был Боккаччо, Петрарка писал ему из Арквы, рассказывал о спокойной своей жизни и мечтал, чтобы смерть пришла к нему, когда он будет сидеть за книгой или сочинением стихов. Мечта его осуществилась: утром, в день семидесятилетия поэта, его нашли мертвым. Поэт сидел за открытой книгой.

Окна смотрят на холмы и виноградники. Домик небольшой, но каменный. Просторная передняя, потолок



покрашен и разделен на резные панели. Над дверью, в стеклянной витрине, сидит полная достоинства бальзамированная кошка. Длинный текст на латинском языке объясняет, что Петрарка был чрезвычайно привязан к животному и называл его второй Лаурой! В доме есть плохие фрески. Старая дама, что показывала дом посетителям, сказала, что фрески эти — современники поэта. Я увидел стул Петрарки, красивую чернильницу и комнату, в которой он был найден мертвым. Реликвии показались мне трогательными, но не близкими Петрарке. Другое дело — маленький сад с гранатовыми деревьями: там он, должно быть, часто гулял, смотрел вниз на долину и вспоминал прошлое.

Когда я спросил о книге посетителей, смотрительница провела меня в переднюю и показала стеклянную витрину с разными предметами, среди которых находилась и книга посетителей. Но я так и не смог упросить ее открыть витрину, а потому и не видел страницу, на которой были запечатлены имена Байрона и Терезы.

Я спустился к церкви, думая о сцене, описанной Айрис Ориго. Было это в 1819 году, в пору ранней стадии их любви. Они ехали из Падуи в Венецию и вели себя — как им казалось — осторожно. Тереза путешествовала в мужниной карете, запряженной шестеркой лошадей, вместе со служанкой и лакеем. Байрон ехал следом в огромном экипаже, сделанном по типу кареты Наполеона. В экипаже стояла его кровать, книжный шкаф и большой набор серебра, фарфора и белья. Дорога эта даже и сегодня нелегкая, а тогда была такой трудной, что фореиторы отказались следовать до конца. Поэтому влюбленные закончили свое паломничество пешком.

Байрона, вообще-то, бесила привычка Терезы читать стихи по любому поводу, но сначала он был настолько влюблен, что с удовольствием слушал стихи Петрарки,

которые его любимая читала, когда они приближались к дому поэта.

Они обнаружили, что дом наполовину разрушен, а на полу первого этажа разбросаны предметы домашнего обихода, кувшины с пшеницей, только мумифицированная кошка стояла на месте в своем футляре. «Байрон отпустил по этому поводу характерное для него замечание, — пишет Айрис Ориго, — сердца животных часто лучше человеческих, и привязанность этого животного посрамляет холодность Лауры». Они спустились по дороге к церкви и увидели рядом со зданием мраморный саркофаг, установленный на четырех низких мраморных колоннах, — могилу Петрарки. Дети принесли им виноград и персики, и Байрон, который обычно не любил смотреть на жующих женщин, заметил, что он впервые видел Терезу за едой, и зрелище это оказалось «исполнением его мечты». Возможно, что потомки тех самых детей принесли мне маленькие букетики цветов, а я подарил им конфеты.

Петрарка и Лаура... Байрон и Тереза... Святая и светская любовь. Посещение дома оказалось интересным, но глупо все же прятать под замком книгу посетителей и держать ее открытой под стеклом не на той странице.

Выбравшись на главную дорогу, я вскоре оказался в городе Эсте. Семья жила там, прежде чем закрепиться в Ферраре. То, что издалика казалось огромным средневековым замком, не более чем стена. Никогда воинственный внешний вид не был более обманчив. Стена окружает городской сад, где когда-то собирались тяжеловооруженные всадники и седлали боевых коней. Сейчас здесь высажены клумбы с шалфеем, петунией и георгинами. Дети играют в тени гигантских магнолий и кипарисов.

Вилла Капуцины, которую Байрон арендовал в течение двух лет, а затем отдал в наем Шелли, до сих

пор находится здесь. В летнем доме в конце сада Шелли написал стихи об Эвганейских холмах и начал «Освобожденного Прометея». Табличка на площади гласит, что в этом городке Рим был провозглашен столицей объединенной Италии.

## 10

Утром я отправился в Венецию.

Двадцать семь миль автострады напоминали трек: автобусы, легковые автомобили, фургоны, мотоциклисты, велосипедисты неслись к королеве Адриатики, и я в полной мере осознал, что Верона, Виченца и Падуя составляли мирный треугольник в сердце тайфуна.

Улыбнулся, подумав, что начало всему положил баптистский миссионер и трезвенник Томас Кук. В 1841 году он взял с собой новообращенных из Лестера и отвез их в Лафборо на собрание общества трезвости. Оказалось, что путешествие это судьбоносное. Когда путешественники подходили в конце дня к своим железнодорожным вагонам, на всех главных станциях стоял человек от Кука, бывший чем-то средним между гидом и семейным советником. В 1860 году было принято смелое решение: расширить путешествие от Рамсгейта до континента. Путешествие перестало быть аристократическим, оно теперь было привилегией людей обеспеченных. Европейцам не слишком-то понравилось, когда материк наводнили гувернантки, клерки, члены профсоюзов и «молодые персоны» обоих полов. Такое их настроение выразил прозаик Чарльз Лавер, ставший впоследствии британским послом в Специи.

«Города Италии, — писал он, — наводнены этими существами. Я только что встретил три стада, и таких

неотесанных мне встречать еще не доводилось. Мужчины по большей части пожилые, мрачные; женщины, возможно, чуть-чуть помоложе, натерпевшиеся в дороге, помятые, но чрезвычайно живые и веселые». С типично ирландским злорадством Лавер распространил среди влиятельных итальянцев слух о том, что туристы Кука — преступники, что британское правительство выпроводило их из страны и коварно подбросило Италии. Мы живем в такое время, когда все знают: нет такой лжи, которая после многократного повторения не станет правдой, поэтому можем понять мистера Кука. Ему пришлось пойти в Министерство иностранных дел и просить защиты.

Теперь на дорогах Венеции можно увидеть собственными глазами, как тот давний десант трезвенников превратился в универсальный бизнес, в котором каждая нация хочет получить свою долю. Ни одно иностранное государство, каким бы богатым оно ни было, не откажется от иностранной валюты, которую оставляют в стране туристы, большинство правительств нанимают профессиональных сирен, заманивающих путешественника в свои магазины. Тут тебе и реклама на огромных щитах, и брошюры с описанием достоинств страны, не таких, какие они есть на самом деле, а таких, какими надеется увидеть их турист. Рекламные щиты показывают идеальный мир, где всегда светит солнце, где люди пышут здоровьем, а девушки ходят в купальниках, все приветливо вам улыбаются, те же, кто не в купальнике, одеты в национальные костюмы прошлого столетия.

Трогательно, когда видишь, что, встречаясь с жадностью и корыстолюбием, люди продолжают верить в существование идеальной страны и каждый год платят деньги за новое путешествие. Надеюсь, какой-нибудь социальный историк отслеживает сейчас движение, ставшее чем-то вроде иерусалимского

крестового похода, и как средневекового паломника можно было раньше узнать по подпоясанному веревкой одеянию, шляпе с широкими полями и посоху, так и современный мир, заведя мужчину, одетого как маленький мальчик, обжаренного на солнце и увешанного фотокамерами, тотчас узнает в нем туриста. Италия знала религиозных паломников давних веков, студентов эпохи Ренессанса, аристократов Большого путешествия, плутократов XIX века. Теперь она вступила в самую примечательную и выгодную фазу своей истории.

Думается, последняя фаза истории путешествий начинается с военных времен. Грузовики, доставлявшие вооруженных людей во все концы Европы, стали ныне удобными мирными автобусами. Офицеры, военнослужащие сержантского состава и переводчики переквалифицировались в гидов. Мне даже мерещится, будто замысловатую эту операцию контролируют из штаба менеджеры туристских агентств, командовавшие некогда моторизованными батальонами. Теперь, втыкая в карту цветные флажки, они задумывают инфильтрацию своих клиентов в картинные галереи и музеи Европы.

Метаморфозы постоянно о себе напоминают. Войска приучены были к внезапной атаке, в такой же точно манере автобусы выбрасывают туристов на итальянские площади. Появляется гид, как некогда командир, и руководит операцией, только вместо обвешанных оружием солдат в камуфляжной форме высаживается отряд, составленный из почтенных матрон, молодых девиц в узких брючках, мужчин в шортах, рубашках в гавайском стиле, с фотоаппаратами на шее и с выражением солдатского стоического терпения на лице. Не так уж трудно представить себе, как в поле зрения группы туристов попадает в качестве избавителя какое-то публичное здание. Ведомые жестикулирующим

гидом, который, должно быть, призывает своих последователей к свершению героического поступка, туристы штурмуют ступени и завладевают лифтами, в то время как основная часть отряда, готовая вступить в схватку с Боттичелли, устремляется к главной лестнице вслед за матронами в брюках и девицами в сандалиях.

Автострада сменяется грунтовкой, протянувшейся на три мили у мелководной соленой лагуны, в которой, по словам поэтов, плавает Венеция, а по утверждениям геологов и инженеров — она тонет со скоростью одного ярда за каждые пятьсот лет. Где-то параллельно грунтовке под землей проходит водопроводная магистраль, по которой в Венецию качают свежую воду из колодцев, находящихся в пятнадцати милях от города. Еще восемьдесят лет назад свежую воду получали из очищенной дождевой воды, которую скапливали в огромных подземных цистернах, а девушки разносили ее потом ранним утром от двери к двери, как та пара, которую я видел на Эвганейских холмах. Электричество смело шагает в город по лагуне, передвигаясь от столба к столбу.

Грунтовка закончилась и превратилась в довольно уродливую итальянскую площадь, носящую высокопарное название пьяццале Рома. Это ужасное место, синее от выхлопных газов и дизельного дыма, заставлено припаркованными автобусами из всех частей Европы. Доминантной точкой является шестиэтажный гараж, самый большой в Италии. Здесь автомобилист может оставить свою машину, которая в городе ему уже не понадобится.

Я смотрел, как из трейлеров выгружают ящики с пивом, мешки с мукой и другие предметы, которые сначала доставили в Венецию на баржах, каждая баржа под охраной громогласной нечистокровной собаки. В одном из автобусов я заметил американских девушек-студенток в последней стадии Утомления; в другом —

немцев из Гамбурга; третий автобус Доставил пассажиров из Брейфорда, Йоркшир; четвертый — из Осло; пятый — из Копенгагена; шестой — из Лиона, а два других — из Вены. И вдруг посреди сутолоки, выхлопов двигателя и клубов дыма на площадь въехала группа из ближайшего кемпинга. Жаль, что Чарльз Левер не смог увидеть шорты и рубашки, штаны «а-ля тореадор», вздувшиеся пузырями руки и плечи и радостные лица ребят, освободившихся на время от тирании индустриального мира.

Все столпились перед вапоретто — речным трамвайчиком. Носильщик сбросил мои чемоданы на палубу. Я спрыгнул вниз и уселся на них. Все смотрели в одном направлении, словно мусульмане, приветствующие восход солнца. Мы поплыли по Большому каналу.

## Глава восьмая. Венеция

***Прибытие в Венецию. — Церковный сторож Сан-Марко. — Похищение останков Святого Марка. — Греческие лошади. — Столик в кафе «Флориан». — Дожи Венеции и догарессы. — Гондола на Большом канале. — Дворец Байрона. — Немецкое подворье. — Брат Фабри.***

### 1

Двадцать пять лет я не был в Венеции и сравнивал теперешнее свое, довольное убогое, прибытие с прежним приездом на поезде: железная дорога — самый лучший способ сюда добираться. Вспоминаю, как шел по платформе за носильщиком к террасе, омываемой водами Большого канала. Вот она, Венеция, город, который я так часто видел на фотографиях в книгах и на музейных картинах: старинные дворцы, полосатые багры гондольеров и сами знаменитые черные гондолы. Легкий ветерок шевелил воду мелкого Канала, создавая миниатюрные волны. Каналетто иногда венчал эти волны маленькими китайскими белыми арками. Венеция и Рим схожи в том, что не вонзают в тебя острый нож открытия, они лишь легонько подталкивают в бок: смотри, узнаешь? Впечатление такое, будто живешь второй раз и видишь места, знакомые из первой жизни.

Во многом все выглядело так же, как и четверть века назад. Наш вапоретто шлепал по воде Большого канала. Вот он прошел под мостом Риальто. На берегу приводили в порядок рынок: там закончилась утренняя распродажа рыбы и овощей. Ночью прошел летний дождь, и воздух обрел шелковистое сияние — то, что



приводило в восторг венецианских живописцев. Окрашенные в выцветшие пастельные зеленые и коричневые тона дворцы на вид совсем не изменились. Гондолы пересекали дрожащее их отражение, время от времени полосатые багры цеплялись за пристань возле опустившегося в социальном своем статусе постаревшего дворца.

Мы плыли по удивительной водной улице, где здания напоминают о занесенных в Золотую книгу именах. На несколько мгновений подтягивались к плавучей пристани, где одни пассажиры высаживались, а другие ступали на борт. Я с удовольствием прислушивался к речи венецианцев: она напоминает очаровательное птичье щебетание. Слова они произносят не так, как остальные итальянцы: так, например, звук «g» в Венеции звучит как «z», а звук «с» произносится как «х». Такой журчащий, влажный диалект прекрасно перекликается с окружающей их водой. Мы, наконец, приблизились к самому популярному месту, к тому, где стоят две гранитные колонны, а Дворец Дожей, словно восточное кружево, светится в воде. Когда мы подошли к пристани святого Захария, носильщик взял мои чемоданы и сказал, что моя гостиница в двух шагах от этого места. Он пошел вперед к похожей на расщелину улице, носящей название Калле делле Рассе.

Гондольеры, изображенные Карпаччо, и их отцы, не попавшие в поле зрения художника, обивали кабины своих гондол крепким черным материалом, который называется рассе. Материал этот привозили из одного старинного района Сербии — Ражка. Он так часто использовался в Венеции, что на улице Калле делле Рассе ничего другого не продавалось. На одном углу этой улицы находится гостиница Даниели,<sup>[74]</sup> а заканчивается она очаровательной маленькой площадью и оживленным фруктовым рынком. Вы можете посидеть

здесь в кафе за столиком и понаблюдать за людьми, покупающими персики и сливы, или нарезанный на куски алый арбуз, либо нарубленный кокосовый орех. Все это выставлено для продажи на любопытной стойке из кованого металла, в которой имеется фонтанчик, брызгающий на фрукты водой. В одном углу площади есть отличная пекарня, а напротив — кафетерий, где вы можете отведать у прилавка экзотические блюда или унести их с собой на красиво упакованном картонном подносе. Тут может быть все — от половины жареной курицы до королевских креветок и тунца.

Разбираясь в этимологии слова *рассе*, я разгадал загадку, которая, возможно, озадачивала и других людей: почему наши жалюзи, которых в Венеции я никогда не видел, называются «венецианскими». Объясняется это тем, что в XVIII веке, когда впервые были изготовлены жалюзи, пластинки перевязывали крепким материалом, похожим на *рассе*, которым пользовались в Венеции. Сегодня на *Калле делле Рассе* вы не сможете купить и дюйма такого материала. Улица отдана теперь во власть маленьких рыбных ресторанов, витрины которых наполнены устрицами, мидиями, угрями, тунцом, каракатицами, осьминогами, креветками, *лангустами*, крабами и прочими дарами моря.

Вот на этой улице я и жил. Спальня моя, однако, выходила не на *Калле делле Рассе*, а на параллельный ей переулок, который тоже вел к упомянутой мною маленькой площади. Должно быть, из желания смягчить доносившийся из переулка грубый шум, некая добрая женщина оклеила стены обоями с рисунком из нежных розовых бутонов, перевязанных голубой лентой, и комната стала похожей на спальню девочки-школьницы. Вдобавок и ситцевая веселенькая салфетка на туалетном столике. Такую комнату вы могли бы увидеть у друзей, живущих в загородном коттедже. «Мы решили

поселить вас в комнате Джейн, она сейчас в интернате!» Странно было из окон такой комнаты посмотреть в окно и увидеть глаза Шейлока, рембрандтовского персонажа в черной шапочке. Он жил в доме на противоположной стороне. Мы могли бы пожать друг другу руки, если бы высунулись из окон: настолько узким был переулок. Старику, похоже, кислород не требовался. Окно было плотно закрыто. Не понадобилось бы, наверное, и окно открывать, если бы не любимая канарейка. Птица жила в красивой клетке из тонкого бамбука, и он выставлял ее на утреннее солнышко. Этими-то недолгими солнечными минутами птица и ограничивалась. В узком каньоне светило не задерживалось. Иногда птичье щебетанье вызывало Шейлока из тени, он подходил к клетке и что-то с улыбкой шептал птице. Рембрандту, должно быть, нравился этот момент. Затем солнце поднималось над головой, а маленький переулок нырял в темноту до следующего утра.

Каждое утро меня будили сварливые голоса и обрывки песен. Я смотрел вниз и видел соломенные шляпы гондольеров. Каждый день они в одно и то же время шли с веслами, закинутыми через плечо, и спускались к набережной Рива дели Скьявоне. Комната, несмотря на книги, карты и табачный дым, по-прежнему смотрела на меня чистым девичьим взором. Странно, когда подумаешь, что буквально за углом отсюда находятся Дворец Дожей и собор Святого Марка.

## 2

Во время туристского сезона самой заметной персоной на piazzetta является церковный сторож собора Сан-Марко. На нем треугольная шляпа с поднятыми полями, туфли с пряжками. Он стоит у западного входа в собор с посохом с бронзовым набалдашником. Задачей

его является — не пропускать в базилику легкомысленно одетых женщин. В самый жаркий день сторож при галстукке, застегнут на все пуговицы, на боку сабля. Своим видом он являет упрек небрежным манерам современного мира. На земле он исполняет функцию, близкую ангелу с пылающим мечом. Едва заметным жестом он иногда отказывает в допуске в храм мужчине с волосатыми ногами, но главная его добыча — Ева. Понаблюдав за ним, я заметил, что полученный им опыт дал ему редкое качество — проникновение в женский характер. Он с первого взгляда знает, какая перед ним женщина; стоит лишь поднять палец, как она зальется краской и немедленно уйдет. Узнает он и другой, воинственный тип: такая особа негодуяще пожмет голыми плечами и силой проложит себе дорогу в здание.

Забавно: многие женщины не понимают, в чем провинились. Придя чуть ли не голышом — в таком виде тридцать лет назад вы не увидели бы ни одной актрисы, они невинно полагают, что сторож не пускает их в храм оттого, что у них не покрыта голова. Заняв у кого-нибудь носовой платок, они исправляют упущение, думая, что могут войти теперь в собор с голыми ногами и руками. Вот в такие моменты сторож на высоте. В его запасе набор красноречивых выражений и жестов. Вздохи столь же выразительны: тут и горе, и отчаяние. Когда же ни взгляд, ни вздох нужного воздействия не оказывают, беспомощное передергивание плечами почти эквивалентно папской энциклике. Лишь однажды я видел, что цензор дрогнул. Неожиданно оставив свой пост и сделав несколько шагов вперед, с посохом в руке и с саблей, торчавшей из фалд камзола, он наклонился и с выражением, придавшим его лицу нечто человеческое, запечатлел поцелуй на личике младенца, сидевшего в коляске.

Вспоминаю величественную площадь, и воображению является маленькая фигурка в костюме

XVIII века. В ушах звучит громовой раскат голубиных крыльев. Я слышу бой часов и вижу мавров — но никакие это не мавры, а местные мужчины в зеленых кожаных туниках. И ощущаю солнце, добела раскалившее огромное открытое пространство, так похожее на море: волны сизых голубиных перьев то отступают, то накатывают на ноги туристов. На заднем плане блещут в византийском великолепии купола Святого Марка, будто прибывшие на съезд патриархи. Как выразился Рёскин, «огромная площадь словно бы открыла рот, потрясенная благоговейным страхом при виде собора — сокровища, сверкающего золотом, опалами и перламутром». Что ж, это зрелище и в наше время производит не менее сильное впечатление.

Туристы, которых обыкновенно принято бранить, делают атмосферу Венеции живой и радостной. Огромные толпы бродят по площади, кормят голубей или сидят за столиками кафе «Флориан»<sup>[75]</sup> или «Квадри», едят мороженое или пьют кофе под звуки несмолкающих струнных оркестров. Полная иллюзия, что Венеция до сих пор — королева Адриатики, а ее жители — хозяева христианского мира. Напрасно я отыскивал глазами тюрбан: он был характерной чертой венецианской толпы XIX века. И единственными представителями Востока, которых удалось мне заметить, оказалась группа японских фотографов да еще тоненькая индийская девушка в сари и золотых сандалиях. В центре ее гладкого лба горело красное пятнышко. А вот в 1782 году Бекфорда<sup>[76]</sup> поразило здесь огромное количество восточных людей. Чуть ли не в каждом углу он слышал «бормотание на турецком и арабском наречии». Еще через столетие Гоуэллс, американский консул, написавший очаровательную книгу о своей жизни в Венеции, заинтересовался группой албанцев: там был «албанский мальчик, одетый точно так же, как и его отец, и он произвел на меня

сильное впечатление, словно я видел перед собой детеныша восточного животного, например слоненка или верблюжонка». Хотя тюрбаны и исчезли, но что может быть более экзотическим, чем костюмы, которые видишь на площади Святого Марка сегодня: шорты, пляжные пижамы, цветастые брюки цилиндрической формы, широкополые мексиканские соломенные шляпы. Как бы нелепо ни выглядело все это в любом другом месте, здесь, в Венеции, словно бы имеет законное основание. Все это в той же мере часть венецианской сцены, что и веселые фигурки в длинных платьях на картинах Каналетто или маски и домино Лонги. Возможно, через сотню лет и нынешние костюмы кто-то будет считать столь же очаровательными и живописными.

В 1851 году Рёскин писал: «Вы можете ходить перед воротами собора Святого Марка от рассвета до заката и не увидите, чтобы хоть кто-то из прохожих поднял на него глаза. Ни одно лицо не проясняется при виде этого архитектурного чуда. Священник и палач, солдат и светский человек, богатый и бедный проходят мимо него совершенно равнодушно». Сегодня ни один человек этого не скажет. Толпа зачарована собором. Не сомневаюсь, Рёскин тому сильно поспособствовал. Собор фотографируют со всех сторон, люди карабкаются, куда только возможно, вот и на портик забрались, стоят между золоченых копыт сияющих коней Лисиппа, целясь своими камерами.

В 976 году сгорел первый собор Святого Марка. Греческие архитекторы принялись возводить новую базилику. Началось это за три года до завоевания Англии герцогом Вильгельмом. На строительство ушло десять лет, и все это время отправлявшимся на восток венецианским капитанам предписывалось привозить из плавания какую-то драгоценность или камень для украшения собора. Эта странная церковь, сверкающая,

словно инкрустированный ковчег, — впечатляющее отражение Восточной римской империи, живой и процветающей. Когда мы впервые видим собор, удивляемся ничуть не меньше тех северных торговцев, путешественников, пилигримов и варягов, что приезжали в Константинополь в прошлые века. Они видели экзотическое и цивилизованное византийское общество, прекрасно себя чувствующее в империи и взаимодействующее с императором и императрицей.

Идею возведения собора Святого Марка навеял императорский мавзолей в Константинополе, церковь Святых апостолов. Там в 337 году был похоронен Константин Великий. Хотя через короткое время построили церковь Святой Софии, хоронить императоров продолжали в старой церкви. Там нашли упокоение Феодосий Великий, Юстиниан, Юлиан Отступник и многие другие. Эти императоры многие столетия лежали в императорских облачениях, пока не случился четвертый крестовый поход. Крестоносцы вскрыли императорские усыпальницы, похитили украшения и золото, а сами гробницы использовали как кормушки для лошадей. В 1453 году Константинополь захватили мусульмане, они снесли церковь Святых апостолов и построили на этом месте мечеть Мухаммеда II.

С тех пор возвели три версии погибшей церкви: в Венеции, в Эфесе и в Периге во Франции. Те, кто побывал в Эфесе, ходили, должно быть, по руинам церкви Святого Иоанна, а тот, кто посетил город трюфелей и фуа гра, возможно, удивился, как такой странный собор мог появиться во Франции. Из трех копий константиновской церкви единственная, что уцелела во всем своем великолепии, это — собор Святого Марка.

Весьма странно, но изначально святым покровителем Венеции Марк не был. Венецианцы его себе присвоили, и

теперь льва святого Марка знают во всех частях мира, так что кажется, евангелист и сам был венецианцем. Это не так: первым покровителем Венеции был святой мученик Теодор. Поклонялись ему в отдаленные века, причем недолго. По неизвестной причине популярность свою он утратил, а это — фатальный случай: в таком государстве, как Венеция, успех — это главное.

Статую святого Теодора можно увидеть на одной из двух колонн на Пьяцетте.<sup>[77]</sup> Он поражает копьем крокодила, символизирующего зло. Движение за то, чтобы заменить его более сильным святым, ознаменовало собой растущие амбиции Венеции. Естественно, отставка святого покровителя — дело нелегкое, хотя искусное общество способно с этим справиться. С избранием святого Марка о Теодоре в Венеции тотчас забыли, хотя в Риме о нем еще помнят. Есть такая странная маленькая круглая церковь, стоящая в тени Палатина, так вот, ее там любовно называют церковью Святого Тото.

Пришли ли останки святого Марка в Венецию обычным торгово-деловым путем, или Синьория распорядилась их украсть, никто не знает. Однако обстоятельства их появления можно считать ключом к венецианской психологии. Согласно легенде, святого Марка подвергли мученической смерти и похоронили в Александрии, в Египте, в церкви возле Восточной набережной. Однажды, в 827 году два венецианских капитана, торговавшие с мусульманами, сделали предложение охраннику могилы святого Марка. «Мессир, — сказали они, — если вы захотите приехать с нами в Венецию и увезти с собой тело святого Марка, вы станете богатым человеком». Охранника привлекло такое предложение, однако он заявил, что боится: мусульмане тоже ведь почитали святого Марка, и они непременно убьют его, стоит им обнаружить кражу.



«Подождите, пока сам евангелист вам не скомандует», — сказали ему хитроумные капитаны.

Ждать долго не пришлось. Святой сообщил охраннику, что ему хотелось бы переехать, и ночью все устроили. Могилу святого Марка открыли, останки вынули, заменили их другим телом, а могилу снова запечатали. Венецианцы продумали план действий. Они положили священные мощи в корзину под капусту и свинину — мусульмане уж точно не станут прикасаться к нечистому мясу — и отправились к своим кораблям, но евангелист едва сам их не выдал. «В тот момент, когда они открыли могилу, по городу распространился сладчайший сильный аромат, так и все специи Александрии не могли бы пахнуть. По этому поводу язычники сказали: „Марк зашевелился“, периодически они каждый год ощущали такой запах». Горожане побежали к могиле, но подмены не заметили. Тот же, кто пошел к венецианскому кораблю, увидел лишь подвешенную к мачте корзину со свининой. Так венецианцы благополучно уехали вместе с драгоценным грузом, а в истории Венеции началась новая эра.

После похищения святого Марка оставалось лишь доказать, что это не кража и что у нового святого покровителя были давние связи с Венецией. Первое доказать было легко.

Разве не очевидно, что святой сам хотел выбраться из мусульманской страны? Да если бы он не хотел отправиться в Венецию, ему ничего не стоило бы подняться на море бурю и утопить галеру! Второе положение доказать было труднее: ведь Венеции при жизни святого Марка не существовало. Тем не менее и это уладили. Вспомнили, что однажды, когда евангелист ехал проповедовать в Аквилею, на море началась буря, и корабль его прибило к необитаемому острову в лагуне, будущей Венеции. Когда святой Марк ступил на берег, его приветствовал ангел такими словами: «Мир тебе,

Марк, мой евангелист», после чего объявил, что когда-нибудь прах его упокоится в этом месте.

Случай этот весьма типичный: можно заметить, что уже в IX веке венецианцев отличали изворотливость и дипломатичность, то есть черты, ставшие определяющими в политике республики. Кража святого Марка, на мой взгляд, перекликается с древнеримской историей о Золотом осле. В качестве святого покровителя республике нужен был не добродушный епископ, а яростный, умный и опасный лев — лев святого Марка. Так в аллегорической форме выражалась политика большой торговой империи. Почему именно лев должен был стать символом святого Марка, многократно объясняли, но, возможно, лучшим объяснением является то, что Евангелие от святого Марка подчеркивает царский статус Господа. Куда бы ни ступала Венеция, везде видели ее герб — лев святого Марка с лапой, поставленной на открытую страницу книги, где начертаны слова: «*Pax tibi Magse*» — те самые слова, что произнес ангел, поприветствовавший Марка на острове в лагуне.

Любопытно, но исторические скептики были одновременно и самыми страстными коллекционерами реликвий. С момента кражи мощей святого Марка началась охота за святыми костями. Куда бы ни приходили венецианские корабли, моряки считали своим долгом ознакомиться с реликвиями, а при возможности и украсть их из церквей. Страшное разграбление христианского Константинополя, устроенное Венецией в 1204 году, заполнило сокровищницы венецианских церквей костями, пока не объявили санитарный кордон, вызванный чумой. В списке, который в 1519 году составил Джакомо Дзоппи, я насчитал пятьдесят пять полных скелетов плюс — огромное число черепов, рук и пальцев. Не удивлюсь, если количество их я занизил.

В начале XX века Эварда Лукаса удивило «дружелюбие» собора Святого Марка. «Почему огромное, чужеземное на вид здание кажется таким приветливым, этого я и сам не пойму, — писал он, — но факт налицо: Святой Марк, несмотря на все свои восточные купола, золото и странный архитектурный облик, заставляет иностранца и протестанта чувствовать себя в нем, как дома. И другого такого собора я не знаю». Я бы возразил Лукасу, потому что на меня собор такого впечатления не производит. Мне он, напротив, кажется отстраненным, загадочным храмом, суровым, торжественным и внушительным. Впрочем, очень может быть, что у византийских императоров и греческих патриархов храм должен быть именно таким.

Это музей мозаики и мрамора. Кто-то однажды сравнил его с воровским притоном, в котором пираты хранят свои сокровища. Тайна Венеции кроется в чем-то более тонком, нежели каналы и гондолы, и кульминацию этой тайны я вижу в соборе Святого Марка. Тут ощущаешь, что Венеция не имеет ничего общего с Италией: ее родина — Константинополь. На Большом канале, где дворцы нынче разделены на квартиры, видишь во время отлива, что вода разъедает фундаменты, словно корку старого сыра стилтон. В эти мгновения понимаешь, что Венеция разрушается. И только в соборе Святого Марка, где каждый день служат одну и ту же мессу, чувствуешь, что жизнь продолжается. Господин святой Марк все еще потихоньку шевелится.

Справа от алтарной перегородки, являющейся почти что греческим иконостасом, стоит мраморная кафедра. На нее выходил вновь избранный дож и показывался людям. Какой волнующий, должно быть, момент. Как

сочувствовали человеку, которому оказали эту честь. В красном облачении, отороченном горностаем, он обрекался, по сути, на пожизненное заключение. Вот и еще одна из удивительных характеристик Венеции: она осуждала на тюремную дисциплину ведущих своих граждан.

Я зашел за крестную перегородку и посмотрел на высокий алтарь. Говорят, саркофаг, что стоит там, хранит останки святого Марка. Сторож показал мне знаменитый золотой лист с эмалью и драгоценными камнями — византийский *Pala d'Oro*. Изготовили его в 976 году в Константинополе для дожа Пьетро Орсеоло. В лист вставлены тысяча триста жемчужин, четыреста гранатов, триста изумрудов, девяносто аметистов и т. д. Научил меня сторож, и как отличать настоящие камни от тех, что поставили на место похищенных, а украли их в 1797 году французские солдаты. У оригиналов огранка кабошон, а у новых — фасет. Я сказал ему о том, что прочитал, будто углубления в покрытии площади сделаны специально, в подражание морским волнам. Сторож улыбнулся: хорошо бы это было так, но — увы — это признак слабости основания.

Маленькая дверь возле главного входа открывается на каменную лестницу. С нее можно выйти на внешнюю галерею. Вот и настал золотой для меня момент пребывания в Венеции: я стоял рядом с квадригой коней из Константинополя и смотрел вниз на пьядцу и вверх — на кампанилу. Замечательный контраст — церковный сумрак и залитая ярким солнцем площадь. Кони, такие уязвимые, кажутся тем не менее самыми юными и гордыми на земле. Выгнув шеи, они рвутся вперед, в прозрачное греческое утро. Вряд ли тот, кто подлезает с фотоаппаратом под лошадиное золотистое брюхо, имеет представление об их возрасте. А ведь изваяли их за триста лет до Рождества Христова. Говорят, что сделал это греческий скульптор Лисипп. Хотя коней всегда

называют бронзовыми, античные греческие писатели говорят, что отлили их из сплава меди, серебра и золота.

Почти не вызывает сомнений факт, что коней Феодосии II привез из Хиоса, чтобы украсить ими императорскую ложу на ипподроме Константинополя. Кони стояли на крыше большого здания. Оттуда император, императрица и придворные наблюдали за гонками на колесницах. Здание можно считать императорской резиденцией. С дворцом оно соединялось с помощью лестницы. В нем были столовые, тронный зал и гардеробные. Туда император и императрица удалялись, чтобы переодеться: так требовал византийский протокол. Всему этому настал конец, когда христиане четвертого крестового похода разграбили христианский Константинополь. Четверка лошадей каким-то чудом осталась цела. Красота их и величие не оставили равнодушными даже жадные, горевшие ненавистью сердца. Вместо того чтобы разбить коней на куски или переплавить в монеты, их бережно погрузили в галеру Морозини и отправили в Венецию. Говорят, по дороге задняя нога одного из коней сломалась, и по приезде в Венецию Морозини получил у Сената разрешение сохранить реликвию у себя. Он выставил ее подле своего дома в Сан-Агостини, где она и простояла несколько столетий. В конце XV века ее там еще видели. Интересно, где она сейчас?

Похоже, венецианцы не знали, что делать с греческими конями. Сначала их поставили среди каменных львов возле Арсенала, затем у кого-то появилась удивительная мысль — поставить их в галерее над западными дверями собора Святого Марка. Ситуация довольно нелепая. Только несравненная красота скульптурной группы могла с нею справиться. И время осватило эту идею. Я вспомнил о Петрарке, он сидел здесь когда-то рядом с дожем, смотрел на турнир на площади, тогда она была еще немощеной. О

венецианцах своего времени он как-то сказал: это «нация моряков, всадников и красавиц».

Я уверен, что сейчас вы не найдете лошади ближе, чем в Лидо, да и миссис Трейл, бывшая здесь в 1784 году, писала, что люди платили пенни за билет, только чтобы посмотреть на чучело лошади. А ведь в Средние века в Венеции были тысячи лошадей. Говорят, что у дожа, Микеле Стено, стояло в конюшне четыреста коней, которых он по неизвестной причине красил в желтый цвет. Возможно, хотел сделать их похожими на золотых лошадей собора Святого Марка. Среди звучавших в то время знаменитых речей следует выделить эмоциональные слова Пьетро Дориа. Когда Генуя и Венеция находились в состоянии войны, он воскликнул, обращаясь к венецианским послам: «Клянусь Богом, венецианские сенаторы, вы никогда не будете чувствовать себя в безопасности, пока лорд Падуи или наша республика не обуздает бронзовых коней, что стоят у вас на площади Святого Марка. Стоит нам взять их под уздцы, и они будут у нас, как шелковые». Но лошадей никто так и не взнуздал. Впрочем, Наполеон их забрал на несколько лет в Париж. Вот и Сэмюэль Роджерс, бывший в Париже после Ватерлоо, говорит, что был свидетелем того, как английские инженеры снимали коней с арки, готовясь отправить их обратно в Венецию. За исключением поездки в Рим во время Первой мировой войны, они с тех пор не покидали Венеции. «Я часто видел, как в лунную венецианскую ночь они стучат копытом по камню, — писал Джеймс Моррисон, — и однажды я услышал, как заржала вторая лошадь, та, что справа, и звук этот был таким старым, смелым и металлическим, что крокодил святого Теодора поднял голову и ответил ей ворчанием».

В галерее, окружающей храм, я увидел гобелен неизвестного художника XV века. Он показался мне

красивым и необычным. На нем изображена была сцена Христа и Пилата. Пилат умывает руки и собирается передать Иисуса его врагам, а рядом с тронем Пилата сидит маленькая белая собачка. Торопливый посетитель, скорее всего, ее и не заметит. Собачка просит прокуратора помиловать Спасителя. В этой столь часто повторяющейся сцене выразился гений неизвестного художника: ему удалось в исписанный сюжет внести нечто новое и неожиданное. Христос, презираемый и отвергаемый людьми, нашел в конце жизни единственного друга, скромного представителя животного царства. Я еще несколько раз приходил сюда взглянуть на гобелен, и каждый раз находил его трогательным и прекрасным.

#### 4

Видами Пьяцетты и пьядцы я предпочитал наслаждаться, прежде чем там собирался народ. Проходя в восьмом часу утра по улице Калле делле Рассе, приостанавливался на мгновение, чтобы пожелать доброго утра синьору Х. Он в это время, как и всегда, выставлял в витрине ресторана только что выловленную рыбу. Скорчившийся, со встрепанными волосами и торчащими жесткими бровями, он и сам напоминал мне огромную креветку, которая только что спаслась, а теперь подает предупредительные сигналы своим товаркам. Он издавал отрывистые и нечленораздельные звуки, кивал головой, взмахивал руками, а паренек за окном разгадывал эти жесты и, тоже жестами, спрашивал у него, как ему следует поступить с зажатыми в руке угрями. Каждый раз создавалась очаровательная цветная композиция: алые креветки и кефали ярко выделялись на фоне серебристых сардин, серых осьминогов, темно-красных

крабов и более светлых омаров. Синьор Х. всегда отвечал на мое приветствие кивком и сообщал новость: сегодня утром крабы и устрицы хороши, как никогда, хотя я ни разу не набрался смелости и не отведал венецианских устриц, особенно не в устричный сезон.

Свернув направо к Риве, я задерживался на горбу моста Понте ди Палия и смотрел на узкий канал в сторону моста Вздохов. В венецианском смысле это и не мост, а эстакада, переброшенная из старой тюрьмы в герцогский дворец. Полагаю никто не взглянул бы на него во второй раз, если бы не Байрон. К тому времени, когда мост был построен, вздохи почти закончились. Я не припомню ни одного персонажа, который был бы связан с этим мостом. Лондонский Тауэр повидал ужаса и трагедий куда больше, чем темницы Венеции и мост Вздохов, однако наши предки ни за что этому бы не поверили. Приятное воспоминание о создателе «Гайаваты». Летним утром 1828 года он рисовал в блокноте мост Вздохов, и в этот момент девчонка-служанка из дворцового окна вылила ему прямо на голову кувшин воды. Он чуть в канал не свалился. Лонгфелло был тогда не внушительным бородатым бардом, а молодым американцем двадцати одного года, и в Италию приехал впервые.

Затем я выходил на Пьяцетту. Здесь более, чем в других местах, испытываешь ощущение радости и благополучия, тем более что утро такое солнечное. Какими далекими и неправдоподобными кажутся мрачные сцены, свидетельницей которых так часто бывала Пьяцетта. После экзекуции враги государства часто подвешивались между двумя колоннами в качестве публичного предупреждения всем жителям Венеции. Первое, что увидел Уильям Литгоу, высадившийся в 1609 году на Пьяцетту, была «огромная людская толпа, окружившая большой столб дыма». Ему сказали, что у столба жгут францисканского монаха,



тот, мол, «обрюхатил пятнадцать молодых монахинь, причем умудрился совершить это непотребство в один год, а ведь он у них был духовником». В те времена венецианцы по пути на работу частенько видели мертвое тело в богатой одежде, подвешенное за ногу между колоннами, и такая позорная поза означала, что человека казнили за измену. Мне же в солнечное и свежее утро казалось, что эта очаровательная площадь не видела здесь ничего, кроме приплывших веселых гостей, и на ум приходили картины Веронезе.

Хотя Пьяцетте попытались придать героический облик, она выглядит легкой и счастливой, и если бы о зданиях можно было сказать, что они смеются и сверкают, то эти производят именно такое впечатление. Удивительный союз камня и воды! Дворец Дожей — одно из самых экзотических зданий, арабская коробочка для специй или шкатулка из сандалового дерева для греческого Ветхого Завета. Если тихим вечером вы едете в Венецию из Лидо, то наверняка увидите впереди алое сияние, подъедете поближе и разглядите отраженный в канале дворец с готической аркадой и арабесками лоджии. Странная все-таки эта Пьяцетта: в отличие от большинства мест, немало повидавших за долгую жизнь, эта площадь не изменилась. Сегодня площадь — по-прежнему пристань, такая, какую вы видите на ранних венецианских гравюрах.

На старых картинах с изображением Венеции можно увидеть золотой буцентавр, застывший на причале в ожидании дожа. В праздник Вознесения его венчают с Адриатикой. Сейчас множество сходней доведут вас до флотилии гондол. Гондольеры хлопотливо пробираются по своему судну, поправляют искусственные розы в маленьких металлических вазах, взбивают подушки: пусть туристам будет удобно. Я смотрел сквозь частокол багров и видел на другой стороне канала купола церкви Санта Мария делла Салюте — четкие силуэты на

утреннем небе. Видел статуи на крыше библиотеки Сансовино; две гранитные колонны; розовые стены дворца и южный угол собора Святого Марка — там всю ночь горит огонек. Как говорят, таково было пожелание давно скончавшегося моряка. Как же хорошо жить на свете и как я счастлив, оттого что нахожусь в Венеции.

Во время путешествия случаются эпизоды, кажущиеся на тот момент незначительными, тем не менее в воспоминаниях они наполняют душу восторгом. Вот так смотрю я, например, теперь на столик в кафе «Флориан». Там я сживал ранним утром. Величественный официант с видом человека, заключившего пари, ставит передо мной поднос с кофе и булочками. Жадные голуби, кивая головами, немедленно собираются вокруг ног. Старые женщины, продающие зерна, раскладывают столики. Появляется уличный фотограф, свой древний аппарат на треножнике он держит всю ночь на площади. Теперь он снимает с него водонепроницаемый мешок. Этот аппарат запечатлел лица многих поколений. Первые туристы приходят по двое и по трое, затем причаливают лодки, а вот уже в сопровождении гидов идут большие группы экскурсантов. Туристы, присев среди хлопающих крыльев, целятся камерами в жен и детей. Каждая арка колоннады приютила фотографа, а он, разумеется, развернул свой аппарат в сторону собора, башни с курантами и кампанилы. Иногда я думаю: а какова судьба всех этих фотографий?

Пока я сижу, разглядывая толпы, гид, словно насадка, собирает своих цыплят и объявляет — сначала по-английски, потом по-французски, — что в данный момент они смотрят на базилику Святого Марка. Сделав это объявление, ведет группу во Дворец Дожей. Слышу, как американец спрашивает у жены: «Скажи, милая, а кто такие эти дожи?» И слышу удивительный ответ: «Короли Венеции!»

Я невольно улыбаюсь, вспоминая историю, рассказанную Джеймсом Моррисом об одном домовладельце в лондонской «Маленькой Венеции», что на Риджент-Кэнел. Человек этот повесил на своих воротах объявление: «Beware of the Doge».<sup>[78]</sup> Какой замечательный, однако, каламбур получился, его следовало бы на многие века сделать девизом Венеции. Страх перед тем, что дож объявит себя королем, пронизывает всю венецианскую историю. Данное обстоятельство объясняет, отчего эта должность связана с ограничением личной свободы — уникальный факт амбициозной истории.

«А кто такие эти дожи?»

Вопрос этот из разряда детских. Как бы я сам ответил на него, если бы был гидом? Возможно, я пошел бы по пути наименьшего сопротивления и сказал: «Это были избранные руководители Венецианской республики, а слово „дож“ означает „дюк“, или герцог». Но если бы мне захотелось, чтобы мои подопечные заинтересовались дворцом и удивительными событиями, имевшими там место, то двумя словами я бы не обошелся. Когда в 1797 году Наполеон положил конец Венецианской республике, к тому времени сменили друг друга сто двадцать дожей, и началось это с 697 года, когда был избран первый дож — Паоло Лючио Анафесто. Римские папы и венецианские дожи — самые древние чиновники мира. Римская курия и венецианская синьория — единственные две организации, что с классических времен не претерпели никаких изменений, потому, наверное, Коллегия кардиналов и Совет Венеции в своих пурпурных облачениях имеют не только внешнее сходство. Возможно, многие особенности венецианской конституции, ее цинизм, впечатление, которое она производит — взрослый среди детей, — и вечный страх перед дожем переворачивают страницы истории к временам Цезаря и Цицерона. Объяснить эти

особенности можно тем, что Венеция — единственное государство, которое не удалось завоевать варварам.

Из ста двадцати дождей девять человек отреклись от должности — четверо из них были монахами; двое погибли в бою; троих убили; троих казнили; троих сместили со своего поста; двоих ослепили, а потом и сместили; двоих сослали, причем одного из них сначала ослепили. Можно заключить, что должность эта была небезопасна. Впрочем, все эти трагедии произошли до 1423 года, после чего все дожи, включая последнего, Людовико Манина, умерли в своей постели.

Вы можете задать вопрос: а что же такого замечательного в этой должности, отчего люди — столетие за столетием — соглашались на унижительное ограничение собственной свободы? Выдающиеся граждане Венеции по своей воле становились роскошно одетыми пленниками в собственном дворце. Человеку, которому вручали государство и королевские регалии, не позволяли вести собственную корреспонденцию. В 1275 году дожу запретили иметь земельную собственность вне Венеции; сыновьям его не разрешалось жениться на иностранках без согласия на то Совета. Жене дожа нельзя было заключать контрактов, иметь долги или принимать подарки от купцов, которые те пытались поднести под видом образцов своей продукции. Ограничения эти закреплялись клятвой, которую дож приносил в момент своей коронации, со временем эти ограничения становились все более суровыми. В XV веке дожу запретили разговаривать наедине с послами и иностранными дипломатическими представителями, а на людях он должен был отделываться дежурными фразами. Дож Антонио Гримани, любивший до своего избрания ходить на утиную охоту, обнаружил, что теперь, когда он стал дожем, количество его походов Совет сократил до четырех в год. Андреа Гритти

запретили покидать город, а приходящие к нему письма, даже от собственных детей, вскрывать он мог лишь в присутствии членов Совета. Однажды, когда этот патриот принимал участие в заседании Совета и заявил, что сам поведет венецианский флот против турок, ему резко напомнили о положениях, которые он поклялся соблюдать, когда его избирали на должность. В другой раз высказано было противоположное мнение. Когда дож Кристофер Моро возразил против предложенного Пием II плохо подготовленного похода, ему сказали, что если по своей воле он не пойдет, то его заставят сделать это силой. Микело Стено, заседавшему в собрании, предложили однажды попридержать язык.

Дожа — что совершенно естественно — окружали шпионы. Обо всем, что он делал, Совету докладывали тайные шпионы. Около пятидесяти лет назад во время ремонта в герцогских апартаментах обнаружили лестницу, которая вела к месту прослушивания непосредственно за кроватью дожа. Как только дож умирал, на время междоцарствия Совет избирал троих магистратов, инквизиторов усопшего дожа. Они должны были устроить суд над покойником, оценить каждое совершенное им за жизнь деяние. Обо всех своих открытиях они обязаны были сообщить пяти другим магистратам — «корректорам». Этим чиновникам предписывалось написать новую клятву для следующего дожа и, если понадобится, ужесточить ограничения, учитывая опыт его предшественника.

Организация, способная вводить своего правителя в жесткие рамки, была, конечно же, уникальной. На самом деле Венеция была аристократией, предпочитавшей называть себя республикой, а Большой Совет можно считать Палатой лордов. В состав его автоматически включался каждый нобиль по достижении этим человеком возраста двадцати одного года, а имя его заносилось в Золотую книгу. Этот орган избирал сенат, и

он — вместе с дожем и шестью тайными советниками — являлся главой правительства. Со временем властные полномочия перешли знаменитому Совету Десяти. Члены его клялись не разглашать секретов. Совету подчинялась «полиция» — сбирро, судебная машина, он же распоряжался и финансовыми средствами тайной полиции. Репутация этого органа, возможно, из-за скорости и секретности, с которой он действовал, была мрачной и драматической. Зарплаты члены Совета Десяти не получали. Избирали их только на двенадцать месяцев, после чего бывшие властители обращались к обычной жизни. Они знали все, что происходило в Венеции, да и не только в ней. Насколько хорошо действовали их тайные осведомители, можно судить хотя бы по тому, что любовные письма королевы Элизабет регулярно прочитывались Совету — не успевали высохнуть чернила! Это Совет Десяти предложил установить повсюду «Пасти льва». Страх, который они намеренно вызывали, ощущался не только в Венеции, но и по всей Европе. Этот орган вполне можно уподобить гестапо фашистской Германии.

Трудно сказать, были ли ужасные истории, которые рассказывали, полной правдой или составляли часть легенды Совета Десяти. Имеются письменные свидетельства о том, что когда Монтескье был в Венеции, то приятель, пожелавший подшутить, сказал, что Десятеро следят за ним. Монтескье немедленно собрал свои вещи и вернулся в Париж! Члены Совета хорошо изучили психологию страха. Иногда какого-то человека хлопали по плечу и говорили: «Их сиятельствам угодно встретиться с вами», однако во Дворце Дожей — там, где принимал Совет Десяти, — этого человека в течение часа выдерживали в приемной, а потом без всякого объяснения отпускали. Говорили, что иногда Совет допрашивал подозреваемого человека в темноте. Впрочем, сказать «допрашивал» было бы не

вполне точно. Вызванному связывали руки в запястьях и подвешивали над полом. В таком положении и происходил допрос.

Совет Десяти не церемонился и быстро осуждал на казнь за политическое преступление. Для этого имелись люди, которые неслышной походкой входили к осужденному посреди ночи и в полной тишине его убивали. Ночью 20 апреля 1622 года такой убийца пришел в камеру герцогской тюрьмы, и на следующее утро Венеция увидела тело известного аристократа Антонио Фоскарини, подвешенное за ногу между двумя колоннами Пьяцетты. Его «эxecуция», или убийство, примечательна по множеству причин. Через четыре месяца была доказана его невиновность, и члены Совета Десяти, представ перед Большим Советом, признали свою ошибку и выразили сожаление. Кроме того, в связи с убийством дож и Большой Совет впервые, единственный раз в их истории, публично были поставлены на место, и сделала это англичанка, жившая в Венеции. Это была Алфея, графиня Арундельская, жена первого великого коллекционера английского искусства. Она проживала во дворце Мочениго, где спустя два столетия жил Байрон.

Еще в Лондоне графиня и ее муж были на дружеской ноге с Фоскарини, когда тот был венецианским послом у Якова I. В Венеции распустили слух, будто Фоскарини тайно по ночам ходит во дворец Мочениго и встречается там с агентами иностранных государств. Шептались, что в этом замешана и графиня Арундельская, а потому ей было приказано покинуть Венецию в течение трех дней. Естественно, что английский посол встревожился и, зная порядки Венеции, опасался за жизнь графини. Это был милейший сэр Генри Уоттон, позднее он сделался ректором Итона. Он часто ходил рыбачить с ее мужем на Темзу. Обнаружив, что графиня уехала в Падую проводить сыновей, учившихся в тамошнем

университете, Уоттон послал гонца сообщить ей, как обстоят дела, и настоятельно просил ее держаться подальше от Венеции. Гонец повстречал графиню по дороге в Венецию, однако, вместо того чтобы прислушаться к совету посла, она помчалась в Венецию и потребовала, чтобы ее приняли дож и Большой Совет.

Хотя такая просьба казалась немыслимой, требование ее удовлетворили. Усевшись по правую руку от дожа и глядя на собравшийся в огромном зале Большой Совет, графиня, кипя от возмущения, заявила, что Фоскарини ни разу не бывал во дворце Мочениго, а затем потребовала, чтобы ей принесли публичное извинение. Дожд, Антонио Приули, разоружил ее мягким ответом. «Ее имя, — сказал он, — ни разу не было упомянуто в деле». Он пообещал, что люди, виновные в распространении клеветнических слухов, будут наказаны. Большой Совет издал резолюцию, в которой была подтверждена полная ее невиновность. Кроме того, Совет проинструктировал венецианского посла в Лондоне принести извинения графу Арундельскому, а если на то будет воля леди Арундельской, то и самому монарху. Они также распорядились на сотню дукатов выдать ей воску и конфет, которые и поднесли графине на пятнадцать подносах. Для того чтобы совсем уже умиловить английскую графиню, за ней прислали правительственную гондолу, отвезли ее на ежегодный праздник Венчания с морем и устроили в ее честь банкет. В Англию она вернулась с арапчонком и гондолой.

Когда через четыре месяца после смерти Фоскарини получено было неоспоримое доказательство его невиновности, Совет Десяти принес публичное извинение и порекомендовал провести эксгумацию трупа, после чего похоронить невинно осужденного человека со всеми почестями. «Последнее жалкое оправдание», — прокомментировал это Уоттон. [\[79\]](#)



О любопытном эпилоге этого дела упоминает миссис Трейл в своей книге об итальянском путешествии. Она говорит, что среди обвинений, выдвинутых против Фоскарини, было то, что под покровом ночи он ходил в дом французского посла. «Сорок лет спустя, — продолжает миссис Трейл, — в Париже скончалась старая дама. Прежде чем испустить последний вздох, она созналась, что, проживая в Венеции в качестве компаньонки жены французского посла, тайно принимала влюбленного в нее аристократа, имени которого и сама не знала. Вот так погиб Фоскарини, — комментирует миссис Трейл, — так стал жертвой во имя любви, спасая женскую репутацию».

Совет Десяти правил более тысячи лет, используя в качестве властных рычагов подозрительность и циничный взгляд на человеческую натуру, и это — одна из самых поразительных характеристик Венеции. Многие столетия остальная Европа смотрела на республику в страхе, но и с завистью, как на удивительно стабильное государство. Венеция шла золотым курсом век за веком, и не было у нее ни внутренней междоусобицы, ни династических или религиозных войн. Даже после того, как Васко да Гама нашел дорогу к стране специй, а Колумб открыл Америку, никаких признаков упадка у Венецианской республики отмечено не было. На взгляд стороннего наблюдателя Венеция оставалась такой же динамичной, как всегда. Те, кому выпала честь присутствовать в зале заседаний, видеть облаченных в красные наряды дожа и его советников, чувствовали, что наблюдают сцену из классической истории, как оно и было на самом деле. Они были свидетелями самого длительного торжества аристократии.

В истории найдется немного примеров столь печального завершения былого величия, как это произошло с Венецией в XVIII веке. Торговля пошла

хуже, а соответственно, и жизнь вздорожала, хотя стала более зрелищной. Венеция сделалась самым веселым городом Европы. Последний дож, Людови-ко Манин, сдал Венецию молодому человеку двадцати восьми лет, корсиканцу с неопрятными волосами и генеральским шарфом, обхватившим пока еще стройную талию. Под взглядами могущественных предшественников дож оставил зал Совета и вошел в кабинет, где лакей снял с него пышное облачение. Когда с головы его сняли корно, символ венецианского величия, корсиканец сказал, что этот головной убор ему больше не понадобится. Последнее унижение Наполеон поберег напоследок: продал Венецию Австрии.

## 5

Как-то утром я присоединился к толпе, собравшейся у входа во Дворец Дожей. Барельеф над воротами запечатлел дожа Франческо Фоскари: он преклонил колено перед львом святого Марка. Лев выглядит грозно: поставив лапу на открытую книгу, он пытается преподать недалекому дожу какой-то урок. Затем я вошел в ворота и увидел перед собой, возможно, самый величественный в мире двор.

Гиды предлагают своим подопечным взглянуть на лестницу, где между двумя статуями, прозванными гигантами, короновали дожей. Кульминационный момент выборов представляется мне излишне усложненным. Избрание нового дожа начиналось довольно странно. Самому молодому члену Совета предлагали выйти на площадь Святого Марка и схватить там первого встречного мальчика. Мальчишку приводили в зал Большого Совета, где он видел перед собой аристократию Венеции. Впечатление сильное: нобили в красном облачении заполнили ряды

амфитеатра, все глаза устремлены на ребенка. Мальчику предлагали вынимать из шляпы бумажки. После неизбежных осложнений и переголосовки избирали сорок одного советника, остальные аристократы покидали зал. Члены Совета называли теперь имена кандидатов. Если человек получал менее двадцати пяти голосов, из урны вынимали бумажку с другим именем, и процесс повторяли, пока один из кандидатов не получал нужное количество голосов. Затем депутация выводила новоизбранного дожа на площадь Святого Марка, и он с мраморной кафедры по правую руку от церкви показывался народу. После мессы он клялся соблюдать законы республики и произносил полный текст своих полномочий, вместе со всеми предписанными ему ограничениями. Затем на него надевали мантию и вручали штандарт республики. Затем его, как и римского папу, проносили в кресле по площади Святого Марка, а он разбрасывал в толпу пожертвования. Под конец он вставал на верхнюю площадку лестницы со знаменем святого Марка в руке. Самый младший советник надевал ему на голову батистовую шапочку — витта. Шапочка маленькая, и дож никогда ее не снимает, даже в церкви. Затем самый старший советник надевает поверх нее шапочку дожа — корно. Все колокола Венеции звучали в унисон, с военных кораблей Арсенала палили пушки, а город начинал праздновать и веселиться. С этого момента дож становился рабом Венеции.

Толпы проходят по великолепному двору, не достаивая его взглядом, поднимаются по ступеням и идут по анфиладе мраморных залов с тяжелыми инкрустированными потолками. Дворец, где дожи правили более ста пятидесяти лет, нагоняет сейчас смертельную скуку. Взгляд невольно устремляется за окно: собор Святого Марка предстает отсюда в новом ракурсе, а белые фигуры святых на башенках

напоминают о Милане. Слишком уж большим надо быть энтузиастом, чтобы досконально интересоваться огромной рекой венецианской истории, которая течет по стенам и заливают потолки: Венеция торжествующая; Венеция возрождающаяся; Венеция, покоряющая турок; Венеция, захватывающая Крит; Венеция, везде одерживающая успех. Это был неписанный закон — необходимо всегда и во всем быть успешным. И не важно, что в прошлом человек одерживал победы: стоит ему споткнуться, и тут же его обвинят в измене. В отличие от современного культа личности, Венеция культивировала безликость. Индивидуальность — ничто, Венеция — все. Возможно, она была единственным городом, возводившим памятники не героям, а злодеям. Под аркадой Дворца Дожей есть доска, на которой написано, что Джироламо Лоредан и Джованни Контарини отстранили от должности за то, что они сдали туркам форт Тенедос. Другая доска увековечила растратчика по имени Пьетро Бинтио. Думаю, что можно найти и других таких же «героев». Настоящий венецианский памятник не восхвалял, а предупреждал.

Дожи смотрят со стен своего дворца. Это неизбежно. Е. В. Лукас считал членов городского Совета «неисправимо муниципальными». Как же он был прав, но не в том смысле, который сам имел в виду. В них нет ничего от упитанных бургомистров, ничто не связывает этих вельмож с рембрандтовским «Ночным дозором». «Муниципальные» они в том смысле, что весь римский мир был муниципальным. Их портреты напоминают длинный парад суровых викторианских лиц в галереях римского Капитолия. Несгибаемые дожи и сенаторы — классическое продолжение древнеримских портретов.

В залах и коридорах звучат знаменитые имена: это гиды посвящают туристов в историю Венеции. Я услышал имя Дандоло — Энрико Дандоло, великого и ужасного старого флибустьера, который в восемьдесят

лет, почти ослепнув, возглавил четвертый крестовый поход, напал на Константинополь, там и умер. Похоронили его в церкви Святой Софии за двести сорок лет до турецкого завоевания. Оружие старого героя, шпоры и саблю Мухаммед II передал Джентилле Беллини, который, поработав в Константинополе у султана в качестве придворного художника, вернулся в Венецию. Султан пожаловал ему также турецкий титул, пенсию и много красивой одежды. Написанный им портрет Мухаммеда II обнаружил в Венеции сто лет назад сэр Генри Лэйярд, тот, что раскопал Ниневию. Портрет отреставрировали, и сейчас он является одним из ценнейших экспонатов лондонской Национальной галереи. Я слышал, что гид упомянул имя дожа Леонардо Лоредана. Его портрет вам тоже знаком, если вы ходите в Лондонскую галерею. Таким, как он, я представляю себе римского консула эпохи Августа — худым аскетом. Другой гид подвел группу к Себастьяну Вернье, командующему венецианским флотом в битве при Лепанто. Экскурсовод не рассказал им, что тот, кто видел адмирала во время сражения — гордого, смелого и решительного, — а позднее встречал его в Венеции, когда тот стал дожем, не мог поверить своим глазам: великий человек ходил по пьяцце, болтал с друзьями, словно обыкновенный горожанин. В городе Сан-Дзаниполи есть отличная современная статуя этого дожа: дерзкий бородатый человек решительно шагает вперед. На нем кольчуга, в одной руке жезл, в другой — обоюдоострая сабля. Прекрасно схвачено энергичное движение.

Маленькие жестикулирующие фигуры, окруженные послушными слушателями, указывали на стены и потолки, называли имя Франческо Морозини. Я вспомнил, что в промозглую осень венецианской истории этот человек вернул весенние костры. При нем лев святого Марка отрастил новые когти и наскочил на

турок на Крите и в Греции. В последние годы XVII столетия он принес великолепие XIV века. Но все напрасно, если считать, что любовь к родине и вера в себя могут быть напрасны. Великий лидер умер в Греции, но тело его лежит в Венеции в соборе Святого Стефана.

Я шел по анфиладе: величественные, похожие друг на друга помещения, хотя некоторые из них являлись прихожими, предварявшими огромные залы. Золоченые лепные потолки, напрасно написанные плафоны: ну кто захочет, задрав голову, рассматривать потолок, взметнувшийся на сорок-пятьдесят футов? Темные панели на стенах наводили на мысль, что они, если нажать на известную тебе кнопку, раздвинутся, обнаружив место для подслушивания или секретную лестницу. Комната, которую никто не хотел здесь видеть, называлась комнатой Черной двери. Здесь находилась самая мрачная из всех «пастей льва» — почтовый ящик для секретной информации, предназначенной для Совета Десяти. В этой комнате подозреваемые дожидались, когда их пригласят. Черная дверь открывалась в зал Совета трех государственных инквизиторов и на лестницу по пути к мосту Вздохов.

Наконец, я пришел в зал Большого Совета. Он был рассчитан на полторы тысячи нобилей. Сейчас это просто пустое помещение с полированным, безупречно чистым полом и инкрустированным потолком. В дальнем его конце — возвышение, на котором восседали дож и его Совет. Над ними, на потолке — картина Тинторетто «Рай»: пять сотен парящих фигур, развевающиеся одежды. Чрезвычайно сложная и наполненная энергией сцена напоминает последнюю главу Данте. Возможно, это была последняя работа художника, написанная с большой любовью. В то время Тинторетто было семьдесят два года. Он отказался от гонорара, но

принял подарок от благодарного и восхищенного Сената.

В этом огромном зале лучше всего представляешь, какое колоссальное зрелище являли собой дож и Большой Совет. Очевидцы считали, что это самая внушительная демонстрация цивилизованного мира. Сначала вообразите возвышение: с него председатель и члены Совета руководили заседанием, затем представьте трибуны ораторов, скамьи. Вы увидите Дожа в золотом облачении, как на картине Бордони «Чудо кольца»; алые мантии членов Совета; пурпур трех инквизиторов; фиолетовую мантию председателя суда; красные епитрахили прокураторов и золотые одежды рыцарей. В зале, вмещавшем полторы тысячи нобилей, собиралась вся аристократия Венеции, и все как один в красном. Каково должно быть человеку, представшему перед таким собранием, даже если оно настроено к нему дружелюбно?! Посла, вручавшего верительные грамоты, приветствовали трижды. Если он являлся от императора или короля, все, кроме дожа, вставали и обнажали голову. После третьего приветствия посла проводили к возвышению и усаживали по правую руку от дожа. С этого места посол зачитывал свое обращение. Дож отвечал выверенными, ничего не значащими фразами. После того как собрание заканчивалось, члены Совета Десяти уходили в маленькую звуконепроницаемую комнату и под резвящимися херувимами анализировали речь посла, изучали его верительные грамоты и медленно, словно дотошные юристы, составляли официальный ответ, взвешивая каждое слово и обдумывая каждую запятую. Венецию всегда отличала изворотливая, хитроумная политика.

Туристы с большим волнением проходят по мосту Вздохов и разглядывают темницы. Оказывается, они не сырые, да и под водой не находятся. Ни одну тюремную камеру привлекательной не назовешь, хотя мне

частенько приходилось останавливаться в гостиницах, номера которых были почти такими же неудобными, а о тишине, такой как здесь, оставалось только мечтать.

А что же догаресса? Мы много слышим о доже, но ни слова о его жене. Эти находившиеся в тени дамы, догарессы, не имели авторитета и официального положения. Все, что от них требовалось, это появление с мужем на официальных приемах. При этом они обязаны были хорошо и нарядно выглядеть. На голове им предписано было иметь миниатюрную корно.

Королевы часто заменяли мужей и даже командовали армиями, но не было ни единого случая в длинной истории Венеции, чтобы догаресса выполняла роль дожа. Хотя роль ее сводилась к минимуму, говорят, что первым вопросом избирательной комиссии после того, как выдвигался кандидат на должность дожа, был: «Как выглядит его жена?» К ней предъявлялось главное требование: догалина — парадная одежда догарессы — должна хорошо на ней сидеть. Единственной догарессой, оказавшей влияние на историю, была византийская принцесса Теодора Дукас, дочь императора Константина X. Она привезла в Венецию новые экзотические духи и лосьоны, а также золотой инструмент с двумя зубцами, которым — к великому интересу присутствовавших — она деликатно разделяла еду, которую предварительно для нее нарезали. Так, по слухам, впервые на европейском столе появилась вилка.

Есть у меня воспоминание о Дворце Дожей, которым я дорожу. Воображению моему представляется ночь и свет луны. Концерт оркестра начался после одиннадцати часов вечера. Зазвучали скрипки, и мне показалось на мгновение, будто все радости и горести дворца вышли из коридора и Золотого зала и закружились в зеленом свете венецианской луны. Оркестр играл концерт Брамса, фантазию из произведений Равеля, четыре сочинения Мусоргского, а



также три старинные песни о войне с шотландцами в аранжировке итальянского композитора. Я узнал «Красное — это дорога к славе» и «Мама, мама, послушай новость».

В антракте вышел на улицу, прошелся по пустынной Пьяцетте, словно бы и сам я был сенатором. Вокруг тишина, лунный свет создавал темные тени. Голуби давно уже где-то мирно почивали, и пьяцца напоминала зеленое озеро. Наверху, на галерее собора Святого Марка, застыла в ожидании Дельфийского возницы четверка золотых коней из Хиоса. Два мудрых кота смотрели на эту сцену с важностью дождей.

## 6

Чтобы оценить гондолу по достоинству, нужно быть двадцатилетним влюбленным. Позднее вы скажете, что в ней покойно, но вряд ли романтично. Гондольеры тоже теряют интерес и, вместо того чтобы заливаться соловьем, ворчат на высокую стоимость жизни и осуждают скупость современных туристов. Однажды ночью, выбрав менее говорливого на вид гондольера на Рива дельи Скьявони, я попросил провезти себя по Большом каналу. Стояла теплая безветренная летняя ночь, и Канал был освещен. Можно было вообразить себе, если бы не закрытые ставнями окна дворцов и пустые балконы, что Венеция до сих пор ведет экстравагантный образ жизни XVIII века. Освещение — хотя и яркое — лишено, конечно же, жизни и движения, свойственного масляным лампам прошлых веков. Столь живописные при дневном свете сваи для швартовки становятся по ночам фонарями, драматический зеленый свет которых направлен на древние здания. В таком освещении есть бессердечная публичность, присущая нашему времени. Немигающий электрический свет

выдает сотню дефектов, хотя общее впечатление довольно приятное, словно сон, который хочется длить. Так я плыл в тишине, не нарушаемой моторными лодками или речными трамвайчиками, слышалось лишь слабое шлепанье багра.

Огни других гондол то приближались, то удалялись. Мне нравились движения гондольеров. Заметил я и то, что пели из них лишь те, кто вез мужчину и женщину, — счастливое продолжение романтической традиции.

Такое зрелище всколыхнуло забытое воспоминание. Мне было тогда, должно быть, двенадцать лет, и я был на каникулах. Был летний вечер, такой же спокойный и теплый, как нынче. В Стратфорде-на-Эйвоне я взял лодку. Прежде чем я добрался до середины реки, стемнело. Испугавшись позднего часа и предвидя неприятности, ожидавшие меня дома, я стал грести к лодочной станции как можно быстрее. И вдруг я увидел, как прямо на меня движется свет, как мне показалось, с невиданной скоростью. В нескольких футах от себя в темноте я увидел изогнутое черное бесшумное судно, в котором сидела пухлая маленькая пожилая дама, одетая в белое. Она откинулась на подушки и, если память мне не изменяет, закуталась в серую прозрачную накидку. Но поразила меня в тот раз больше фигура высокого мужчины. Он тоже был в белом с головы до ног, за исключением алого пояса. Человек этот, картинно стоя на корме, без труда направлял лодку по воде. Мне сказали потом, что меня едва не утопила Мария Корелли. Человеку моложе пятидесяти следует сказать, что слава ее в те далекие времена была больше, чем у любого популярного ныне романиста.

Тут мои мысли приняли новый оборот, и я задумался, сколько же гондольеров покинули Большой канал и приехали в Англию? Двоих из них руководство республики отправило вместе с гондолой в качестве подарка Карлу II. Графине Арундельской пожаловали

гондолу и негритенка. Подобно негритенку с картины Карпаччо «Чудо распятия», был он, скорее всего, гондольером. На Мальте Дизраэли повстречал бывшего гондольера Байрона, Баттисту Фалзиери, и так как дела у того обстояли неважно, забрал с собой в Англию. Фалзиери был с Байроном в Греции до последнего его часа, смачивал умирающему поэту губы. К Дизраэли он сильно привязался и, по словам сэра Гарольда Николсона, «после многолетнего проживания в Англии женился на горничной миссис Дизраэли, затем в качестве корреспондента „Внутреннего вещания“ был направлен в Индию».

По пути мой гондольер певуче выкликал названия дворцов, мимо которых в данный момент мы проплывали. Хотя Наполеон и сжег Золотую книгу, содержащую титулы венецианской аристократии, Большой канал сохранил большую часть знаменитых имен. «Палаццо Реццонико!» — услышал я и взглянул на рустованные стены обширного дворца. Здесь умер Роберт Браунинг. Так как Браунинга постоянно связывают с Реццонико, я уверен, многие полагают, что поэт многие годы жил там. На самом деле там он не написал ни строчки, а жил всего лишь пять недель, когда гостил у сына. Ноябрь — не лучшее время для человека семидесяти семи лет, а тут еще и сквозняки во дворце на Большом канале. Немудрено, что Браунинг простудился. Простуда привела к осложнению, закончившемуся летальным исходом.

Гондольер погрузил багор в янтарную воду и, кивнув в сторону противоположного берега, обратил мое внимание на погруженный в дремоту дворец Мочениго. Произошедшие там дикие события составляют часть венецианской истории. На Большом канале нельзя не припомнить фантастический дом с четырнадцатью слугами, собакой, волком и лисой, где среди женских криков и страстных сцен Байрон умудрился написать

первую часть «Дон Жуана». В этот дворец Байрон затащил упиравшегося Томаса Мора и настоял на том, чтобы он у него остался, хотя Мор, ясно представляя себе неудобства, которые претерпит, предпочел бы остановиться в гостинице. «Когда я ощупью пошел за ним по темному залу, — писал Мор, — он воскликнул: „Осторожно, собака!“ и, прежде чем мы сделали еще несколько шагов: „Осторожно, а то обезьяна прыгнет на вас!“» Опаснее мастифа и обезьяны оказалась крестьянская женщина двадцати двух лет, жена пекаря. Байрон повстречал ее, когда ездил верхом. Звали ее Маргарита Кони. «Красивое животное, — выразился о ней Байрон, — но неприрученное». Поэт, словно магнит, притягивал к себе разных бродяжек. Он пытался избавиться от нее, даже позвал полицию, когда она явилась во дворец, но она заявила, что оставила мужа и намерена стать любовницей Байрона.

Она не умела ни читать, ни писать. Пришла в крестьянском платье, но вскоре она его выбросила и начала покупать себе модную одежду. Байрон бросал в огонь шляпу за шляпой, но девушка стояла на своем: носила платье со шлейфом, который называла «хвостом». В доме она заняла главенствующее положение, терроризировала слуг и могла уничтожить любую женщину, заподозрив в ней соперницу. Байрон позволил ей вести дом. В результате четырнадцать слуг стали работать как положено, и хотя делали это из страха, дворец стал изумительно чистым, а счета вполовину уменьшились.

Маргарита не стала музой Байрона, хотя ее заботливость вдохновила его на самое лучшее когда-либо написанное им письмо. «Осенью, — писал он Джону Марри, — по пути в Лидо нас, вместе с моими гондольерами, настиг шквал, гондоле угрожала серьезная опасность. Шляпы слетели, лодка наполнилась водой, весло потеряли. Гром, ливень, море

бушует, ночь приближается, ветер усиливается. По возвращении, после долгой борьбы, я застал ее на ступенях дворца Мочениго на Большом канале. Черные глазищи сверкали сквозь слезы, длинные черные волосы намокли, упали на лицо и грудь. Она и не думала прятаться от бури: и волосы, и платье облепили ее тонкую фигуру. Молнии сверкали, волны накатывали ей на ноги. Она похожа была на Медею, сошедшую с колесницы, или Сивиллу. Единственными живыми существами среди разбушевавшейся стихии были, кроме нее, только мы. Увидев меня живым, она не бросилась обнимать меня, как можно было ожидать, а закричала: „А, собака Мадонны, нашел время ездить в Лидо?“ Затем побежала в Дом и нашла утешение в том, что стала бранить лодочников за то, что те не предвидели бурю. Мне говорили слуги, что она не вышла за мной на лодке только потому, что все гондольеры Канала наотрез отказались выйти в море в такой момент. Тогда-то она и уселась на ступени и просидела там, не сходя с места. Никто не мог ее увести или успокоить. Радость ее при виде меня была смешана с яростью. Так, наверное, выглядит тигрица, когда ей возвращают детенышей».

На безопасном расстоянии в сто пятьдесят лет можно полюбоваться тигрицей, невероятной женщиной, соблазлившей Байрона. Но пришел момент, когда и он устал от ее эмоций и сцен. Она измучила его ревностью: Маргарита даже сделала попытку выучиться читать, чтобы узнать, не приходят ли ему письма от женщин. Байрон сказал, что они должны расстаться. Маргарита пришла в ярость, но ушла без борьбы. На следующую ночь, однако, послышался звон стекла, вслед за которым явилась и сама Маргарита. Она вошла в комнату, в которой ужинал Байрон, и ударила его по пальцу столовым ножом. Многострадальный лакей Байрона, Флетчер, разоружил ее, а Тит сопровождал до ступеней дворца, и с них она спрыгнула в Канал. Ее спасли и,

после того как доктор осмотрел ее, отправили домой. «Байрон привел ее в чувство со спокойной уверенностью опытного человека, — писал Питер Куиннел, — и он не очень верил в женские самоубийства». Тем не менее этой связи пришел конец. Байрон видел ее после этого дважды: один раз издалека, другой — в театре.

Я попросил гондольера подвезти меня ко дворцу Мочениго. Мы дрейфовали возле фонарей, а я разглядывал ступени, с которых Маргарита совершила знаменитый прыжок в воду. Возможно, кто-то спросит: как сложилась судьба пылкой амазонки? В 1860 году У. Хоуэлс приехал в Венецию в качестве американского консула и прослужил там пять лет. В очаровательной книге воспоминаний он написал о старой женщине, державшей магазин, который торговал сливочным маслом и сыром. Магазин находился возле кампо<sup>[80]</sup> Сант Анджело. Хоуэлсу сказали, что владелица магазина была когда-то любовницей Байрона. В нескольких недобрых словах — ему, в конце концов, было всего лишь двадцать три года — он описал ее как «толстую грешницу, в которой не осталось и следа красотою, лысую и недовольную». Если это и в самом деле была Маргарита Кони, то ей, должно быть, было семьдесят четыре года, а Байрона не было на свете тридцать шесть лет.

Затем мы продолжили наше путешествие. Я слышал предупреждающие крики гондольеров при повороте в темные боковые каналы, но старинные крики *premi* и *stall* — «направо» и «налево», — упомянутые Рёскиным и многими другими писателями, больше не звучат. Слышал я и музыку, а потом из бокового канала выплыла процессия, которую поначалу я принял за похоронную. Медленно вышла большая барка, увешанная электрическими лампочками, но вместо катафалка, который я ожидал увидеть, судно везло фортепьяно и маленький оркестр, а за баркой, словно летаргические,

но музыкально настроенные акулы, следовала дюжина гондол с американцами. Должно быть, то была «Серенада на гондоле», афиши о проведении которой я видел на улице. Два или три члена этой процессии подняли фотоаппараты, мелькнули вспышки, и над водой поплыло сопрано: зазвучала популярная ария.

Множество дворцов имеет одинаковые названия, и это сбивает с толку. Мы проехали мимо двух дворцов Джустиниани, и гондольер сказал мне, что во втором дворце Вагнер сочинил часть своего «Тристана». Я поднял голову, стараясь прикинуть, какой балкон упомянул он в своей «Автобиографии». Он написал, что стоял там и смотрел на Большой канал. «Я живу теперь в Венеции, и здесь я закончу „Тристана“». Ему было сорок четыре года, когда в 1858 году он приехал сюда в поисках спокойствия и тишины с незаконченной оперой в голове. Устав от отеля, он арендовал большую комнату во дворце с примыкающей к ней спальней, но серые стены действовали на него угнетающе, а потому он прикрыл их Дешевой красной материей. Затем он послал домой за роялем и кроватью. Как же я понимаю Вагнера! Спать в собственной Постели. Так в прошлом поступали многие путешественники, возможно, компенсируя себе тем самым лишения и неудобства путешествия. Распорядок дня Вагнера был прост. Он работал до двух часов дня, затем садился в гондолу и отправлялся на пьяццу, где заказывал ланч. После шел в городской сад. «Единственное место в Венеции, где были деревья». Сейчас там стоит памятник Вагнеру. Возвращался к себе до наступления темноты и работал до восьми часов вечера. Иногда ходил в театр. Во времена Вагнера Венеция была под властью Австрии, и по вечерам на пьяцце играли военные оркестры. Вагнер спокойно обедал, но, как он сам написал, «частенько вздрагивал при звуках собственной музыки...» Ухо музыканта отметило, что акустика на пьяцце превосходна, заметил

он также, что ненависть венецианцев к австрийцам была настолько сильной, что, хотя люди не могли отказаться от музыки, «ни одна пара рук не забылась настолько, чтобы заплодировать». Оркестранты испытали необычайное чувство гордости, когда Вагнер пришел к ним вечером и присутствовал при репетиции. Он повстречался с офицерами и скромно заметил, что «отнеслись они к нему весьма уважительно».

Как интересно узнать от самого Вагнера, что протяжный звук рожка в начале третьего акта «Тристана» является подражанием крикам гондольеров, которые в 1858 году он слышал на Большом канале. Как-то ночью, не в силах уснуть, он вышел на балкон и в полной тишине услышал исходящий от Риальто «грубый жалобный крик», которому «в той же тональности ответил крик, но с большего расстояния и с противоположной стороны. Этот меланхолический диалог повторялся все с более длительными интервалами и произвел на меня такое впечатление, что я сохранил в своей памяти простые музыкальные компоненты». Это была знаменитая песня гондольеров, положенная на строфы «Освобожденного Иерусалима» Тассо. В другой раз, когда Вагнер поздно вечером возвращался домой, его гондольер издал крик, «похожий на крик животного. Крик этот постепенно набирал силу и закончился длинным выдохом — „Ох!“, после чего перешел в простое музыкальное восклицание: „Венеция!“ За этим последовали другие звуки, которые не запечатлелись в моей памяти. Первый звук произвел на меня такое впечатление, что он оставался со мной, пока я не завершил второй акт „Тристана“. Не исключено, что услышанное подсказало мне долгий звук пастушьего рожка в начале третьего акта».

Возможно, Вагнер не знал, что повторил опыт своего соотечественника Гёте, который за семьдесят два года



до него тоже был тронут криками гондольеров. Даже в 1786 году, во время пребывания Гёте в Венеции, «песню» надо было заказывать, так как уже тогда она считалась диковинкой из прошлого. Договорившись с певцами, Гёте встретился с ними ночью. «Я сел в гондолу при свете луны, — писал он, — один певец сидел против меня, другой — позади. Куплеты песни они поют по очереди... Для того чтобы я все услышал как следует, они высадились на берег и заняли разные позиции у канала. Я ходил между ними взад и вперед. Когда наступала очередь одного певца, я отходил от него и приближался к тому, кто только что закончил пение. На расстоянии голос звучит особенно, словно плач без грусти. Возникает невероятное ощущение, которое трогает до слез...»

Я спросил у гондольера, звучат ли теперь эти «песни», но он дал мне обычный неопределенный ответ — девиз Изабеллы д'Эсте: «Возможно, да, возможно, нет». Тем не менее он пообещал расспросить друзей. Столетия обмана, хитрых уловок и умения держать рот на замке оставили, кажется, неизгладимый след в мозгу венецианца.

Когда проплывали под мостом Риальто, я заметил слева от себя, что рынок по продаже рыбы и овощей вычищен и подготовлен к утру. Взглянул направо: интересно, какой дом имел в виду Аретино, из окон которого он наблюдал раннюю утреннюю сцену, назвав ее самым приятным видом в мире: Риальто, запруженное торговцами; барки с виноградом; двадцать лодок с дынями? Мужчины ходили вокруг, считали дыни, обнюхивали, стучали по бокам. Красивые молодые домохозяйки сверкали шелковыми платьями и надетыми на шею золотыми и серебряными цепочками. Из таверны вывалились немцы, набились в лодку. Лодка перевернулась, и их унесло в Большой канал.

Бражники, которых видел Аретино, вышли из Немецкого подворья, теперь здесь размещается почтамт. Немецкие торговцы останавливались там со своими товарами на протяжении всего Средневековья. Они переходили через Альпы, иногда и зимой, привозили для продажи немецкие товары, стараясь подгадать свое прибытие к приходу в Венецию кораблей с Востока. Купив у них специи, индийский муслин и захватив загодя приобретенные венецианские ткани — шелк и бархат, отправлялись домой. Самое интересное свидетельство о торговой Венеции и жизни обыкновенного торговца дает немецкий доминиканец из Ульма, человек по имени Феликс Фабри. Он был в Венеции по пути из Святой Земли за девять лет до открытия Америки. Он видел Венецию во всем великолепии ее золотого века. Повидал и дожа, заседавшего в Сенате. Довелось ему увидеть величественную религиозную процессию на пьяцце. Плавал в гондолах — тогда они еще не были черными, а ярко окрашенными, как на картинах Карпаччо. Любовался грациозными гондольерами в полосатых рейтузах. Монах Фабри стал свидетелем празднования дня Вознесения, он видел золоченый буцентавр с шелковыми драпировками. В судне этом сидело триста гребцов, они везли дожа на ежегодный праздник — Венчание с морем. Пели трубы и звенели все колокола Венеции. Фабри разрешил мучивший меня вопрос — у других очевидцев праздника ответа я не нашел: что происходит после того, как дож бросает в море золотое кольцо? Ну не мог я поверить в то, что темперамент итальянцев в 1483 году отличался от теперешнего: вряд ли они позволили бы золоту долго пролежать в воде. Я оказался прав. «После церемонии, — говорил Фабри, — многие раздевались и ныряли на дно в поисках кольца. Тот, кто находил, оставлял его себе. Более того, целый

год после этого счастливого освобождения от всех налогов».

Приехав в Венецию, Фабри отправился первым делом в Немецкое подворье — узнать домашние новости. Первые люди, которых он встретил, были купцы из родного Ульма. Они настояли, чтобы Фабри с ними остался. Ульм продавал Венеции евхаристический хлеб и... игральные карты! Прескотт, занимательно и точно написавший о рассказе Фабри, говорит, что Немецкое подворье представляло собой здание, во дворе которого купцы хранили свои товары. Сами они жили на втором этаже. Образ жизни купцов, как и все в Венецианской республике, регулировался законом. Питаться они должны были все вместе в столовой, о торговых операциях ставить в известность правительство. К определенному часу ночи все обязаны были находиться в помещении. По возвращении в Германию им надлежало продекларировать покупки и заплатить пошлину. Упаковывать товары права не имели: этим занимались местные упаковщики. Ширина тюка подгонялась под узкое ущелье перевала Бреннер. Когда все это было выполнено, тюки грузили на специальные баржи.

В Немецком подворье было пятьдесят шесть спален, некоторые из них арендовали на год, вне зависимости, были ли в Венеции представители торговой фирмы или нет. Торговая гильдия из Нюрнберга арендовала, по слухам, помещение на срок восемьдесят лет. Другая гильдия, очевидно знакомая с венецианскими зимами, установила у себя печь. Купцы сидели в столовой группами, каждая из одного города. Фабри посадили за стол с купцами из Ульма.

Это высокоорганизованное учреждение действовало с раннего Средневековья, но ночью 1505 года дом загорелся, и половина Венеции помогала тушить пожар. Среди тех, кто передавал ведра, были два художника. Обоим в ту пору было по двадцать восемь лет: один из

них был Джорджоне, а другой — Тициан. Джорджоне через пять лет умер от чумы. Тициан умер от нее же через семьдесят один год. Оба художника расписали фресками новое здание, хотя в настоящее время от их работы ничего не осталось.

Через несколько мгновений мы приблизились к готической жемчужине Большого канала — Ка д'Оро — Золотому дому. Здание это дает наилучшее представление о великолепии XV столетия в Венеции. На противоположной стороне Канала стоит маленький ренессансный дворец — Вендрамин-Калерджи. Там в возрасте семидесяти лет умер Вагнер, через четверть века после сочинения «Тристана». В Венеции рассказывают: у его гондольера было предчувствие, что хозяин скоро умрет. Он уселся в темноте в гондоле у ступеней дворца и ждал. Из комнаты раздавались звуки фортепьяно. Гондольер был последним человеком, слышавшим игру великого композитора.

Мы возвращались домой мимо старинных дворцов. Только речные трамвайчики, прокладывая себе путь от причала к причалу, делали эту призрачную сцену осмысленной и соединяли ее с современной жизнью, но веселость и даже коварство давно улетучились. Голубой свет выхватывал печальные неподвижные лица зданий. Как ни грустно об этом говорить, но знаменитая дорога показалась мне выставленным для прощания покойником.

## Глава девятая. Жизнь Венеции

***Голуби Сан-Марко. — Арсенал Венеции. — Средневековая сборочная линия. — Жизнь на венецианской галере. — Женщины Венеции. — Choprines. — Томас Кориэт и куртизанка. — Беллини и Карпаччо. — Художники и их собаки. — Тициан и Аретино. — Териака. — Стекланные изделия Мурано.***

### 1

Тот, кто когда-либо жил в сельской местности Италии, наверняка часто удивлялся, увидев взрослого дрозда, ласточку или воробья. И в самом деле, странно: это все равно что уцелеть при направленном на тебя выстреле пушки. Потому-то голуби Венеции имеют здесь почти религиозное значение, как коровы Индии или голубки Пафоса. Казалось бы, стреляй да ешь, но ни к одному перышку на кивающих жадных головах никто не притронется, и так было всегда. Даже бесчисленное поголовье венецианских кошек никогда на них не нападает. Похоже, что и котят своих они учат смотреть в другую сторону. Они знают, что самое большое преступление для кошки — это подкрасться к голубю на площади Святого Марка.

Голуби, загадившие Национальную галерею Лондона и Британский музей, защищены сентиментальностью горожан. Когда несколько лет назад было предложено сократить их поголовье, послышался возмущенный крик, и от этой идеи отказались. В Венеции и в голову никому не придет озвучить такую идею. В войну с продовольствием было совсем плохо, но никто в Венеции

не испек себе пирог с голубиной начинкой. Историки говорили мне, что так же обстояло дело и в 1848 году, во время австрийской осады. Если хотите увидеть возмущение на лице итальянца, упомяните вскользь, что голубя с горохом вы предпочитаете обычному пирогу с голубиной начинкой. В ответ вы получите полный упрека взгляд обиженного ни за что человека, и вам невольно припомнится эпизод, когда случайно вы наступили на лапу любимому спаниелю.

Отчего в стране, где ни один дрозд или овсянка не могут чувствовать себя в безопасности, где ласточек продают связками, гладким и сытым голубям позволено умереть от старости или переедания? Этому есть два объяснения. Одно из них такое: когда Аттила и его гунны опустошали римские города, голуби стали покидать свои гнезда, устроенные в крепостных стенах, и это их поведение расценили как Божий знак: пришло время бежать. Жители последовали примеру птиц и отправились за ними на острова лагун. Так образовалось Венецианское государство. Есть и второе объяснение: в Средние века, во время Страстной недели, священники со стен базилики выпустили в толпу тысячи голубей, чтобы люди их поймали и приготовили для еды. Птиц взвесили и привязали к лапкам бумажки, так что поймано было их большое число. Но тех, кому удалось спастись, приветствовали радостными криками и даровали им с тех пор полную безопасность. В этой истории больше правдоподобия. Проведенная в тот раз церемония была, скорее всего, ловкой и разумной попыткой уменьшить численность птиц и в то же время преодолеть старинное, скорее всего языческое, нежелание есть голубей. Схема, однако, не сработала, так как невозможно отличить свободного голубя и его потомков от тех, кого можно поймать. С тех пор минуло около пятисот лет, и голуби с площади Святого Марка продолжают плодиться в своем заповеднике —

современный вариант античных священных гусей. Сокращение их количества происходит, только когда город просит об этом голубей, и, как ни странно, они слушаются. Иногда ночью, когда Венеция спит, ловят немного птиц, сажают в клетки и увозят в вагонах по железной дороге. Это проделали, когда я был в Венеции. Мне сказали, что голубей увезли в Брюссель.

Птицы садятся на собор, словно на скалу. Отверстия и щели в стенах Аквилеи закрыли византийскими лепными украшениями. Голуби гнездятся в притворах, пачкают каменные лица святых и апостолов. Нежные юные птенцы сыто таращатся с византийских завитков, ожидая времени, когда и сами начнут важно выхаживать по площади, чистить перышки, выскакивать из-под ног туристов, толкаться, пытаться приглушить неутолимый голод, и греметь крыльями при незнакомом звуке. Птицы толпятся возле небольшой мраморной птичьей ванны со свежей водой. Это — подарок от обожающего их города. Ванна стоит на площади деи Леоне с северной стороны церкви. Камни Венеции так густо заросли экскрементами, что поневоле испытываешь сочувствие к самой измученной фигуре пейзажа — старику с металлическим скребком на длинной палке. Мрамор базилики ему приходится очищать рано утром, пока никто не проснулся и не застал его за этим неприятным занятием. Я наблюдал за несчастным человеком, видел, как он соскребает перья и тухлые яйца. Он напоминал мне старого священника из Древнего Египта, который ходит вокруг клеток со священными ястребами.

Не верьте тому, что голубей Венеции кормят городские власти. Эту привилегию в 1952 году с радостью приняла на себя благотворительная страховая компания — «Assicurazioni Generali», ее контора находится рядом с пьяццей. Зимой каждый день птицы получают в два приема по сто килограммов маиса и

пшеницы, а так как летом голубей целый день подкармливают туристы, рацион уменьшают в два раза. Это — щедрое вспомоществование, и оно дает представление о размере поголовья. Сто килограммов равняется примерно двумстам фунтам, весу грузного человека.

Мой совет: если вы без десяти девять утра идете к дальнему концу пьяццы, что против музея Коррер, подождите, посмотрите, что произойдет. Вы увидите, как из соседней галереи выйдет человек в фуражке и сером плаще. В руке у него будет ведро с крышкой, а на крышке инициалы — AG — Assicurazioni Generali. Вы ощутите, как все замерло в ожидании, но основная масса птиц остается на своих местах: голуби знают, ни одно зерно не упадет на землю, пока часы на кампаниле не пробыт девять раз. Сотня голубей расхаживает вокруг ведра, какая-нибудь невыдержанная птица залезает на кромку и как бы вызывает других голубей последовать ее примеру. Человек стоит. Ждет. Откуда-то доносится бой часов, но ни человек, ни птицы не двигаются. Они знают, что это не часы кампанилы. Как только часы отбивают время, мужчина поднимает ведро и высыпает маис в форме огромной буквы А, за нею следует такая же большущая С Одновременно с громом, который я уподобил бы сотне венецианских ставен, опущенных в один момент, воздух наполняют крылья. Это птицы слетают с крыш и труб, со статуй святых и колоколов собора, зависают на мгновение в сероголубом вихре из перьев и затем тугой массой опускаются на землю. И вот они уже быстро кивают головами и переступают маленькими малиновыми лапками. Любой, кто увидит их в этот момент, решит, что они неделю не ели.

В первые несколько секунд человек виден по пояс, затем вы едва можете различить среди крыльев его голову, и, наконец, он пропадает окончательно в



голубином циклоне. Если у этого человека есть маленький сын или дочка, дети, увидев эту сцену впервые, могут сильно напугаться: а вдруг их папочка никогда не выберется? А что, если птицы разойдутся и на площади останутся лишь пустое ведро, фуражка и серый плащ? Но нет: несколько тысяч голубей отлетают налево, другие тысячи отходят направо, и вот он, словно средневековый мученик, оставшийся невредимым после бури.

## 2

Когда в средневековые времена приезжали в Венецию VIP-персоны, их вели в Арсенал. Утром иностранцу показывали киль, а вечером приводили посмотреть на готовую, качавшуюся на воде галеру. В 1551 году был поставлен рекорд скорости. Тогда приехавший в Венецию молодой французский король Генрих III вызвал в городе приступ гостеприимства. По такому случаю перед обедом монарху показали киль и шпангоуты, а когда он откушал — обед, разумеется, длился долго, ведь присутствовало три тысячи гостей, и подали 1200 блюд! — Генриха пригласили присутствовать при спуске галеры на воду. Во время войны с турками Арсенал каждый день строил по одной новой галере, и так продолжалось сто дней подряд. Все это было возможно, потому что венецианцы изобрели сборочную линию. Испанец по имени Перо Тафур, посетивший Арсенал в 1438 году, описал, как проходила галера мимо несколько мастерских. По пути каждый цех что-нибудь к ней прибавлял: один цех выдал такелаж, второй — оружие, третий — пушку, четвертый — продукты. К тому моменту, когда корабль дошел до края верфи, перед ним выстроилась команда, готовая подняться на борт и отправляться в море.

Сегодня человеку, знавшему Арсенал в прошлом, остается грустно вздохнуть. Возле внушительных морских ворот стоит несколько каменных львов, привезенных венецианскими капитанами из разных стран. На крупе одного из них выбиты нордические руны. Некоторые думают, что их могли вырезать солдаты варяжского караула. Другой, длинный, словно такса, лев пришел из Греции. Он — один из семейства, что восседает среди белых скал благословенного острова Делос. Турист приходит в здание, которое является сейчас Морским музеем, а по дороге окидывает взглядом знаменитую верфь, занимающую восемьдесят акров. Здесь шестнадцать тысяч обученных людей работали когда-то в едином порыве: стучали молотки, визжали пилы, клочкотала смола в котлах. Возможно, эти котлы и подсказали Данте адское озеро, в котором заживо варились грешники. Сейчас все тихо, лишь иногда даст о себе знать клепальная машина да проблеет пароход, пришедший для мелкого ремонта.

В музее полно оружия, захваченных флагов и длинных вымпелов, доставшихся после сражения в Лепанто, их можно увидеть во многих испанских соборах. Есть здесь несколько фрагментов буцентавра, спасенного прежде, чем эмблему венецианского великолепия публично уничтожили по приказу Наполеона. Больше всего заинтересовали меня прекрасные модели различных типов венецианских галер. Я увидел макет судна, которое снабжало Европу перцем, корицей и гвоздикой, пока не открыли короткий путь в Индию. Галеры одного класса строили по единому стандарту, а потому венецианские доки во всех частях мира держали необходимые запасные части. Новая команда могла немедленно сесть на новый корабль, и все на нем было ей знакомо. «Венецианские корабли похожи были один на другой, как ласточкины гнезда», — так сказал об этом писатель XV века.

К тому же это были лучшие корабли своего времени. Лес в Венецию сплавляли большими плотами. Затем в Лидо он десять лет созревал в резервуарах с солью. Каждый гвоздь, каждый канат, каждый парус изготавливали в Арсенале, причем из самых лучших материалов. Верфь являлась не только главным источником венецианского богатства и власти, она была гордостью Республики. Я видел трирему, должно быть, в такой триреме Феликс Фабри и его товарищи пилигримы в 1483 году совершили путешествие из Венеции в Яффу. Сто восемьдесят гребцов сидели в трех рядах ее весел. Длина галеры составляла около ста сорока футов, и на ней можно было везти пятьсот тонн груза.

Я не знаю ни одного писателя, который описал бы так, как Фабри, обыкновенные подробности: о том, как тогда заказывали билет на проезд в галере; как выглядела койка; чем питались во время путешествия; каких людей можно было встретить в поездке. Он написал обо всех достоинствах и недостатках путешествия в XV веке. Когда смотришь на эти модели, любишься красотой и элегантностью судна, сочувствуешь пассажирам, стиснутым в тесных его помещениях, и поражаешься необычайной выносливости гребцов. Единственное удобное помещение в трехэтажном «замке» занимали лоцман и рулевой. «Помогали им, — говорит Фабри, — хитрые люди, астрологи и предсказатели. Они наблюдали за звездами и небом, им даже запах трюмной воды о чем-то возвещал». Ниже располагалась капитанская рубка, а под ней — «место, где устраивались на ночлег благородные дамы, там же хранились сокровища капитана». Обычные паломники спали бок о бок и нога к ноге в длинном, похожем на сарай помещении. Находилось оно под гребцами. Ложились они на принесенные с собой матрасы и укрывались собственными одеялами, которые днем скатывали и

вешали на крючки. Под ними был только балласт, накрытый досками. Доски в некоторых местах можно было поднять. Паломники часто их поднимали, чтобы охладить в песке бутылки с вином и яйца. Фабри рассказывает, что если во время путешествия умирал бедный человек, его выбрасывали за борт. При нем умер венецианский сенатор, и тело его «выпотрошили, как рыбу» — эту операцию Фабри наблюдал с большим интересом, — а затем гроб закопали глубоко в балласт.

Регулярных плаваний не было, но когда в Венеции собиралось много паломников, Синьория распоряжалась, чтобы выбранные на ее усмотрение галеры перевезли их через море. Когда Фабри и его товарищи прибыли в Венецию, они пришли на пьядцу и увидели напротив собора Святого Марка два флагштока с развивающимися флагами — красный крест на белом фоне. Знак этот означал, что там можно было заказать билеты. Возле флагштоков стояли агенты с двух галер. Каждый расхваливал свой корабль и ругал капитана, команду и условия путешествия другой галеры. Так как на якоре возле Пьяцетты стояли оба судна, паломники поступили весьма разумно — пошли посмотреть обе галеры. Капитаны приветливо их встретили, угостили бокалом критского вина и засахаренными фруктами из Александрии, показали свои суда. Фабри с товарищами выбрали трирему. Она была больше, чище и новее другой галеры. Затем условились о цене и сошли на берег. Состоялось обсуждение, в результате которого был составлен договор из двадцати пунктов. Капитан подписал его во Дворце Дожей, а потом договор заверил нотариус. Некоторые пункты кажутся странными. Согласно одному пункту, капитан должен был защищать паломников — при необходимости — от команды. Другой пункт обязывал его предоставить достаточное место для кур и другой домашней птицы паломников. Еще пункт: если во время путешествия кто-нибудь умрет, ни в коем

случае не выбрасывать его за борт, а похоронить, по возможности, на суше.

Прошло несколько недель, прежде чем галера готова была к отплытию. Наконец, пассажирам объявили, что они могут подняться на борт вместе со спальными принадлежностями и едой и отыскать свои места в темном нижнем помещении. Это было страшноватое приключение, особенно для тех, кто никогда раньше не был на море. Человек попадал в тесное сообщество моряков, столяров, лучников, брадобреев-хирургов и астрологов. Все паломники предварительно консультировались у врача, и тот выдавал им пурген и письменную инструкцию о том, как не заболеть на море. Настал момент отправления, и капитан приказал поднять паруса. Матросы полезли на мачту и исполнили приказ. По ветру полетело несколько больших флагов: красный крест Святой Земли, красный лев святого Марка, зеленый дуб с золотыми желудями Сикста IV и капитанский флаг с гербом Венеции. Команда подняла якоря, паруса раздулись, и «с большой радостью мы отплыли от земли. Музыканты дули в трубы, словно мы шли в бой, галерные рабы громко кричали, а паломники пели „In Gottes Nahmen fahren wir“». [\[81\]](#)

Тот, кто утверждает, будто Венеция до XVI века не нанимала галерных рабов, не читал, должно быть, Фабри, чей рассказ доказывает: система была хорошо отлажена. Монах испытывал сильное сочувствие к несчастным людям, которые работали, ели и спали, не сходя со скамей. Ничего нового, однако, он не добавляет к имевшемуся у нас знанию о трудностях, которые тем приходилось переносить. Он, впрочем, замечает, что у каждого такого гребца было кое-что припрятано под скамейкой, да и вино у них было получше того, что подавали на судне. Испытывавшие жажду пассажиры всегда могли приобрести вино в перерывах между едой:

они покупали его у гребцов, а люди с алкогольной зависимостью выходили из-за стола, как только еда заканчивалась, и немедленно шли к гребцам, «садились и проводили весь день за вином. Обычно это были саксонцы, фламандцы и другие люди низкого происхождения».

Галерные люди сидели на веслах не всегда: если корабль Шел с попутным ветром, им не оставалось ничего другого, как «с жуткой руганью и богохульствами играть на золото и серебро в карты и кости». Как только они садились за весла, им подавали отвратительную еду. Фабри часто видел, что они ели сырое мясо. Иногда им везло: случалось это, когда богатые нобили, испытывавшие отвращение к обычной еде, «давали поварам большие денежные суммы и просили готовить себе отдельно. Корабельную пищу они отдавали бедным галерным рабам». Бывали и у гребцов моменты свободы. Фабри припоминает, как в каком-нибудь городке гребцы выходили на берег с мешками, полными вещей, предназначенных для продажи на местном рынке. Так как все они без исключения были неисправимыми ворами, то стоит лишь догадываться, какие сокровища перекочевывали из-под скамьи гребца в самые неожиданные места. Возможно, привилегия делать свой маленький бизнес осталась со старых времен, когда городским венецианским гребцам позволяли провозить с собой немного товаров, не облагавшихся пошлиной. Мольменти упоминает странный обычай среди венецианских гребцов — приглашать к себе каждый день на обед святого Фоку. Странный гость, ведь он является святым покровителем греческих садов и садоводов, и его изображение — с лопатой в руке — можно увидеть среди мозаик собора Святого Марка. Так как святой ни разу не появлялся, деньги, положенные за его обед, изо дня в день

откладывались, а когда корабль приходил в порт, раздавались нищим.

Хотя условия жизни на море изменились, пассажиры, в целом, остались прежними. Фабри говорит о неожиданно завязывающихся приятельских отношениях и столь же спонтанных размовках. «Я установил это как факт, — говорит он, — что развитие человеческих страстей на воде происходит сильнее, чем в каком-либо другом месте». В спокойные дни паломники занимались обычной для себя деятельностью. «Играли на деньги: одни в кости, другие — в карты, третьи — в шахматы... Кто-то пел песни или проводил время с лютней, флейтой, волынкой, клавикордами, цитрой и другими музыкальными инструментами». Современный пассажир, к счастью, от этого испытания избавлен, хотя в энтузиасте настольного тенниса можно узнать того, кто «показывает свою силу, поднимая тяжести или совершая другие подвиги». С приходом темноты наступало самое неприятное время на галере: надо было ложиться спать. Толкотня, шум, пыль столбом: это паломники раскладывали матрасы и постельные принадлежности — просто ад крошечный. Когда кто-то засиживался допоздна на палубе и, приходя вниз, наступал на ноги товарищам, вспыхивали перебранки. «Мне приходилось видеть, как некоторые горячие паломники, — вспоминает Фабри, — бросали ночные горшки в горящие лампы, чтобы погасить их, другие начинали обсуждать мировые проблемы с соседями и продолжали говорить за полночь...» Но все это, в конце концов, было мелочью. Фабри упоминает кое-что похуже: «Среди занятий на море было одно, вызывающее отвращение, хотя и обычное, постоянное и необходимое... я имею в виду охоту на вшей и клопов. Если человек не потратит на нее несколько часов, ночью его будут мучить кошмары... По мере путешествия на корабле в огромном количестве плодились мыши и крысы. Ночами они бегали повсюду,

подбирались к продуктовым припасам, прогрызали их, гадили в пищу, портили подушки и обувь, прыгали на лица спящих людей...»

Теперь, благодаря Фабри, смотришь на модели кораблей в Арсенале с большим пониманием и, хотя модели эти выглядят аккуратными и чистыми, знаешь, что под этими скамьями было отвратительное помещение, в котором бок о бок лежали паломники. Фабри признается, что иногда по ночам он перебирался через простертые фигуры своих товарищей и выходил на палубу глотнуть чистого воздуха. Ему в эти мгновения казалось, что он сбежал из вонючей тюрьмы.

### 3

Я провел приятный час в музее Коррер. Размещается он в здании против собора Святого Марка. Здесь хранятся любопытные реликвии старой Венеции. Я увидел одежду дожа и сенатора, обувь и шляпы, маски и домино, мятые и сморщенные. Во всем этом я не почувствовал беспечной греховности, столь знакомой по картинам Лонги и Гварди. Какой уникальный предмет — корно, фригийский колпак свободы, которым короновали герцога. Форма его не менялась, менялся материал, из которого его изготавливали. Иногда он был простым, но чаще — украшенным драгоценными камнями, и его всегда надевали поверх маленькой белой шапочки — витта — из тонкого батиста. Миниатюрный корно догарессы представлял собой абсурдно маленькую шляпку. Впрочем, с официальным платьем такая шляпка, вероятно, выглядела неплохо.

Здесь можно увидеть один из самых смехотворных вывертов моды — цокколи, или choplines. Венецианки носили их несколько сотен лет, пока в XVII столетии здравомыслящая дочь дожа их не отменила. Это были



башмаки на деревянной подошве высотой восемнадцать дюймов. Жены и дочери аристократов ходили в них, словно на ходулях. Головы и плечи возвышались над толпой. Чтобы не упасть, они держались за головы пожилых слуг. Джон Ивлин видел таких женщин в 1545 году. «Я едва не смеялся, глядя на то, как эти дамы вползают и выползают из своих гондол, и все из-за этих chopprines, — писал он, — а какими же оказываются они карлицами, когда спускаются со своих деревянных платформ; я видел около тридцати таких женщин, оказалось, что они вполовину ниже нормального роста». Некоторые думают, что нелепая мода зародилась в гаремах или банях Константинополя. Другие утверждают, что своим рождением она обязана Венеции. Возможно, как сказал Ивлину какой-то циник, ради того чтобы удержать женщин дома. Башмаки были хорошо сделаны и весили немного, но элегантными назвать их никак нельзя. Вся эта обувь, даже позолоченная, похожа на старомодные больничные бахилы.

В музее Коррер имеется оригинал знаменитой картины Карпаччо «Куртизанки». Рёскин посвятил ей восторженную статью. А вот я согласен с Лукасом в том, что в изображенных на полотне двух угрюмых женщинах нет ничего порочного. Если Ивлин был прав, когда говорил, что куртизанкам не разрешалось носить chopprines, то присутствие таких башмаков в углу картины давно бы могло очистить репутацию дам. Мне эти женщины кажутся олицетворением скуки. Трагичность положения этих дам усиливает то, что они тщательно оделись и потрудились над своими волосами — вымыли, покрасили, обсыпали золотой пудрой, а сейчас им нечего делать, некуда пойти. И вот они праздну, не улыбаясь, сидят то ли на балконе, то ли на крыше среди птиц и собак, которые их уже не забавляют. Картина подтверждает тот факт, что

Венеция была веселым и порочным городом для всех, кроме жен и дочерей высшего сословия. Ирония судьбы — эти две вялые и непривлекательные женщины давно уже вышли из возраста куртизанок.

Я специально искал в музее какой-либо предмет, имевший отношение к двенадцати тысячам куртизанок. На протяжении веков этот самый большой магнит притягивал в Венецию множество туристов, но я не увидел даже ни одного платья, красного или желтого, в виде тюльпана, которые они в то время носили. Не было и картины с самым знаменитым борделем на Риальто. Было бы интересно взглянуть на портреты знаменитых куртизанок. Мне, например, очень хотелось знать, как выглядела Вероника Франко. Эта женщина так сильно влюбилась во французского короля Генриха III, что после непродолжительного его визита в Венецию оставила свое занятие и отдалась добрым делам и поэзии. Большинство путешественников непременно высказывались о венецианских куртизанках. Монтень удивлялся тому, что они «словно принцессы, тратят деньги на платья и мебель». Другие писатели отметили, что каждый гондольер работал на куртизанку и, если пассажир того требовал, доставлял его к ее дверям. Множество молодых людей переправлялись ради них через Альпы. Некоторые аристократы, по словам Лассела,<sup>[82]</sup> всю дорогу до Венеции нервничали, пока не оказывались, наконец, в городе своей мечты. «Столь бесконечна прелесть этих любвеобильных Калипсо, — писал Томас Кориэт в 1608 году, — что слава о них притянула сюда мужчин из самых отдаленных частей христианского мира».

Кориэт написал в «Кориэтовых нелепостях» о своем посещении куртизанки. Он поставил себе благородную цель — перевоспитать женщину. Рассказ интересный. Прекрасную венецианскую куртизанку звали Маргарита Эмилиана. Рассказав, как он приехал в дом дамы, он

заметил: «Кажется, чтоходишь в рай Венеры. Она подходит к вам, словно богиня любви». В книге есть иллюстрация, запечатлевшая момент встречи. Мы видим его, превосходно одетого, со шляпой в руке. Он низко кланяется красивой молодой женщине, а она готова его обнять. Ее волосы — масса тугих светлых локонов. Наше ожерелье с жемчугами, размером с яйцо бентамки. Модное, отделанное бахромой платье из фигурной парчи. Глубокий вырез обнажает грудь. Мода эта началась с куртизанок Венеции и была подхвачена многими добродетельными женщинами по всей Европе. Такой фасон, очевидно, удивлял и шокировал Кориэта, хотя и в Англии такие платья уже носили. «Почти все замужние женщины, вдовы и девицы ходят с обнаженной грудью, — пишет он, — и многие оголяют спины почти до середины. Некоторые, правда, прикрывают их сверху тончайшей прозрачной тканью. Такую моду я считаю непотребной». Тем не менее две королевы Англии, Елизавета I и Анна Датская, как говорят, носили такие платья, и писатели елизаветинских времен часто упоминают приличных женщин с оголенной грудью.

Пока я переходил из зала в зал, думал, что любой другой музей такого рода выставил бы большое количество экспонатов, принадлежавших знаменитым женщинам, портреты и т. п., но только не в Венеции. Возможно, самой странной чертой государства, которое просуществовало дольше всех европейских государств, является отсутствие знаменитых женщин. Только куртизанка ранней эпохи и эмансипированная жена из XVIII века оставили след в истории Венецианской республики. Фактически самых знаменитых венецианок создали в Англии — Порцию, Джессику, Нериссу и Дездемону.

Некоторые писатели отмечали, что отношение венецианцев к женщинам было сродни восточному. Что

ж, может быть, они правы. Я думаю, что венецианцы к тому же боялись женщин, вернее, женской неосторожности. Столетия вероломства, коварства и подглядывания сделали Венецию самым осторожным обществом на земле, государством сдержанным и подозрительным, оттого что одно неловкое слово могло погубить человека. Типично для венецианца взять с собой за границу повара, но только не жену. Венеция не верила своим женщинам: слишком уж много у государства было секретов.

#### 4

Представление о мужском мире Венеции, каким он был несколько столетий назад, можно получить, разглядывая знаменитые полотна Джентиле Беллини и Карпаччо, а потому тысячи людей приходят в Академию на Большом канале. Картины эти написаны примерно в 1495–1500 годах для гильдии Святого Иоанна, чтобы проиллюстрировать события, связанные с драгоценной реликвией гильдии — Святым Крестом.

Когда однажды во время церковной службы реликвию перевозили по Рио ди Сан Лоренцо, она упала в канал. Мужчины немедленно разделись до нижнего белья и нырнули. Один раб, негр, собирался прыгнуть в воду из окна ближайшего дома, но сторож гильдии всех опередил: нырнул, не раздеваясь, и достал крест. Этот инцидент запечатлел Джентиле Беллини. Он же написал и площадь Святого Марка во время крестного хода. На картине видно, что реликвия лежит под великолепным балдахином, с него свисают боевые щиты венецианских торговых гильдий. Сопровождают реликвию поющие священнослужители со свечами, за ними — во главе с дожем — следует длинная процессия, состоящая из знатных горожан. Дождь идет под зонтом. Эту картину

можно считать историческим документом. Если бы в 1496 году изобрели фотоаппарат, он бы не запечатлел больше того, что есть на картине. Площадь вымощена кирпичом. На фронте базилики блестит мозаика XIII столетия, башня с часами пока не построена.

Карпаччо оставил нам не менее замечательный живописный документ — Большой канал в 1496 году. На нем много гондол, но не таких, какими мы знаем их сейчас. Это маленькие раскрашенные каноэ. Распоряжение о том, что они должны быть черными, пока не появилось. Нет у них торчащего из передней части стального лезвия с шестью зазубринами — ферро. Экзотичнее всего выглядит сам гондольер — волосы молодого человека спускаются до плеч, задорная шапочка с пером заломлена на ухо. На талии стянута яркая туника с разрезными рукавами, на ногах рейтузы либо в красно-белую продольную полоску, либо в черно-белый ромб. Дворцы на Канале — средневековые предшественники теперешних зданий. В основном они из красного кирпича и мрамора, с готическими окнами. Из крыш торчат любопытные воронкообразные трубы, некоторые из них дожили до наших дней. Хорошо виден Риальто, а вот и знаменитый бордель на мосту Риальто. Построен он из дерева корабельными плотниками. Был крытым, как и теперешний мост. Мне он напомнил два больших деревянных навеса или два ряда яслей для лошадей, наклоненных с противоположных сторон Канала и соединенных в центре разводным мостом. Мост можно поднять и пропустить корабль. На картине этой изображен инцидент — излечение сумасшедшего. Мы видим его, стоящего на переднем плане, на дворцовом балконе в окружении священников, возносящих молитвы. Видим патриарха Градо, молодого человека, с бритым лицом, в красной шапочке. Патриарх держит перед больным реликвию.

В соседнем зале находится серия из девяти картин Карпаччо — «Житие святой Урсулы». Хотя рассказ идет об одиннадцати тысячах девственниц Кельна, Карпаччо, как истинный венецианец, продолжает писать мужской мир, а непорочных дев держит на заднем плане. Есть, однако, в этой серии одна бессмертная женская картина — «Сон святой Урсулы». Перед нами очаровательная спальня, юная святая, целомудренно прикрытая одеялом, спит в большой постели. Ее шлепанцы стоят подле кровати, маленькая собачка ждет пробуждения. Утреннее солнце заглядывает в аккуратную венецианскую комнату, подсвечивает цветы в горшках на подоконнике. В комнату на золотом луче входит ангел, он собирается помочь Урсуле разрешить проблему: как совместить обет безбрачия с предполагаемым замужеством.

Я думал, что любимая мною картина Карпаччо «Святой Иероним в келье» находится в Академии, но искал там напрасно. Обнаружил я ее случайно недалеко от отеля в Скуола ди Сан Джорджио дели Скьявони. Пять-шесть лет назад эту картину переименовали, и теперь она называется «Видение святого Августина». Произошло это в связи с интересным открытием, сделанным Элен Роберте: она выяснила, что святой Иероним никогда не был епископом, а потому митра и епископский посох, что видны на заднем плане картины, никак не могут ему принадлежать. Кто же тогда владелец этого очаровательного помещения, кто сидит с пером в руке, глядя задумчиво в окно, — момент, столь знакомый большинству писателей? Эта сцена, очевидно, изображает святого Августина, он-то и был епископом и, согласно известной истории, писал письмо святому Иерониму, не зная, что в этот самый момент Иероним скончался в своей келье в Вавилоне. Августин находится в необычайно приятной и элегантной рабочей комнате: зеленые стены, потолок украшен золоченой резьбой,

возле окна красивый столик, на котором в рабочем беспорядке раскиданы бумаги. Самым примечательным существом, кроме, разумеется, святого, является маленькая кудрявая белая собачка. Художественным критикам надо было давно обратить на нее внимание: ведь святой Иероним держал в доме льва, он не мог быть хозяином этой собачонки. Маленькое создание смотрит на задумчивого хозяина, и на морде написано желание помочь. И если бы была на свете собака, способная подсказать писателю нужное слово, то это была бы она.

Я уверен: собаку Августина не мог написать человек, не любящий собак, особенно маленьких, галантных, сообразительных. Когда я шел домой по узким переулкам и горбатым мостам, то думал: какую приятную книгу мог бы написать человек, который знает о собаках все, как знает о собаках великих художников Брайан Веси Фицджеральд. Можно найти дюжины картин с изображением собак. Карпаччо много их написал. Ту же кудрявую собачку или ее близкую родственницу можно увидеть в гондоле ее хозяина на картине Карпаччо, изображающей Большой канал. Маленькая собачка святой Урсулы другой породы — гладкошерстная и с купированными ушами.

Веласкес также написал несколько запомнившихся собак. Я вспоминаю большую длинношерстную собаку между карликами на картине «Фрейлины». Это произведение можно увидеть в музее Прадо, в Мадриде. Еще одна большая собака Веласкеса: усталая, старая и толстая, она лежит у ног молодого Дон Карлоса. Король изображен в полный рост, в охотничьем костюме. Он сжимает мушкет затянутой в перчатку рукой. Припомнил я и симпатичную коричневую собаку неизвестной породы. Изобразил ее Рубенс. Картина находится в Национальной галерее Лондона. Собачка печально сидит возле умирающей Прокриды. [\[83\]](#) Хочется

упомянуть и ясноглазое маленькое животное с картины Ван Эйка «Бракосочетание Джованни Арнольфини». Она тоже нашла приют на Трафальгарской площади.

## 5

Отсутствие городской скульптуры — очаровательная черта Венеции, которая не оценена по достоинству. С 1870 года появилось несколько статуй — Виктор Эммануил, Гольдони, Гарибальди, но их почти не замечаешь. Ни один большой город не смотрел столь мрачно на бессмертных своих сограждан. Возможно, причина здесь в том, что в управлении государством секретные службы играли слишком большую роль, и тут уже не до романтики. На любое событие венецианцы, как мне кажется, смотрят с изрядной долей скепсиса. Здесь легче установить памятник злодею в качестве предупреждения, а добродетель — сама по себе вознаграждение. В связи с недостатком всадников на вздыбленных конях и даже сравнительно безобидных персон, таких как исследователи и художники, памятник Коллеони поражает воображение, особенно когда видишь его впервые. Я натолкнулся на него как-то утром, после того как осмотрел могилы более сорока дождей в церкви Святых Джованни и Паоло, которую венецианцы называют церковью Святого Дзаниполо. И вот теперь передо мной он — великий кондотьер, на великолепном жеребце, на краю узкого и грациозного каменного пьедестала. Выглядит он необычайно грозно, словно только что покорил Азию, а не заключил множество сделок и джентльменских соглашений, в результате которых сколотил себе баснословное состояние.

Я вспомнил его очаровательную, словно кружевную, часовню в Бергамо и ферму неподалеку, в горах.



Странно, что, зная Венецию так, как ее знал он, Коллеони оставил ей свое наследство при условии, что на площади Святого Марка ему установят памятник. Ему ли не знать, что Синьория его надует? Оказание таких почестей шло вразрез с венецианской традицией. Думаю, что старого солдата настолько замучила зависть при мысли о конной статуе Гаттамелате возле базилики Святого Антония в Падуе, что он утратил связь с реальностью. Венеция, конечно же, денежки его прикарманила, а статую поставила в не приметном месте за церковью Святого Дзаниполо.

Когда-то она была позолочена. Думаю, что неясный блеск, такой как на статуе Марка Аврелия в Риме, не может быть ошибкой. Это одно из тех великих произведений искусства, что погубило своего создателя. Скульптор Верроккьо простудился, когда отливали статую, и осложнение привело к смерти. Перед смертью он попросил своего ученика, Лоренцо ди Креди, завершить работу, но у Венеции были другие планы. Синьория вызвала из ссылки Алессандро Леопарди, обвиненного в подделке, и приказала ему закончить работу. Задание он выполнил хорошо и заслужил прощение. Так Гаттамелата в Падуе и Коллеони в Венеции стали первыми двумя бронзовыми всадниками современного мира, а потому напрашивается сравнение. Оба они производят такое мощное впечатление, что почти невозможно отдать кому-либо из них предпочтение.

Кампо — небольшая городская площадь, на которой стоит памятник, известна как место, где Казанова устроил randevu с красивой молодой монахиней, которую он выследил в одном из монастырей. Он ходил взад и вперед, поджидал, а она появилась одна, переодетая в мужское платье. На ней были черные шелковые бриджи и камзол из алого бархата. В кармане она держала английский пистолет.

С помощью карты нетрудно пройти от статуи Коллеони к францисканской церкви на противоположной стороне Большого канала. Сначала все так и было: по мосту Риальто я перешел на другой берег и вдруг обнаружил, что безнадежно заблудился. Снова вышел к Большому каналу и сел в вапоретто, который и доставил меня к большой францисканской церкви. Стоит она рядом со зданием, внушающим невольный страх, — Государственным архивом Венеции. Здесь за три сотни лет собраны тонны неизвестных документов — секреты всего мира, написанные в незапамятные времена при свете свечи в столицах, западных и восточных: беспристрастные факты о деньгах и торговле; сплетни о любви и адюльтере; справки о рождениях и смерти; фрагментарные сведения о правительствах и отдельных людях, собранные послами, шпионами, торговцами и солдатами. Все это республика собирала в одном месте, с тем чтобы прощупать мировые политические рифы и подводные течения. Огромная машина, ныне неподвижная, вселила страх к Совету Десяти. Буркхардт назвал Венецию «колыбелью статистики». Тонны этих документов так никогда и не были прочитаны. Их просто складывали и держали на всякий случай. Самые ранние документы были написаны в те времена, когда викинги осаждали Англию, а поздние — в последний год существования республики.

Францисканская церковь оказалась высокой, холодной и пустой. Здание меня разочаровало, показалось мрачным, а пришел я туда, чтобы взглянуть на могилу Тициана. Когда уходил, посмотрел на алтарь и увидел одну из самых знаменитых мадонн художника. «Странно, — подумал я, — что в пустой церкви горит свет». Подошел, намереваясь его выключить, но выключателя не обнаружил. Оказалось, что и освещения

никакого нет: это краски на картине Тициана производили такое впечатление.

Рассказывают, что в девяносто девять лет он все еще работал. В это время его свалила чума. Из тысяч людей, похороненных в тот год, ему единственному организовали публичные похороны. Художником он был на редкость плодовитым. Полагаю, что после него уцелели сотни картин. Дружба его с Пьетро Аретино, шантажистом и автором порнографических произведений, Фрэнком Харрисом XVI столетия, озадачила многочисленных поклонников художника, хотя удивляться здесь особенно нечему. Гении всегда водили дружбу со странными людьми, а Аретино, должно быть, был замечательным собеседником. В нем соединялись живость, щедрость и смех Рабле. Человек любил жизнь, и притоны нравились ему не меньше дворцов. Он вращался в высших кругах. Хранил пришедшие к нему письма в шкатулках из слоновой кости, а письма были от королей, принцев, кардиналов, герцогов, герцогинь. Каждому корреспонденту он отвел отдельную шкатулку.

Жил он в дряхлеющем дворце на Большом канале напротив рыбного рынка. В доме его всегда были женщины с двусмысленной репутацией, дети, хромые и убогие. Они стекались к нему, и он никогда их не выгонял. Посещали его как самые высокопоставленные люди той эпохи, так и всякого рода мошенники. Сама идея брака была ему ненавистна, однажды он сказал: «Всех моих детей я в душе считаю законнорожденными». Ему было тридцать четыре, а Тициану сорок девять, когда они подружились. Двое мужчин сделались неразлучными, виделись каждый день. Если Тициану хотелось перемены, он шел в хорошо освещенную комнату Аретино и рисовал там. Если неорганизованный быт начинал действовать Аретино на нервы, он спасался от него у Тициана. Если кому-то из

них перепадал кусок оленины или горшочек икры от благородного покровителя, то он тут же приглашал друга разделить подношение. Когда при родах скончалась красивая жена Тициана Цецилия (в те времена многие женщины умирали при рождении ребенка), художник переехал в дом на Бири Гранде с видом на остров Мурано. Туда по вечерам, под виноградными лозами, при свете с качавшихся на воде гондол, Тициан приглашал Аретино и его друзей на обед. Был у них и третий друг, столь же преданный Тициану и Аретино, как и они ему, — Сансовино, архитектор, построивший библиотеку на Пьяцетте. Он был женат на красавице Паоле. Жена крепко держала его в руках, а потому иногда на самых веселых вечеринках его не было.

Благодаря влиянию Аретино Тициан получил предложение написать портрет императора Карла V, и это заложило фундамент его благосостояния. Аретино постоянно хвалил своего друга всем благородным корреспондентам, и опека его порою доходила до абсурда. Когда ему казалось, что Тинторетто получает большие похвалы и комиссионные, чем его друг, Аретино принимался злословить о молодом художнике. К счастью для Тинторетто, бедность спасала его от шантажа, хотя поношенная одежда, на которую жена гордого молодого художника ставила заплатки, часто становилась мишенью для обидных слов Аретино. Говорят, однажды Тинторетто потерял терпение и решил разобраться с Аретино. Встретив обидчика на улице, он сказал, что хотел бы написать его портрет. Аретино, обрадовавшись возможности получить что-то бесплатно, явился в студию Тинторетто на следующий же день. Он поставил стул на возвышение, уселся и принял гордую позу, однако Тинторетто сказал ему: «Встаньте!» и приблизился к нему с длинным кавалерийским седельным пистолетом. «Сначала я

должен измерить вас, — сказал художник, проводя пистолетом по своему натурщику, — что ж, ваш рост составляет два с половиной пистоля. А теперь — пошел прочь!» Говорят, с того дня все издевательства прекратились. Мало того, Аретино начал хвалить Тинторетто и льстить ему.

Когда в 1556 году Аретино скончался в возрасте шестидесяти четырех лет, Тициан, должно быть, почувствовал, что из него ушла мощная природная струя. Конец Аретино оказался таким же характерным, как и вся его жизнь. Говорят, он слушал неприличный рассказ о собственной сестре, и неуправляемый приступ смеха привел к апоплексическому удару.

## 6

Самым удивительным показалось мне в Венеции то, что там до сих пор можно купить самое древнее лекарство в мире — териак. Продается оно в аптеке Теста д'Оро. Это неподалеку от моста Риальто. Там висит знак — золотая голова. Аптека работает с 1500 года, но териак начала готовить в 1603 году.

Слово «treacle»<sup>[84]</sup> произошло от слова «teriaca» и как «венецианское противоядие» упоминается во всех справочниках XVII века. В те времена путешественник мог не заказать в Венеции свой портрет или не привезти стеклянные изделия из Мурано, но вернуться домой без знаменитого лекарства... об этом и речи быть не могло!

История териак начинается с Митридата, парфянского царя, который умер за шестьдесят три года до Рождества Христова. Этот человек так боялся отравления, что принимал яд в маленьких количествах каждый день, после чего запивал его противоядием. Поступая так, он превратился в токсикологическую лабораторию, и когда действительно захотел принять

смертельную дозу после своего поражения от Помпея, яд на него не подействовал, и ему пришлось заколоться саблей. Среди трофеев, попавших в руки Помпея, была медицинская библиотека царя с рецептом знаменитого антидота. Противоядие явилось результатом многолетних исследований того, как действовал тот или иной яд на приговоренных к смерти преступников.

Формула попала в руки врача Нерона — Андромаха. Он добавил в нее кое-что от себя и сделал удивительную карьеру. «Theriaca Andromachi» сделалась самым знаменитым лекарством. Альфреду Великому его порекомендовал патриарх Иерусалима. Это лекарство привезли в Святую Землю крестоносцы. Среди сокровищ английского короля Генриха V была и коробочка с териаккой. Во времена средневековья териаккой лечились от всех болезней, начиная от зубной боли и заканчивая чумой. Вот и Ренессанс унаследовал от своих предков слепую веру в териакку. Лекарство это до сих пор можно купить в Венеции.

Войдя как-то утром в Теста д'Оро, я обратился к аптекарю: «Я хотел бы купить немного териакки». Мне показалось, что он слегка удивился, и я подумал, что он попросит меня расписаться в книге ядов.

— Одну баночку, синьор? — спросил он вежливо.

Я попросил две баночки, а он подошел к шкафу с таким видом, словно хотел отпустить мне аспирин, а не лекарство, произведенное две тысячи лет назад. Аптекарь вернулся с Двумя маленькими металлическими цилиндрами, похожими на контейнеры для фотопленки. Баночки были пыльными и ржавыми. У каждой баночки имелась аннотация, напечатанная на пожелтевшей от времени бумаге. На крышках — изображение «Золотой головы» в окружении рогов изобилия и надпись: «Териака, чудное изобретение синьора Андромаха». Было еще и предупреждение: опасаться подделок,

словно бы на каждом углу только тем и занимались, что фальсифицировали териаку.

Я заметил, что баночки, должно быть, очень старые.

— Последний раз мы готовили териаку, — ответил аптекарь, — тридцать лет назад. У нас еще есть солидный ее запас.

— А от чего она помогает? — спросил я. Он ответил тоном средневекового алхимика:

— От всего.

Затем, заметив, возможно, мои сомнения, сказал, что это — тонизирующее средство и особенно эффективно в случае боли в животе.

Вернувшись в отель, я развернул одну баночку и увидел, что за прошедшие тридцать лет немного териаки вышло наружу и застыло на крышке. Обведя крышку перочинным ножом, я открыл банку. Внутри увидел густую, черную, блестящую жидкость. Она была липкой, но запаха не имела. Я немного отлил ее на блюдце и поднес спичку, чуть ли не предполагая, что увижу струю дыма, из которой выйдет алхимик, но ничего подобного не случилось: жидкость не хотела загораться. Она слегка побулькала и зашипела, после чего образовалась твердая черная горошина. Любопытство взяло верх над осторожностью: я налил себе треть чайной ложки — в инструкции было сказано, что такое количество надо давать четырехлетнему ребенку, — и проглотил. Вкус оказался горьким, сродни хинину.

Когда в следующий раз я проходил мимо «Золотой головы», то зашел и сказал аптекарю, что с тех пор, как начал принимать териаку, никогда не чувствовал себя лучше. Он важно кивнул, и мы оба прыснули со смеху. «Но есть люди, — сказал он мне, — которые до сих пор верят в териаку не меньше, чем во времена Альфреда Великого. Старые жители Венеции и жены рыбаков с островов просто не представляют, как можно без нее

обходиться». Я спросил, не даст ли он мне рецепт. Конечно, тут нет никакого секрета. Жаль, что, начиная с XVII века, состав сильно сократили, ведь раньше в него входило более шестидесяти компонентов. Сейчас териакуют готовят из масла мускатного ореха, корня горечавки, иссопа, очищенного сливочного масла и многого другого. Признаюсь, что мне и это показалось очень сложным!

В старину, как мне рассказали, во избежание подделок териакуют готовили публично в определенное, заранее установленное время года, и за процессом этим наблюдали врачи и ученые. За несколько дней до этой процедуры компоненты лекарства выставлялись в украшенных гирляндами аптечных витринах. В положенное время люди в белых жакетах, красных бриджах, желтых башмаках и голубых шляпах с перьями выносили на улицу ступки и котлы и несколько часов толкли ингредиенты лекарства. Мне говорили, что растрескавшиеся камни венецианской мостовой свидетельствуют о том, что протоптали их по дороге в аптеку.

В состав ингредиентов старинной териакуют входили: иллирийский касатик, мирт, нард, благовония, критский дикий бадьян, кельтская аралия, фруктовый бальзам, бальзам Гилеада, еврейский битум и земля с Лемноса. Об этой земле известно было со времен Геродота, она считалась антидотом, и добывали ее с красных холмов острова. Ее смешивали с кровью коз, превращали в маленькие лепешки и ставили сверху печать с изображением Дианы. Земля Лемноса дожила до конца язычества, и средневековые доктора активно ее прописывали. Думаю, излишне говорить, что не вся она приходила из Лемноса.

«После того как все компоненты, специи и масла были измельчены и растерты, их варили, иногда несколько дней, — сказал мне аптекарь, — затем все



шестьдесят ингредиентов соединяли с теплым медом, и полученную массу несколько дней непрерывно мешали».

Нынешние создатели патентованных лекарств, делающих себе состояние на рекламе своей продукции, не могут и мечтать о той известности, которую, благодаря венецианскому правительству, получило знаменитое лекарство. Все знали, когда начнут готовить териак, и все хотели видеть, как это будет происходить. В 1645 году, когда Ивлин был в Венеции, он не только запасся териаккой, возможно даже, что купил ее в «Золотой голове», но очень может быть, что и присутствовал при ее приготовлении, тем более что, как он выразился, «посмотреть на то стоило».

Следует добавить, что каждый город в Италии делал собственную териакку, но, само собой разумеется, что лекарство Венеции, королевы торговли специями, признавали лучшим. Она экспортировала его повсюду, и Англия потребляла его тоннами, хотя приходится признать, что итальянские спекулянты и фальсификаторы не остались без работы и во времена Тюдоров и Стюартов. Аптекарь королевы Елизаветы жаловался, что «в Англию ежедневно присылают огромными бочками фальсифицированную териакку», а в 1612 году лондонская бакалейная фирма «Мастер энд Уорденс» отметила: «Из Генуи прибыла отвратительного вида композиция, приготовленная из гнилых отбросов, перемешанных со специями, патокой и смолой».

Лекарство продолжало появляться в лондонской фармакопее, вместе с земляными червями и мхом, выросшим на человеческих черепах, до 1746 года.

В венецианских магазинах, торгующих стеклом, я не увидел ничего, что мне хотелось бы приобрести.

Большая часть этих изделий показалась мне просто ужасной, и я загрустил, оттого что старинное мастерство пришло в упадок. Витрины были заполнены стеклянными арлекинами, некоторые из них стояли на голове, фигурками из американских комиксов, собачками, грубыми маленькими кубками, присыпанными золотой пудрой. У меня сложилось впечатление, что Венеция так долго занималась производством стекла, что процесс стал для нее слишком легким, и техника заменила собой стиль и дизайн. Мне хотелось увидеть что-то простое и красивое. Любопытно, однако, еще в XVI веке люди, собравшиеся купить себе что-то для дома, испытывали неприязнь к бокалам, сделанным в форме кораблей, китов, львов или птиц. Возможно, что нынешнее изобилие подобных изделий не надолго — просто нелепость, от которой откажутся.

Я отправился в Мурано. Стеклодувы работают там с XIII века. Жемчужно-серое утро, острова, словно миражи, застыли в зачарованной лагуне. Лодка скользила по воде, как по серому зеркалу, и даже след, который она за собой оставляла, казался стекловидным. Силуэты лодок и рыбаков точно вырезаны из бумаги. В моей лодке было полно туристов. Я сидел рядом с женщиной из Австралии. Она, в отличие от большинства путешественников, настроена была критически.

— Вам нравится Венеция? — спросила она и, заметив, что я задумался, не зная как бы ответить на этот вопрос, поспешила сказать, что она сама об этом думает.

— Это место необходимо как следует почистить, — заявила она. — Весь этот мусор, что плавает по Большому каналу! Улицы такие узкие, а народу слишком много. Вы видели, некоторые из них шириной всего несколько футов?

— Да, — согласился я. — Я и сам живу на такой улице.

— Да что вы говорите! — воскликнула дама. — А там пахнет? Люди выходят из них, словно крысы из канализационной трубы.

— В моей трубе, — сказал я, — все бегает. Она неодобрительно на меня посмотрела.

— Взять хотя бы Сан-Марко, — продолжила она, — я полагаю, вы там побывали. Вот уж где требуется хорошая уборка! Как отличаются от него английские соборы, такие чистые. Я просто уверена, в Даремском соборе вы ни пылинки не найдете.

Я посочувствовал ей в том, что Венеция ее так разочаровала.

— Но я обожаю Венецию! — воскликнула она. — Я считаю, что она замечательная, но слишком уж грязная! А в Лидо вы были? Тогда послушайте моего совета, не ездите!

Она строго на меня посмотрела. Я подумал о Гёте, представил, как он ходит по морскому берегу и собирает раковины, словно восторженный ребенок, — он впервые тогда увидел море. Предстали моему воображению и Байрон с Шелли — оба верхом, скачут по песку.

— А что не так с Лидо? Там тоже грязно? — спросил я.

— Вы еще спрашиваете, что там не так! — возмутилась она. — Да там невозможно подойти к морю. Каждый отель приватизировал кусок побережья, словно это золотой прииск. Вам бы приехать в Австралию! Какие у нас пляжи — раскинулись на мили, и никаких тебе заборов! А в Лидо к тому же полно невротиков.

Я невольно начал испытывать восхищение к отважной женщине: она отказывалась склонить голову перед славой Венеции. «Эта лужа в корыте не производит на меня впечатления», — сказал в 1660 году Яков IV. Доктору Джону Муру тоже не нравилось «с утра

до вечера кататься в узких лодках по грязным каналам», и даже миссис Пьоцци, привязанная к «дорогим венецианцам», испытывала по отношению к грязи чувство домохозяйки, что роднило ее с моей австралийской попутчицей. Как-то утром она возмутилась, увидев, что пьятца «заставлена клетками с курами, а от запаха можно было сойти с ума...»

Оживленная болтовня в лодке вдруг стихла: из серого тумана неожиданно, словно из прошлого героического века, выплыло видение. На мгновение я вспомнил королев, везущих тело короля Артура на остров Авалон:

И увидели они мрачную барку,  
Черную от носа до кормы, словно траурный  
шарф.

Когда мы подошли ближе, судно оказалось катафалком в форме резной гондолы, черной с серебром, задрапированной красной тканью, со львом святого Марка на носу, но вместо черных епитрахилей, черных капюшонов мы увидели четверых стариков в черных беретах, склонившихся над веслами. Венецианский катафалк растаял в тумане, и вскоре мы увидели кладбищенский остров Сан-Микеле, скорбный и величественный, с кипарисами, отражавшимися в неподвижной воде. Как только мы приблизились к Мурано, вышло солнце, и лагуна ярко заблестела под его лучами.

На деревянной пристани нас поджидал молодой торговец. Он должен был провести группу на стеклянный завод. В глубокой яме мы увидели людей с длинными трубками. Они выдували из горячего стекла мягкие шары. Под их легкими выдохами послушный материал принимал нужную форму. Затем его обрезали

ножницами, еще несколько выдохов и щелчков, и на свет явился очередной арлекин. Наверху, в демонстрационном зале мы увидели, что современное стеклянное производство предлагает для продажи, и это ужасное отражение современного вкуса. Я заинтересовался, сколько изделий продается во время таких экскурсий и действительно ли в корзинах с табличками: Лондон, Париж, Нью-Йорк и т. д. — находится стекло. Если это так, кто все это покупает? Я, к счастью, нигде такой продукции не встречал.

Я вышел на улицу. Остров мне понравился, и мне хотелось бы тут задержаться. На самом деле здесь пять небольших островов, соединенных друг с другом широкими извилистыми каналами. На центральном острове я увидел византийскую базилику, посвященную святому Донату. Я полагаю, это был римский Донат — святой покровитель Ареццо, замученный при Юлиане. Возможно, здесь его почитают за то, что в ряду совершенных им чудес числится восстановление стеклянного потира, разбитого варварами. Сделал он это так искусно, что ни одна капля святого причастия из него не пролилась. Я мысленно дал себе обещание: если я устану от блеска Венеции и ее толп, непременно приеду в Мурано. Острову, впрочем, было все равно, вернусь я сюда или нет.

Венеция, естественно, оставляет Мурано в тени, хотя у острова интересная история. Люди верят, что когда с материка люди бежали от гуннов в лагуны, стекольщики открыли здесь производство, и если это так, Венеция приняла эстафету от стекольщиков Древнего Рима. В целях пожарной безопасности в XIII веке все печи перевезли на Мурано, и стекольное производство стало после морской торговли второй по важности отраслью хозяйства Венеции. Островитянам предоставили многочисленные льготы. У них был собственный магистрат, которого почитали не меньше дожа, а

венецианская полиция не имела права проводить на Мурано аресты.

В эпоху Средневековья ходил слух — отличная, между прочим, реклама, — что венецианское стекло разобьется, если в него капнуть яда. Говорили также, что если стеклодувов с Мурано переманят к себе иностранные правительства, то их выследят и уничтожат, где бы те ни находились. Несмотря на эти разговоры, известно, что стеклодувы Мурано обучали своему делу рабочих в других странах. Английский король Генрих VIII, коллекционировавший венецианское стекло, лично пригласил восемь стеклодувов с Мурано. Он выделил им помещение возле лондонского Тауэра. Должно быть, работали они хорошо или слишком хорошо, что пришлось не по нраву Венеции, так как Совет Десяти отозвал их к себе.

О венецианском стекле, как, впрочем, и о шотландском виски, говорят: «Если бы печи из Мурано надумали перевезти хотя бы в Венецию, или на один из островов в ее окрестностях, или в любую страну мира, такого совершенного, прекрасного и блестящего стекла, как в Мурано, не получили бы. Пусть бы даже при этом использовали те же материалы, тех же рабочих, то же топливо и те же ингредиенты». Эти слова принадлежат Джеймсу Хоуэллу из Уэллса, который в 1621 году ездил в Мурано, чтобы заманить нескольких стеклодувов в Англию. Он объяснил успех рабочих из Мурано «особенной атмосферой острова». Можно не сомневаться, что это очередной пропагандистский трюк.

Если кто-нибудь, как и я, будет удивлен непривлекательностью продукции, которую производят сейчас на Мурано, посоветую ему для поднятия настроения посетить на острове Музей стекольного искусства. Там демонстрируется стекло, которое даже в мечтах невозможно себе представить: потиры, ковчеги для мощей, грациозные чаши, тарелки, вазы, тонкие,

словно воздух. Некоторые предметы голубоватые, другие — коричневые, есть там и совершенно прозрачные изделия. Современные репродукции доказывают, что, если потребуется, мастера Мурано сделают работу не хуже своих предшественников.

В лодку я сел за несколько минут до отправления. Моя австралийская знакомая любезно держала для меня место рядом с собой. Завидев меня, она похлопала по подушке, и я послушно сел рядом.

— Мы с вами опять приятно поговорим, — сказала она. Лодка отошла от причала, а молодой торговец — заметно было, что он остался не слишком нами довольным, — выкрикнул на прощание одной из туристок:

— У нас в Мурано говорят, — засмеялся он, — что первую женщину сделали здесь, красивую, но — неприветливую!

Туристы недоуменно зашептались, а лодка быстро пошла вперед.

— Интересно, что он имел в виду? — молвила моя соседка.

Она зажгла сигарету и выпустила струйку дыма.

— Итак, — сказала она, — теперь вы должны мне рассказать, что вы думаете о Мурано.

До самой Венеции я с интересом внимал ее рассказу.

## 8

Однажды утром я сел в моторную лодку до Торчелло, это к северу от Мурано. Остров этот часто называют необитаемым. Это не совсем верно: там живет около сотни рыбаков. Когда-то это было самое примечательное из двенадцати поселений венецианской лагуны. Морские капитаны, которые выкрадывали в Александрии

реликвии для собора Святого Марка, были жителями Торчелло и Бурано.

Лодка оставила меня возле лестницы в четыре-пять кирпичных ступеней, по которым я поднялся на площадку, что раньше называлась пристанью. Вокруг не было ни души. Единственная постройка — остов здания без крыши. Возможно, бывшая церковь. На стене — доска с единственным словом «Торчелло». В нише стены — статуэтка Пресвятой Девы под алтарем.

В самом слове «Торчелло» есть что-то грустное. Так раньше называлась одна из башен городской стены. С какой грустью римляне, помнившие лучшие дни, смотрели, должно быть, на этот маленький соленый остров, сравнивая его со своею цивилизованной городской жизнью. Тоска по городу, по организованной жизни под защитой закона и объединила людей из лагун в Венецианскую республику.

Заброшенный канал шел в глубь острова, и я отправился вдоль его берега. Впереди, над равниной, поднималась кампанила. Земля бугрилась: здесь когда-то стояли здания. Почву не стали использовать для сельскохозяйственных нужд: плуг бы затупился о фундаменты церквей и дворцов.

Канал, как я и предполагал, привел меня к месту, где когда-то был центр города, и предо мною предстало удивительное зрелище. Кампанила, почти такая же величественная, как на площади Святого Марка, возвышалась над мертвой пьядцей, где в гнетущей тишине стояли собор, еще одна церковь и разные здания. Трава росла там, где когда-то кипела городская жизнь, в заброшенных дворах раскинулись кусты и деревья, и все же в это радостное солнечное утро так не хотелось думать о смерти, городской пейзаж словно бы замер в ожидании. Казалось, в любой момент двери собора отворятся и оттуда повалит народ. Увы, я оглянулся — повсюду заметны были признаки



разложения. Я знал, что Торчелло несколько столетий не видел представившейся моему воображению сцены.

Но вдруг оказалось, что я не один. В тени деревьев, неподалеку, я заметил двух старых рыбачек в черных платьях. Они стояли возле складных столиков, словно на базаре, предлагая для продажи лежавшие у них на подносах пепельницы, кружево, подставки под кастрюли и стекло из Мурано. Я подошел и спросил, откуда они ждут покупателей. Они ответили, что в течение дня к острову подходит несколько туристских лодок. Пока мы беседовали, я заметил единственный предмет из венецианского стекла, который мне захотелось бы приобрести. Это был простой продолговатый блок коричневатого стекла — пресс-папье, по всей видимости. Казалось, полпинты болотной хайлендской воды замерзло и превратилось в такой вот блок. Цену она спрашивала за него приемлемую, но весило пресс-папье достаточно много. В то время как предыдущие поколения спокойно покупали мраморную голову или гранитный саркофаг, мы, современные туристы, боимся нагрузить себя лишним фунтом. До сих пор я корю себя за то, что ушел и не купил его. Чем больше я вспоминаю об этом куске стекла, тем восхитительнее оно мне кажется.

Я вошел в собор. Это была суровая византийская церковь, заложенная в 639 году. Купол центрального нефа сверкал мозаикой, изображавшей святых с венчиками над головами. На другой мозаике сотни фигур сбились в толпу перед Страшным Судом. Позади, за алтарем, я увидел возвышение для епископа, а с обеих сторон от него, полукругом, места для священнослужителей. Ранняя церковь позаимствовала это архитектурное решение у древнеримского суда. Выйдя из собора, я осмотрел окрестности и увидел следы исчезнувших улиц и зданий. Камни, из которых они были сложены, увезли, а остров забросили.

Причиной, из-за которой остров оказался необитаемым, стала малярия. Возможно, туристы, приезжающие в Венецию, не знают, что лагуны бывают двух видов: живые и мертвые. Когда приливы перестают каждый день очищать лагуну, слетаются комары, и начинается малярия. Венеция столетиями вела сражение с рекой, Торчелло не был столь успешным: постепенно приливы перестали освежать лагуну, вода в каналах застоялась, и население вынуждено было перебраться на другие острова. Тысячи тонн камней и драгоценного дерева перевезены были из заброшенных зданий Торчелло. Все они стали частью архитектуры других островов.

Когда я вернулся к собору, к острову причалила туристская лодка и высадила ярко одетых людей. Они тут же принялись фотографировать. Я порадовался за старушек: торговля у них пошла бойко. Туристы покупали кружево и открытки. На обратном пути я увидел единственный постоянный двор на острове. Снаружи он казался довольно бедным, но впечатление оказалось обманчивым: войдя, я обнаружил приличный отель с баром, устроенным по последней моде. Ресторан имел продолжение на террасе, которую поддерживали мраморные колонны, настоящие византийские, и там под виноградными лозами столы были накрыты для ланча.

Название гостиницы «Локанда Киприани» на скромном фасаде здания дало мне понять, что на покинутый остров ступил веселый современный мир, и я был благодарен за этот приятный сюрприз. Я сел за столик под виноградные лозы и, глядя на сад, съел самое лучшее в своей жизни ризотто и креветок. Затем дочь владельца гостиницы провела меня по отелю, показала ваннные комнаты со сверкающими хромом кранами. Из окон спален и гостиных я видел кампанилу и старую черепицу молчаливых церквей. Если какой-нибудь состоятельный литератор испытает потребность

в тишине и спокойствии, необходимом условии для творчества, то здесь, в этом саду с виноградником, он найдет то, что хочет.

## 9

Мне жаль было проститься с Венецией, и я без удовольствия думал о мире колес. Несмотря на все критические замечания, высказанные в адрес речных трамвайчиков и моторных лодок, я считаю, что со всем этим примириться легче, чем с сумасшедшим ритмом современных дорог. Венеция показалась мне сравнительно более спокойным местом, а уж гулять по ней — одно удовольствие. Мне нравилось исследовать лабиринт ее улиц, подниматься на маленькие горбатые мосты, выходить на крошечные площади. Думаю, что человек, который не ходит пешком по Венеции, теряет половину ее очарования и красоты.

Я решил отправиться в Падую по старой дороге, повторяющей изгибы Brenty. Brentу называют рекой, но на самом деле это — канал, последний отрезок старой системы внутренних итальянских вод. Путешественники до сих пор ею пользуются. За поворотом я увидел шедшую в мою сторону современную версию судна, восхитившего Гёте. Теперь это — длинное, низкое моторное судно с крытым верхом. Туристы, сидя в тени, смотрят на виллы, стоящие на берегах. Эти дома — живописная черта Венеции XVII и XVIII веков.

Стоят они в садах, больших и маленьких. Редко увидишь виллу в хорошем состоянии, большинство их находится в небрежении. Все дома красноречиво говорят о стремлении венецианца выбраться из лагуны, обзавестись садом и конюшней. Вилла, которую снимал Байрон, до сих пор стоит в Мире. Называется она вилла

Фоскарини деи Кармини. Из этой виллы он выехал как-то раз верхом и повстречал Маргариту Кони. Самая большая из всех вилл построена на живописной речной излучине в нескольких милях от Падуи. Это — вилла Пизани в Стра, и она сделала бы честь любому европейскому городу. Гид проводит группы по ее апартаментам, показывает комнату, где спал Наполеон. Обращает внимание на потолок, на котором Тьеполо прославил подвиги семьи Пизани. Это была последняя работа художника, перед тем как он уехал в Испанию. Некоторые считают ее лучшим его произведением.

Из Падуи я приехал в Болонью. Переночевал и утром был уже на автостраде дель Соле. Эта удивительная дорога скоро свяжет Милан с Неаполем. Это лучшая трасса в Италии, а пожалуй, и в Европе, с тех самых пор, что были построены виа Фламиния, виа Эмилия и другие опоры цивилизации. В Неаполь она идет через Болонью, Флоренцию и Рим и тянется на расстояние триста миль.

В некоторых местах трасса поднята над землей на бетонных опорах, напоминающих классические колоннады. Превращаясь в грациозные мосты, дорога перескакивает через реки, исчезает в горах — построены сотни тоннелей — и снова выныривает на солнце. Где-то она прямая, где-то извилистая, но при этом все время напоминает великое инженерное изобретение античности. Путешественнику, желающему исследовать города и деревни, эта дорога без надобности, но как средство транспортировки она разгружает старые дороги, отчего те становятся еще приятнее.

Дорога от Болоньи до Флоренции — настоящий триумф. После долин Рено и Сельты она устремляется через Апеннины, пропадая в туннелях и вновь появляясь. Путешественник получает возможность увидеть ранее недоступные местности, где практически нет дорог.

Совершив это комфортабельное путешествие, автомобилист, возможно, задумается: «А как же Пий II перемахнул когда-то через Апеннины?» Иногда он ехал в повозке, иногда — когда дорога была слишком уж трудной — его несли в кресле. Как бы он порадовался автостраде дель Соле, а уж как бы гордились такой дорогой цезари!

Трасса соединилась с дорогой на Флоренцию, и скоро я оказался в ее западных окрестностях.

## Глава десятая. Флоренция и флорентийцы

***Флоренция. — Понте Веккьо. — Заговор Пацци. — Секрет Медичи. — Благотворительница Флоренции. — Коней Медичи. — Современный трубадур. — Фреска Гоццоли. — Невинные младенцы за игрой. — Один во дворце. — Сады Боболи. — Браунинги и английские флорентийцы.***

### 1

Я не обратил особого внимания на письмо с подтверждением того, что мне забронирован номер во Флоренции с хорошим видом на мост Понте Веккьо. Представление отеля о хорошем виде не всегда совпадает с мнением гостя. Я подумал, что мне повезет, если, высунувшись из окна, смогу увидеть вдали небольшую часть моста. Тем более был я поражен, когда обнаружил, что номер мой расположен буквально над мостом, и я мог пересчитать все черепицы на его крыше. Отель — как мне сказали — был построен на месте древней башни, а башню в 1944 году взорвали немцы, чтобы преградить тем самым подход к мосту. Это единственный мост во Флоренции, который уцелел после войны, и все потому, что, как сказал Гарольд Эктон, «Гитлер просто обожал его». Возможно, Гитлер посмотрел бы на это иначе, если бы знал, что по мосту проложен телефонный кабель, соединявший Комитет Освобождения с британской армией.

Каждое утро, раздвинув шторы, я смотрел на Понте Веккьо и не верил своему счастью. Из окон номера мост

был похож на поставленные вплотную друг к другу красные глиняные горшки. Из черепицы торчали странные трубочки с оцинкованными верхушками. Они не могли быть печными трубами — слишком малы для этого. Возможно, то были вентиляционные трубки печей. Ювелиры — чьи лавки обрамляют мост — плавят в таких печах золото.

Я с удовольствием сидел у окна за легким итальянским завтраком и смотрел на открывавшийся передо мной вид. Перекинутый через Арно мост, подобно пожилой красотке, много лет позировавшей художникам, не утратил своей грации. Лето в том году выдалось засушливое, и река обмелела настолько, что под арками моста ее почти не было заметно. В неярких лучах утреннего солнца хорошо знакомая сцена переливалась сотней пастельных оттенков — коричневых, желтых и красных. Как всегда, находился энтузиаст, гнавший по воде свою лодку, он проскакивал под арками, словно гнался за призом. Были и два рыбака. Со стоявшей на якоре у берега барки они упрямо забрасывали в воду удочки, но при мне ничего не поймали, а потому и стали для меня символами надежды.

Утренняя свежесть делает Флоренцию еще более очаровательной. В это раннее утро нет и намека на разноязычные толпы, которые скоро высадят в город свои десанты. Пополнение придет из кемпингов и туристских автобусов, но пока все тихо, лишь два-три официанта и горничная, переговариваясь, пройдут по мосту к гостиницам на другом берегу реки. Постепенно, один за другим, придут ювелиры, откроют ставни, некоторые из них утыканы гвоздями, словно двери темницы, и старый мост подготовится к встрече нового дня. В такие моменты мне казалось, что я каким-то чудом оказался в XIX веке, Браунинги живут на другом

берегу в Каса Гвиди, а великий герцог Тосканский спит во дворце Питти под золотыми купидонами.

Когда Козимо I, герцог Тосканы, решил поселиться на другом берегу реки — первый Медичи, который сделал это, мост Понте Веккьо, занятый мясными лавками, вряд ли мог считаться привлекательным подходом ко дворцу. По этой причине герцог убрал мясников, а вместо них пригласил ювелиров. Так они и обосновались здесь с 1565 года. Козимо приказал устроить крытый коридор, соединивший Уффици с дворцом Питти. Мост этот перекинут через реку в верхнем ее течении. Такая эксцентрическая конструкция, которую, как с гордостью сказал Вазари, он спроектировал и построил за пять месяцев, позволила герцогу приобрести секретный крытый проход от дворца к дому правительства. Я вспомнил о коридоре, соединяющем Ватикан с замком Святого Ангела, а Козимо, должно быть, припомнил, как за тридцать лет до него родственник, Климент VII, сумел во время разграбления Рима спастись благодаря тайному проходу. Сидя у окна, я обратил внимание, как умно построил Вазари этот коридор в мост Понте Веккьо: он добавил к мосту дополнительный этаж. Если изобретателем этого прохода был Корридойо ди Кастелло из Рима, то одним из последователей была бы Большая галерея Лувра, которую Екатерина Медичи заказала в подражание этому коридору.

В первое свое утро во Флоренции я решил не посещать музей или галерею, а просто походить по городу, чтобы узнать знакомые по фотографиям места. Флоренция — это город, который большинство людей знает всю свою жизнь. Стендаль был в восторге: с первого же момента почувствовал себя здесь как дома. Думаю, что он не исключение.

Прошло пять минут, и вот я уже на Сенном рынке, похлопываю морду бронзового кабана. Грациозные



линии лоджии закрыты гирляндами соломенных шляп и корзин, но целеустремленный исследователь может обнаружить внутри, под корзинами, позорный столб, к которому когда-то ставили банкрота. Бронзовый кабан — одна из самых любимых скульптур Флоренции. Его рыло блестит — так многие поколения выражали ему свою неизменную симпатию. Ганс Христиан Андерсен написал рассказ о бедном мальчике, который как-то ночью забрался ему на спину, и кабан умчал его в далекое путешествие. Впрочем, есть история и получше. Возможно, что ее до сих пор рассказывают в детских Флоренции. Будто бы кабан с наступлением темноты превращался в юношу, «такого же красивого, как только что нарисованный святой Себастьян». Однажды он в таком облике влюбился в девушку. Открыв ей свою тайну, он предупредил, что если она кому-нибудь об этом расскажет, то он никогда уже не сможет больше ее увидеть, а навсегда превратится в бронзовую скульптуру. Она пообещала хранить тайну, однако почувствовала, что должна рассказать об этом своей матери. Несмотря на данную дочери клятву, мать не удержалась и посвятила в тайну лучшую подругу. В результате не прошло и часа, как вся Флоренция обо всем узнала. С тех пор и стоит здесь бронзовый кабан. А что же девушка? Она превратилась в лягушку: ведь каждый знает, что лягушки — бывшие люди, не умеющие держать язык за зубами.

Я продолжил свой путь и, повернув направо, вышел на Соборную площадь — пьядца дель Дуомо. Кафедральный собор облицован мраморными плитами — белого, зеленого, красноватого цвета. Объединенная Италия приложила немало усилий — мраморное покрытие не такое старое, и в результате площадь производит великолепное, радостное впечатление. На этом фоне экзотические наряды современных лимонами отделяют территорию от прохожих. Неподалеку от меня

сидели за столиками американские девушки. Они писали открытки и обменивались впечатлениями. «Послушай, Кэрол, — сказала одна из них, — ты помнишь, что сказал гид о заговоре Пацци? Кошмар какой-то. Гид говорил, что этих парней вывесили из окон вон там, за углом...» Я проследил за направлением, указанным авторучкой, и на освещенной утренним солнцем площади увидел палаццо Веккьо. На фоне коричневых камней выделялась белая как снег статуя Давида. Затем перевел взгляд на лоджию дей Ланци и скульптуру «Персея» с головой Медузы.

Классический городской пейзаж. Как и Понте Веккьо, он имеет мировую известность. Каждый знает, что это — Флоренция. Все оказалось так, как я и предполагал, только еще лучше. Плохо только, что здесь, как и повсюду в Европе, слишком много иностранцев. Я уже говорил, что экзотическая в обычной жизни одежда на фоне Соборной площади выглядит вполне уместно. Я с интересом смотрел на молодых людей различных национальностей: они выезжали на велосипедах с места, где некогда стояли уланские полки герцога Козимо I.

Трудно поверить, но когда Данте, будучи в ссылке, вспоминал о любимой Флоренции, в городе еще не было всех нам знакомых мест. Сомневаюсь даже в том, что Данте дождался завершения строительства палаццо Веккьо. Окажись великий флорентиец сейчас в городе, узнал бы он лишь Баптистерий. Когда в 1302 году Данте покинул Флоренцию, собор еще не был построен, о кампаниле никто и не думал, не было и Понте Веккьо с его лавками. Великие церкви только-только начинали закладываться — Санта Кроче, Санта Мария Новелла, а Барджелло и Сан-Микеле попали в планы постройки лет через пятьдесят.

Переходя площадь, увидел группу людей. Они смотрели на памятную плиту. Надпись гласила, что в

этом месте в 1498 году сожгли у столба Савонаролу. Приблизительно в этом же месте во времена своего триумфа великий реформатор зажег здесь костер тщеславия, в котором сгорели парики, драгоценности, косметика, книги и картины. Такой мемориал и такая память гармонично сочетаются с суровым обликом палаццо Веккьо. Здесь, наверное, гид и удивил американских девушек рассказом о заговоре Пацци. Вероятно, он предлагал своим слушателям посмотреть на боковые окна дворца, из которых вывесили конспираторов. Возможно, красные носки на дергающихся ногах архиепископа Сальвиати произвели на девушек такое сильное впечатление.

Убийство в церкви — кощунственное преступление, и при этом типичное для эпохи Ренессанса. Таким путем можно было легко уничтожить вооруженную семью, потому что ее заставляли врасплох, а сигнал к атаке поступал в самое святое мгновение мессы, во время вознесения даров. Тогда, как прокомментировал эксперт, будущие жертвы склоняют головы, что очень удобно для нанесения удара. Впрочем, в те времена, в отличие от нашего просвещенного века, профессиональных школ подготовки убийц еще не было, и этим иногда занимались любители. Так произошло и при попытке Пацци убить братьев Медичи.

Заговор этот выходит из ряда обыкновенных убийств: в него вовлечен был сам папа, Сикст IV. Будущие убийцы весь день бегали в Ватикан, хотя один из них сознался впоследствии, что святой отец, страстно желавший переворота во Флоренции и отставки Медичи, решительно возражал против убийства.

Папой он был неплохим, для Рима сделал немало: построил Сикстинскую капеллу и мост Понте Систо, основал Капитолийский музей, отреставрировал фонтан Треви — предшественника современного фонтана. При всем при этом был подвержен странному папскому

пороку — семейственности. В стремлении пристроить амбициозных племянников пожилые холостяки доходят до крайности, и этот феномен не мешало бы серьезно изучить психологам. У Сикста IV было четверо племянников, и он Их обожал. На картине Мелоццо да Форли можно увидеть это счастливое семейство в сборе: папа, пухлый и общительный, в красном бархатном кресле и племянники, красивые, нарядные и почтительные.

Папа всегда нуждался в деньгах, а финансировали его Медичи. Когда он попросил в долг сорок тысяч дукатов для своего племянника Джироламо Риарио, чтобы тот поселился на территории, граничащей с Флоренцией, Лоренцо Медичи обеспокоился. Пугала его не денежная сумма, а то, что рядом с ним появится новая властная фигура. Когда Лоренцо отказал папе в деньгах, папа закрыл счет в банке Медичи и перевел его в банк Пацци. Главой этого банка в Риме был темпераментный маленький денди по имени Франческо Пацци. Он с удовольствием выдал бы папе любые деньги, лишь бы возбудить в нем ненависть к Медичи. В результате созрел план. За два года до ослабления Милана молодые фанатики убили в церкви Галеаццо Сфорца. Вот и сейчас ради ослабления Флоренции планировалось похожее преступление.

Участвовать в заговоре охотно вызвался священник с дурной репутацией — Франческо Сальвиати, архиепископ Пизы. У него были свои причины ненавидеть семейство Медичи. Единственным приличным человеком в этой компании был солдат, Джамбатиста Монтесекко. Ему поручили поехать во Флоренцию и разведать обстановку. Джамбатиста не был испорченным человеком. Встретившись с Лоренцо Медичи, он подпал под его обаяние и стал жалеть, что согласился на убийство. Раскаяние охватывало его все

сильнее, возможно, это стало одной из причин, по которой план провалился.

К концу апреля 1478 года все конспираторы были во Флоренции. В последний момент решили убить братьев не на банкете, как планировали сначала, а во время торжественной мессы. Услышав об этом, Монтесекко пошел на попятный. Он не возражал против того, чтобы убить человека на улице или на банкете, но решительно отказывался сделать это в церкви, там, «где Бог его увидит». Вот так единственный профессиональный убийца оставил группу, а на его место явились два священника, которых такие глупости не беспокоили.

В воскресенье 26 апреля собор был забит народом. Братья Медичи садиться не стали, а ходили, как это принято у континентальных католиков, по помещению, тихонько переговариваясь, готовые, тем не менее, в нужный момент опуститься на колени. У современных историков нет единого мнения относительно точного момента, который убийцы избрали для нападения: некоторые говорят, что он настал с санктуса, когда прозвенел колокольчик; другие утверждают, что — со слов «Агнец Божий». Как бы то ни было, один из убийц ударил кинжалом Джулиано, и он упал на Франческо Пацци. Пацци напал на раненого Медичи, как безумный: колот его кинжалом так яростно, что самому себе нанес ранение в бедро. Джулиано упал бездыханным. Тогда один из священников-заговорщиков, Антонио Маффи, неумело ткнул кинжалом в плечо Лоренцо Медичи. Лоренцо оттолкнул его, в свою очередь вытащил кинжал и, обернув руку плащом как щитом, перепрыгнул через низкую деревянную ограду на хоры. Друзья его окружили, и вместе они прорвались через толпу испуганных священников и хористов в северную ризницу и перед носом преступников закрыли за собой тяжелые бронзовые двери. Весельчак Джулиано лежал мертвый:

ему достались шестнадцать ударов кинжала, но Лоренцо был жив, а заговор Пацци провалился.

Как часто простое неожиданное обстоятельство рушит тщательно разработанный план. Никто из конспираторов не знал, что гонфалоньер, бдительный и подозрительный магистрат по имени Цезаре Петруччи, незадолго до этого установил на двери палаццо Веккьо самозакрывающееся устройство. Конспираторы, воспользовавшись суматохой в соборе, вошли во дворец и заперли там сами себя! Их легко схватили, и вскоре они уже висели на окнах дворца.

Боттичелли попросили написать на стенах палаццо Веккьо фреску с повешенными преступниками, однако сейчас от его работы не осталось и следа.

Все привыкли к тому, что статуи в публичном месте устанавливают в память о каком-либо лице: короле, генерале, государственном деятеле или поэте, а вот когда наружную галерею приспособили для демонстрации произведений искусства, все восприняли это как удивительное новшество. Челлини изготовил восковую модель «Персея» и показал ее герцогу Козимо I. Герцог сказал: «Если бы ты, Бенвенуто, так же красиво увеличил свою маленькую модель, она украсила бы площадь». Вот так Флоренция смотрела на площадь делла Синьории: место, где критически настроенная публика может восхищаться прекрасными творениями искусства.

Конечно, не все здесь так прекрасно. Фонтан «Нептун» скульптора Амманнати меня разочаровал. Не понимаю, почему Козимо предпочел его куда более совершенному фонтану Джамболоньи. Его проект он отверг, и теперь он является гордостью Болоньи. Здесь же фигура Нептуна слишком велика, груба и излишне мускулиста. Да разве сможет он по ночам спускаться на землю и ходить по площади, беседуя с другими статуями, как об этом говорит легенда?! А вот «Давид»

Микеланджело не только смог бы гулять по площади, но и через фонтан бы перепрыгнул, было бы только желание! Комиссия, составленная из художников, решила, где должен стоять белоснежный греческий бог, и выбрала для него хорошее место. Он выступает из стены, и лучше всего выглядит в то время дня, когда солнце освещает площадь, а здание остается в тени. Теперешний «Давид» является копией и кажется совершенством... пока вы в Академии не увидели оригинал.

В июне 1504 года сорок мужчин привезли оригинал на площадь в огромной корзине, из которой торчала лишь голова. Путешествие заняло четверо суток, и Микеланджело, которому в ту пору было всего лишь двадцать девять лет, вызвал у людей такую зависть, что в первую ночь в «Давида» полетели камни. Пришлось вызвать охранников. Им приказано было присматривать за статуей, пока ее благополучно не установят на место. Все те, кто приезжал во Флоренцию между 1504 и 1882 годами, видели оригинал статуи, но потом стали беспокоиться, что мрамор под воздействием неблагоприятных погодных условий станет портиться, и статую убрали.

Очень хорошее место выбрали и для «Персея». Выглядит он замечательно с любого места, и арка Лоджии красиво его обрамляет. Тот, кто прочитал автобиографию Челлини, смотрит на статую с особым интересом. Возможно, никто еще с таким драматизмом не описал радости и горести, сопутствовавшие созданию и отливке статуи. Челлини рассказывает о своей работе с первых моментов замысла — идея принадлежала Козимо. Он перечисляет трудности общения с патроном — «он купец, а не герцог», высказывается о казначее — «хлипкий человечек с крошечными паучьими ручонками и голосом, как у комара»; и далее в таком же духе, вплоть до

сумасшедшей сцены в мастерской при отливке статуи. Казалось, все пошло наперекосяк, и Челлини, разъярившись, не стал бросать в булькающий сплав тарелки, блюда, кастрюли, пока не наполнил форму. А затем «упал на колени и от всего сердца воздал хвалу Господу».

Войдя в ворота палаццо Веккьо, я очутился в маленьком Дворе и тотчас понял, что нахожусь в одном из прекраснейших мест Флоренции. Суровый экстерьер поразил меня очаровательным и неожиданным контрастом. Снаружи — мрачное Средневековье, а здесь — грация и элегантность позднего возрождения. Я не сразу разглядел богато декорированные колонны, поддерживающие аркаду, и стены, расписанные гротесками, я видел только центральный фонтан: прелестный крылатый ребенок стоял там на одной ножке, ухватившись за дельфина, такого же малыша, как и он сам. Улыбался он не как мальчишка, поймавший рыбу, а как ребенок, играющий с другом. Верроккьо отлил бронзовую статую «Путто<sup>[85]</sup> с дельфином» для одного из загородных домов Лоренцо, и скульптуру принесли сюда спустя годы, после того как старый дворец модернизировали для Иоанны Австрийской, невесты Фердинандо, сына Козимо I. Получала ли какая-нибудь другая невеста столь очаровательный подарок?

В последующие дни я обследовал палаццо Веккьо снизу доверху и был поражен и восхищен расписанными залами и массивными потолками, окнами, из которых можно было под неожиданным ракурсом увидеть город с красными его черепичными крышами. Все думают о Вазари как об авторе «Жизнеописаний художников», но здесь он проявил себя как художник-баталист. Думаю, он был бы удивлен и раздосадован, когда бы узнал, что последующие поколения ценить будут изложенные им сплетни, а не его красивых боевых коней.



Я продолжил свой путь и оказался на просторной продолговатой площади — пьядца ди Санта Кроче. Тут когда-то происходили турниры, а в 1475 году поставлена была джостра в честь бледной и прекрасной Симонетты, жены Марко Веспуччи, двоюродного брата человека, давшего имя Америке. Говорят, что Боттичелли писал с Симонетты Венеру. На этой же площади стоит памятник Данте, выполненный из белого мрамора. Поэт показался мне немного мрачным, словно бы он считал, что памятник — запоздалое раскаяние за его ссылку. Дальний торец пьядцы занят францисканской церковью Санта Кроче. Ее кто-то назвал Вестминстерским аббатством Италии. Здесь похоронены величайшие люди: Микеланджело, Макиавелли и Галилей, затем пришла очередь Леонардо Бруни, поэта Альфьери, который убежал с женой Красавца Чарли и сделал ее совершенно счастливой. Здесь же находится могила композитора Россини.

Церковь великолепна: это огромный францисканский храм с широким нефом и отдаленным мерцанием витражей. И все же какое разочарование: в столице скульптуры видишь так много ужасных надгробий. Можно понять скульптора, которому дано задание создать надгробие для Микеланджело — невероятно сложная задача. Но как могло прийти ему в голову изваять трех безутешных дев, олицетворяющих собой Скульптуру, Архитектуру и Живопись? Неужели это достойный памятник гению? Отчего бы вместо такого убожества не поставить в соборе трагическую Пьету<sup>[86]</sup> — очень может быть, что сам скульптор изваял ее с этой целью.

Надгробие над пустой гробницей Данте тоже показалось мне неудачным. Поэт сидит в задумчивой позе с бессмертным своим творением на колене, а женщина — Флоренция — печально на него указывает, другая женщина — Поэзия — рыдает. Я почувствовал

облегчение, когда отошел оттуда и увидел простой и достойный памятник Карло Марсуппини работы Дезидерио да Сеттиньяно. В тот век знали, как надо проститься.

В галерее увидел мемориальную доску Флоренс Найтингейл. Она родилась во Флоренции, и назвали ее в честь города. Ее слава сделала популярным это имя, которое неизбежно сократили до Флосси, Фло и Флори. Имя это старинное, и в Средневековье им называли не только женщин, но и мужчин, да и не к городу оно имеет отношение, а к древнеримским именам Флорентиус и Флорентия. Лично я считаю его благородным и красивым, хотя теперь, в век Джоанн, Кэрол и Мэрилин, оно, похоже, вышло из моды.

В конце тропинки, окаймленной кустарником, я увидел изящнейшее маленькое здание — часовню Пацци. Это — дань уважения хорошему вкусу старинного аристократического семейства, которое само себя погубило, пытаясь уничтожить Медичи. Медичи — в сравнении с Пацци — были людьми темного происхождения. Пацци участвовали в крестовых походах, и один из них привез из Святой Земли кремний, которым до сегодняшнего дня на Пасху зажигают факел в форме голубки. Огонь переходит по проводу от алтаря на улицу и взрывает повозку с пиротехническими средствами.

Часовня Пацци — работа Филиппо Брунеллески. Его ничем не выдающуюся внешность Вазари сравнил с невзрачным Джотто. Этот маленький человек построил собор во Флоренции за сто лет до собора Святого Петра, и для XV века это было поистине чудом. Что до часовни Пацци, то главное здесь не инженерное решение, главное — пропорции. На поиск совершенных пропорций вдохновили в эпоху Ренессанса романтически настроенных художников развалины Древнего Рима. В молодые годы Брунеллески отправился в Рим вместе с

другом — Донателло. Они исписали блокноты, заполнили их цифрами, измерениями, эскизами и вернулись во Флоренцию, горя желанием адаптировать полученные знания к современной эпохе.

Здание маленькое и простое, оно — словно музыкальный аккорд, услышанный в саду среди пальм и кипарисов. Донателло прибавил к фризу головки ангелов. Можно представить себе друзей, открывших свои римские блокноты и выбирающих любимые колонны, пилястры и красивые листья аканта. Красота не спасла, однако, останки старого Джакомо Пацци похоронили здесь после казни за участие в заговоре. Наступила засуха, и отсутствие дождя приписали тому, что он находится в освященной земле. Сказано — сделано, тело выкопали, и мальчишки таскали останки по Флоренции. Некоторые писатели изображают жителей Флоренции чуть ли не ангелами, проводившими время в создании или созерцании шедевров, однако из истории ясно: бунты их были такими же ужасными, как у любой другой исторической толпы, а в проявлениях жестокости изобретательность их не уступала изобретательности древних китайцев.

Кто-то сказал мне, что на площади Микеланджело есть хороший ресторан. Площадь оказалась на возвышенности, в отдалении от центра. Шел я туда пешком, один, и любовался видом долины Арно. Сверху хорошо была видна река со всеми ее мостами. Я видел кампанилу Джотто и красный с белыми ребрами купол Брунеллески, а чуть в сторону, налево, башню с колоколом палаццо Веккьо. Сотни красных черепичных крыш, куполов, башен наполняли долину. На противоположных склонах белые дороги расчертили путь к Фьезоле, еще выше, к вершине, маленькие города и лесные полосы. Это — самый цивилизованный вид на земле, и в наше смутное время он представляет особую ценность.

Я поднялся по ступеням на площадь, зашел в церковь Святого Миниато, кроме меня, там никого не было, постоял перед распятием и классической дарохранительницей Пьеро де Медичи. В церкви есть склеп с останками святого Миниато. Это был римский солдат, замученный в 250 году.

Затем я спустился к ресторану — элегантное здание, на стене мемориальная доска, посвященная итальянскому гуманисту Поджо. Меня усадили за стол под пинией. Посмотрел на клумбу с алыми каннами и увидел бронзовую копию «Давида» Микеланджело. Давид — воплощение итальянского Жизнелюбия — смотрит в сторону Флоренции. Неподалеку от моего стола готовились к пиршеству. Официанты встали в ожидании, смахивали пыль со стульев и столов, нетерпеливо смотрели на дорогу из Флоренции.

Я услышал звук приближавшихся «фиатов», карабкавшихся в гору, и вскоре к столам под деревьями хлынули свадебные гости. Мужчины — в черных воскресных костюмах, женщины — в шляпках и аккуратных платьях, девушки очаровательны, как всегда. Я достиг возраста, когда все невесты и женихи кажутся мне до смешного юными и беспомощными, и эта пара не была исключением. Церемония казалась более официальной, чем это было бы в Англии. Ощущалась приятная смесь любви и сочувствия. Самыми почетными гостями были несколько пожилых мужчин и женщин, должно быть, дедушки и бабушки молодых. Когда на мотороллере подкатил священник, к достойным манерам гостей прибавилось еще и глубокое уважение к церкви.

Среди народов ни у кого, за исключением, возможно, испанцев, нет такого внешнего сходства с предками, как у итальянцев. Вы не пробудете в Италии и дня, не обратив внимания на то, что лица людей, тех, что за прилавками магазинов, в банках, на улицах, напоминают

полотна персонажей с картин великих мастеров. Так и я смотрел сейчас на эту свадьбу. Даже поведение гостей за столом, серьезное отношение к событию, которое в других странах часто является поводом к шуткам и веселью, напомнило мне о том, о чем когда-то читал. Хотя свадьба не была ни богатой, ни благородной, обычай связывал ее со знаменитыми церемониями, когда члены объединявшихся семей парами, под звуки труб, очень серьезно и торжественно шли к собору под натянутым пологом.

По разогретому солнцем холму я спустился во Флоренцию, а по пути увидел один из городских кемпингов — их тут, возможно, пятьдесят, а может быть, и сто. Автоприцепы всех типов, размеров и цветов стоят рядом с автомобилями, которые их сюда и привезли. Хотя рядом был ресторан, многие туристы, судя по всему, только что отобедали под поставленными возле прицепов зелеными брезентовыми навесами, а сейчас растянулись на траве в присущей северянам уверенности, что солнце очень полезно. Никогда еще со времен великих варварских нашествий не было здесь столько представителей тевтонской расы, с автомобилями, женами и детьми. «А как добираются они до места с густой травой, тотчас ставят в кружок свои повозки и набрасываются на еду, как дикие звери, — писал Аммиан Марцеллин в 390 году о древних кемпингах. — Как только корм заканчивается, они устанавливают свои, назовем их „города“, на повозки, где мужчины сидят вместе с женщинами, где рождаются и воспитываются дети. Повозки являются их временными жилищами, и куда бы они ни явились, они их считают своим домом».

Очень похожие чувства высказал мне владелец отеля в Равенне: очень уж не нравились ему немецкие караваны, вторгшиеся на побережье Римини. «Они

приезжают сюда с прицепами, привозят с собой еду и уезжают, не оставляя ни пенни!» — возмущался он.

Во Флоренции жарились на солнце полосатый Баптистерий, собор и башня. Кругом тишина — настал час сиесты. Я пошел по лабиринту узких улиц, где работали мужчины в бумажных шапочках скульпторов: золотили дерево, выбивали клейма на коже и совершали сотни других работ, которые лучше всего делать вручную. Сиеста закончилась, и магазины с грохотом подняли ставни, церкви отворили двери, и Флоренция снова проснулась.

Я искал мастерскую, которую мне порекомендовали, чтобы починить фотоаппарат. Я заметил, что из моей маленькой Дорогой камеры выскочил хромированный винт. На работоспособность аппарата это никак не влияло, однако меня это обстоятельство раздражало, и я решил обратиться к специалистам. Мастерскую я, наконец-то, нашел в подвале убогого дома в трущобном районе. Я засомневался: не хочется доверять дорогую камеру сомнительной мастерской. Тем не менее спустился по ступенькам в подвал и оказался в темной комнате, отделенной от мастеров стеклянной перегородкой. Во внутреннем помещении два молодых итальянца грациозно прислонились к токарному станку. Полки заставлены были фотоаппаратами, старыми и новыми, разных фирм. Я постучал по прилавку. Молодые люди изучали, как мне показалось, газету с расписанием гонок. Но все же на мой стук они обернулись, и тут я увидел, что интересуют их не гонки — они дотошно изучали фотографию киноактрисы. Молодой человек открыл дверь и подошел ко мне со светской и лукавой улыбкой. Так мог бы в старину улыбаться дожу флорентийский посол. Впрочем, стоило ему увидеть мою камеру, и профессиональная манера изменилась.

— Какой красивый! — воскликнул он. — Это же новый ХУЗ, я его вижу впервые. Какой красивый! Прошу

прощения!

Он взял камеру во внутреннее помещение. Оба молодых человека восхищенно его осматривали. Так могли бы ювелиры Козимо изучать герцогскую корону. Вернулся, однако, юноша с понурым видом. Увы, пропавший винт изготавливают только разработчики этой камеры. Впрочем, изготовить такой же можно, хотя и трудно. Если я соглашусь оставить у него камеру, он посмотрит, что можно сделать. На следующий день я вернулся и обнаружил, что винт установлен. «Мы его сделали», — сказал молодой человек. Когда я хотел расплатиться, передо мной снова предстал лощеный посол.

«О чем вы говорите, — сказал он, — это я перед вами в долгу. Мне выпало удовольствие видеть и держать в руках прекрасный XY».

Когда я рассказал об этом человеку, жаловавшемуся на скупость итальянцев, он не мог поверить. Если бы камера флорентийцу не понравилась, уверен, счет был бы внушительным.

## 2

Медичи, имя которых встречаешь в каждом уголке Флоренции, появились здесь довольно поздно, однако сделали банкирами. Задолго до того как о них слышали, они, возможно, выращивали виноград или распахивали на волах землю, в то время как имена Барди, Перуджи, Скала, Фрескобалди, Саламбини очень хорошо были известны вечно нуждавшимся в деньгах королям средневековой Европы. Интересно вообразить, как действовали в средневековом мире искушенные флорентийские финансисты, с их кредитными письмами и двойной бухгалтерией, доставшейся в наследство от папской канцелярии Древнего Рима. Короли в то время

перевозили наличность из замка в замок на спинах мулов, а драгоценности, короны прятали под кроватью.

Флоренция художников известна хорошо, а Флоренция финансистов до сих пор представляет собой загадку. Утверждают, что банковские гроссбухи почти все бесследно пропали, хотя тот, кто видел огромные архивы Италии, представляет, какие открытия, возможно, ожидают нас в будущем. Мне хотелось бы прочитать книгу о флорентийских банкирах, где бы эти загадочные исторические личности обрели плоть и кровь. Пусть покажут, как сидят они за крытыми зеленым сукном столами, пересчитывая золотые флорины, либо шепчутся в отдаленных комнатах с управляющими филиалов из Лондона или Лиона.

В банке, что напротив Понте Веккьо, где мне слишком часто приходилось обналичивать дорожные чеки, в ожидании денежных знаков я любовался симпатичной современной Фреской, изображавшей Барди: преклонив колено, банкир одалживал деньги английскому королю Эдуарду III. Почти все Плантагенеты брали займы во Флоренции. Фрескобалди финансировали крестовые походы Эдуарда I, Эдуард II брал деньги у Саламбини и Скала. Эдуард III, самый большой должник, брал столько флоринов, сколько мог взять, и расплачивался за сражения при Креси и Азенкуре флорентийскими деньгами. Когда в 1339 году он остановил выплаты долга, то вызвал тем самым серию финансовых крахов, в результате которых обанкротилось несколько могущественных флорентийских банкиров. Я удивился, отчего банк решил почтить память такого несостоятельного клиента, но банкиры — народ, быстро оправляющийся после неудач. Вскоре они уже помогали Эдуарду IV в его Войне Алой и Белой розы! Какие интересные разговоры вели, должно быть, в головных конторах Флоренции Барди и Перуджи со своими



агентами; какие секреты относительно королевской экстравагантности; какие предупреждения и подозрения!

Тех банкиров давно забыли, а вот о Медичи помнят, но не за их флорины, а за патронаж искусства. И все же забытые банкиры дают о себе знать — они не только построили огромные дворцы, но и обогатили словарь самыми важными финансовыми терминами: касса, банк, дебет, кредит и флорин. Последнее слово до сих пор используется в Англии. Первоначально так называлась отлитая во Флоренции в 1252 году знаменитая золотая монета с изображением флорентийской лилии.

Массивные дворцы банкиров, особенно с наступлением темноты, выглядят очень внушительно. Ночью они словно бы придвигаются друг к другу, шепчутся, наверное, о королевском банкротстве. Как и у всех зданий, имеющих дело с деньгами, вид у них настороженный. Дворец Медичи породил итальянские палаццо. Это был первый дворец, построенный в ренессансном стиле. Мода на этот стиль распространились по всем большим и малым городам Италии, после чего перешагнула через Альпы и ворвалась в города Европы. Грубо обработанные камни или так называемые рустики нижнего этажа, напоминающие крепостные стены этрусских городов, сделались непременным элементом архитектурного решения богатых особняков, правительственных учреждений и клубов во всем мире. Дворец Медичи до сих пор очень привлекателен, хотя площадь его выросла по сравнению с той, что была при жизни правителей. Дворец Строцци напоминает мне осторожного слона. Сердце грабителя при взгляде на него обливается кровью.

К числу самых любимых картин в Уффици относится полотно Боттичелли «Поклонение волхвов». Мадонна в одежде из красной и синей ткани сидит под грубым

укрытием, устроенным в римских развалинах. Возле нее стоит группа нарядно одетых людей, большинство из которых, кажется, думают не о том, что они присутствуют при Рождестве Христовом, а о том, что с них пишут портрет. Один из трех королей, худой старик, преклонив колени перед Младенцем, предлагает свои дары. Мы видим его в профиль, и в нем нам чудится нечто знакомое. Где же я видел его раньше? Да ведь он похож на крестьянина, которого я видел вчера в саду во Фьезоле, или то был человек, который гнал волов по дороге в Эмполи? В Тоскане встретишь его повсюду: он смотрит на мир усталым взглядом, коричневая кожа обтянула скулы, рот — тонкая линия. Когда на скотном рынке начинаются торги, большой нос его тут как тут. Это портрет великого Медичи, Козимо Старшего, отца страны.

Потомки этого крестьянского рода, мигрировавшего во Флоренцию примерно во времена Данте, управляли республикой почти без перерыва три столетия. Они оставили после себя след повсюду. Мы посещаем их дворцы, входим в здания, построенные ими, восхищаемся живописью и скульптурой, которые они финансировали. В соборе Сан-Марко мы видим келью, в которую Козимо уходил для медитации, стоим перед семейными могилами в Сан-Лоренцо и видим повсюду красные медальоны с гербом Медичи. Пожалуй, ни одна еще семья не была так тесно связана с городом.

Теоретически Флоренция была демократической республикой, управляемой торговыми гильдиями. Как и в Венеции, здешняя конституция была составлена таким образом, чтобы не позволить прийти к власти военной диктатуре. Два городских совета избирали на два месяца главных магистратов, после чего их сменяли другие избранники. Во время этих двух месяцев гонфалоньер и шестеро, позднее восемь, приоров жили все вместе в палаццо Веккьо, являвшемся не только

резиденцией правительства, но и первоклассным клубом. Лучшую еду во Флоренции приберегали для стола синьоров, и все делалось для того, чтобы двухмесячное их пребывание у власти было как можно более приятным и роскошным. Когда персонаж Айрис Ориго — купец из Прато — отправился за покупками во Флоренцию, он был счастлив, оттого что купил телятину, отложенную для стола приоров, ведь это мясо было высшего качества. Другой покупатель объяснил неудачную свою попытку купить рыбу, за которой отправился, тем, что ее передали в палаццо Веккьо, где «старые» приоры давали обед в честь вновь избранного правительства.

Палаццо Веккьо являлся сценой постоянных правительственных перемен. Флоренция все время кого-то избирала. После своего избрания приор надевал лукко — облачение розового, фиолетового или малинового цвета и поселялся в палаццо Веккьо, где штат слуг в зеленых ливреях удовлетворял его желания. Синьоры жили в просторных комнатах, увешанных гобеленами, ели отличную еду из серебряной посуды. Певцы, музыканты и комедианты развлекали их, если им вдруг становилось скучно. Короче, это была демократия плутократов. За декоративной верхушкой стояли суровые комитеты, которые, без сомнения, заинтересовали бы исследователя бюрократии.

Власть Медичи была основана на деньгах и такте. Козимо Старший, скончавшийся в 1464 году, довел до совершенства контроль за флорентийской политической машиной. На публике он был щедрым доброжелательным миллионером, а в действительности манипулировал гражданами и избирательным процессом как хотел. Секрет Медичи был очень прост: состоял он в том, чтобы держать своих людей на всех ключевых позициях. Если такие посты занимали люди других партий, они не отличались деловыми способностями или

характером. Стратегия Козимо и его последователей оказалась успешной: они сумели убедить самых умных и блестящих политиков западных цивилизаций в том, что Флоренция — республика! Козимо, конечно же, умел делать деньги, но и тратил их тоже с размахом. Циничная мудрость заметна в его совете, который он дал другу, ставшему магистратом в провинциальном городе: «Носи красную одежду и держи рот на замке!» Пий II, умевший разбираться в людях, описал его как «человека, более культурного, чем основная масса торговцев. Он немного знал греческий язык, ум его был острым и наблюдательным; характер не трусливый, но и не бездумно храбрый... Ничто в Италии не происходило без его ведома, к его советам прислушивались города и принцы». Папа сказал, что епископ Орты как-то заметил в его присутствии: «Как жаль, что у Флоренции нет мужа»; на что Пий ответил: «Да, зато у нее есть любовник», имея при этом в виду Козимо. Пий сказал также, что однажды Козимо попытался поцеловать ему туфлю, но не мог согнуться из-за подагры. Это заболевание он передал по наследству детям. Возможно, это была разновидность артрита. Козимо провел свой последний год в инвалидном кресле, а его сын, Пьеро, едва мог двинуть рукой или ногой. Сын Пьеро, Лоренцо Великолепный, был в свою очередь поражен этой же болезнью в возрасте тридцати лет, а закончил он свою блестящую жизнь в сорок три года.

Лоренцо однажды откровенно объяснил причину, по которой Медичи контролировали Флоренцию. «Во Флоренции, — сказал он, — имея богатство, можно не следить за правительством». Следовательно, можно назвать республику финансовой диктатурой, закамouflированной под демократию. Лоренцо был миллионером в третьем поколении и интересовался больше политикой и искусством, а не зарабатыванием денег. Он был некрасив, с землистым цветом лица, у

него отсутствовало обоняние, и голос у него был грубым, но стоило ему заговорить, и о непривлекательности его тут же забывали. Когда смотришь на его посмертную маску, видишь грубое, упрямое и властное лицо. Если не знать, что это Лоренцо, можно подумать, что это лицо солдата удачи.

В отличие от своего отца и деда, которых обучали торговому и банковскому делу, Лоренцо рос, как принц. Когда пришло время жениться, ему стали подыскивать солидную партию. Замечательная мать Лоренцо отправилась в Рим, чтобы взглянуть на Клариссу Орсини, девушку из старинного рода. Она написала письмо домой своему мужу Пьеро Подагрику. «У девушки два больших достоинства: она высокая и белокурая, нельзя сказать, чтобы лицо ее было красиво, но и простецким его не назовешь, и фигура у нее хорошая... Ее грудь я не смогла увидеть, она была прикрыта, но, как мне показалось, она хороших пропорций». Свадьба Клариссы и Лоренцо была исключительно пышной. Со временем в семье появились три мальчика и четыре девочки.

Когда речь заходит о великом человеке, всегда следует обратить внимание на его мать. Замечательная женщина, Лукреция Торнабуони, из старинной семьи банкиров, пережила своего мужа на восемнадцать лет и наблюдала за жизнью Лоренцо, пока сама не скончалась в 1482 году. После ее кончины Лоренцо написал двадцать семь писем разным правителям с сообщением о постигшей его утрате. «Я испытываю страшное горе, — писал он, — потерял я не просто мать, а единственное убежище от неприятностей и вдохновительницу всех моих начинаний». Он никогда ничего не делал, не посоветовавшись с матерью. Он видел только большие задачи, она же вникала во все подробности. Говорят, что ее решения часто были мудрее, чем у сына. Когда было объявлено о ее смерти, римский посланник Лоренцо предупредил его, что теперь он должен ждать

заговоров, ведь мать не сможет больше «спасать вас от них, как она делала это раньше».

О правлении Лоренцо написано много книг, рассказывалось и о его любви к знаниям и искусству и о вкладе в поэзию Тосканы, но меньше говорилось об успехах в сфере, в которой богатые люди не особенно выделяются: он был преданным и любящим отцом. Он любил возиться и шутить с детьми, позволял им называть себя Лоренцо, Макиавелли порицал такую вольность. Когда дети уезжали за город, на одну из его вилл, а он оставался во Флоренции, его восьмилетний сын Пьеро писал ему, а Кларисса посылала куропаток и говорила, что дети постоянно ее спрашивают: «Когда же придет Лоренцо?» В пожелтевших и выцветших с годами письмах ощущается смех и счастье. Один ребенок просит подарить ему пони. Затем следует благодарственное письмо с восторженными словами о том, что пони «красивый, лучше и быть не может». Восьмилетний Пьеро мог писать отцу на латыни. «У нас все хорошо, мы учимся, — так начинается он письмо. — Джованни учится писать. А как я пишу, ты и сам видишь. Над греческим я работаю с помощью Мартино, но пока что не очень получается. Джулиано может только смеяться (он в то время был грудным ребенком), Лукреция шьет, поет и читает (ей было девять лет), Маддалена стучит головой в стену, но она не делает себе больно. Луиджия уже болтает. Контессина шумит на весь дом. Нам всем ничего не нужно, только бы ты был с нами».

Несмотря на семейную идиллию, время то было беспокойное. Лоренцо стоял на пороге величайшего жизненного кризиса. Он был во враждебных отношениях с папой, с Неаполем и со всеми врагами Медичи, которые только и ждали его падения. В детской трем маленьким мальчикам, не привлечшим пока внимания фурий, назначено было войти в изменившийся мир с

именем Медичи. Пьеро, автору письма, будущее уготовило судьбу неудачника, под этим именем он и вошел в историю — Неудачник. Джованни, тот, что «учился писать», станет папой Львом X. Джулиано, который «может только смеяться», никакого следа в истории не оставил и умер в тридцать с чем-то лет.

Через два года после смерти Лоренцо перед Пьеро — в то время ему было двадцать три года — встала проблема французского вторжения в Италию. Справиться с врагом он не смог, и на улицах Флоренции его встречали насмешки горожан: завидев его, они «мотали кончиками капюшонов» — такой жест расценивался как страшное оскорбление. Затем они изгнали и его, и его семью в ссылку, где те пробыли восемнадцать лет. Даже и не припомню, были ли в истории более насыщенные восемнадцать лет. Сюда вошло и правление папы Александра VI Борджиа, и воинственного Юлия II. Во время правления Александра королем итальянских бандитов Чезаре Борджиа не удалось захватить власть в Италии. Когда настал черед Юлия, он сам атаковал города, поддерживавшие французов, а в более спокойные моменты жизни «страшал» Микеланджело.

Без Медичи Флоренция вернулась к своей политической мечте — республике. Сначала городом управлял старый ненавистник Медичи, доминиканский реформатор и мистик — Савонарола. Он согнал всех в церкви и призвал грешников покаяться. В кострах сжигали предметы роскоши. Подростки сбивались в банды и ходили по улицам с распятиями. Они врывались в дома, забирали музыкальные инструменты, косметику, книги, картины. Все это летело в костры. Многие художники увидели собственные «заблуждения». Боттичелли посвятил себя исключительно религиозным сюжетам. Среди других новообращенных оказались Лоренцо ди Креди, Перуджино и Поллайоло. Говорили,

что Микеланджело на всю жизнь запомнил голос Савонаролы. Конец наступил, когда доминиканец подверг критике нравственность папы. З знак благодарности за хороший совет Савонаролу осудили па мученическую смерть напротив палаццо Веккьо.

Еще одним выдающимся историческим деятелем был Макиавелли, флорентийский гений и, возможно, самый непонятый персонаж итальянской истории. Термин «макиавеллизм» используется с тех самых пор для определения политики, пренебрегающей нормами морали. Даже сами итальянцы не пренебрегают этим словом, когда говорят о нечестных политических приемах. Только все эти определения появились очень давно, и сейчас, в век усиленной пропаганды, на Макиавелли смотрят как на подававшего надежды дебютанта в искусстве достижения результата любой ценой.

Как частное лицо Макиавелли был честен и людям нравился. Как-то раз он сказал, что бедность служит доказательством его честности. Он более других понимал, что трагедия Италии вызвана системой использования наемных армий, которые оправдывали себя, когда страна представляла собой собрание городов-государств: ведь война тогда не была серьезным делом, но такая армия была беспомощна против Франции и Испании. В качестве специалиста по военным вопросам его пригласил однажды генерал Джованни делле Банде Нери, чтобы Макиавелли подготовил войска к параду. То, что произошло затем, описал новеллист Банделло в письме к Джованни.

«Ты должен помнить тот день, — писал он, — когда гениальный господин Никколо Макиавелли пришел к нам под стены Милана и предложил совершить маневры с солдатами-пехотинцами в соответствии с правилами, изложенными им в его труде „Искусство войны“. Не стоит напоминать тебе 0 разнице между тем, кто знает,



и тем, кто внедрил свои знания в жизнь. Опыт — настоящий учитель. Господин Ник-Коло два часа продержал нас под палящим солнцем, пытаясь поставить солдат в предписанном порядке, но результата так и не добился. Все это время он говорил, и так хорошо, так ясно. Убеждал, что все очень просто, но даже я, человек невежественный, смогу поставить пехоту в боевой порядок. Поняв, что у господина Никколо нет ни малейшего шанса закончить дело, вы, синьор Джованни, сказали мне: „Банделло, придется мне вмешаться, чтобы мы наконец пошли обедать!“ И попросили Макиавелли отойти в сторонку, предоставив бразды правления вам. Не успели мы и глазом моргнуть, как затрещали барабаны и войско замаршировало перед восхищенными зрителями — то одним, то другим манером. За обедом господин Никколо добродушно смеялся над утренней своей неудачей, а затем, повернувшись к вам, заметил: „Синьор Джованни, я уверен: если бы вы не поспешили ко мне на помощь, мы до сих пор изнывали бы в этом жутком пекле!“».

Любой молодой солдат, который помнит, как поворачивался «налево», когда командир командовал «направо», особенно перед суровым взглядом начальства, проникнется сочувствием к бедному Макиавелли. С падением республики и восстановлением в правах Медичи, с помощью испанской армии, Макиавелли отстранили, и он вернулся в свое маленькое имение, где стал писать книги. У многих литераторов имеются любопытные привычки, способствующие творческому процессу, вот и Макиавелли целый день проводил на свежем воздухе с крестьянами, после чего приходил домой, надевал придворное платье и шел в кабинет писать.

Минули восемнадцать лет, и Медичи в 1512 году вернулись из вынужденной ссылки. Снова они определяли жизнь Флоренции. Помнил ли кто-нибудь из

них, вернувшись в дом своего детства, что пятьдесят лет назад, в другой Италии, когда власть Медичи была в зените, великий Козимо предвидел их ссылку? Я обращал внимание на то, что люди, наделенные исключительными способностями в интеллектуальной или деловой сфере, обладают к тому же и даром предсказания. Старый банкир, возвращая Богу проценты со своих доходов в виде церквей или алтарей, однажды заметил: «Я знаю нрав этого города. Не пройдет и пятидесяти лет, как нас вышвырнут отсюда, зато здания останутся». У старика не было иллюзий относительно Флоренции, Медичи и даже денег, но он знал, что Донателло и Брунеллески обладают даром бессмертия.

Если бы кто-то задумал написать о Медичи пьесу, то нашел бы сюжет в двадцати пяти годах реставрации, положивших конец старшей ветви семьи. В последовательной смене правителей старшего поколения банкиров незаконнорожденные и убийцы большой роли не играли, в то время как возвращение Медичи к власти оплачено было трагедией и мелодрамой. Главой семьи стал сын Лоренцо — Джованни, маленький мальчик, что «учился писать», — помните то детское письмо? В тридцать семь лет он стал папой Львом X. Племянника своего Лоренцо, сына Пьеро Неудачника, он женил на французской принцессе и поставил управлять Флоренцией. Муж и жена умерли друг за другом в течение одного месяца, оставив крошечную дочь, которая, за исключением самого папы, стала единственным законным потомком Козимо Старшего.

В это трудное время папа решил править Флоренцией из Рима и послал сюда своего представителя, друга и советчика кардинала Джулио де Медичи. Он был незаконнорожденным сыном весельчака Джулиано, любимого брата Лоренцо, погибшего в соборе в результате заговора Пацци. О его существовании было

неизвестно, но после убийства Лоренцо радостно признал в нем ребенка покойного брата и воспитал его вместе со своими детьми. Теперь, спустя сорок с лишним лет, незаконнорожденный Медичи, явившийся на свет в далекой и блистательной Флоренции Боттичелли, обнаружил себя в роли правителя города, одинокого, в пустом дворце, с последним законным представителем семьи. В истории рода Медичи не было более странного или трогательного момента, чем тот, когда, откинув полог колыбели, кардинал Джулио смотрел на маленькую девочку, последнюю Медичи старшего рода. Кто бы тогда мог подумать, что она станет Катериной Медичи, королевой Франции и матерью трех французских королей?

Два года спустя Лев X скончался, а еще через два кардинал Джулио Медичи вступил на папский трон как Климент VII. Он объявил в Риме о своих планах относительно будущего правительства Флоренции. Будучи и сам незаконнорожденным, папа представил миру двух молодых незаконнорожденных Медичи. Он отправил их править Флоренцией под руководством кардинала. О происхождении этих мальчиков доподлинно ничего не известно. Один из них, Алессандро, был самым странным Медичи. Его темная кожа и вьющиеся волосы предполагали в нем наличие африканской крови. Некоторые полагали, что он был сыном папы от рабыни.

Этого члена семьи изгнали из Флоренции во время возобновления франко-испанской войны, в которой эти страны вели спор за обладание Италией. После победы испанцев Алессандро восстановили в правах, женили на незаконнорожденной дочери императора Карла V и дали титул герцога Тосканского. Алессандро было в ту пору двадцать лет, и флорентийцы его не любили. Некоторые сведения о том времени можно почерпнуть из автобиографии Челлини. Ему поручено также было

создать новые монеты, и Челлини не стал камуфлировать негроидные черты правителя.

Старшие Медичи, в отличие от некоторых других семей своего времени, к убийству не были склонны. Однако конец старшим Медичи положило убийство. Неразлучным другом герцога во всех его эскападах был представитель младшей ветви семьи, родоначальником которой был брат Козимо Старшего. Расположения друг к другу эти две ветви никогда не испытывали, но младшие Медичи тактично держались в тени. Молодой человек по имени Лоренцо, которого по причине слабого сложения называли Лоренцино, все время, что провел со своим родственником, обдумывал, как бы с ним покончить. Однажды вечером он пригласил герцога в дом недалеко от дворца Медичи, где вместо уступчивой дамы Алессандро встретил бандит. Тело герцога обнаружили лишь на следующее утро. Челлини рассказывает, что во время убийства Алессандро он был с другом на утиной охоте в окрестностях Рима. Когда в сумерках они возвращались домой, их удивил яркий свет во Флоренции. Челлини сказал: «Наверняка мы услышим завтра что-то важное».

Младшая ветвь Медичи ничем себя не зарекомендовала, пока Лоренцино не убил своего родственника и не положил тем самым конец династии Козимо Старшего. До сих пор остается загадкой, отчего в то время, когда на тиранубийство закрывали глаза, ему понадобилось бежать в Венецию. Вместо того чтобы объявить его престолонаследником, Лоренцино немедленно убили. Поведение его показалось настолько странным, что все сочли Лоренцино сумасшедшим. Его побег расчистил дорогу его двоюродному брату, Козимо, сыну Джованни делле Банде Нери, генерала, который вывел Макиавелли на плацу из затруднительного положения. Молодому человеку тогда еще не исполнилось восемнадцати лет. Он был сильным,

атлетически сложенным, но, представ перед официальными лицами, показал себя как человек спокойный, послушный и уступчивый. По всему было видно, что неприятностей он не доставит, а потому с его назначением охотно согласились.

Не исполнилось ему и двадцати лет, как Флоренция поняла, что в лице молодого герцога обрела хозяина. Претензии старших Медичи на властные полномочия были пресечены, а Флорентийцы стали смиренными подданными соверена, считавшего, что власть прежде всего должна быть сильной, а уж потом — если будет такая возможность — милосердной. Никто не посмел возразить, когда он преобразовал родину Флорентийской республики — палаццо Веккьо — в собственный дворец. Туда он привел свою надменную испанскую жену, Элеонору Толедскую, там она родила четырех сыновей, двое из которых наследовали герцогство.

Челлини интересно описывает свои впечатления о Козимо и Элеоноре. Он видел их в палаццо Веккьо, когда его пригласили для обсуждения работы над статуей Персея. Элеонора была вспыльчивой женщиной, а Козимо — автократом, который по-настоящему не интересовался искусством, однако, будучи Медичи, чувствовал свои обязательства. Козимо I правил тридцать семь лет и сделался первым великим герцогом Тосканы, а его династия — сначала из палаццо Веккьо, а потом из дворца Питти — управляла Флоренцией и Тосканой двести лет.

Старшие Медичи были привлекательнее своих последователей главным образом потому, что вели дружбу с великими людьми эпохи Ренессанса. Начиная с Козимо Старшего и заканчивая его внуком Лоренцо Великолепным художники и скульпторы сидели за одним столом с семьей во дворце Медичи на виа Ларга, а безалаберные гении, такие как Фра Филиппо Липпи,

имели там мастерскую. Рассказывают, однажды Козимо Старший запер ленивого монаха в комнате, так как только таким путем можно было заставить его закончить полотно, но художник связал несколько простыней и выбрался из окна. Архитектор Микелоццо был так предан Козимо, что отправился вместе с ним в ссылку. По мнению Донателло, Козимо не мог сделать зла. Это можно было назвать притяжением противоположностей: Козимо — банкир, миллионер и Донателло — гений, ничего не смысливший в деньгах, хранивший свои флорины в корзине, подвешенной к потолку, так что любой, кто нуждался в деньгах, мог туда наведаться. Обратив внимание на потрепанную одежду Донателло, Козимо подарил ему дорогое красное платье. Скульптор надел его один раз и вернул, сказав, что оно слишком хорошо для него. На смертном одре Козимо наказал своему сыну и наследнику Пьеро Подагрику позаботиться о Донателло, которому тогда было почти восемьдесят. Когда старый скульптор умер, его похоронили, как он и хотел, возле патрона.

У бедного Пьеро Подагрика, прошедшего много лет в инвалидном кресле, было много друзей среди художников. «Благороднейший и милосердный друг», — так начиналось письмо, которое адресовал ему Доменико Венециано, а Беноццо Гоццоли, который написал знаменитую фреску во дворце Медичи, написал Пьеро, что он единственный его друг. Привязанность Лоренцо к Верроккьо и Боттичелли — «нашему Боттичелли», как он называл его, — хорошо известна. Часто слышишь историю о том, как Лоренцо наблюдал за подростком, ваявшим лицо старого сатира. Герцог заметил, что у такого старика наверняка неполный набор зубов. Когда в следующий раз он застал подростка за той же работой, тотчас увидел, что зубы у сатира выбиты, а десны несут на себе признаки преклонного возраста. На Лоренцо это произвело такое

впечатление, что он забрал юного скульптора к себе во дворец вместе с семьей. Мальчика звали Микеланджело.

Такие рассказы прекратились, когда старшей ветви семьи наследовали великие герцоги Тосканы. Дружеский мост между богатством и гением рухнул. Художник приближался теперь к своему патрону на коленях. Невозможно вообразить, чтобы Челлини обратился к Козимо I со словами «друг мой единственный». Взаимоотношения ограничивались ролями слуги и хозяина, и если хозяин был невежественным и скупым, слуге ничего не оставалось, как раболепствовать и надеяться на улыбку. Тем не менее великие герцоги, у которых Много хулителей, отличались умом и проницательностью, а большинство из них к тому же были добры и щедры. Даже во времена упадка они сохраняли интеллектуальные интересы, всегда отличавшие Медичи.

Единственным по-настоящему великим правителем среди поздних Медичи был герцог Козимо I. Великое герцогство он создал при участии тщательно подобранных секретарей низкого происхождения — никто из этих чиновников не был флорентийцем. К концу правления Козимо герцогство сделалось самым сильным государством Италии. Как знает каждый, кто вместе с экскурсией побывал в палаццо Веккьо, наследовал Козимо сын Франческо, химик-любитель. Свои эксперименты он проводил в маленьком помещении, секретная дверь которого вела в совсем уже крошечную комнату, где, предположительно, великий герцог держал драгоценные камни, порошки и жидкости. Впрочем, трудно поверить в то, что лаборатория была серьезная, хотя Франческо приветствовал иногда своего секретаря с кузнечными мехами в руках. С него во дворце началась художественная галерея Уффици. Его работу продолжили наследники.

Когда умерла его супруга, великая герцогиня, Франческо женился на венецианской красавице Бианке Капелло. Жена сбежала от него с банковским служащим и несколько лет была его любовницей. Оба — как говорят — прирастились к Бахусу и умерли один за другим с разницей в несколько часов. Все, конечно же, заподозрили яд. В 1580 году Монтень видел уже немолодых любовников в ресторане. «Герцогиня, — писал он, — в понимании итальянцев красива. У нее приятное и благородное лицо, большой бюст, итальянцы это весьма ценят». Он решил, что она «вполне могла очаровать этого принца и держать его у своих ног долгое время». Брак оказался бездетным, зато от первой жены у Франческо осталась дочь, Мария Медичи. Впоследствии она вышла замуж за Генриха IV и стала второй представительницей рода Медичи, сделавшейся королевой Франции. Она была матерью Людовика XIII, Елизаветы, вышедшей замуж за испанского короля Филиппа IV, и Генриетты Марии, вышедшей за английского короля Карла I. Так в десятом поколении, отсчитывая от Козимо Старшего, три главных европейских трона заняли Медичи.

Так как мужского наследника у Франческо не было, наследовал ему его брат Фердинанд, который без особых раздумий снял облачение кардинала, чтобы сделаться великим герцогом. Он оказался хорошим и популярным правителем. Был он к тому же и известным коллекционером произведений искусства. Приобрел Венеру Медицейскую. Но целью его жизни стало продолжение планов отца, Козимо, — строительство порта Ливорно. Фердинанд уделял этому большое внимание и сделал порт пристанищем для людей, преследовавшихся в других странах. Строили его евреи из всех стран, английские католики, сбежавшие из протестантской Англии, французские протестанты, фламандцы из испанских Нидерландов. Все они нашли



приют в Ливорно. В ту пору Роберт Дадли, сын графа Лестерского, сбежал с красивой кузиной, Элизабет Саутуэлл, и появился во Флоренции вовремя: помог великому герцогу осуществить план. Я уже упомянул, что за дальнейшей историей семейства Дадли следует отправиться в Болонью, хотя Тоскана стала местом успеха Роберта — сначала он заявил о себе как судостроитель, морской архитектор и инженер, а потом и как придворный. Вторая половина его жизни прошла во дворце Питти, он служил там в качестве гофмейстера.

Сын и наследник Фердинанда Козимо II запомнился прежде всего как защитник Галилея от иезуитов. Козимо назначил ученого «главным математиком великого герцога». Он положил ему хороший оклад и предоставил полную свободу при проведении научных экспериментов. В благодарность Галилей назвал именем патрона четыре спутника Юпитера, которые увидел первым. Науке они известны как «звезды Медичи». Наука и создание приборов — тогда во Флоренции изобрели барометр — занимали мысли Козимо так же сильно, как волновало его предшественников искусство в эпоху Ренессанса.

Следующие два правления растянулись более чем на столетие: сын Козимо, Фердинанд II, правил пятьдесят лет, а сын его, Козимо III, — пятьдесят три года, но к тому времени конец Медичи был неотвратим. Последний Козимо был слабым ханжой. Французская принцесса, вышедшая за него замуж, испытывала к нему отвращение, доходившее до мании. Чтобы избавиться от нее, Козимо отправился путешествовать по Европе с большой свитой придворных и заехал в Англию во время правления Карла II. Толстая и скучная книга, в которой он описал свое путешествие, примечательна разве тем, что Козимо откровенно написал в ней о недостатках

своей жены, а вот о самих странах он ничего нового сообщить не сумел.

Когда в 1723 году Козимо III скончался, на дворец Питти опустилась зловещая тишина. Хотя три поколения произвели на свет двадцать четыре ребенка, мальчиков среди них не осталось, и некому было продолжать род. Старший сын Козимо, Фердинанд, умер, и младший его сын, алкоголик пятидесяти двух лет, вступил на престол. Четырнадцатилетнее правление Джана Гастона стало шокирующим концом великой истории. Этот несчастный человек заключил неудачный брак и так же, как и его отец, расстался с женой. Жизнь свою он рассматривал как фиаско и единственным своим другом и утешителем считал бутылку. Придворные боялись редких его появлений на публике. Затем он слег и не покидал кровати, а умер в возрасте шестидесяти шести лет. Вот вам и доказательство, что процесс самоуничтожения с помощью вина затягивается иногда надолго. Так закончилась мужская линия знаменитой семьи.

### 3

«Венера» Боттичелли, поднимающаяся из моря туристов, — знакомое многим воспоминание о Флоренции. В художественной галерее Уффици верхнее освещение и стены пастельных тонов. Толпы туристов целенаправленно ведут к самым знаменитым картинам. Боттичелли сегодня — то же, чем был для викторианцев Гирландайо.

Хотя голоса гидов, вещающих на всех языках мира, заполняют галерею, вы можете пробиться в передние ряды зрителей, где вступите в область церковных перешептываний, «отрешенной почтительности», о которой писал Беренсон. Толпы оказываются рядом с

величием. Почтительность в наше время — редкое явление, и его следует уважать и, по возможности, приветствовать. Я удивился тому, что люди так реагируют на картину, которую большинство из них чуть ли не с самого рождения видели на репродукциях. Думаю, прежде всего их поражает то, что рост богини, которую они привыкли видеть на открытках, на самом деле составляет четыре фута. К тому же никакая репродукция, как бы мастерски ни была она сделана, не может передать лирическую атмосферу картины, эти странные тона раннего утра.

Толпы ходят вокруг картины и ее пары — «Весны»: сказочная страна, где соседствуют яблоки и примулы. Люди не обременены теориями, не интересуется их ни неоплатонизм, ни вопрос: вдохновила ли художника на написание картин знаменитая поэма Полициано о Венере, рожденной из раковины. На посетителей, конечно же, сильно влияет общественное мнение. Маленькой группе, в которую я попал, достался исключительно хороший гид. Мне было интересно узнать, что, по мнению специалистов, в Венере узнали первую красавицу Флоренции Симонетту Веспуччи. В 1470 году она умерла в возрасте двадцати трех лет от чохотки. Возможно, самым счастливым человеком является турист, который не прочел за свою жизнь ни строчки, написанной художественным критиком: он сейчас наслаждается Боттичелли, как какой-нибудь роскошной цветочной клумбой.

Интересны все-таки перемены вкуса. Сто лет назад туристы вряд ли удостоили бы Боттичелли второго взгляда, они собрались бы вокруг Гирландайо, на которого — увы — смотрят ныне как на декоратора. «Сандро Боттичелли, в отличие от Андреа Мантеньи, не является большим художником», — написал менее ста лет назад Джон Аддингтон Симондс. По мнению Симондса, был художник еще значительно, еще

обладавший «самой тонкой интуицией, глубочайшей мыслью, сильнейшим чувством и самой тонкой фантазией», — Гирландайо! Нетрудно сообразить, где сто лет назад собиралась толпа в Уффици.

Толпа пронесла нас мимо Мантеньи, мимо знаменитой батальной сцены Уччелло, когда-то она висела в спальне Лоренцо,<sup>[87]</sup> мимо нежных мадонн Филиппо Липпи. Затем нас на мгновение останавливают возле «Святого семейства» Микеланджело, а напираящая сзади толпа проталкивает вперед. Мы оказываемся в галерее, и удивительная перемена вкуса становится еще более очевидной. В центре галереи стоит Венера Медицейская, когда-то самая любимая женская скульптура. Она стоит здесь, как и раньше, когда ею восхищались наши предки, однако все к ней слишком привыкли, и никто возле нее не задерживается. Сотни маленьких зеленых копии этой Венеры заполонили весь мир, хотя сам я давненько не видел ее на книжной полке. Толпы равнодушно прошли мимо, и я вспомнил дни, когда Уильям Бекфорд писал, как ходил в галерею «любоваться Венерой Медицейской». Он чувствовал, что остался бы подле нее навсегда. Аддисон почтительно взял скульптуру за запястье; леди Анна Миллар измерила ее рост мерной лентой, но самым большим поклонником Венеры оказался Сэмюэль Роджерс. В 1821 году его здесь видели каждое утро. Он садился напротив, как «если бы надеялся, как второй Пигмалион, что статуя оживет; а может быть, и наоборот, что статуя оживит его самого». Так об этом иронически написала миссис Джеймсон, ибо наружностью Роджерс напоминал засушенное растение. Увлеченность его скульптурой всем была хорошо известна, и как-то раз, усевшись против статуи на стул, как обычно, он заметил в руке у Венеры какую-то бумажку. Записка была адресована ему — подшутил молодой английский посетитель. Венера просила

Роджерса не пожирать ее каждый день глазами. Пусть друзья до сих пор считают его живым, она-то знает, что он является к ней с другого берега Стикса.

Некоторые посетители, передвигаясь вместе с толпой по прекрасной галерее, могут задуматься, почему из всех герцогских столиц Италии семейные сокровища сохранила только Флоренция. Этот вопрос действительно волновал меня с того момента, как я приехал в город. Как же это случилось?

Замок в Милане, где жили Висконти и Сфорца, перестроен. В Павии вам расскажут, как французы разграбили большую библиотеку. В пустом дворце Гонзага в Мантуе звучит эхо, когда гид рассказывает группе о том, что даже студия Изабеллы д'Эсте оказалась разрушенной. Если вы заговорите о картинах, вам расскажут, что Гонзага продал их английскому королю Карлу I. В Ферраре только треск пишущих машинок префектуры дает вам знать, что жизнь в древнем замке еще теплится. В Модене вам поведают, что картины Эсте создали репутацию Дрездену. Все великие коллекции Распались, и если вам вздумается проследить их путь, из Парижа вы приедете в город, который называется Санкт-Петербург. А вот Флоренция сумела противостоять аукционисту. Художественная коллекция, которую даже специалист не смог бы оценить, уцелела после смерти семьи, создавшей ее. Сегодня вы видите ее на стенах и в комнатах тех дворцов, для которых она и предназначалась.

Чудо это сотворила женщина, имя которой вы не часто услышите даже во Флоренции. Это была жена курфюрста Анна Мария Лодовика, единственная дочь Козимо III и сестра последнего великого герцога. Родилась она в 1671 году, и единственный портрет ее я видел во дворце Питти. На нем изображена высокая молодая женщина с тонкой талией в охотничьем костюме, отороченном золотом. Из-под шляпы со

страусовыми перьями спускаются на плечи темные кудри. В правой руке она держит кремневый мушкет, а левой опирается на голову охотничьей собаки. Очаровательная девушка в возрасте двадцати четырех лет вышла замуж за курфюрста Палатина и следующие двадцать шесть лет прожила в Германии. Когда ее муж умер, она вернулась во Флоренцию. Было ей в то время пятьдесят лет. Она закончила здесь свою жизнь и была свидетелем падения и деградации своей семьи.

Через шесть лет после ее возвращения закончилось долгое правление отца, и великого герцога, дожившего до восьмидесяти одного года, сменил единственный оставшийся в живых сын, Джан Гастон. Ему тогда было пятьдесят два. Несмотря на слабость и меланхолию, люди его любили. В Уффици есть бюст Джана Гастона. Нелепое лицо с капризным надутым ротиком. Огромный парик и тщетное желание походить на Людовика XIV. Осужденный на то, чтобы стать последним великим герцогом семьи Медичи, несчастный человек изолировал себя во дворце Питти. Возможно, психологи смогут найти объяснение, почему пожилой аристократ-алкоголик водил компанию с самыми низкопробными людьми, которых он приводил к себе чуть ли не из-под забора.

Когда Анна Мария приехала во Флоренцию, она обнаружила, что вдова ее брата Фердинанда, принцесса Виоланта, заняла во дворце место хозяйки, и так как Виоланту она не любила, а Джан Гастон не любил никого, то королевская семья распалась на три группировки. К счастью, места во дворце Питти было достаточно, чтобы выдержать избыток непримиримости.

Джан Гастон в пьяном виде показывался иногда своим подданным, но они, кажется, испытывали сочувствие к его проблемам. К тому же они были благодарны ему за некоторые реформы и за то, что он очистил дворец и правительственную резиденцию от

священников и шпионов, управлявших Флоренцией при его отце. На протяжении четырнадцатилетнего правления природная меланхолия взяла над ним верх, и он все чаще устранился от общественных дел и пил потихоньку. Трудно представить себе двух гордых дам и пожилого правителя, живших каждый своею жизнью под порхающими купидонами Питти в окружении произведений мировых гениев.

Анна Мария и раньше любила дать брату хороший совет. Можно не сомневаться, что это было одной из причин, по которой он ее не любил. Сейчас, когда она увидела его деградацию, тотчас поняла, что помочь ему уже нельзя. То, что семья великих коллекционеров должна была прерваться вместе с человеком, который и сам был собранием психологических расстройств, стало насмешкой, которую время от времени подбрасывает нам судьба. Как и многие алкоголики, великий герцог удивлял иногда своих придворных неожиданными проявлениями мудрости и здравого смысла, словно другой, прекрасный Джан Гастон на мгновение выплывал на поверхность, после чего злой демон снова затаскивал его на дно. Все же такие проблески доказывали: он прекрасно понимал, что творится вокруг него.

Вдова курфюрста поддерживала на публике достоинство Медичи. Иногда по вечерам она приезжала в церковь или просто дышала свежим воздухом. Ехала она медленно в огромной позолоченной карете, запряженной восьмью лошадьми, в окружении верховой охраны. Однажды она приняла Хораса Уолпола, и он написал об этом. Стоя под черным балдахином, она сказала ему несколько слов, после чего отпустила.

В книге «Последний Медичи» Гарольд Эктон дает ужасное описание дегенерации Джана Гастона. В последние тринадцать лет жизни великий герцог ни разу не оделся, как положено, а последние восемь лет

практически не вставал с постели. Испанский посол видел его «лежащим без движения, как душевнобольной». Однажды прошел слух, что он умер, потребовалось появление на публике, и, чтобы подкрепить себя для такого мероприятия, несчастный человек сильно напился. «Лучше бы и не вспоминать, — пишет Гарольд Эктон, — как герцога-алкоголика везли по улицам Флоренции. Он то и дело высовывался из окна кареты, потому что его рвало, а люди кланялись ему, мужчины снимали шляпы, а дамы приседали. Обрюзгший жалкий пьяница — таким был последний представитель семьи, явившей миру высочайшую культуру.

У ворот Прато ему помогли подняться на террасу, с которой великие герцоги наблюдали каждый год за скачками берберских коней. Сгоравшие от стыда придворные старались держаться от него подальше, но Джан Гастон, несмотря на рвоту, был, похоже, в хорошем расположении духа. Он то и дело обращался к ним, отпускал неразборчивые язвительные замечания в адрес пажей и фрейлин. Затем впал в пьяный ступор. Слуги поспешно посадили его в паланкин и отвезли домой, в Питти. Так в Питти он потом и оставался».

Это было последнее явление народу великого герцога. Спрятавшись в апартаментах дворца, он предался развлечениям, придуманным для него его фаворитом, слугой по имени Джулиано Дами. Многие годы тот служил для него сутенером. Дами рекрутировал целую армию мужчин и женщин, изгоев общества, и приглашал их во дворец, чтобы потакать капризам хозяина. «Платили больше тому, кто больше кривлялся, — говорит Гарольд Эктон, — часто он (великий герцог) требовал, чтобы они его оскорбляли и пинали, как клоуна. Из-за того, что зарплату им по вторникам и воскресеньям выдавали в руспи (руспо во



Флоренции равнялся десяти франкам) их стали называть руспанти...»

Однажды, когда его сестра и невестка были в церкви, Джан Гастон услышал доносившиеся с улицы бой барабанов и пение труб. Выглянув в окно, он увидел несколько поляков с танцующими медведями. Зрелище так его восхитило, что он пригласил людей к себе в апартаменты и стал пить с ними. Напившись, стал плескать им вином в лицо. Они, тоже пьяные, стали отвечать ему. На шум сбежались обеспокоенные камергеры и увидели великого герцога, который, словно взбешенный медведь, дерется с одним из поляков.

Были истории и похуже, но милосерднее их не рассказывать. Все это имеет отношение к медицине, а не к морали. К трагической фигуре великой семьи испытываешь сочувствие, а не презрение. За несколько дней до смерти людям предстал другой Джан Гастон. Ни один руспанти не пришел к нему. Герцог со слезами покаялся и, приняв причастие, умер. Не успел он испустить последний вздох, как властители Европы, которые, словно грифы, ожидали тосканского наследия, пренебрегли законными правами Анны Марии занять место великой герцогини и передали Тоскану герцогу Лотарингии при условии, что он за это передаст Лотарингию Франции.

Анна Мария, последняя Медичи, осталась жить в своих апартаментах дворца Питти и наблюдала — внешне бесстрастно, — как орда вульгарных и невежественных пришельцев из Лотарингии управляет Тосканой. Она была невероятно богата. Никто не мог протянуть руку к ее состоянию или к художественной коллекции Медичи, которая принадлежала ей безоговорочно. В последние годы жизни она совершила прекрасный поступок: оставила величайшую в мире художественную коллекцию государству Тосканы на условии, что она никогда не покинет Флоренции и будет

доступна для всех народов. Сделав это, она создала Флоренцию сегодняшнего дня. Какими бы тяжелыми ни были поступки несчастного ее брата, Анна Мария заплатила за них и от лица всех Медичи достойно и величественно поклонилась истории.

Самое странное, на мой взгляд, то, что во Флоренции, городе скульптуры, вы напрасно будете искать памятник величайшей благотворительнице, которую когда-либо знал город.

#### 4

О Чарльзе Годфри Лиланде знают в основном как о юмористе, он был автором «Ганса Брейтманна», и забывают, что он — основоположник фольклористики. Возможно, его сатира на американских немцев до сих пор пользуется успехом на концертах в сельских клубах, а вот настоящая работа большинству людей неизвестна, и даже те, кто о ней знает — столь опасно быть юмористом, — относятся к ученому с легким подозрением. По происхождению он американец, способный к языкам. Последние свои годы провел во Флоренции, где и умер в 1903 году. Вместе с итальянским приятелем он занимался сбором рассказов и легенд у старушек, которые и опубликовал в 1895 году в своей книге «Легенды Флоренции».

Книга попала мне на глаза случайно, и я тут же очутился в чудесном мире фей, бесов, знахарей и колдунов. Все эти духи были старыми языческими богами, нимфами, сатирами. Похоже, они еще лет семьдесят назад заходили к крестьянам на огонек. Интересно, сколько таких историй рассказывают в наше время зимними вечерами в Тоскане?

Я вспомнил об этих легендах, когда был в Уффици, потому что, судя по картинам, художники не нуждались

в инструкциях ученых-неоплатонистов, когда писали старых богов.

Взять хотя бы картину, написанную Боттичелли: сюжет ее могла навеять вот такая история.

Жил-был бедняк с женой и двумя детьми. Один ребенок был слепым, другой — хромым. Бедняк часто плакал и приговаривал:

Крутит, говорят, Фортуна колесо,  
Отчего она один мне кажет бок?  
Я тружусь, как вол, но что б ни делал я,  
На меня лишь градом шишки валятся.

Долго ли, коротко, но как-то раз, поздним вечером, а может быть, ранним утром, до рассвета, пошел он в лес за дровами. Позвал по обыкновению Фортуну, и... каково же было его удивление, откуда ни возмись блеснул перед его глазами луч света. Бедняк поднял голову и увидел женщину необычайной красоты. Она не шла, а катилась на шаре, быстро двигая своими... чуть было не сказал ногами, а ведь ног-то у нее и не было. Вместо них были у нее два колеса, и из-под этих колес сыпались цветы, и шел от них дивный аромат.

Бедняк облегченно вздохнул, увидев это, и сказал: «Прекрасная госпожа, поверь мне, я звал тебя каждый день. Я знаю, что ты богиня удачи, Фортуна. Я слышал, что ты прекрасна, но теперь увидел это своими глазами, и я готов поклоняться тебе за одну твою красоту».

Богиня ответила, что она не всегда осыпает благодеяниями тех, кто этого заслуживает, и спросила у бедняка, возьмет ли он один из ее цветов для себя, или предпочтет взять два Цветка и принести удачу двум другим людям, таким же несчастным, как он сам. Безо всяких сомнений бедняк сказал, что возьмет два цветка. Тогда богиня, повинувшись обычному своему капризу,

неожиданно предложила ему взять и для себя третий цветок!

Эта очаровательная маленькая история вдохновила художника на написание картины: римская Фортуна на золотом колесе разбрасывает направо и налево свои ароматные цветы.

Интересно, что в местном фольклоре в обличий языческого бога вроде Пана часто выступает Микеланджело. В истории, рассказанной Лиланду, дух его рыщет по лесам и рощам, особенно по ночам. Забавляется он тем, что пугает любовников, и, когда находит парочку, спрятавшуюся в кустах, дожидается удобного момента. Когда они решают, что их никто не видит, он начинает петь. Влюбленные подпадают под его чары и не могут сдвинуться с места. Но любимой забавой Микеланджело была художница. Когда в приятной рощице она садилась за свой мольберт, то через некоторое время замечала, что работа ее покрыта бессмысленными каракулями, которые она не в силах была стереть. Художница выходила из себя и слышала смех, громкий и страшный. Если она пугалась и торопилась домой, то обнаруживала, что рисунок ее не только не испорчен, но превратился в шедевр в стиле Микеланджело.

«Удивительно, что насмешливый фавн, или римский Сильван, сохранился в Тоскане, — комментирует свой рассказ Лиланд. — Я встречал его в разных обличиях и под разными именами. Но при чем тут Микеланджело? Возможно, все дело в том, что лицо его и сломанный нос, столь знакомые людям, напоминают им фавна? Лесные духи, с бесконечными проказами, буйством и разгулом, были, в принципе, неплохими ребятами, а то, что великий художник, помучив свою жертву в конце концов оставляет ей ценную картину, и на самом деле делает его божеством».

Хотя ученые приписали вдохновение Боттичелли, написавшего две самые знаменитые свои картины, поэме Полициано, я считаю, что такие сцены мог бы увидеть тосканский крестьянин, если бы проснулся в волшебном лесу.

## 5

Когда немцы взорвали в войну водопровод и газопровод Флоренции, они уничтожили также и все мосты, за исключением «самого художественного», по словам Гитлера. Дворец Питти был забит беженцами и выглядел как трущоба, с висящим из каждого окна бельем. В галереях Уффици вода доходила до щиколотки. Были периоды, когда город был зажат между двумя противоборствующими армиями.

Среди тех, кто ходит сейчас с восторженными охами по залам Уффици, мало кто помнит об этом, если и вообще найдутся такие люди. Тем не менее все здешние шедевры, как и во всех других галереях Европы, вернулись на свои обычные места после долгого заключения в пещерах, туннелях, шахтах, подвалах и уединенных замках. Если кто-либо и заслужил благодарность и похвалу своих товарищей, так это малоизвестная группа ученых и администраторов, музейных кураторов во всех странах, задачей которых являлось сбережение художественных сокровищ от воздушных налетов и других опасностей современной войны. К счастью, директора флорентийских галерей успели перенести сокровища в безопасное место перед тем, как война пришла в Тоскану.

Читатели «Автобиографии» сэра Осберта Ситуэлла припомнят то, что он мило назвал «самым редким Домашним приемом». Состоялся он в 1940 году, в отсутствие хозяина, в собственном его замке

Монтегюфони, возле Флоренции. Среди «гостей» были «Весна» Боттичелли, «Битва при Сан Романо» Уччелло, «Мадонна на троне» Чимабуэ и сотни Других картин, прибывших из Уффици, а прислало их туда итальянское правительство. Хотя замок позднее заняли немцы, все картины остались целы, за исключением круглой картины Гирландайо — «Поклонение волхвов». Эта картина, диаметр которой составлял более шести футов, пострадала, «потому что немцы положили ее лицом вверх в качестве столешницы, несмотря на то что у стола имелась собственная столешница. В результате на картине остались пятна от вина, еды и кофе, а также порезы от столовых ножей».

«Домашний прием» в Монтегюфони был не исключением. В одной только Тоскане было спрятано около тридцати семи подобных коллекций. Их разместили в замках, стоявших на горных вершинах в девяти провинциях области. Рассказ об их розыске и реставрации изложен господином Фредериком Харттом в книге «Флорентийское искусство под огнем». Книгу эту следовало бы издать в мягкой обложке и выпустить на всех европейских языках. А студентам, будущим искусствоведам, приезжающим во Флоренцию, надо прочесть эту книгу в обязательном порядке. Я вспоминаю с гордостью, что когда союзники пришли в Италию, британское и американское правительства разработали план по сохранению художественных ценностей. В обеих странах создали комиссии, которые должны были выдвинуть свои предложения. В результате историки искусства, архивариусы, архитекторы и ученые, получившие подготовку в музеях и картинных галереях, англичане и американцы, включены были в состав военных штабов. В их задачу входило нахождение спрятанных коллекций, оценка нанесенного ущерба и оказание первой помощи. Представители «вражеской» стороны, итальянские

историки искусства и кураторы, оказывали им всестороннюю поддержку, и это одна из светлых страниц войны. В международных делах, конечно же, нет места благодарности, но хочется думать, что в будущем, возможно, историк из Европы воздаст должное Британии и Америке за то, что в самое жаркое время конфликта они вспомнили о духовном достоянии.

Я смотрю на картины в Уффици. Они висят на хорошо освещенных стенах, поблескивают рамами. Казалось, им были неведомы такие неудобства, как нахождение в заплесневелом подвале. Не помнят они и преданных офицеров из союзных войск, трясшихся в джипах по пыльным дорогам в поисках потерянных шедевров, а ведь рядом гремели выстрелы и дыбилась земля. Мистер Хартт, американский эксперт в области искусства, в качестве офицера и специалиста-искусствоведа направлен был в провинции Сиены, Флоренции и Дрецо. Художественные ценности он находил в самых странных местах. Однажды, когда над головой свистели немецкие пули, добрался он до старого особняка, стоявшего среди виноградника. Немцы использовали этот дом в качестве гаража. Там он обнаружил огромные ящики со скульптурой. «Не удержавшись от изумленного восклицания, — пишет он, — я перебирался от одного ящика к другому, все больше волнуясь, пока сквозь щели одного из них не увидел искаженное сильными чувствами лицо микеланджеловской статуи „Рассвет“».

В городе Монтаньяна он пришел к вилле, в которую прямым попаданием угодил снаряд. Там он нашел картину Россо Фиорентино «Снятие с креста», пыльную и поцарапанную, а в середине мусорной кучи лежала потрясающей красоты совершенно не пострадавшая картина Понтормо, и тоже «Снятие с креста». Потрясенные горем фигуры — персонажи картины — парили над разрухой в неземном серебряном свете. И он подумал, что «люди, сотнями приходящие в палаццо

Веккьо, в студию Франческо I Медичи, были бы страшно удивлены, если бы увидели, что картины, закрывающие стены маленькой комнаты, похожей на шкатулку для драгоценностей, разбросаны по полу...»

Обнаружил он и потери, такие как картина Понтормо «Благовещение». Она упала под разбомбленную стену, и по ней прошли солдатские ботинки. В результате штукатурка и кирпичная пыль втерлись в изображение. С бессознательным юмором, присущим эксперту, автор пишет: «Следует отдать должное прочности доски Чинквеченто, ведь на ней хоть что-то осталось». Мне нравится рассказ об английском бригадире. Он был настолько заинтересован в отыскании художественных ценностей, что, прежде чем покинуть опасное место, потребовал краткую лекцию по каждому найденному предмету. «И я вынужден был согласиться, — сказал мистер Хартт, — прочел ему лекцию под громовой аккомпанемент главной артиллерии и свист германских снарядов. Рабочие не выдержали и убежали в укрытие». Понравился мне и рассказ об офицере из южноафриканского полевого перевязочного пункта, майоре Мортоне. Он забеспокоился, когда его госпиталь, в результате недоразумения, разместили на вилле, полной художественных ценностей, да и сама вилла являлась архитектурным памятником. «Беспокойство майора Мортонна о сохранности виллы и ее содержимого было чрезвычайно трогательно, — пишет мистер Хартт. — Он дал строжайший приказ всем своим людям и следил за неукоснительным его исполнением. Прежде чем уехать, майор Мор-тон написал мне благодарственное письмо за то, что ему позволили находиться на вилле. За все то время, что его пункт там находился, было обслужено 199 тяжелораненых бойцов, и все это перед фресками Понтормо, Андреа дель Сарто и Алессандро Аллори».



Очень неприятно об этом говорить, но во время войны украдены были сотни картин. Союзным войскам удалось предотвратить замысел немцев, планировавших совершить величайшее ограбление со времен Наполеона. Автор называет его «самой масштабной операцией, документально зафиксированной в истории». Среди награбленного добра, перехваченного по пути в Германию, была картина Кранаха «Адам и Ева» — Геринг давно хотел ее заполучить. Когда Хартт увидел на обратном пути во Флоренцию первый эшелон в сопровождении военной полиции, то «испытал не только необычайное удовлетворение, но и чувство гордости за союзников...»

Мне кажется, что не все еще сказано об «Операции „Искусство“». Мистер Хартт, конечно же, имел дело лишь с тремя своими провинциями, поэтому невольно задаешь себе вопрос: как обстояло дело в других местах? Как, например, действовала в это время Венеция? Об этом непременно нужно написать очень подробно, пока живы те, кто принимал участие в самой цивилизованной операции, совершившейся во время войны.

## 6

Дневная жара на улицах задерживалась надолго, зато возле Арно по вечерам вас обвевает благословенная прохлада. В такие часы я любил посидеть в каком-нибудь ресторанчике. Хорошее бутылочное вино в Италии — редкость, да и готовят там лучше всего в каком-нибудь подвальчике или в помещении, рассчитанном не более чем на десять столиков. Все, конечно, зависит от удачи, но при желании вы найдете такие места, в которых владелец еще не разбогател настолько, чтобы нанять себе

профессионального повара. Если это все-таки происходит, подыскивайте себе другой подвал. Надо, чтобы муж там сидел за кассой, а еду готовила жена.

Именно такой ресторанчик я и обнаружил. От улицы его отделяла портьера из бус: раздвинешь ее и попадешь в комнату, стены которой с пола до потолка оклеены сигаретными картонками. Я только что отобедал, когда в комнату вошел Уличный музыкант — неприятная особенность итальянской ресторанной жизни. Тем не менее он вошел и приготовился играть. Одной ногой он встал на стул, тихонько тронул струны мандолины. Я не обратил на него особого внимания, пока он не запел приятным голосом по-английски:

Видели вы яркую лилию,  
До того как схватили ее грубые руки?  
Замечали, как красивы снежинки,  
До того как упали они на грязную землю?  
Дотрагивались ли до лебединого пуха?  
Вдыхали аромат цветущего шиповника?  
Или горящего нарда?  
Пробовали медовый мешок у пчелы?  
Такой белый! Такой мягкий! Такой сладкий!

Впечатление, которое произвело пение на аудиторию, было интересным. Я и сам был поражен. Несколько итальянцев, которые — я уверен — песню не поняли, громко зааплодировали. Что значит хороший природный вкус; они сразу почувствовали, что слышат что-то неординарное. Молодой человек поклонился и после нескольких предварительных аккордов запел балладу Перселла «Мужчина создан для женщины». Музыкант был молодым человеком лет двадцати с небольшим. Голубые глаза, светлая шевелюра и небольшая золотистая борода делали его похожим на

праздного и лукавого англичанина елизаветинской эпохи. Когда он подошел к моему столику за вознаграждением, я пригласил его сесть рядом и заказать себе, что он захочет.

— Благодарю вас, — сказал он, — но прежде мне нужно пристроить свою лютню.

Он положил мандолину на подоконник.

— Ни один музыкальный инструмент, за исключением, возможно, гобоя, — объяснил он, — за стол не приглашают.

Большинство молодых людей ведут себя со старшими беззаботно, а этот юноша показался мне невероятно жизнерадостным. Он словно бы вышел из сказки, где все произошло наоборот: птица превратилась в человека. В меню он смотреть не стал.

— Можно, я закажу стейк? — спросил он.

На огромный флорентийский стейк он набросился с восторгом. Время от времени вскидывал на меня внимательные голубые глаза: очевидно, удивлялся, что я не задаю ему вопросов. Я дал ему время поломать над этим голову, и только когда он перешел к крем-брюле и сыру, сказал: «Никак не ожидал услышать Бена Джонсона и Перселла в таком месте».

— Я их очень люблю, — ответил он. — А вы знаете «Часто я вздыхал» Кэмпiona? А «Милую Кэт» Роберта Джонса или «Прекрасную жестокость» Томаса Форда? Я знаю и много других очень хороших современных фольклорных песен. Один американский студент научил меня песне испанских шахтеров. Он узнал ее у человека, принимавшего участие в гражданской войне в Испании. Я пел ее вчера на Понте Веккьо, и у меня были неприятности с полицией.

Судя по выговору, молодой человек был с севера Англии, явный йоркширец. Он сказал, что учится в университете Халла. Дипломную работу посвятил эпохе

Ренессанса, а потому и решил, что просто обязан повидать Флоренцию.

— Но у меня нет денег, — объяснил он, — а потому на дорогу в Италию я решил заработать себе пеннием. Я всегда любил елизаветинские мадригалы. Добрался сюда за две недели на попутных машинах, и это неплохо. Впрочем, нет, это очень хорошо. Во времена Лоренцо Великолепного курьеры добирались до Парижа с такой же скоростью! Но — сами понимаете — уж когда я ехал, то ехал быстро, в больших американских туристских автобусах!

Я удивился и признался, что грубый жест хайкера, останавливающего машину, мгновенно лишает меня сострадания.

— Я с вами согласен, — сказал он, — это и в самом деле отвратительно. Если бы у меня была машина, ни за что не стал бы никого подвозить. Но вы должны понять: автостоп — это психологическая война. Выставленный большой палец рождает у многих автомобилистов острое чувство вины: «Почему это я должен сидеть здесь, когда бедный парень стоит на дороге?» А потому не стоит презирать такого, как я, вынужденного путешествовать без денег. И все же такой жест отвратителен и вульгарен. Сам я в этом случае грациозно взмахиваю рукой и слегка киваю головой в направлении, в котором мне нужно ехать. Впрочем, это далеко не так эффективно, как выставленный палец.

— А на меня, наоборот, грациозный ваш поклон да еще и в сочетании с «лютной» произвел бы неотразимое впечатление! — сказал я.

— Ну что ж, жаловаться мне не приходится. Я, конечно же, изучал психологию хайкерства и выработал некоторые приемы. Надо постараться выглядеть усталым, но ни в коем случае нельзя быть грязным. Нельзя привлекать внимание веселой улыбкой. Тот водитель, которому сейчас не до смеха, думает: «Пусть

этот весельчак потопает ножками» — и проедет мимо. Обязательно надо иметь поклажу, и чтобы она выглядела тяжелой. Красивая девушка в шортах, с рюкзаком и английским флагом не пройдет и одного ярда! Мужчине в этом случае труднее. Главное, что нужно запомнить: за несколько секунд вам нужно произвести приятное впечатление на человека, несущегося в вашу сторону со скоростью семьдесят миль в час!

Я спросил, как обстоят у него дела с едой и с ночлегом. Оказалось, что фермеры устраивали его на ночь, чаще всего в сарае. Летом, в теплую погоду, спать на улице — одно удовольствие. На юге Франции можно устроиться в пещерах, а в Ницце — на пляже. Из своего опыта он выяснил, что мадригалы производят хорошее впечатление, а потому он в основном их и пел. Он сказал, что люди бывали поначалу равнодушны, а то и враждебны, но оттаивали, стоило ему начать петь. В душе я легко с ним согласился: он производил впечатление беспечного, бедного, но в то же время элегантного молодого трубадура. Его выступления должны, как мне кажется, пробуждать у людей наследственную память. Я представил себе, как он перебирает струны своей «лютни» в южных провинциях, где пели когда-то Бертран де Борн и Пьер Видаль.

— А Флоренция оправдала ваше паломничество?

— Во всех отношениях, — ответил он. — Единственная забота — необходимость от случая к случаю подрабатывать. Это отнимает время, которое можно было использовать с большей выгодой. Главным моим источником во Флоренции был доминиканец, который хотел выучиться английскому языку, но вот незадача: в следующем месяце он уезжает в Штаты, и мне придется подыскивать себе что-то еще.

Он взглянул на кончик сигареты и рассмеялся.

— Что-нибудь подвернется! Так всегда бывает!

Мы попрощались на улице под фонарем. Он небрежно прислонился к столбу с мандолиной в руках, словно собираясь запеть, и мне невольно вспомнился прислонившийся к дереву щеголь с картины Николаса Хиллиарда. Я спросил, что он намерен делать после того, как посмотрит Флоренцию. Ответил он незабываемой фразой.

— Расплачусь пением за дорогу до Халла.

Я видел его еще два раза, один раз на улице: он пел удивленной толпе немецких туристов, а во второй раз — в библиотеке Британского института. Там он помогал классифицировать и расставлять по местам английские книги. Когда позднее я спросил о нем, предполагая пригласить на обед, мне сказали, что он уехал в Рим. Обычно такие слова вызывают в воображении поезд или автобус, но я представил его стоящим на обочине, и у меня он грациозно кланялся и кивал в сторону вечного города.

## 7

Покрытые сажей лондонские родственники флорентийских Дворцов, клубы Пэлл-Мэлл напоминают своих предшественников размерами и мрачным оборонительным обликом. Тот, кто читал книги о Флоренции, знает, какое исключительное здание — дворец Медичи, но если бы его — паче чаяния — всунули между клубами «Трэвеллерз» и «Реформ», многие люди прошли бы мимо и ничего не заметили. Можно даже вообразить себе, как члены «Трэвеллерз» — а они никогда не говорят друг с другом — войдут по ошибке во дворец Медичи и рассядутся там в полном молчании.

Козимо Старший построил это массивное здание в 1440 году, и несколько сотен лет там жили все старшие Медичи, пока во время правления Пьеро Неудачника их

не выгнали оттуда, а все сокровища, которые можно было унести, разграбила толпа. Как выглядел первый дом, никто не знает. Возможно, это было жизнерадостное здание, такое как на фресках Джотто, — разноцветный мрамор, балконы, стройные колонны, но Козимо хотел нечто более современное. Проект Брунеллески старый банкир отверг: он посчитал, что здание слишком нарядно, а потому будет вызывать зависть. Говорят, Брунеллески обиделся, а может быть, и рассердился и разбил свою модель на мелкие кусочки, а вот Микелоццо, любимец Козимо, представил проект, который банкиру понравился. Так на углу одной из самых оживленных улиц — виа Кавур — появился первый ренессансный особняк. На это здание равнялись другие архитекторы: если бы они построили для другого банкира дворец, превосходящий роскошью дом Козимо, тут же сказали бы, что этот банкир слишком зазнался.

Пошел я туда как-то утром на экскурсию и говорил себе: подумать только, ведь когда это здание проектировали, живы были еще тысячи солдат, сражавшихся при Азенкуре. Сейчас дворец занимает префектура, но посетители могут осмотреть двор. Затем их проводят наверх и показывают крошечную семейную часовню с жизнерадостными фресками Беноццо Гоццоли.

Двор очарователен. Тот, кто проходил под его арками во времена Лоренцо, мог увидеть над атриумом сразу двух «Давидов»: один работы Донателло, а другой — Верроккьо. Сад здесь регулярный: клумбы геометрической формы, дорожки с мозаичным рисунком, а в старину здесь были подстриженные кусты и деревья — в форме собак, оленей и слонов. В центре стояла «Юдифь» Донателло. Сейчас она находится на ступенях палаццо Веккьо.

Если вы пойдете во дворец, надеясь увидеть там личные вещи Медичи, то будете разочарованы: даже

следы, оставленные на мраморных ступенях, не имеют отношения не только к старшим, но и к младшим Медичи, так как весь дворец был перестроен, когда в XVII веке здание купила маркиза Риккарди. Все итальянские дворцы рассчитаны на большую семью, но здания не кажутся такими уж и огромными, когда вспомнишь, что селились в них шесть-семь сыновей с женами, детьми и слугами. В старости Козимо горевал оттого, что семья у него маленькая. Сын и внук умерли; в доме остался больной наследник, Пьеро Подагрик, да двое внуков. Слышали, как он как-то вздохнул, пока несли его в кресле, разбитого подагрой, через дворец: «Слишком большой дом для такой маленькой семьи!»

Часовня осталась такой, какой знали ее Медичи. Я присел на сиденье на клиросе, любясь фреской Гоццолли «Три короля на пути в Вифлеем». Репродукцию этой фрески вы увидите едва ли не в каждой книге, посвященной итальянской живописи. Такой же варвар, как тот, кто проделал дверь в леонардовской «Тайной вечере», прорезал и в этой фреске окно и дверь.

Думаю, что это самая красивая процессия на фоне итальянского пейзажа. Три короля направляются в тосканский Вифлеем. Вот они вышли из ворот светлых городов и, спустившись с горной вершины по дороге-серпантину, вместе со свитами проходят через леса с деревьями конической формы, а дорога идет все дальше, взбегаёт на горбатый мост, неспешно проходит по лугу, идет мимо виноградников и кипарисов. Пейзаж словно бы взят из волшебной сказки. Трудно поверить, что здесь кто-либо может быть несчастен.

Путешественники едут в благоговейном молчании. Не нарушает его ни пение трубы, ни нежное звучание флейты. Седла покрыты красным бархатом, всадники держат расшитые уздечки, да и лошади украшены золотом. Один из всадников, спустившись с горы, пускает лошадь в галоп, завидев оленя; другой нагоняет



леопарда. Сокол, что только что убил зайца, стоит чуть ли не под копытами лошадей, а утка плавает в ручье, не обращая внимания на охотников.

Один из троих королей, белобородый старик в темно-красной одежде, едет на пятнистом муле. Другой король — человек среднего возраста с каштановой бородой. Поверх короны он надел шляпу со страусовыми перьями. Он оседлал белого жеребца. Третий — светловолосый молодой человек в роскошном золотом облачении, шпоры и те позолочены. Конь его гордится своим седоком. На картине у людей не видно улыбок, а вот тосканский пейзаж, улыбаясь, смотрит на серьезных паломников, торящих дорогу в Вифлеем.

Гид рассказывал легенду, которую недавно опровергли, о том, что фреска увековечила съезд во Флоренции, а молодой король — Лоренцо Великолепный. Я и раньше-то не очень этому верил. К чему бы семье Медичи увековечивать теологический спор, который так ничем и не закончился? Козимо финансировал его из дружбы к нуждавшемуся папе, благоразумно взяв в качестве залога город Сансеполькро! Думается, что банкиры, привыкшие списывать безнадежные долги, были бы рады позабыть о бесславном том съезде, а не видеть его каждый день в собственной часовне. А гид продолжал рассказывать о том, какое это было великолепное зрелище — встреча представителей греческой и латинской церквей. Гоццоли, вероятно, являлся свидетелем этого события и запечатлел его на своей фреске. На самом деле, ничего великолепного там не было, и жители Феррары, города, где этот съезд начался, очень были разочарованы видом греческих епископов в черных и фиолетовых сутанах и монахов в поношенных серых рясах. Их собственные латинские епископы и аббаты выглядели намного живописнее. Когда съезд переехал во Флоренцию, торжественную

церемонию испортил дождь. Император Иоанн VIII ехал под зонтом по мокрым улицам.

Гид, тем не менее, настаивал на великолепном зрелище. Он сказал, что старый король — это патриарх Иосиф; человек среднего возраста — император; а юноша — Лоренцо Великолепный. С портретом молодого короля на большом абажуре я прожил лет двадцать, и у меня хватило времени задать себе вопрос: неужели человек, видевший посмертную маску Лоренцо, мог вообразить, что грубое, с широкими ноздрями лицо Медичи могло хоть чем-то, даже в самом нежном детском возрасте, напоминать белокурого юношу с фрески? В 1960 году я с удовольствием прочел, что, задумавшись над рассказом, связывавшим фреску Гоццоли со съездом во Флоренции, Е. Гомбрич обратил внимание на французский путеводитель, изданный в 1888 году «Путеводитель по Флоренции». «Желая оживить события туманного прошлого и придать им достоверность, — пишет господин Гомбрич, — туристы и даже историки схватились за эту интерпретацию, не обратив внимания на полную ее невероятность».

Автор далее сообщает, что Гоццоли позаимствовал все эти группы, включая трех королей, из знаменитой картины Джентиле де Фабриано, написанной на тот же сюжет. Картину эту Можно увидеть в Уффици. На картине, датированной 1423 годом — за двадцать шесть лет до рождения Лоренцо, — вы Увидите красивого молодого короля, короля с фрески Гоццоли. Гоццоли, очевидно, был очарован этой фигурой. Он написал его снова в Пизе на фреске, к сожалению, уничтоженной. Хорошую репродукцию с нее можно увидеть в книге Евы Борсук «Фрески Тосканы». Молодой человек изображен с той же коленопреклоненной фигурой, что снимает с него шпоры, как и на картине Фабриано. Гоццоли, кстати, не единственный художник, который скопировал грациозного юношу. Мне кажется, я не ошибусь, если

скажу, что узнал его, как и короля среднего возраста, на очаровательной фреске Фра Анжелико, написанной на стенах кельи святого Марка, той, где Козимо Старший предавался молитве.

Приходило ли кому-нибудь в голову, что «Поклонение волхвов» было, возможно, любимой религиозной темой Козимо? Это можно понять: кто, как не он, даровал церкви столько золота и благовоний? На фреске, написанной Боттичелли, запечатлен и сам Козимо. Он представлен в обликий одного из коленопреклоненных королей. Фреска была написана через несколько лет после смерти Козимо для алтаря церкви Санта Мария Новелла.

Гид закончил рассказ, а я жалел, что нет во мне решительности человека, который из любви к истине забывает о смущении и прилюдно кому-то возражает.

## 8

Церковь святой Аннунциаты стоит на краю площади ее же имени. Если вы подольше там постоите, то увидите такси, из которого выйдут невеста и жених. Войдя в церковь, невеста положит свой букет на нарядный алтарь слева от главного входа. Справа от здания церкви находится самый первый детский воспитательный дом в Европе — «Приют подкидышей». В его саду ковыляют сотни невинных крошек. Они, к счастью, не догадываются о значении букетов невест. Соседство это не преднамеренное, однако заставляет задуматься.

Площадь эта самая красивая во Флоренции. В центре ее конная статуя великого герцога Фердинанда I. Он стал кардиналом, но благоразумно не поспешил с принесением клятвы - поэтому без всяких проволочек сменил фиолетовое облачение на корону Тосканы, когда

его брат не сумел произвести на свет наследника. Он был тем Медичи, который, как я уже упомянул, построил в Риме виллу Медичи и привез во Флоренцию много знаменитых статуй, в том числе Венеру.

Великий герцог сидит на лошади с особой родословной. Изваял ее восьмидесятилетний Джамболонья из турецких пушек. Когда Мария Медичи услышала об этом, то тут же захотела заказать конную статую покойного супруга, французского короля Генриха IV. Опасаясь того, что скульптор не успеет создать такую же лошадь, она хладнокровно сказала своему дяде Фердинанду, что ввиду отсутствия во Франции скульптора, способного на такую работу, просит его прислать ей эту лошадь, а для своей скульптуры изготовить еще одну. Фердинанду это не понравилось. Тем не менее он приказал отлить вторую лошадь из той же формы и отправил ее во Францию. Скульптура упала в море возле Гавра, но была спасена, и ее установили на мосту Понт Неф с Генрихом IV в седле. Внутри памятника положили пергамент с подробностями этой странной истории. К несчастью, во время французской революции лошадь сняли с пьедестала и переплавили на пушку. У более поздней статуи Генриха IV на том же мосту история тоже необычная. Изваяли ее из статуи Наполеона, стоявшей некогда на колонне на площади Согласия.

В церковь Аннунциаты я вошел в очень удачный момент: три невесты, одна за другой, грациозно опустились на колени в белых платьях и положили букеты на усыпальницу легендарной девственницы. Усыпальница оказалась классической ракой, созданной Микелоццо для Козимо Старшего. Сейчас она обвешана жертвенными лампочками, как какой-нибудь греческий алтарь. Жаль, хотелось бы как следует разглядеть классический орнамент. Это единственный памятник во Флоренции, на котором — насколько я знаю — есть

надпись, приоткрывающая размеры благотворительности Медичи: «Один лишь мрамор стоил четыре тысячи флоринов». Звучит она отрывисто и сердито, словно неожиданный стук хлопнувшей крышки. Я подумал, что даже с Козимо трудно было иметь дело, когда речь заходила о деньгах.

Жизнелюбивый гений Бенвенуто Челлини похоронен рядом с этой церковью. Возле его могилы стоишь, как возле давнего друга. Вспоминаешь не только «Персея» и золотую солонку, но и сотню не всегда достоверных историй одной из самых великих автобиографий. Распятая, которое он загодя приготовил для своей могилы — увы — здесь нет. Был это нагой Христос, изваянный из белого мрамора на черном мраморном кресте. Помню, что видел его в Испании в маленькой комнате в Эскориале. Бедра его прикрыты тканью. Мне говорили, что ею заменили носовой платок, которым Филипп II ханжески прикрыл фигуру четыреста лет назад.

Я перешел площадь и оказался возле «Приюта подкидышей». Фасад этого здания вселяет радостное чувство узнавания. В медальонах арок четырнадцать спеленутых младенцев. Позы их слегка отличаются. Каждый ребенок стоит внутри своего небесного круга. Ступени ведут к аркаде, где в укромном углу я обнаружил маленькое окошко, забранное сейчас металлической решеткой, а под ней — цитата из 26-го псалма: «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». В окне когда-то был поворотный диск. На него укладывали нежеланных детей, после чего торопливо дергали за веревку колокола. Происходило это обычно по ночам. Табличка сообщает, что диск этот в последний раз использовали в 1875 году.

Из зала приюта я вышел в сад. Там меня любезно пригласили посмотреть на играющих малюток. Было их там около сотни, в возрасте от четырех до шести лет.

Они бегали и кувыркались на траве, а две молодые нянечки сидели под деревьями, присматривая за ними. Зрелище меня очаровало: такими прелестными были детишки. «Как часто, — подумал я, — ходили сюда Гирландайо и Боттичелли и, конечно же, Верроккьо и Донателло. Стоял, должно быть, с блокнотом в руке и Лука делла Роббиа, когда задумывал группу смеющихся, играющих детей, предназначавшуюся для церковных хоров». Сейчас она находится в музее собора. Вот и сейчас я видел почти идентичную сцену. Когда, улыбнувшись, я подумал, что нашел место, откуда вышли все лучшие ренессансные дети-натурщики, один ребенок споткнулся и упал, но не смог подняться. Молоденькая нянечка подбежала к нему, взяла на руки и, утешая, отнесла в тень под деревьями. Настоящая мадонна Филиппо Липпи.

Я пошел по дорожке и обнаружил, что я не единственный посетитель. На садовой скамейке сидела молодая, хорошо одетая женщина с ребенком. Когда я проходил мимо, она быстро мне улыбнулась, словно знакомому. В первый момент меня удивил ее взгляд заговорщицы, но потом я догадался: она подумала, что я, как и она, пришел сюда усыновить ребенка.

Администратор приюта согласился, что за пять прошедших столетий игровая площадка была самым доступным и удобным местом для художника, изучавшего поведение маленьких детей, однако документы приюта не содержат имена художников, которые, возможно, нашли здесь младенца Христа. Воспитательный дом был построен за счет гильдии торговцев шелком, а двери свои распахнул в 1444 году. В те времена мальчиков-сирот, достигших определенного возраста, отправляли учениками к судостроителям Ливорно. Сейчас Дети, не нашедшие до шести лет приемных родителей, отправляются в религиозные заведения.

Интерьер спроектированного Брунеллески красивого здания отвечает современным требованиям детского приюта. В светлых и жизнерадостных комнатах я увидел совсем маленьких детей. Кто-то из них безмятежно спал, другие требовали к себе внимания и трясли ограждение кровати. Матерям разрешается посещать их. Некоторые даже нянчат здесь собственных детей.

С большим интересом осмотрел я художественную галерею, размещенную в пяти залах. Здесь были выставлены сокровища «Приюта подкидышей». Особенно привлекла меня картина Гирландайо «Поклонение волхвов», датированная 1488 годом, то есть на год позже, чем его же картина, написанная на тот же сюжет и выставленная в Уффици. Сравнив их, я отдал предпочтение приютскому полотну. Особенно понравились мне два восхитительных малыша в ночных рубашках, благоговейно преклонивших колени перед младенцем Христом.

В витрине лежали письма от выдающихся посетителей. Я заметил подписи Гейне, Гарибальди, Лонгфелло, Альма Тадема и благодарственное письмо от Самюэля Смайлса, поздравляющего синьора Де Санктиса с прекрасным пением.

## 9

На мой взгляд, самой непривлекательной статуей Флоренции является памятник Джованни делле Банде Нере на площади Сан Лоренцо. Темпераментный отец Козимо I представлен в древнеримском военном облачении. Сидит он на величественной колонне. Судя по всему, памятник хотели сделать в стиле колонны Нельсона. Однако здесь колонна заканчивается этим воином, у которого такой вид, будто он сдуру забрался наверх, а теперь не знает, как слезть. Хвастливого и

завистливого скульптора, автора памятника, звали Баччио Бандинелли, которого все, кто прочел книгу Вазари, не любят почти так же, как не любил его Челлини. Бандинелли пользовался протекцией великого герцога, вероятно, потому что Бандинелли Старший, ювелир, спас золото Медичи во время ссылки семейства.

Типичная черта Флоренции: в нескольких ярдах от неудачной фигуры находится одна из великих работ Микеланджело — капелла Медичи в церкви Сан-Лоренцо. В этой церкви всех Медичи крестили, венчали и хоронили. Здесь они и лежат начиная с XV и кончая XVIII веком, за исключением двух Медичи, римских пап — Льва X и Климента VII, — все нашли здесь последний приют.

Семью разместили в трех отдельных зданиях: Старой ризнице, Новой ризнице и в Ризнице государей. Плохо, если вам покажут их не в том порядке. Сначала надо посетить Старую ризницу, ее можно назвать красивой парой капелле Пацци. Брунеллески создал ее года за два до капеллы Пацци. Здесь погребены старшие Медичи. Саркофаг Верроккьо показался мне самой красивой ренессансной могилой Флоренции. Затем ступайте в Новую ризницу. Это здание Микеланджело построил по просьбе Льва X. О фантастической привязанности папы к родственникам я уже упоминал.

Как только я вошел в это здание, тотчас почувствовал, будто нахожусь в классическом склепе. Ризница выглядит как древнеримский зал, с окнами и пилястрами, и, хотя подобно всем языческим усыпальницам, маскируется под жизнь, удел ее — смерть. Микеланджело всячески это подчеркивает. Пилястры и другие архитектурные элементы помещения темнее стен, их словно бы окутали траурные драпировки. Здесь тебя охватывает беспокойное и грустное настроение. «Если жизнь радует нас, мы не должны горевать о смерти, ведь ее нам дает тот же



Создатель», — таково было высказывание Микеланджело, однако в архитектуре я не чувствую этого оптимистичного настроения. Усыпальница с траурными пилястрами, печальными, тревожными надгробиями, мрачными статуями в нишах создает ощущение, будто и сам ты находишься в могиле. Я оглянулся по сторонам и с удивлением увидел, что другие туристы деловито листают страницы своих путеводителей, и вид у всех такой, будто они бессмертны.

Вряд ли даже такой первоклассный юморист, как Время, вздумал бы пошутить в этой обстановке, считаю тем не менее черным юмором то, что самые лучшие саркофаги установлены двум наименее выдающимся представителям рода Медичи. Эти молодые люди извлечены были из неизвестности Львом X: папа хотел вдохнуть жизнь в мертвую ветвь семейства. Один из них — внук Лоренцо Великолепного, человек добрый и хороший, однако у власти он пробыл всего лишь год, а потому и не успел о себе заявить. Второй — племянник папы, Лоренцо. Сказать о нем нечего, кроме разве того, что был он отцом Катерины Медичи. Контраст между величием мемориала и тем, что свершили эти люди, удивляет тех, кто знает историю семьи.

Для кого же — невольно спросишь себя — могла быть задумана эта усыпальница? Ответ один: конечно же, для Данте. За год до того, как началась работа над этой капеллой, Микеланджело был одним из авторов письма Льву X, в котором его просили забрать останки Данте из Равенны. Флоренция считала, что имеет на них полное право: поэт должен лежать в «достойной его усыпальнице», которую согласился построить Микеланджело. Но вовремя предупрежденная Равенна выдала им пустой саркофаг, и план провалился. Проект могилы Данте остался тем не менее в голове Микеланджело. Какая часть этого замысла отразилась в

мемориале, созданном для двух Медичи, мы — я полагаю — никогда не узнаем. Во всяком случае, по меньшей мере один посетитель уверен: Новая капелла с Медичи ничего общего не имеет, зато она тесно связана с «архитектурным величием» — слова Дороти Сейерс — с «Божественной комедией».

Ризницу государей советую посетить в последнюю очередь. Здание это можно назвать музеем цветного мрамора: им облицованы стены. Здесь стоят статуи великих герцогов Тосканы. Семья действительно далеко ушла от времен старого Козимо, отца страны, по которой он ходил в красном своем одеянии и разговаривал с каждым встречным, часто давая хороший совет. Эти же спесивые принцы в алых плащах, коронах, со скипетрами в руках принадлежат другому миру. Представляю, как бы усмехнулся старый циник Козимо, увидев их здесь во всем герцогском великолепии!

Редкие посетители видели непарадную сторону усыпальницы — пыльные гробы. Стоят они внизу, в склепе, каждый под своим нарядным саркофагом. Таких полных семейных захоронений, кроме разве могил английских и испанских королей в Эскориале, в мире больше нет. Великие герцоги Тосканы не хотели, чтобы их короновали регалиями предшественников. Чтобы выразиться точнее, скажу: каждый великий герцог был похоронен в собственной короне и со скипетром, так что наследникам изготавливали новые регалии. Огромное количество драгоценностей в склепах Флоренции стало своего рода приглашением для могильных грабителей, ведь такого случая им не представлялось со времен фараонов. В 1857 году правительство решило выяснить, сколько великих герцогов сохранило свои короны и скипетры. Папа Пий IX посетил мавзолей и назначил государственную комиссию. После молебна, в присутствии вооруженной охраны, следившей, чтобы нанятые комиссией рабочие не сунули в карманы

оставшиеся драгоценности, вскрыли сорок девять гробов.

Доклад об этом мероприятии был самой мрачной публикацией правительства, сравнимой с разоблачающими материалами Дина Стэнли о Вестминстерском аббатстве. Когда открыли гроб Джованни делле Банде Нери, кости его лежали внутри знаменитого черного воинского облачения. Врачи, обратившие внимание на то, как была ампутирована его правая нога, не удивились тому, что он скончался. Есть письменные свидетельства о том, что хирурги попросили десять человек держать его во время операции, на что раненый с горькой усмешкой ответил, что и двадцать человек его не удержат, если он будет против ампутации. Его никто не держал, а вскрикнул он всего лишь дважды. Поняв, что не поправится, он воскликнул: «Я не хочу умирать среди этих припарок». Его перенесли на походную кровать, где он и скончался.

Только два гроба не были разграблены, что весьма удивительно, так как французы, оккупировавшие Тоскану в 1801 году, были специалистами в эксгумации. Нетронутые захоронения принадлежали Козимо III и последнему великому герцогу Джану Гастону. В их гробах были и короны, и скипетры, а скелеты были облачены в костюмы великих магистров ордена святого Стефана. Останки Элеоноры Толедской, супруги Козимо I, были мгновенно опознаны по красивому платью из фигурной парчи. Она надевала его двести девяносто пять лет назад, и мы хорошо знаем это платье по ее портрету работы Бронзино, что находится во дворце Питти.

Как и в Венеции, туристы во Флоренции ходят по одним и тем же местам, а потому нетрудно отбиться от толпы. Я обнаружил, что, в отличие от запруженных народом коридоров Уффици, другие галереи и музеи — их здесь около сорока — почти что пусты. Самыми счастливыми моими воспоминаниями являются утренние часы во дворце Питти и послеобеденное время в садах Боболи. Лучше всего о дворце Питти сказал сэр Осберт Ситуэлл. Он назвал его «резиденцией, которую мог бы построить себе морской бог, вы едва ли не ощущаете водоросли, прилипшие к могучим стенам, от которых только что отхлынул океан». Какое точное сравнение: бронзовое кольцо, торчащее из рустованной стены, наводит на мысль не о лошади, а о лодке, да и само здание похоже на прибрежный дворец, и даже камни словно бы тронуты эрозией, вызванной морскими приливами.

Время обошлось с Левиафаном в высшей степени поджентльменски. Выглядит дворец сегодня точно так, как и на гравюрах, сделанных в последние годы тосканского герцогства, когда гренадеры в медвежьих шкурах и офицеры в белых бриджах маршировали на парадах по плацу, а ими любовались джентльмены в цилиндрах, дамы в кринолинах, юные девушки в полосатых чулках и с зонтиками от солнца.

Разница между Уффици и Питти в том, что в первом дворце итальянское искусство представлено с самого начала, расставлено в соответствии с историческим периодом и школой. В Питти такой клинической атмосферы нет, там чувствуешь себя, как в частном доме коллекционера. Помогает такому ощущению обстановка герцогского дворца. Я ходил по нему едва ли не один и любовался не только картинами, но и канделябрами, мебелью, гобеленами, смотрел на разрисованные потолки. В общем, чувствовал себя, как

гость великого герцога, гуляющего по дворцу в то время, как все придворные отправились на охоту.

Возможно, некоторые выскажутся неодобрительно о том, что великие картины развешены на стенах без всякой системы, с одной лишь идеей — украсить помещение и произвести своим богатством впечатление на гостя. А мне так это нравится. Глядя на стены, укрытые картинами с пола до потолка, я думал, что они, должно быть, висят на тех же местах, что и при последнем великом герцоге. Меня радует обилие Тицианов и Рафаэлей в роскошных рамах, собранное в одном помещении. Повесили картины в те далекие времена, когда стоили они в среднем по сто фунтов каждая. Я испытываю чувство глубокой благодарности к Анне Марии: благодаря принцессе последующие поколения сформировали представление о богатстве и великолепии герцогской жизни в XVII-XVIII веках.

Атмосфера дворца Питти приятная и дружелюбная. У зрителей есть время поболтать с вами. Один из них сказал мне, что Медичи держали у себя отряд носильщиков, которые поднимали на стульях посетителей вверх и вниз по мраморным лестницам. Этим можно объяснить явное безразличие архитекторов к мускулам ног обитателей дворцов. Когда ходишь по великолепным комнатам, слышишь вкрадчивое шипение: этим звуком итальянские зрители привлекают к себе ваше внимание. Вас проводят через небольшую дверь в золоченой настенной панели, и вы оказываетесь в мраморной спальне XVIII века и примыкающей к ней ванной. Я видел также несколько проходов, сокращающих расстояние, неожиданные коридоры, потайные двери. Очень удобно для любовников, да и для убийц, и такие сюрпризы есть во всех дворцах.

Я насчитал семь Тицианов и девять Рафаэлей — хотя их может быть и больше — и вышел под сильным

впечатлением от герцогов, кардиналов, принцев и принцесс, серьезно смотревших на меня из золоченых рам. В коллекции я обнаружил двух англичан: один из них — надменный и вспыльчивый молодой человек со слабым подбородком. Написал его Хольбейн. Звали молодого человека сэр Ричард Саутуэлл. Во времена Генриха VIII он унаследовал огромное состояние, а при Эдуарде VI и Марии вел себя тактично и осмотрительно. Хорошим человеком его не назовешь: не тот, кому можно доверять! Второй англичанин, написанный Тицианом, — человек неизвестный, но впечатление производит куда более приятное, да и сам портрет очень хорош. На темном фоне картины мы видим высокого человека с каштановыми волосами. На вид ему лет двадцать пять — тридцать. Черный костюм, белоснежное льняное белье чуть заметно выглядывает на шее и запястьях. В руке он держит пару новых коричневых кожаных перчаток. На мир смотрят голубые глаза умудренного жизнью человека. Предположительно это портрет герцога Норфолкского.

Был здесь и еще один англичанин. Как Оливер Кромвель проложил себе путь во дворец Питти? Это кажется невероятным. Мне говорили, что Кромвель написал римскому папе письмо, в котором заявил, что если тот не прекратит наступления на права протестантов, английский флот войдет в Тибр. Угроза так напугала Александра VI, что преследования прекратились. Находясь под впечатлением от действий Кромвеля, великий герцог Фердинанд II написал протектору письмо, в котором испрашивал позволения написать с него портрет. Кромвель ответил утвердительно и не возражал, чтобы портрет висел в галерее великого герцога.

Никто не мог мне сказать с уверенностью, был ли это тот самый портрет, который вдохновил Кромвеля на знаменитое предупреждение: «Господин Лели, я бы

хотел, чтобы вы использовали все ваше умение, чтобы написать меня точно таким, каков я есть. Ни в коем случае не льстите мне, сохраните все мои недостатки, прыщи, бородавки, иначе я не заплачу вам ни фартинга». Если это тот самый портрет, то Лели уронил себя в глазах одного английского критика. Когда Фрэнсис Мортофт в 1658 году посетил дворец Питти — в этом году Кромвель скончался, — он написал: «Есть здесь также портрет покойного лорда протектора, нисколько на него не похожий».

В памяти моей запечатлелось лицо женщины, Элеоноры Толедской. Портрет ее, вместе с сыном Джованни, написал Бронзино. На Элеоноре платье, в котором ее погребли: зеленоватый шелк прихотливо покрыт выпуклым сложным рисунком из черного и коричневого бархата. У женщины типично испанское овальное лицо с дугами бровей и длинным носом со вздернутыми ноздрями. Выражение капризное, вы не знаете, чего от нее ожидать: в любой момент она может рассмеяться или устроить скандал. Такой неопределенный взгляд вы увидите в Испании на каждом шагу, особенно когда девушки выходят по вечерам на прогулку. Такою была герцогиня, причинившая Челлини много беспокойства. Да и Челлини был человеком жестким. Думаю, он дурно с нею обходился: иногда подхалимничал в надежде, что она замолвит за него словечко великому герцогу, в другой раз выводил ее из себя бестактным комплиментом. Она была дочерью вице-короля Неаполя, и брак ее с Козимо I был счастливым и удачным, однако кончился он трагически. В 1562 году она и двое ее маленьких сыновей умерли от малярии в течение месяца.

Придя в Музей серебра, я обнаружил, что я единственный посетитель. Место это удивительное, в нем полно драгоценных мелких экспонатов, которые имеют привычку исчезать, как бы хорошо их ни

охраняли. Там я увидел выточенную в первом веке из бирюзы и выполненную в виде бюста изящную маленькую голову Тиберия. В XVI столетии один великий ювелир добавил к ней золотой пьедестал. Были там и красивые вазы из горного хрусталя с серебряными ободками, предположительно работа Челлини, а также чаши из яшмы, аметиста, сардоникса и других поэтических минералов, изготовленных для Лоренцо Великолепного. Увидел я и кубки из лазурита и знаменитую камею, для которой — по слухам — Винченцо Росси пять лет вырезал портреты Козимо I, Элеоноры Толедской и их детей. Бородатый Козимо похож в профиль на Эдуарда VII, в то время принца Уэльского, а дети изображены так близко друг к другу, словно стоят они в тесном лифте. Невольно испытываешь сочувствие к Росси, трудившемуся как вол над таким неподатливым материалом. Ювелирное дело представляется мне капризным искусством. Оно интересно как дорогостоящая новинка, забавляющая ненадолго заболевшую принцессу, но античные ювелирные изделия Флоренции производят большое впечатление, особенно если вы живете над Понте Веккьо. Я вспомнил, как много великих художников и архитекторов начинали как ученики ювелиров, сметая золотую пыль.

После утра, проведенного в очередном дворце, я съедал сэндвич в неожиданном месте, например в саду Боболи. Есть там башня, винтовая лестница которой ведет в помещение на самом верху, где молодой человек в белом жакете заведует закусками и холодными напитками. Он быстро приготовит вам отличный бутерброд с ветчиной. Башня появилась во время правления Джона Гастона. В юности он изучал здесь астрономию. Не забуду приятные моменты, проведенные на балконе, и звяканье льда в бокале с апельсиновым напитком, и изумительные сегменты



Флоренции — отсюда можно было разглядеть и окно моего номера, виднеющееся между деревьями.

Сады находятся на холме с обратной стороны дворца, и во время двухчасовой сиесты совершенно пусты. Флоренция закрывает свои церкви и опускает ставни. Мне нравились темные аллеи, обсаженные падубом и кипарисами. Там, словно в шатре, отгораживаешься от раскаленного добела полдня. Сад по-настоящему итальянский: здесь и статуи, и звук воды, капающей в мраморную чашу, и ряды пальм, высаженные таким образом, чтобы в них, как в силки, попадали мелкие птицы. Ящерицы, словно зеленые ремешки, лежали в пыли или на горячих камнях совершенно неподвижно, и лишь слабая пульсация на их горле давала понять, что они живы.

Ипподром с амфитеатром каменных ступеней для тысяч зрителей был местом проведения турниров и свадебных церемоний. Каждая свадьба поздних Медичи праздновалась здесь необыкновенно пышно. Приглашали знаменитых художников, и они придумывали костюмы и декорации. С каким вкусом это все делалось, можно увидеть в Топографическом музее.

Ступени с арены подвели к фонтану, с Нептуном посередине. Он стоит на скале в центре озера. С тритона, которого он держит, медленно стекает вода. Поднимитесь повыше, и вы увидите статую «Изобилие». У этой скульптуры грустная история. Сначала она задумывалась как памятник Иоанне Австрийской, жене Франческо I, но он потерял интерес к скульптуре, когда влюбился в Бианку Каппеллу. Бедная Иоанна, отвергнутая в камне, как и в жизни, стояла много лет среди высокой травы, пока Фердинанду II не пришлось в голову превратить ее в символ своей администрации. Так Иоанна Австрийская стала статуей «Изобилие».

Поднимитесь на террасы — вы будете вознаграждены панорамой Флоренции. С высоты

птичьего полета предстанут перед вами бессмертные купола, башни и причудливая коллекция красных черепичных крыш, не утративших средневекового облика.

Как-то раз, выйдя из сада, я отправился посмотреть на герцогские конюшни и каретные дворы. Стоят они под прямым углом ко дворцу. Приятный старик отворил дверь и привел меня прямехонько в XVII век. Экипажи Медичи выстроились в шеренгу во всю длину зала. Все они сверкали, словно бы дожидались, когда в любую минуту пожелает сюда посольный от великого герцога и распорядится подать карету. Старик открывал дверцы экипажей, опускал ступени и тихонько покачивал кареты на кожаных скобах. Дверью самого дорогого автомобиля можно небрежно хлопнуть, но дверцы этих раззолоченных экипажей можно только закрыть, при этом раздастся четкий сухой щелчок, словно эхо другого, элегантного мира. Больше всего понравилась мне карета Екатерины Медичи. Я представил себе, как ее, словно драгоценность в золотой шкатулке, везли по улицам лошади, позвякивая позолоченной сбруей.

В прошлые столетия гостей водили посмотреть зверинец. Львов держали с задней стороны палаццо Веккьо. Эти животные считались символом республики. Флорентийский геральдический лев Мардзокко до сих пор сидит на пьедестале на площади, держит герцогский щит с флорентийской лилией. Позднее животных перевезли во дворец Питти. Здесь в 1644 году Джон Ивлин купил им баранью ногу. Несколько лет спустя Ричард Лассел говорил, что великий герцог и его свита приходили иногда сюда и смотрели сверху в яму на дерущихся животных. Когда борьба заканчивалась, львов отправляли в клетки «страшная деревянная машина, сделанная в виде зеленого дракона. Ею управлял сидевший внутри человек. Машина катилась на

колесах. В глазницах дракона горели факелы, пугавшие самых опасных животных, загоняя их на свое место».

Приятно сравнить такие моменты с рассказом о жирафе, появившемся во Флоренции в 1488 году. Подарил его городу султан Египта. Флорентийцы полюбили животное за его грацию и мягкий нрав. Им нравилось смотреть, как осторожно берет он у детей яблоки. Пришла зима, и жители обеспокоились за судьбу любимца: жгли костры, чтобы обогреть его, но, к большому горю Флоренции, в следующем году жираф умер.

## 11

Неподалеку от церкви Святой Аннунциаты, на углу виа Джино Каппони, стоит большой старый дворец с каменными балконами и множеством окон. На крыше его установлен железный флюгер в форме флага. С помощью бинокля можно рассмотреть, что флаг этот выполнен в виде букв «C.R.» и даты «1777». Буквы являются сокращением слов «Carolus Rex», а дата — год, в котором принц Чарли Красавец купил этот дом, который стал единственной собственностью Стюартов за более чем сто лет ссылки.

Так как владельцев дома в данный момент во Флоренции не было, я вынужден был удовольствоваться наружным обзором дома и разговором с очаровательным стариком-смотрителем, который словно бы сошел с гравюры XVII века. Он был самым вежливым сторожем из тех, кого я повстречал на своем веку. Пока мы с ним беседовали, я краем глаза заглянул в переднюю и увидел на стене герб Стюартов.

Дворец — самая интересная реликвия Стюартов в Италии. Чарльз прекратил скитальческую жизнь, когда ему стукнуло пятьдесят семь лет. Обосновался здесь с

молодой женой Луизой Стольберг. Сам он к тому времени дошел до нервного истощения и наскучил Луизе воспоминаниями о своих приключениях в Хайленде. Иногда, напившись, он не отвечал ни за слова свои, ни за поступки. Вне дома Чарльза и его жену знали как графа и графиню Олбани. Стоило им войти в дом и подняться по ступеням, и они превращались в короля Карла III и его супругу. Все детали королевского этикета соблюдались неукоснительно. Это было время, когда за Чарльзом каждый день следил сэр Хорас Манн и о наблюдениях своих докладывал британскому Министерству иностранных дел.

Вскоре после приезда супругов во Флоренцию Луиза повстречала красивого и очаровательного молодого поэта, графа Витторио Альфьери. Они полюбили друг друга. Из этого дворца она и бежала от ревнивого мужа, от пьяных его выходок и двадцать лет счастливо жила с Альфьери до самой его смерти.

Покинутый и униженный Чарльз Эдвард сумел тем не менее взять себя в руки и принял самое удачное решение в своей жизни — позвал к себе дочь Шарлотту. В то время ей было около тридцати. Шарлотта была преданной дочерью и очаровательной женщиной. Родилась она в результате романа Чарльза с Клементиной Уолкингшоу. Дочь сумела вернуть достоинство несчастному отцу и внесла спокойствие в последние три года его жизни. Шотландия помнит ее до сих пор и называет красавицей Олбани.

Еще одно здание Флоренции навевает воспоминания о Стюартах. Как ни странно, оно до сих пор является британской собственностью. Это — Британское консульство. А когда-то это здание называлось Дом Альфьери. В этом дворце после кончины в Риме Чарльза Эдварда и поселилась Луиза, графиня Олбани, со своим возлюбленным. Если кому-нибудь сегодня потребуется поставить или продлить визу в паспорте, штамп вам

поставят в маленьком кабинете, где Альфьери когда-то писал свои трагедии. Наверху, в комнатах с расписанными потолками, графиня Олбани, которую кто-то называл королевой Англии, а кто-то — королевой Флоренции, принимала гостей. В ее салоне собирались сливки флорентийского общества и знаменитые гости города. После смерти мужа она утратила интерес к собственной наружности. Некоторые говорили, что она превратилась в угрюмую и неряшливо одетую женщину и вечера ее стали скучными. Тем не менее приглашения ее они каждый раз принимали. На ее надгробии в Санта Кроче герб со львом и единорогом поддерживает достоинство соверена Стюартов.

## 12

Объединение Италии отметили во Флоренции — как, впрочем, и в Риме — архитектурным фанданго. В результате многие прекрасные старинные сооружения были снесены. Во Флоренции, ставшей на короткое время столицей нового мира, пожертвовали городской стеной, со всеми ее воротами и башнями, ради бульвара, который каждые несколько миль меняет свое название. Браунинги и их современники стали последним поколением, видевшим крепостную стену Флоренции. Сооружение имело особое значение для англичан: под его сенью на маленьком кладбище с кипарисами они нашли последний покой.

Если сегодня вы пойдете по бульвару в той его части, где он носит название виале Антонио Грамши, вы заметите посередине дороги приподнятую площадку с растущими на ней Деревьями. Приблизившись, увидите, что дорога почтительно расходится на две стороны, и тогда вы догадываетесь, что это и есть старинное Английское кладбище на площади Донателло. На

кладбище больше не хоронят. Вы стоите и смотрите на кусты, ограды и надгробия. Становится немного грустно, оттого что деятелям Рисорджименто отвели место на островке безопасности.

День был теплый и солнечный. Я шел по отросшей траве среди кустов шиповника и олеандров. Над полевыми цветами порхали желтые бабочки. Поблизости я увидел фигуру, точившую косу, что показалось мне символичным. Первое имя, попавшееся мне на глаза, было: «Артур Хью Клаф, выпускник колледжа Ориэл, Оксфорд. Скончался во Флоренции 13 ноября, 1861, в возрасте 42 лет». В ушах моих зазвучал голос Уинстона Черчилля в один из самых тяжелых моментов войны:

Усталые волны бьются напрасно о берег.  
Они не продвинулись ни на шаг,  
Но оглянись: через бухты и заливы,  
Неслышно подступает могучий океан.  
Неважно, что солнце входит в восточные окна,  
Будет день, будет и свет.  
Тебе кажется, что солнце поднимается слишком  
медленно,  
Но оглянись: на западе уже рассвело.

Слова эти для людей, надеявшихся на скорое вступление в войну Соединенных Штатов, были более чем уместны, хотя от Клафа, казалось бы, менее всего можно было ждать нужного слова в момент кризиса. Он женился на кузине Флоренс Найтингейл, и Флоренция смотрела на поэта как на безотказную рабочую лошадку: заездила почем зря, вовлекая в сомнительные схемы и реформы.

По соседству я увидел могилу другого английского поэта, Уолтера Севиджа Лэндора,<sup>[88]</sup> умершего в 1864 году в возрасте восьмидесяти девяти лет. Человек с

косой согласился, что слова, выбитые на могильных камнях, — позор флорентийским каменщикам. Прошла всего сотня лет, и надпись почти не разобрать. Я полагаю, что Лэндора помнят главным образом по строчкам, которые помещены во многих антологиях:

Я ни с кем не боролся, ибо не было достойного.  
Любил больше всего природу, а после нее —  
искусство.  
Согревал себе руки у очага жизни.  
Теперь она угасает, и я готов удалиться.<sup>[89]</sup>

Лэндор часто прощался сам с собой. Приведенная эпитафия написана была, когда ему было далеко за семьдесят, но он продолжал жить и дожил почти до девяноста. Человеком он был в высшей степени раздражительным, и жизнь его была серией ссор, споров, финансовых конфликтов и клеветнических заявлений, написанных на латыни. Обличительную силу латыни он предпочитал английскому языку.

Нашел я и могилу Элизабет Барретт Браунинг,<sup>[90]</sup> «умершей в 1861 году, в возрасте 55 лет». «Похороны не были впечатляющими, да этого от них и не ждали, — писал американский скульптор Стори, преданный друг Браунингов. — Панихиду служил толстый английский священник, причем так равнодушно, словно считал, что ее прах ничем не лучшего любого другого праха». Рядом с ней могила Изы Блэгден, доброй самоотверженной маленькой женщины, обожавшей Браунингов, а еще в нескольких шагах — могила «Фанни, жены Хольмана Ханта, скончавшейся во Флоренции 20 декабря 1866 года в первый год своего замужества». Подошел я и к могиле Фрэнсис Тrollop —

на камне выбито «Франческа», — умершей в 1863 году в возрасте восьмидесяти трех лет.

Я спросил у человека с косой, много ли людей посещают нынче Английское кладбище. «Нет, — сказал он — случайные посетители, вроде вас. Иногда люди поспешно спрашивают, где находится могила английской поэтессы, подходят к могиле Элизабет Браунинг, иногда кладут цветы».

Беседуя с итальянским приятелем, я ненароком упомянул Английское кладбище. Приятель был знаком с флорентийскими архивами, и мы разговорились о людях, покинувших Англию сто лет назад и осевших во Флоренции. Он рассказал мне о конфликтах Лэндора с городскими властями, о ссорах его с итальянскими мастеровыми. Обо всем этом имелись записи в архивах. Лэндор вел постоянную войну с рабочими, приходившими на виллу, чтобы выполнить ту или иную работу. Одного плотника он так сильно оскорбил, что, когда тот, вернувшись домой, рассказал о своих злоключениях, у жены его случился выкидыш.

Думаю, сейчас мы назвали бы Лэндора шизофреником, ибо в нем сидело два человека: один из них был нежным лирическим поэтом, так сильно любившим цветы, что отказывался их срывать. Другой Лэндор сшиб бы с ног человека, осмелившегося вдеть в петлицу розу! Он обожал детей и животных, и множество паломников приходили на его виллу, чтобы воскурить благовония — в XIX столетии во Флоренции Лэндора знали больше, чем Лоренцо Великолепного. Паломники видели перед собой очаровательного хозяина, вежливого, веселого. Возможно, лучшая история о Лэндоре — это рассказ о том, как он поссорился с поваром. Неожиданно рассвирепев, поэт схватил итальянца — Лэндор был большим, могучим человеком — и вышвырнул из окна, а когда тот



шлепнулся о землю, Лэндор в ужасе воскликнул: «О боже, я совсем позабыл о фиалках!»

Сэр Генри Лэйярд — тот, что оторыл Ниневию, — жил в детстве во Флоренции. Впоследствии он вспоминал странного поэта, внушительную фигуру которого видно было издалека. Он ходил по тосканским холмам, декламируя свои гекзаметры. Помнил он и детей Лэндора, босоногих и диких, одетых, как крестьяне, не признававших никакой дисциплины, до тех пор пока их отец не выходил из терпения. Лэндор считал, что дети обязаны знать греческий язык, прежде чем они научатся говорить по-английски. С женой своей он воевал постоянно. Однажды во время очередной ссоры — Лэндору было тогда шестьдесят лет — он неожиданно собрал вещи и уехал в Англию, где и прожил двадцать три года. Там у него начались неприятности — финансовые, эмоциональные и юридические. Чувства свои он изливал в памфлетах, написанных на латыни, на что ему немедленно отвечали повестками с приглашением в суд. Терпение властей лопнуло, и восьмидесятитрехлетнего Лэндора выдворили обратно во Флоренцию. Собственность свою он давно оставил жене и детям, и они выгнали бедного старика на улицу.

Роберт Браунинг повстречал его, в жаркий день бесцельно бродящего по улицам, привел домой и приютил. «Вскоре после этого Браунинг привез его ко мне в Сиену, — писал Стори, — и более жалкого зрелища я еще не видел. Это был старый король Лир. Он вышел из экипажа и поковылял в дом. Жидкие седые волосы, развевающиеся на ветру, расстроенное сознание — немудрено после всего, что он пережил. Я почувствовал, что это настоящий король Лир».

Лэндор обладал как бесконечным терпением, способностью терпеть боль, так и необычайной энергией. С помощью Стори и Браунинга старик ожил. Иногда он вставал раньше всех в доме, садился под

кипарисом и в рассветных лучах света писал латинские стихи. Вскоре он обрел прежний боевой задор, и очень часто блюдо, которое приходилось ему не по нраву, летело в окно. Однажды, незадолго до смерти, в дом вбежал взволнованный молодой человек с ярко-рыжей шевелюрой. Это был Суинберн. Старый и молодой поэт — представители георгианской и викторианской эпохи — сидели и разговаривали. Суинберн сказал потом, что Лэндор был «живым, блестящим, восхитительным». И добавил: «Я ради него бросил бы все на свете и был бы у него лакеем до конца его дней». Вместо этого он написал стихи, которые до сих пор можно разглядеть на могиле Лэндора:

А ты, Флоренция, в веках  
Как дар бесценный  
Храни его священный прах  
И сон священный. [\[91\]](#)

### **13**

Почему в XIX веке столько талантливых людей покинуло Англию и переехало во Флоренцию? Причиной тому могли быть финансовые и прочие трудности — Лэндор; здоровье — Элизабет Браунинг; желание пожить за границей — миссис Тrollop; вера в слова Шелли о том, что Италия — «солнечный рай эмигрантов». Все перечисленное сыграло свою роль, хотя самой важной и, вероятно, единственной причиной являлась дешевизна тамошнего проживания. Один писатель в 1814 году посчитал, что человек с доходом 150 фунтов в год мог жить в Италии как джентльмен. «Правда, — добавил он, извиняясь, — он не мог держать экипаж!» Фрэнсис Кobb, жившая вместе с Изой Блэгден,

подругой Браунингов, на вилле возле Фьезоле, написала, что, будучи «бедными во Флоренции, мы могли снять очаровательную виллу с четырнадцатью хорошо меблированными комнатами, держать служанку и слугу-мужчину. Слуга покупал нам каждое утро продукты, готовил еду и подавал на стол. Кроме того, подметал полы, открывал перед нами двери, объявлял гостей. Подавал мороженое и чай». Фрэнсис пишет, что счета никогда не превышали 20 фунтов в месяц.

Новая фаза в англо-итальянских отношениях началась с тех пор, как представители среднего класса поехали жить туда, где, как они верили, вечно светит солнце. Тем, кто приезжал промозглой зимой, приходилось столкнуться с периодом акклиматизации. Аристократы прежнего столетия, привыкшие к просторным домам с вечными сквозняками, быстрее смирялись с итальянской зимой, хотя Хорас Уолпол заметил, что так как стены здесь в основном покрыты фресками, «страдаешь еще больше, замерзая вместе с нарисованным мрамором». Англичане привыкли у себя к маленьким комнатам и каминам, и, на их взгляд, итальянским палаццо не доставало «уютa». Миссис Ли Хант, глядя на виллу «с мраморными ступенями и мраморной террасой над портиком», думала: «Это что угодно, только не уют». Генри Мэтью жил зимой в Пизе в доме с «мраморными полами и вечно открытыми створчатыми дверями», при этом он мечтал об «английском вечере в доме с теплым ковром, мягким креслом с подлокотниками и жарко пылающим камином». От своих поклонников Италия пострадала в той же мере, в какой и приобрела. Легенда о вечно прекрасной стране понемногу тускнела, сменившись мечтой об «уюте». Даже леди Блессингтон, жившая на вилле, которая вроде бы должна была ей во всех отношениях подходить, неодобрительно отозвалась о статуях, «осквернявших» фасад. При этом вспоминала «милую

Англию с прекрасными виллами, прячущимися среди тенистых деревьев, опустивших ветви на бархатные лужайки». Больше всего удивило меня пронзительное восклицание Браунинг: «Ох, как бы я хотела оказаться в Англии, ведь там сейчас апрель!»

Новые англо-флорентийцы отличались от путешествующих аристократов XVIII века. Они были беднее как в материальном, так и в моральном отношении, к тому же они не имели ни малейшего желания учить итальянский язык. Так как социальный статус не мог автоматически зачислить их в итальянское общество, то единственные итальянцы, с которыми они общались, были слуги, торговцы и крестьяне. Былое уважение к Италии как к матери искусств сменилось привязанностью, смешанной со снисходительностью. Многие — можно не сомневаться — сравнивали непритязательное очарование Италии с теперь богатой и могучей родиной. Лэндор выражал это новое отношение в своей обычной экстремальной манере. Высказываясь об итальянцах, он гордо заявлял: «Я никого из них не пущу к себе на порог». Однажды он так и поступил: как-то раз к нему в комнату вошел итальянец, который к тому же не снял шляпу. Лэндор его оскорбил и вышвырнул на улицу. Оказалось, что это был хозяин арендуемого им дома. Романист Чарльз ЛEVER<sup>[92]</sup> придерживался тех же взглядов. «Итальянцы лживы по природе, — заявил он, — вся их жизнь — одна большая ложь».

Можно представить, с какой усмешкой народ, всегда умевший подмечать человеческие слабости, смотрел на странных замкнутых людей и как многое прощал аборигенам отдаленного острова, почти невидимого в окружавшем его тумане. Не удивительно, что все они немного сумасшедшие!

Браунинги четырнадцать лет прожили в квартире дома Каса Гвиди. Находится она почти напротив дворца

Питти, и я часто ходил туда через мост Понте Веккьо. Иногда я видел, как английские студенты фотографируют здание, возможно, гадая, какое из окон обрамляло некогда бледное маленькое лицо Элизабет и ее темные локоны. Дом Каса Гвиди до сих пор разбит на квартиры, из окон которых выглядывают жильцы, так же как когда-то Браунинги смотрели на церковь Святой Фелиции.

Мне хотелось, чтобы жилище двух поэтов и идиллическая их любовь выглядели бы внешне чуть привлекательнее. Стихи Элизабет Браунинг не подготавливают человека к заурядному зданию, в котором они были написаны. Путешественник, который не слишком торопится, обнаружит три памятника Браунингам: один — на площади Святой Фелиции. Это мемориальная доска в честь Элизабет Браунинг, «которая сделала из своих стихов золотое кольцо, соединившее Италию с Англией». Другой памятник — бронзовый бюст Роберта — установлен во дворе их дома, а третий стоит на виа Маццетта. Поставила его администрация города, процитировав на английском и итальянском языках строки из стихов Элизабет «Окна Каса Гвиди»:

Прошлым вечером я услышала пение ребенка  
Под окнами Каса Гвиди, что возле церкви!  
O bella liberta, O bella!

Сейчас мы смотрим на чету Браунингов как на людей образцовой морали, выгодно отличающей их от предшественников на итальянской сцене — Байрона и Шелли, но ведь флорентийцы видели их каждый день, и Браунинги казались им, должно быть, такими же сумасшедшими. Интересно, пытался ли кто-нибудь рассказать итальянцу о доме на Уимпол-стрит и

объяснить, чтобы тот понял, почему тридцатипятилетний мужчина, только что обвенчавшийся с маленькой сорокалетней женщиной-инвалидом, расстался с ней у дверей церкви, а позднее, словно молодой любовник, сбежал с нею же, прихватив верную служанку и собаку. Крепко сложенный мужчина, столь заботливо ухаживающий за маленькой женой, должен был показаться итальянцам отклонением от нормы: в Италии очень серьезно относятся к плотской стороне брака. Браунинги и в самом деле были странной парой: здоровый Роберт и эфемерная Элизабет — «бледный, маленький человечек, почти бесплотный», так сказал о ней Хоторн. Фредерик Локер высказался о ней еще жестче: «Локоны, словно обвислые уши спаниеля, и ручонки такие тоненькие, что когда она их вам подает, кажется, что вы держите лапки птенца».

На эксцентричность семьи Браунингов обратили особенное внимание, когда их сыну, Пену Браунингу, исполнилось десять лет, а его все еще одевали, как девочку. Когда поэты шли по улице с этим нелепым ребенком, многие прохожие оглядывались вслед, чтобы рассмотреть вышитые панталоны мальчика и светлые кудри, падающие ему на плечи. Бедный браунинг, понимавший, каким дураком выглядит их сын, ничего не мог с этим поделать. Генриетта Коркран рассказывала о своих детских впечатлениях. В Париже она повстречала Пена Браунинга и обожающую его мать.

«У Пенни, — написала она, — были длинные золотые локоны, а белые панталончики украшены вышивкой. Все это очень меня удивило. Я решила, что он похож на девочку... Сначала обменялись общими фразами, и разговор мне показался страшно скучным и незначительным для таких великих поэтов. Миссис Барретт Браунинг поманила меня пальцем, и я, смутившись, подошла к ней. Что это маленькая, но великая женщина скажет такому ребенку, как я? Очень

скоро я успокоилась. Слабым голосом она сказала: „Вы с Пенни должны подружиться, деточка. Это мой флорентийский мальчик“. Она нежно погладила его голову. „Посмотри, какие у него красивые волосы. Такие золотые. Это потому, что он родился в Италии, там всегда золотое солнце“. Затем она поцеловала меня и вложила мою руку в руку Пена... На протяжении всего разговора миссис Барретт Браунинг обнимала маленького своего сына за шею, а тонкие длинные пальцы перебирали его золотые кудри...»

Когда мать умерла, бедного тринадцатилетнего Пена все еще одевали, что не соответствовало действительности, как маленького лорда Фаунтлероя, и первое, что сделал Роберт, — это изменил внешность сына. «Золотые кудри, фантастическое платье — все исчезло, — писал Браунинг, — теперь у него короткие волосы и длинные, как и положено мальчику, брюки, и он сразу стал обыкновенным мальчишкой». Когда я смотрю на окна Каса Гвиди, то думаю о человеке из этой троицы, долгие годы скрывавшем свои чувства.

Единственным облачком на «шестнадцатилетнем безоблачном супружеском счастье», как выразился Эдмунд Госсе, был интерес Элизабет к спиритизму. Она восставала против «могильного бесчестья», и желание связаться с потусторонним миром привело к встрече с экстраординарной личностью, Дэниелом Хоумом, медиумом. Началось столоверчение, постукивание, левитация, замелькали руки привидений. В XIX веке это увлечение вышло за пределы загородных домов и распространилось на европейские дворцы. Никогда еще обитателей загробного мира не зазывали столь усердно к выдающимся представителям мира живых. На смену оркестрам, звучавшим на королевских приемах, пришли гитары, струны которых перебирали руки призраков. Крутились позолоченные столы, являлись таинственные послания, на диадемах изумленных герцогинь

распускались цветы. Так и осталось неясным, был ли Хоум великим мошенником, как думали о нем Диккенс и Браунинг, или же, как полагали многие ученые, феномен его выходил за рамки законов природы.

Браунинги повстречали Хоума в Лондоне. Ему было тогда двадцать шесть лет, и он только что приехал из Америки. По происхождению он был шотландцем, но детство и юность провел с теткой в Америке. Браунинг невзлюбил его с первого взгляда. Хоум был высок и худ, не слишком красив, хотя голубые глаза многие находили привлекательными. Во время спиритического сеанса рука призрака положила на голову Элизабет венок из ломоноса. «Как это произошло, я не разглядел», — признался скептически настроенный Роберт.

Хоум — к сильному неудовольствию Браунинга — провел зиму во Флоренции. Как-то раз, поздним вечером, когда медиум возвращался на арендованную виллу, кто-то попытался убить его и слегка ранил. Никому не пришло в голову заподозрить в этом Браунинга. Несмотря на отвращение Браунинга к Хоуму, многие важные люди тянулись к медиуму. В Петербурге он женился на крестнице царя. Четыре года спустя, вернувшись в Россию, он проводил спиритические сеансы в Зимнем дворце. Жена его тем временем скончалась, и он женился на другой русской аристократке. В числе самых больших его поклонников был Вильгельм, король Пруссии, ставший потом первым немецким императором. Хоум был рядом с ним во время Седанского сражения и сопровождал германскую армию в Версаль. В письмах Браунинга нет упоминаний о сверхъестественных явлениях: очевидно, тема эта была для него слишком болезненной.



Считается, что Уолтер Севидж Лэндор был самым эксцентричным представителем английской колонии во Флоренции, хотя я отдал бы пальму первенства Сеймуру Стокеру Киркапу. Во Флоренции они поселились раньше других, и в шестидесятых годах лишь слегка уступали в популярности Венере Медицейской. Киркап был искусным художником. Сын лондонского ювелира, он унаследовал приличное состояние, а в Италию приехал по причине слабой груди. Тогда ему было чуть больше двадцати лет. Быть может, я придам бодрости людям с таким же заболеванием, если скажу, что Киркап прожил там в свое удовольствие до девяноста двух лет. Всю свою жизнь он усердно трудился, но интерес вызывал не столько картинами, сколько сам по себе. Состарившегося художника люди называли не иначе, как «милый старый Киркап».

Жил он в старинном здании, что стояло неподалеку от моей гостиницы, однако немцы взорвали его, чтобы затруднить подход к Понте Веккьо. В доме его окружала старинная мебель, картины и книги. Одежду он носил старую и производил впечатление слабого старца. «Длинные белые волосы падали на плечи, — рассказывал хорошо его знавший Генри Лэйярд. — Точеные черты лица, крючковатый нос и яркие беспокойные глаза придавали ему вид чернокнижника», да он и в самом деле занимался спиритизмом и каждый день общался со своим идолом Данте. У него даже был портрет, на котором поэт в загробном мире оставил ему автограф. Когда Киркапу было почти семьдесят, он женился на своем медиуме, красивой крестьянской девушке по имени Регина. Было ей девятнадцать лет. Она поселилась у него в доме с матерью и остальными родственниками. Вскоре на свет явилось материальное доказательство их союза — ребенок по имени Имоджен. «Старый колдун с крошечным ребенком на руках, казалось, сошел с иллюстрации к роману „Лавка

древностей“», — писал Джулиано Артом Тревес в книге «Золотое кольцо» — прекрасном повествовании о флорентийских англичанах.

Лэйярд частенько навещал Киркапа в его башне. Однажды, после долгого перерыва, он постучал в дверь, но никто не откликнулся. Киркап к тому времени оглох и мог узнать, что к нему идут гости, только если замечал, что собаки лают, однако к моменту визита Лэйярда собаки давно уже умерли. Побарабанив в дверь, Лэйярд хотел было уже уйти, как вдруг на пороге появился сам старик. «Со скорбным выражением лица, какого я у него раньше никогда не видел, он молча повел меня за собой», — писал Лэйярд. «В комнате я увидел лежавшую на полу в окружении свечей и цветов Регину. На ней было праздничное платье, на груди крест. Красивые ее черты еще не изменились... Несколько лет спустя, когда Киркапу было почти девяносто, он женился на ее сестре, так как хотел, чтобы она унаследовала небольшую его собственность».

Имоджен тем временем подросла, и духи приказали ей убедить отца прервать долгую связь с Флоренцией и переехать в Ливорно, где, как выяснилось, у нее был любовник. Так как Киркап никогда не задавал «голосам» вопросов, то он послушно переехал, и Имоджен вышла замуж за своего возлюбленного. Киркап умер в девяносто два года, и похоронили его на протестантском кладбище. Насмешливые флорентийцы насмотрелись на эмигрантов с туманного острова, и их не удивило, что старый колдун оказался к тому же и британским консулом!

Новеллист Чарльз ЛEVER почти соответствовал высоким стандартам, которые установили до него Лэндор с Киркапом. Он был большим, с виду веселым человеком. Считали, что он ирландец, хотя родился он в Дублине от английских родителей. Этот, сейчас малоизвестный, писатель сочинял свои романы частями,

как Диккенс. Их до сих пор понемногу покупают: недавно я получил каталог букиниста, предлагавший сорок четыре его романа за три гиней. Когда Лавэр надумал вместе с женой и тремя детьми жить за границей, то сначала поселился в австрийском Тироле, но вскоре решил остановиться на Италии. В один прекрасный день, в 1847 году, Флоренция вообразила, что к ним пожаловал бродячий цирк. На самом деле на пегих пони в город въехало семейство Лавера. Все они были в тирольских костюмах и маленьких шляпах с павлиньими перьями. Очень скоро Лавэр сделался популярной фигурой, его приглашали на все вечеринки, балы, театральные представления и за карточный стол. Вся семья ездила верхом без седла: он говорил, что это полезно для печени. По-итальянски он едва мог сказать одно слово, но был настолько выразителен, что однажды защищал себя в суде и выиграл процесс. Как и большинство юмористов, он терпеть не мог забавных людей.

На публике у него было неизменно хорошее настроение, и он отличался говорливостью, в то время как в частной жизни стоило ему раз в неделю внести плату за жилье, как он впадал в раздражительную меланхолию. Работал он усердно, и его называли Эдгаром Уоллесом своего времени, так как он мог трудиться над двумя романами одновременно. Тот, кто видел его порхающим по бальному залу с женой, в то время в моду вошла полька, не поверил бы, что еще несколько часов назад он писал своему издателю мрачное, ворчливое письмо с требованием денег. Дело в том, что Лавэру приходилось держать экипаж, и каждый заработанный пенни он тут же тратил, хотя платили ему хорошо. Твердый доход от 1200 до 2000 лир в год, что приносили ему романы, следует умножить в шесть, а то и более раз, чтобы сравнить с сегодняшними деньгами. Романы Лавера отличались жизнерадостностью, юмором

и наблюдательностью, но ни его читатели, ни те, кто встречал его за обеденным столом, не могли и представить себе, какой кровью, потом и слезами все это ему доставалось. Позднее он сделался британским консулом в Триесте, месте, которое ненавидел. Там он и умер в возрасте шестидесяти шести лет.

Еще одним писателем, что грелся в Венеции в лучах славы, был Дж. Джеймс, автор сотни исторических романов, из которых не помнят сейчас, пожалуй, ни одного. Следовало бы скорее его, нежели Лёве́ра, назвать Эдгаром Уоллесом своего времени. Он прочитал много исторических материалов и после доброго слова, сказанного ему в юности Вальтером Скоттом, гремя оружием, галопом помчался по столетиям. На создание нового романа ему хватало девяти месяцев, и так продолжалось без перерыва восемнадцать лет. «Азенкур», «Арабелла Стюарт», «Контрабандист» — это лишь часть его романов. Большая часть его произведений написана была по одной схеме и часто начиналась следующим образом: «Однажды вечером, на закате солнца, одинокий всадник...», и все эти романы пользовались бешеной популярностью у читателей. Один поклонник Лёве́ра — это был Лэндор — сказал, что работа автора, «как всегда, чиста, полна надежд, отмечена благородным уважением к женщинам».

Я видел его фотографии: на них запечатлен крупный, грузный мужчина с правильными чертами лица. Отличный костюм, без сомнения сшитый на заказ, но — такова уж особенность старинных фотографий — на всех одежда кажется страшно измятой, словно бы ее обладатель спал, не раздеваясь. Дедушка Джеймса изобрел «порошок Джеймса», знаменитую панацею от всех болезней XVIII века. Умер писатель в Венеции в преклонном возрасте и покоится сейчас на маленьком острове Сан Микеле по пути в Мурано.

Английскую колонию во Флоренции отличают два момента: это большое количество знаменитых женщин — Элизабет Барретт Браунинг, Анна Джеймсон, Фрэнсис Троллоп и Мэри Сомервилл — и возраст, до которого сумело дожить большинство ее представителей. Лэндор дожил до восьмидесяти девяти, Мэри Сомервилл — до девяноста двух, Киркап — тоже до девяноста двух, Фрэнсис Троллоп — до восьмидесяти трех, Томас Августус Троллоп — до восьмидесяти двух. Я не стану упоминать другие группы людей, счастливо доживших до глубокой старости. Возможно, причиной тому был климат Тосканы. Впрочем, что более вероятно, крепких викторианцев не мучили по малейшему поводу доктора, не проводили эксперименты с новым лекарством.

Мэри Сомервилл, признанной самой замечательной женщиной своего поколения, было за семьдесят, когда она в 1851 году появилась во Флоренции. Она приехала вместе со старым, обожавшим ее мужем и двумя зрелыми незамужними дочерьми, соседи говорили, что девушки до абсурда были привязаны к фортепьяно. Жили они на виа дель Мандорла, в доме, с обратной стороны которого у них был садик с цветущими розами. Интеллектуальным превосходством Мэри Сомервилл приводила всех в благоговейный трепет и в то же время удивляла простотой манер и внешности. Все знали ее историю: она была дочерью адмирала, сэра Вильяма Ферфакса Джедборо. В юности она выучилась латыни и математике, а потом, поощряемая мужем, доктором Вильямом Сомервиллом, продолжила свои занятия и в пятьдесят лет сделалась мировой знаменитостью. Флорентийцы никак не могли уразуметь, что приятная маленькая старая дама, ухаживавшая за розами или сидевшая за рукоделием, была автором таких работ, как

«Ультрафиолетовые лучи солнечного спектра», и являлась почетным членом самых знаменитых научных обществ Европы. Чарльз Гревилл первым сказал об этом, когда встретил ее в Лондоне в 1834 году. «Астрономия — столь возвышенная наука, — писал он, — что поневоле ощущаешь собственное ничтожество, когда о ней задумываешься, а потому не можешь не смотреть на тех, кто проник в ее тайны и расширил границы науки, как на людей высшего порядка. Я смотрел на эту женщину с удивлением и не мог поверить своим глазам. Глупо, конечно, так уставиться, только происходило это невольно. Я видел перед собой жеманную, самодовольно улыбающуюся особу. С веером в руке она расхаживала по комнате и говорила всякий вздор. Знать, что труды Лапласа и Ньютона были для нее чем-то вроде давних знакомых, — это не укладывалось в голове». Очень похожее впечатление высказала на следующий год леди Морган. Она также встретила Мэри Сомервилл на одной из лондонских вечеринок. «Миссис Сомервилл показалась мне простой маленькой женщиной, уже немолодой, — писала она. — Если бы мне не представили ее по имени и не рассказали о ее заслугах, то я приняла бы ее за говорливую компаньонку. Таких женщин встречаешь на каждом балу. На ней было бархатное темно-красное платье и маленькая шляпка с красным цветком. Я спросила, как случилось, что она спустилась с небес и снизошла до нас, грешных? На это она ответила, что ей пришлось сопровождать дочь, она танцевала с моей племянницей в той же кадрили».

Очень интересно рассказала о своей встрече с Сомервилл другая умная женщина, американский астроном Мария Митчелл. Тогда она только начинала свою карьеру. На виа дель Мандорла она пришла как почтительный пилигрим. Ее провели в большую комнату с пылающим камином.

«После небольшой паузы я услышала шаркающие шаги, и в комнату вошел очень высокий и очень старый мужчина. На голове у него был красный тюрбан. Приблизившись, он представился: доктор Сомервилл, муж. Женой своей он страшно гордился и постоянно говорил о ней... Миссис Сомервилл вошла в комнату быстрой и легкой походкой и тут же заговорила с живостью молодой женщины. Было ей в то время семьдесят семь лет, но выглядела она лет на двадцать моложе. Пока миссис Сомервилл говорила, старый джентльмен поджаривал на вилке кусок хлеба... В комнате была еще английская дама, разбиравшаяся в искусстве. Она, с говорливостью, свойственной скорее американке, вклинивалась в малейшую паузу и, пользуясь тем, что миссис Сомервилл говорила не так быстро, вставляла замечания о сделанных ею открытиях в своей области. Каждый раз, когда это происходило, старик начинал ерзать, двигал кусок хлеба туда-сюда, словно был недоволен грилем. Когда англичанка перехватила инициативу и начала длинную фразу, он, не выдержав унижения своего идола, подошел к софе, на которой мы сидели, и раздраженно сказал: „Миссис Сомервилл предпочитает говорить о науке, а не об искусстве“».

Упрек этот был сделан миссис Анне Джеймсон, ибо именно она хотела поговорить на интересующую ее тему, возможно, то были легенды о святых.

Когда старый муж умер, а через пять лет за ним последовал и единственный сын, Мэри Сомервилл нашла утешение в работе и выпустила очередной труд — «Молекулярная наука». Было ей тогда восемьдесят пять лет. Такой была удивительная старая дама, чье имя увековечил Сомервилл-колледж Оксфордского университета.

В викторианскую эпоху неблагополучный муж часто становился сильным стимулом успешной женской

карьеры, и это обстоятельство не следует сбрасывать со счетов даже сегодня. Среди флорентийских англичанок можно отметить два хороших примера: миссис Анну Джеймсон и миссис Троллоп. Книги миссис Джеймсон до сих пор можно увидеть в продаже, стоит лишь пройтись по Чаринг-Кросс-роуд. Книги эти в своем роде уникальны. Бывали, конечно, и лучшие художественные критики, но ни один из них не собрал столь большое собрание историй относительно картин и не рассказал их столь занимательно. Будущий автор появился сначала в обличий веселой, разговорчивой рыжей гувернантки по имени Анна Мерфи. Ей повезло: она поехала за границу со своими хозяевами и встретила много выдающихся людей. Брак ее с молодым юристом Робертом Джеймсоном оказался неудачным, и муж уехал в Канаду, где сделал заметную карьеру, став председателем суда в Торонто, а позднее — спикером и членом Кабинета министров. В попытке сохранить брак Анна последовала за мужем в Канаду, но через два года вернулась в Европу и стала профессиональной писательницей.

В середине восьмидесятых годов во Флоренции она достигла пика популярности. К тому времени это была, конечно, уже не рыжеволосая красотка, но, как доказывает рассказ Марии Митчелл, говорливости своей она не утратила. В Риме она устроила экскурсию Натаниелу Хоторну, и он описывает ее внешность следующим образом: «Низенькая, кругленькая, но приятная и доброжелательная; на голове обтягивающая черная шляпка. Волосы, судя по всему, были когда-то светлыми, а теперь почти совсем седые. Я бы ей дал лет семьдесят». На самом деле ей было тогда шестьдесят четыре.

Никто не знал Браунингов лучше, чем миссис Джеймсон. Она была одной из немногих, кого допускали в затемненную комнату на Уимпол-стрит, где Элизабет



Барретт лежала в инвалидном кресле вместе с собакой Флаш у своих ног. Позднее, в Париже, она была изумлена, встретив подругу с Робертом Браунингом. Еще больше удивил ее их рассказ о том, что они сбежали. Слово это всегда употребляют, говоря о юных влюбленных, а не о таких зрелых людях. Будучи заядлой путешественницей и обладавшей организаторскими способностями женщиной, миссис Джеймсон пришла в ужас от беспомощности Браунинга в бытовых вопросах. «Худшего менеджера я еще не встречала». Поэты были рады доверить себя ее опытным рукам. Сначала она отвезла их в Пизу, затем помогла устроиться во Флоренции. Сама жила по соседству, на виа Маджо.

Анна Джеймсон зарабатывала пером на жизнь не только себе, но и двум своим беспомощным сестрам. Компенсацию несчастливому замужеству она нашла в независимости и популярности. У нее было много подруг, прежде всего леди Байрон, а вторыми по значимости — Элизабет Браунинг и Оттиль фон Гёте. Эта властная, трудолюбивая и доброжелательная женщина как-то раз зимним вечером возвращалась из читального зала Британского музея, где писала «Историю Господа нашего», простудилась и умерла в возрасте шестидесяти шести лет.

Неприятности брака миссис Тrollop были другого рода, не такими, что привели миссис Джеймсон к литературной славе. В девичестве Фрэнсис Милтон вышла замуж за вспыльчивого молодого юриста Томаса Тrolлопа. Муж распугал всех своих клиентов и занялся фермерством. О нем говорили как о человеке, которого преследовали неудачи «почти с демоническим упорством». Когда узнавали, что он вложил деньги в предприятие по продаже модных товаров в Цинциннати, сразу возникало подозрение, что добром это дело не кончится. С детской непосредственностью миссис Тrollop поехала в Соединенные Штаты и построила в

Цинциннати склад для хранения этих товаров. Здание это долго еще называли «Глупостью Троллопа».

Тем не менее странные аспекты американской жизни вдохновили Фрэнсис Троллоп на написание произведения, которое читают до сих пор, — это была одна из первых английских книг о путешествиях. Книга эта, отличавшаяся живой, пусть и несколько односторонней наблюдательностью, принесла ей известность и деньги. Когда Фрэнсис вернулась в Англию, Троллоп тут же сбежал на континент, спасаясь от кредиторов. Жена тем временем продолжала писать книги о путешествиях и поддерживала его до самой смерти.

Когда целая семья публикует книги под одним и тем же именем, немудрено запутаться. Так случилось и здесь: миссис Троллоп передала свой живой талант сыновьям — Томасу Адольфусу и Энтони. Книжные магазины скоро наводнила «троллопиана». Когда подсчитали, оказалось, что мать и сыновья произвели на свет триста шесть книг. Энтони обскакал мать на двадцать романов. Он оказался единственным писателем из семьи, книги которого живут до сих пор: культ Барчестера сохранил шесть его романов. В дополнение к писательству он был активным и много путешествующим чиновником почтового ведомства. Я где-то прочел, что именно ему мы обязаны почтовым ящиком.

Когда миссис Троллоп приехала во Флоренцию, ей было шестьдесят три года, и книги ее считались бестселлерами. Старший сын, тридцатитрехлетний Томас Адольфус, решил поселиться вместе с ней в Италии. Мать продолжала производить по роману в году, а сын посвятил себя итальянским сюжетам. Энтони остался дома — налаживать почтовое дело и писать романы о Барчестере.

Поначалу английская колония встретила появление миссис Троллоп с некоторой сдержанностью. Она приобрела репутацию автора, «вставляющего в свои книги людей», и некоторые, в том числе Браунинги, считали ее работы вульгарными, а саму писательницу — человеком, с которым лучше не иметь дела. Тем не менее многочисленные поклонники Троллоп искали с ней встречи и готовы были не увидеть картин Боттичелли, лишь бы взглянуть на своего кумира.

Через четыре года дом Троллопов преобразился: в нем появилась экзотическая женщина, большеглазая смуглая двадцатитрехлетняя Феодосия Гарроу. Она была по-модному слаба здоровьем, отлично говорила по-итальянски, писала стихи и состояла членом «Атенеума». Томас Адольфус, которому на тот момент было тридцать семь, влюбился в нее с первого взгляда. Происхождение Феодосии было необычным. Дед ее женился в Индии на девушке высшей касты, брахманке. Сын их, отец Феодосии, женился в двадцать пять на сорокавосемилетней еврейке, у которой были взрослые дети. Когда родилась Феодосия, ее матери исполнилось пятьдесят девять лет.

Вскоре после женитьбы Томаса Адольфуса и Феодосии решено было купить виллу. Этот приятный дом стал известен в социальной и интеллектуальной жизни Флоренции как вилла Троллопа. Вы можете увидеть его и сегодня на площади Независимости, неподалеку от Центрального вокзала. Здесь и жила миссис Троллоп со своим сыном и невесткой. Заскрипело по бумаге еще одно перо, и чернила Троллопов потекли еще быстрее. Гости уносили с собой воспоминания о мраморных залах, воинских доспехах и майолике, о террасе, на которую подавали холодный лимонад. Пожилая писательница развлекала гостей занимательным разговором, а сын и Феодосия говорили о будущем Италии.

Последовали годы продуктивной работы: романы от миссис Троллоп, иногда по два за год, стихи и статьи о свободной Италии от Феодосии и восхитительные исторические работы Томаса Троллопа, не заслуживающие постигшего их забвения. Как настоящая флорентийская англичанка, миссис Троллоп дожила до восьмидесяти трех лет. Через два года последовала за нею в могилу Феодосия. Будучи не в состоянии жить в доме, с которым связано было столько воспоминаний, Троллоп продал его и переехал в Рим. Администрация города почтила память Феодосии мемориальной доской. Она находится на стене дома, что на площади Независимости. Текст гласит, что писала она по-английски с итальянской душой.

## 16

Незабываемым летним вечером я шел пешком из Фьезоле. Смотрел вниз на оливковые деревья в долине Арно. Купола и башни Флоренции подсвечивали последние солнечные лучи. Небо по краям покраснело, твердо обещая тем самым, что и следующий день будет таким же солнечным, как сегодня. В полях и садах трещали кузнечики, каменные стены сохранили дневное тепло. Я выхватил взглядом собор Брунеллески и башню Джотто. Вдруг услышал негромкое звяканье, глянул поверх каменной стены и увидел двух белых волов с острыми рогами-полумесяцами. Они медленно тянули плуг под оливами. Я окликнул фермера и спросил, что он собирается выращивать. Тот поднял голову, и передо мной предстало худое лицо Козимо Медичи.

— Дыни, — ответил он.

Я навещал двух английских друзей, богатых и пожилых. Они надеялись найти мир в беспокойном мире. Сначала попытались счастья в Южной Африке и на

золотом прииске удвоили свой капитал, но уж очень далеко от Европы. Возможно, Италия станет выходом. Мне, конечно же, хотелось повидать их, но я понимал, что свою проблему им не решить! Мир, если он и есть, можно отыскать лишь в самом себе.

Виллу они сняли под Фьезоле, и была она точно такой, как и в прошлом веке. Английские колонисты не увидели бы здесь ничего нового. То же коричневое здание с центральной башней, сад, окаймленный пальмами, фонтан и двойной ряд лимонов в терракотовых кадках; сарай под черепичной крышей — туда ставили лимоны на зиму. Все было по-прежнему, даже итальянская семья, что прислуживала в доме: дворецкий и мастер на все руки в белой льняной куртке и черных брюках, готовый принять гостей; его полная жена, готовившая еду; темноглазая дочь, работающая по дому. На поверхности все было по-прежнему, а на самом деле — все не так. Взять хотя бы зарплату слугам: Браунинги разорились бы через месяц. Высокая цена за аренду помещения, дороговизна проживания, но — самое главное — одиночество. Не стало английской колонии в старом смысле. Сейчас виллы Тосканы — это престижные дома для богатых предпринимателей из Турина и Милана.

— Думаю, — сказал мой приятель, — когда к следующей весне срок аренды истечет, мы попытаем удачи в Монте-Карло.

Я попрощался с ними, чувствуя, что на Фьезоле опустился англо-флорентийский закат. Однако известное английское перо продолжает работать на этих холмах. В красивой вилле Ла Пьетра, существующей с 1460 года, Гарольд Эктон написал свои известные книги о Медичи и Бурбонах Неаполя. Итальянский сад, заложенный его отцом, — удивительная композиция живой изгороди из пальм, террас, фонтанов, статуй и даже зеленого театра —

заслуживает того, чтобы зачислить его как вклад англичан в ландшафт Флоренции.

На главную дорогу я вышел по крутым и узким тропам, стиснутым каменными стенами. По горным склонам разбросаны были виллы, каждая в окружении высоких кипарисов. С XIX века ландшафт ничуть не изменился. Каким же замечательным был тот век! Флоренции не стать уже той гаванью, которую она была для художников и писателей: обладая небольшими средствами, они жили в довольстве под ласковым солнцем. Возможно, легко сейчас в наше беспокойное время преувеличить достоинства Флоренции XIX века, тем не менее большое количество английских эмигрантов умудрились тогда произвести на свет множество прекрасных произведений, а потом, оглядываясь назад, мы смотрим с ностальгией на то, чего не вернуть.

Характерной чертой того времени была связь Италии с английскими и американскими писателями и художниками.

Первый американский десант в Европу состоял из большого числа культурных и талантливых людей, в особенности скульпторов. Они приехали учиться, чтобы создать памятники, которых Соединенным Штатам в то время явно недоставало. Тогда в Вашингтоне еще не был достроен Капитолий, а в Бостоне работали над расширением Дома правительства. Стране требовались герои из камня и бронзы. Среди самых выдающихся американских скульпторов были Хорас Гриноу, Хайрам Пауэре, Томас Кроуфорд, отец писательницы Мэрион Кроуфорд, и большой друг Браунинга — Вильям Стори. Их сопровождала, если воспользоваться словами Генри Джеймса, «странная сестринская община американских женщин-скульпторов», и это были первые американки, которых увидели итальянцы. «Одна из представительниц этой общины была, если я не

ошибаюсь, — писал Джеймс, — негритянкой, цвет ее кожи живописно контрастировал с гипсом, из которого она лепила. Происхождение способствовало ее славе. Другую женщину называли „чудо-ребенком“, при этом подразумевали не только возраст, но и характер. Дерзко встряхивая кудрями, она выбивала из влюбчивых сенаторов в Капитолии средства на национальные памятники». Та эпоха — канун итальянского национального единства, когда великий герцог Тосканы все еще спал во дворце Питти, а римский папа — на Квиринале, — была такой же выразительной, как и в предыдущее время. Флоренцию все еще окружала крепостная стена, а в Рим, маленький, провинциальный, американские скульпторы экспортировали своих государственных деятелей. Контракты, подписанные в это время, напоминают список пассажиров океанского лайнера — Джошуа Квинси, председатель суда; профессор Генри, Фрэнсис Скотт Кинг и т. д. Ставшие ныне известными, эти американцы, возродясь в итальянском мраморе, вот уже более века смотрят на городскую площадь.

Магию прошлого Браунинг и Стори сохранили скорее в письмах, чем в опубликованных произведениях. Там они делились воспоминаниями о долгих дружеских разговорах, о прогулках в лунную ночь. Читая их, мы ощущаем удивительный мир тишины и душевного покоя. Семьи Браунингов и Стори любили пикники. Жарким летом брали с собой еду и проводили день в горах или возле реки, или в старинном саду, таком как Пратолино возле Флоренции. Гигантская статуя коленопреклоненного Пенино — олицетворение Апеннин — подала Элизабет идею назвать так маленького сына. Самой амбициозной целью прогулок была горная вершина возле Баньи де Лукка. Называется она очень красиво — Прато Фиорито, что значит «Цветущая поляна». Отправлялись туда верхом — на лошади или на

пони. «Здесь мы лежали, разговаривали, смотрели вниз, на громоздящиеся горные хребты», — писал Стори. В другой раз он написал следующее: «После обеда мы сидели на скале возле реки и пели. Я смастерил из камыша трубку и все курил, курил». «Жаль, что Браунинг не курит, — думал Стори. — Это самый большой его недостаток». И снова: «Весь день в тех же лесах с Браунингами. Отправились в десять часов, захватили провизию. Мы с Браунингом подошли к понравившемуся месту, расстелили шали под большими каштанами, читали и разговаривали весь долгий день...»

Генри Джеймс сказал о Флоренции середины XIX века: «Я снова готов жить там с любым старым привидением, стоит ему лишь пальцем поманить». И я его понимаю. Думаю, вряд ли туристы, из тех, что несутся галопом по Европам, Догадываются о призрачных пальцах своих, не столь уж далеких, соотечественников. А ведь они есть, вон они, высовываются из Каса Гвиди, из виллы Лэндора, с площади Независимости, подманивают нас с холмов Фьезоле. Думаю, им следует улыбнуться, когда проходим мимо.



## **Глава одиннадцатая. Холмы и долины Тосканы**

***Башни Сан-Джиминьяно. — Сиена и Палио. — Наука контрады и ее происхождение. — Благословение лошади. — Скачки. — Приключения папы в Шотландии. — Ареццо. — Дом Вазари. — Мадонна Карда. — Лаверна и святой Франциск. — Камальдулы. — Импровизаторы Тосканы.***

### **1**

Над долиной реки Эльзы, на равном расстоянии от Флоренции и Сиены, стоят четырнадцать башен Сан-Джиминьяно. Таких сооружений вы нигде больше не увидите. Называть их средневековыми небоскребами глупо, просто в них отразилось состояние рыцарского общества, находившегося в борьбе с самим собой и с торговыми гильдиями, общества, достаточно мощного, чтобы позволить себе выпад по отношению к противнику. Каждый средневековый город Италии обзаводился ими, но пришло время, и заносчивые аристократы, строившие башни в соперничестве друг с другом, спустились наконец-то на землю, занялись торговлей и обустройством городов. Четырнадцать башен Сан-Джиминьяно — последняя такая группа в Италии, она дает представление о больших городах Средневековья, например Болонье, в которой стояло двести подобных сооружений.

В наши дни башни Сан-Джиминьяно — туристическая достопримечательность, и если в городе существовали следы поздних времен, то все их уничтожили. Я уверен,

что с начала XX столетия здесь ничего не происходило. В последнюю войну немцы два года обстреливали город снарядами 280-миллиметрового калибра, но ни одна из четырнадцати башен не упала! В Соединенные Штаты доложили, что старинный город со всеми произведениями искусства полностью уничтожен. Городу и в самом деле причинен был большой ущерб, однако когда союзники подошли к Сан-Джиминьяно, ожидая увидеть там груды обломков, глазам их предстали четырнадцать башен, целые и невредимые. Как это произошло, я не знаю, тем более что целью бомбардировки являлось уничтожение предполагаемого французского артиллерийского расчета в одной из башен.

В один волшебный день, когда видимость в Тоскане кажется абсолютной, я обозревал окрестности: смотрел на север, в сторону Флоренции, и видел все до самого горизонта, затем оборачивался на восток, в сторону Ареццо. В десяти милях от меня, на вершине горы, словно на троне, блистала Сиена. Прозрачный воздух делал ее такой близкой, что я мог бы выпустить в нее стрелу, забросить на Кампо перчатку или выкрикнуть насмешливое слово, которое там услышали бы и осудили. Подобные мысли вполне естественны в тени этих башен.

Смотрел я и вниз, на страну кьянти, на плодородные холмы над жаркими долинами, тут делают самое лучшее вино. Пьют кьянти, когда ему исполняется шесть месяцев, из бочек, как сидр в Девоне.<sup>[93]</sup> Вы пьете его и понимаете, какую измученную долгим путешествием жидкость продают вам в Лондоне под тем же названием.

Хотя бомбардировки и не разрушили башни, пострадало много старинных зданий и фресок, которыми славился Сан-Джиминьяно. Снаряд пробил «Распятие» работы Варна да Сиена, оторвав от него целый ярд

живописи; «Святой Себастьян» Беноццо Гоццоли пострадал от шрапнели; снаряд прошел «Рай» Таддео ди Бартоло, были и другие потери, но вы никогда бы не узнали о них, если бы вам об этом не рассказали. К счастью, прекрасная картина Гирландайо «Похороны Святой Фины» осталась невредимой.

Это была странная святая, ребенок, бедный маленький инвалид. Будучи парализованной, десять лет пролежала она на деревянной кровати, не в силах защититься от крыс. Не спаслась она от них и в картинных галереях: художники всегда изображали рядом с ней крысу. В Сан-Джиминьяно вам расскажут, что в ночь, когда она умерла, колокола на церкви зазвонили сами собой, а когда тело подняли с кровати, оказалось, что ребенок лежит на мягкой постели из белых фиалок. Говорят, что фиалки святой Фины до сих пор цветут среди камней четырнадцати башен.

Жители Сан-Джиминьяно прекрасно понимают, почему город Святой Фины благополучно пережил бомбардировку.

## 2

Приехав в Сиену за день до Палио, я обнаружил, что остановиться мне негде. Казалось, в древний город съехались все туристы Италии. Я хотел уже вернуться во Флоренцию, благо до нее всего сорок миль, когда меня представили Джулио.

Был он — как мне сказали — «жирафом», то есть жил в контраде Сиены, носившей имя «жираф». К тому же был знаменосцем и преподавателем искусства размахивать флагом. Это искусство, кроме Сиены, вы больше нигде не увидите. Флаг подбрасывают в воздух, а потом ловят за древко. Делают это двое мужчин: они кидают флаги друг другу, ловят их, пропускают между

ног и снова высоко подбрасывают. Этим искусством занимаются во всех семнадцати районах, или контрадах, на которые разделена Сиена. Палио разыгрывается дважды в год — в июле и августе.

Джулио оказался стройным молодым итальянцем с живыми приценивающимися глазами. Он сказал, что нехорошо возвращаться во Флоренцию: пропущу праздник — долго буду жалеть. Начались хлопоты, я познакомился с бесчисленным множеством его друзей и родственников, и в результате нашлась пустая меблированная квартира, в которой я согласился поселиться.

Признаюсь, что был неприятно поражен. Квартира находилась в мрачном доме на одной из самых опасных улиц территории «жирафов». Когда-то дом принадлежал торговцу, потом его разделили на квартиры. По каменной лестнице, в кромешной темноте, словно в трущобном районе Эдинбурга, поднялся я наверх. Каково иностранцу оказаться в незнакомом городе в таком опасном месте! Ощупью нашел дверь, повернул в замке ключ и вошел в квартиру. Я уже ругал себя за легкомыслие: стоило ли из-за Палио подвергать себя опасности? В квартире было темно. Подняв деревянные ставни, впустил с узкой улицы жидкий свет. Оглянулся — я оказался в уютном кукольном мирке, отвоеванном у нелюдимых угрюмых стен. Жеманно щурился купленный в рассрочку мебельный гарнитур, топорщилась кружевная салфетка на пианино. Я опустился на неудобный бархатный диван. Невольно вспомнились аккуратные квартиры, которые устраивают в залитых кровью башнях лондонского Тауэра жены тюремных надзирателей. Удивительно, как какая-нибудь молодая жена умеет повлиять на старое здание, преобразовать его по своему разумению и вкусу. В спальне стояла медная двуспальная кровать и забитый женской одеждой шкаф. Все, что я мог сказать об

обладательнице этого жилища, так это то, что она маленького роста и любит голубой цвет. Я так давно мечтал увидеть Палио, столько лет слушал рассказы тех, кто видел скачки, но и представить себе не мог подобной прелюдии к этому представлению: этот жеманный маленький мирок был примером вранья быта Сиены в Средневековье.

Позже вечером я столкнулся на улице с Джулио, и он представил меня капитану конторы «жирафов». Тот любезно пригласил меня пообедать с ними в канун Палио.

### 3

Когда мы говорим о дерби, то имеем в виду скачки, а не тотализатор. То же и с Палио. Слово это означает приз, который получает победитель скачек. Первоначально Палио означало pallium, то есть плащ из дорогого бархата или фигурной парчи. Сейчас в Сиене так называют шелковое знамя с изображением Мадонны. Аристократы Ренессанса всегда стремились завоевать палио. В качестве примера можно назвать Франческо Гонзага, мужа Изабеллы д'Эсте, Лоренцо Великолепного и Цезаря Борджиа. Эти люди либо участвовали в скачках сами, либо посылали своих лошадей и жокеев на открытые соревнования, проходившие во время религиозных праздников по всей стране. Я ни разу не видел календаря скачек ренессансной Италии, но, должно быть, он был весьма плотным.

Палио в Сиене, конечно же, не те скачки, которые мы все себе представляем. Это бурлеск с примесью жестокости, отголосок комических скачек итальянского Средневековья. Устраивали их в праздничные дни, и были они, что называется, гвоздем программы. В отличие от скачек чистопородных лошадей,

происходивших за городскими стенами, комические соревнования устраивали на улицах. В Риме проводили скачки буйволов, иногда скачки с участием евреев, в Милане бега проституток, во Флоренции выпускали старых кляч, и мальчишки, ученики красильщиков, навьючивали на кляч белье, которое собирались стирать в Арно. Были и скачки бесседельных лошадей. В животных втыкали острые шипы, и это понуждало их бешено нестись по улицам между натянутой с обеих сторон парусиной.

Французское и испанское вторжения XV века прекратили соревнования чистопородных лошадей, но вместе с завоевателями пришли новые развлечения. При испанцах в Сиене сделался популярным бой быков. Зрелище это устраивали на главной площади. Каждая контрада выставляла своего быка, которого с большими церемониями проводили вокруг пьядцы. Контраде приходилось идти на большие расходы, чтобы придумать и построить машину, в которой тореадоры могли укрыться в моменты опасности. В тот век пышности и развлечений машины отличались оригинальностью и красотой. Когда в 1590 году бои быков в Тоскане запретили, началось возрождение старых комических скачек. Чтобы добавить зрелищу красоты, соперничавшие друг с другом контрады организовали процессию машин, хитроумнее и красивее прежних. По названиям этих машин нынешние семнадцать контрад Сиены и получили свои странные имена: Черепаха, Улитка, Дерево, Орел, Волна, Пантера, Баран, Башня, Единорог, Сова, Раковина, Дракон, Гусь, Жираф, Гусеница, Волчица и Дикобраз.

В истинно ренессансной традиции, большинство машин представляли аллегорические композиции. Машина «Дракон» рассказывала историю Кадма. С копьем в руке, на фоне нарисованного на парусине скалистого пейзажа, Кадм стоял возле только что

убитого им дракона. Когда машина приближалась к трибунам, он вырывал у дракона зубы и разбрасывал по сторонам. Машина «Гусь» изображала Рим, предупрежденный капитолийскими гусями о нападении готов. Римские солдаты окружили крепостную стену, на которой стоял гусь. У «Жирафа» в раззолоченной машине стояла модель огромного необычного жирафа. Был он белым с красными пятнами. Аллегорическая «Сова» олицетворяла мудрость и знания. Главной ее фигурой была Минерва, восседавшая на троне среди классических божеств. Впереди шагал мальчик с серебряной вазой, на которой сидела настоящая живая сова.

Очень интересная машина, которую мне особенно хотелось увидеть, была у контрады «Гусеница». Сопровождали машину садовники в зеленых жакетах, желтых бриджах и сделанных из цветов патронташах. На шляпах развевались зеленые и желтые ленты, в центре трехцветного флага — зеленого, желтого и голубого; те же цвета и у нынешней контрады — гусеница на оливковой ветке. Сама машина сделана была в виде сада, со ступенями, ведущими к беседке и фонтану. Машина объезжала площадь, а музыканты, сидевшие в саду на ступенях, играли на различных инструментах.

Вот как получилось, что каждая контрада Сиены носит имя, которым названа была созданная несколько веков назад машина. Цвета и эмблемы, которые носит контрада — последние живые свидетельства праздничного Ренессанса, ставшего прародителем маскарадов и балета.

Некоторые ученые думают, что контрады начались с вооруженных отрядов Средневековья; другие полагают, что они не старше Ренессанса, что начало им положили группы людей, занимавшихся организацией ежегодных праздников. Каким бы ни было их происхождение, ясно,

что основаны они на античных обычаях. Скачки Палио уходят корнями в бурлескные соревнования Средневековья. Жокеи, хлещущие друг друга кнутами, — пережиток античных времен. Самое главное, однако, то, что праздник и скачки устраивают в честь Пресвятой Девы.

#### 4

Бывали моменты, когда я думал, что Сиена — самый красивый город Италии. Флоренция, конечно, ей не уступит, только не стоит их сравнивать. Нельзя же, в самом деле, сопоставлять XIV век и XV! Я приехал, взглянул на вознесшуюся над виноградниками Сиену и увидел само Средневековье. Зрелище это наполнило душу восторгом. Если бы человеку предложили вернуться назад — в XIV либо в XV век, — какой трудный встал бы перед ним выбор. Мне бы, во всяком случае, сделать его было не под силу. Я ходил по узким крутым улицам, мимо старинных дворцов, стоял перед полосатым собором, любовался нежными, тонкими мадоннами Лоренцетти и Симоне Мартини. Пресвятые Девы мечтали, похоже, о Византии. Ну в самом деле, разве не проблема — выбрать век святой Екатерины или столетие Лоренцо Великолепного?

Туристские толпы в Венеции, как я уже отмечал, добавили Пьяцетте живости и пестроты, а вот в Сиене люди заразились лихорадкой Палио и извлекли из прошлого память о жарких городских схватках. Народ гулял, покупал средневековые лакомства — сиенский кулич Пан форте и миндальное печенье риччарелли. Мне оно напомнило маленькие марципановые пирожные святой Терезы, которые готовят в Испании. Рабочие раскидывали по периметру Кампо песок: там должны были пройти скачки.



Собор с утра до ночи был забит народом, по главным улицам города ходили толпы, и я в полной мере этим воспользовался, посещая сравнительно пустую картинную галерею. Я и не предполагал, что получу такое удовольствие. Я увидел великолепную коллекцию, иллюстрирующую развитие живописи, освещенной восходящим солнцем Ренессанса. Каким замечательным городом являлась, должно быть, Сиена для консерватора! И какой революционной, даже богохульной, могла показаться жителю Сиены Флоренция, с приятными ее мадоннами! В Сиене, как и положено городу Мадонны, Царица Небесная всегда леди. Задумчивая аристократка с миндалевидными глазами, мечтательная и грустная, с младенцем на руках и золотым нимбом над головой, она — владычица волшебной страны.

Я шел из зала в зал, любуясь средневековым миром, полным чудес и прелести. Смотрел на изображенные на фресках фигуры: если бы ноги их не стояли на облаках, я и не догадался бы об их небесном происхождении. Это мир, где любая пасущая гусей девушка могла встретить святого или увидеть Царицу Небесную под оливковыми деревьями. В этом мире короли и королевы не снимали короны, даже укладываясь в постель, а ангелы и бесы встречались среди прохожих на узких городских улицах. В то время, когда Уччелло и его современники бились с проблемой перспективы, художники Сиены, жившие в сорока милях от них, все еще писали опрокидывающиеся на зрителя столы и полы. Писали, отвернувшись от Флоренции и обратив взоры на Равенну.

Мне нравилось смотреть на залитую солнцем великолепную площадь Кампо с кирпичным мощением в елочку. Кампо часто сравнивают с раковиной, хотя мне эта площадь кажется похожей на раскрытый веер. Ручка этого веера — палаццо Публико, от него расходятся девять сегментов, образуя огромный полукруг. Каждый

сегмент — чудо кирпичного мощения. Площадь деловито гудела. Плотники забивали последние гвозди в трибуны, заслонившие нижние этажи старинных дворцов — там теперь магазины. По скаковому кругу рассыпали песок — слой толщиной в шесть дюймов. Машины подвозили матрасы: ими блокируют вход на виа Сан Мартино. Это место можно уподобить «ручью Бичера»<sup>[94]</sup> — когда жокеи на бесседельных лошадях огибают площадь и мчатся галопом в этом направлении, лошадь, не знакомая с трассой, выскакивает, как правило, на виа Сан Мартино. Несмотря на принимаемые меры безопасности здесь, как мне рассказывали, нередко бывают несчастные случаи.

Все это, подумал я, навсегда останется со мной: солнце на красных кирпичах высокой башни Манджиа, городская стена с черно-белыми щитами Сиены; разгуливающие по площади туристы и крестьяне; человек, торгующий шарами и сладостями; стук молотков; с хрустом проезжающие по песку машины, груженные тюфяками и досками; маленькая девочка с привязанным к нитке красно-желтым шаром. Девочка засмотрелась на голубей, пивших воду из фонтана.

В 1297 году жители Сиены стояли на этой площади и смотрели на рабочих, приступивших к постройке палаццо Публико, а было это в том самом году, когда английский король Эдуард I увез из Шотландии Скунский камень. С тех пор прошло более шести с половиной столетий. Городские власти по-прежнему занимают бельэтаж этого дворца, а туристам разрешают подняться по каменной лестнице и побродить по расписным залам верхних этажей. Здание фантастическое. Не нашлось на него своего Вазари, который бы, как во Флоренции, его модернизировал: удалил бы со стен рыцарей и дам или убрал чугунные резные экраны и снес неудобные стены. Здесь сохранилась та же обстановка, что была и при

средневековой коммуне. Из комнаты приоров вы смотрите вниз и видите раскрытый веер Кампо с оборкой из старинных зданий. Отвернувшись от окна, любуетесь стенами, расписанными в 1407 году. Часовня, полутемная и таинственная, сплошь покрыта фресками с изображением святых и героев.

Из-под расписных ее арок вы входите в Зал карты мира, впрочем, карты этой давно здесь нет. Тем не менее сохранилась превосходная картина, которую отцы города в 1315 году заказали Симоне Мартини. Он тогда с триумфом вернулся из Авиньона, где встретился с Петраркой и Лаурой и где написал фрески, понравившиеся папе. На картине, которая закрывает всю стену, написана Пресвятая Дева. Она сидит под балдахином, который держат над ней святые. Хотя на картине нет ни короля, ни рыцарей, группа изображенных на ней святых принадлежит к рыцарскому сословию.

Когда Филипп де Комин в 1495 году вместе с Карлом VIII побывал в Сиене, он решил, что город «управляется хуже всех в Италии», что его постоянно «раздирают междоусобицы». Вероятно, он сделал такой вывод, посмотрев на две знаменитые фрески, написанные за сто пятьдесят лет до того художником Амброджо Лоренцетти с целью показать разницу между добрым и дурным правлением. Хотя фреска «Дурное правление» сохранилась не слишком хорошо, можно все же увидеть, что хотел донести до сведения современников Союз торговцев. На фреске «Доброе правление» Справедливость сидит на троне, а окружают ее Великодушие, Умеренность, Благоразумие, Сила и Спокойствие. Над их головами летают Вера, Надежда и Благотворительность. Мы видим великолепную панораму Сиены — площадь, улицы, дворцы и ворота. Люди заняты работой, профессор учит, девушки танцуют, лошади везут товары. В сельской местности, за

городскими воротами, трудится на горной террасе землепашец, крестьяне обрабатывают виноградники, а счастливые охотники занимаются промыслом в горах и на речном берегу. Ну а теперь переводим взгляд на «Дурное правление». Здесь на троне фигура, голова которой увенчана рогами. Одну ногу сатана поставил на черного барана, олицетворение Тирании. В свите, что стоит по обе стороны трона, различаем Жестокость, Предательство, Обман, Гнев, Несогласие, Измену. В воздухе повисли Алчность, Гордыня и Тщеславие. На земле лежит связанная Справедливость. Пейзаж безрадостен: земля голая, поля не обработаны, виноградник запущен, мужчины убиты, а женщины изнасилованы.

Несколько столетий назад, когда люди не умели читать, эти две аллегии были эквивалентны — если использовать современную терминологию — годовой подписке на ежедневную газету. Все это актуально и в наше время. Можно сказать, что картины написали буквально вчера.

Из галереи я унес воспоминание о решительном маленьком всаднике, кондотьере Гвидориччо да Фольяно. В 1326 году его на шесть месяцев избрали командующим, но обязанности свои он исполнил столь хорошо, что Сиена подписала с ним соглашение на семь лет. Изображен он в панцире и маршальской мантии, украшенной черными бриллиантами и зелеными листьями. Иноходец покрыт пышной попоной. И всадник, и лошадь приготовились к решительной атаке, и, хотя мы видим только один глаз лошади, выглядит он очень красноречиво: конь знает, что хозяин потребует немедленной сдачи города. В некотором отдалении виден город, окруженный крепостной стеной. Картина небольшая, но в ней много энергии. Маленькая вооруженная фигурка сжимает жезл и держится в седле столь уверенно, что остается в памяти наряду с

четырьмя другими всадниками Италии. Все они кондотьеры, их имена останутся в истории — Хоквуд во Флоренции, Гаттамелата в Падуе, Коллеони в Венеции и да Фольяно в Сиене.

## 5

Когда в Сиене во время Палио раздается барабанная дробь, люди со всех сторон сбегаются на этот звук. По старым улицам прокатывается эхо, у дворцов такой вид, будто они хорошо обо всем осведомлены, и заранее все одобряют. Оглянувшись, вы увидите в конце улицы человека в красно-желтых рейтузах. Идет он быстро, в руке держит яркий флаг. Это пока еще репетиция, подготовка к Палио. Как-то днем я шел по крутой виа деи Фузари, направляясь к собору, и вдруг услышал дробь приближавшихся барабанов. Выйдя на площадь, обнаружил, что она запружена народом. Все смотрели в одну сторону. На крыльце у западных ворот, в окружении священнослужителей и певчих, стоял в митре и сутане архиепископ Сиены.

Через несколько мгновений я увидел удивительное зрелище. На площадь из темной улицы поднимались четыре белых тосканских вола. Впряженные попарно, они тащили за собой тяжелую повозку. Повозка, дергаясь и скрипя, медленно ползла по мостовой. Рядом шагали молодые люди в одежде 1450 года. Одна половина их рейтуз была белой, другая — черной. Туники стянуты на талии поясом, на головах лихо заломленные фетровые шляпки. Над повозкой реяли знамена и черно-белые флаги Сиены. Из окон повозки высовывалось другие молодые люди в таких же костюмах. Они гордо поглядывали на стоявших в толпе приятелей.

Так я впервые увидел карраччо — священную колесницу Сиены, да и вообще колесницу я видел впервые в жизни. Так вот как выглядели боевые машины Средневековья! Поймите, это же украшенная фермерская повозка, облагороженная сенная телега с ярко окрашенными бортами и изящно вырезанными колесными спицами! На мачте бился длинный черно-белый вымпел Сиены. К середине флагштока подвешен медный колокол. Нарядный юноша то и дело звонил в него, дергая за веревку. Когда колесница поравнялась со ступенями собора, к головам волон подошли четверо пажей в коричневой холщовой одежде, из колесницы молодые люди спустили шелковое знамя. Это и был знаменитый палио. До начала скачек его полагалось хранить в соборе. Затем я увидел предмет, который поначалу меня озадачил. С колесницы его выгрузили несколько юношей. Оказалось, что это — восковая свеча высотой пять футов, подарок церкви от контрады. В это мгновение грянули разом все колокола города. Людям, побывавшим в католической церкви, нравился, должно быть, красивый этот обычай, который христианство позаимствовало у язычества — сжигание свечей возле усыпальниц, — но мне в этот раз повезло особенно: такого подарка собору я еще не видал.

Сиенский собор похож на епископа, который то ли по случаю ограбления на большой дороге, то ли в результате кораблекрушения вынужден был облачиться в восточный костюм. Не может быть на свете ничего более христианского, нежели очертания этой благородной церкви, и ничего более мусульманского, чем горизонтальные переливы полос белого и черного мрамора, которым это здание облицовано. Когда смотришь на него, воспоминания о готических соборах смешиваются с мыслями о Каире и Дамаске, и диву даешься: как попали эти беспокойные чужеродные полосы на холмы Тосканы.

Пока по нефу торжественно проносили палио и свечу, я подумал, что до сих пор не видел еще ни одного собора таким живым. Праздник заключен нынче в храм, а хочется видеть его на улицах — блеск геральдики, великолепии старинных костюмов. Здесь, в Сиене, два раза в год вы можете увидеть роскошное зрелище, которое в других местах земного шара давно уже исчезло.

Во время недели Палио в соборе можно увидеть пол. Покрытие это столь драгоценно, что его накрывают досками, и большую часть года оно скрыто от глаз посетителей. Из двери левого нефа вы пройдете в знаменитую библиотеку, построенную Пием III в память о своем дяде, Пии II, знаменитом поэте, дипломате, а впоследствии — римском папе. Сегодня туда ходят не за книгами, а ради фресок, которые Пинтуриккьо написал между 1505 и 1507 годами. Выглядят они так ярко и свежо, что, кажется, написали их только вчера. Я пришел в восхищение при виде столь живой биографии, изложенной в картинах. Фрески, как я полагаю, причислены к разряду «декоративных», хотя Беренсон сказал о них доброе слово: они обладают «неоспоримым очарованием», и в них отражены процессии и церемонии, совершаемые в «волшебном открытом пространстве». А что может быть лучше для путешествующего понтифика, чем «волшебное открытое пространство», с морем и галерами, маленькими природными гаванями, тем более что оно всегда рядом? Сначала мы видим Пия молодым и красивым юношей, с ниспадающими на плечи светлыми волосами. Он отправляется в путь за своей удачей, потом перед нами уважаемый дипломат и оратор, позднее епископ, благословляющий императора и его скромную невесту, и, наконец, мы видим римского папу.

На любимой моей фреске Эней Сильвио Пикколомини — таково было мирское имя Пия II — на аудиенции у шотландского короля Якова I. Это секретная миссия, осуществленная будущим папой в 1435 году. Об этом приключении он рассказывает в своих «Комментариях», написанных в конце жизни. Его корабль отнесло во время бури к Норвегии, а затем снова бросило в море. Он почти лишился надежды на спасение, когда ветром его прибило к восточному побережью Шотландии. Было это, должно быть, между Норт-Бериком и Данбаром, так как Эней, слабый, окоченевший и босой, прошел десять миль до алтаря Богоматери в Уайтكيرке. Это знаменитое место — источник с чудесной водой — прославилось там с 1294 года, когда графиня Марч, спасаясь и будучи раненной на поле боя при Данбаре, выпила воды и излечилась. К сожалению, будущий папа не говорит, как он попал к шотландскому королю, как достал чистую одежду и был ли тогда король в Эдинбурге или же в Перте.

Пинтуриккьо — Шотландия для него просто название — написал вместо нее итальянский пейзаж. Якова I, скончавшегося, когда тому было чуть более сорока, изобразил седовласым дряхлым старцем. На короле коричневое облачение, колени прикрыты голубым пледом. Сидит он на возвышении, к которому протянут турецкий ковер. У трона стоит толпа шотландцев, одетых по моде ренессансной эпохи. Вы ни за что не отличите их от грациозных итальянцев. Между мраморных колонн — ничего подобного в Шотландии у Якова I замечено не было — мы видим извивающуюся среди спокойных берегов реку. Впадает она в озеро, напоминающее итальянское Лаго-Маджоре. Эней в алом плаще, приняв ораторскую позу, обращается к престарелому монарху. Такой странной картины с изображением Шотландии XV века я более нигде не видел. Чтобы узнать, как в 1425 году выглядела



настоящая Шотландия, увиденная глазами Энея, нужно обратиться к его отчету о проведенной миссии. «Страна эта холодная, — писал он, — там мало что растет, и на большей части территории нет деревьев. Под землей находят сернистые камни, которые они используют для топлива. У городов нет стен. Дома большей частью построены без раствора. Крыши покрыты дерном, вместо дверей — воловьих шкур. Простые люди бедны и грубы, питаются мясом и рыбой, а хлеб считают роскошью. Мужчины невысокого роста, но смелые. Женщины красивы, очаровательны и доступны. К поцелую они относятся спокойнее, чем итальянки к прикосновению руки».

В Англию он решил вернуться, переодевшись купцом. Через Твид переехал в маленькой лодке и сошел в Бервикё. Он постучал в дверь фермерского дома, владелец которого славился гостеприимством. Хозяин послал за местным священником и подал обед. «Подано было много закусок, кур и гусей, но не было ни хлеба, ни вина». Мужчины и женщины, собравшись в доме, спросили у священника, является ли будущий папа христианином!

Обед продлился до второго часа ночи. Священник и хозяин, вместе с остальными мужчинами и детьми покинули Энея, — он всегда пишет о себе в третьем лице, — и поспешили прочь, сказав, что из-за боязни нападения шотландцев укроются в башне. Шотландцы привыкли по ночам при отливе нападать на их территорию. Взять его с собой они решительно отказались, хотя он их об этом очень просил. Не взяли и ни одной из женщин, хотя между ними было несколько красивых девушек и молодых женщин. Они полагали, что враги не сделают им ничего дурного — изнасилование они за вред не считали. Эней остался с двумя слугами, проводником и сотней женщин. Они обошли костер, а потом просидели всю ночь, чистя

коноплю и поддерживая с ним оживленный разговор через переводчика.

Прошло более половины ночи, и две молодые женщины провели Энея — у него уже слипались глаза — в комнату с соломой на полу. Если бы он попросил, они бы с ним переспали: таков уж обычай этой страны. Энею в этот момент было не до женщин: он думал о грабителях. Боялся, что они вот-вот появятся, и отверг предложение негодующих девушек. Он считал, что если совершит грех, разбойники тут же явятся и заставят заплатить штраф, а потому остался среди коз и телок. Животные не дали ему сомкнуть глаз, так как без конца таскали солому из его подстилки. Среди ночи залаляли собаки, зашипели гуси, и поднялся большой переполох. Женщины бросились врассыпную, проводника как ветром сдуло. Похоже, что враг был уже близко. Эней подумал, что если он побежит, то из-за незнания местности станет жертвой первого же встречного. Потому он счел за лучшее переждать суматоху в своей комнате, то есть в конюшне. Вскоре женщины вернулись вместе с переводчиком, сказали, что тревога была ложной: новоприбывшие оказались друзьями. Эней решил, что это ему награда за воздержание.

Не правда ли, странные у папы воспоминания?

Следует, впрочем, сказать, что автор их в то время был веселым молодым мирянином, у него и мысли не было принять на себя священный сан. Прошли годы, и сделавшись папой, он просил людей позабыть и Энея, и его воспоминания, и думать о нем только как о Пие. На фресках, где он тридцать три года спустя изображен уже как римский папа, мы видим бледного старого инвалида, хотя и было ему в ту пору лишь пятьдесят три года. Он страдал плохим пищеварением. Шотландское обморожение привело к хромоте, перешедшей в подагру, мучившую его потом на протяжении всей жизни. На одной фреске он как глава церкви объявляет

о канонизации своей землячки, святой Екатерины Сиенской. Изображен он сидящим на троне, с тиарой на голове и голубым покрывалом на коленях. Кардиналы в красных облачениях смотрят на тело святой. Святая Екатерина лежит на кровати (в то время она уже восемьдесят один год была мертва). Тело облачено в доминиканскую рясу, в руке — лилия.

Жаль, что Пинтуриккьо не изобразил Пия на пикнике или в тени каштанов во время обсуждения деловых вопросов с кардиналами. Он любил и то и другое, ловил такие моменты. В его словах продолжает жить магия прошедших весен. Вот что писал он, пока отыскивал лекарство от своей подагры:

Папа исполнил затем свое намерение: отправился в бани. Наступило самое лучшее время года — ранняя весна. Горы Сиены покрылись зеленью и цветами и радостно заулыбались. На полях поднялись роскошные всходы. Сиенские окрестности неописуемо прекрасны. Пологие холмы засажены деревьями и виноградниками, поля вспаханы, подготовлены к севу. Пастбища и засеянные участки восхитительно зелены, ведь их увлажняют никогда не пересыхающие ручьи. В густых лесах — природных или посаженных человеком — не смолкает птичий хор. На каждом холме жители Сиены возвели добротные постройки. Здесь и благородные монастыри, там живут святые люди, здесь и частные дворцы, построенные, как крепости. По всем этим местам ехал папа, и душа его пела, а бани привели его в полный восторг. Находятся они в десяти милях от города, в долине, две или три стадии шириной, а длиною восемь миль. По долине протекает река Мерса. Она никогда не пересыхает, и в ней

водятся угри, хотя и маленькие, но очень белые и сладкие. Вокруг бань стоят простые дома, используемые как гостиницы. Здесь папа провел месяц, и хотя купался он дважды в день, ни разу не забывал о своих обязанностях. Около десяти часов вечера шел в луга и, сидя на берегу реки — трава здесь самая зеленая и густая, — выслушивал посланников и просителей. Каждый день жены крестьян приносили цветы и разбрасывали их по тропе, по которой папа шел в бани. Единственной наградой для них было разрешение поцеловать папе ноги.

Мысленно представляя себе эту картину, гулял я по крепостному валу Сиены, смотрел на волшебный пейзаж. Человек до сего дня ходит по той же земле, что написана на фреске «Благовещение», и бутерброд свой съедает подле реки, которая, как знает всякий, кто когда-либо посещал картинную галерею, устремляется в Вифлеем.

## 6

Температурная кривая Палио с каждым днем поднималась на несколько градусов. Нет, с каждым часом! Настал судьбоносный момент: контрада из стеклянной банки — о мошенничестве не может быть и речи — тащила билетки с именами лошадей. Животных выпрягли из повозок и ради праздника освободили от ежедневных обязанностей. Хотя и мало походили они на скаковых лошадей, некоторые, без сомнения, на опытный взгляд, были лучше таковых. Когда контрада вытягивала то, что считалось «хорошей лошадей», раздавались радостные возгласы, мужчины пускались в пляс и обнимали ее. Если по жребию контраде

доставалась «кляча», слышались горестные стоны, и люди оскорбляли несчастное животное. Под вечер проходил пробный забег: вокруг Кампо галопом неслись бесседельные лошади с прильнувшими к ним жокеями.

Во время пробного забега я встретил Джулио. Тот был вне себя от счастья: «жирафам» досталась хорошая лошадь.

— Теперь, — шепнул он, — нужно проявить осторожность: надо проследить, чтобы нашего жокея не подкупили, с тем чтобы он проиграл скачки! Все знают, что контрада «Гусь» вытащила билетик с фаворитом, а потому две соперничающие контрады планировали разрушить ее шансы.

— Каким образом? — спросил я.

— О, да есть разные способы! — ответил Джулио. — Лидирующего жокея можно, например, ударить хлыстом. Плеть эту делают из воловьей шкуры, и его имеет при себе каждый жокей, но не для того чтобы стегать свою лошадь, а для соперника. Можно договориться с жокеем, и он сбавит скорость.

Тут Джулио сделал быстрый жест, типичный для жителя Средиземноморья: тихонько потер большим пальцем об указательный, намекая на деньги.

Я давно подозревал, что Палио отражает итальянский склад ума, и получил тому доказательство, однако не стал напоминать Джулио, что махинации не вяжутся с чествованием Пресвятой Девы.

Настал канун Палио. Я шел на обед к «жирафам» и обнаружил, что заблудился в лабиринте улиц средневековой Сиены. То и дело останавливался и при свете фонаря пытался расшифровать запутанную карту, которую нарисовал для меня Джулио. Могу ли я спросить дорогу? А что если я оказался на территории вражеской контрады? Это вполне могло произойти. С севера от «жирафов» находился район «гусениц», а с юга — «сов» и «единорогов». К счастью, в это мгновение

я услышал голоса бражников, заглянул в слегка приоткрытую дверь и увидел Джулио. Он разливал вино.

Обед устроили под виноградными лозами на конном дворе. Пол засыпали опилками. Столы поставили в форме буквы «П». На белых скатертях горели масляные лампы. Столы были накрыты, как в ресторане. Несколько слегка подвыпивших знаменосцев стояли кружком и пели. Джулио подал мне бокал кьянти. Разговаривая с капитаном контрады, я услышал позади себя приглушенный стук и, оглянувшись, увидел, что стою возле двери в конюшню. Капитан, решив, что мне хочется увидеть животное, на которое возлагала надежды вся контрада, попросил одного из сторожей открыть верхнюю половину двери. Внутри я увидел маленького кряжистого конька. Тот мирно лежал на охапке соломы. Перед алтарем Мадонны горела электрическая лампочка. Лошадь посмотрела во двор, и знаменосцы, вновь наполнив бокалы, торжественно провозгласили тост в ее честь.

Затем все расселись, и священник произнес молитву. За главным столом сидели председатель контрады, капитан, несколько почетных гостей и маленький сицилиец в красно-белом костюме «жирафов». Это был фантино — жокей. Мне сказали, что жокей он хороший, но и дорогой. Во время Палио он зарабатывал деньги, дающие ему возможность безбедно жить до следующего года.

На стол явились тарелки с салями и ветчиной, за ними последовали большие миски со спагетти. После мы отдали дань холодным жареным цыплятам, салату, торту и персикам. Кьянти наливали из бочки и щедро обносили им всех присутствующих. Знаменосцы пели на протяжении всего обеда. На них зашикали, когда председатель поднялся для произнесения напутственного слова.

Джулио пригласил меня на следующий день в церковь. Там должны были благословить лошадь. Возвращался я по самым зловещим улицам Европы. Свернул не в ту сторону и вышел за территорию «жирафов», потому что оказался рядом с другими пирующими. Были ли они «совами», «гусеницами» или даже «единорогами», этого знать я не хотел. Таково уж чувство причастности к определенной фракции. Во время Палио поселяется оно и в груди постороннего: я развернулся и, крадучись, постарался как можно быстрее выбраться на главную улицу.

На следующий день я пришел к церкви Санта Мария делла Суффраджио. Священник, с которым я познакомился на обеде, провел меня по церковным помещениям и показал гардероб «жирафов». Стекланные шкафы выстроились вдоль стен одной из комнат. В прозрачных полиэтиленовых мешках, уберегающих от моли, висели сшитые из дорогих тканей красно-белые костюмы контрады. Были здесь и кожаные сапоги, перчатки, рейтузы, расшитые пояса, сабли, Щиты и воинские доспехи. Все тщательно вычищено щеткой, отглажено и — в случае необходимости — подвергнуто химической чистке.

Церковь была маленькой, без нефов. Ковры с полов сняты. Священник сказал мне, что когда лошадь во время благословения ведет себя «нетрадиционно», это считается благоприятным знаком. Одни лошади стоят спокойно, когда на них брызжут святой водой, другие возражают. Пока мы беседовали, церковь заполнилась народом. Затем послышался приближающийся бой барабанов и цокот копыт на мостовой. Жокей ввел в церковь лошадь. Ризничий зажег на алтаре свечи, вперед вышел священник в епитрахили. Он посмотрел на лошадь и стал читать молитвы. Животное вело себя хорошо, спокойно слушало каждое слово. Затем священник, начертав в воздухе крест, осторожно

приблизился к лошади и сказал на латыни: «Да примет это животное Твое благословение, да сохранит его в своем теле, да обойдет его зло, да пребудет с ним святой Антоний через Христа, Господа нашего. Аминь».

Взяв кропило, он брызнул несколько капель на лошадь и на жокея. Животное стояло спокойно. Во всех девяти соперничающих контрадах Сиены звучали такие же благословения. Все зависело теперь от воли Небес и... от махинаций.

## 7

Палио — наконец-то! Явилось оно за несколько часов до заката, когда жара пошла на убыль. Я стоял возле окна, напротив места старта, и видел запруженную площадь. Вот уж действительно яблоку негде упасть. Если бы кто-то потерял сознание, точно бы не упал: так плотно все стояли друг к другу. Пришлось бы тогда беднягу переносить над головами. Трибуны, разумеется, тоже были полны. Из каждого окна свешивался красно-золотой флаг.

Солнце освещало красные кирпичи башни Манджиа и Палаццо Пубблико. Над каждым окном старого здания — черно-белые щиты Сиены, точно такие, как на картине Сано ди Пьетро «Проповедь Святого Бернардино». Чувство ожидания вибрировало в воздухе. На башне Манджиа звонили колокола. На фоне неба качалась крошечная фигурка звонаря. В Сиене говорят: если ветер дует в правильном направлении, колокол Манджии можно услышать и в Риме. Колокол никогда не раскачивают автоматически, только вручную. Отдаленный бой барабанов усиливал волнение. Мне казалось: вот-вот развернутся знамена, и все мы строем двинемся на Флоренцию!



Дружно запели трубы: на внешний круг Кампо вышла самая живописная и романтическая процессия, какую еще можно увидеть в современном мире. В параде принимают участие все семнадцать контрад Сиены, но только десять, избранных по жребию, участвуют в последующих скачках. Сначала появились двенадцать трубачей коммуны. На них были черно-белые рейтузы и красные туники; с каждой трубы свешивался флаг, объединявший в себе черно-белый флаг Сиены и флорентийский красный флаг с геральдическим львом Марцокко. Позади ехал всадник с черно-белым флагом коммуны. И тут же зарябило в глазах: на солнце вышли тридцать шесть знаменосцев из поместий и замков республики. Следом понесли свои флаги торговые гильдии — аптекари, торговцы шелком, художники, кузнецы, каменотесы (но где же тогда бессмертные каменщики?). Прошли гильдии — в шлеме и кирасе выехал на иноходце капитан контрады, впереди шел паж, нес шпагу и щит капитана.

Больше всего поразила меня серьезность, с которой участники парада относились к церемонии. В Англии люди приходят на такие празднества с улыбкой: смешно ведь, в самом деле, когда современные люди выступают в роли далеких своих предков, а вот в Сиене большая часть мужского населения с легкостью погружается в XV столетие. Я не заметил ни одного юноши или мужчины, который чувствовал бы себя неловко и неуместно. С картинными галереями, судя по всему, серьезно проконсультировались. Я увидел здесь фигуры, напомнившие мне картины Мантеньи, Карпаччо и Пизанелло. Хотя, как я уже сказал, не было ни одной фальшивой ноты, я все же заметил, как один из герольдов украдкой взглянул на наручные часы.

Каждую из семнадцати контрад выводил на площадь барабанщик, за ним шагали два знаменосца, следом в сопровождении тяжеловооруженных всадников и пажей

ехал на коне капитан контрады в полном боевом облачении, а за ним — снова знаменосцы. Замыкал шествие жокей на парадной лошади. Позади него вели покрытого нарядной попоной коня, который должен был участвовать в скачках.

Человек, стоявший рядом, сказал мне, что если лошадь контрады погибнет во время пробного забега — а такие случаи бывают, совсем недавно лошадь сломала ногу, и ее пришлось пристрелить, — то контрада уже не имеет права тащить жребий, а проходит по площади с задрапированным барабаном и с траурным крепом на шлемах. Копыто погибшей лошади один из участников скорбно несет на серебряном блюде.

Каждую контраду легко можно было узнать по флагу, цвета его повторялись и в великолепных костюмах ее членов. «Орлы» несли желтый флаг с черными и голубыми полосами. На этом фоне изображен был черный двуглавый орел императора Карла V. Туники этой контрады были желтыми с черной и голубой каймой. Желтыми были и штаны в обтяжку. Икра левой ноги окантована двумя голубыми полосками. У «улиток» флаг был красно-желтым с бледно-голубым кантом, туники — красного цвета с широкими прорезными рукавами. Рукава отвернуты, чтобы видна была бежевая подкладка. Одна нога желтая, другая — в желто-красную полосу. «Дикобразы» несли белый флаг с черными, красными и синими полосами. Туники — в тон этим цветам. Одна нога у них была красной, другая — черно-белой. На головы в кудрявых париках надеты шляпки в форме пирожка — их часто видишь на портретах XV века. С гордостью смотрел я на «жирафов». Промаршировали они с флагом в красно-белую клетку, костюмы выглядели на них отлично: расшитые серебром красно-белые туники, красные шляпы оторочены белым мехом. Джулио — в светлом

парике — гордо держал перед собой флаг. Казалось, он сошел с фрески Пинтуриккьо.

Искусство его произвело на меня большое впечатление. Когда контрада поравнялась с моим балконом, барабанщик ушел внутрь колонны и выбил дробь — сигнал для контрады остановиться и продемонстрировать шандиерата — искусство размахивать флагом. Джулио и его напарник повернулись друг к другу лицом, подбросили флаги в воздух футов на тридцать и поймали их за древки. Похоже, это показалось им слишком просто: они повернулись спиной к падавшим флагам и снова их поймали. Затем они прокрутили их между ног и бросили друг другу. Их разделяло расстояние в двадцать футов. Я перевел взгляд: Кампо окружили взлетающие флаги. Все контрады остановились в этот момент, демонстрируя свое искусство.

Очаровательно выглядели юные пажи. Создав двойную цепь, они встали плечом к плечу со сплетенной из вечнозеленых растений веревкой. Так отделили они десять соревнующихся контрад от тех, кому в скачках участвовать не придется. Я удивился, увидев шесть рыцарей в боевом облачении, ехавших верхом с опущенными забралами. Мне сказали, что они представляют шесть мертвых контрад: «Медведя», «Гадюку», «Льва», «Петуха», «Меч» и «Дуб». «Если контраде в течение пятидесяти лет не удастся завоевать Палио, — объяснил кто-то, — она должна умереть».

Парад занял два часа. Затем наступил великий момент: под колокольный перезвон на площадь въехала священная колесница. Ее тянули четыре белых вола. Впереди развевался палио — длинное шелковое полотнище с вышитым на нем в овале изображением Пресвятой Девы. Запели трубы, зазвучали фанфары,

зазвонил колокол, загремели барабаны. Белые волы, легонько покачиваясь, невозмутимо шли вперед.

Когда с площади ушла последняя контрада, десять грубых лошадок, каждая со своим жокеем, подлетели к стартовой веревке. На жокеях были шлемы и костюмы цветов своей контрады. Каждый наездник сжимал в руке кнут, тот самый пресловутый нербо. Согнувшись над холками лошадей, жокеи свирепо поглядывали друг на друга. Толпа, которая уже два часа редела и успела охрипнуть, теперь словно сошла с ума. Раздался хлопок, и из старинного стартового пистолета вырвалось черное облачко дыма. Вербка упала, и лошади сорвались с места, одна помчалась не в ту сторону. Жокеи заработали кнутами. Они завернули за угол и помчались под гору по виа Сан Мартино. Раздался крик — две лошади умудрились врезаться в тюфяки, и ездоки распластались на песке. Восемь жокеев продолжали скачки. Шум стоял невообразимый. Впереди скакал фаворит. Я озабоченно искал глазами «жирафа». Маленький сицилиец вел себя по отношению к противникам жестко: охаживал кнутом любого жокея, пытавшегося его обойти. Одна лошадь неслась галопом без седока. Вдруг прямо подо мной начался переполох. Одна из лошадей врезалась в толпу, сбив с ног нескольких полицейских и многих зрителей. Жокей свалился на землю, а толпа, перескочив через барьер, принялась бить его и пинать ногами. Несчастный человек пытался руками защитить голову, а обидчики продолжали колотить его палками, кулаками и ногами.

— Они говорят, что он нарочно это сделал! — закричал мой сосед. — Они хотят его убить!

Потом я услышал, что соперник подрезал ему уздечку. Старый трюк! Победившая контрада от радости сошла с ума. Они целовали и жокея, и его лошадь. Подняли жокея на плечи и, если бы смогли, сделали бы это и с лошадью.

На Кампо вспыхнули споры и ссоры, которые не смолкнут до следующего Палио. Из хаоса злобных нападков и брани победители — ими стала контрада «гусей» — степенно прошли к священной колеснице, где городская администрация вручила им палио. Когда я смотрел на триумфаторов, на озаренные блаженными улыбками лица и светлые, падавшие на плечи волосы, мне казалось, что я вижу картины Дуччо или Лоренцетти.

С большим трудом пробился я к Палаццо Пубблико и увидел жарко споривших «жирафов». Джулио побелел от ярости.

— Эти паршивые «гуси»! Вы видели, что они сделали с лошадью «жирафа» на втором круге?!

Я предпочел уйти от разговора. Оглянувшись по сторонам, увидел мечи, шлемы и знамена, сложенные в склепе городской ратуши. Неподалеку готовились жарить вола. Сердце его уже насадили на вертел.

Весь вечер на улицах били барабаны. Мне сказали, что драк в этот раз случилось намного меньше обычного.

## 8

Квартиру свою после Палио я сдал и перешел в отель в контраде «гусей». Оттуда недалеко было и до старого фонтана Фонте Бранда, и до церкви Святого Доминика, и до дома святой Екатерины. Носильщиком в гостинице был счастливый «гусь», лицо его так и сияло, а вот официант шепотом признался мне, что он — «орел», жена его — «гусеница», и сейчас они в ссоре.

Дом, в котором родилась святая Екатерина, находился в ста ярдах от нынешней гостиницы, в лабиринте крутых улиц. На холм карабкаются красные черепичные крыши. На самой вершине стоит собор. Мне кажется, что это — самое красивое место Сиены. Улочки

остались такими, какими знала их в XIV веке святая Екатерина. Должно быть, и ступени, ведущие к ее дому, те самые, на которых она, будучи ребенком, преклонив колени, славил Пресвятую Деву. Известно даже место, где она стояла в долине Фонте Бранда. Подняв голову, увидела вдруг Христа. Он сидел на троне, над церковью Святого Доминика, и улыбался ей с небес. Екатерине было тогда шесть лет.

Много духовных восторгов испытала святая Екатерина в том высоком храме. Однажды утром бродил я вокруг сложенного из красного кирпича здания и все не решался пойти и взглянуть на череп и палец святой, которыми как величайшей реликвией владела церковь и о чем с гордостью объявляла на трех языках. Интересно, что сказала бы об этом сама святая Екатерина, ненавидевшая, презиравшая и подавлявшая свою плоть, жившая лишь духовными помыслами. Иногда после причастия она несколько часов пребывала в трансе. Екатерина способна была жить на святых дарах, так как желудок ее не принимал другой пищи. Как и многие святые, она стыдилась собственной эксцентричности и иногда, дабы избежать досужих разговоров, пила на людях воду и съедала несколько ложек еды, но при этом испытывала огромные физические страдания. Она сказала своему духовнику и биографу Фра Раймондо, что труднее ей было не спать, чем не есть. И все же подавила она и эту «слабость»: за двое суток спала лишь полчаса, все остальное время проводила в молитвах.

Полный рассказ о ее аскетизме приводит в изумление. Она наказывала себя, если испытывала страх или отвращение. Умерла она в тридцать девять лет от полного физического истощения. Это маленькое бедное тело, как сказал о ней один из ее последователей, вело переписку с папами, императорами и королями. Благодаря ее моральной силе произошло великое

историческое событие — возвращение папства из Авиньона в Рим.

Мне показали ее голову за позолоченной решеткой. Полагаю, это не подделка, так как имеется свидетельство о том, что перед похоронами Екатерины в римской церкви Санта Мария sopra Минерва, там, где и сейчас под алтарем лежит ее тело, вернее, то, что от него осталось, Фра Раймондо послал в Сиену эту реликвию вместе с пальцем. Череп склеили пластырем, но выглядит он не так ужасно, как находящийся в этой же церкви скелет Андреа Галлерани с искусственными цветами в ушах.

Более приятным я счел единственный прижизненный портрет святой Екатерины, написанный ее последователем, художником и политиком Андреа ди Ванни. На старинной доске шесть сотен лет назад написана бледная, призрачная фигура в доминиканской рясе с лилией в сгибе левой руки. Правой рукой она благословляет коленопреклоненную женщину. Потрескавшаяся краска сохранила свет души в странном, углубленном в себя лице святой, в нем чувствуется нечто нереальное, печальное и глубоко трогательное. Я читал, что великие ученые и теологи того времени пытались иногда развенчать ее, найти в ней какие-то недостатки, но стоило им повидать ее, поговорить с ней, и они убеждались в ее святости.

Дом из красного кирпича, в котором родилась святая Екатерина, находится совсем рядом. Сейчас из него сделали несколько часовен. Изменять его облик начали еще во времена Ренессанса: пристроили очаровательную маленькую лоджию к первому этажу. Отец был преуспевающим красильщиком, и дом ему требовался большой, потому что Екатерина была его двадцать пятым ребенком. Жаль, конечно, что дом изменился, хотя мне показали маленькую келью, где в детстве спала святая и где она молилась. Родители ее были

убеждены в том, что дочь их слышит неземные голоса. Показали мне флакон с Уксусом: она пользовалась им, когда ухаживала за чумными больными. Сохранилась ручка от трости, кусок власяницы и ткань, в которую завернули голову, присланную из Рима.

Будучи человеком земным, я чувствовал, что соприкоснулся с чем-то непостижимым, и в то же время испытывал странный восторг, словно стоял рядом с мощным источником божественной силы на пороге постижения тайны.

Некоторые фрески и картины напоминают о политических достижениях святой. В ней — как, впрочем, и у многих святых — гармонично сочетались высокий дух и здравый смысл. Однако более всего меня потрясло то, что выросшая в глухом квартале Сиены дочь красильщика давала советы городам и диктовала римским папам план их действий. Человек, отрекшийся от мира и умертвивший свою плоть, крепко держал в руках земные дела.

«Умоляю вас, Ваше Святейшество, во имя распятого Христа, поторопиться, — писала она Григорию XI, когда тот колебался между соблюдением интересов Франции и желанием вернуть папский престол в из Авиньона в Рим. — Свершите обман ради святого дела, — продолжила она, — пусть они думают, что вы откладываете решение, а затем действуйте быстро и неожиданно...» А ведь это говорит святая Екатерина, а не Макиавелли. В другом настроении она обращалась к понтифику запросто, называла его «папочкой»: «О, мой милый, самый святой „babbo“».

Святая Екатерина не знала латинского языка, и, как и Данте, писала свои письма на тосканском диалекте. Сохранилось около четырехсот писем. Иногда она писала их сама, но так как корреспонденция ее росла, диктовала письма своим адептам. Один из них описал, как святая порою диктовала троим молодым людям три



письма одновременно — одно письмо папе, другое — Бернабо Висконти, а третье — обычному человеку. Диктуя, она часто закрывала лицо ладонями, потом поднимала глаза вверх, словно для вдохновения, а иногда, придя в восторженное состояние, диктовала быстро, фразы изливались потоком. В такие трудные моменты молодые люди переставали писать и недоуменно переглядывались, а потом, обращаясь к святой Екатерине, спрашивали, кому из них в данный момент она диктует. «Дорогие сыночки, — отвечала она, — не беспокойтесь, вы совершаете свою работу по воле Святого Духа; когда письма будут окончены, мы узнаем, как слова эти совпадут с нашими намерениями, а затем увидим, как все оформить». И в самом деле, после сортировки оказывалось, что слова относятся к трем разным письмам. Другой свидетель отмечал, что святая Екатерина диктовала быстро, без пауз, словно бы читала книгу. Почти все ее письма начинались словами: «Во имя распятого Иисуса Христа и Святой Марии» и заканчивались так: «Иисус святой, Иисус любимый». «Любовь несет душу так же, как ноги несут тело» — это одно из ее высказываний.

Я с благоговейным страхом смотрел на здание, где началось так много великих событий, если действительно начались они здесь, а не «возле мощного источника Всевышнего». Я подумал, что святые принадлежат к своей, особой семье, с выраженными характеристиками, и вспомнил, что святой Мартин сказал: «Все мистики говорят на одном языке, потому что пришли они из одной и той же страны». Никогда не забуду дом из красного кирпича на крутой улице, откуда пустилась в земное паломничество посланница иного мира.

По пути в Ареццо я любовался тосканским пейзажем: на каждом холме стоял то ли замок, то ли целый город. Было раннее утро, навстречу мне попадались крестьяне, идущие на рынок. Кто-то нес на продажу яйца, кто-то овощи или клетки с курами. Я проехал мимо молодого фермера — он стоял в своей телеге, словно дельфийский возничий на колеснице. Мальчик шагал впереди, рядом с белыми волами, посвистывая, напевая, иногда что-то им говоря. Огромные животные, раскачиваясь с каждым шагом, важно кивали головами, словно понимали язык, на котором он к ним обращался. «Наверное, это этрусский», — подумал я.

Тосканский пейзаж как нельзя более подходит к духу Нового Завета. Под стрекот цикад, под голубым итальянским небом привольно раскинулся коричневый и серебристо-серый ландшафт с каштановыми лесами, темными кипарисовыми рощами, вулканическими валунами и деревенскими домами под красными черепичными крышами. Я назвал бы это самым цивилизованным сельским видом на земле. Человеческий труд украсил этот пейзаж, подобно тому как вышивка украшает скатерть. Нет здесь ни одного холма, ручья или рощи, которые не рассказали бы историю о Боге, любви или смерти.

На горных склонах я видел много ферм. Все они построены по одному, римскому образцу: строение с арочным входом, двором для волов, свинарником, конюшней для мулов, а над всем этим жилые помещения, в которые можно подняться по наружной лестнице. Возле каждой фермы стоит стог сена, уложенный вокруг шеста, наверху неприменный горшок с цветком. В каждом дворе лежит груда жирного навоза, готового уйти в землю. Хотя о тосканском пейзаже написано немало, думаю, мало кто в число его красот зачислит эти черные горы, а ведь они поддерживают естественный ритм сельской жизни. Никаких тебе

химических удобрений! Земля удобрена так, как предназначила сама Природа. Для этого потрудились овцы, свиньи, мулы и божества Тосканы — белые волы. В наш технический век натуральная, обработанная вручную земля, удобренная скотом, — невиданное зрелище. Очень часто землю Тосканы не обработать плугом, а потому приходится копать лопатой.

Горожанину любая сельская местность кажется счастливой. Видит он ее обычно летом, когда для фермера наступает передышка в постоянном его конфликте со стихией. Летом в Тоскане вы можете подумать, что земля сама за собой ухаживает, что виноградники и оливы растут сами по себе, и ими не надо заниматься, что поле вспахать — одно удовольствие. Вам покажется, что вода зимой не замерзает, что счастливому фермеру и делать нечего, знай себе — блаженствуй да поджидай, когда под щедрыми лучами солнца созреет урожай.

На горной дороге возле Грилло я увидел фермера, стоящего на обочине в лучшем своем костюме. Подумав, что он хочет подъехать до Ареццо, я остановил машину. «Нет, — сказал он, — я просто жду здесь дочь: она должна приехать в автобусе из Монте Сан Савино». И он поведал мне старую историю: молодые люди покидают деревню, уезжают в город, а жизнь так дорога, что невозможно свести концы с концами. Один из его сыновей был в Родезии, другой учился в Милане на инженера-телевизионщика, дочь работала медсестрой в Ареццо. Он их не винил. Фермер грустно улыбнулся, а я поехал дальше, унося в памяти худое загорелое смышленное лицо с длинным носом.

Я продолжил путь по крутой горной дороге, окруженной с обеих сторон холмами, засаженными виноградником и оливами. Поднялся на вершину. Здесь среди скал и валунов росли низкие дубы. Я въехал в провинцию Ареццо. Налево в дымке я увидел долину

Арно, затем дорога, запетляв, спустилась в спокойную равнину, по которой ходили волы с красными кисточками на плоских лбах. Я оказался в Ареццо, месте рождения многих знаменитых людей.

## 10

Куда бы римляне ни отправлялись, они непременно брали с собой тарелки, блюда и миски из красной керамики, поверхность которой блестела, как сургуч. Такую посуду находят повсюду, где делают раскопки. Вещи хрупкие, и беспечные римские девушки-служанки много ее в свое время расколотили. Зайдите в любой европейский музей, и вы непременно ее там увидите. Черепки, а иногда и целые сосуды находили в Лондоне даже в двадцатые годы нашего столетия под собором Святого Павла, когда укрепляли фундамент. В Гилдхолле и лондонских музеях этой посуде отведены целые залы. Старомодные археологи называли ее «самосской глиняной посудой», хотя вернее следовало бы сказать «аретинская посуда», так как производство ее началось в Ареццо, а потом уже распространилось на всю Галлию.

На некоторых сосудах выполнены изящные рельефы — это охотничьи или мифологические сцены. Гончары подписывали лучшие свои произведения, окружали подпись маленьким картушем и ставили ее на основании блюда или чаши. Известны нам сейчас сотни, а возможно, и тысячи имен гончаров, а также и даты, когда та или иная работа была закончена. Поэтому гончарные изделия обладают почти такой же ценностью, что и монеты, с точки зрения определения даты.

Впервые я заинтересовался керамикой в конце Первой мировой войны. Я тогда выздоравливал после

ранения в военном госпитале в Колчестере. Прочитав, что под землей здесь когда-то проходила одна из главных древнеримских дорог, я добился разрешения провести небольшие раскопки. К огромному своему удивлению, я очень скоро обнаружил римское кладбище и выкопал стеклянную урну с костями. После исследования, проведенного местным музеем, выяснилось, что останки эти принадлежали некой римлянке и бойцовому петуху. Такая удача вдохновила меня на дальнейшие подвиги. В результате я добыл большое количество фрагментов аретинской глиняной посуды, а среди них я обнаружил штамп с именем горшечника. Звали его Флавий Герман, и работ его в Англии до сих пор не находили. Я все порывался поехать в Колчестер, чтобы посмотреть в местном музее эти предметы. Сам я в двадцатые годы собрал недурную коллекцию из штампов гончаров. В то время в лондонских лавках старьевщиков можно было приобрести остатки великих коллекций XIX века либо купить их за несколько шиллингов на аукционах «Сотбис», а вот сейчас — я просто уверен — вы обойдете весь Лондон и не найдете ни одного такого предмета.

Глиняной аретинской посудой я заинтересовался с юных лет, много воскресений потратил в охоте за нею, а потому, сами понимаете — как был счастлив оказаться в Ареццо, в городе, где впервые появилась эта прекрасная посуда. К радости моей прибавилось и удивление, когда, открыв сверток, поджидавший меня в отеле, я обнаружил в нем три прекрасные аретинские чаши, к тому же каждая посудина была подписана лучшим гончаром эпохи Августа — Перенниусом. Я едва мог поверить своим глазам. Все три сосуда были украшены выпуклым фризом: на одной чаше изображена охота на медведей; на другой — медведь, напавший на охотника; на третьей — богини. Каждая фигура отделялась от следующей классическим декоративным рисунком.

Столетия спустя Рафаэль и его современники обнаружили эти рисунки в руинах и гротах и назвали их «гротесками». Чаши, разумеется, были современными репликами, вылепленными из форм, что находятся в музее Ареццо. Подарил мне их известный горожанин, с которым я пока еще не встречался. Мне показалось странным, что Ареццо приветствует меня с таким энтузиазмом, словно бы дух древнего города захотел вознаградить меня за то, что когда-то я выказал ему свое расположение.

Я поставил чаши на стол так, чтобы утром после пробуждения они первыми попали мне на глаза, и улыбнулся: ведь так я, будучи ребенком, поступал с новой книжкой или игрушкой.

## 11

Я решил, что синьор Альберто, подаривший мне римскую посуду, похож на древнего этруска больше, чем повстречавшийся мне в Парме торговец мрамором. У Альберто были большие карие глаза, борода клинышком, длинный любопытный нос и улыбка Моны Лизы. Между прочим, он оказался единственным итальянцем, пригласившим меня домой уже после двух встреч. Там он познакомил меня с женой и двумя детьми. Сам он некогда служил офицером регулярной итальянской армии, но в конце войны присоединился к партизанам: вместе с ними выгонял немцев из родных гор. Когда я сказал ему, какое удовольствие доставил мне его подарок и как я интересуюсь аретинской посудой, он довольно рассмеялся и, хлопнув себя по груди, воскликнул: «Мы, этруски, все ясновидцы!»

Затем мы посетили с ним музей. Благодаря его влиянию все витрины открыли, и мы могли подержать в руках самые лучшие экземпляры аретинской посуды —

целые чаши и тарелки. Керамику столь редкого качества редко экспортировали в варварские провинции, такие как Британия. Синьор Альберто удивился, узнав от меня, как много аретинской посуды находили в Англии, особенно под центральной частью Лондона. Теперь, после возведения высоких зданий — их фундаменты уходят под древние римские мостовые — о новых находках говорить не приходится.

Ареццо — очаровательный маленький город, простой, перенаселенный, сравнительно спокойный и дружелюбный, приятная тихая гавань в туристическом потоке. Мой новый приятель гордился знаменитыми земляками: Меценатом, богатым другом Горация и Вергилия, Петраркой — дом, в котором поэт родился, был разбомблен во время войны, однако восстановлен, и теперь там находится Академия. В этом же городе родился Гвидо д'Ареццо, он реформировал нотное письмо. Синьор Альберто упомянул и Леонардо Бруни, историка Флоренции, язвительного публициста Пьетро Аретино, которого многие боялись и ненавидели, но он, тем не менее, был закадычным другом Тициана и его биографом. Все искусствоведы в долгу перед этим человеком. Не забыл он, разумеется, и Вазари, автора «Жизнеописаний художников» — Однако же почти никто из них не остался в родном городе: Меценат уехал в Рим, Петрарка — в Авиньон и Падую, Гвидо — в Феррару, Аретино — в Венецию. Единственным, кто построил себе здесь дом, был Вазари, только и его видели здесь не часто.

Дом его сохранился почти без изменений. Чтобы посмотреть на него, мы прошли по виа Венти Сеттембре. Это большое двухэтажное каменное строение. Войдя в него с улицы, тут же попадаешь в обстановку состоятельного художника XVI века. Разве не интересно, повидав множество расписанных Вазари во Флоренции герцогских стен и анфилад залов в палаццо Веккьо,

созданных им же, оказаться в простом помещении, которое он спроектировал для самого себя? Это здание напомнило мне дом Джулио Романо в Мантуе. Художникам и архитекторам после долгих лет работы в огромных помещениях, когда, лежа на спине, они расписывали потолки, приятно было спуститься вниз и оказаться в комнатах нормальных пропорций. Этот дом не создавали эффектным, в нем просто жили.

В главной комнате дома Вазари я обратил внимание на углубленные подоконники и большой камин. Стены и потолок расписаны были классическими аллегорическими сценами — Вазари все же не избавился от этого и в частной жизни. Но, несмотря на Венеру над камином и изображенную в пару ей на противоположной стене Диану Эфесскую, комната была уютной, и человек вполне мог здесь читать и писать, а по временам смотреть из окна на проходящих по улице знакомых.

В отличие от большинства художников, Вазари никогда не испытывал серьезных материальных затруднений. Его любили, человек он был талантливый, необычайно трудолюбивый. Договориться с ним было легче, чем с гениями: у тех и характер был, как правило, скверный, и работу они в срок не выполняли. Для престарелых пап и кардиналов время имело большое значение, а потому, наняв Вазари, они могли чувствовать себя спокойно: знали, что работа будет сделана вовремя. Возможно, что это обстоятельство и стало залогом его успеха. Он был сыном гончара. С женитьбой не спешил, хотел прежде встать на ноги, а потому в брак вступил в сорок лет. Дом он приобрел, когда ему было двадцать девять, и девушки Ареццо, должно быть, давно сочли Вазари убежденным холостяком. Брак его, тем не менее, оказался счастливым, хотя и бездетным.

Как удивился бы он, если бы узнал, что в будущем больше ценить его станут за книгу, а не за живопись.



Его великое классическое произведение родилось в 1544 году, за званым обедом. Кардинал Фарнезе сказал, что неплохо было бы описать жизни итальянских художников, скульпторов и архитекторов. Вазари в то время было тридцать три года, через семь лет вышло из печати первое издание его книги. Работая над заказами во Флоренции и Риме, он продолжал много лет собирать материал для второго издания. Неутомимый труженик умер во Флоренции в возрасте шестидесяти трех лет, а похоронили его в Аретцо. Мы стояли в его доме и думали о долгих годах, проведенных здесь Монной Вазари, пока муж ее трудился на папу и герцога. Супруги мечтали, должно быть, о времени, которое так никогда и не наступило, когда бы муж вышел в отставку и окончательно поселился в уютном каменном доме.

— Человек совершает большую ошибку, — сказал синьор Альберто, — когда амбиции уводят его из родного города. Я предпочитаю быть маленькой рыбой в Аретцо, чем китом в Милане или Риме.

Альберто на самом деле не слишком интересовался римской глиняной посудой, главной его страстью был Пьеро делла Франческа. Мы стояли с ним на темных хорах церкви Святого Франческо. Храм находится в центре города, на гребне холма. Альберто попросил зажечь свет, и сторож осветил фрески. Постепенно на стенах и потолке открывалась одна сцена за другой, словно окна в блестящий благородный мир, рассказывая средневековую легенду о святом распятии.

Странно, что произведение этого гения предыдущие поколения не оценили по достоинству. Всего сорок лет назад Пьеро делла Франческа причислили к бессмертным классикам. Теперь критики говорят о хорах в Аретцо с тем же придыханием, что и о Лоджиях Рафаэля и Сикстинской капелле. Я горжусь, полагая, что, даже если бы я не прочел и слова об этом

художнике и пришел сюда случайно, то понял бы их величие.

Родился Пьеро в маленьком городе Сансеполькро, слишком далеко отсюда, чтобы можно было считать его гениальным сыном Ареццо. По складу своему Пьеро был математиком и на стенах святых зданий создавал мир блестящий и прекрасный, но такой же бесстрастный, как у Евклида. Я спросил у Альберто, сохранились ли о художнике какие-либо истории или легенды. «Нет, — сказал он, — личная жизнь Пьеро осталась загадкой. Неизвестно даже, почему называли его делла Франческа, а не деи Франчески, ведь он не был незаконнорожденным. Отца его звали Пьеро де Франчески, а мать — Романа ди Перино да Монтерчи».

Альберто восхищался тем, что Франческа не поддавался соблазнам Флоренции, а вернулся в зрелом возрасте в родной город, где сделался членом городского совета. В старости художник ослеп. Больше о нем ничего не было известно. Даже Вазари, который написал о нем всего лишь через пятьдесят лет после его кончины, не сумел разузнать никаких биографических подробностей и привел лишь один анекдот. Лошадь как-то раз прониклась неприязнью к нарисованной Пьеро лошади и, веря, что она живая, каждый раз била ее копытом.

— В наше время, — сказал Альберто с улыбкой фавна, — никто бы не удивился, если бы лошадь Пьеро ударила бы обидчицу!

Из документов явствует, что умер Пьеро делла Франческа в Сансеполькро 12 октября 1492 года. В этот день Христофор Колумб высадился в Америке.

Некоторые критики считают, что женщины Пьеро наделены небесной красотой, а вот мне они кажутся надменными гордячками. Я спросил у Альберто, думает ли он, что изображенные художником женщины — плод его воображения или он писал с натуры.

— Я вам покажу, — загорячился он. — Это настоящие аретинские женщины. Они, как и я, этруски. Вы сегодня же увидите в Сансеполькро этот тип, да и во всей долине Тибра они встречаются.

Мы выехали из Ареццо. В миле от города находилась ювелирная фабрика. Меня представили владельцу и провели в большой цех, где сидели за работой сто пятьдесят девушек.

— Вон там, — шепнул Альберто, указывая на одну из девушек, — словно сошла с картины Пьеро делла Франческа! А вот и еще, посмотрите на ту, с каштановыми волосами... ну просто царица Савская!

Прогуливаясь днем по Ареццо, я стал свидетелем интересной сцены. Шесть маленьких мальчиков, в свитерах и шортах, шумно возились на длинной террасе против здания суда. Площадь Гранде окружена старинными зданиями, их арки ведут к примыкающим к площади улицам. Один из мальчиков держал в вытянутой руке кусок картона, остальные мальчишки по очереди подскакивали к нему верхом на метле. Судя по прыжкам, которые выделял на метле каждый мальчик, я понял, что изображают они рыцарей на боевом коне. Тут до меня дошло, что они играют в джостру сарацинов. Это турнир, который берет начало в XIII веке. Участвовали в нем всадники в боевом облачении. Они на-скакивали на столб с перекладиной, к которой прикрепляли деревянную фигуру. Когда по «сарацину» наносился тяжелый удар, фигура вращалась и в свою очередь сильно ударяла по спине всадника.

Я подумал, что маленькие мальчики играли, наверное, в эту игру перед началом турнира в каждом средневековом городе.

Тибр и Арно берут начало в горах, что к северу от Ареццо, и текут некоторое время параллельным курсом. Затем, вместо того чтобы идти через Ареццо, Арно, по выражению Данте, «корчит презрительную мину» и, совершив большую петлю, устремляется к Флоренции, Пизе и Тирренскому морю. Тибр таких ужимок не делает, а спокойно и уверенно течет к Риму.

Долины этих рек входят в число самых красивых мест Италии. И на самом деле, почти невозможно решить, какая из этих двух долин более привлекательна. Полагаю, многие люди предпочтут более капризное верхнее течение Арно. Место это называется Казентино. Здесь среди гор и водопадов раскинулись города и деревни, история которых уходит во времена Рима. В современных их названиях слышен отзвук прежних, латинских имен: Суббиано — Sub Janum; Кампогиалли — Campus Gallorum; Пьеве-аль-Баньоро — Plebs Balnei Aurei; Цинцелли — Centum Celiac; Траяна — Trajanus; Камполучи — Campis Luchii; Каполона — Caput Leonis и т. д. На самых высоких точках Центральных Апеннин, в горах Казентино, находятся два монастыря — Камальдулы и Лаверна, где святой Франциск принял стигматы.

Долина Тибра нравится мне не меньше Казентино. Я любовался юным Тибром, скачущим вприпрыжку по камням. Отсюда начинается его долгое путешествие в Рим. Мне кажется, что крестьяне в этих двух богатых долинах отличаются от сельских жителей Флоренции и Сиены. Должно быть, местные крестьяне в большей степени привержены старинному укладу жизни. В долине Тибра я и в самом деле видел заносчивых молодых женщин, которых изображал Пьеро делла Франческа.

В лабиринте боковых дорог, изгибающихся на три-четыре мили к западу от юного Тибра, есть гора, а на ней множество белых домиков с красными крышами.

Называется этот городок Монтерки — современное сокращение от Mons Herculis — Геркулесова гора. В этом городке родилась мать Пьеро делла Франческа. С крепостной стены открывается великолепный вид. Я смотрел оттуда на север, на другой берег Тибра, и видел Альпы, поворачивался в противоположную сторону и видел Умбрию. Приятно стоять здесь летним утром и следовать взглядом за белыми нитками дорог, петляющими между виноградниками и фруктовыми садами, ощущать кожей горячий и ленивый воздух и слушать знакомые сельские звуки — лай собак, песню невидимого крестьянина и скрип воловьей упряжки на повороте дороги.

На плоском подножье Монтерки встали в двойную шеренгу кипарисы. Деревья указывают дорогу к кладбищу, приютившемуся на противоположном склоне холма. В крошечной кладбищенской часовне находится, быть может, самая знаменитая фреска Пьеро делла Франческа — «Мадонна дель Парто» — «Беременная Мадонна». Под фреской стоит алтарь. Войдя в часовню, я застал там всего одну крестьянскую девушку. Она только что зажгла на алтаре лампу. Крестьянка повернулась, и я понял, что она в таком же положении, что и Мадонна. На фреске Пьеро изобразил похожую на круглый шатер постройку. В Ареццо я уже видел на фресках похожую купольную постройку и спящего в ней Константина, только шатер здесь выглядит богаче и наряднее. Два крылатых ангела грациозно раздвигают полог, и внутри мы видим молодую женщину в светло-голубом платье, сшитом по моде XV века и рассчитанном на беременность.

Это одна из самых красивых женщин Пьеро делла Франческа. Как и остальные картины этого художника, фреска надолго остается в памяти. Она будоражила мое воображение, и мне снова хотелось увидеть ее, а потому я ходил сюда еще три раза.

Когда пришел во второй раз, часовню посетили две беременные женщины. Они прошли по кипарисовой аллее и поставили на алтарь две маленькие баночки с оливковым маслом. Окунув фитиль в масло, подожгли его, помолились и вышли из часовни. Местные деревенские женщины непременно приходят к Мадонне дель Парто и просят ее о благополучном разрешении от родов.

Как странно видеть на кладбище жизнеутверждающее начало. Рождение и смерть слишком часто встречались на пороге этой часовни. Очевидно, об этом и хотел сказать Пьеро делла Франческа.

В нескольких милях от Монтерки, перепрыгнув через малютку Тибр, я шел по плодородной земле, с виноградниками, оливковыми деревьями и упитанным белым скотом. А вот и Сансеполькро, место рождения художника. Городок маленький: остроконечные красные крыши, осыпающиеся крепостные стены. День был базарный, и на площади установили прилавки с овощами, поношенной одеждой и сельскохозяйственными орудиями. Я спросил у прохожего, как пройти к зданию, где фреска «Воскрешение» Пьеро делла Франческа, и он показал мне на старинную постройку. К крыльцу вели два лестничных марша. Оказалось, что там помещается городской суд. В открытую дверь я увидел, что идет заседание: стоит полицейский, выступает адвокат, судья в мантии, похожей на облачение студента-выпускника, с важным видом что-то записывает. Я уж решил было, что ошибся и попал не по адресу, но тут смотритель издал шипящий звук — так итальянцы привлекают обычно к себе внимание — и поиграл в воздухе пальцами, приглашая следовать за собой. На торце, вой стене большого зала я увидел «Воскрешение».

На фреске раннее утро. Рассвет чуть подкрасил тонкие облака на голубом небе. Четыре римских солдата крепко спят подле мраморного саркофага. Они караулили всю ночь, но теперь, с зарею, уснули и лежат в неудобных позах. Трое даже не сняли с головы шлемов. Над распростертыми телами сгустилась могучая сила. Христос поднялся из могилы и стоит над солдатами, глядя прямо перед собой. Босой левой ногой он оперся о мрамор. Алый плащ, тронутый утренними лучами, тяжелыми складками спадает с левого плеча, оставляя правую руку и правый бок обнаженными. Он держит знамя с красным крестом. На теле, под грудью, кровавая рана, след от копья. Фигура его кажется осязаемой, и в то же время видно, что он из другого мира. Если бы это можно было увидеть в жизни, то впечатление было бы потрясающим.

Такой сдержанной силы в позе и в лице Спасителя ни на одной другой картине я не видел. Здесь он ближе к Пантократору.<sup>[95]</sup> Из-под купола византийской церкви прямо на тебя смотрят широко открытые ищущие глаза. Это тебе не нежный, сочувствующий Сын Божий с привычных нам картин. Контраст между расслабленными фигурами спящих людей и напряженной, выпрямленной фигурой Христа — кульминационный момент драмы. Как могут эти люди отрешенно спать в присутствии столь мощной силы? Я смотрел на бородатое лицо могучего, лишнего сентиментальности Христа, и в мозгу моем пронеслись слова: «Он спустился в ад и восстал из мертвых на третий день».

Два или три года назад я зашел в букинистический магазин в Кейптауне и купил там довольно редкую

книгу о Флоренции. Продавец — его звали Энтони Кларк — говорил о той Италии, которую видел во время войны, в бытность свою артиллерийским офицером.

«Мне приятно думать, — сказал он, — что я поспособствовал сохранности картины Пьеро делла Франческа „Воскрешение“. Я попросил его рассказать мне об этом. Позднее он записал для меня свой рассказ.

Это произошло в 1944 году. Я был тогда командиром отряда 1-го полка морских пехотинцев, батарея „А“. Наш полк поддерживал огнем независимую 9-ю бронетанковую бригаду. Какое-то время мы базировались возле Читта ди Кастелло, а затем двинулись на север. В это время я и получил приказ обеспечить наблюдение за Сансеполькро. С первыми лучами солнца я выехал в танке на восточные склоны гор, а затем, захватив портативную рацию, в сопровождении сигнальщика пошел на вершину. Мы очистили себе место в глубине большого куста и устроились как можно удобнее — ведь нам надо было сидеть там весь день, наблюдать и ждать. Прямой связи с нашими орудиями мы не имели, так как у рации не было нужного диапазона, и это обстоятельство повлияло на то, что произошло впоследствии. Связаться мы могли с танком, а танк должен был передать нашу информацию батарее.

Орудия стояли от нас на расстоянии двух-трех миль в южном направлении. Я распорядился выпустить залп по определенной точке примерно в середине долины.

Потом стали ждать. Солнце поднялось уже высоко и ярко светило. Сансеполькро лежал точно на ладони. По связи мне доложили, что враг, скорее всего, находится в городе и что мне нужно обстрелять его, прежде чем туда вступят наши войска. Нацелив на город орудия — их было четыре, — я приказал выпустить по Сансеполькро два-три залпа. Командир моей батареи, Марк Линтон, информировал меня по связи, что



снарядов у них в избытке, а потому можно не экономить и стрелять сколько понадобится. Наступление назначили на следующее утро, и теперь дело было за нами: сначала мы должны были очистить город. Я приказал вести обстрел Сансеполькро, а сам тем временем осматривал город ярд за ярдом, но не видел нигде и следа врага, хотя, разумеется, это вовсе не означало, что его там не было! Не знаю почему, но я испытывал смутное беспокойство. Откуда мне известно название города? Где-то я слышал это слово — Сансеполькро. Должно быть, это связано с чем-то важным, раз я запомнил. Только вот что я о нем слышал?

Затем к нам с сигнальщиком пожаловал гость. Это был оборванный подросток с собакой. Мы спросили: „Немцы — Сансеполькро?“ и показали на город. Он покачал головой, улыбнулся и махнул рукой в сторону гор. Немцы покинули город, и это подтвердило мои предположения. И тут я вспомнил, почему я знаю это название — Сансеполькро. „Величайшая картина в мире!“ Мне было около восемнадцати лет, когда я прочел очерк Олдоса Хаксли. Я вспомнил описание его трудного путешествия из Ареццо и как в конце он был вознагражден за муки. Он увидел „Воскрешение“, „величайшую картину в мире!“

Я подсчитал количество снарядов, которые выпустил по Сансеполькро, и был уверен, что если и не уничтожил величайшую картину, то ущерб городу нанес огромный. Потому больше не стрелял... Мы сидели, сигнальщик и я, в нашем укрытии и наблюдали, но врага так и не обнаружили. Когда стемнело, вернулись на боевую позицию.

На следующий день мы без потерь вошли в Сансеполькро. Я немедленно спросил о картине. Здание осталось невредимым. Я поспешно вошел в двери, и вот она, невредимая и великолепная. Горожане уже начали обкладывать ее мешками с песком, но не успели: высота

прикрытия доходила лишь до пояса. Я поднял голову и посмотрел на крышу. „Один снаряд, — думал я, — и этого было бы достаточно, чтобы уничтожить творение, сотни лет восхищавшее мир“. Вот так обстояло дело. Иногда думаю: а как бы я себя чувствовал, если бы уничтожил „Воскрешение“? Одно время хотел написать Олдосу Хаксли. Инцидент этот, полагаю, мог бы стать отличной иллюстрацией силы литературы, доказательством того, что перо сильнее меча!

Я снова пошел смотреть картину вместе с Альберто. Он взял с собой камеру со вспышкой. Это было необычным приключением, если вспомнить благоговейную атмосферу Уффици. Отношение к шедевр у было здесь домашнее. Когда Альберто сказал, что хочет сделать фотографию, ему тут же притащили крепкий стол и с обеих сторон поддержали, чтобы он на него забрался. По-моему, среди помощников я узнал и магистрата.

Днем мы ходили в гости к одному из многочисленных друзей Альберто. Дом его стоял на крепостном валу Сансеполькро. Хозяина в этот момент не было, но жена настояла на том, чтобы мы выпили по стакану вермута, и провела в сад. Мы смотрели на остроконечные крыши и трубы Сансеполькро, на серебряную нить Тибра. На другом берегу видна была фабрика Буитони. Макароны и спагетти прославили городок Сансеполькро во всех частях света. Нас провели по фабрике, и мы любовались блестящими машинами, прессовавшими пасту. Затем нас подвели к машинам, упаковывавшим готовую продукцию. Началось это все в XIX веке благодаря примитивным машинам старушки Буитони. Сейчас чугунные машины стоят в музее фабрики.

Некоторые маленькие города Казентино и долины Тибра можно заметить на расстоянии нескольких миль: они венчают холмы, другие, такие как Ангьяри, увидите, если подниметесь над ними по горному серпантину. Там вы обретаёте орлиное зрение: вы не только различаете улицы города, вы даже можете определить, базарный ли сегодня день. Затем начинаете спускаться, и обзор сужается, вам уже не видно, что происходит за крепостными стенами. Более того, с каждым дорожным витком стены эти становятся все выше. Спустившись в долину, вы задираете голову и видите, что город стоит на высоченной скале.

Даже самые маленькие города могут достойно встретить папу или короля. И хотя обитатели их — мелкие фермеры, а самые важные горожане — священник, аптекарь или начальник полиции, люди знают, как обстоят дела в большом мире. Удивительно, какие сокровища могут ожидать вас в этих местечках — даже театр, как в Ангьяри. В маленькой крепости в горах я, к своему изумлению, увидел на стене доску с надписью: „Театр Ангьяри“ Академии, этакий нежданный негаданный маленький Ла Скала. Он связывает городок если не с Платоном, то, по меньшей мере, с веком зарождения Академий. Сейчас, разумеется, времена изменились. Я заметил рекламу фильма „Зажатая в тиски“. На большом плакате изображена была женщина, съезжившаяся перед направленным на нее револьвером.

Не забуду, как приютил меня Ангьяри во время сильного ливня. Пьяцца превратилась в озеро, свою лепту внес в него каждый ручеек, стекавший с горы. Вода выстреливала как из пушки, а затем грациозной волной стекала с крыши. Сточные канавы мгновенно переполнились. Прибежище я нашел в антикварном магазине. В помещении протискивался бочком: так оно было заставлено. Тут тебе и старинные шкафы из

каштана и красного дерева; умывальники; медные кастрюли; ванны и кувшины, картины в покوروبленных рамах, столы, стулья — да всего и не перечислишь. Владельца я обнаружил между пирамидами, составленными из стульев и столов. Вместе с двумя приятелями он ел арбуз. Отодвинув несколько кресел и карточный столик, они мне любезно улыбнулись и предложили алый кусок. Приглянулся мне там старинный инкрустированный письменный стол из каштана. Купить его можно было за бесценок, но очень уж он был тяжел, а в наши дни морем громоздкий багаж туристов на родную землю не доставляют.

Любимым своим городом я бы назвал Поппи, пожалуй, он является негласной столицей Казентино. В Северной Италии часто встречаешься со Средневековьем, а этот городок представляется мне живым фрагментом далекого прошлого. Это город чародеев, рыцарей и длинноволосых дев, сидящих у окон замков. Даже маленький автобус, связывающий Поп-пи с Ареццо, легко можно вообразить себе драконом, которого волшебник заставил пыхтеть, как дизельный двигатель, и вот мотается он туда-сюда, со стонами, визгом и внезапными выхлопами дыма. Этот город с каменными аркадами, ведущими к замку, можно назвать родственником флорентийского палаццо Веккьо. Вечером, когда зажигают фонари, Поппи становится весьма зловещим, и парочку миролюбивых горожан, играющих в домино в винном магазине, можно принять за убийц. В центре города нет достаточно большого перекрестка, чтобы можно было назвать его пьაცцей, но есть все же на вершине холма место, где встречается несколько улиц. Посередине стоит прямоугольная часовня в стиле барокко, посвященная Мадонне, изгоняющей чуму. Рассказывают, что несколько столетий назад, когда сюда заглянула чума, священник обошел город с иконой Мадонны, и эпидемия

тут же прекратилась. Над алтарем написаны слова „Аве Мария“. В десять часов вечера жители ложатся спать, но иногда в столь поздний час собирается в темноте небольшая группа людей. Они ждут прибытия из Ареццо последнего автобуса. О своем приближении он дает знать еще из долины. Дракон скрежещет зубами и храпит, затем зловеще рычит и, взбираясь на кручу, кажется, теряет силы, но нет, снова слышно, как он начинает пыхтеть. Размеры его почти соответствуют ширине узких улиц. Наконец он приходит, издает драконье рычание и выпускает пары, пропахшие дизельным маслом. Пассажиры во главе с местным священником встают со своих мест и, словно по команде выполняя физическое упражнение или в едином порыве совершая религиозный акт, одновременно вздымают руки и опускают чемоданы, корзины и коричневые пакеты. Священник выходит из автобуса первым, в темноте поблескивает стальная оправка очков, шляпа с загнутыми полями похожа на взъерошенного кота, под мышкой он держит большой сверток. Встречающие начинают громко чмокать детей и радостно приветствовать родственников и друзей. Общее ликование: слава Богу, все живы и здоровы и снова дома, в безопасном и уютном Поппи.

Смотрителю замка Поппи Леонидо Гаттечи восемьдесят лет. На голове у него черный берет, в руке — трость с золотым набалдашником. Стоя с вами на крепостном валу, он покажет, где можно увидеть Лаверну и Камальдульский монастырь. В замке он работает шестьдесят пять лет и тревожится больше всего о том, что никто не собирается сменить его на посту. Обвиняет он в этом младшее поколение, молокососов сорока-пятидесяти лет: „Ну никакого чувства ответственности!“ Если у графов Гвиди был

когда-нибудь преданный сенешаль, то, должно быть, дух его возродился в Леонидо Гаттечи.

Замок производит внушительное впечатление, к тому же находится в столь прекрасном состоянии, что туда можно вселяться хоть завтра вместе с тяжеловооруженными всадниками и служанками. Для большего комфорта можно добавить несколько ковров. Не думаю, что видел когда-либо более нарядный и эффектный двор, с живописной лестницей, украшенной гербами и балюстрадой из ста миниатюрных каменных колонн. Синьор Гаттечи провел меня по замку, не умолкая ни на минуту, взмахивая тростью с золотым набалдашником, которая в его руках больше похожа на маршальский жезл. В часовне сквозь побелку просматривались призрачные фрески школы Джотто. Я увидел гигантские залы, в которых комфортно чувствовали себя средневековые рыцари. Самой интересной показалась мне спальня графов Гвиди: большая комната, в которой имелся отличный средневековый водопровод. Вода очищалась посредством древесного угля. Я заметил каменную ванну с именем Паноско Ридольфи и датой — 1490. Сейчас в этой комнате находится городская библиотека. Кажется невероятным, хотя и типичным для Италии, что библиотека из двадцати тысяч томов, включающая почти восемьсот инкунабул и шестьсот иллюстрированных рукописей, написанных до 1330 года, находится в средневековом замке, в который попасть можно совершенно случайно.

Мы стояли на валу и смотрели на север. В долине под нами происходила когда-то битва при Кампальдино. В этом сражении принимал участие Данте. Тогда гибеллинов из Ареццо разбили флорентийские гвельфы, а случилось это летом 1289 года. Так долгая история Ареццо началась с роли подчиненного Флоренции.

Мы отвели глаза от места, навевявшего неприятные воспоминания, и обернулись к югу. В этот момент со стороны было похоже, что размахивающий тростью старик на валу высматривает, не блеснет ли в долине на солнце шлем или наконечник копья, чтобы убедиться, что хозяин его не опоздает к обеду.

## 15

— Я хочу представить вас прекрасной даме, — сказал Альберто однажды утром. — Пожалуйста, не задавайте никаких вопросов, просто поедem со мной.

Мы поехали в северном направлении от Ареццо, в Казентино, где Арно то приближался, то отступал от дороги. Иногда, как, например, в Суббиано, темная и окаймленная камышом река на протяжении нескольких миль бежала рядом. В маленьком местечке Рассина мы свернули на второстепенную дорогу и вскоре приблизились к горе Пратоманьо. Такие дороги — один из сюрпризов Казентино. Они часто пропадают возле предгорий, словно бы от усталости, и их сменяют тропы, проторенные мулами. Тропинки эти поднимаются к горным деревням. Кажется, что находятся они по другую сторону света, в глубоком Средневековье, а на самом деле от Флоренции или Ареццо их отделяют несколько миль.

На дороге, кроме мулов, груженных дровами, мы никого не встретили. И вдруг за поворотом я увидел, что дороги больше нет. Альберто заглушил двигатель, и мы услышали шум воды, доносящийся из лесного ущелья. Подняв глаза, я увидел высоко над нами белую деревню.

— Это Карда, — сказал Альберто. — Нам придется выйти из машины и вскарабкаться наверх по тропе.

Я увидел тропу, извивавшуюся между огромными валунами.

— Но сначала посмотрим, здесь ли мой друг.

У подножия горы, за высоким забором стояло несколько кирпичных домов. Мы вошли в ворота и увидели мужчину в болотных сапогах. Он кормил прожорливую форель. Длинные бетонные каналы буквально кипели от обилия рыбы. Мужчина бросал в воду нарезанную на куски печень. В некоторых канавах рыбка была мелкая, величиною с палец. Казалось, в воду кто-то просыпал горшок с серебром. В других канавах рыба тянула примерно на фунт, были и каналы с огромной форелью.

— Вот этих рыб и покупают рыболовы, когда в горных реках им не удастся ничего поймать, — заметил Альберто и добавил, заметив мой удивленный взгляд. — Ну да, конечно, какой же рыбак явится к жене с пустой корзиной!

Мужчина запер рыбий инкубатор, и мы все вместе пошли по тропе в Карду. Перед нами предстала живописная группа каменных домов, построенных на разных уровнях. На самой вершине стояла крошечная церковь с колокольней, перед ней — небольшое открытое пространство, так называемая пьяцца. Я встал у парапета и посмотрел вниз, на долину. Все было серым, ни тебе дерева, ни кустика. Куры и гуси то вбегали, то выбегали из дома. На обоих склонах заметны были пещеры и обрывы, вдалеке виднелась гора Пратоманьо. Не верилось, что до Флоренции менее тридцати миль, а до Ареццо и того меньше, если, конечно, ехать прямо. Мне казалось, что я в Фиваиде.

Нас окружили жители, мужчины оказались разговорчивы, женщины, прислушиваясь, стояли в дверях. Враждебно настроенные гуси вытягивали шеи и шипели.

— Сейчас вы увидите прекрасную даму, — шепнул Альберто.



Мы вошли в маленькую церковь, где над алтарем мне показали Мадонну Карда.

— Говорят, что это работа Андреа делла Роббиа, — сказал Альберто, — но репродукции с нее вы не увидите ни в одном альбоме, посвященном творчеству делла Роббиа, а ведь это одна из самых прекрасных мадонн Андреа. Жители Карды верят в то, что утерянный секрет глазури находится у нее в голове, но, конечно, такую же историю вы услышите и о других шедеврах делла Роббиа.

Крестьяне смотрели на нас в полном восторге: им нравился интерес, который мы проявили к их сокровищу. Все говорили одновременно, всем хотелось поведать историю Карды, рассказать, как Мадонна пришла в горную деревню. Произошло это, по их словам, в 1554 году, когда Флоренция воевала с Сиеной. Два жителя Карды сражались во флорентийской армии. Однажды они пришли в разрушенную церковь в той части долины, что принадлежала тогда Сиене, и, войдя в церковь, увидели над разрушенным алтарем Мадонну. Они упали на колени и пообещали Пречистой Деве, что если она не даст погибнуть им на войне, они вынесут ее из разбитой церкви и установят в своей церкви в Карде. Сначала они осторожно спрятали статую в надежном месте, а потом присоединились к своему отряду. Когда война окончилась, они достали Мадонну и, несмотря на внушительный вес, несли ее на спинах по очереди до Карды. Скульптура сделана в человеческий рост. Она из белой глазури и действительно одна из самых красивых работ этого мастера. В нише на голубом фоне она выглядит очень эффектно.

Управляющий форелевой фермы пригласил нас к себе домой. Дом стоял на холме, и получалось, что входная дверь на уровне крыши, а потому в кухню мы спустились по лестнице. Жена управляющего сварила кофе, а он поставил на стол бутылку вермута и местный

сыр. Я считаю, что вкуснее сыра мне пробовать еще не приходилось. Готовят его из овечьего молока, но в каждом городе свой вкус. В некоторых городах сыр твердый, как пармезан, а в других местах текстура у него, как у грюйера. Бывает он и мягким, хотя, как я думаю, настоящее название этого сорта — пекорино. Когда я отметил, что не видел в горах ни одной овцы, наш хозяин сказал, что в деревне у них большая отара, только пасется она с другой стороны горы. Пасли деревенских овец по очереди. „Советую в следующий раз приехать в Карду вечером, — сказал он, — вы увидите отару, которая стекает с горы словно река, причем каждая овца сама находит свой дом“.

Альберто заговорил с ним о ежегодном карнавале в Карде и сказал, что такое зрелище тоже не мешает увидеть. В это время устраивают состязание на самый оригинальный способ поедания спагетти. Прошлогодний победитель ел его из ботинка! Если человека во время карнавала заставляли за работой, его связывали и тащили к церкви. Там он обязан был пить вино, стакан за стаканом, пока не падал на землю. И когда это происходило, его избирали королем карнавала.

— Ну что, сдержал я свое обещание? — спросил Альберто на обратном пути.

— Ну разумеется, — ответил я. — Она — первая красавица Тосканы.

## **16**

В нескольких милях к северо-западу от Сансеполькро по холмам, что спускаются в долину Тибра, проходит узкая извилистая дорога. Она ведет в деревушку Капресе. Позднее деревню эту стали связывать с именем Микеланджело. Здесь Шестого марта 1475 года свершилось необъяснимое чудо: у обычной

добропорядочной пары родился гений, прославившийся на весь мир. Маленькое сердце, забившееся в тот день в горной деревушке, будет стучать еще восемьдесят девять лет. В конце жизни оно будет принадлежать печальному, усталому, разочарованному старику с горящими глазами, сломанным носом и длинной белой бородой. Он скажет, что прожил жизнь неудачно и что ему опротивело тщеславие пап. В Риме он простудится, там и умрет от осложнения.

По пути в деревню, кроме дорожных рабочих, расчищавших вызванный камнепадом завал, я никого не видел. На вершине горы стояло несколько старых каменных зданий, но они были заброшены. Странное место выбрали для установки памятника. Я подошел к нему и увидел бронзовый барельеф: малютка Микеланджело выглядывает из колыбели и с удивлением смотрит на видение — его будущие творения: Ночь над могилой Медичи, а за ней Моисей. Такой удивительный сюжет показался мне излишне драматичным. Насколько мне известно, в детские годы гений от обычного ребенка ничем не отличался. Первые признаки необычных способностей заметили лишь когда он стал подростком. Вспоминая о непростых отношениях Микеланджело с Юлием II, я подумал, что приписывать скульптору столь ранний замысел Моисея несправедливо!

На стене двухэтажного здания, построенного на краю горы, я увидел мемориальную доску, она возвещала о том, что здесь родился Микеланджело. Дом был заперт на замок, а те, что стояли напротив, оказались пусты. Я хотел уже уйти, но в этот момент подъехал маленький автомобиль. В нем сидели двое мужчин: один молодой, другой — старый, лицо его казалось сделанным из ореховой скорлупы. Молодой человек был школьным учителем. Старик вынул ключи, мы вошли в дом и отворили окна.

Дом с тех пор, как жили там Лодовико Буонарроти и его жена Франческа деи Нери, был переделан. Сейчас здесь большой зал, на стенах фотографии, запечатлевшие работы Микеланджело. В соседней комнате несколько книг и журналов, что и позволило назвать это помещение библиотекой. Рядом с домом стоит часовня, где крестили Микеланджело, ее недавно реставрировали, но она все равно похожа больше на сарай и впечатление оставляет убогое. Эти два здания и фундамент старинного замка в нескольких шагах отсюда — вот и все, что можно здесь увидеть.

Представить маленького Микеланджело ползающим по холму и совершающим здесь первые свои шаги невозможно, тем более что его еще грудным ребенком увезли в семейное гнездо, Сеттиньяно, в нескольких милях от Флоренции. Отдали няньке, жене каменщика. „Если и есть во мне что-то хорошее, — сказал он однажды Вазари, — то произошло оно от чистого воздуха гор в Ареццо, где я родился, а возможно, и от молока кормилицы, вместе с ним, похоже, я всосал умение пользоваться инструментами и молотками, которыми работал по мрамору“. В истории его семьи уж точно не было ничего, что могло бы объяснить происхождение его гения. Отец был родом из хорошей, но обедневшей семьи, и стать купцом или механиком он считал ниже своего достоинства, а потому предпочитал обхаживать Медичи, напрашиваясь на непыльную работу. Пост магистрата в Кьюзи и Капресе был вакантным в течение шести месяцев, и Лодовико Буонарроти его принял. Так и сложилось, что Микеланджело родился именно здесь. Хотя старший Буонарроти отказывался пачкать свои руки, проценты с гонораров, добытых руками своего знаменитого сына, получать не отказывался. Микеланджело неизменно посылал деньги отцу и братьям на содержание

хозяйства, однако Удовлетворить их запросов так и не смог.

Мы закрыли окна и заперли дом на замок. Спускаясь с горы, я думал не об одном ребенке, которому судьба определила стать гением, а сразу о двух младенцах — Микеланджело, что на горе, и о Тибре, что внизу, в долине. Оба в ту Пору были лишь в начале своего пути в Рим.

С Альберто я договорился о встрече на другом холме, в Сиглиано. Там устраивали пикник с участием „Ассоциации друзей музыки Ареццо“. На холме была суматоха и оживление. Автобусы привезли музыкантов и их друзей, и теперь все прогуливались по горе, любясь панорамой. Виноградники уступами спускались к нарождающемуся здесь Тибру. На горе высилось единственное здание, маленькая дряхлая церковь с ранней фреской „Святой Христофор и младенец Иисус“.

Больше всего волновались тридцать молодых женщин. Все они — как мне сказали — были подающими надежды профессиональными пианистками, приехали сюда из разных стран, чтобы завершить образование в музыкальной школе. По горе расхаживали в туфлях на высоких каблуках и, соревнуясь друг другом, старались завоевать улыбку хозяина, знаменитого музыканта. Приятно было видеть международное очарование на марше, но маэстро, который судя по всему давно к нему привык, сохранял на лице выражение утомленного бога.

Старый священник в поношенной сутане так и сиял, он был рад наплыву гостей и запаху жареных стейков, доносящемуся с западной стороны церкви. Официанты в смокингах хлопотали у гриля — невероятное зрелище! Церковь была мрачной и одинокой, словно келья отшельника. И книг там было немного, зато огород привел меня в восторг. Мы стояли над залитым солнцем миром, смотрели на кружевные тени олив, а Тибр все так же беззаботно скакал по камням.

В тени олив установили столы, застелили их белоснежными скатертями и прижали камнями, чтобы не сдувал ветер. Официанты разносили красное и белое кьянти. Люди не столь утонченные, включая Альберто, успели провозгласить много тостов еще до начала обеда. Потому, вероятно, когда, усевшись за стол, все принялись за флорентийские стейки, настроение дошло до той стадии экзальтации, которая обычно наступает гораздо позже. Слева от меня сидела американка, которая, как мне показалось, не имела отношения к музыкальному обществу. Впрочем, это ее ничуть не смущало.

— Вы заметили, — спросила она, — как много здесь крестьян со стальными коронками?

— Нет, не заметил.

— Ну так обратите внимание, — сказала она, — и не говорите, что вас не предупреждали! Я думаю, что в годы войны у них были проблемы с фарфором, вот врачи и ставили людям стальные коронки. Это ужасно! Когда они улыбаются вам, хочется бежать куда глаза глядят!

На десерт подали груши и сыр из овечьего молока, затем начались речи, цветистые и комплиментарные, и произносились они до последнего звука. Мы были благодарны собаке священника за то, что та загнала кота на дерево, а кур — под главный стол, под ноги самого маэстро, и тем не менее речи продолжались.

Живописная была картина. Мы сидели в тени, а рядом раскаленный добела мир изнывал от жары. Из долины доносились сонливые звуки полдня. Красивые девушки в кружевной тени деревьев, опершись локтями на стол, стреляли глазами над кромкой бокалов, зажигали сигареты и принимали десятки расслабленных поз, которые восхитили бы Ренуара. Все это отвлекало внимание от речей и уносило в другие времена. Ничто не ново в Тоскане, просто мы наследники всех, кто когда-то

смеялся и шутил на этой горе, под таким же голубым небом.

## 17

Осенью 1224 года, когда святому Франциску было сорок три года, он с тремя монахами отправился на гору Лаверна — поститься и предаваться молитвам. Тогда он и принял стигматы на ладони, ступни и бок и стал первым святым, удостоенным ран распятия. Обладавший гениальным свойством сжимать историю в три строки, Данте написал:

На Тибр и Арно рознящей скале  
Приняв Христа последние печати,  
Он их носил два года на земле. [\[96\]](#)

Раненые ноги не дали возможности передвигаться, а потому святого Франциска перенесли на руках до Ассиз. Через два года он поприветствовал смерть такими словами: „Здравствуй, сестра Смерть, ибо ты для меня — ворота в жизнь“.

Всего пятьдесят лет назад путешественники считали восхождение на Лаверну настоящим испытанием. Туда вела протоптанная мулами тропа, и путешествие занимало большую часть дня. Теперь проложили автомобильную трассу-серпантин, и путешественник добирается до святого места часа за полтора. Когда я приблизился к вершине и посмотрел наверх, то увидел монастырь, что, словно птица, присел на скалу. Пришлось встать на обочину, чтобы пропустить человека с двумя белыми волами. Я спросил у него, принадлежат ли эти великолепные создания францисканцам. „Да, — ответил он, — одного из них зовут Спадино, а другого —

Моро“. Я продолжил путь, размышляя о том, что „бедный маленький человек из Ассиз“ поклонился бы брату Моро и брату Спадино, которые так преданно и терпеливо обрабатывают землю святой горы. Возле главных ворот стоял дорогой „паккард“. „Интересно, — подумал я, — что за поклонник леди Нищеты явился сюда засвидетельствовать свое почтение?“.

Гора нахлобучила монастырь, словно шляпу или шлем. Здания кажутся продолжением скалы. Одна большая церковь, несколько часовен и монастырских зданий окружили площадь. Монахи здесь, как и все встречавшиеся мне францисканцы, веселы и улыбкивы. Они продолжают дело своего основателя, словно трубадуры Господа. „Да не впнут монахи в лицемерную тоску и печаль, — говорил святой Франциск, — пусть же будут они веселы ради Господа нашего, радостны и приятны“.

В сопровождении любезного монаха я обошел гору и полюбовался великолепной панорамой: с одной стороны увидел долину Арно, а с другой — долину Тибра. На западе все горные реки впадают в Арно и вместе с ее водами добираются до моста Понте Веккьо. На востоке реки устремляются в Тибр и в конце концов попадают под мосты Рима.

Глядя на могучую Тоскану и обратив внимание на голубую ложку воды — Тразименское озеро, я размышлял о том, что из всех замков Тосканы, руины которых я видел на каждой горной вершине, в живых остался лишь один — замок Братства, который святой Франциск построил на Лаверне. Что такое братство или, вернее, что имеем мы в виду, когда говорим о нем в наши дни? Я не забыл слова Честертона в его книге о святом Франциске. „Францисканскую идею братства, — сказал он, — не следует путать с современной идеей панибратского похлопывания по плечу демократии. При



этом полагают, — добавлял он, — будто равенство — это когда все люди одинаково невежливы...”

— Как вы думаете, — спросил я у монаха, — в мире сейчас больше ненависти, чем во времена святого Франциска?

— Трудно сказать, — спокойно сказал монах. — Возможно, мы просто чаще о ней слышим.

Мы ходили с ним в разные часовни, любовались алтарными скульптурами Андреа делла Роббиа. Скульптор был племянником Луки делла Роббиа и унаследовал семейный гений, передав его, в свою очередь, сыновьям. Многие алтарные скульптуры так и остались там, где они были созданы несколько столетий назад. На них нет ни трещинки, они так же свежи, как и в день, когда были покрыты глазурью: не влияет на них зимняя сырость.

Крытый коридор соединяет церковь с маленькой часовней Стигматы. Монахи посещают ее дважды в сутки. Монах рассказал мне известную историю о зимней ночи, случившейся до того, как был построен этот коридор. Тогда снежная буря не дала братьям совершить в часовне обычную ночную молитву. Утром они были посрамлены, когда увидели на снегу следы животных и птиц, не побоявшихся бури и посетивших часовню.

На стене коридора я увидел упрек иного рода. Он был обращен к национальной чуме — итальянским любителям граффити, которым ничего не стоит написать свое имя на Святом Распятии. Вот эти слова:

Если ты веришь, молись;  
Если не веришь, восхищайся;  
Если глуп, напиши на стене свое имя.

Среди фресок в коридоре я заметил картину, где святой Франциск проповедует птицам, и вторую, где святой изображен рядом с некогда злобным Волком, которого святой Франциск обратил в свою веру, после чего назвал Ягненком.

Когда в сентябре 1224 года святой поднялся на гору вместе с тремя товарищами, к месту, где стоит сейчас часовня, туда можно было пройти только по стволу дерева, переброшенного через пропасть. Святой Франциск специально его избрал, чтобы остаться наедине с Богом. „Вернитесь теперь к себе, а меня оставьте одного, — сказал он, — ибо с Божьей помощью я намерен держать пост, а потому ничто не должно меня беспокоить и отвлекать от молитвы. Никто из вас не должен приходить ко мне. Только ты, брат Лев, приходи ко мне раз в день, приноси немного хлеба и воды, и еще раз, в час заутрени. Приходи молча. Как дойдешь до моста, скажи: „Господь, открой мне уста мои“, и если я отвечу, перейди через мост, войди в келью, и мы вместе помолимся. Если же не отвечу, тотчас уходи“». А сказал это святой Франциск потому, что временами он так погружался в молитву, что не слышал ничего вокруг. Дав им такое напутствие, святой Франциск благословил братьев, и они вернулись к себе.

«Вот так расстались они, оставив возлюбленного монаха одного, если не считать гнездящуюся рядом самку сокола. Птица всегда будила святого в час заутрени: хлопала крыльями и не улетала, пока он не поднимался для молитвы. Когда же святой Франциск уставал больше обычного или был слаб и болен, птица, словно мудрый и сочувствующий человек, будила его чуть позже. Святой Франциск полюбил всей душой эту святую хранительницу времени, ибо заботливость птицы в то же время отвергала праздность и побуждала его к молитве. Птица часто оставалась рядом с ним на целый день».

Несмотря на указания святого, брат Лев, любимый ученик Франциска, зная, как болен и утомлен его учитель, присоединился к соколу и дежурил по соседству. Не раз монах видел, как святой, придя в молитвенный экстаз, поднимался над землей на несколько футов. Перед рассветом в праздник Святого Распятия святой Франциск молился в своей келье, и «молитвенный жар охватил его с такою силой, что сам он превратился в Иисуса через свою любовь и сострадание». К нему спустился серафим с шестью огненными крылами, и Франциск исполнился великого страха, но одновременно и великой радости, печали и удивления. Затем явился ему Христос и сказал: «Знаешь ли ты, что я с тобой сделал? Я дал тебе стигматы, это знаки моих страстей, так что отныне ты будешь моим знаменосцем».

Когда монахи увидели наконец святого, то заметили, что он старается скрыть от них свои руки и ступни, а главное — Франциск не мог встать на ноги. И тут они с благоговейным ужасом увидели следы стигматов. «Руки и ноги его оказались проткнутыми гвоздями. Острые концы их торчали из тыльной стороны ладоней и ступней, а шляпки, черные и кровоточащие, виднелись с их внутренней стороны. Кровь часто вытекала из святого сердца Франциска, пачкая сутану и нижнее белье».

В сборнике «Цветочки Франциска Ассизского» рассказано с подробностями, как святой Франциск вместе с братом Львом вернулся в Ассизи верхом на осле, как люди из окрестных деревень пришли его поприветствовать, как пытался он спрятать от них забинтованные руки, но все же вынужден был позволить крестьянам целовать ему кончики пальцев. Казалось, он до сих пор не вышел из транса и не знал, где находится. Долгое время спустя, когда они проехали через Сансеполькро, он спросил: «Когда мы подъедем к Борго?»

Все те места, что упомянуты в «Цветочках», можно здесь увидеть: место, где святого Франциска приветствовали птицы; где соблазнял его Сатана; где жил Волк, ставший Ягненком. Больше всего тронули меня скала, на которую ушел молиться Франциск, и каменная постель святого. По выбитой в скале лестнице монах провел меня вниз, и мы вышли на выступающий каменный карниз. Казалось, глыба эта вот-вот обрушится и погребет под собой все, что встретится ей на пути. Я увидел грубый деревянный крест: он отмечает место, где, как говорят, спал на камне святой Франциск.

Пока мы с монахом разговаривали, подошли мужчина, женщина и маленькая девочка в ортопедическом ботинке. Они преклонили колени и произнесли молитву. Затем все мы вместе пошли наверх. Там стоял шофер в белом плаще, и тут я припомнил автомобиль, что стоял у ворот. Мне сказали, что мужчина работал швейцаром в большом офисе. Когда его ребенок заболел полиомиелитом, они с женой поклялись, что если девочка поправится, они совершат паломничество в Ассизи и Лаверну. Сейчас они это и делали со слезами благодарности на глазах, а «паккард» предоставил им их американский работодатель. Вот так и продолжают цвести на каменистой почве Лаверны «цветочки» святого Франциска.

Святые и наши братья меньшие — этот сюжет, я думаю, привлекает больше художников, нежели писателей. Ничто в Англии не трогает так людей, как любовь святого Франциска к животным, впрочем, в этом среди святых он не был исключением. Жития отшельников и анахоретов Египта, а также и кельтских святых полны рассказов о животных. Хотя святой Иероним был всего лишь отшельником, о нем знают все, ведь в пустыне он приручил льва, после того как вынул у

него из лапы занозу. В рассказе этом есть францисканская нотка: лев сделался опекуном осла, возившего дрова для монастыря. Когда осла украли, святой Иероним поверил, что лев съел осла, а вот святой Франциск ни за что бы этому не поверил. В наказание льву приказали возить дрова! Это очаровательное существо — я помню лукавое выражение его морды на картине Карпаччо в Венеции — терпеливо и охотно выполняло свою работу, но однажды лев увидел старого приятеля — осла, идущего с караваном торговцев. Лев захотел очистить свою репутацию и загнал верблюдов вместе с ослом в монастырский двор. Надо надеяться, что святой Иероним извинился.

Звери Фиваиды, конечно, были более хищными, чем те, которых знал святой Франциск, ведь там преобладали львы. Святой Антоний первым из отшельников жил в каменной пещере, похожей на вершину Лаверны. Оттуда открывался вид на Суэцкий залив. Самыми приятными посетителями святого были животные, остальные пришельцы относились к дьявольскому сословию. Когда Антоний хоронил отшельника Павла, вышли два льва, облизали святому руки и ноги, а затем лапами помогли ему выкопать могилу.

Говорят, за великим Макарием Александрийским повсюду следовала буйволица, дававшая ему молоко. Тот же святой исцелил молодую гиену от слепоты. Отшельник Феон привлек к себе столько животных, что по следам, оставленным дикими осликами, газелями и буйволами, можно было узнать, где в настоящий момент он находится. Один старый монах научил льва питаться финиками; другой брат делился своей едой с волчицей; а еще за одним монахом ходил горный козел и учил, каких растений ему следует остерегаться.

«Цветочки» напоминают нам и о дьяволе, а являлся он часто. Дьявол там груб, прямолинеен, в нем нет

опасной тонкости и изобретательности, которые отличали его в Египте. Только однажды в «Цветочках» он доказал, что еще способен на старые трюки, когда предстал перед братом Руффино в самом ужасном виде — в облике Христа. Когда святой Франциск понял, что происходит, совет его был достоин любого египетского анахорета. Он сказал обеспокоенному брату, что если фальшивый Христос снова придет к нему, он ему скажет: «Ну-ка, открой рот, я положу туда свой кал», тогда дьявол немедленно уберется. Так он и поступил. Но в «Цветочках» не описана та борьба, что непрерывно шла между Богом и Сатаной в египетской пустыне. В отличие от отшельников, первые францисканцы не дразнили и не раздражали дьявола, не равнялись с ним силой духа. Война эта придавала жизни отшельников едва ли не спортивный характер. Пустыня для них, словно арена, на которой происходила борьба, разминались духовные мускулы. Сатана не приходил к францисканцам в бесчисленных, сбивавших с толку обличьях, а являлся просто как огромный бык и гонял монахов по окрестностям, стараясь воздействовать на них грубой силой. Так он поступил как-то ночью, явившись к святому Франциску в заброшенную церковь.

Мне хотелось задержаться на Лаверне: во время своего краткого пребывания в монастыре я ощутил необыкновенное францисканское спокойствие. Такое же ощущение испытывал я в францисканских храмах на Святой Земле. С сожалением попрощался с братьями и поехал вниз по горному серпантину.

Если бы сокол взял из Лаверны курс на северо-запад, то, пролетев десять миль, опустился бы в другом, еще более древнем монастыре, который носит название

Камальдулы. Путешественник, к сожалению, привязан к земле: из Поппи по винтовой дороге он едет в горы, и путешествие кажется ему непростым. Сначала он поднимается по дороге, петляющей в березовой роще, затем въезжает в густой хвойный лес. А ведь всего в нескольких милях отсюда Лаверна может похвалиться не столько деревьями, сколько скалами. Верно, там тоже встречаются березовые рощи, но больше запомнились мне туннели, расщелины и горные карнизы, с которых я заглядывал в пропасть. В Камальдулах горы полностью прикрыты, а жаркий летний воздух напоен запахом сосны. Часто слышится жутковатая череда звуков — громкий стук, треск, глухой удар: так умирает под топором лесоруба большое дерево.

Основатель монастыря Камальдулы родился в Равенне за двести семьдесят лет до того, как здесь погребли Данте. Дух его был ближе к времени экзархата, нежели к Средневековью. В Англии в то время саксонские короли выгоняли викингов. Святой Ромуальд был тогда бенедиктинским аббатом. Монахи постоянно восставали против строгости его правления. Придя в отчаяние от распушенности монашеской жизни, он решил основать собственный орден и удалился с пятью адептами в горы Камальдулы. Здесь они жили как отшельники, в тишине и одиночестве. Пришли туда в черном бенедиктинском одеянии, однако, увидев сон, святой Ромуальд сменил цвет рясы на белый. Вот и сегодня, девятьсот пятьдесят лет спустя, вы увидите отшельников в белых одеяниях.

В тишине и одиночестве живут они в монастыре Камальдулы. Мир изменился, а они, отшельники, подчиняются законам, прописанным им в конце Средневековья их основателем.

Приехав, я увидел в лесу поляну. На ней стояли строения, сгруппированные вокруг церкви с башнями-близнецами. Крыши зданий поставлены под странными

углами, на всем — патина старины. Мне показалось, что монастырь этот я когда-то видел — то ли во сне, то ли на картине. Потом понял, что такое впечатление производила толстая каменная стена, окружившая монастырь. Она словно бы сдерживала наступавшие на постройки гигантские ели. Утро улыбалось, прогулки в благоуханной тени деревьев казались восхитительными, однако вид стены повернул мои мысли в другом направлении. Я подумал, что она сулила относительный комфорт в промозглые зимние дни.

Сначала меня заинтересовал герб ордена: на нем изображены две горлицы, сидящие по обе стороны от потира. Это означает, что орден составлен из двух классов — монахов и отшельников, и что оба — и ведущие активный образ жизни, и предающиеся созерцанию — объединены во Христе.

Как и большинство посетителей Камальдул, я хотел навестить отшельника и узнать, как живут такие люди. Первый монах, которого я встретил, сразу видно, был не из их числа. Веселый, общительный человек. Он сказал мне, что скиты находятся в горах, в тысяче футов отсюда. Да нет ничего проще навестить отшельников, он сам туда сегодня пойдет и будет рад показать мне дорогу.

Я вошел в монастырь и оказался в античной аптеке, где, похоже, со времен Средневековья ничего не изменилось. Со стропил свешивался пыльный аллигатор, а за бастионом разнообразной аптекарской утвари стоял молодой послушник в очках с роговой оправой. Возле дверей, там, где в других аптеках обычно находятся напольные весы, я заметил гроб, поставленный на попа, а в нем — скелет. Я подошел поближе и прочитал надпись: «В этом стекле ты видишь себя, глупый смертный. Любое другое стекло не говорит тебе правды». Рядом на полке увидел большое разнообразие



змей и несколько барсучьих шкур, помогающих, как я смутно припомнил, от колдовства.

Должно быть, есть во мне что-то от скрытого средневекового ипохондрика, ибо это было место, которое я всегда надеялся найти: аптечный магазин, где можно спросить полунции крабьих глаз или пакет измельченного коралла, или даже баночку мази, приготовленной из оленьего рога, либо волшебные старинные лекарства. Магазин, на первый взгляд, выглядел весьма многообещающе — далекий, спрятанный в Апеннинах... А что если здесь есть эликсир жизни? Кто может сказать, что содержат в себе бесчисленные маленькие ящички в красивых, потемневших от времени ореховых шкафах? Что, несмотря на роговую оправу очков и современный вид, может держать послушник под своим прилавком? Я зачарованно шагнул в комнату поменьше. В ней было много ступок с пестиками, реторт и еще один аллигатор. Казалось, отсюда только что вышел алхимик, чтобы справиться о чем-то у Галена.<sup>[97]</sup> Чучело броненосца придавало одному углу комнаты домашний вид. На стене, в рамке — возможно, как самая актуальная инструкция — был перечислен некий состав, в котором среди компонентов числился человеческий жир.

У прилавка меня опередил человек, купивший упаковку бритвенных лезвий, и женщина, спросившая флакон одеколона и баночку крема для лица. Это — как знает каждый поклонник Дон Кихота — могло быть делом рук волшебника. К сожалению, все обстояло не так. С тех пор как два фармацевтических мира встретились у прилавка, мир бритвенных лезвий и крема для лица, несмотря на обнадежившие меня признаки торжества старины, оказался более реальным. Тем не менее факт остается фактом: спроси я у послушника полунции черной чемерицы, которая — что каждый знает — излечивает от подагры и убивает волков, он,

возможно, и удивился бы, но и еще более загадочный бутабарбитал или пенициллин выдал бы мне тоже, и глазом бы не моргнул!

Я спросил, откуда приходят к нему посетители. Оказалось, что живут они в монастырской гостинице, выше по дороге, и сейчас в отпуске. Каждый год люди приезжают сюда и проводят недельку-другую в напоенном сосновым духом горном воздухе, ходят пешком, ездят, рыбачат, а аптека является деревенским магазином.

Монахи всегда баловались виноделием в надежде получить что-нибудь столь же хорошее и выгодное, как бенедиктин или шартрез. В монастыре Камальдулы делают три ликера: один называется «Лавр», другой — «Эликсир отшельника», а третий — «Слезы сосны».

Услышав рядом с собой смех, я обернулся и увидел веселого монаха, встретившегося мне по прибытии. Он сказал, что хочет показать церковь, после чего мне надо будет подкрепиться. Мы отправились, и я страшно удивился, когда узнал, что этот восхитительный человек в течение двух лет был отшельником. Мне в это трудно было поверить: казалось, что он и двух минут не может молчать! И тут до меня дошло, что его веселость и говорливость происходят не от радости души и благодати, которая, как говорят, необходима монаху, но являются естественной компенсацией общительному по натуре человеку за двухлетнее вынужденное молчание.

— Как же вы это выдержали? — спросил я.

— Было тяжело, — признался он, — но я понимал необходимость подчиниться дисциплине.

Мы пришли в церковь в стиле барокко, где я любовался прекрасной скульптурой делла Роббиа. Затем по крутой тропинке, проторенной через лес, отправились в эрмитаж. В белой рясе и огромной соломенной шляпе мой попутчик выглядел весьма живописно. По пути он рассказывал, как живет

отшельник. В настоящий момент их шестнадцать человек, каждый живет в своей келье. За исключением затворников, которых видят крайне редко, обычные отшельники покидают свои кельи семь раз в сутки, чтобы совершить в маленькой церкви молитву. Первый раз они приходят туда в половине второго ночи, свершают заутреню и молитву перед обедней. Первая месса происходит в семь часов утра; затем следует еще одна месса в девять часов; потом служба в одиннадцать сорок пять; в половине пятого — вечерняя молитва и т. д. Они идут в церковь и возвращаются в свои кельи, не произнося ни слова, и так в любую погоду — в сильный снегопад или в ливень и туман, что в горах частое явление. Двенадцать раз в году, в определенные праздники им разрешают говорить. Обедают в эти дни они вместе, но едят молча. Только после трапезы разрешают им поговорить друг с другом.

— И как, много говорят? — спросил я.

— Нет, — ответил он, вдруг помрачнев. — Отвыкаешь от разговоров.

Каждый отшельник ест в своей келье. Еда скудная, без мяса. Едят хлеб и овощной суп. Подает обед послушник — ставит его на вращающийся круг. По пятницам разрешены только хлеб и вода. Каждый отшельник дважды в год держит пост.

— Посмотрите! — сказал вдруг мой попутчик и показал вверх на тропинку.

На некотором расстоянии от нас неподвижно стояла белая Фигура.

— Отшельник! — добавил он.

Мы приблизились. Фигура стояла, словно замороженная. Когда мы с ней поравнялись, я увидел, что отшельник читает книгу. Он не взглянул на нас, и хотя невежливым казалось пройти в уединенном месте мимо другого человеческого существа, не сказав ему «Добрый день», я почувствовал в отшельнике

напряжение, которое давало понять: заговорить — значит нарушить запрет. Впрочем, должен признаться, что он меня разочаровал. В галерее Уффици я рассмотрел на картины с Иоанном Крестителем и изображения других одичавших анахоретов, что в драных шурах стояли у входа в пещеры, а здесь хорошо одетый человек с белой бородой, в белоснежной рясе... Причем сразу видно, что чистый. Нет, на настоящего отшельника он не был похож.

Мы приблизились к огороженному участку, окруженному лесом. Крепкие ворота были заперты на замок и заложены на засов. Монах дернул за веревку, и зазвонил колокол. Ворота открыл послушник. Внутри я увидел около тридцати крепких маленьких одноэтажных домиков, каждый покрыт красной черепицей. Все строения одинаковые, поставлены были с математической точностью военного лагеря на равном расстоянии один от другого по обе стороны мощеной дороги, ведущей в церковь. Я обратил внимание на то, как умно они поставлены: фасад одного дома повернут к торцу другого, чтобы обитателей домиков ничто не отвлекало. Попутчик мой пошел по своим делам, я огляделся по сторонам и увидел, что при каждом домике имеется маленький сад. Отшельники выращивали там в основном бобы, горох и картофель. Некоторые оживили садик геранью и георгинами. Но даже цветы не могли развеять мрачную атмосферу покаяния.

Монах вернулся, и мы пошли с ним по главной дорожке. Он показывал мне достопримечательности, в том числе и келью, так назывались эти домики, в которой семь лет прожил бельгийский отшельник. Чтобы подвергнуть себя такому суровому испытанию, отшельник должен был сначала получить разрешение настоятеля монастыря. Я выразил удивление.

— Да это еще ничего! — воскликнул монах. — В 1951 году отшельник умер в келье, после того как прожил

там двадцать три года на хлебе, воде и овощах, а зимой он даже не обогревался.

Я сказал, что, возможно, это и ускорило его кончину.

— Напротив, — возразил монах. — Он умер в восемьдесят пять лет!

Мы подошли к маленькой церкви, где работал послушник.

— Вы непременно должны увидеть блаженного Мариотто Аллегри, — воскликнули в один голос монах и послушник. — Он так же свеж, как и в день смерти.

— Когда он умер? — спросил я.

— В1478-м, — ответили они, — почти пятьсот лет назад! В ризнице стоял ящик со стеклянной крышкой.

— Разве он не удивителен? — спросили они. Я посмотрел и увидел старика в белой рясе, кожа его напоминала коричневую бумагу. Аллегри был аббатом ордена во времена Лоренцо Великолепного.

— Возможно, — предположил я, — они даже встречались.

— Ну разумеется, встречались, — сказали они. Это был великий платонист, Мариотто Аллегри. Как написал Кристофоро Ландино в своих «Камальдульских беседах», в 1468 году он пригласил в аббатство Лоренцо и его брата Джулиано вместе с учеными друзьями из Платоновской академии.

Я опять на него взглянул. Как странно думать, что коричневые губы беседовали когда-то с Медичи.

Когда шли обратно к воротам, мой попутчик остановился возле кельи и постучал. Дверь открыл отшельник. Мне его представили — Дон Доменико. По какой-то причине, которую я так и не уяснил, его освободили от обета молчания, и он, похоже, был рад нас видеть. Я страшно обрадовался, когда он пригласил нас войти. Думаю, большинство людей, как и я, полагают, что келья отшельника должна напоминать жуткую пещеру, какую обычно мы видели на картинах

великих мастеров, но со временем даже жизнь отшельника сильно меняется. Я вошел в аккуратный маленький домик, такой же компактный и аккуратный, как капитанская кабина на корабле либо камера идеальной тюрьмы. Обстановка была суровой и аскетической, но добротной и явилась, по всей видимости, результатом отлаженной за столетия распланированной жизни в одиночестве. Маленький кабинет с аккуратными книжными полками, письменный стол из простой сосны. Дверь из кабинета вела в жилую комнату, там стояли стул, стол, электрическая лампа без абажура и встроенная в деревянный альков кровать. Я сел на нее и обнаружил, что она твердая, как железо. Так как Дон Доменико был священником, дверь из спальни вела в крошечную часовню, где он каждый день читал мессу.

Человеку самому надо пожить в монастыре, чтобы доподлинно узнать, существует ли здесь до сих пор злоба. Средневековые короли утверждали, что она — проклятие монастырской жизни. Что до меня, то я ни разу не встретил несчастного или неприятного монаха. Мне приходят на ум два основных типа: худощавые спокойные аскеты и сердечные божьи люди, в веселость которых даже порой и не верится. Не отрицая того, что и спокойствие, и веселость основаны на духовной дисциплине и на прописанных религиозных ценностях, я часто думал, в какой мере отсутствие заботы о добывании денег, семейных неурядиц и родительских разочарований — не говоря уже о горестных событиях внешнего мира — способствуют душевной гармонии. Глядя на добрую, благожелательную улыбку Дона Доменико, я думал, что Джотто и Мантенья, увидев на фоне скалистого пейзажа эту фигуру в белой рясе, непременно взялись бы за кисть.

Не всегда просто поддерживать разговор с человеком не от мира сего, но я заметил на полках

несколько книг о планетах и выяснил, что он — астроном-любитель. Он показал телескоп, который смастерил собственными руками. Возможно, такой же инструмент сделал когда-то Галилей. Дон Доменико воспользовался для этого старыми линзами и листом олова. Он рассказал мне, что в ранние часы часто берет телескоп с собой в сад и считает спутники Юпитера.

Мы ушли, так как отшельники собирались к вечерне. Двери суровых домиков тихо открылись, и оттуда вышли фигуры в белых одеяниях с накрытыми капюшонами головами. Они молча шли, потупившись и спрятав руки в широкие рукава. Каждый шел сам по себе, словно бы не замечая товарищей. Тут были и белобородые старики, и здоровые мужчины среднего возраста. Они входили в церковь, а я с восхищением смотрел им вслед. Они добровольно приняли условие, которые мало кто из нас готов выдержать, — полное одиночество. Когда я подумал об ужасах, подступающих к ним по ночам, представил, как ждут они первого луча солнца и звуков обычной жизни, то решил, что для принявших на себя обет одиночества людей не подберешь лучшего определения, чем придуманного в старину — «атлеты Бога».

Мы спустились с горы по заросшему соснами склону, и спутник мой снова развеселился, и я догадался почему. Одно его замечание проиллюстрировало скромность монашеской жизни. Описывая часть года, за которую ничего особенного не произошло, он сказал: «Это было на Пасху. Нет, не на Пасху! Это было на Рождество, потому что после обеда нам дали грецких орехов!»

«Когда я был в горах с партизанами, — сказал однажды Альберто, — то часто ходил зимними ночами на фермы, чтобы послушать импровизаторов. Мы называли их стихи импровизированной речью. В некоторых долинах они говорят на классическом диалекте XVI столетия и используют слова, давно вышедшие из употребления. Увлекательное было мероприятие. Мы слушали фермеров и крестьян в забитых народом фермерских кухнях. Не умевшие читать люди красноречиво описывали события дня, сев зерновых, пахоту, облака, птиц, полет самолетов, и все это в красивых стихах. Мне хочется, чтобы вы услышали сторнеллы и респетти,<sup>[98]</sup> как слышал их я во время войны. Тогда один человек изображал Гитлера, другой — Черчилля, а третий — Рузвельта. Я знаю, что многие люди, даже литераторы, пишущие об Италии, думают, что старый талант исчез, но это не так. Электричество, радио и телевидение не успели разлучить крестьян Тосканы с веком Гомера».

Импровизаторов и сегодня можно найти в любой части Тосканы. Когда я спросил, не могу ли я кого-нибудь из них услышать, Альберто сказал, что ничего не может быть проще, и пообещал устроить такое слушание.

Чтение стихов экспромтом на заданную тему сохранилось, как я полагаю, до нашего времени. Возможно, даже в Уэльсе до сих пор это можно услышать. Альберто предполагал, что импровизаторы появились с незапамятных времен. Я могу вспомнить по меньшей мере одну римскую ссылку на это явление. Древнеримские импровизаторы, не затерявшись в Средневековье, перекочевали в эпоху Ренессанса. Однажды на официальном банкете кардинал Джованни де Медичи спросил у знаменитого импровизатора Сильвио Антониано, не может ли он сочинить мадригал часам, отбивавшим время на дворцовой башне. Молодой



человек немедленно выдал импровизацию и впоследствии продолжал с не меньшим успехом свое занятие, так что когда Джованни де Медичи стал папой Пием IV, он сделал Антониано кардиналом.

Английские путешественники XVIII века заслушивались в Италии стихами этих поэтов. В 1770 году в Англию приезжал знаменитый импровизатор Таласси. Миссис Трэйл пригласила его в Стритхэм, и там доктор Джонсон, сам неплохой умелец по части экспромтов, пришел от него в восторг. Когда доктор Бёрни совершал музыкальное турне по Европе, он встретил во Флоренции импровизатора-женщину — Ла Кориллу. Женщины, как всеми признано, одарены в этом отношении не меньше мужчин. Ла Корилла продемонстрировала однажды свои способности в Капитолии перед избранной публикой, среди которой был герцог Глостерский. Рассказывают, что она с равным успехом рифмовала стихи на темы по физике, метафизике, юрисдикции, риторике и мифологии. Еще одна знаменитая женщина-импровизатор — Изабелла Пеллегрини — изумила своим талантом мадам де Сталь. Возможно, самым знаменитым специалистом в этой области был импровизатор XVIII века Бердинадино Перфетти, который во время сочинения впадал в транс. После одного из публичных выступлений Перфетти в Капитолии Бенедикт XIII увенчал поэта лавровым венком и сделал почетным гражданином Рима.

Уже через день Альберто пригласил меня вечером в трактир, что стоит на дороге из Ареццо в Монтеварки. Там он представил меня двум обыкновенным с виду итальянцам. Возможно, это были фермеры или владельцы мелких магазинов. Оказалось, что оба они торговали на открытых рынках пластмассовыми ведрами, бритвенными лезвиями и прочими товарами. Одного из них звали Элио Пиккарди, а другого — Маттео Маттесини. Мы решили вместе отобедать, после чего

они согласились продемонстрировать свое искусство на любую предложенную мной тему. Альберто отвел меня в сторонку и сказал, что принес с собой магнитофон, чтобы у меня был точный текст сочиненных стихов. «Эти канты не следует записывать у них на глазах, — сказал он, — успех импровизации зависит от атмосферы, от взаимоотношений этих двух людей, от неожиданных взлетов вдохновения. Вы скоро и сами поймете, что я имею в виду...»

Нам забронировали маленькую комнату с выходящим на улицу окном. Обед был уже готов. Мы съели горы дымящихся спагетти. Один импровизатор сказал мне, что свою жизнь начал с выпаса овец и, чтобы как-то скоротать время, стал сочинять стихи, обращенные к отаре. Другой сказал, что повстречались они на рынке, там и стали перекликаться друг с другом из-за прилавков, сочиняя пришедшие на ум стихи. Народ при этом был в полном восторге.

Я заметил, что гости пили мало, да и то разбавляли кьянти водой. После обеда импровизаторы сели друг против друга и попросили меня дать им тему. Они сказали, что им нужна проблема. После консультации с Альберто я сказал: «На реке половодье. Мужчина переплывает ее с матерью и женой. Неожиданно слышатся крики о помощи, и мужчина видит, что обеих женщин уносит течение. Он может спасти лишь одну из них. Кого он должен спасти — мать или жену?» Импровизаторы внимательно меня выслушали, кивнули головами, и, ни минуты не раздумывая, Элио Пиккарди поднял руку в манере оратора и певуче начал:

Rimettiamo la lingua in movimento ora ci hanno dato un delicato dramma, sarebbe un contrasto, sai, di sentimento: cantare su una moglie e su una mamma. Ambedue trovandosi nel cimento, a

ripensarci sai, 'l cuore s'infiamma, ma per mantener  
nel mondo l'energia io difendero la moglie mia.

Содержание получилось следующее: «Давайте же начнем рассказ о том, как разрешить нелегкую задачу о попавших в беду женщинах — жене и матери. Ситуация конфликтная: сердце воспламеняется при одной только мысли об этой драме. Однако ради будущего следует спасти жену».

Слушая его и восхищаясь тем, как он строит рифмы, словно бы достает из воздуха, я подумал, что по-итальянски это делать гораздо легче, чем на английском языке. При первом звуке его высокого певучего голоса в дверь сначала заглянула одна голова, затем другая, и вскоре, не в силах избежать искушения, в комнату тихонько вошли восемь-десять итальянцев, до той поры мирно сидевших в зале и пивших вино. Они пристроились возле окна и вслушивались в каждое слово. Взгляд их ни разу не отрывался от лица поэта. Такую аудиторию не часто встретишь в мире образованных людей. Им важно было каждое слово.

Пиккарди закончил восьмую строку и сделал паузу, ожидая вступления друга, и Марио Маттесини ринулся в бой. Он горячо вступился за мать. Сказал, что любовь матери к своему ребенку не пустая фантазия. С того момента, как она рождает ребенка, а затем нянчит, дает ему силы, любовь ее не меркнет. Две заключительные фразы его импровизации заслужили одобрение аудитории, слышалось согласное бормотание: человек не всегда слышит правду от своей жены, но мать никогда не предаст сына.

Пиккарди снова горячо выступился в защиту жены, заключив такими словами:

per la mi' moglie, con quel ricciol biondo, fo  
annegar tutte le mamme che c'e al mondo.

«Ради жены, с белокурыми ее волосами, он не пожалеет всех матерей мира, пусть себе тонут!» Мне показалось, что такое заявление шокировало аудиторию: они покачали головами. Маттесини ответил, что душа его друга, должно быть, совсем очерствела, если он говорит такие вещи о той, перед кем склоняется весь мир. «Седые волосы матери тоже были когда-то белокурыми», — напомнил он.

Пиккарди затем сказал, что когда он в войну служил в пехоте, то слышал слова умирающих людей — там были американцы и англичане. Ни один из них не вспоминал перед кончиной мать, все призывали своих бедных жен и детей. Маттесини ему возразил. У него был другой опыт: когда падала бомба, человек не думал ни о жене, ни о детях, он кричал: «Мамма миа!» Затем импровизатор пошел еще дальше и сказал, что плохи те люди, которые не зовут матерей в моменты опасности.

Всего прозвучало четырнадцать стихов, и мне стало ясно, что у Маттесини задача легче. Самыми трогательными словами были следующие:

Se ti muore, una mamman 'un la ritrovi, ma de  
le mogli cento ne rinnovi.

«Если умрет мать, ее некому заменить, но жен ты можешь найти сотню!» Это были строки, которых дожидалась страна матриархата: все заулыбались, одобрительно закивали, слышались возгласы одобрения, некоторые люди хлопали Маттесини по спине. Так закончился первый кант.

Следующая тема оказалась неудачной, не знаю, зачем ее избрали, — дорожное движение. Затем предложили новый сюжет — «за» и «против» толстых женщин, при этом прозвучало пятнадцать стихов. Вечер закончился изящно оформленным приветствием в мою честь. Так как им ничего обо мне не было известно, и

увидели они меня несколько часов назад, то в основу стихотворения положили очаровательную и старомодную идею об Англии, царице морей и защитнице свободы, приправили стихи похвалами Чюрчилло — так на итальянский манер произнесли они фамилию Черчилля.

Я остался под сильным впечатлением и от поэтов, и от аудитории, и лишь жалел, что я не художник и не могу запечатлеть эту сцену на полотне. Она словно бы пришла из гомеровского времени: странствующий менестрель развлекает виноградарей и пастухов. Когда же прочел записанные на пленку стихи, удивился — оказалось, что это просто упражнения в вербальной ловкости и быстроте реакции: поэзии там и не было. Всего-навсего обыкновенный рифмованный разговор. Альберто был прав: стихи импровизаторов могут нравиться лишь в момент исполнения, но не в напечатанном виде. И все же, где еще в мире вы найдете двух уличных торговцев, гордо называющих себя поэтами, которые смогли бы по вашей просьбе высказываться рифмованными строчками? Эти люди усвоили литературную традицию, уходящую корнями в далекое прошлое, возможно к временам Гомера.

## **Глава двенадцатая. Умбрия — земля воинов и святых**

***В Умбрию. — Замок Хоквуда. — Святая Маргарита из Кортонь. — Перуджа, город римских пап и конклавов. — Флагелланты. — Посещение Губбио. — Ассизи. — Святой Франциск. — Как потеряли тело святого, а потом нашли. — Птичье святилище. — Воды Клитумна.***

### **1**

С сожалением покинув Ареццо, я поехал в Умбрию. Дорога, что ведет из Тосканы на юг, проходит по красивой долине, бывшей когда-то страшным малярийным болотом. Болото давно осушили, землю обработали, и теперь здесь находятся самые ухоженные тосканские фермы. Стоял жаркий день. Солнце раскалило воздух добела, и земля дрожала в окутавшем ее летнем мареве. Взгляд с благодарностью останавливался на затененных участках под оливковыми деревьями. Жара пульсировала под ритмичный треск кузнечиков. Я мечтал о благословенном дожде, прохладном и животворном.

Проехав горный городок Кастильон Фиорентино, я заметил единственное движение в оглушенном солнечным ударом мире и увидел молодого фермера, темного, точно грецкий орех. Под оливками он пахал плугом землю. Белые тела волов пожелтели от пота. Передвигаясь со слоновьей грацией, они качали рогами, отгоняя мух. На плоских лбах мотались красные кисточки. Я спросил у фермера, как называется город,

чьи крепостные стены я заметил на горе, до которой — по моим представлениям — надо было проехать несколько миль. Он ответил, что это замок сэра Джованни Акуто, а называется он Монтеккьо. Парень прибавил, что сэр Джон Хоквуд жил в этом замке, там же и умер. Я знал, что это не так. Это был просто один из нескольких его замков, проданных Флоренции в попытке избавиться от долгов. Был он, должно быть, страшным транжирой. Деньги зарабатывал во время многочисленных военных столкновений, но расходы на содержание тысячи солдат должны были быть огромными, и он постоянно нуждался. Он прославился как генерал, и все хотели завербовать его на свою сторону, а потому платили большие деньги. Флоренция в последние годы оплачивала и содержание его жены. Банкиры не были бы столь щедрыми без причины.

Тропа взбирается к стене, к тяжелым старинным воротам, утыканным гвоздями размером в полукрону, однако смотреть здесь нечего, кроме крестьянского дома, стоящего в руинах, и сторожевой тропинки, петляющей к северу — в Ареццо и к югу — в Кортону. Жена фермера знала, что замок принадлежал Джованни Акуто, но кто он был такой, понятия не имела, да и не хотела знать.

Я продолжил свой путь, сделал несколько поворотов по серпантину и разглядел в мареве Кортону. Расположена она настолько выше, что ощущается горная прохлада. С крепостного вала я глянул вниз, на Тразименское озеро и дорогу к Перудже. Какой обзор! Разглядывая панораму, я подумал, читают ли нынче Джорджа Денниса, английского консула прошлого столетия, чья книга «Города и кладбища Этрурии» до сих пор самая интересная из посвященных этой теме. Кортону удивляла и приводила его в восторг. Этрусский город вызвал у него желание обратиться к читателям с торжественной архаичной речью, потому что

современный язык неадекватно выражал благоговение, которым Кортонна наполняла душу автора. «Здесь дни Гектора и Ахилла, здесь выросла сама Троя — вот что такое Кортонна!» — восклицал он.

Было слишком жарко, а потому я просто прошелся по городу и насладился полумраком церквей и прохладой музеев. Пришли на ум обрывочные воспоминания: железные крюки на здании, где находится сейчас почта, мне говорили, что во времена Средневековья здесь вешали преступников; зеленые этрусские канделябры в музее — «чудо древних чудес», по выражению Денниса; и выставленный в витрине пояс верности. Вспомнил я и любопытный разговор, подслушанный мною за ланчем в маленьком ресторане на главной площади. Двое мужчин, сидевших за соседним столом, вели политический спор с третьим, свирепым горбуном. Если они хотели рассердить его, надеясь, что он выйдет из себя, то это им удалось: отодвинув стул, он зашагал к двери, а потом приостановился и, повернувшись, зловеще прошептал: «Я сын камней Ареццо, — и, дав им вникнуть в смысл своих слов, добавил, — и, если хотите знать, я — гибеллин!» Сказав это, маленький горбун с большим достоинством покинул комнату. Мужчины громко расхохотались. Официант сказал мне, что горбун был выходцем из обеспеченной семьи Ареццо. Он ненавидел Флоренцию и флорентийцев и терпеть не мог, когда ему напоминали о сражении в Кампальдино, произошедшем в 1289 году. Тогда Ареццо вынужден был признать свое поражение от Флоренции! Однажды горбун произвел в Уффици некоторую сенсацию, он громко заявил: «Эти люди, — имея в виду Микеланджело, Вазари и других, — никакие не флорентийцы. Они родились в Ареццо!»

Кортонна наводнена францисканскими воспоминаниями. Женщина, названная францисканской Марией Магдалиной, и мужчина, прозванный Иудой



Кортоны и ее же святым Павлом, когда-то жили здесь. Ее впоследствии называли святой Маргаритой Кортонской. Мужчина — знаменитый брат Илья. После кончины святого Франциска он отверг идеал нищеты и привел Орден францисканцев в соответствие с материальным миром.

Жители Кортоны до сих пор почитают святую Маргариту. Она их любимая поверелла.<sup>[99]</sup> Попадая в сложную жизненную ситуацию, они приходят к ней на могилу — находится она в самой высокой точке города — и молятся, просят святую о помощи. Родилась Маргарита в 1247 году и выросла необычайно красивой девушкой. Влюбилась в благородного юношу из Монтепульциано, стала жить с ним и родила ему сына. Они были совершенно счастливы, и, хотя ее любовник заговаривал о женитьбе, они так и не оформили свои отношения в церкви. Впрочем, их это ничуть не беспокоило, потому что каждый день казался им счастливее предыдущего. Идеальная жизнь закончилась через девять лет. Тело убитого любовника нашли в лесу.

Горе вызвало у Маргариты духовный кризис, который у святых не редкость. Будучи уверенной в том, что красота ее стала причиной гибели любимого человека, что это наказание за грех, она поклялась провести оставшуюся жизнь в покаянии. Однажды ее искушал дьявол. Когда она молилась под фиговым деревом, он стал нашептывать ей, что ослепительная красота принесет ей любовь самых великих людей. Затем услышала голос Христа, он предложил ей принести разбитое сердце францисканцам Кортоны. Маргарита раздала все, что у нее было, и босиком вместе с ребенком пошла в Кортону, а оттуда в приступе раскаяния хотела вернуться в Монтепульциано и пройти нагой с веревкой на шее, прося у всех прощения. Добрые братья успокоили ее, и она стала вести жизнь в постоянных молитвах, служа беднякам и больным.

Однажды, молясь возле распятия, она увидела, что Христос кивнул ей головой — это был знак, что грехи ее прощены.

Маргариту приняли в Третий орден Святого Франциска, и она отдалась служению Господу с той же страстью, какую испытывала к погибшему любовнику. Маргарита была мистиком, творила чудеса, но в то же время, как и многие святые, отличалась практичностью: основала большую средневековую больницу и за сто лет до святой Екатерины Сиенской принимала участие в политике и пыталась примирить враждующие фракции Тосканы. «Странно, — писал Эдуард Хаттон, — что в Кортоне в одно и то же время жили два столь разных францисканца, как брат Илья и святая Маргарита. Илья — большой государственный деятель, отрицавший нищенство, а святая Маргарита — женщина, одобрявшая бедность. А ведь победительницей оказалась она, а не он, несмотря на всю его власть, богатство и широту ума. Люди его забыли, лишь немногие историки о нем помнят, в то время как ее имя на устах крестьян и детей. Они призывают ее, свою могущественную покровительницу, каждый день, и мы слышим эти слова:

О, лилия подружка,  
О, скромная фиалка,  
О, сестричка серафимов,  
Молись за нас!

Дорога в Перуджу на многие мили тянется вдоль берегов стоячего Тразименского озера. Одно время Наполеон хотел его осушить, но до сих пор так ничего и не сделано. Когда-нибудь я вернусь и обследую его, найду место, где римская армия потерпела поражение от Ганнибала. Для армии небезопасно, когда ею командует агностик. Консул Фламиний презирал все

предзнаменования. В утро перед сражением он свалился с лошади. Древки штандартов глубоко засели в землю, и их пришлось выкапывать, а — что еще хуже — священные цыплята, клетки с которыми непременно сопровождали каждую римскую армию, отказывались клевать зерно. Неудивительно, что к вечеру Фламиний и большая часть его войска были мертвы.

Можно представить себе разгневанные красные лица в древнеримских клубах. „Чего же еще можно было ожидать от такого человека?“

## 2

Перуджа стоит на горе, словно Ноев ковчег на Арарате, и выглядит точно так, как и в Средние века. Вы издалека видите серые каменные дома, образующие неровную линию на фоне голубого неба Умбрии. Если бывали в Ливане, то, возможно, сравните Перуджу с замками, построенными крестоносцами там в полном пренебрежении к рабскому труду.

Перуджа — это город, держащийся особняком. В отличие от Милана, Флоренции, Сиены и даже Лукки с Пизой, Перуджа никогда не вмешивалась в запутанную итальянскую политику. Город оставался на своей горе и занимался собственными проблемами, представлявшими собой смесь насилия и набожности, в особенности насилия. „Самые воинственные люди в Италии“, — сказал о них Сисмонди. Чтобы научиться драться, жители Перуджи придумали жестокую игру, в которой мужское население делилось на команды. Надев одежду, подбитую оленьей шерстью, и шлемы в виде орлиных или соколиных голов, они выходили на улицы и обстреливали друг друга камнями. Обычно десять-двенадцать человек погибало, но родственники смотрели на это спокойно и зла ни на кого не держали.

Я смотрел на город. На тысячу футов вознесся он над Тибром, а если принять в расчет Тирренское море, придется прибавить еще столько же. Затем я обратил внимание на дорогу, из последних сил карабкавшуюся в гору, и тотчас понял, отчего в Перудже побывало так мало известных людей. Самым известным человеком был Гёте, город ему нравился. Почти невероятно, но в числе побывавших там англичан оказался Смоллетт.<sup>[100]</sup> В пути у него произошел неприятный дорожный инцидент. Сэмюэль Роджерс рассказывал, что у подножья горы стояли волы: они помогали лошадям и мулам втаскивать наверх экипажи. Очень немногие путешественники отваживались на восхождение, сотни людей благоразумно проехали мимо Перуджи. Безымянный английский пилигрим, так и поступивший во времена Средневековья, высказался о ней так: „Ужасный город Перуджа“. Очевидно, он наслушался рассказов о том, что она купается в крови, и, возможно, о флагеллантах, движение которых зародилось именно здесь. Эти люди, надев маски, шли по улицам, хлеща себя кнутом до тех пор, пока из ран не начинала идти кровь. Они просили Бога простить им грехи.

Дорога сегодня такая же опасная, как и во времена Смоллетта. Ее осаждают маленькие, сердитые на вид „фиаты“. Каждые пятьдесят ярдов они переключают передачу, срезают углы в попытке нарастить скорость. Сам я вышедших из строя двигателей на дороге не видел, но это наверняка случается. Мулы и лошади в старые времена также становились жертвами несчастного случая.

С каждым витком вид божественной умбрийской долины становился все более величественным. Тибр здесь уже не ребенок, его широкие серебряные петли уверенно катились к Риму. В нескольких милях отсюда, на фоне горы Субазियो, хорошо видно Ассизи. Какое странное противопоставление — неистовая Перуджа и

олицетворение мира и доброты — Ассизи. Приятно заметить, что, поднимаясь по этой дороге, я думал о святом Франциске, а не о яростных Бальони, феодалах Перуджи. Невольно вспоминаешь, что похоронили святого Франциска тайком от перуджийцев, чтобы те не выкрали его тело и не перенесли в свою крепость.

Въехав в массивные ворота, я оказался в лабиринте древних улиц. Был вечер, и большая часть магазинов закрылась. Навстречу попадались редкие прохожие. Хотя карта у меня имела, толку от нее не было: я заблудился. По счастливой случайности я выбрался на главную улицу, где меня тут же остановила рука в перчатке из белого хлопка. „Извините! Корсо закрыто для транспорта: настал час прогулки!“ Передо мной предстала удивительная сцена. Потомки неистовых воинов — тех, кто уцелел во время уличных сражений — прогуливались взад и вперед, улыбаясь и кивая друг другу. По улице плыл аромат сигар. Сотни аккуратных юных девушек, ходивших по двое и по трое, сотни юношей, а также их родители, бабушки и дедушки. Все фланировали по горной вершине. Дойдя до конца Корсо — окруженная парапетом терраса обрывалась там над пропастью глубиной в тысячу футов, — гуляющие разворачивались и шли назад, к фонтану.

Наконец я оказался в большом отеле — таких гостиниц сейчас почти не осталось, предназначались они для аристократов, путешествовавших некогда по железной дороге. Должно быть, в 1900 году отель был последним словом в гостиничном сервисе, да и сейчас он совсем неплох, хотя, кажется, что огромные вестибюли и комнаты для написания писем — как же много их писали в те времена — оплакивают ушедший мир. Как и все остальное, спальня моя устроена была с размахом, но самым большим ее достоинством был вид на долину. Там, вдаль, я видел Ассизи, а внизу, прямо под окнами, мог наблюдать прогулку.

Первое впечатление от нового места всегда самое памятное, никогда не забуду, как, поддавшись порыву, в первый же вечер ринулся на улицы Перуджи. Все, что могу сказать: если хотите узнать, что представлял собою средневековый город после наступления темноты, отправляйтесь по улицам Перуджи куда глаза глядят. В узких переулках обступили меня огромные здания, все они либо взбирались куда-то, либо спускались вниз. Громадные арки выводили на новые этажи. Я выходил на террасу с видом на пропасть и видел противоположный склон, застроенный дворцами, домами и церквями. Крыши поднимались одна над другой, следуя естественному контуру горы. И снова я вспоминал Восток. В Старом городе Иерусалима есть улицы, похожие на улицы Перуджи, в Алеппо я видел такие же мрачные арочные своды, такие же толстые стены, вытесанные из коричневого камня. В таком городе только убивать! Но все же не кинжал, а яд был средством убийства в Перудже. Яд этот назывался „акветта“<sup>[101]</sup> и представлял собою бесцветную жидкость. В XV веке его ценили и боялись. Говорят, что готовили его, выжимая сок из свинины, перетертой с белым мышьяком.

Я шел по улице, и вдруг человек, двигавшийся в нескольких шагах впереди, внезапно исчез. Когда я приблизился к месту его исчезновения, обнаружил, что он просто спокойно спустился по ступенькам на нижнюю улицу. Таким же манером появлялись передо мною другие люди: сначала появлялась голова, и мне казалось, человек выбирается из подвала или из люка. Я приглядывался, не увижу ли где „порта дель мортуюки“, или „дверь мертвых“. Раньше в каждом более или менее приличном доме имела такая дверь. И я увидел две таких двери, обе в старинных дворцах, с окнами, закрытыми ставнями. Двери узкие, остроконечные, заложены кирпичом. Находились они недалеко от

главного входа. В прошедшие столетия их использовали только для одного гроба. Суеверные этруски считали: если смерть вошла куда-то, то, если не принять меры, непременно войдет туда же еще раз.

Кульминация прогулки пришла неожиданно: я увидел необычный памятник. Это была массивная старинная стена. Сейчас она находится внутри Перуджи, а раньше окружала этрусский город. Ее нижний край сложен из огромных черных этрусских блоков, возродившихся в рустиках флорентийских дворцов. Над воротами при свете уличного фонаря я прочел: Великая Перуджа. Вот на какое открытие можно наткнуться ночью в горах! Ворота были одними из тех, что поставил Август за сорок лет до Рождества Христова. Город он перестроил после того, как сам же и уничтожил его во время войны с Антонием и Клеопатрой.

Затем я столь же неожиданно для себя вышел из темных переулков на короткую улицу Корсо Ваннуччи, где происходят прогулки. Замечательно, что Перуджа не поддавалась соблазну, перед которым не устояла половина Италии. Они не переименовали улицу в Корсо Гарибальди или Корсо Витторио Эммануэль, а сохранили настоящее имя художника, писавшего нежных мадонн — Пьетро Ваннуччи, который известен нам больше как Перуджино. Здесь, на нескольких ярдах, сохранились отличительные черты Перуджи: удивительная группа зданий, которые под влиянием истории и итальянского гения способны к такому безграничному разнообразию. Я увидел собор, фонтан, палаццо деи Приори и колледже дель Камбио, все известные составляющие прекрасных архитектурных композиций, которые встречают вас в каждом городе этой вдохновенной земли.

Перуджа решила благородную эту задачу по-своему. Когда бы впоследствии ни слышал я слово „Перуджа“, в воображении всплывала увиденная мною впервые сцена.

Сначала собор, красивый и в то же время уродливый, так как стены его никогда не облицовывал мрамор. К крыльцу ведет красивая лестница, на которой бронзовый папа Юлий III сидит в позе милосердного правителя. Возле крыльца выступает из здания каменная кафедра. Отсюда святой Бернардино говорил жителям Перуджи об их пороках; а над главными воротами, за стеклом, большое распятие. Шестьсот лет назад его поместил сюда канонир, по ошибке выпустивший снаряд в собор в это самое место. Обычный для Перуджи жест — сначала насилие, а потом раскаяние!

В нескольких шагах от собора находится знаменитый фонтан, сейчас он почернел от времени, которое не пожалело его скульптуры. Формой своей он напоминает огромный средневековый праздничный торт. Опять же рядом стоит удивительное, похожее на крепость здание — палаццо Веккьо Перуджи — с квадратными гвельфскими зубцами и красивыми узкими окнами. Лестничный марш подводит к благородным входным дверям. Над крыльцом, на каменных выступах стоят грифон Перуджи и гвельфский лев. Гერальдические животные держат в своих пастьях реликвии, утверждают, что это засовы дверей, добытые воинами Перуджи в качестве трофея в 1358 году — то ли в Ассизи, то ли в Сиене. Утверждению этому верить нельзя: металлический засов и цепи исчезли — как мне сказали — однажды ночью в 1799 году, а то, что мы видим сейчас, лишь крюки и цепи, к которым украденные трофеи были прицеплены.

Я вернулся в отель, переполненный средневековыми впечатлениями, и здесь, в горах, они казались более драматическими, чем даже на сиенских холмах. Они пробудили во мне воспоминания о мрачных событиях средневекового мира. Перуджа, на мой взгляд, — самая убедительная реликвия прошлых времен. Прежде чем



войти в помещение, я прошел по наружной террасе, заглянул в огромную чашу, заполненную горячей темнотой. При свете звезд различил расчертившие долину белые дороги. Послышались приглушенные ночные звуки: лай деревенской собаки; отдаленный шум поезда; а потом — полная тишина. Крошечные искры внизу указывали на местоположение домов и ферм, а целое созвездие на горных склонах соперничало с небесными ночными светилами, и, стало быть, подумал я, Ассизи еще не спит.

### 3

Недоброжелательно описывая жизнь Перуджино, Вазари сказал, что умбрийский художник вышел из такой бедной семьи, что всю жизнь он боялся нищеты и готов был на все ради денег. Большую часть его картин он презрительно называл халтурой — все его Успения, Рождества, Распятия, изображения нежных мадонн. Уж больно гладко, без усилий выходили они из-под кисти мастера.

Ничего необычного в этом, конечно же, нет: художникам надо на что-то жить, заботиться о женах и детях, но когда Вазари заявил, что Перуджино агностик, „не верит в бессмертие души“, то он нанес художнику тяжелый удар. Людям хочется, чтобы святых писали истинные христиане.

В Камбио мы можем увидеть портрет Перуджино. Изображен на нем грубый, некрасивый человек с тонкими губами, приценивающимся и в то же время тревожным взглядом. Такие глаза бывают у человека, ожидающего худшего и заранее к этому худшему подготовившегося. Хотя лицо это вряд ли можно назвать добрым, но оно вызывает сочувствие. Перуджино, должно быть, был глубоко несчастным человеком.

Вазари говорит, что когда художник подростком приехал во Флоренцию учиться живописи, он был так беден, что месяцами спал в сундуке. Вскоре он усовершенствовал технику, и это сделало его знаменитым. Говорят, агенты стали скупать его работы и выгодно их продавать, причем не только в Италии. Столетия спустя — кто бы мог подумать? — в числе его поклонников был Наполеон, который, как ни странно это звучит, разделял с монахинями восхищение кроткими глазами и задумчивой мечтательностью мадонн Перуджино.

Художник женился на юной девушке. Он заботился о ее внешности. „Ему нравилось, когда она надевала красивую шляпу и ходила в ней дома или на улице, — пишет Вазари, — говорят, он часто сам ее наряжал“. Я припомнил, что читал когда-то очаровательный рассказ Мориса Хьюлетта в его книге „Раскопки в Тоскане“. Там пришедший невовремя гость помешал Перуджино: он в тот момент в саду причесывал жену. Спустя некоторое время я перечитал рассказ и снова нашел его занимательным и изящным, тем более что написан он на языке галантной прозы, в наши дни вышедшей из моды.

Мне показали дом в Перудже, где жил старый мастер с юной женой. Подлинная обстановка, однако, не сохранилась. Ассоциации с тем временем навевают разве что красивое угловое здание с арочным входом и стрельчатыми окнами из красного мрамора. Здесь — говорят — была его студия. Еще больший интерес вызывает нефункционирующая ныне церковь Святого Севера. Я захотел войти, но дверь оказалась заперта. Как всегда, нашлась старая женщина с ключами. Внутри я увидел фреску с двумя рядами святых, верхний ряд был написан Рафаэлем. В то время ему было двадцать два года, и он являлся учеником Перуджино. Спустя годы после кончины Рафаэля старый мастер — ему в то время было более семидесяти — добавил нижний ряд.

Интересно, есть ли еще где-нибудь такая картина, в которой соединился бы мощный рассвет великого ученика и неуверенный закат его учителя.

Беренсон написал о Перуджино: „Он чувствовал красоту женщин, очарование молодых людей и достоинство стариков, никто ни до него, ни после с ним не сравнится“. Затем он охарактеризовал некоторых женщин Перуджино: „Высокие, тонкие, золотоволосые, изящные — настоящие шекспировские героини. Во всех изображенных им людях чувствуется святая отстраненность, нетронутая чистота“.

Приятно читать панегирик умбрийскому мастеру после уничижительного отзыва Вазари. А если вам захочется увидеть „настоящих шекспировских героинь“, ступайте в Национальную галерею Умбрии, что находится в палаццо деи Приори. Кто бы в суровом XV столетии поверил, что кисть Перуджино окажется сильнее меча Бальони и что Пинтуриккьо однажды въедет во Дворец приоров?

Картинная галерея хорошо освещена и оформлена, здесь создано приятное настроение, подходящее для нежных работ этой школы, которая вместе с Евангелием — по словам святого Франциска — самый долговечный продукт Умбрии. Я отдал дань восхищения многим героиням Перуджино, столь похожим на прекрасных шекспировских героинь. Некоторые, впрочем, чуть набожнее Розалинды и не так пышут здоровьем, как Порция. Написаны они на фоне прекрасных умбрийских пейзажей, я узнал местные скалы и деревья. Каждый такой пейзаж можно было бы оценивать как отдельное произведение. Удивительно, что в картинах так много спокойствия, и это в то время, когда Флоренция непрерывно сражалась с Перуджей. Художник умел уходить в свой идеальный мир, туда не доносился шум сражений, там не было убийств. В благоговейной тишине раздавалась лишь небесная музыка. На

протяжении всей жизни Перуджино город терроризировали Одди и Бальони.<sup>[102]</sup> Убийства следовали одно за другим, папские легаты бежали из города, опасаясь, что их там растерзают. Сельские дома разоряли и сжигали. Перуджа была подлинным примером „Дурного правления“, которое изобразил Синьорелли на фреске в Сиене. Во Флоренции вряд ли дело обстояло лучше. Во времена Перуджино Карл VIII завоевал Италию; из Флоренции изгнали Медичи; позднее Людовик XII захватил Милан и выгнал Лодовико Сфорца. Почти в это же время Лев X положил конец тирании Бальони: он выслал главу семейства в Рим и там казнил его. Как же счастлив был Перуджино: он всегда мог укрыться в волшебном мире, где, слегка улыбаясь, Мадонна слушает песни ангелов.

Всегда буду вспоминать эту галерею как обиталище музыкальных ангелов. Бенедетто Бонфильи выпустил туда самый элегантный эскорт: на белокурые с нимбами головки своих ангелов он надел алые шляпки, возможно, заказал их в Париже. На другой картине Мадонну развлекают очаровательные ангелочки: они поют под музыку, записанную странными нотными знаками, возможно, их используют на Небесах, а может, такое нотное письмо существовало на земле до Гвидо Аретинского? Затем я подошел к „Мадонне делль оркестра“ работы Боккати, чье настоящее имя Джованни ди Пьерматтео. Он написал Мадонну в образе маленькой строгой девочки, которая, сложив руки, слушает хор ангелов, таких же маленьких, как и она сама. Они стоят на балюстраде по обе стороны от ее трона. Один играет на мандолине, другой — на арфе, третий перебирает струны цимбалы, четвертый дует в трубу, а пятый играет скрипке. Все они при этом поют, у некоторых широко открыты рты. Есть тут и два толстеньких херувима: один играет на игрушечном органе, а другой бьет по ксилофону. Любуясь этим небесным концертом,

я вдруг заметил нечто зловещее и очень перуджийское. Я увидел четверых флагеллантов. Их подводили к Мадонне святой Франциск и святой Доминик. Все четверо держали в руках хлысты; на двоих были остроконечные капюшоны с отверстиями для глаз. Капюшоны эти впервые появились в Перудже, после чего их взяла на вооружение инквизиция. Эти маски и сейчас можно увидеть в Италии и Испании у братств милосердия. Были и другие картины, изображавшие этих странных кающихся грешников. У некоторых сквозь порванную на спине одежду можно было увидеть кровоточащие раны.

Говорят, что эта мрачная эпидемия, самая странная, которую знала Европа, появилась в Перудже в 1265 году. Молодому монаху, предававшемуся самобичеванию, явилось видение, в котором к нему присоединились святые: они хлестали себя перед алтарем, а потом сказали, что это Божья воля, человечество должно таким манером избавляться от собственных грехов. Монах рассказал о своем видении епископу, и тот стал проповедовать самобичевание. В то страшное время люди восприняли эту идею как панацею. Они страдали от несовершенства мира: убийства, войны, чума, вражда между папой и императором — все это доказывало, что дьявол торжествует. И тут епископ подсказывает им, как следует умиловать Бога. Все дружно бросились наказывать тело, изгоняя грех и радуя Бога. Чем больше человек предавался самобичеванию, тем увереннее себя чувствовал, веря в то, что грехи ему прощаются.

Вскоре стоны флагеллантов, раздававшиеся на горе, спустились в долину. Толпы раздетых до пояса грешников вошли в соседние города и призвали следовать своему примеру. Эмоциональная эпидемия охватила, словно лесной пожар, всю Италию. Целые города закрывались на тридцать четыре дня — возраст Христа — в то время как другие флагелланты выходили

на дорогу и совершали покаянное паломничество. Идею эту подхватили во Франции, Германии, Венгрии, Польше, и вскоре половина Европы взяла в руки хлысты. Сначала во главе флагеллантов шагали епископы с крестами, затем, когда движение стало вырождаться и к нему присоединились бродяги и проститутки, церковь стала усматривать в нем ересь: на место Церковного покаяния и принятия Святых Даров пришло частное покаяние. Города закрыли ворота, Милан поставил восемьдесят виселиц в качестве острастки кровавому шествию. До тех пор пока папа не осудил движение, его пытались прекратить с помощью тюрем и публичных казней. После эпидемии чумы оно вспыхнуло с новой силой.

Ничего нового или оригинального в этом явлении не было: все религии во все времена были знакомы с самобичеванием. В Ираке его практикуют до сих пор, многие своими глазами видели пилигримов, бичующих себя на улицах Багдада. Это мрачное шествие проходит ночью, раз в год. Тысячи фанатиков, по восемь-десять человек в ряд, идут по городу с факелами. Слышатся стоны и ритмичные удары плетей по окровавленным спинам. В XIII веке Европа была свидетелем точно такому зрелищу.

Когда какое-либо движение приходит в упадок, его начинают осуждать, а я, глядя на мрачных флагеллантов рядом с мадоннами и ангелами, думал, что какими бы ужасными они ни казались, изначальным желанием этих людей было стремление увидеть царствие Божье на земле.

Я вышел из галереи, намереваясь посетить собор и посмотреть на обручальное кольцо Мадонны, но вдруг остановился, замороженный игрой солнечных лучей на старом камне цвета только что испеченного поджаристого хлеба. Прислушался к шуму фонтана: сегодня утром он работал. Все еще думая о флагеллантах и других суровых событиях во времена

Перуджино, я решил, что Средневековье, не прирученное в Италии королями или рыцарями, задержалось в Перудже дольше, чем где-либо еще.

Какими же впечатлительными были те неистовые люди, как хотелось им стать лучше, как же, должно быть, сознавали они свои грехи. Быть может, то было начало добродетели? Я стоял под каменной кафедрой, с которой проповедовал святой Бернардино. Кафедра цвета меда, высота ее доходит до талии. Подняться на нее можно по внутренней лестнице здания. Когда святой Бернардино приходил сюда, он видел перед собой сцену, хорошо знакомую нам по картинам, написанным в то время. Перед ним стояли коленопреклоненные люди — мужчины с одной стороны, женщины — с другой. Разделяла их деревянная перегородка. Однажды он, выступая с проповедью, призвал их — не без труда — прекратить ужасное избиение камнями. Как хорошо он знал человеческую натуру! Будучи неуверенным в том, что убедил их в бессмысленной жестокости традиционного занятия, он настоял на издании закона, и с этого момента избиение прекратилось.

В соборе меня подвели к ковчегу, в котором хранилось обручальное кольцо Мадонны, правда, само кольцо можно увидеть лишь три-четыре раза в год. Камень, как мне рассказывали, бледный агат, меняющий цвет в зависимости от нрава человека, который берет его в руки. К охране его Перуджа относится исключительно серьезно. Кольцо лежит в кожаном футляре, закрытом золотым ключом. Ключ находится у епископа. Пятнадцать стальных ящичков вкладываются один в другой, наподобие китайской головоломки. У каждого ящичка свой ключ, и все пятнадцать ключей сданы на хранение пятнадцати священнослужителям. Самый большой ящик изготовлен из тяжелого железа, утыкан гвоздями и обвязан стальными лентами.

История кольца любопытна. В незапамятные времена кольцо выкрали из церкви, а потом иерусалимский торговец продал его тосканской маркизе.

#### 4

В одном из нефов мне показали урну, содержащую останки двух пап, скончавшихся в Перудже, — Урбана IV и Мартина IV. Предполагают, что первый папа был отравлен, а второго постигла исключительно средневековая судьба: он переел угрей. Великий Иннокентий III, современник Франциска, тоже умер в Перудже, но останки его в прошлом веке перевезли в Рим. Пап, решившихся приехать в Перуджу, подстерегали большие опасности. Вот и четвертый папа, Бенедикт XI, умер здесь, съев отравленные фиги. Он лежит под готическим надгробьем в церкви Святого Доминика.

Частая смерть понтификов в провинциальном городе заслуживает разъяснения. Перуджа со времен Средневековья находилась в собственности Ватикана, однако он несколько столетий не пользовался своей властью, очевидно, чувствуя, что это осиное гнездо лучше оставить в покое. Первым папой, приобщившим Перуджу к цивилизации, стал Иннокентий III. Английской истории он известен как понтифик, отлучивший от церкви короля Иоанна и сделавший Англию своим вассалом. К дикому городу он приблизился осторожно, почти играючи предстал в облике доброго отца и добился успеха.

Папа предстал перед Перуджей, и она сочла его неотразимым. На кардиналов здесь до сих пор смотрели как на жертв, которые следовало запугивать, а если требовалось, и убивать, но стоило горожанам увидеть у себя наместника Бога на земле, междоусобная борьба



мгновенно прекратилась, и на гору опустилось необычайное спокойствие. Странно и вообразить, но когда анархия в Риме становилась невыносимой, многие средневековые папы отправлялись в Перуджу за тишиной и спокойствием! Селились они в старом доме священников возле собора. Люди, что ныне посещают монастырь, и понятия часто не имеют, какое интересное это место, как много важных исторических событий здесь произошло. Здесь состоялись четыре папских конклава. В 1124 году здесь избрали Гонория III, в 1285 году — Гонория IV, в 1294-м — Целестина V и Климента V — в 1305 году.

Во времена Иннокентия III и его преемника Гонория Ш первые францисканцы жили в Ассизи в домиках, крытых соломой. Оба папы знали святого Франциска. Иннокентий Ш официально признал новый Орден, и ему приснился знаменитый сон, в котором он увидел, что святой Франциск подпирает рушащиеся колонны Церкви. Хотя письменного свидетельства не существует относительно того, что понтифики приезжали из Перуджи навестить святого Франциска, но утверждать, что этого не было, означало бы идти против человеческой природы. И все же как жаль, что у нас нет описания таких встреч! Можно представить себе, как папская процессия спускается по длинной дороге в долину Умбрии и как обремененный тяжелыми проблемами папа встречается с человеком, для которого в жизни нет ничего сложного.

Был среди кардиналов человек, навестивший святого Франциска в его келье. Говорят, что он любил сбросить богатую одежду и надеть грубую рясу францисканца. Это был Уголини Конти, архиепископ Остии, избранный через год после смерти святого Франциска папой Григорием IX. Он часто навещал Перуджу и в начале своего правления, в 1228 году, канонизировал святого Франциска. В Перудже явилось ему видение, описанное

в „Цветочках свыше Франциска Ассизского“. Оно и убедило его в подлинности чуда стигмата. „Папа Григорий IX испытывал некоторые сомнения относительно раны в боку святого Франциска, как он впоследствии в том признался. Однажды ночью пред ним предстал святой Франциск. Приподняв правую руку, он показал ему рану в своем боку. Папа увидел, что она до краев полна кровью, смешанной с водой. С этого момента всякие сомнения исчезли“.

Самым необычным из всех конклавов был тот, что состоялся в 1292 году. Кардиналы путешествовали по Италии более двух лет, но никак не могли избрать понтифика. Наконец, они явились в Перуджу. Преданный кардинал упомянул отшельника по имени Пьетро ди Морроне. Он жил в горах и славился своей святостью. Забыв о том, что добрый христианин может оказаться неудачным папой, конклав, устав от Поисков и придя в отчаяние, мгновенно сделал отшельника папой. Узнав об этом, бедный восьмидесятилетний старик хотел было бежать, однако был схвачен, назначен епископом и наряжен в одежды понтифика. Пять месяцев Целестин V прожил, словно в тумане. Для него во дворце устроили искусственную келью. Потом все же сжалились над стариком и милостиво разрешили ему сложить полномочия.

Прошло несколько лет, и Перуджа снова стала сценой знаменитой папской истории. Бенедикт XI, сын венецианского пастуха, был в 1304 году в Перудже, и туда явилась его старая мать, пожелавшая повидаться с сыном. Женщины Перуджи нарядили крестьянку по последней моде и включили в состав свиты. Бенедикт сделал вид, будто не узнал ее. Сказал, что мать его — бедная старая женщина, а не модная дама. Крестьянку быстро вывели и вернули ей старую одежду. После этого Бенедикт принял ее с большой нежностью. Бедному Бенедикту, однако, было не суждено уехать из Перуджи.

Правление его закончилось через год. К нему явился человек, переодетый монахиней, и подал на серебряном блюде превосходные фиги, якобы подарок от аббатисы монастыря святой Петронииллы. Папа обожал фиги так же, как и его предшественник Мартин IV, который не мог устоять перед угрями. Бенедикт набросился на подношение, а на следующее утро почувствовал себя плохо и умер. Ученые называют несколько возможных убийц, но французский король Филипп IV представляется наиболее вероятной фигурой.

После кончины Бенедикта состоялся новый конклав, и папой Климентом V сделали французского архиепископа из Бордо. Говорят, что между ним и Филиппом IV существовало секретное соглашение. Во всяком случае, немедленно после своего избрания Климент пригласил кардиналов, большинство которых были французами, последовать за ним, но не в Рим, а во Францию. С тех пор папы Перуджи на семьдесят семь лет переехали в Авиньон.

Отсутствие пап не сделало сердце Перуджи добрее. Более того, когда папы вернулись в Рим, Перуджа считалась самым воинственным доминионом. Имеется по меньшей мере одно письменное свидетельство о том, как понтифик в пору Ренессанса забаррикадировался в монастыре, прислушиваясь к доносящемуся с улицы шуму борьбы, затем, воспользовавшись краткой передышкой, он вышел из монастыря и укатил в Ассизи. Павел III решил призвать Перуджу к порядку. Мне было интересно узнать, что я, оказывается, каждую ночь спал над знаменитой реликвией, сохранившейся с папских времен. Терраса, на которой стоит мой отель, была построена на фундаменте, сделанном из обломков папской крепости Ла Рокка Паолина. Папе пришлось ее построить, чтобы выстоять против города. Сейчас на поверхности земли не осталось и следа от мощного сооружения, но друг познакомил меня с коллекцией

гравюр, которые свидетельствуют, что здесь была самая сильная крепость Италии, и само ее строительство доказало, насколько великое сопротивление пришлось преодолеть папам.

Сначала папа бросил в бой большую армию, и она уничтожила дворцы Бальони, а заодно четыре церкви, четыреста домов, а затем на разрушенном городском квартале выросла крепость. Пушки ее направлены были не только на долину и дорогу в Рим, но также и на Корсо, и на главные здания Перуджи. Возможно, ни одно здание в Италии не вызывало большей ненависти. Более трех столетий оно символизировало подчиненное положение гордого города, и во время освободительной борьбы Италии при первой же возможности жители взорвали крепость и разнесли ее на куски. Энтони Троллоп был в Перудже незадолго до того, как уничтожили крепость, а потом спустя полтора года после того, как ее взорвали и все еще продолжали уничтожать. В первый визит он описал, как ходил по подземным переходам и темницам. Во второй раз наблюдал за энтузиастами, растаскивавшими мелкие обломки. Особенно удивил его старый джентльмен с длинной белой бородой. Он каждый день приходил сюда и наблюдал за процессом уничтожения крепости. Лицо у него было счастливым. Троллоп поинтересовался, кто он такой. Оказалось, что много лет он был папским узником.

В Перудже меня поджидало неожиданное приключение: меня пригласили в путешествие по улицам, которые когда-то составляли часть крепости, а сейчас ушли под землю. Я подошел к арке — этрусским воротам Порты Марция. Они были заперты на замок. Тот, кто строил их во времена этрусков, очевидно, преследовал идею воспроизвести над аркой террасу, разделенную на пять частей со скульптурой в каждой такой части. Сейчас это все проржавело и пришло в

упадок. Современные жители — неизвестно, по какой причине — скажут вам, что фигуры представляют этрусскую или древнеримскую семью, члены которой скончались, отведав отравленных грибов. Возможно, страх перед отравлением естественен в городе, создавшем страшный яд акветта.

Мы с инженером прошли под арку и оказались в средневековой Помпее. Перед нами протянулись узкие улицы и арки, руины церкви, трехэтажные дома с узкими окнами, последние обитатели жили в них четыреста лет назад. Мертвая тишина. Так я представляю себе средневековый город после нашествия чумы.

„Мы иногда устраиваем здесь танцы“, — сказал мне мой спутник, не замечая, как это часто бывает с молодыми людьми, что слова его звучат страшновато. „Танец смерти был бы здесь более уместен“, — подумал я, когда мы пошли дальше. Город призраков. Такими становятся поселения, когда-то обласканные солнцем, а ныне ушедшие под землю. Если бы я увидел сейчас парочку ведьм, колдующих над акветтой, то я ничуть бы не удивился.

## 5

Старая церковь Сан-Пьетро была построена тысячу лет назад на краю горы. Никогда не видел я столь нарядной церкви: каждый дюйм ее покрыт фресками, и, словно этого еще недостаточно, на стены повешены картины в богатых рамах. Жители Перуджи относятся к святому Петру с особой теплотой, так как монахи, жившие здесь сто лет назад, приняли сторону горожан во время последнего их противостояния Ватикану. Когда солдаты-швейцарцы, папские телохранители, стали грабить Перуджу, некоторые патриоты укрылись в

церкви. Гид рассказал мне, как добрые монахи срезали веревки колокола и тайно спустили объявленных в розыск людей вниз, на скалы.

Пока мы разговаривали, в здание вошла группа — такие посетители всегда меня восхищают: старый священник с сельскими прихожанами. По такому случаю они надели свою лучшую одежду. На нескольких старых женщинах были платья, фасон которых был в моде много лет назад. Таких людей можно встретить раз в десять лет — маленький фрагмент другого мира. Священника уговорили сесть на место органиста, и одна из старушек робко попросила его сыграть. Он сурово покачал головой, но затем, чтобы смягчить отказ, игриво коснулся одной из клавиш. В воздухе задрожал серебристый звук необычайной красоты. Священник и сам удивился, а что уж говорить о его пастве: они застыли в восторге и ожидании. Тогда он тронул еще одну клавишу, затем другую, и мне показалось, что запели херувимы. Придя в волнение, старик выдал аккорд, и церковь наполнилась небесной гармонией. Затем очень осторожно священник осмелился сыграть простую мелодию. Паства смотрела на него, собравшись в кружок, который восхитил бы любого художника. Мне показалось, что со стен спустилась одна из фресок. Внимание старых людей, гордость и удивление не могли бы быть больше, если бы вдруг обнаружилось, что сама святая Цецилия направляет пухлые пальцы старого пастыря.

Очарование нарушил гид: посчитав, что никто не должен пропустить ни одной картины, он открыл дверь на хорах, чтобы в помещении стало светлее. Я посмотрел в открытую дверь и увидел горячий полдень Ассизи. Увенчанные замками горы купались в солнечном свете. Предо мною предстал фон с пейзажем Умбрии, который художники, такие как Перуджино, помещали за спины своих мадонн. Гид монотонно проговаривал свой

текст, призывая восхититься той или иной фреской, даже не предполагая, что он только что открыл нам картину прекраснее всех тех, что висели в церкви.

Однажды утром меня пригласили попить кофе в украшенный яркими фресками бар, разместившийся в подвале дворца университета — Итальянского университета для иностранцев. Университет этот недавно отметил свое сорокалетие. За время своего существования он обучил около тридцати тысяч студентов из девяноста трех стран — Германии, США, Франции, Японии, Англии... Я называю их по мере убывания числа выпускников разных стран.

В баре было много народу — приятные молодые люди разных национальностей. „Картина объединения наций, — подумал я, — куда более счастливая, чем общий мировой расклад“. Студенты здесь учат итальянский язык и историю Италии, а также изучают философию, литературу, археологию. По окончании университета им выдают дипломы и свидетельства. Они могут жить в студенческом общежитии за символическую плату или — если у них достаточно средств — снимать дорогие номера в гостиницах. Я порадовался за молодых людей, получивших прекрасную возможность поглубже узнать Италию.

В баре я повстречал молодого человека из Лондона, его приятель приехал из Стратфорда-на-Эйвоне. Со времени основания университета в нем обучилось около трех тысяч английских студентов. Хотя ни одному из студентов на вид не было более двадцати пяти, мне сказали, что возрастного ограничения здесь не существует. Мне показали споткнувшегося на мраморных ступенях самого старого студента из Германии.

— Сколько же ему лет? — спросил я.

— Восемьдесят.

Мне такой либерализм понравился: он роднил Перуджу с Римом XVIII века, где, как сказал Питер Бекфорд, он в 1788 году познакомился „со старым ирландским мальчиком, восьмидесяти лет от роду“. Приехал он туда „завершить образование“.

## 6

Читатели „Цветочков“ святого Франциска вспомнят, что злой Волк, обращенный в Ягненка святым Франциском, был уроженцем Губбио. Город стоит в двадцати милях к северу от Перуджи — это если перенестись туда по воздуху, но если ехать по серпантину, расстояние увеличится до сорока миль. В Умбрии вам скажут, что Губбио — один первых пяти городов, основанных после потопа.

Прослышав, что я туда направляюсь, молодой человек, с которым я незадолго до этого познакомился, попросил подбросить его по пути в одну из горных деревень. Он оказался занимательным собеседником. Рассказывал мне по дороге истории о людях, живущих в горах вдали от мира. Он подружился с ними во время войны, когда сражался в партизанском отряде. У молодого человека был острый взгляд, подмечавший странности человеческой природы. Указав на горную вершину, где можно было различить какие-то дома, он сказал, что там живет любопытная религиозная секта — бирибини. Оказалось, что местный крестьянин, проходивший военную службу возле австрийской границы, повстречался с американским квакером. Оказавшись под сильным влиянием американца, крестьянин, вернувшись домой, сказал, что он теперь квакер и хочет обратить всех в свою веру. Доктрины квакерства в его интерпретации претерпели значительные изменения, и односельчан он обратил —



по сути — в язычество. По ночам они вместе с женщинами купались в горных реках. „Любопытно, — сказал мой попутчик, — что Пан и другие старые божества до сих пор бегают по горам, готовясь схватить каждого, кто отобьется от стада. Говорят, что деревенский священник так отозвался о секте: „Пусть себе живут! Некоторые из них лучше, чем моя паства, они, по крайней мере, не крадут кур и не сквернословят!““

У каждого холма стоит на вершине замок или церковь, склоны словно бы облиты серебром — это оливковые деревья. Рядом с каждым фермерским домом виднеется закрученный вокруг высокого шеста стог сена. Нет здесь ни одного здания, реки, дерева, пригорка или поля, что не имели бы свою историю. Как только неграмотный крестьянин выходит из дома, он — если можно так выразиться — вступает в библиотеку, с которой не сравнится ни одна еженедельная газета. Я спросил у своего попутчика о руинах на одном из холмов. Оказалось, что это византийская дозорная башня, одна из цепи сигнальных башен, установленных между Равенной и Римом. Он сказал, что благодаря таким башням о новостях в Риме узнавали в тот же день: по ночам зажигали факелы, а днем семафорили.

Я высадил его на дороге, а сам продолжил путь по волшебной земле. Подъехав к Губбио, увидел, что старый город карабкается по нижним склонам холма, а на высокой горе стоит церковь. Внизу, у дороги, поднимавшейся в город, я увидел развалины маленького древнеримского театра. Зрительский амфитеатр полностью сохранился. Я сел на сидение, покрытое мягким дерном и, подняв голову, смотрел на старый город, на дома серого стального цвета, построенные на горных террасах. Отсюда я мог рассмотреть узкие улицы, извивающиеся между каменными стенами, и большой замок с башнями. Нет, это был не просто замок,

а Дворец консулов, потому что в Средние века тут заседало правительство. Как и многие умбрийские города, Губбио всегда был городом солдат. Вскоре я услышал, как тысяча мужчин Губбио отправилась в первый крестовый поход, и гербом города стал герб Готфрида Бульонского. Воспоминания об этом до сих пор свежи в Губбио, и имена Боэмунда и Танкреда часто упоминаются в сторнеллах горных поэтов. В них также говорится, что когда австрийский адмирал возглавил папский флот перед сражением в Лепанто и обнаружил, что в его составе много офицеров и матросов из Губбио, он воскликнул: „А что такое это Губбио? Оно что же, больше Неаполя или Милана, что вообще это такое?“ Когда об этом помнишь, то не удивляешься, что первое, что тебе попадает на глаза при въезде в город, — это Мемориал сорока мученикам Сопротивления, сорока мужчинам Губбио, казненным в последнюю войну.

Волыьи упряжки смешиваются с автомобилями на оживленной площади у подножия горы, но стоило мне забраться наверх, в старый город, как тут же наступила тишина. Большие пяти-шестиэтажные дома разделены теперь на квартиры. Мне забавно было смотреть, как женщины с верхних этажей подтягивали к себе за веревку ведро с продуктами. В Губбио есть замечательные старинные церкви, но это для людей с тренированными ногами. Самое красивое место — это построенный на аркаде величественный, благородный и элегантный Палаццо деи Консоли — Дворец консулов. Можно легко представить, как, стоя на балконах или у окон, консулы и епископ говорили на прощание напутственные слова смелым воинам, уходившим в крестовые походы. Губбио до сих пор любит вспоминать ту далекую эпоху. Как-то раз я увидел, как несколько людей пришли на площадь и начали устанавливать на ней нечто, напомнившее мне примитивный музыкальный инструмент. Оказалось, что это лук. Такие луки

использовались здесь в состязаниях с лучниками Сансеполькро! Во дворце есть средневековый зал. В нем могло бы уместиться несколько лондонских Гилдхоллов. На верхних этажах консулы заключали свои сделки, а в перерыве могли выйти на красивую лоджию, с которой открывается вид на римский театр и долину. Под черепичной крышей устроены были тюрьмы, в отличие от подземных венецианских темниц, — на чердаке.

Мне показали самую большую достопримечательность Губбио — знаменитые бронзовые таблицы. На семи этих таблицах есть надписи, сделанные за двести лет до Рождества Христова. Их крепили к стене древнего храма, и священнослужители могли, сверяясь по ним, совершать свои службы. Записи эти учитывали различные виды гаданий, включая и полеты птиц. Если служитель двигался или вставал чуть-чуть неправильно, надо было начинать все сначала. Так как я сам всегда подкармливал птиц, то и заинтересовался, можно ли с помощью этих таблиц предсказывать будущее, но гид оказался не в состоянии удовлетворить мое любопытство.

Еще большим сокровищем является тело святого Убальдо, епископа и святого покровителя, умершего в 1160 году. Он лежит в церкви на вершине горы. Часовая прогулка мимо осыпающихся стен, кипарисовых аллей, ферм. С каждым поворотом вид становится все величественнее, и вот я возле большой церкви и монастыря. Вокруг ни души, но церковь открыта. Я вошел и увидел стеклянный гроб. Внутри, в золотой митре, лежало тело святого. Электрическая лампа освещала коричневое лицо.

Монах, по-видимому, услышал мои шаги, вышел и вкратце рассказал историю святого Убальдо. Он также поведал, что у святого был французский слуга родом из департамента Вогезы. После кончины хозяина он

отрезал у него три пальца. Драгоценную реликвию привез в родной город, и там построили для нее красивую церковь. А также, продолжил монах, люди из того городка каждый год приезжают в Губбио и посещают Праздник свечей, приходящийся на годовщину смерти святого.

Мы вошли в соседнее помещение, где лежали друг подле друга три необычных предмета, знаменитые кери — свечи Губбио. Надо сказать, что на свечи они совершенно не похожи. Их трудно описать. Длина их около тридцати футов, они тяжелые, изготовлены из дерева, покрыты цветной парусиной. Они напомнили мне огромные рождественские хлопушки. Раз в год их снимают с горы, прикрепляют к деревянным подставкам и носят на плече по городу, затем снова поднимают на гору. У каждой свечи есть свой святой покровитель, и статуи этих святых устанавливают на горе во время праздника: это святой Убальдо, святой Георгий и святой Антоний.

— Вы должны увидеть праздник, [\[103\]](#) — сказал монах, — кроме нас, его никто не празднует.

— А каково его происхождение? — спросил я.

Он поднял плечи и раскинул руки. Я понял, что он хочет сказать: „Кто знает?“

Приятным воспоминанием о Губбио останется маленькая часовня, увековечившая встречу святого Франциска с Волком. Находится она в сельской местности рядом с железнодорожным переездом. Часовня была на замке, однако в саду я заметил женщину с рукоделием. На коленях у нее пристроился черно-белый кот. Я спросил, не знает ли она, где раздобыть ключ. Оказалось, что ключ лежал у нее в кармане передника. Войдя внутрь, я увидел возле алтаря картину, на которой брат Волк подает лапу святому Франциску. Женщина сказала, что есть еще одна церковь, уже в самом Губбио. Построена она на

месте грота, где жил брат Волк после своего обращения. Должно быть, я неправильно понял ее инструкцию, потому что церковь я так и не нашел.

## 7

Ассизи находится примерно в пятнадцати милях от Перуджи. Для этого придется проехать по длинной горной дороге и пересечь красивую долину Тибра. Некоторое время я я любовался восходом солнца, а потом решил ехать, чтобы выяснить, действительно ли в этом городе особенная — как мне говорили — атмосфера, исполненная спокойствия и красоты. Поехал я тем более охотно, что утренняя газета отразила в тот день повышенный по сравнению с обычным уровень мировой ненависти.

Подъехав к одному из железнодорожных переездов, я весьма удивился, заметив там знаменитую этрусскую усыпальницу, могилу Волумниев. В наше время этрусскую могилу часто находят в странных местах — посреди кукурузного поля, в сарайчике, какие бывают у огородника. Вот и эта, в нескольких ярдах от железнодорожного переезда, казалась такой же странной. Обнаружили ее лет сто назад, когда вол, тащивший по полю плуг, вдруг исчез. Он провалился в яму. Животное, к счастью, не пострадало. Эта могила вдохновила Джорджа Денниса на изучение этрусков. Великий энтузиаст не всегда мог скрыть под своей викторианской прозой радость, которую доставляло ему каждое новое открытие. Он думал об этой могиле как о волшебстве. Она явилась для него воплощением представлявшегося ему в детстве подземного дворца и заколдованных людей, всего того, о чем он читал в „Тысяче и одной ночи“.

По массивным ступеням я спустился в помещение, вырезанное в вулканической скале. Несмотря на жару, здесь было прохладно, пахло пылью и смертью. Мне, как оказалось, не доставало энтузиазма Денниса, ибо волшебства я тут не заметил. Это был семейный склеп, где в урнах и саркофагах покоилась Волумнии. Тут же находился и глава семейства, звали его Арунс. Так же, как и большинство богатых этрусков, Арунс захотел войти в другой мир в парадном костюме и веселом настроении. Во всяком случае, такое впечатление производит скульптура на его могиле. Покойный в праздничном наряде непринужденно сидит на банкетке и что-то ест из сосуда, сделанного в форме дыни. Держит он его в левой руке весьма грациозно.

По обе стороны от него стоят два ангела, которых поначалу принимаешь за раннюю работу Микеланджело. „Но как же, — спросил я себя, — два христианских ангела могли попасть на этрусскую могилу?“ И тут я пригляделся и увидел в их волосах змей. До меня дошло, что никакие это не ангелы, а фурии, ужасные богини с клыками и крыльями. Они символизировали быстроту мести. Здесь же они выглядели благородными, милосердными защитницами. Я вспомнил, что нельзя было вслух называть их настоящие имена, а потому люди называли их добренькими и даже в скульптуре, как я сам в этом только что убедился, изменяли их облик. Не удивительно, что Арунс выглядит таким спокойным рядом с этим эскортом. Фурии, похоже, обещают, что присмотрят за ним, куда бы он ни пошел.

Я переправился через Тибр — здесь он уже сильный и могучий — и вскоре увидел гору Субазियो и красивый город Ассизи, окруживший нижний ее отрог. На окраине стоит церковь и монастырь Святого Франциска. В базилику направлялись толпы туристов, и я решил повременить с посещением храма, пока не поброжу по городу. При этом сказал себе, что для начала мне

следует посмотреть, где жил святой Франциск, а уж потом посетить его могилу. Я усмехнулся, потому что повторял предосудительный поступок другого путешественника, хотя мотивы у меня были другие. Этим путешественником был Гёте, который, не стыдясь, признался в том, что мимо церкви Святого Франциска прошел с отвращением, а вместо этого поспешил к храму Минервы, что стоит на площади. Те, кто критиковал его, возможно, забыли, что он был человеком XVIII столетия, а храм был нетронутым памятником античного мира, который он хотел увидеть.

Город показался мне очаровательным, построенным на террасах, как и Губбио. Некоторые здания с арочными дверьми выглядели весьма старыми, казалось, что они стояли здесь при святом Франциске, однако вряд ли это было возможно.

Многие улицы слишком узки для прохода транспорта, а некоторые даже и переулками назвать было нельзя, просто винтовые лестницы. Цветы очень оживляли городские улицы. Они росли в ящиках за окнами и в горшках, спускались каскадами с балконов, свешивались фестонами с древних стен и арок. Все это придавало Ассизи францисканскую веселость и напоминало туристам о том, что они приехали в город поэта и мистика, жизнь которого была описана в „Цветочках св. Франциска Ассизского“.

Когда я пришел на оживленную маленькую площадь, то понял восторг Гёте. Передо мной стоял храм Минервы с шестью изысканными рифлеными колоннами — настоящий образец времен императора Августа. Храм стоит в ряду других уличных зданий, по соседству с Башней коммуны, словно бы это офис богатого банка. Все здесь было знакомо святому Франциску, он ходил по этой площади в бытность свою веселым молодым человеком, его знали здесь нищим, а потом и уважаемым святым. К церкви ведут потертые старые

ступени. На них сидели три мальчика, кормили прожорливых голубей, а те садились им на плечи и летали вокруг голов.

Рядом с храмом есть маленький музей, где я стал свидетелем неожиданной сцены, пожалуй, одной из самых удивительных, что мне довелось увидеть в Италии. Несколько ступеней вниз привели меня под пьядцу Ассизи, и я очутился на более древней мостовой форума Ассизи. Взаимоотношения между форумом и выросшей на нем пьядцей в Италии воспринимаешь как должное, но прогулка по форуму под пьядцей — это нечто экстраординарное. В этом темном и холодном подземном мире, освещенном электрическим светом, я ходил по римской мостовой, обращая внимание на открытую сточную канаву, уносившую дожди девятнадцать столетий назад. Огромные блоки травертина под моими ногами были ободраны и выщерблены колесницами мертвого мира, и я увидел здесь ступени, бывшие нижними ступенями храма Минервы. Теперь они скрыты от прохожих, гуляющих наверху под солнечными лучами. В римские времена этот храм был вполовину выше. Напротив него, возможно, ближе к центру площади, там, где сейчас проходит современная дорога, я приблизился к основанию памятника Кастору и Поллуксу, который некогда стоял в центре форума. Близнецы исчезли, но осталась надпись, которая говорит, что в Ассизиуме состоялся банкет по случаю открытия памятника. Исследуя призрачный мир, я обнаружил, что далее, возможно, под магазинами на дальнем конце пьядцы, где сейчас можно купить фотопленку и открытки, стояла трибуна римского города, а по бокам два маленьких храма, один из которых был посвящен Юпитеру, а другой — Эскулапу. Затем я поднялся наверх, пораженный своим открытием. Если бы Гёте мог это видеть...



Отель назывался „Вавилонская башня“. За столиком я сидел с двумя немолодыми англичанками. В Ассизи они приехали из Перуджи на автобусе. Они много говорили о „милом святом Франциске“ и о его любви к животным. В Англии часто слышишь, что люди говорят о святом Франциске, словно он почетный англичанин и президент Королевского общества защиты животных. Что ж, приятно думать, что окажись в наших домах святой, он наверняка одобрил бы, что сестра Кошка и брат Пес всегда сидят в самых лучших креслах. Все же странная у нас, англичан, уверенность в том, что все другие нации плохо относятся к животным! После завтрака мои собеседницы поспешили в лес, в котором, как говорят, святой Франциск пел дуэтом с соловьем.

## 8

Когда стоишь на горе в Ассизи и смотришь вниз на долину Сполето, видишь реку Кьясчо, которая, сделав несколько серебряных завитков, впадает в Тибр. На фермерской земле стоит большой храм. Это церковь Святой Марии Ангелов Там началась земная жизнь святого Франциска, там он и скончался. Сейчас это огромное броское здание с большой золотой Мадонной над портиком, но в далекие времена тут стояла маленькая лесная часовня. Сюда пилигримы принесли из Святой Земли фрагмент гробницы Пресвятой Девы. Однажды в лесу запели ангельские голоса, и часовню назвали именем святой Марии Ангелов.

Церковь настолько огромная, что сначала я и не заметил главной ее особенности: под куполом стоит крошечная часовня Святой Марии — та, что была в лесу. Огромное здание построили специально для сохранения драгоценного маленького здания, откуда святой Франциск отправился на поиски „действительности“.

Тут присоединились к нему ученики, и тут же в возрасте сорока пяти лет он отдал свою душу Богу, великолепие которого видел во всем, что его окружало. Жаль, конечно, что снаружи все выглядит не так, зато внутри стены по-прежнему сложены из грубо обработанного камня, и часовня, вмещающая в себя от силы тридцать человек, выглядит такой, какой она была при святом Франциске.

Отец святого был богатым торговцем мануфактурой. Он часто посещал французские ярмарки, и интересом к Франции можно объяснить выбор имени для сына. Он надеялся, что Франческо продолжил его дело.

Есть и другие предположения: говорят, что при крещении ему дали имя Иоанн, а стали называть Франческо, потому что он любил петь французские песни и говорить на французском языке. Меня поражает то, что нам так много известно о человеке, родившемся то ли в 1181, то ли в 1182 году и умершем в 1226-м. Родился он во времена, когда в Англии царствовал Ричард I Львиное Сердце; ему было тридцать пять, когда подписали Великую хартию вольностей, а умер он при Генрихе III. Его современниками были Саладин и Чингисхан. И все же мы знаем о святом Франциске больше, нежели о многих современных людях, потому что те, кто жил рядом с ним, написали после его кончины свои воспоминания, и документы эти сохранились.

Когда ему было двадцать, Франциск участвовал в сражении против Перуджи и провел год в плену. По освобождении он сделался в Ассизи веселым предводителем группы молодежи, хотя можно представить, что веселья в этом городке было не так уж и много. Ему не исполнилось и двадцати пяти, как он стал испытывать отвращение к самому себе и неудовлетворенность жизнью. Таковы были первые шаги мистика на пути к озарению. Произошла

психологическая трансформация. В наступившей агонии, известной мистикам как „Черная ночь“, он повернулся спиной к жизни, оставил семью, снял одежду, подаренную отцом и начал жизнь отшельника и нищего. Старые друзья смеялись над ним и называли сумасшедшим. Светскому человеку всегда святой кажется сумасшедшим, а духовные ценности — чепухой. То, что кажется действительностью одному, другой воспринимает совершенно иначе. В борьбе с собой Франциск, как и другие святые, заставил себя делать много того, что раньше он терпеть не мог. Такую перемену характера и принимают обычно за сумасшествие. И это естественно. Если человек начинает чтить того, кого раньше презирал, есть то, к чему раньше испытывал отвращение, и вообще вести себя противно своей натуре, то его сразу заподозрят в безумии. Так всегда происходило со святыми, стоило им сбросить с себя обличие „старого человека“ и облечься в одежды „нового“. Некоторые поступки святые совершали ради того, чтобы победить самих себя, например, чувствительные женщины, такие как святая Екатерина Сиенская и святая Екатерина Генуэзская, делали то, что у других вызвало бы тошноту. Святой Франциск перебарывал в себе страх заболеть проказой, а потому целовал прокаженных, ел вместе с ними, ухаживал за ними, но его действия по сравнению с поступками упомянутых святых женщин кажутся красивыми.

Из тех, кто откликнулся на призыв Христа: „Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на Небесах; и приходи, следуй за Мною“, [\[104\]](#) святой Франциск был самым последовательным. Нищета — мистический ключ к духовному богатству. Святой Франциск так в это верил, что выбросил однажды свой поясной ремень с пряжкой, посчитав, что это слишком дорогая вещь, и подпоясался обрывком веревки. Он

предпочел бы ей что-либо еще более простое и дешевое, если бы нашел такой вариант. Магнетизм его натуры был столь велик, что когда он еще только „разминал свои духовные мускулы“, к нему присоединились ученики. Первым был богатый и благородный друг — Бернард Квинтавалль. Он продал все, что имел, и раздал бедным, а потом отправился вместе с Франциском в лепрозорий. Вторым пришел к нему еще один известный человек, Питер Каттанео, каноник из собора.

Несмотря на слабое сложение и скудное питание, святой Франциск отличался необычайной энергией. Он всюду ходил пешком, иногда пел от радости и подыгрывал себе на воображаемой скрипке, в один день проповедовал в трех-четырех городах или деревнях. Сколько же утомительных миль он прошел! В Италии до сих пор используют выражение „лошадь святого Франциска“ („Il cavallo di San Francesco“), аналогичное английскому выражению shank's mare.<sup>[105]</sup>

Когда у него появилось двенадцать учеников, святой Франциск пошел в Рим и получил от папы Иннокентия III разрешение на создание братства. Сам Франциск никогда не был священником, а потому и не отслужил ни одной мессы и не принял ни одной исповеди. Все его первые ученики, за исключением одного, были людьми светскими. Платье, которое они носили, было самым бедным платьем рядового труженика — грубая рубаха из самого дешевого серого материала. В последующие столетия францисканцы заменили этот цвет на коричневый, сегодня мы все его знаем, хотя францисканские кардиналы и епископы до сих пор носят облачение первоначального серого цвета. Так делает и отец Кустос в Иерусалиме, единственный францисканец среди одетых в коричневые одежды священнослужителей Святой Земли. О сером францисканском одеянии напоминает и название

Грейфрайарз<sup>[106]</sup> в Оксфорде. Туда францисканцы приехали за два года до кончины своего основателя.

Когда стоишь в маленькой каменной часовне под куполом церкви Святой Марии Ангелов, нетрудно вообразить, как проходила жизнь людей на расчищенной от леса поляне пятьсот лет назад. Бенедиктинцы, владевшие и часовней, и землей, на которой она стояла и которую они называли Порциункола — „маленькая порция“, отдали и здание, и участок Франциску и его ученикам. С каждой стороны от часовни братья построили две шеренги крытых соломой грубых шалашей, обращенных лицом друг к другу. Распорядок жизни простой — выходить на большую дорогу и на отходящие от нее второстепенные тропы и проповедовать Евангелие.

Прожили они в Порциунколе недолго, когда к ним явилась Клара, красивая восемнадцатилетняя дочь аристократа, обращенная в христианство святым Франциском. Она хотела жить духовной жизнью, а потому бежала из замка своего отца и пришла поздно вечером на лесную поляну. Святой Франциск сам остриг ей волосы, а она сняла богатое платье и приняла грубую францисканскую рясу, после чего поклялась в верности братству. Я часто думал о ней и представлял себе странную сцену, произошедшую в понедельник, сразу после Вербного воскресенья 1212 года. Братья вышли с зажженными факелами, чтобы осветить ей дорогу в лесу. Была поздняя ночь, когда святой Франциск и девушка перешли долину и явились в монастырь к бенедиктинским монахиням. Там она и жила, пока не основали первый монастырь Бедной Клары. Клара сделалась его настоятельницей. В саду ее монастыря святой Франциск написал свой „Гимн солнцу“, с которого началась итальянская поэзия. Интересно, какую песню он пел, когда возвращался в лес ранним утром, и лежат ли до сих пор длинные волосы Клары на

каменном алтаре вместе с ее платьем и драгоценностями?

Историческим фактом является то, что за семь лет существования братства оно выросло с двенадцати до пяти тысяч человек. В Порциунколу они съехались со всех уголков Италии на первое собрание Ордена. Огромная церковь занимает сегодня лишь частично лесную поляну с шалашами, которые приехавшие на съезд братья сами построили себе из соломы и веток. Святой Франциск, конечно же, никаких приготовлений не делал, но восторженное население Ассизи явилось на поляну с едой и кормило посетителей до самого их отъезда, словно они были стаей драгоценных перелетных птиц. Рассказывают, что среди заинтересованных зрителей были святой Доминик и кардинал Уголини Конти, большой друг и покровитель святого Франциска, ставший впоследствии папой Григорием IX. Говорят, в тот раз будущий папа снял свое алое одеяние и надел грубую серую рясу.

Вскоре после этого во всех городах и деревнях Европы люди узнали о бедных людях в серых рясах, настойчиво и трогательно говоривших о Боге. Монахи проникли даже на мусульманский Восток. В 1219 году святой Франциск зарекомендовал себя в светской истории самым необычным образом: он явился в Египет, чтобы воздействовать на султана Камиля аль-Малика, когда крестоносцы осаждали Дамьетту.<sup>[107]</sup> Из всех ситуаций, в которых мы наблюдали святого Франциска — торящего дороги Умбрии, проповедующего птицам, ласкающего зайцев и рыб, молящегося на Лаверне, — эта самая фантастическая. Представьте себе только осадные орудия, бьющие по мусульманским стенам, шипение греческого огня, стоны и ругательства. „Он пришел на Восток, — пишет Стивен Рансиман, — веря в то, что его миссия принесет мир“. Невероятно, но факт, Франциск получил разрешение встретиться с султаном,

после чего, взяв в руки белый флаг, отправился во вражеский лагерь. После минутной подозрительности „было решено, что столь простое, мирное и грязное существо наверняка безумно“, а потому приняли его с уважением как человека, отмеченного Богом».

Рассказывают, что султан постелил перед своим диваном ковер, украшенный крестами. «Если он ступит на крест, я обвиню его в оскорблении его же бога, — сказал он, — если же он откажется пройти по ковру, я обвиню его в том, что он наносит оскорбление мне». Святой Франциск без колебаний прошел по ковру. Султан попытался его обвинить, на что святой Франциск ответил: «Вам следовало бы знать, что наш Господь умер между двумя разбойниками. У нас, христиан, есть настоящий крест, а кресты разбойников мы оставили вам, потому я спокойно по ним ступаю».

Султана очаровала простота и искренность святого. Он выслушал его с уважением и почтением, свойственным культурному мусульманину, беседующему со святым человеком.

Затем отпустил его. Так закончилась одна из самых замечательных исторических встреч. Об этом инциденте рассказывают «Цветочки» Франциска. Впрочем, есть одна история которую — ради приличия — опускают в некоторых версиях этой книги. Мне же этот случай кажется типично францисканским. Во время странствий по Египту святой пришел на постоялый двор, где была женщина, внешне очень красивая, но развращенная. Она захотела склонить святого Франциска к греху. Лорд Шерли-Прайс пересказывает эту историю в «Цветочках» издательства «Пингвин».

«Святой Франциск сказал: „Да, я хочу, пойдем в постель“. И она повела его в свою комнату. Затем святой Франциск сказал: „Пойдем со мной“ и подвел ее к жарко натопленному камину. Затем он разделся донага и лег возле самого огня. Предложил ей раздеться и лечь

рядом с ним. Святой Франциск долго лежал там, и лицо его было радостно, а огонь не обжег его. Женщина испугалась при виде такого чуда, и в ней зашевелилась совесть. Она не только раскаялась в своем нечестивом поступке, но горячо поверила во Христа. Впоследствии она обрела такую святость, что спасла своим примером еще много душ в этой стране».

История показалась мне правдоподобной и очень типичной: в те времена на каждом постоялом дворе было полно продажных женщин. Святой Франциск действовал с обычной своей обезоруживающей простотой, и в то же время он замечал доброту, скрытую под личиной порока.

Популярные рассказы о животных, к которым Франциск относился как к Божьим тварям, заслоняют историю духовной борьбы святого, которая привела его к восторженным молитвам на Лаверне и стигматам. После явившегося ему ослепительного видения зрение святого стало быстро ухудшаться. В последние годы жизни он уже признавал, что движение его стало международным, однако земной успех интересовал Франциска меньше всего. Всю его жизнь можно назвать побегом от земного мира к вечным ценностям. «Господь, — сказал он, — возвращаю Тебе семью, которую Ты мне доверил. Ты знаешь, сладчайший Иисус, что нет у меня больше сил и способностей о ней позаботиться, а потому передаю ее Твоим слугам».

Слепота его возрастала, и его приходилось водить. За несколько дней до смерти братья принесли его из Ассизи в церковь Святой Марии Ангелов и положили в лечебницу в нескольких шагах от часовни. На этом месте, у входа в алтарь, стоит сейчас нарядная капелла дель Транзите. В течение всей своей жизни он никогда не просил ни о чем материальном, но когда увидел, что его дожидается сестра Смерть, Франциск позволил себе трогательную просьбу. Он написал в Рим своему другу,



Якопе деи Сеттесоли,<sup>[108]</sup> сказал, что умирает и попросил приехать к нему, привезти саван, воск для свечей и немного миндальных пирожных — как-то раз она его ими угощала, когда он болел в Риме. Женщина поспешила в Ассизи и успела застать его живым. Последние свои часы он провел на голой земле, вознося хвалы Господу, лицо его светилось от счастья. Жизнь Франциска была настолько короткой, что первые его ученики, включая Бернарда Квинтавалля, были с ним до самого его конца. Он попросил их спеть «Гимн Солнцу» и присоединился к ним, пока хватало сил. Так умер святой Франциск в возрасте сорока пяти лет, единственный человек, который повторил жизненный путь Христа.

Посетителей проводят в сад, где растут розы без шипов. Такое чудо произошло с цветами после того, как святой Франциск упал на колючки, чтобы усмирить братца Осла — так он называл собственное тело. Туристы, однако, интересуются больше статуей святого. На протянутых руках скульптуры гнездится пара белых голубей.

## 9

Из восточных ворот Ассизи, Порта Нуова, попадаешь в оливковую рощицу, где стоит старинная церковь Святого Дамиана. В начале своего духовного пути святой Франциск как-то раз пошел туда молиться и услышал, как Христос обратился к нему с распятия: «Иди, Франциск, поддержи мой рушащийся дом». Позднее, когда к нему пришла святая Клара и он столкнулся с проблемами женщин-христианок, святой Франциск отдал им эту старую церковь, не функционировавшую в то время, и она стала первым домом Бедной Клары и просуществовала в таком качестве сорок лет до самой смерти святой Клары. После

монахини переехали в город в современную церковь Святой Клары.

Монах провел меня по церкви Святого Дамиана. Она сохранила свой облик с тех самых пор, когда впервые, более семи сотен лет назад, пришла сюда молиться Бедная Клара. Никогда еще, даже в самых отдаленных коптских деревнях Египта, не видел я более примитивной христианской церкви. Монахини были, очевидно, столь бедны, что не могли нанять плотника. Крошечные хоры, сколоченные из грубых дубовых досок, неуклюжие старые скамьи и кафедра, похожая на переделанную голубиную клетку, все это являлось наглядным свидетельством нищеты первых францисканцев. Теперь я понял, почему монахини уходили из церкви гораздо чаще монахов. Они, во всяком случае, могли выйти на свежий воздух, видеть мир, а бедные Клары заточили себя в жалкие, гнетущие помещения.

Монах сказал мне, что распятие, заговорившее со святым Франциском, можно увидеть в городской церкви Святой Клары, и я вернулся по той же оливковой аллее, прошел через ворота и вскоре оказался возле средневекового здания, облицованного полосатым камнем. Маленький монастырь Бедной Клары живет здесь в строгом уединении. От нефа отходит капелла, разделенная пополам высокой металлической решеткой. Я приблизился: кто-то отдернул занавеску. С другой стороны экрана неподвижно стояла высокая, прямая фигура в плаще с капюшоном. Казалось, она возникла из пустоты, и впечатление производила довольно тревожное. Фигура осведомилась безжизненным голосом, на каком языке я предпочитаю говорить. После моего ответа продолжила на хорошем английском языке: рассказала историю распятия, которое я могу увидеть позади решетки. Это был большой примитивный деревянный крест с изображенным на нем в

византийской манере Спасителем. Закончив рассказ и не дав мне сказать «спасибо», монахиня молча вытянула руку и быстро задернула занавеску. Я слышал, что некоторые монахини учатся танцевать, некоторые записываются на граммофонные пластинки, но здесь, судя по всему, об этом и речи не было. Хотя, кто знает, возможно, я и не прав. Как можно судить об этом, слушая человека без лица?

Я спустился в склеп и увидел в гробу тело святой Клары, умершей более семисот лет назад. В книгах написано, что ее тело не подверглось тлению. На мой взгляд, его лучше было бы спрятать. Лицо было черным. В мумифицированных руках она сжимала книгу и искусственную лилию. Я пришел в ужас. Не может быть, чтобы сестра Смерть была так страшна! Я поспешно поднялся по ступеням и вышел на свежий воздух, не в первый раз потрясенный неумеренной любовью итальянцев к святым останкам.

Тому, кто пожелает окунуться в настоящую францисканскую атмосферу, следует пойти в одинокий эрмитаж Карцери. Для этого придется целый час взбираться в гору, но в жаркий день следует прибавить дополнительное время, потому что несколько раз вы наверняка остановитесь возле каменных стен и в оливковых рощах, дабы перевести дух. Старый монастырь, словно ласточкино гнездо, прилепился к склону ущелья, и среди деревьев его почти не видно. Святой Бернардино придал ему современную форму, но оставил в неприкосновенности примитивные кельи и часовню, где любили медитировать святой Франциск и его ученики.

За эрмитажем присматривают несколько францисканцев. Они с удовольствием покажут вам кровать святого Франциска — неудобную каменную лежанку, подведут к стоящему на подпорках дубу, похожему на дряхлого инвалида. Говорят, святой

Франциск стоял когда-то под его ветвями. Если это правда, то дереву должно быть более семисот лет, а в жарком климате такое долголетие весьма сомнительно. Что ж, дерево все равно удивительное, пусть даже это и сын или внук того самого брата Дуба. Тишину в ущелье нарушали самые редкие для Италии звуки — пение птиц. Мне говорили, что эрмитаж является птичьим заповедником, что стрелять и ставить всякого рода ловушки здесь строго запрещено. Я сказал монаху, что птицы, похоже, знают о запрете, потому что они беззаботно летали с одного дерева на другое, уверенные в том, что маленькие их тельца никогда не окажутся в тарелке с полентой. Он кивнул и сказал, что мне непременно нужно послушать соловьев. Они сейчас здесь поют, как пели и в XIII веке. Нет сомнения, что через длинную цепь откладываемых яиц они связаны с птицами, которых когда-то слушал святой Франциск. А ведь и верно: в этом ущелье святой устроил знаменитое соревнование с соловьем. Каждый старался перед Богом выразить свой восторг, и так всю ночь напролет, пока святой Франциск, устав и охрипнув, не признал свое поражение.

Иногда говорят, что в этом месте святой Франциск проповедовал птицам. Однако «Цветочки» утверждают, что случилось это на самом деле возле Фолиньо. Однажды после долгой молитвы святой побежал в поля и закричал: «Я буду проповедовать маленьким моим братьям, птицам», и когда они собрались вокруг, вытянув шеи и глядя на него глазами-бусинками, начал: «Мои маленькие братья птицы, вы должны славить и любить Господа, создавшего вас, ибо Он дает вам все необходимое: Он одел вас в перья, Он дал вам крылья, чтобы вы могли летать». Птицы почтительно его выслушали. Затем святой Франциск осенил их крестом, и они улетели.

Святого Франциска так же, как и других мистиков, привлекали птицы, и тому есть объективные причины: птицы населяют воздух, они не привязаны к земле. Внешне напоминают ангелов, ведь и Святой Дух является в виде голубя. Но святой Франциск любил птиц и просто так, он относился к ним с умилением и уважением, и в этом есть нечто современное, во всяком случае, он отличался в этом от суеверных современников, которые в очертаниях тел животных часто видели дьявола. Святой Франциск ничего подобного не замечал, хотя и жил в мире, в котором люди рассматривали стаю ворон как дьяволов, ищущих наживы, свинью считали нечистым животным, с подозрением смотрели на кошку, жабу, летучую мышь, да и любое другое животное, которое, на их взгляд, вело себя подозрительно.

Хотя к первым францисканцам дьявол и приходил в облике Христа, но к ним он ни разу не являлся в обличий лас точки, в отличие от их великого современника святого Доминика. Думаю, какой бы подозрительной ни казалась ласточка, как бы зловеще ни звучала ее песенка, святой Франциск в ней бы не усомнился. В ту темную эпоху он опередил свое время. Он никогда бы не поверил, что Бог позволит использовать животное с дурной целью. Мы знаем, как он страдал от дьяволов на Лаверне, но птицы прилетали его утешить.

Вот какие мысли проносились в моей голове, пока я шел по лесным тропинкам, прислушиваясь к чириканью и посвистыванию птиц. Они славили своего брата Франциска. «Здесь, как ни в одном другом месте, — думал я, — человек может повстречать святого, стоящего в тени раскидистого дуба». У меня было ощущение, что он рядом.

Шутя я указал на одну каменную келью монастыря и сказал братьям, чтобы они придержали ее для меня. Один из братьев, старик с серебристой бородой, гладкой

и блестящей как шелк посмотрел на меня ясными голубыми глазами. «Вы вернетесь? — торжественно спросил он. — Да, мы ее для вас сохраним. Все будет устроено». Моя шутка приняла вдруг серьезный оборот, и я пожалел о своих словах. Печально я пожал им руки и ушел, зная, что никогда сюда больше не приду.

## 10

Настал момент, когда я решил, что мне нужно сделать то, что сделало в первую очередь большинство туристов, приехавших в Ассизи, а именно — посетить могилу святого. История у этой могилы странная.

Когда святого Франциска принесли из Ассизи умирать — как он завещал — в Порциунколу, ученики попросили о вооруженной охране, чтобы жители Перуджи не похитили Франциска. Они носились вокруг, точно ястребы, в надежде захватить его тело и похоронить в своем городе. Что поделаешь, такое было время. Тогда верили в то, что оплакивание оправдывает кражу священной реликвии и что даже похищенный святой вознаградит небесными благодеяниями город, жители которого его похоронят и станут почитать.

Человек, убежденный в том, что Перудже нельзя дать похитить тело святого, был самым интересным, хотя и не самым последовательным учеником Франциска. Ровесник святого Франциска, брат Илья был сыном ремесленника из Болоньи. В истории он впервые появляется как Илья Буонбароне, школьный учитель из Ассизи. Святой Франциск направил его с миссией в Святую Землю. После смерти Франциска Илья встал во главе Ордена. Некоторые описывали его как человека амбициозного, другие видели в нем францисканского святого Павла, человека, который понял, что мировой порядок не установишь в условиях апостольской

простоты. С приходом Ильи пришел конец идиллии францисканства, а настала так называемая реальность. Некоторые скажут, что орден, который святой Франциск хотел найти на Небесах, его здравомыслящий преемник опустил на землю. Во всяком случае, благодаря Илье Буонбароне тело святого Франциска покоится в святилище, в котором он тайно похоронил его в 1230 году.

Не успел святой умереть, как этот замечательный человек — с одобрения и при поддержке папы — составил план постройки церкви, что стоит здесь и по сию пору. Скорость, с которой она была под его руководством построена, является уникальным достижением Средневековья. Через два года после кончины святого Франциска канонизировал его старый друг и почитатель папа Григорий IX, и в то же время, в 1228 году, папа поставил закладной камень большой церкви. Еще два года — и 25 мая 1230 года два белых вола, впряженные в погребальную повозку, перевезли тело святого Франциска из церкви Святого Георгия в Ассизи и положили в огромный склеп, или нижнюю церковь, которая к тому времени была готова его принять. Собралась большая толпа, но как только тело было внутри, двери — по приказу Ильи — заперли на замки и засовы. Слышались громкие крики недовольных, пришедших посмотреть на похороны, но у Ильи были свои планы, и никаких свидетелей ему не требовалось. Святого Франциска похоронили глубоко в скале. Могила во избежание грабителей устроили наподобие той, что у фараонов.

Прошло девять лет, и церковь была полностью готова, и даже колокольня. Потрясающее достижение, если учитывать, как много недостроенных средневековых соборов переходило от одного поколения к другому.

Насколько хорошо сделал Илья свою работу, стало ясно в последующие столетия, когда было предпринято несколько безуспешных попыток найти останки святого. Впоследствии францисканцы обратились к папе Пию VII за разрешением о проведении научного поиска. Согласие было получено в 1818 году. Экскаваторы работали за закрытыми дверями два месяца: прорывали туннели под алтарем. Наконец добрались до могилы. Она находилась в глубине скалы в том виде, в каком в 1230 году запечатал ее Илья. Спрятав ее, словно в сердце пирамиды, он построил склеп из тяжелых блоков травертина, взятых из древнеримской стены возле храма Минервы. Там и нашли зарытый глубоко в землю саркофаг. Он был сделан из известняка и заключен в железную обрешетку.

Когда открыли крышку, увидели покрытые пылью кости святого Франциска. Пыль, возможно, была рассыпавшимся саваном, который когда-то привезла госпожа Якопа деи Сеттесоли. В гробу лежало несколько серебряных монет, датированных 1181 и 1208 годом, а также перстень из красного сердолика II столетия с изображением богини Паллады, держащей в правой руке Победу. Тогда в папской грамоте миру было объявлено, что найденное в базилике тело принадлежит святому Франциску.

Вслед за толпой я вошел в церковь. Многие пришли сюда просто потому, что могила являлась одной из достопримечательностей, которую необходимо было увидеть. Другие были набожными людьми, желавшими поклонить колени перед могилой святого Франциска, были здесь и те, кто знал, что церковь является одной из богатейших художественных галерей Италии. Каждый дюйм ее стен покрыт фресками лучших художников XIII и XIV веков. Какой бы альбом по искусству вы ни открыли, обязательно увидите там репродукции этих фресок.



Некоторые более внимательные посетители, без сомнения, удивились, увидев, что церковные смотрители одеты не в знакомую коричневую францисканскую рясу и сандалии на босу ногу, а в черную одежду и хорошо начищенные черные туфли. Тем не менее они францисканцы, минориты, находящиеся на службе у папы в этой патриаршей базилике, и службу несут здесь вот уже несколько столетий.

Не часто увидишь большую средневековую церковь в таком виде, в каком она предстала людям и несколько столетий назад. Все стены здесь украшены картинами и фресками, и зрелище это непривычно английскому глазу, приученному к суровому достоинству неукрашенного собора. Даже крыша и своды окрашены здесь в синий цвет, и по этому фону рассыпаны золотые звезды. Повсюду картины, рассказывающие истории тем, кто не умел читать. Церковь можно считать одной из самых больших и самых прекрасных в мире книжек с картинками. Нам сейчас трудно представить, какое значение все это имело для людей Средневековья, как расширяло их представление о мире, как окрашивало их сны.

Темный склеп производит большее впечатление, чем прекрасная церковь наверху. Неизвестно, насколько это соответствует действительности, но говорят, что Илья сам спроектировал эти здания или, во всяком случае, подал идею. Нельзя отрицать символизм, заключенный в очистительной темноте склепа и ослепительном сиянии верхнего помещения. Возможно, последователи Франциска помнили пещеры, в которых святой молился вначале, ища путь к просветлению. Во всяком случае, такое впечатление произвело увиденное на меня. Лучше всего осмотр церкви начинать из темного нижнего помещения, а потом двигаться к свету.

Ступени мрачной нижней церкви ведут в еще более глубокую темноту усыпальницы святого. Саркофаг, в

котором были обнаружены кости святого Франциска, стоит посередине сурового склепа из грубо обработанного камня. Установлен он над четырьмя алтарями. Приезжие священники иногда служат здесь мессу. Услышать ее можно с раннего утра и до полудня. В склепе горит несколько ламп. Специальная лампада подвешена непосредственно перед саркофагом. Области Италии по очереди каждый год предоставляют для ламп масло, а утром четвертого октября, в день кончины святого Франциска, глава региона наливает масло в лампаду перед саркофагом, а на алтари кладут оливковые и лавровые ветви.

Некоторые посчитают странным, что кости, имевшие столь малое значение для самого святого Франциска, находятся в одной из самых впечатляющих усыпальниц Италии, но это еще не все. Обходя центральную могилу, вы с изумлением и радостью обнаруживаете здесь и четыре могилы его первых учеников — брата Льва, которого святой Франциск называл «маленьким ягненком Господа», брата Анджеоло, «нежного рыцаря». А вот и могила брата Массео. Однажды, когда братья вышли на перекресток дорог, святой Франциск закружил Массео вокруг собственной оси, а потом остановил, после чего указал ему дорогу, лицом к которой встал монах. Все трое сопровождали святого до Лаверны и были с ним, когда он принял стигматы. Четвертая могила принадлежит брату Руфино. Преисполнен он был такой святости, что Франциск называл его «святым Руфино».

Я почти уверен в том, что святой Франциск не одобрил бы собственную могилу, если бы только четверо возлюбленных его товарищей, лежащих рядом, не возразили бы ему, что привязанному к земле человечеству нужны такие якоря, что пробуждение духа может прийти ко многим в такой вот усыпальнице. Уподобить это можно будет чуду, произошедшему с

самим святым Франциском, когда с ним заговорило распятие. Жаль, что чувство покоя и красоты, окружающее могилу святого Франциска, не приходит к человеку возле гробницы Христа.

Самыми известными художественными ценностями базилики являются двадцать восемь фресок верхней церкви. Джотто рассказал в них историю святого Франциска. Тот, кто изучал историю их создания, знают, что художник начал писать их в 1296 году. В то время самому ему было двадцать девять лет. Если все это соответствует действительности, то святого Франциска не было на свете всего лишь семьдесят лет.

В эпохе францисканства поражает скорость: и то, как быстро канонизировали святого и возвели храм, и то, что ученики святого Франциска так живо откликнулись на просьбы властных структур изложить свои воспоминания. Я уверен, многие историки хотели бы, чтобы и другие события столетия запечатлены были с таким же желанием. Первым человеком, которому пришло в голову собрать воспоминания людей, знавших святого, был папа Григорий IX. Он попросил монаха Фому Челанского, вступившего в орден в 1215 году, взять на себя эту задачу. В 1244 году глава ордена обратился ко всем, знавшим святого Франциска, с просьбой записать свои воспоминания и прислать к нему в Ассизи. Среди тех, кто сделал это, были первые его ученики. В 1260 году святой Бонавентура, в то время глава ордена, имел в своем распоряжении все материалы, с которыми можно было работать. Эти воспоминания и явились путеводителем для Джотто. Его фрески стали иллюстрациями к «Легенде» Бонавентуры.

Я остался очень доволен тем, что художник не отступил от исторических событий. Это все равно что современный художник взялся бы писать последние годы царствования королевы Виктории. Когда он принялся за работу, были еще живые очевидцы —

Джотто, должно быть, встречался с ними, они помнили брата Илью, умершего всего лишь сорок лет назад, и, хотя самые первые ученики ушли из жизни, живо было молодое поколение, знавшее этих учеников и слышавшее из их уст историю францисканской идиллии.

Этот почти современный самому святому Франциску взгляд на его мир невозможно переоценить. Какой же блестящей, необычной предстает перед нами Италия образца 1300 года! На фресках изображены мраморные дворцы с великолепными балконами, очаровательными, похожими на маленькие храмы лоджиями, необычными окнами. Архитравы колонн украшены мраморными медальонами, в которых угадывается грядущая эпоха Ренессанса. Здания — снаружи и внутри — декорированы изысканной геометрической мозаикой, ставшей популярной у каменщиков, которые, отыскивая в древнеримских руинах редких пород мрамор, распиливали его на разноцветные кубики.

Святой Франциск у Джотто не маленький человек скромной наружности, как писали о нем некоторые современники, а привлекательный, хорошо сложенный мужчина, такой, каким его хочется себе представить. Сначала он изображен в образе солдата, сражающегося за город, затем — в образе рыцаря. Возможно, Джотто попросили написать героя, но мне хочется думать, что он следовал воспоминаниям современников. На фреске, где святого Франциска возле храма Минервы приветствует деревенский дурачок, он представлен в облике молодого аристократа. На следующей фреске он уже красивый молодой монах, достаточно мускулистый, потому что поддерживает рушащийся Латеран,<sup>[109]</sup> в то время как папа спит в постели при всех своих регалиях, в митре и перчатках. Джотто нигде не отступает от официальной хроники, и, хотя к тому времени «Цветочки» святого Франциска еще не закончены, никаких расхождений с книгой современный читатель

не увидит. Думаю, у Джотто были некоторые трудности с изображением серафима на фреске, где художник повествует о получении святым Франциском стигматов: изображено там нечто странное. Должно быть, художник и сам это почувствовал, потому что позднее написал ту же сцену с серафимом более удачно. Фреска находится в церкви Санта Кроче во Флоренции.

Из сотен представленных здесь картин одна особенно запечатлелась в моей памяти. Это аллегория мистического обручения святого Франциска с госпожой Нищетой. Написана она на вогнутом своде над алтарем нижней церкви. Тема вдохновила Джотто, что довольно странно, ибо художник не видел в бедности ничего достойного. Тем не менее он написал сцену, которую невозможно забыть. На скале стоит высокая худая женщина, одетая в заплатанные лохмотья. Ноги ее утыканы колючками, на голове — венок из ежевики, перевитый лилиями и розами. Христос соединяет ее правую руку с рукой святого Франциска. С одной стороны стоит Надежда с обручальным кольцом, с другой — Милосердие подает сердце брачующейся паре. Здесь же ангелы, окружающие три центральные фигуры, свадебные гости, сжимающие в руках туго набитые кошельки и недоумевающие — зачем их сюда пригласили, и они готовятся уйти. На переднем плане мальчишка швыряет камнем в невесту, собака на нее лает. Такой странной свадебной сцены, пожалуй, никто еще не изображал.

За колоннами крытой галереи я обнаружил отличный францисканский магазин. Там я купил пластинку с записью «Гимна Солнцу» и очаровательный маленький изразец с изображением брата Волка, подающего лапу святому Франциску. У магазина дела идут хорошо, потому что два монаха за прилавком едва успевают поворачиваться. Если кто-то и уловил иронию в том, что бизнес связали с именем святого, отказывавшегося

брать в руки деньги, то он не подал вида. А старый спор по поводу того, что брат Илья превратил леди Нищету в леди Богатство, сотрясавший в течение столетий Латеран, Авиньон и Ватикан, к счастью, утих. Во всем мире францисканцев любят и уважают за их простоту, бедность и заботу о бедных.

Вдумчивый посетитель, прошедший по стопам святого Франциска по белым дорогам Умбрии и преклонивший колени перед его могилой, может спросить, а что же случилось с братом Ильей. При нем орден разделился. Одни — зилоты — придерживались законов апостольской бедности, другие — те, кто шел за Ильей, старались построить идеальный материальный мир. Эти два течения отражены уже в раннем житии святого. Во время своего правления и при поддержке Григория IX Илья скрыл тело своего вождя и выстроил для него величественную церковь. Враги сместили его и сослали в горный город Кортону.

Илья был, конечно же, светским священником. Враги не уставали критиковать его за тщеславие и даже за то, что он держал хорошего повара! Дружба с атеистом — императором Фридрихом II, который ценил его как блестящего государственного деятеля, вовлекла Илью в конфликт с Ватиканом, и поэтому его отправили в ссылку. На восьмом десятке лет, почувствовав, что смерть близко, он послал в Рим монаха с просьбой о прощении, которое папа Иннокентий IV ему даровал. Монах успел вовремя: утешил умирающего, а затем проследил, чтобы исполнили последнее желание Ильи: он попросил, чтобы на него надели серую рясу францисканского ордена. Говорят, что после смерти его тело выкопал из могилы зилот и бросил на навозную кучу.

Мало кто вспоминает об Илье в склепе базилики, а ведь это он спас от осквернения останки святого

Франциска, и он построил крепкое здание, в котором эти останки хранятся.

## 11

Тихим утром в начале осени, когда виноград, оливки и каштаны созрели, и их вот-вот начнут собирать, я покинул Ассизи, чтобы ночью двинуться в Рим. До Рима отсюда недалеко, какие-нибудь сто миль. Я завернул несколько бутербродов, взял корзинку со спелыми фигами, которые добрый приятель собрал для меня в то самое утро, и отправился в путь. С самого начала я дал себе клятву, которую в Италии очень трудно исполнить: не буду останавливаться по пути, как бы ни заманивали меня горные селения и прочие привлекательные места, но при этом я заранее сделал единственное исключение — Воды Клитумна.

Вскоре я ехал на юг, по Фламиниевой дороге, великой северной дороге древних римлян. На вершинах холмов стояли залитые солнцем старинные города, названия которых перекликались с латинскими их именами — Спелло — Hispellum; Фолиньо — Fulginium; Треви — Trebia. У меня было ощущение, которое трудно объяснить. Казалось, что я бывал здесь раньше, что дерево, скала, река или поворот дороги вот-вот откроют ворота памяти и решат эту загадку. Из всех областей Италии Умбрия — самая спокойная и самая таинственная. Кажется, что исторические корни уходят здесь глубже, чем в других местах, и что не этруски были первыми племенами, а другие, незнакомые люди, говорившие на неизвестном, утерянном языке, и видели их лишь эти горные вершины. Не удивительно, что святой Франциск был уроженцем Умбрии. Религиозная вера и размышления связывают «Гимн Солнцу» с бронзовыми таблицами Губбио. Любопытно, что авгуры

читали волю богов по полету птиц в той самой местности, где многие столетия спустя святой Франциск говорил о своей любви к птицам, считая их олицетворением Святого Духа.

Подъехав к источнику, или Водам Клитумна, я увидел красивую, плодородную и хорошо увлажненную долину, лежащую между двумя горными отрогами. В Тибр впадала маленькая речушка, и я быстро нашел ее исток. От дороги шла тропинка к фермерскому дому. Я попросил там разрешения спуститься, ибо место это является частной собственностью. Жена фермера, любезно улыбнувшись, кивнула в сторону ворот, ведущих к источнику, и я увидел необычайно красивое место.

На первый взгляд кажется, будто здесь поработал талантливый ландшафтный архитектор, устроив великолепное обрамление для самой чистой на земле воды, столь прозрачной, будто ее очистили в подземной лаборатории. Затем вы замечаете, что вода эта необычная, она странно живая, хотя в ней и не поднимаются пузырьки газа, как в минеральном источнике. Нет, она медленно и тихонько колеблется, и этому явлению вы не находите объяснения, пока не заглянете в глубину. Там, на ложе из серебристого песка и чистого гравия вы видите «глаза» сотен источников, выходящих из-под земли. Глубина этого природного чуда редко бывает более трех футов. На дно смотришь, словно сквозь стекло, и видишь, как булькают «глаза», каждый источник выбрасывает маленький фонтанчик мельчайшего песка. Вокруг Вод растут высокие тополя, отражаясь в зеркальной поверхности; ивы склонили над ними свои ветви. Чувствительный человек справедливо назовет это место еще одним умбрийским святилищем.

Вергилий, Ювенал и Проперций — он родился возле Ассизи — упоминали Воды Клитумна и странное их свойство «отбеливать» скот, а также более чем



странную особенность отражать не внешность человека, а его характер. С тех пор, должно быть, что-то изменилось, ибо, посмотрев довольно боязливо в воду, я увидел в ней самого себя! Император Калигула посетил Воды Клитумна, Гонорий тоже сюда наведывался — свернул с дороги, ведущей в Рим. Без сомнения, в те далекие времена они выводили специальную породу белых волов, которые паслись на берегах Клитумна. Волы были священными животными, их не впрягали в плуг, не случали, они нагуливали мясо на сочных травах, пока не приходил момент, когда их, увенчанных лаврами, приносили на жертвенный алтарь.

Я присмотрелся к одному из источников и увидел, что песок покрыт серебряными монетами. Выходит, старый языческий обычай приносить жертву речному божеству до сих пор существует. То же самое можно сказать и о фонтане Треви в Риме. Не знаю, почему именно этот источник избрали для жертвоприношений и является ли он тем самым источником, в котором девятнадцать столетий назад Плиний заметил монеты. Когда здесь был Плиний, возле речки находилось много алтарей, посвященных разным божествам. Он читал надписи на стенах и колоннах, оставленные посетителями. «Их много, — писал он, — и читать их интересно, потому что многие надписи вызовут у вас смех». Главное божество прудов — бог Клитумн, чья статуя, облаченная в тогу, по словам Плиния, стояла в храме.

Пройдя по берегу реки, я дошел до того храма. Он совсем маленький, места хватает для священника и нескольких посетителей, приходивших к Клитумну, богу-прорицателю. Я увидел, что место, где стоял когда-то в своей тоге Клитумн, занимает христианский алтарь, ныне не действующий.

Я вернулся, чтобы заглянуть еще раз в прозрачную глубину, очарованный, как и люди за тысячи лет до

меня, его вкрадчивым и загадочным движением. Никогда языческий мир не казался мне столь близким. Я думал о Пане и о наядах, о местных жителях. Из фермерского дома вышел старик и зачерпнул чайником воду. «Да, — сказал он, — вода хорошая, и всегда такой была». «Интересно, — подумал я, — действительно ли он об этом задумывался и нравится ли ему приходить сюда в темноте за водой? А может быть, в полнолуние он слышал, как приходили на водопой белые воны».

Я продолжил свое путешествие по зачарованной земле, земле, согретой жизнью и полной воспоминаний. Поздно вечером я уже спал в Риме.

# **ПРИЛОЖЕНИЕ I**

## **Подъем свечей в Губбио**

15 мая, исполненный любопытства, я снова приехал в Губбио на праздник Святого Убальдо, чтобы посмотреть подъем свечей. Улицы были запружены народом, а потому я поставил автомобиль в гараж и пешком пошел в верхний город. По пути мне встретились сотни сильно взволнованных молодых людей. Они шли, держась за руки, и пели — необычное зрелище для страны, где даже помыслить об опьянении невозможно. На юношах были белые брюки и красные шейные платки, рубашки — красные, желтые или черные. Это были свеченосцы — они должны были сегодня нести по улицам тяжелые свечи, а потом бежать с ними на вершину горы.

Я был благодарен мэру города, приславшему мне билет в старый дворец на площади, который занимает сегодня городская ратуша. Из окон дворца смотрел на толпу, в которой яблоку негде было упасть. Напротив возвышался палаццо деи Консоли, а перед ним — высокий шест с городским флагом. Зазвонил колокол, и все взоры обратились к колокольне. Между арками виднелся силуэт человека. Он не дергал рукой веревку, а раскачивал колокол ногами. Ухватившись за опоры, он с силой наступал на прикрепленную к языку колокола деревянную платформу, раскачивал ее так, что колокол, казалось, вот-вот перевернется, а потом отпускал. Звук получался на редкость громким.

В то же время я заметил, что команды свеченосцев приготовились поднять свечи на тяжелые платформы или носилки. Свечи эти я видел лежащими на пьядце одна подле другой в первый свой визит в Губбио. Их должны были установить в вертикальном положении, а

затем пронести по городу. Выглядят свечи необычно: изготовлены в форме двух восьмигранных призм, соединенных друг с другом, так что в середине получается узкая талия. И снова я подумал, что сравнить их можно разве только с огромными рождественскими хлопушками.

К верхушкам свечей потом прикрепляли статую: святого Убальдо в золотом облачении, святого Георгия в голубом плаще верхом на коне и святого Антония в черно-красной ризе. Одежды не были нарисованы на статуях, а сшиты из парчи. Пока шли приготовления, я рассмотрел, что команда, которой назначено было нести святого Убальдо, одета в желтые рубашки, молодые люди в синих рубашках несли статую святого Георгия, а тем, кто был в черном, достался святой Антоний.

И вот свечи установлены, вершины их достали до балконов второго этажа. С дикими криками молодые люди взвалили шесты носилок себе на плечи, и не успели зрители глазом моргнуть, как свечи рысью понеслись по площади. Напряженные лица молодых людей давали понять, какой вес приходится им выдерживать. Рядом с ними бежали сменщики, готовые принять эстафету. Три фантастические предмета — тотемы, идолы? — после быстрой пробежки вокруг площади исчезли в направлении нижнего города. Был первый час дня. На пьядце они появятся снова не раньше шести часов вечера. Тогда начнется финальный забег на гору. В указанном интервале свечи пронесут по всем городским улицам. С балконов на свеченосцев будут бросать цветы. В некоторых местах их будут останавливать и давать напиток.

Несмотря на то что носили статуи святых, мне казалось, что я присутствую при языческой церемонии, пришедшей из глубины веков, да и свеченосцы, раскрасневшиеся и экзальтированные, напоминали фанатичных приверженцев языческого божества, такого

как Кибела.<sup>[110]</sup> В Италии только две церемонии можно сравнить с ежегодным праздником в Губбио. На тех церемониях тоже носят по городу тяжелые предметы. Во время праздника Святой Розы в Витербо ночью 3 сентября по городу провозят низкую, ярко освещенную платформу длиной девяносто футов, при этом уличные фонари гасят. Бóльшее сходство с праздником свечей у праздника лилий. Он проходит в Ноле, рядом с Неаполем, в последнее воскресенье июня. Восемь огромных обелисков, по восемьдесят футов в высоту, в сопровождении раскрашенного корабля проносят по улицам. Говорят, что корабль и обелиски посвящены приему, оказанному святому Павлину из Нолы<sup>[111]</sup> в 431 году по случаю возвращения его из Африки. Восемь обелисков изображают преподнесенные святому лилии, подарок от торговых гильдий. Возможно, с течением времени лилия смогла вырасти в обелиск ростом в восемьдесят футов, ну а три свечи из Губбио, судя по названию, были когда-то настоящими свечами.

Обед, организованный городской администрацией, растянулся на несколько часов. Большой зал палаццо деи Консоли напоминал лондонский Гилдхолл в праздничные дни. На галерее играл оркестр, перед каждым прибором стоял букетик весенних цветов. Епископ с мэром сидели за главным столом вместе с несколькими выдающимися гостями, премьер-министром и видными военными. Шесть перемен блюд неспешно следовали друг за другом. Официантам, разносящим вино, очевидно, был дан наказ: ни один бокал не должен оставаться пустым. Продолжительные речи договаривались до последнего слова, а в паузах гости швыряли друг в друга цветами. Когда красная гвоздика чуть-чуть не угодила в епископа, он решил завершить свою речь, однако от своих обязанностей не отказался. Настал момент, и в сопровождении священников епископ отправился в нижний город, где

ему надлежало встретить статую святого Убальдо и поприветствовать свеченосцев.

Я снова вернулся к своему окну и стал ждать шести часов. Из нижнего города с текущими новостями являлся то один, то другой взволнованный чиновник, и о происходящих там событиях извещали огромную толпу. В последний момент была сделана попытка очистить проход, и вовремя, потому что слышались хриплые крики и шарканье ног: появились свечи в облаке пыли. Свеченосцы, поднявшие груз по крутым улицам, выглядели изможденными. Свечи клонились и ныряли, словно попавший в шторм трехмачтовый корабль. Обливавшиеся потом люди были рады опустить носилки и глотнуть вина из предложенных им бокалов.

Когда мэр, встав у дворцового окна, уронил носовой платок, свеченосцы рванулись к свечам, подставили плечи под носилки и помчались во весь опор. Три раза свечи обогнули площадь под рев толпы и напутствия, которых никто не слышал. Вспоминаю человека с обнаженным мечом. Он неуверенно сидел на лохматой лошадке и номинально руководил церемонией. Помню и другого человека, тоже на лошади, он старался улучшить момент, чтобы подуть в трубу. Не один раз свечи опасно наклонялись, но положение быстро выправляли. Когда святые оказались рядом с моим окном, я заметил, как замечательно сделаны фигуры, особенно святой Георгий и его лошадь. Сразу видно, что это работа хорошего художника.

Когда свечи покинули площадь, крики, доносившиеся сверху, подсказали, что свеченосцы приближаются к вершине Монте Инджино. С трудом пробившись сквозь толпу, я нашел место, с которого мог увидеть гору. Вместе со свеченосцами бежали по тропе сотни людей. Свечи, слегка покачиваясь, быстро продвигались к вершине.

Когда свечи доберутся до святилища, их снимут с платформ и уложат рядом на пол. Там они и будут лежать до следующего мая. Фигуры трех святых спустят с горы и отправят каждого в свою церковь. Губбио в очередной раз отдал дань любимому святому покровителю, скончавшемуся восемьсот лет назад.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ II. Знаменитые семьи Италии**



## **Висконти из Милана**

Род Висконти пришел к власти в 1262 году, когда Оттон Висконти стал архиепископом Милана, а затем с 1288 года полноправным властителем города. В последующие годы власть над Миланом передавалась по наследству. Когда в 1354 году скончался архиепископ Джованни, правление поделили между тремя его племянниками: Маттео (умер в 1355 году), Бернабо (умер в 1385 году), женатым на Регине делла Скала, и Галеаццо (умер в 1378 году). Сын последнего, Джан Галеаццо, стал первым герцогом Милана. Он был самым известным и властным Висконти и готовился провозгласить себя королем Италии, но умер от чумы (1402 год).

Династия закончилась с двумя его сыновьями: Джованни Мария, вторым герцогом Милана, убитым в 1412-м, и Филиппе Мария, третьим герцогом, умершим в 1447-м и оставившим незаконнорожденную дочь Бианку Марию, вышедшей замуж за генерала своего отца, Франческо Сфорца (1401-1466).

## **Сфорца из Милана**

Франческо Сфорца захватил власть в Милане и провозгласил себя четвертым герцогом. Пятым герцогом стал его сын, Галеаццо Мария Сфорца, убитый в 1476 году. Его наследник — Джан Галеаццо Сфорца, был в то время семилетним мальчиком. Он сделался шестым герцогом, хотя фактически страной управлял его дядя, Лодовико иль Моро (1451-1508), при нем Милан достиг наивысшего расцвета. Он женился на Беатриче д'Эсте (1475-1497), а придворным художником сделал Леонардо да Винчи. После безвременной смерти (в 25 лет) Джана Галеаццо Сфорца Лодовико сделался седьмым герцогом Милана, но лишился власти во время французского нашествия в Италию. Умер во французской тюрьме.

Французы заявили о своих притязаниях на Милан, поскольку Людовик, герцог Орлеанский, женился на Валентине Висконти, дочери Джана Галеаццо Висконти, первого герцога. Их внук, Людовик XII, считал себя законным герцогом Милана, а на Сфорца смотрел как на узурпаторов. Притязания французов на Милан и Неаполь вызвали вооруженный конфликт Франции и Испании на итальянской земле.

## **Гонзага из Мантуи**

Это выдающееся военное семейство начало править Мантуей в 1328 году, чему способствовала должность главнокомандующего. Первым маркизом Мантуи был Джанфранческо (1395–1444), ему наследовал его сын Лодовико, второй маркиз (1414–1478), а затем сын Лодовико — Федерико (1442–1484), ставший третьим маркизом. И Лодовико, и Федерико женились на немках.

Четвертый маркиз, Франческо (1466–1519) женился на Изабелле д'Эсте (умерла в 1539 году). Их сын, Федерико (1500–1540) стал первым герцогом Мантуи.

Два его сына стали последовательно вторым и третьим герцогами: Франческо (1533–1550) и Гульельмо (1538–1587). Четвертым герцогом стал сын Гульельмо Винченцо (1562–1612).

Пятый, шестой и седьмой герцоги были сыновьями Винченцо: Франческо (1586–1612), Фердинанд (1587–1626) и Винченцо II (1594–1627). С последним герцогом закончилась прямая линия семейства. Он продал знаменитую мантуанскую художественную коллекцию английскому королю Карлу I.

Герцогство перешло Карлу Неверскому (1580–1637) и его преемникам. Десятым и последним герцогом Мантуи был Фердинанд Карл, скончавшийся в 1708 году.

## Эсте из Феррары

Старинное аристократическое правящее семейство Северной Италии известно со времен Карла Великого. Аццо VI (1170–1212) был избран горожанами на пост правителя Феррары. Через Вельфа IV, ставшего герцогом Баварии в 1709 году, семья Эсте породнилась с княжескими домами Брюнсвика и Ганновера, от которых произошла Виндзорская английская королевская династия.

Никколо III (1384–1441) наследовали три его сына: Леонелло (1407–1450), великий покровитель искусства Ренессанса, Борсо (1413–1471) и Эрколе I (1431–1505), отец Изабеллы и Беатриче д'Эсте. Сын и наследник Эрколе I, Альфонсо I (1486–1534), был женат вторым браком на Лукреции Борджиа.

Их сыну, Эрколе II (1508–1558) наследовал сын Эрколе — Альфонсо II (1533–1592). На нем прямая линия рода Эсте завершилась. После кончины Альфонсо II Ватикан взял управление Феррарой в свои руки, предложив в качестве преемника его двоюродного брата. Герцог Модены, Альфонсо IV (1634–1662), был отцом Марии Моденской, супруги английского короля Якова II.

На Эрколе III (1727–1803) линия моденской ветви Эсте пресеклась. Его наследница, Мария Беатриче (умерла в 1829-м) вышла замуж за эрцгерцога Фердинанда, сына императора Франциска I, и до 1860 года титул этот принадлежал австрийским эрцгерцогам.

## **Скалигеры (Скалиджери) из Вероны**

Мастино делла Скала (умер в 1277 году), прародитель семейства, был сыном ткача или — как считают некоторые — человека, мастерившего лестницы (scala по-итальянски — лестница). Горожане избрали его правителем Вероны в 1262 году. Милосердного правителя убили в 1277 году. Наследовал ему брат Альберто I (умер в 1301-м), который, судя по выражению его современника, был «человеком возвышенной души и безупречного поведения». Ему наследовали три его сына:

1. Бартоломео делла Скала правил менее трех лет. Он стал первым Скалигером, пригласившим в Верону Данте.

2. Альбонио (умер в 1311-м)

3. Кангранде I (умер в 1329-м), самый знаменитый Скалигер. Данте посвятил ему «Божественную комедию». Ему наследовали двое племянников:

— Мастино II (умер в 1351-м), отец Регины делла Скала, Жены Бернабо Висконти. Она дала свое имя земельному участку, на котором впоследствии построили в Милане знаменитый оперный театр Аа Скала. — Альберто II (умер в 1353-м).

Ему наследовали два сына Мастино II: Кангранде II (умер в 1359-м) и Кансиньорио (умер в 1375-м), при сыновьях и внуках которого династия пришла к концу.

Власть в Вероне взял Джан Галеаццо Висконти, после смерти которого в 1402 году город спокойно вошел в состав Венецианской республики.

## Медичи из Флоренции

Этот род основателей крупнейшей европейской торгово-банковской кампании управлял Флоренцией с 1434 по 1737 год, сначала на правах горожан, позднее — как великие герцоги. Первым великим Медичи был Козимо Старший (1389–1464). Он и его сын, Пьеро Подагрик (1416–1469), а также сын Пьеро, Лоренцо Великолепный (1449–1492), страдали от наследственной подагры. Среди сыновей Лоренцо были Пьеро Неудачник (1471–1503) и Джованни (1475–1521), ставший впоследствии папой Львом X.

В 1494 году французы, вторгшиеся в Италию, выслали Медичи из Флоренции. В 1512 году Медичи вернулись. Старшая линия прекратила существование в 1537 году, когда был убит незаконнорожденный Медичи. Младшая ветвь, придя к власти, стала известна в истории как великие герцоги Тосканские. Это были:

Козимо I (1519–1574), ему наследовали сыновья:

Франческо I (1541–1587)

Фердинанд I (1549–1609), которому наследовали:

Козимо II (1590–1621), Фердинанд II (1610–1670), Козимо III (1642–1723) и Джан Гастон (1671–1737), последний великий герцог Тосканский из рода Медичи.

## **Борджиа**

Испанская семья Борджиа, или Борджа, — выходцы с юга Валенсии. Восемь Борджиа, имевшие знаменитый герб: красный бык на золотом фоне, жили в то время, когда Валенсию отвоевали у арабов-мусульман. Альфонсо Борджиа, епископ Валенсии, был избран в 1445 году папой Каликстом III.

Самыми интересными фигурами были Родриго Борджиа (1431–1503), папа Александр VI, его сын Чезаре (Цезарь) Борджиа (1476–1507) и дочь Лукреция Борджиа (1480–1519). Третьим ее мужем стал Альфонсо д'Эсте, брат Изабеллы и Беатриче д'Эсте. Благодаря этому браку она стала герцогиней Феррары.

Характер папы Борджиа контрастировал со святостью его потомка, святого Франциска Борджиа (1510–1572), герцога Гандии, ставшего третьим главой ордена иезуитов. В 1671 году он был канонизирован.

## Библиография

С благодарностью привожу список трудов, изданных на английском языке, материалы которых я использовал при написании этой книги.

Acton Harold. The Last Medici. Methuen. 1958.

Ady C. M. Lorenzo dei Medici and Renaissance Italy. English Universities Press. 1955.

Bates E. S. Touring in 1600. Houghton Mifflin, Boston and New York. 1911.

Bellond Maria. A Prince of Mantua. Weidenfeld and Nicolson. 1956.

Berenson Bernard. The Italian Painters of the Renaissance. Phaidon Press. 1959.

Borsook Eve. The Mural Painters of Tuscany. Phaidon Press. 1960.

Brand C. P. Italy and the English Romantics. Cambridge University Press. 1957.

Brinton Selwyn. The Gonzaga — Lords of Mantua. Methuen. 1927.

Burchard Johann. At the Court of the Borgia. Folio Society. 1963.

Burckhardt Jacob. The Civilisation of the Renaissance in Italy. Phaidon Press, n.d.

Cartwright Julia (Mrs Ady). Isabella d'Este, Marchioness of Mantua 1474–1539. John Murray. 1903.

Cartwright Julia (Mrs Ady). Beatrice d'Este, Duchess of Milan 1475–1497. J. M. Dent. 1920.

Cellini Benvenuto. The Life of. Phaidon Press. 1949.

Chabod Federico. Machiavelli and the Renaissance. Bowes and Bowes. 1958.

Clark Kenneth. Leonardo da Vinci. Cambridge University Press. 1939.



Collison-Morley L. Italy after the Renaissance. George Routledge. 1930.

Collison-Morley L. The Story of the Borgias. George Routledge. 1932.

Collison-Morley L. The Story of the Sforzas. George Routledge. 1933.

Coryat Thomas. Crudities. Glasgow. 1905.

Crawford Francis Marion. Gleanings from Venetian History. Macmillan. 1905.

Dante Alighieri. The Divine Comedy. Penguin Classics. 1949-1962.

David Elizabeth. Italian Food. Macdonald. 1954.

Dennis George. The Cities and Cemeteries of Etruria. John Murray. 1883.

Dombrowski Ramon. Mussolini: Twilight and Fall. Heinemann. 1956.

Fabri Felix. Palestine Pilgrims' Text Society, Vols 7 to 10, 1892.

Forrest Alan. Italian Interlude. Howard Timmins, Cape Town. Gardner Edmund G. The Story of Florence. J. M. Dent. 1901.

Gardner Edmund G. The Story of Siena. J. M. Dent. 1905.

Gardner Edmund G. Saint Catherine of Siena. J. M. Dent. 1907.

Goethe Johann Wolfgang. Travels in Italy. Bohn. 1883.

Gombrich E. H. The Story of Art. Phaidon Press. 1950.

Gould Cecil. An Introduction to Italian Renaissance Painting. Phaidon Press. 1957.

Hale J. R. England and the Italian Renaissance. Faber. 1954.

Hale J. R. The Italian Journal of Samuel Rogers. Faber. 1956.

Harcourt-Smith Simon. The Marriage at Ferrara. John Murray. 1952.

Hartt Frederick. Florentine Art under Fire. Princeton University Press. New Jersey. 1949.

Hibbert Christopher. Benito Mussolini. Longmans, Green and Co. 1962.

Hood Stuart. Pebbles from my Skull. Hutchinson. 1963.

Hutton Edward. The Cities of Lombard. Methuen, 1912.

Hutton Edward. Siena and outhern Tuscany. Methuen. 1923.

Hutton Edward. Florence and Northern Tuscany. Methuen. 1924.

Hutton Edward. The Cities of Umbria. Methuen. 1905.

Hutton Edward. Ravenna. J. M. Dent. 1913.

Italian Renaissance Studies. Edited by E. F. Jacob. Faber. 1960.

Kirby Paul Franklin. The Grand Tour in Italy (1700-1800). S. F. Vanni (Ragusa), 1952.

Lucas E. V. A Wanderer in Florence. Methuen. 1928.

Masson Georgina. Italian Gardens. Thames and Hudson. 1961.

Masson Georgina. Italian Villas and Palaces. Thames and Hudson. 1959.

Memoirs of a Renaissance Pope, the Commentaries of Pius II. Trs by F. A. Gragg and L. C. Gabel. Putnam's. New York.

Miller Betty. Robert Browning, a Portrait. John Murray. 1952.

Morris James. Venice. Faber. 1960.

Mortoft Francis. His Book, being his Travels through France and Italy. The Hakluyt Society. 1925.

Nicolson Harold. Byron, the Last Journey. Constable. 1948. Noyes Ella. The Story of Ferrara. Dent. 1904.

Noyes Ella. The Story of Milan. Dent. 1908.

Okey Thomas. The Story of Venice. Dent. 1907.

Oliphant, Margaret. Francis of Assisi. Macmillan. 1902.

Origo Iris. The Last Attachment. Cape and Murray. 1949.

Origo Iris. The World of San Bernardino. Cape. 1963.

Parks G. B. The English Traveller in Italy, Vol I. The Middle Ages (to 1525). Edizioni di Stork e Letteratura. Rome. 1954.

- Peniakoff Vladimir. Private Army. Cape. 1950.
- Pope-Hennessy John. Italian High Renaissance and Baroque Sculpture. Phaidon Press. 1955-1963.
- Prescott H. F. M. Jerusalem Journey. Eyre and Spottiswoode. 1954.
- Quennell Peter. Byron in Italy. Penguin Books. 1955.
- Roberts H. I. St. Augustine in «St. Jerome's Study»: Carpaccio's Painting and its Legendary Source. The Art Bulletin. XLI. 1959.
- Ruskin John. The Stones of Venice. Dent. Everyman. 1935.
- Schevill Ferdinand. The Medici. Gollancz. 1950.
- Sells A. L. The Italian Influence in English Poetry. Allen and Unwin. 1955.
- Shirley-Price L.(new trs.). The Little Flowers of St Francis. Penguin Classics. 1959.
- Sismondi J. C. L. History of the Italian Republics in the Middle Ages. Routledge. n.d.
- Staley Edgcumbe. The Guilds of Florence. Methuen. 1906.
- Stendhal (M. H. Beyle). Rome, Naples and Florence. John Calder. 1950.
- Stendhal (M. H. Beyle). The Charterhouse of Parma. Penguin. 1958.
- Stoye John Walter. English Travellers Abroad 1604-1667. Cape. 1952.
- Symonds J. A. Renaissance in Italy. Smith, Elder. 1897.
- Symonds Margaret and Lina Duff Gordon. The Story of Perugia. Dent. 1904.
- The New Cambridge Modern History, I. The Renaissance. Cambridge University Press, 1957.
- Trevelyan J. P. A Short History of the Italian People. Allen and Unwin. 1956.
- Treves C. A. The Golden Ring, the Anglo-Florentines 1847-1862. Longmans Green. 1956.

Underbill Evelyn. Mysticism. Methuen, University Paperbacks. 1960.

Vasari Giorgio. The Lives of the Painters, Sculptors and Architects. Dent, Everyman. 1949.

Vernon H. M. Italy from 1494 to 1790. Cambridge University Press. 1909.

Villari Pasquale. The Life and Times of Girolamo Savonarola. Fisher Unwin, n.d.

Wall Bernard. Italian Life and Landscape. Vol. 2: Northern Italy and Tuscany. Paul Elek. 1951.

Weiss R. Humanism in England during the Fifteenth Century. Blackwell, Oxford. 1957.

Whitfield J. H. A Short History of Italian Literature. Penguin. 1960.

WielAlethea. The Navy of Venice. John Murray. 1910.

WielAlethea. The Story of Verona. Dent. 1902. Young G. F. The Medici. London. 1909.

---

<b>notes</b>
--------------

## Примечания

# 1

«Белы твои, о Клитумн, стада, постоянно омыты  
влагой священной твоей» (Вергилий. «Георгики».  
Перевод С. Шервинского).

Так называлось в XVIII веке длительное путешествие молодого аристократа по Франции, Италии, Швейцарии и другим европейским странам после окончания учебного заведения.

Ротарианское движение основано в 1905 г. адвокатом Полом Харрисом в Чикаго. Идея Харриса заключалась в стремлении развивать дух Дружбы и солидарности в мире бизнеса больших городов. С 1910 года ротарианское движение выходит за пределы США и становится международным. В настоящее время «Ротари Интернейшнл» объединяет во имя служения человечеству в целях международного взаимопонимания и мира представителей деловых кругов и свободных профессий, а также Руководителей и специалистов предприятий и представляет собой международную организацию, насчитывающую более 1,2 миллиона членов на всех континентах мира.



Британская Восьмая армия действовала в Италии во время Второй мировой войны.

Альберго диурно — дневные гостиницы.

Хейвуд Томас (около 1574—16.08.1641, Лондон), английский драматург. Учился в Кембриджском университете (1591-1593). Основные жанры Хейвуда — фарс и романтическая комедия. Автор так называемых «домашних драм» («Английский путешественник», 1633), исторических хроник, поэм и пьес на античные сюжеты.

Аббатиса Джулиана Бернерс известна как автор обстоятельнейшего труда об охоте и рыболовстве «The Booke of St. Albans» (1496).

**8**

В переводе с латыни это слово означает «срединный».

Максим Магн (император Западной Римской империи, правивший в 383–388 гг.) был выходцем из бедной испанской семьи, жившей, вероятно, в Галлеции и связанной с домом Феодосия I. Под началом его отца — Феодосия Старшего — он служил в Британии в 369 г. Он также сражался в Африке против восстания Фирма в 373–375 гг., а позднее в чине старшего командира в провинциях Британии, где успешно действовал против пиктов и скоттов. Войска в британских гарнизонах были недовольны режимом Грациана, который был в то время императором Западной Римской империи, и присягнули на верность Магну Максиму, выполнившему их требование (он вновь открыл монетный двор в Лондинии). При поддержке Флавия Меробавда, командующего пехотой на Западе, Магн Максим распространил свою власть на земли вплоть до германской границы и Испании, основав свою столицу в Тревирах.

**10**

Бог сотворил все.

Бог, Творец всего сущего от века.



Приди, Искупитель рода человеческого.

Свет благодословенной Троицы.

Тебя, Господи, славим.

Бог сотворил все.

Гвельфы и гибеллины — политические направления в Италии XII–XV вв., возникшие в связи с борьбой за господство между Священной Римской империей и папством. Гвельфы поддерживали римского папу, а гибеллины — императора.

Джеймс Босуэлл — английский писатель, автор книги «Жизнь Сэмюэла Джонсона» (1791).

Миссис Трэйл, она же миссис Пьюцци, — Эстер Линч (1741–1821), подруга Сэмюэля Джонсона. В первом браке была замужем за богатым пивоваром Генри Трэйлом. В 1781 г. муж умер, оставив ее богатой вдовой. Она вышла замуж во второй раз за Пьюцци, итальянского певца и композитора, учителя музыки своей дочери.

# 19

Non e dama (*ит.*) — Она не леди.



Военная колесница, на которую водружали знамена, хоругви, алтарь и Святые дары.

Плантагенеты (Plantagenets), Анжуйская династия, — английская королевская династия (1154–1399). Основатель — Генрих II Плантагенет, граф Анжуйский. Название Плантагенеты произошло от прозвища отца Генриха II, графа Анжуйского Жоффруа Красивого, имевшего обыкновение украшать свой шлем веткой дрока (лат. *planta genista*). Под властью Генриха II и его ближайших преемников находились, кроме Англии, обширные земли во Франции, большая часть которых была, однако, потеряна Плантагенетами в начале XIII в.

Коултон, Джордж Гордон (1858–1947) — английский историк, автор многочисленных работ, в основном по проблемам средневековой культуры.

Перевод О. Б. Румера.

Per disimpegno (*ит.*) — для освобождения.

Здесь: зрелищные гонки с препятствиями. Стипл-чейз (*англ.* steeplechase, от steeple — шпиль, колокольня, и chase — гонка; первоначально — бег с препятствиями по направлению к колокольне); в конном спорте — скачки для лошадей не моложе 4 лет на дистанциях 4000–7000 м со сложными неподвижными препятствиями (до 30 штук).

Так проходит мирская слава (*лат.*).

Moro (*исп.*) — мавр.



Перевод Т. Гнедич.

Canale (*ит.*) — канал.

Via (ит.) — улица.

Tribolo (*ит.*) — мученик, страдалец.

Corriera (*ит.*) — здесь: курьерское судно.

Джеймс Лейвер — автор книги «Вкус и мода» (1945).

Нуросауст (*лат.*) — отопительная система под полом или в стене Древнем Риме.

Ното bonus (*лат.*) — досл. хороший человек. Святой Хомобонус (Омобоно) был канонизирован в 1199 году, через два года после смерти, папой Иннокентием III. Сын богатого ткача из Кремоны считал, что умение управляться с ткацким станком ему дано свыше лишь для того, чтобы он мог помогать бедным. Умер он во время мессы в Кремоне, и его голова до сих пор хранится в городской церкви. С середины XVII века он почти повсеместно признается патроном всех промышленников и бизнесменов.



Рисорджименто — Risorgimento (*ит.* возрождение) — национально-освободительное движение итальянского народа против иноземного (австрийского) гнета, за объединение раздробленной на мелкие государства Италии в единое национальное государство; Рисорджименто обозначает также период, в пределах которого это движение происходило: конец XVIII в. — 1861 г.; окончательно Рисорджименто завершилось в 1870 г. присоединением Рима к Итальянскому королевству.

Scuola Internazionale di Luteria — ныне всемирно известная школа изготовления скрипок была основана в 1937 г., в год двухсотлетия со Дня смерти Страдивари. В ней обучаются 500 учеников со всего мира.

Фриц Крейслер (1875–1962) — австро-американский скрипач и композитор, один из наиболее любимых публикой виртуозов первой половины XX века.

Anima (ит.) — душа.

Вильом (Вийом), Жан Батист (07.10.1798, Мирекур — 19.03.1875, Париж), французский мастер смычковых инструментов. В 1828 г. открыл собственную мастерскую в Париже. С 1835 г. занимался имитацией старинных итальянских инструментов (главным образом, Страдивари и Гварнери). С 1865 г. изготавливал скрипки, альты, виолончели по созданной им модели. Вильом утвердил новый, национально-самобытный тип звучания смычковых инструментов — яркий, интенсивный, но недостаточно гибкий. Изобрел оригинальные конструкции контрабаса (так называемый октобас, 1849), альты (так называемая виола контральта, 1855), специальную педаль-сурдину для фортепьяно (1867). Лучшие инструменты Вильома являются до настоящего времени концертными.

Музей и библиотека древней истории, изящных искусств и археологии при Оксфордском университете, построены в 1679-1683 гг. и названы в честь основателя коллекции Илайеса Ашмола (1617-1692).

Джеймс Крайтон (1560-1582) — шотландский ученый-лингвист XVI века; сын генерального прокурора по делам Шотландии Роберта Крайтона; десятилетним поступил в университет Святого Андрея, где учился у известного политика и поэта Дж. Бьюкенена, к четырнадцати

Реплика Олоферна в указанной пьесе, акт IV, сцена 2, пер. Ю. Корнеева. Олоферн, в отличие от собеседника Мортонна, имеет в виду Вергилия, родившегося в Мантуе.



Проктер Брайан Уоллер (настоящее имя; псевдоним Барри Корнуолл) (21.11.1787, Лидс — 05.10.1874, Лондон), английский писатель. Сын фермера. По образованию юрист. Наиболее известный сборник Проктера — «Английские песни» (1832). На русский язык стихи Проктера переводили А. С. Пушкин («Пью за здоровье Мэри...»), Д. Д. Минаев, М. Л. Михайлов и др.

Издание итальянского книгопечатника Альда Мануция.

Vinte le sette (*ит.*) — побеждающая семерка.

Изабелла.

Tabby (*англ.*) — кошка, а также муар (ткань).

**49**

В этом городе находится ипподром.

Майской росе поверья приписывают лечебные и косметические свойства.

Чистилище святого Патрика — так называется пещера на одном из островов озера Лох-Дерг (графство Донегол). Согласно легенде, на этом острове Патрик держал сорокадневный пост, во время которого его искушали и мучили демоны. Но святой Патрик загнал их в пещеру; эта-то пещера в результате и сделалась вратами в потусторонний мир, а остров называется с тех пор островом Святых. В ирландской церкви было распространено поверье, что из чистилища душа еще может вернуться в мир людей. Кроме того, считалось, что, добровольно отдавшись на муки злым духам при жизни, человек мог искупить свои грехи и заслужить вечное спасение после смерти. На географических картах эпохи Возрождения этот маленький островок, затерянный посреди озера Лох-Дерг, выглядит гораздо крупнее любого ирландского города.



Книга, относящаяся к начальной поре книгопечатания (до 1501 г.), внешне похожая на рукописную книгу.

Бодони Джамбаттиста (1740–1813) — итальянский типограф; в 1768 году основал типографию в Парме. Создал ряд превосходных рисунков шрифтов. Автор «Руководства по типографии» (издание 1818 г.).

Конгрив Уильям (1670–1729), Уичерли Уильям (1640–1716), английские драматурги, крупнейшие комедиографы эпохи Реставрации.

Уолпол, Хорас (24.09.1717, Лондон — 02.03.1797, там же), английский писатель. Окончил Кембриджский университет. В 1741-1767 гг. член парламента. С 1747 г. жил в поместье Строберри-Хилл, близ Лондона, где выстроил замок в готическом стиле. Известный коллекционер произведений искусств, меценат. Роман «Замок Отранто» (1765) является ранним образцом английского предромантизма.

Витрувий (Vitruvius), римский архитектор и инженер второй половины I века до н. э.; автор трактата «Десять книг об архитектуре».

Палладио, настоящая фамилия Андреа ди Пьетро (1508–1580), итальянский архитектор, периода позднего Возрождения.

«Fluctibus et Fremitu...» (лат.) — «Ледяная льется вода, и земля под Зефиром становится рыхлой» (Вергилий. «Георгики», песнь I, стих 44. Перевод С. Шервинского).

Каппеллетти (cappelletti) — разновидность пельменей.



Мария Луиза (1791–1847) — австрийская принцесса, ставшая второй женой французского императора Наполеона, а позднее — герцогиней Пармы. В 1821 г., вскоре после смерти Наполеона, Мария Луиза вышла замуж за Адама Адальберта, графа фон Нейпперга, и родила ему двоих детей.

Лепанто, прежнее название города Нафпактос (Греция); 7 октября 1571 г. здесь испанский венецианский флот разгромил турецкий флот.

**62**

Бикарбонат натрия.

Хуан Австрийский (Don Juan de Austria) (1545–1578), испанский военный деятель, известный в Испании как дон Хуан Австрийский. Незаконнорожденный сын Карла V, императора Священной Римской империи, Хуан родился в Регенсбурге 24 февраля 1545 г. Когда в 1556 г. Карл умер, Хуан, согласно завещанию, был признан его сыном, а в 1559 г. его признал и единокровный брат Филипп II, король Испании, который присвоил Хуану титул принца и позволил обосноваться в Мадриде. В 1576 г. Хуан был назначен генерал-губернатором Нидерландов — в надежде, что ему удастся подавить восстание голландцев против испанского правления, однако на поприще дипломатии его переиграл Вильгельм Оранский, вождь голландских мятежников. Летом 1578 г. Хуан заразился лихорадкой и умер близ Намюра 1 октября того же года.

Часть евреев, пользующихся языком ладино (сефардским), близким к испанскому.

Педель — так назывался надзиратель за студентами в европейских университетах.

Бёрни (Burney) Чарльз (1726–1814) — английский историк музыки, органист, композитор. Развитие музыкального искусства связывал с другими сторонами художественной и общественной жизни. Бёрни много путешествовал, в 1770 г. — по Франции и Италии, в 1772 г. — по Голландии и Германии; главной целью поездок был сбор материала о музыке и музыкантах этих стран для Истории музыки; параллельно он публиковал путевые заметки в форме дневников. Главными трудами Бёрни являются: «Всеобщая история музыки с ранних веков до настоящего времени» («A General History of Music from the Earliest Ages to the Present Period») в 4 томах: 1776 г. (1-й), 1782 г. (2-й), 1789 г. (3-й и 4-й); «Современное состояние музыки во Франции и Италии» («The Present State of Music in France and Italy». 1771); «Современное состояние музыки в Германии, Нидерландах и Соединенных Провинциях» («The Present State of Music in Germany, the Netherlands, and the United Provinces». 1773). Два последних труда, дополненные по источникам Музыкального общества, были переизданы в двух томах под названием «Музыкальные путешествия доктора Бёрни по Европе» («Doctor Burney's Musical Tours in Europe». 1959). В русском переводе известна книга: Бёрни Ч. Музыкальные путешествия. М., 1967.

Пьетро Помпонацци (1462–1555), итальянский философ, приверженец учения Аристотеля в эпоху Возрождения.



Newgate Calendar — печатный список преступников с перечнем их преступлений; впервые вышел в 1773 г.

Tour-de-force (фр.) — невероятное усилие, сверхусилие.

«Старина Билл» — главный герой серии карикатур о Первой мировой войне, сделанных Брюсом Барнсфазером.

Маколей (Macaulay) Томас Бабингтон (25.10.1800, Ротли-Темпл, графство Лестершир, — 28.12.1859, Лондон), английский историк, публицист и политический деятель; виг. В 1833–1838 гг. член Верховного совета при вице-короле Индии.

Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник.

Иниго Джонс (15.07.1573, Лондон — 21.06.1652, там же), английский архитектор. Изучал архитектуру между 1596 и 1614 гг. в Италии и Франции, в 1615–1643 гг. главный смотритель королевских зданий. Джонс стремился освободить английскую архитектуру от средневековых пережитков и утвердить в ней принципы классического зодчества — ясность композиции и благородство пропорций. Составил проект ансамбля дворца Уайтхолл в Лондоне (осуществлен только Банкетный зал), построил виллу королевы в Гринвиче (1616–1635), центральную часть дворца Кобем-холл (Кент, 1620), выполнил интерьеры дворца Уилтонхаус (Уилтшир, около 1649–1652).

Гостиница Даниели (принадлежит к сети отелей «Шератон») располагается в очаровательном дворце, построенном в XIV веке в византийском стиле. Каждый номер отличается утонченным убранством, сохраняя при этом историческую ценность, кроме того, номер люкс «Дож» является настоящим произведением искусства с роскошными тканями и вышивками из золота и серебра.

«Флориан» — историческое кафе на площади Сан-Марко, существует с 1720 г., с XIX в. становится литературным кафе, где часто бывали Байрон, Диккенс, Пруст и другие писатели.



Бекфорд, Уильям (1759–1844) — английский писатель, автор прославленного Байроном восточного романа «История калифа Вате-ка». Родился Бекфорд в богатой аристократической семье. Образование получил самое «высокое»: виднейший архитектор того времени Чэмберс преподавал ему архитектуру; в преподаватели музыки был приглашен Моцарт. Путешествие в Италию было частью познавательного «большого путешествия» по Европе. Огромную известность принесли ему создание громадного готического замка в родовом поместье Фонтхиле и коллекции книг и произведений искусства.

Пьяцетта — маленькая площадь, выходящая на лагуну перед площадью Сан-Марко.

«Осторожно, собака». В объявлении сделана орфографическая ошибка. Слово «собака» должно писаться как Dog. В результате объявление читается: «Осторожно, дож».

Сэр Генри Уоттон (1568–1639) приобрел литературную известность своими прелестными стихотворениями, писал он также пьесы и прозу. Уоттон родился в графстве Кент в 1568 году, получил образование в Оксфорде и после смерти отца отправился путешествовать по Европе, как и полагается джентльмену. Его карьера поражает пестротой, Уоттон был прекрасным дипломатом, ловким придворным и хорошим администратором. Будучи секретарем графа Эссекса, попал под подозрение в связи с заговором последнего; бежал во Флоренцию ко двору эрцгерцога Фердинанда, где узнал о готовящемся убийстве Якова, короля Шотландии. Переодевшись итальянцем, Уоттон приезжает в Шотландию и предупреждает короля. Когда Яков стал королем Англии, Уоттон получил его покровительство, стал рыцарем и послом в Венеции, а потом был назначен ректором Итона — этот пост он сохранил до своей смерти в 1639 году.

Кампо — букв, поле (*ит.*). Так называются многие площади в Венеции.

«Во имя Бога мы идем».

Речь идет о книге «Путешествие по Италии» («Voyage of Italy». 1654) Ричарда Лассела (1603(?)-1668).

Прокрида — мифическая героиня, жена греческого охотника Кефала, который по неосторожности убил в лесу приревновавшую его супругу.



Противоядие (*ит.*).

Путто (putto (ит.) — младенец) — изображение мальчиков (обычно крылатых), распространенный декоративный мотив в искусстве итальянского Возрождения.

Пьета — изображение Богородицы, скорбящей над телом снятого с креста Спасителя — излюбленный сюжет итальянских художников Возрождения. Самая знаменитая Пьета — скульптура Микеланджело в римском соборе Св. Петра.

Речь идет о картине Паоло Уччелло «Битва при Сан-Романо».

Лэндор Уолтер Сэвидж (1775–1864) — английский писатель; вырос в богатой аристократической семье. Пламенный республиканец, юный Лэндор был исключен сперва из Рэгби, а затем из Оксфорда, где его звали «безумным якобинцем». В Италию уехал, потратив на родине значительную часть своего состояния на социально-реформаторскую деятельность, недовольный реакционными английскими порядками. Во Флоренции он пишет пять томов своих «Воображаемых разговоров литераторов и государственных людей» (1821–1829) — вымышленных бесед Софокла с Периклом, Вашингтона с Франклином, Людовика XVIII с Талейраном и т. д. и т. д. вплоть до современных ему писателей и политических деятелей, касается вопросов политики, философии, морали, теории литературы и литературной критики и пользуется каждым удобным случаем, чтобы клеймить тиранию в древнем и в новом мире, и высказываться самым решительным образом на жгучие политические темы. В Италии же Лэндор написал роман в письмах «Перикл и Аспазия», в котором Афины нередко становятся подозрительно похожи на современную ему Англию; «Пентамерон» — беседы Бокаччо с Петраркой; «Hellenics» — приношение Лэндора на алтарь неоэллинизма, Радушно встреченное английской критикой, и «Poemata et Inscriptiones» — собрание латинских сочинений Лэндора.

Перевод М. Толшина.

Браунинг (урожденная Моултон) Элизабет Барретт (06.03.1806, Дарем — 30.06.1861, Флоренция), английская поэтесса. Дочь вест-индского плантатора. Жена поэта Роберта Браунинга (07.05.1812, Лондон — 12.12.1889, Венеция).

Перевод С. Степанова.



Чарльз ЛEVER (он же Гарри Лорреквер) (1806–1872) — ирландский писатель, друг Теккерея и Диккенса, последние годы жизни (с 1867 г.) был консулом в Триесте.

В Великобритании на изготовлении сидра специализируются графства Девон, Сомерсет и Херефордшир.

Ручей Бичера (Бичерз Брук) — самый сложный и опасный барьер Ливерпульского стипль-чеза. Свое название Бичерз Брук получил после падения в довольно глубокий тогда ручей капитана Бичера, хозяина жеребца Дюка, победившего в первой скачке Большого Ливерпульского стипль-чеза.

Пантократор (от *греч.* pantokrator — всевластитель), иконографический тип Христа. Пантократором называют обычно поясное изображение Христа (в центральном куполе или конхе храма), благословляющего правой рукой, в левой держащего Евангелие и окруженного ангелами (на барабане или в апсиде). Тип Христа-Пантократора — смысловой и композиционный центр архитектурно-живописных ансамблей православных церквей — утвердился в IX–XI вв. с окончательным сложением типа крестово-купольного храма. Изображения Пан-тократора перешли на иконы и в итальянскую мозаику XII в.

Перевод М. Лозинского.

Гален Клавдий (129, Пергам — 201 (?), Рим), римский врач и естествоиспытатель, классик античной медицины. В Пергаме изучал медицину и философию Платона, Аристотеля, стоиков, эпикурейцев. Совершил путешествие в Александрию, Смирну, Коринф. Переехал в Рим в 164 г., стал врачом императора Марка Аврелия. Оставил более 400 трактатов по медицине и философии, из которых сохранилось около 100 работ (преимущественно по медицине).

Сторнелла (*ит.*) — частушка. Риспетти (*ит.*) — шуточные любовные куплеты.

Нищяя.



Тобайас Джордж Смоллетт (19.03.1721—20.09.1771) — шотландский писатель, прославившийся своими динамичными плутовскими романами «Приключения Родрика Рэндома», «Приключения Перигрина Пикля», «Путешествие Хамфри Клинкера». Его «История Англии» («Complete History of England»), изданная в 1757 г. и дополненная в 1758 г., какое-то время распродавалась больше чем по 10 000 экземпляров в неделю. После смерти дочери в 1763 году Смоллетты перебрались в Ниццу, где и прожили до 1765 г. Там писатель создал свой замечательный труд «Путевые заметки о путешествии по Франции и Италии» («Travels through France and Italy», 1766). Он предпринял прощальную поездку в Шотландию, а затем был вынужден искать тепла и солнца в Италии, неподалеку от Ливорно, где и был закончен «Хамфри Клинкер» («The Expedition of Humphry Clinker», 1771).

Aquetta (ит.) — водичка.

Отношения между семействами Одди и Бальони были враждебными, раскололи Перуджу на два лагеря, их ссора даже затмила легендарную распрю веронских семейств Монтекки и Капулетти.

Описание праздника см. в приложении 1.

Лк 18:22.

Shank's mare (*англ.*) — на своих двоих.

Грейфрайарз — колледж Оксфордского университета, предпочтение при приеме отдается членам ордена францисканцев.

Дамьетта (Думьят) — город в Египте, морской и речной порт в Дельте Нила, близ впадения его в Средиземное море.



Якопа (или Джакома, или Джакомина) деи Сеттесоли была знатной вдовой. Франциск встретил ее в Риме в 1219 г. Якопа, деятельная и жизнерадостная, стремилась все вокруг сделать полезным и удобным, и прежде всего для Франциска и францисканцев.

Латеран, папский дворец в Риме, до авиньонского пленения служил резиденцией пап. С 1813 г. здесь музей христианских и языческих древностей, учрежденный папой Григорием XI.

Кибела, Великая Мать — фригийская богиня; символизирует плодородие.

Святой Павлин, епископ Ноланский, происходил из благородной и богатой семьи города Бордо (Франция), двадцатилетним юношей был избран в римские сенаторы, затем стал консулом и, наконец, губернатором области Кампании в Италии. В двадцатипятилетнем возрасте вместе со своей супругой он был обращен ко Христу и крестился. В поисках уединенной жизни святой Павлин ушел в испанский город Барселону. Слава о его подвижнической жизни распространилась, и в 393 г. его упросили принять сан пресвитера. Вскоре он оставил Испанию и ушел в город Нолу (Италия), где был избран епископом. Когда вандалы напали на Италию и увели многих жителей в Африку, в плен, то святой епископ Павлин употребил церковное имущество на выкуп пленных. Однажды, не имея средств выкупить сына одной бедной вдовы, он сам пошел в рабство вместо него. В одежде невольника начал святой Павлин служить вандальскому вождю. Вскоре тайна его раскрылась, и он не только сам получил свободу, но исходатайствовал ее и всем пленникам, вместе с которыми возвратился на родину. Человеколюбие и сострадательность ко всем бедным и нуждающимся составляли отличительную черту его характера. Святой Павлин известен и как храмостроитель и христианский поэт. Скончался в возрасте 78 лет 22 июня 431 г.